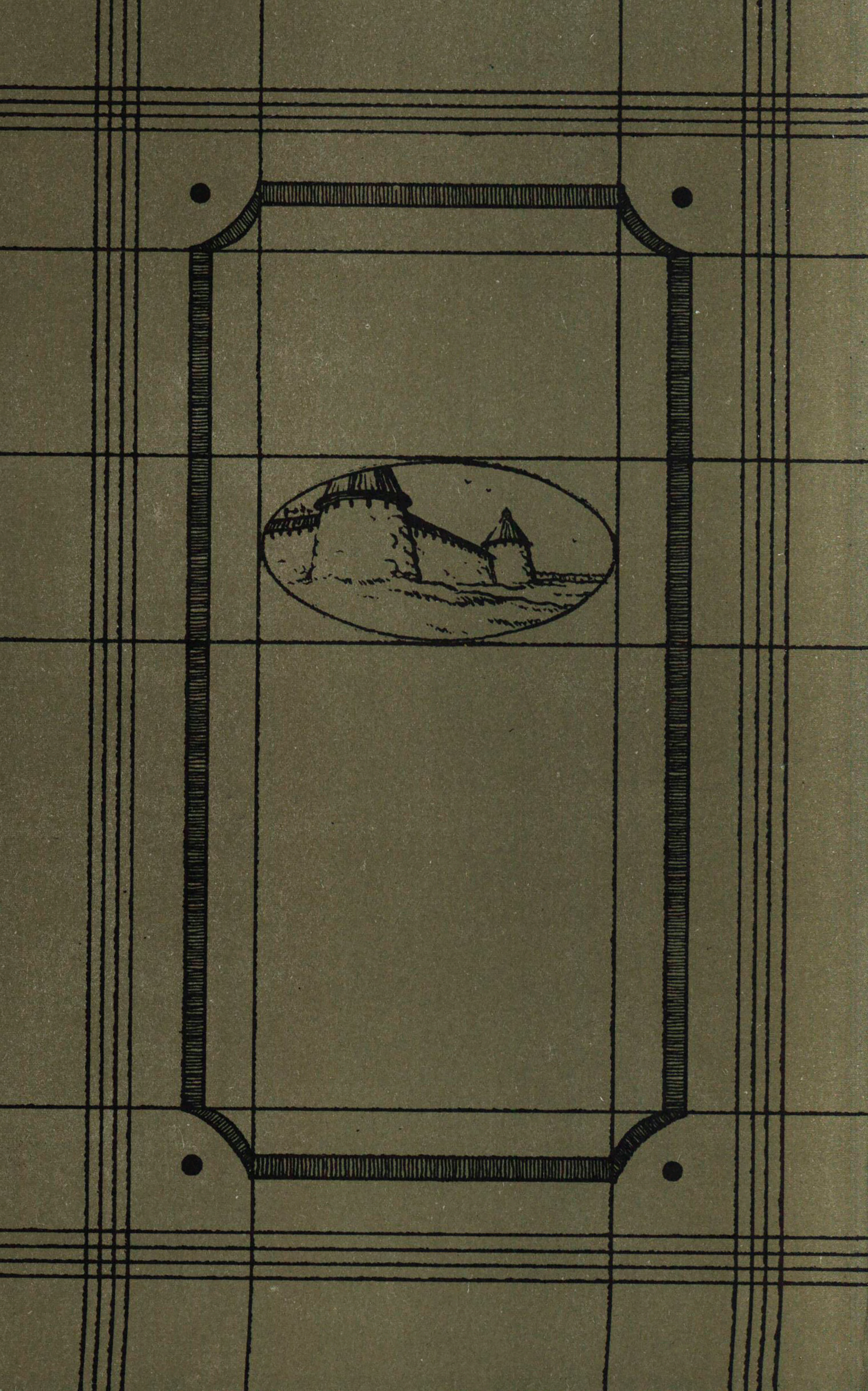
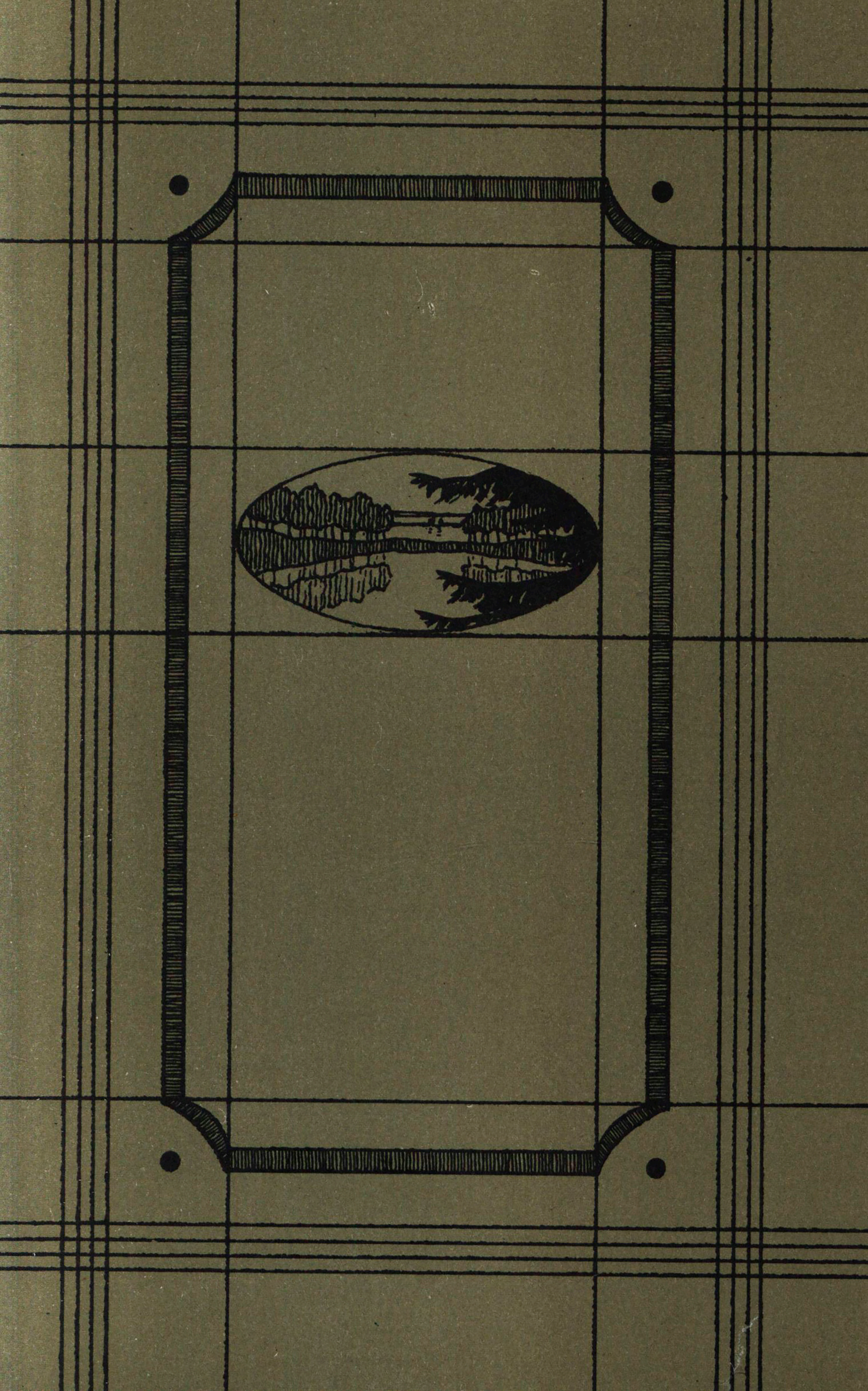
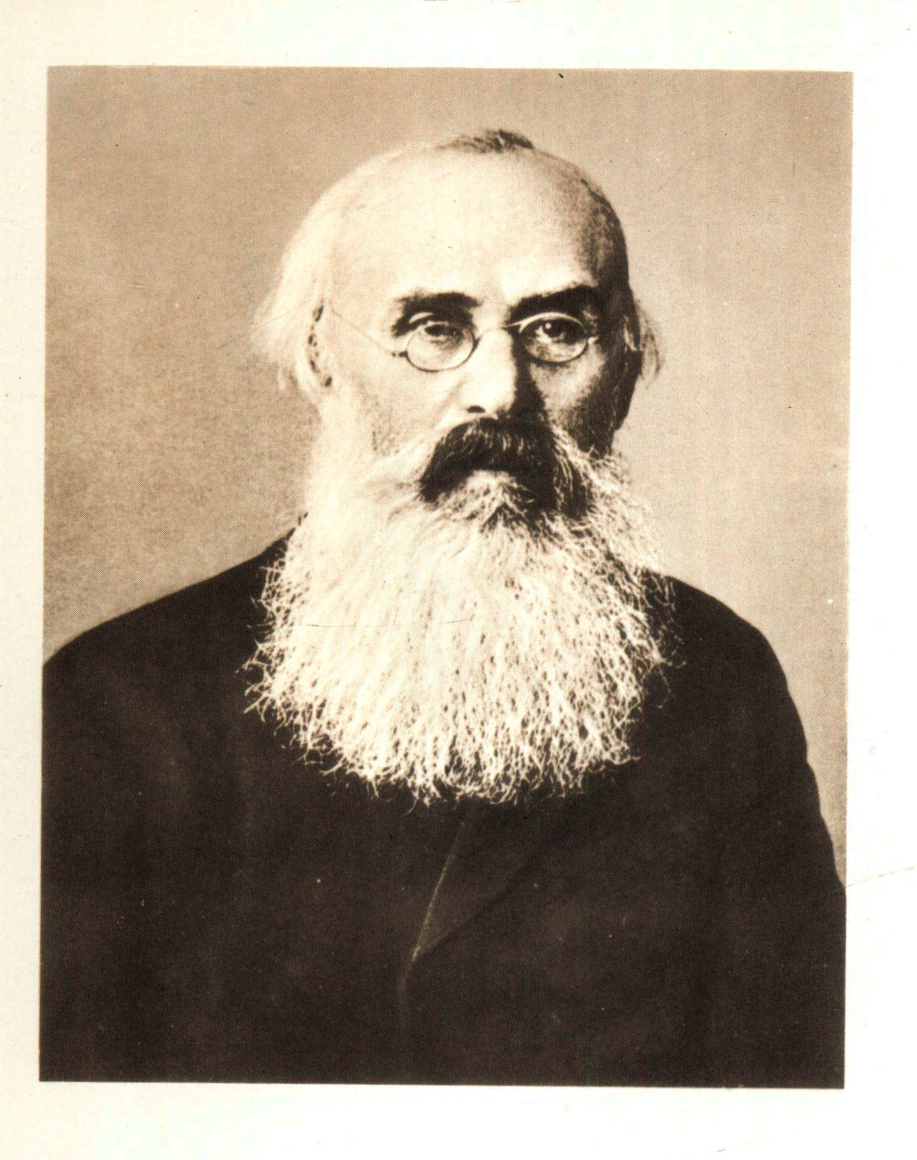
Избранные произведения







С. В. МАКСИМОВ

Избранные произведения в двух томах

том первый

ГОД НА СЕВЕРЕ

Части первая и вторая

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1987

ББК 84Р1
М17

Вступительная статья, составление, подготовка текста и комментарии

Ю. В. Лебедева

Оформление художника

С. Кузякова

М $\frac{4702010100-108}{028(01)-87}$ 11-87

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКСИМОВ

(1831—1901)

Благословен умело и смело грядый
по неисхоженным путям родной страны.

С. В. Максимов — А. П. Чехову

«Это удивительно скромный человек и далеко не оцененный по достоинству на своей родине»,— сетовал один из дореволюционных критиков по поводу судьбы литературного наследия С. В. Максимова. Однако в наши дни интерес к его творчеству стремительно возрос. К 150-летию со дня рождения писателя вышел в свет том избранной его прозы, а также книга «Куль хлеба и его похождения»[1]. Статьи о Максимове появились в литературно-художественных и специальных академических журналах[2]. О Максимове заговорили как о незаслуженно забытом писателе, произведения которого доставляют глубокое эстетическое наслаждение, расширяют наш исторический кругозор.

Известно, что еще революционно-демократическая критика обратила на Максимова пристальное внимание. М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности, наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других»[3].

Мало назвать Максимова лишь беллетристом-этнографом: собственно

---

[1] Максимов С. Избранное. М., 1981; Максимов С. Куль хлеба и его похождения. М., 1981.

[2] Плеханов С. Странник. К 150-летию со дня рождения С. В. Максимова.— Наш современник, 1981, № 10; Гуминский В. Судьба писателя — слово народное.— Литературная учеба, 1982, № 5; Лебедев Ю. В. С. В. Максимов и Н. А. Некрасов.— Русская литература, 1982, № 2 и др.

[3] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 9. М., 1970, с. 440.

этнографическими интересами он никогда не ограничивался, а был прежде всего талантливым писателем-демократом, чутким к движению народной жизни, народного сознания. В чем же заключалось своеобразие его творческого облика, чем обогатил Максимов русскую классическую литературу?

В начале 1840-х годов В. Г. Белинский с удивлением и восхищением писал: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, Остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь,— всё это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя — от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым,— все равно что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса — какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!» [1]

Слова Белинского для многих писателей-демократов не остались без отклика. И в творческой работе Максимова, исходившего вдоль и поперек всю Русь, на первом плане была верность жизненному факту, и это по-своему отвечало насущным потребностям времени. Салтыков-Щедрин с доверием и надеждой относился к писателям-первопроходцам, исследователям новых, еще не освоенных литературою явлений действительности. Они не претендовали, по Щедрину, на создание целостных, художественно завершенных картин, они ограничивались «отрывками, очерками, сценками». Но, совершая, на первый взгляд, лишь черновую работу, писатели-демократы расширяли границы русского реализма, готовили почву для новых литературных форм, более широко и всесторонне обнимающих живое многообразие окружающего мира.

Творчество Максимова давало богатые материалы А. Н. Островскому, М. Е. Салтыкову-Щедрину, Н. А. Некрасову. В то же время оно имело и сохраняет собственную познавательную и эстетическую ценность. Без него наше представление о России, о ее прошлом, о народе и его культуре осталось бы в значительной степени обедненным. А. М. Горький писал: «Поле наблюдений старых, великих мастеров слова было странно ограничено, и жизнь огромной страны, богатейшей разнообразным человеческим материалом, не отразилась в книгах классиков с той полнотой, с которой могла бы отразиться» [2]. Проза писателей-демократов середины и второй половины XIX века служила ценным дополнением к нашим классическим «вершинам». Не случайно В. И. Ленин рекомендовал «вытаскивать из забвения» таких писателей, «собирать их произведения и обязательно публиковать отдельными томиками. Ведь это документы той эпохи...» [3].

---

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 377.
[2] Горький М. Беседы с молодыми. М., 1980, с. 208.
[3] В. И. Ленин о литературе и искусстве. Изд. 5-е. М., 1976, с. 699.

1

С. В. Максимов обладал редкостным по тем временам, некнижным знанием жизни, вынесенным из самой народной глуби, из непосредственного общения с русским мужиком. Многое дано ему было от рождения. Еще в детстве Максимов узнал народ накоротке в глухом посаде Парфентьево, затерянном в дремучем лесном краю Кологривского уезда Костромской губернии. Здесь он родился 7 октября 1831 года в семье мелкопоместного дворянина Василия Никитича Максимова, парфентьевского почтмейстера. В двухлетнем возрасте Максимов лишился матери, и детские годы будущего писателя прошли без материнской ласки, в кругу посадских ребятишек, среди бесхитростных деревенских забав.

Посад располагался в живописной местности, в отрогах Северных Увалов. «Подъезжая к Парфентьеву, оглянитесь,— писал Максимов в очерке «Грибовник»,— много ли таких картинных местностей на Руси святой? Кругом обступили горы; посад действительно в ложбине. По горам стоят густые сухие... боры... воздух весь пропитан ароматом окрестных сосновых лесов, весь наполнен смолой, без малейших признаков присутствия болотных миазмов» [1].

Но резким контрастом с окружающей природой оказывалась жизнь посадского люда. Бедность жителей поражала всякого при первом взгляде: не было «ни одного каменного дома», а деревянные «прогнили до слез». «На слободку подле кладбища, отделенную от посада глубоким оврагом (и потому названную Завражьем), и глядеть больно». Не лучше жилось и окрестным мужикам на отвоеванной у леса скудной землице российского нечерноземья. «Овес, ячмень, рожь, лен, да и все тут... К тому же и то, что высевается, на шестой год, голодный, всегда не доходит, но и в счастливое время родится только сам 3-й, сам 4-й, отбивая от земли всякую нужду». Поневоле приходилось жителям Парфентьева и окрестностей искать средств к существованию на стороне: кто уходил в Сибирь «коновалить», кто в Питер на отхожие промыслы, а многие на месте пробавлялись грибами. Ежегодно 15 августа собиралась в Парфентьеве специальная грибная ярмарка, съезжались в город именитые судиславские купцы и скупали грибной товар за бесценок.

Но тяжелая жизнь не убила в парфентьевском крестьянине живую душу, щедрый талант. Скорее наоборот: в трудностях, в ежедневной борьбе с невзгодой и нуждой оттачивался характер умного, изворотливого костромского мужика, мастера на все руки: и хлебороба, и плотника, и резчика по дереву, и ювелира, и гончара. А парфентьевцам еще и повезло по-своему: не знал этот край татарской неволи, перед грозным морем непроходимых лесов остановилась татарская орда, повернули назад вражеские конники.

Парфентьевская земля напитала будущего писателя живой водой народного творчества. В первозданной чистоте, вплоть до недавнего времени, сохранялись здесь старорусские обряды и обычаи. Немало выпестовала эта земля народных самородков. Вспомним главного героя очерка «Дружка»:

---

[1] Максимов С. Избранное, с. 84.

«Сказку ли смастерить на смех и горе, чтобы и страшная была и потешная, песню ли спеть, чтобы в слезы вогнать и кончить сиповатым пением старого петуха и кудахтаньем курочки; овцой проблеять, козелком вскричать и запрыгать сорокой; собаку соцкого передразнить и замычать соседской коровой; старой нищенкой попросить милостыни»,— на все хватало таких мастеров, слава о которых шла по всей округе. На земле, вскормившей и вспоившей писателя, зрели зерна будущих его произведений — «Год на Севере», «Лесная глушь», «Бродячая Русь», «Нечистая, неведомая и крестная сила».

В детстве Максимову посчастливилось приобщиться и к высокой книжной культуре. Отец писателя, по свидетельству современников, был человеком передовым и образованным. Он поддерживал дружеские связи с опальным поэтом-декабристом П. А. Катениным, который с 1838 года безвыездно проживал в родовой вотчине Шаево, неподалеку от Парфентьева, и часто навещал гостеприимный дом Максимовых. Не исключено, что именно под влиянием Катенина, прославленного мастера «простонародных» баллад, серьезного соперника В. А. Жуковского, определились литературные пристрастия Максимова. Любовь к народной поэзии и народному быту, к живому русскому слову он бережно пронес через всю жизнь.

Не последнюю роль в формировании будущего писателя сыграли добрые природные задатки. Заметим, что все дети парфентьевского почтмейстера вышли людьми незаурядными: из трех сводных братьев С. В. Максимова два оставили заметный след в истории русской науки и культуры. Николай Васильевич Максимов (1843—1900) был известным беллетристом. По окончании Морского корпуса он служил во флоте, участвовал, командуя батальоном, в сербско-турецкой войне 1876 года, а в русско-турецкую кампанию 1877 года состоял корреспондентом при отряде М. Д. Скобелева и был ранен под Плевной. Его перу принадлежат очерки «Две войны» (СПб., 1879) и рассказы «На досуге. Беллетристический сборник» (СПб., 1891). Младший брат С. В. Максимова, Василий Васильевич, окончил Петербургскую медико-хирургическую академию, защитил диссертацию на степень доктора медицины. Он тоже участвовал в русско-турецкой войне 1877 года в санитарном отряде Красного Креста в Черногории, а затем — в действующей русской армии. С 1893 года В. В. Максимов возглавлял кафедру хирургии Варшавского университета и вошел в историю медицинской науки как автор оригинальных научных трудов.

Неспроста С. В. Максимов часто и с благодарностью вспоминал потом в своих дальних странствиях о родительской кровле, «там, далеко, за Волгой, за дремучими лесами, в печальных местах дальнего Костромского уезда». На волжские берега, в губернский город Кострому, двенадцатилетний мальчик приехал с большим запасом жизненных и литературных впечатлений.

В Костроме большое влияние на восприимчивого гимназиста оказал учитель русской словесности Пермяков, страстный поклонник Белинского, просветитель и демократ. Немаловажную роль в его писательской судьбе сыграл и другой земляк — драматург А. А. Потехин, с которым он сохранил приятельские отношения на всю жизнь.

Демократические симпатии будущего писателя питали и поддерживали и волжские впечатления. Пройдет много лет, но и в далекой Сибири,

заслышав тоскливый напев каторжной «Милосердной», он унесется воображением на Волгу, «где, ломая путину/ и разламывая натруженную и наболевшую грудь жесткой лямкой, бурлак тянет свою унылую песню, подлаживая к ней свой шаг, приурочивая свои разбитые ноги» [1].

2

Литературный талант проявился у Максимова в годы юности. На торжественном акте в Костромской гимназии выпускник произнес покорившее преподавателей и гимназистов слово о Ломоносове — великом сыне поморского рыбака. Сам выбор темы показателен для молодого человека, выходца из провинциальной глуши.

Успешно закончив в 1850 году Костромскую гимназию в числе первых ее учеников, Максимов отправляется в Москву, в Московский университет. Он мечтает о призвании литератора, но русское правительство, напуганное революционными событиями 1848 года в Западной Европе, резко сокращает прием в университеты и прекращает набор на филологический факультет, за которым издавна установилась репутация рассадника вольнодумства. Максимову пришлось поступать на медицинский.

Обучение на факультете, избранном по необходимости, а не по призванию, не удовлетворяло начинающего литератора. Он становится завзятым театралом, замышляет большой труд по истории театра, а между делом занимается переводом легковесных французских сочинений по заказу издателей Никольского ряда.

В период жесточайшего цензурного гнета и полицейских преследований университетская наука приняла казенный, официальный характер. Но живая демократическая мысль не прекращала своей работы. Максимов довольно быстро заводит дружбу с одаренными людьми, своими однокашниками. В их числе будущий историк Дмитрий Иловайский, будущий знаменитый врач Сергей Боткин, талантливые однокурсники-рязанцы Иван Колюбакин и Константин Мальцев, наделенные актерскими способностями и мастерски читавшие комедии Н. В. Гоголя.

Сформировался небольшой студенческий кружок, увлеченный народным творчеством, жадно следящий за новинками в литературе и театральном искусстве. В это время на московском горизонте восходит новое литературное светило — А. Н. Островский. В 1850 году редакторы журнала «Москвитянин» М. П. Погодин и С. П. Шевырев приглашают к сотрудничеству целую группу демократически настроенных молодых литераторов. В журнале образуется так называемая «молодая редакция». Душою ее становится Островский. В июньском номере за 1850 год он публикует комедию «Банкрот» («Свои люди — сочтемся!»), получившую шумную известность и восторженное неофициальное признание. К Островскому примыкают талантливые критики Аполлон Григорьев и Евгений Эдельсон, поэт-юморист Борис Алмазов, начинающие писатели Алексей Писемский и Алексей Потехин, поэт Лев Мей. Кружок растет и ширится, вбирая новых членов.

Через Аркадия Эдельсона, однокурсника Максимова, кружок студентов-

---

[1] Максимов С. В. Сибирь и каторга, ч. 1. СПб., 1871, с. 30.

медиков удостаивается чести знакомства с Александром Николаевичем Островским, который, прослышав о талантах Колюбакина и Мальцева, решил сам навестить друзей, ютившихся в чердачном помещении доходного дома на Спиридоновке. Об этом событии, оказавшемся, как потом выяснилось, одним из решающих в литературной судьбе Максимова, он с сердечным теплом рассказал в своих воспоминаниях.

В живом интересе к национальной культуре, к народному быту, к русской песне проявлялся своеобразный протест против удручающего однообразия русской жизни эпохи николаевского царствования. В кругу одаренных русских людей, под благотворным влиянием Островского, прошел Максимов свои первые университеты. Здесь он сошелся и сдружился с А. Ф. Писемским, своим старшим земляком, а затем и собратом по литературному творчеству. А. Н. Майков в одном из позднейших писем к Максимову замечал: «Вы помните наше знакомство с Писемским: не знаю, он ли был крестным отцом ваших первых произведений, но помню, что его трезвый взгляд на жизнь и искусство сильно действовал на вас, еще юношу, и не остался без влияния на дальнейшие ваши труды. Он, кажется, первый и указал вам на изучение жизни русского народа, найдя в вас и нужную для того подготовку, меткий взгляд и разумную наблюдательность» [1]. Но скорее всего развитию литературного таланта Максимова способствовала вся атмосфера кружка Островского, к которому юноша был близок в течение двух лет. Сам Максимов впоследствии неоднократно признавался: «Москве я обязан моими первыми литературными связями, моим литературным воспитанием и первыми проблесками моего сознания, что я должен чем-нибудь быть полезен народу» [2].

В 1852 году Максимов покидает Москву и едет в Петербург, надеясь поступить там на филологический факультет университета. Но мечте этой не суждено было осуществиться. Он определяется для продолжения медицинского образования в Петербургскую военно-медицинскую (медико-хирургическую) академию. Это учебное заведение вскоре получило известность как средоточие радикальных общественных идей и демократических настроений. Здесь Максимов сближается с Николаем Степановичем Курочкиным, будущим поэтом-демократом, активным сотрудником некрасовских «Отечественных записок», и с его братом, Василием Степановичем, талантливым переводчиком Беранже и поэтом-юмористом, с 1859 года — бессменным редактором революционно-демократического журнала «Искра». К дружескому триумвирату Максимова и братьев Курочкиных, снимающему в Петербурге общую квартиру, примыкает Виктор Иванович Якушкин, ставший впоследствии сельским врачом и явившийся одним из прототипов Евгения Базарова — героя романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». На страницах журнала «Сын отечества» затерялось не вошедшее в современные издания сочинений Курочкина стихотворение «Старинный обычай», посвященное Максимову [3].

---

[1] Цит. по публикации С. Плеханова во вступит. статье к кн.: Максимов С. Избранное, с. 9.

[2] Собрание сочинений С. В. Максимова в 20-ти томах, т. I. СПб., 1908, с. XIII.

[3] Сын отечества, 1857, № 50, с. 1225.

И в Петербурге литературные интересы Максимова одерживают верх над интересами медицинской науки. По приглашению Л. А. Мея, который переехал из Москвы в Петербург в 1853 году, Максимов начинает сотрудничать в издании «Справочного энциклопедического словаря», выходившего под редакцией А. В. Старчевского. Максимов публикует в словаре ряд анонимных статей, среди которых выделяется заметка о творчестве В. И. Даля, составителя «Словаря живого великорусского языка», автора очерков из народного быта, высоко оцененных в 1840-х годах Белинским. Статья о Дале характеризует уже определившиеся литературные вкусы начинающего писателя, работающего над первым своим очерком «Крестьянские посиделки в Костромской губернии», который увидел свет в январском номере «Библиотеки для чтения» за 1854 год.

К этому времени в редакции журнала «Библиотека для чтения» произошли изменения. К сотрудничеству в нем был привлечен критик демократических убеждений А. И. Рыжов, а в 1852 году в критический и библиографический отдел журнала пришли А. В. Дружинин и М. Л. Михайлов. Вскоре в «Библиотеку для чтения» был приглашен в качестве постоянного сотрудника выдающийся педагог и публицист К. Д. Ушинский, составивший вместе с Михайловым и Рыжовым «триаду молодых критиков и публицистов, близких к демократическому направлению и к лучшим представителям «Современника» [1].

Вслед за «Крестьянскими посиделками» Максимов публикует в «Библиотеке для чтения» один за другим свои очерки: «Извозчик», «Несколько слов о музыкальности», «Швецы», «Маляр», «Сергач». М. Л. Михайлов не только высоко оценил первые литературные опыты Максимова, но и приложил немало усилий, чтобы ввести начинающего писателя в литературную среду. Об этом тепло вспоминал Максимов на склоне лет: «В редакции «Библиотеки для чтения» я с ним познакомился, был им обласкан, услышал первые приветливые слова и поощрение к тем работам по изучению крестьянского быта, которые я тогда робко начинал. Он свел меня к Тургеневу и ввел в тот кружок литературных корифеев, который тогда около него группировался. Он указал Панаеву на одну из моих статеек, и из уст последнего я получил первую одобрительную и поощрительную похвалу в печати. Личные самые искренние чувства благодарности невольно останавливают меня здесь при воспоминании об этих двух лицах, которым я многим обязан...» [2]

И. С. Тургенев, познакомившись с очерками Максимова, нашел в них признаки литературного таланта и при личной встрече с автором посоветовал ему идти в народ, внимательно наблюдать его жизнь, запасаться свежим материалом. Писатель воспользовался советом автора «Записок охотника» и весной 1855 года, оставив Петербург, отправился в путешествие

---

[1] Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982, с. 27.

[2] Максимов С. В. За Писемского (по литературным воспоминаниям).— В кн.: Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания, т. 2. М., 1967, с. 462.

по Владимирской, Нижегородской, Вятской губерниям. В Вязниковском и Ковровском уездах он изучал быт офеней, ходебщиков, разносчиков, которые торговали образа́ми, книгами, красным товаром, сыром, колбасой — одним словом, всем, что, по словам Максимова, «успело залежаться и прогнить в московских лавках Ильинского ряда». На обратном пути из Вятской губернии Максимов вновь проезжал через Нижний Новгород, где увидел в полном разгаре Нижегородскую ярмарку и познакомился с В. И. Далем, который с 1849 по 1859 год служил управляющим нижегородской удельной конторы.

Начинающий писатель решился на довольно дерзкое предприятие: практика подобных хождений в народ была тогда ничтожной. В письме из Вятской губернии Максимов сообщал А. В. Старчевскому: «Дорога так далека и дорога́, что чуть-чуть дотащился, если принять в расчет все разъезды далеко в сторону от торного пути, по проселкам и закоулкам. Целый месяц возился я с вязниковцами, офенями и богомазами, пока добрался до бурлаков...» [1] Писатель исполнял свое дело с редкой добросовестностью. Для Максимова этот почин превратился в подвижнический труд всей жизни, основой которого была любовь к народу и вера в его творческие силы. Он шел в народ, повинуясь голосу совести, чувству гражданской ответственности за судьбу Родины в один из самых сложных и переломных моментов ее истории.

К весне 1855 года всем стало ясно, что длившаяся два года Крымская война фактически проиграна. Страна вступила в полосу глубокого и затяжного национального кризиса. Самодержавная власть, бюрократическая государственность, крепостнические отношения в деревне обанкротились в глазах всего русского общества. Россия жила предчувствием больших социальных перемен. По Москве и Петербургу как один из первых симптомов общественного пробуждения уже ходили списки стихов А. С. Хомякова «России»:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.

Среди многих проблем, волновавших тогда русское общество, на первом плане была проблема освобождения крестьянства от крепостной зависимости. Крестьянский вопрос отныне и на весь XIX век оказался в России вопросом всеобщим: от его решения зависела жизнь нации, ее судьба.

В обществе появился интерес к людям, знакомым с народом накоротке. «В то доброе наивное время...— вспоминал соратник Курочкина и Максимова, поэт-сатирик Д. И. Минаев,— среди множества других открытий разных местных Америк, мы, между прочим, открыли целую породу людей, называемых «пейзанами» или «мужичками», у которых была своя литература, своя внутренняя жизнь и история... Многих в те времена очень серьезно занимал крестьянский быт, но понятия о нем были очень смутные:

[1] Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 583, оп. 498, № 499, л. 1—об. л. 1.

или его идеализировали... «сочиняли народ», или относились к нему с вопросительным недоумением» [1].

Максимову приходилось самому искать путь к сердцу мужика: «позади не было ни одного примера, никакой школы и поучения». Он вел «рудниковые работы» не в архивах, не за книгами и бумагами, а в живом общении с мужиком; он не просто наблюдал народную жизнь со стороны, а входил в нее, сам на мгновение становился офеней, крестьянином-хлеборобом или отходником.

Итогом первого путешествия Максимова явился цикл очерков, опубликованных в журнале «Библиотека для чтения» за 1855—1857 годы. Коробейники, иконописцы, портные, шерстобиты, маляры, штукатуры, плотники, деревенские знахари и колдуны, извозчики и вожаки медведей — таковы герои максимовских очерков, вошедших впоследствии в книгу «Лесная глушь». Тут и песни, и пляски, и святочные озорства, и народный театр с популярной в крестьянстве комедией «Барин голый». Тут и народный календарь, осенне-зимние занятия крестьян средней полосы России, народные заплачки и заговоры — живая энциклопедия крестьянской жизни середины XIX столетия.

Однако книга Максимова интересна не только обилием этнографического материала, но и самим способом его воспроизведения. Писатель говорил, что в основе его творчества лежат «личные наблюдения» и «голые факты», «целостно взятые из жизни» [2]. Максимовские очерки отмечены именно таким, *целостным* изображением всего уклада крестьянского бытия, воссозданного народным языком, с народной точки зрения на мир.

Как этнографа Максимова очень интересует фольклор. Но художественное чутье подсказывает писателю, что типичные приемы записей фольклорных текстов, вырывающие устное народное творчество из повседневного трудового обихода, приглушают действенную силу и живой смысл фольклора. Максимов избирает другой путь. Народное творчество под его пером оживает, расцвечивается всеми цветами радуги, потому что всякий раз погружается в живую жизнь, в конкретные сиюминутные ее ситуации. «Женат?» — спрашивает молодуха швеца Тереху в очерке «Швецы». «Нет,— отвечает тот.— Вот уж коли домок путем заведу, а ведь в нашем ремесле из-за хлеба на квас не заработаешь. Теперь все и хозяйство, что вот есть на свете: во дворе скотина — таракан да жуковица, а и медной-то посуды всего одна пуговица». Народное присловье, сохраняя свойственную всем фольклорным текстам всеобщность, одновременно конкретизируется, срастается с характером балагура Терехи. Точно так же пословица «пошла про Савву худая слава» прямо относится к единичному случаю жизни швеца Матюхи, к минутной его слабости — краже соседского ячменя. Подмастерье Ванюшка неловко пришивает заплату на худой кафтан. Хозяин и учитель Степан снисходительно прощает мальчугана: «Ну, да ладно, на первых порах и то печево, коли есть нечего». В строгом соответствии с внутренним складом и ладом народной жизни герои максимовских очерков «шутки творят — работу спорят».

---

[1] Минаев Д. И. Товарищеские воспоминания о П. И. Якушкине.— В кн.: Соч. П. И. Якушкина. СПб., 1884, с. XLI—XLII.

[2] Отечественные записки, 1860, № 8, с. 220.

Другое немаловажное достоинство книги Максимова связано с обращением к народной жизни одной из самых бойких и развитых местностей России — нечерноземья. Именно этот край впервые открыл русским писателям особый тип крепостного мужика, ведущего подвижный, непоседливый образ жизни. С незапамятных времен дорога стала верной спутницей его существования. Желая с выгодой для семьи употребить свои рабочие руки, устремлялись мужики в губернские города — Кострому, Ярославль, Нижний Новгород, а чаще всего в столичный Петербург да в первопрестольную Москву-матушку. Как перелетная птица, с наступлением первых зимних холодов, завершив крестьянскую полевую страду, собирался отходник в дальнюю дорогу. Всю зиму трудился он не покладая рук в Москве и Петербурге, катал валенки, дубил кожи, водил по многолюдным местам медведя на потеху честному народу... Когда же начинало пригревать повесеннему ласковое солнышко, собирал отходник в котомку свой нехитрый инструмент и, звеня трудовыми пятаками, отправлялся домой, на родину. Звала к себе земля: в труде пахаря-хлебороба любой отходник все-таки видел основу, корень своего существования.

Еще мальчиком встретил Максимов крестьянина, не похожего на старого, оседлого хлебороба, кругозор которого ограничивался пределами деревенской усадьбы. Отходник далеко побывал, многое повидал. На стороне он не чувствовал повседневного гнета помещика и управляющего, учился дышать полной грудью и на мир смотреть широко открытыми глазами. Это был человек независимый и гордый, не чуждый критической оценки окружающей действительности.

Задолго до отмены крепостного права нечерноземная земля рождала крестьянина-артиста, мудреца и философа, смышленого, бойкого, предприимчивого. По характеристике В. И. Ленина, этот тип мужика стал повсеместным не сразу. Лишь после 1861 года «...падение крепостного права встряхнуло весь народ, разбудило его от векового сна, научило его самого искать выхода, самого вести борьбу за полную свободу. ...На смену оседлому, забитому, приросшему к своей деревне, верившему попам, боявшемуся «начальства» крепостному крестьянину вырастало новое поколение крестьян, побывавших в отхожих промыслах, в городах, научившихся кой-чему из горького опыта бродячей жизни и наемной работы»[1].

В очерке Максимова «Питерщик» воспроизводится жизненный путь именно такого мужика-отходника — Петрухи. Перед нами человек из народа, сам определяющий свою жизненную судьбу. Писатель не скрывает драматических последствий разрыва крестьянина с трудом на земле. Уходя от деспотизма помещика, от произвола сельских властей, от нищеты и голода, он попадает в кабалу к богатому городскому подрядчику, поддается соблазнам легкой наживы и нередко сбивается с жизненного круга, теряет себя. Но тем не менее мужик-отходник становится *личностью*: в очерке Максимова пунктиром намечается сложная линия его жизни, набрасываются контуры будущей повести или даже романа, в центре которого окажется жизнь простого мужика.

Сотрудник некрасовского «Современника», двоюродный брат Чернышевского А. Н. Пыпин, вспоминал, что максимовские очерки были одним

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 141.

из первых опытов изучения народного быта молодым поколением 1850-х годов. Максимов проложил в них дорогу писателям-шестидесятникам: Николаю и Глебу Успенским, А. И. Левитову и Ф. М. Решетникову. Первые литературные опыты Н. Успенского увидели свет на страницах «Сына отечества» благодаря положительному отзыву Максимова[1]

По дорогам Максимова прошел чуть позднее революционер-демократ В. А. Слепцов, автор очеркового цикла «Владимирка и Клязьма». Современников привлекало в очерках Максимова «желание понять народный быт как он есть», с создавшими его условиями, «понять равноправно и человечно, с особым ударением на мудрости и мудрености народного быта, который нелегко уразуметь по-народному»[2]. Писатель шел в народ не столько для того, чтобы учить его, сколько для того, чтобы у него учиться, «чтобы вынести из моря народной жизни знания, без которых наша забота об этом народе всегда есть и будет делом мертворожденным»[3].

В этот период издатели «Современника» Н. А. Некрасов и И. И. Панаев пытаются привлечь Максимова к сотрудничеству в своем журнале. Некрасов заказывает писателю статью о коробейниках, но Максимов остается верен обязательствам, взятым на себя перед А. В. Старчевским, который с апреля 1856 года предпринимает издание нового еженедельного журнала «Сын отечества». В письме к Старчевскому из Архангельска весною 1857 года Максимов глухо упоминает о недовольстве Некрасова, о его «гневе по поводу «Офеней»; «но для меня,— пишет Максимов,— честное слово прежде всего. При этом вспоминаются мне несколько раз высказанные обоими издателями «Современника» предложения участвовать только у них и под их защитой...»[4]. Сближение с Некрасовым произойдет позднее, в конце 1860-х годов, когда Максимов станет активным сотрудником некрасовских «Отечественных записок».

4

В феврале 1855 года умер Николай I, а в августе пал Севастополь. Поражение России в Крымской войне обнаружило «гнилость и бессилие крепостной России»[5] В стране назревала революционная ситуация. Александр II взошел на русский престол с обещаниями существенных перемен «сверху». Либеральные веяния проникли и в Военно-морское министерство, возглавляемое великим князем Константином Николаевичем. Решено было осуществлять набор новобранцев во флот, по примеру французов, из жителей приморских местностей и побережий больших судоходных и рыболовных рек. Предполагалось, что крестьяне, с детства занимающиеся промыслами на воде, пополнят флот способными матросами. Константин Николаевич предложил организовать «литературную экспедицию» для изучения образа жизни населения побережий морей, озер и рек. Это было,

---

[1] Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 583, оп. 498, № 499, л. 13.

[2] Пыпин А. Н. История русской этнографии, т. 2. СПб., 1891, с. 70—71.

[3] Сементковский Р. Встречи и столкновения.— Русская старина, 1912, № 12, с. 572.

[4] Отдел рукописей ИРЛИ, ф. 583, оп. 498, № 499, л. 8.

[5] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 173.

по словам Максимова, «небывалое событие». «Неожиданно, но определительно и ясно выражено было намерение употребить в дело силы, с которыми до той поры боролись или которых только гнали» [1].

По рекомендации Панаева на долю Максимова выпало обследование прибрежий Белого моря, Ледовитого океана и Печоры. Об организации «литературной экспедиции», о трудностях, с которыми столкнулись литераторы на неисхоженных путях, об их удачах и поражениях подробно рассказал Максимов позднее, в интересной работе «Литературная экспедиция (По архивным документам и личным воспоминаниям)».

Писатель отправился во второе путешествие в августе 1856 года. Окончательный выбор жизненного пути совершился, и 11 февраля 1856 года Максимов был уволен по личному прошению со второго курса Императорской медико-хирургической академии [2].

Рассказывая о своих странствиях по Печоре, Двине, Мезени, Пинеге и берегам Белого моря, Максимов неспроста вспомнил народную поговорку: «Не зовут вола пиво пить — зовут вола воду возить». Это была действительно трудная и рискованная работа. В бесконечных разъездах и плаваньях использовались всевозможные способы передвижения: Максимов плавал на карбасах и шкунах, ездил на оленях и на лошадях верхом, на почтовых тройках и парах, немало дорог прошел пешком. А на пути молодого литератора чаще всего вставала провинциальная власть. Чиновники николаевской выучки относились к писателям подозрительно: чего доброго, в комедию вставят, ославят и осмеют. На помощь приходила молодежь из среды провинциального чиновничества, педагогов, бедного сельского духовенства. Труднее преодолевалось вековое отчуждение между барином и мужиком. Легко давалась внешняя сторона дела: описание свадеб, похорон, крестин, промыслов. Но как только речь заходила о социальных неурядицах, приходилось выслушивать в ответ: «Батюшко, ваше сиятельное превосходительство! не пиши ты этого: может, и сболтнули мы тебе чего неладного. Не погуби ты нас, сделай милость!» «Надо было много испытаний, много труда и терпенья,— замечал Максимов,— чтобы войти в доверие тех лиц, от которых ждал поучения и нравственной пищи» [3].

В постоянной борьбе с такими преградами оттачивался талант общения, формировался совершенно особый склад писательской личности Максимова. «Хотелось ли мне записывать песни, я сначала пел сам одну, другую и третью, хвалил свои песни и, незаметно возбуждая досаду, а затем соревнование, слушал потом лучшую песню туземную, мне неизвестную» [4]. Доводилось при этом по неписаному обычаю и пропускать «по доброй чарочке». Зато когда доверие обреталось, начиналась обильная жатва, сторицей окупавшая затраченные труды. Мужики начинали говорить «все вдруг, как любит говорить русский человек, когда затронет все сердца один общий интерес

---

[1] Максимов С. В. Литературная экспедиция (По архивным документам и личным воспоминаниям).— Русская мысль, 1890, № 2, с. 17.

[2] См. Формулярный список о службе... Сергея Максимова.— Гос. архив Костромской области (ГАКО), ф. 121, оп. 1, л. 2.

[3] Максимов С. В. В дороге. Из путевых заметок.— Отечественные записки, 1860, № 8, с. 254, 258.

[4] Там же, с. 258.

и накипит на этих сердцах невзгода и недовольство и когда нет русскому человеку никакого другого исхода, кроме этих торопливых и недовольных разговоров... «Горе наше великое, а жалобу принести некому. Всякий сказывает: «Не мое дело». Не похлопочет как ли ваша милость?» [1]

Ответом на эти призывы безвестного русского люда явился обстоятельный рассказ Максимова о суровой жизни поморов и жителей северных русских рек. В 1859 году вышла в свет двухтомная книга писателя «Год на Севере», получившая сочувственный отклик у читателей и высокую оценку в русской критике. На страницах «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинин дал точное определение своеобразному писательскому дарованию Максимова и великолепный разбор его книги.

Содержание очерков «Год на Севере» отличается практической и жизненной точностью, главное для автора — достоверность, а не литературные достоинства. Но, как отмечал А. В. Дружинин, «безо всякого старания со стороны автора, безо всяких стремлений его к погоне за поэзиею,— поэтическая сторона книги» сказывается «сама собою». «Постоянно проникаясь живым и дельным рассказом, читатель, как сквозь дымку развевающегося тумана, ясно увидит перед собою то, к чему никогда сознательно не стремился автор, то есть физиономию края, характеристические группы туземцев, наконец, разнообразные картины северной природы, которых, по-видимому, г. Максимов и изображать вовсе не собирался» [2].

Секрет этой особенности очерков Максимова Дружинин объясняет убедительно и просто: «В науке и искусстве всегда так совершается: полюбите предмет, изучите его глубоко, и его поэзия, вместе с мелкими подробностями, придет сама собою» [3]. В книге Максимова содержится уникальный художественный сплав самых разнородных сведений и наблюдений над жизнью русского Севера. Обстоятельно и любовно воссоздается по архивным источникам, легендам и воспоминаниям история колонизации этого сурового края древними новгородцами, развитие рыболовных промыслов, общественный и экономический расцвет в эпоху петровского царствования. Книга опровергает широко бытовавший взгляд о якобы исключительной отсталости народных масс северных губерний. Со страниц «Года на Севере» встает собирательный образ русского крестьянина-помора, не знавшего крепостной неволи, сохранившего в чистоте и неприкосновенности культурные традиции народа, свободного в своей трудовой деятельности, в проявлении творческой мысли.

Познавательная, практическая ценность книги Максимова, ее художественные достоинства определили успех «Года на Севере» и принесли автору известность в литературном мире. Географическое общество удостоило его труд золотой медали. И до сих пор ни один серьезный исследователь русского Севера не может обойти вниманием это уникальное по богатству фактического материала и острой художественной зоркости произведение писателя-первопроходца, «очарованного странника» русской литературы.

---

[1] Максимов С. В. На Востоке. Поездка на Амур. Дорожные заметки и воспоминания. СПб., 1864, с. 293—294.

[2] Библиотека для чтения, 1860, № 7. Отд. «Критика», с. 16.

[3] Там же, с. 17.

В новое путешествие он отправился летом 1858 года, не дождавшись выхода в свет «Года на Севере». На этот раз Максимова подвигнул в дальний путь по просторам южно-русских губерний Павел Иванович Якушкин, появившийся весной 1858 года в Петербурге и вызвавший своим «русским костюмом» и подчеркнуто демократическим поведением некоторую сенсацию в столичных кругах литераторов. У Максимова есть замечательные воспоминания о Павле Якушкине, отличающиеся особым лирическим колоритом: речь в них идет не просто о друге, но и о родственном по духу писателе, от которого и сам Максимов кое-что позаимствовал. «Способ пешего хождения Павел Иванович признал удобным и обязательным для себя на всю жизнь. Образ странника был любезен и дорог ему сколько по привычке, столько же и по исключительности положения в среде народа, где страннику, захожему человеку велик почет и уважение» [1].

Как и Якушкин, Максимов странствовал по южным губерниям в костюме торговца средней руки. Это помогало легко и свободно сходиться с людьми разных сословий, но прежде всего с крестьянами. Материалы путешествия вошли позднее в новую книгу «Куль хлеба и его похождения». По собственному признанию, Максимов писал ее для своих детей, «обреченных на городскую жизнь» и оторванных от мира русской деревни, не имеющих представления о тяжелом труде пахаря-хлебороба. Эта книга о цене хлеба, о культуре старой деревенской России сохранила свое значение и поныне. Не случайно в рецензии, опубликованной в журнале Ф. М. Достоевского «Гражданин», «Куль хлеба» ставился выше «Дневника провинциала в Петербурге» Щедрина по значению «для познания России». В рецензии говорилось: «В ней в ярких и живых красках изображен быт всего, что живет, движется, работает, наживает барыши, стонет и страдает, хлеба ради, на Руси» [2].

В 1860 году неутомимый странник совершает одно из самых длительных и далеких путешествий. Он едет по поручению морского министерства на Восток, к берегам Амура. В русской печати высказывалось тогда сомнение в целесообразности освоения этого далекого пустынного края. Книга очерков Максимова «На Востоке. Поездка на Амур» убедительнее всяких научных доводов опровергала эти мнения.

На обратном пути с Дальнего Востока писатель занимается изучением прошлого и настоящего русской каторги, получив официальное разрешение властей проникать в самые потаенные углы сибирских острогов, а также право работать в местных архивах. В большом исследовании, построенном на богатейшем документальном материале и на многообразных личных наблюдениях, Максимов ведет рассказ об истории сибирской каторги, о жизни обитателей «мертвых домов». Царское правительство не разрешило адресовать эту книгу широкому читателю. Лишь первая ее часть

---

[1] Максимов С. В. Павел Иванович Якушкин. Биографический очерк.— В кн.: Соч. П. И. Якушкина, с. VII.

[2] Гражданин, 1873, № 2, с. 56.

под названием «Тюрьма и ссылка» была опубликована в 1862 году с грифом «секретно», для служебного пользования. Но с этой «эпопеей, в своем роде «Илиадой» и «Одиссеей» каторжной жизни» [1] познакомились друзья писателя, демократически настроенные литераторы обеих русских столиц. Впервые этот труд был опубликован на страницах некрасовских «Отечественных записок» в 1868—1869 годах, а затем вышел отдельным изданием в трех томах под названием «Сибирь и каторга».

«Читали вы Максимова знаменитую книгу «Сибирь и каторга»? Историческое описание ссылки, каторги до нового времени. Прочтите. Какие люди ужасы делают! Животные не могут того делать, что правительство делает» [2],— говорил Л. Н. Толстой. В книге Максимова он находил «чудесные сюжеты» [3].

Книга Максимова, который не только посетил все места ссылки декабристов, но и был в известном Тарбагатае, послужила Некрасову одним из источников для поэмы «Дедушка». Вот как описывает Максимов начальный этап жизни переселенцев:

«За Байкалом семейские староверы с охотою рассказывают всем такое предание, завещанное отцами, о временах и способах их водворения после Ветки и Стародубских слобод. «Казна дедам нашим не помогала. Привел их на место... чиновник, стали его спрашивать: где жить? Указал в горах... Стали пытать: чем жить? Чиновник сказывал: «А вот станете лес рубить, полетят щепки: щепы эти и ешьте!» Поблагодарили его, стали лес рубить; на другой год исподволь друг около друга стали кое-чем займоваться, запасаться нужным. На восемь дворов одна лошадь приводилась. Поселились. Земля оказалась благодатной. Ожили, повеселели. Приехал знакомый чиновник и руками развел: «Вы-де еще не подохли? Жаль — очень жаль, а вас — чу! — затем и прислали, чтобы вы все переколели» [4].

И ведь именно так раскрывается история жизни крестьян Тарбагатая в поэме Некрасова «Дедушка»:

Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол,
Землю и волю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит...

Не исключено, что и народные легенды о «вольных землях», отразившиеся в рассказе Некрасова о Тарбагатае, появились, отчасти, под влиянием книги Максимова, в которой приводились широко бытовавшие в среде сибирского крестьянства рассказы о вольных поселениях, затерянных в лесах, о счастливой артельной жизни их обитателей.

Документальный материал максимовской книги использует Некрасов

---

[1] Скабичевский А. М. Соч. в 2-х т., т. 2 СПб., 1903, стлб. 685.
[2] Литературное наследство, т. 90, кн. 2. М., 1979, с. 37.
[3] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 55. М., 1952, с. 185.
[4] Максимов С. В. Сибирь и каторга, ч. 1, с. 323.

и в другой поэме — «Княгиня Трубецкая». В «Сибири и каторге» дается подробное описание пути героинь, жен декабристов, в Сибирь, рассказывается о духовном поединке княгини Трубецкой с иркутским губернатором Цейдлером.

Первый том «Сибири и каторги» появился в «Отечественных записках» в 1868 году, а начиная с 1869 года Салтыков-Щедрин печатает здесь «Историю одного города», многие мотивы и образы которой заставляют вспомнить эту книгу, явившуюся своеобразной эпопеей самодурств и бесчинств провинциальной сибирской администрации почти за два столетия. Читая, например, щедринский «Устав о добропорядочном пирогов печении», вспоминаешь следующие строки Максимова: «Лоскутов — нижнеудинский исправник — не иначе въезжал в селение, как с казаками, которые везли воз розог и прутьев. Осматривая избы, заглядывал в печи, в чуланы; впутываясь насильно во всякую подробность домашнего быта, он безжалостно наказывал за всякое уклонение от предписанных им правил. Если хлеб был дурно выпечен, он немедленно сек хозяйку розгами, если квас был кисел или в летнее время тепел, сек и хозяина» [1]. А «цивилизаторские» подвиги щедринских градоначальников разве не предвосхищаются в максимовских описаниях горного начальника нерчинских заводов В. В. Нарышкина, крестного сына Екатерины II? Этот Нарышкин «учредил какой-то новый праздник «Открытие новой благодати», приказывал всем каяться в грехах, истреблял много пороху, того самого, который столь необходим в горных работах. Набрал войско, присоединил к нему вновь организованный гусарский полк из тунгусов и двинулся с пушками и колоколами... на Иркутск. По дороге останавливал купеческие обозы, отбирал товары, выдавал расписки». «В степи на отдыхах кипели огромные котлы, куда сваливали пудами чай и сахар... Едучи по направлению к Иркутску, он сзывал народ разными средствами, как, например, в селах — звоном в колокола при церквах, пушечной стрельбой и барабанным боем — там, где церквей не было. Собранный таким образом народ поил вином, насильно захваченным в питейных домах, и бросал в толпы казенные деньги» [2].

Возможно, что Нарышкина вспоминал и А. Н. Островский в процессе работы над образами Хлынова и Градобоева в «Горячем сердце». Дружеское общение с Максимовым, большим знатоком русской жизни, было плодотворным для Островского и не могло не найти отражения в содержании его пьес. Драматург часто доверял своему ближайшему приятелю вести в Петербурге корректуру его сочинений. Максимов навещал Островского в Щелыкове и подолгу гостил у него.

Книга Максимова «Сибирь и каторга» стала настольной для всех людей, не безразличных к отечественной истории. Она была замечена даже в официальных общественных кругах русского общества. 14 мая 1871 года Максимов был назначен членом «комиссии, учрежденной при министерстве внутренних дел для обсуждения устройства каторжных работ» [3].

---

[1] Максимов С. В. Сибирь и каторга, ч. 3, с. 9.
[2] Там же, с. 334.
[3] См.: Формулярный список Максимова.— ГАКО, ф. 121, оп. 1, л. 2.

Путешествие писателя по сибирским тюрьмам и острогам закончилось в 1861 году. А в 1862—1863 годах по заданию морского министерства Максимов отправился в новое путешествие — на Каспий и реку Урал. Он пишет очерки о жизни местного населения, о раскольниках и сектантах. Максимов «странствовал долго, забирался далеко, видел много и написал много...». По существу он создал «азбуку» хождения в народ, которая потом пригодилась народникам. В ряде очерков он высказал дельные советы о том, где и как лучше всего можно разузнать правду о народе, о его взглядах и настроениях.

После путешествия на Каспий и Урал наступил довольно длительный период оседлой жизни писателя. Скорее всего, «оседлость» эта была вынужденной: в 1862 году произошло событие, пошатнувшее репутацию Максимова в официальных кругах. В документах сената за 1862 год историк-краевед Д. Белоруков обнаружил дело о привлечении Максимова по сношению с «лондонскими эмигрантами» (А. И. Герценом и Н. П. Огаревым). За писателем был установлен негласный полицейский надзор, причиной которого явились следующие обстоятельства. Еще в самом начале 1860-х годов, предвосхищая интересы революционных народников, Максимов обращается к изучению жизни русских старообрядцев. В книге «Рассказы по истории старообрядчества по раскольничьим рукописям» (СПб., 1861), а затем в очерковом повествовании «Бродячая Русь» он обращает внимание на некоторые оппозиционные настроения в этой среде. Приятель Максимова, писатель-этнограф В. И. Кельсиев, в то время еще примыкавший к революционному движению и близкий А. И. Герцену, встречался в Петербурге с деятелями революционного движения и сочувствующими ему, в том числе и с Максимовым, глубоким знатоком русского раскола. Считая раскольническое движение одной из форм народно-демократической оппозиции государственному и общественному строю царской России, Герцен и Огарев в 1862 году основали при «Колоколе» приложение «Общее вече», целью которого была пропаганда революционных идей среди раскольников. Не исключено, что Кельсиев вел с Максимовым переговоры по поводу его участия в этой работе. Когда полиция напала на след Кельсиева, Максимов был взят под наблюдение и более двух лет находился под тайным надзором.

Временный перерыв в путешествиях дал возможность писателю сосредоточиться и привести в порядок собранные во время многочисленных странствий материалы. В 1862 году он публикует книгу «Край крещеного света», адресованную народному читателю и выдержавшую до революции девять изданий. Это книга о жизни и культуре вогулов, зырян, вотяков, чувашей, мордвы, карелов, бурят, киргизов, калмыков и многих других народов, населявших Россию, в которой Максимов обращает внимание на неповторимую талантливость каждого из них. «Край крещеного света» положил начало созданию ряда других самобытных книг Максимова для народного чтения: «О русской земле», «О русских людях», «Мерзлая пустыня», «Дремучие леса», «Русские степи и горы», «Крестьянский быт прежде и теперь», «Соловецкий монастырь» и др. В 1863 году издательское товарищество «Общественная польза» приглашает Максимова редактировать

издания для народа. Начинается длительный период работы писателя на ниве народного просвещения в качестве редактора и одновременно автора 18 оригинальных книг.

Последнее путешествие Максимова состоялось по заданию Российского географического общества в 1867—1868 годах в составе этнографической экспедиции по изучению Северо-Западного края. Писатель объездил Смоленскую, Могилевскую, Витебскую, Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии. Материалы этой поездки печатались в газете А. А. Краевского «Голос», в журнале «Древняя и новая Россия» и в многотомном издании «Живописная Россия». Белорусские и смоленские впечатления вошли также в большое художественное произведение «Бродячая Русь», опубликованное в 1874—1876 годах в некрасовских «Отечественных записках», а в 1877 году — отдельным изданием.

В «Бродячей Руси» Максимов воссоздает глубинные пласты народного миросозерцания, в котором начала христианства причудливо переплетаются с языческими представлениями и верованиями. В своем произведении он внимателен к народному словотворчеству, в котором поэтизируются трудовые, хозяйственные навыки земледельца, его представления о природно-космическом круговороте, его нравственные устои.

После публикации «Бродячей Руси» в «Отечественных записках» вновь пересеклись творческие пути Максимова и Некрасова. Некрасовская поэма «Кому на Руси жить хорошо», повествующая о странствиях по Руси семерых крестьян-правдоискателей, была близка произведениям Максимова, его представлениям о коренных основах народного, крестьянского характера. Сам дух правдоискательства, прочно укоренившийся в психологии мужика, неотделим, по Максимову, от странничества, переселенчества, охоты к перемене мест. Вспомним, что и некрасовские ходоки в «Последыше» мечтают о «способных и выгодных местах на свободном и широком раздолье земли своей»:

Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой губернии,
Непотрошеной волости,
Избыткова села!..

Не оседлая, а именно «бродячая» пореформенная Русь с наибольшей полнотою выразила в своем миросозерцании как поэтическую стихию народного бытия, так и поднимающуюся волну народного недовольства, правдоискательства.

Отсюда и особое, почтительное отношение народа к странникам: «Вот, батюшка странничек, покушай горяченького да сказывай, что́ видел, что́ слышал. Больно мы странных захожих людей любим» [1]. Так привечает максимовских странничков крестьянская семья. А Некрасов в «Пире — на весь мир» поэтически развивает эти наблюдения:

Кто видывал, как слушает
Своих захожих странников
Крестьянская семья,

[1] Отечественные записки, 1874, кн. 9, с. 89.

Поймет, что ни работою,
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь!

Залогом этого «широкого пути» для Максимова и Некрасова является «золотое народное сердце», чуткое к чужому горю и беде, рвущееся к правде и счастью. «Бродячая Русь» Максимова — это мир странников и богомольцев, мир нищих и убогих, погорельцев, сектантов, мир людей обездоленных, без крова и пристанища.

Немало уродливых и темных сторон подмечает Максимов в религиозном миросозерцании патриархального крестьянства: есть тут и ханжество, и фанатизм, и откровенное изуверство. Неспроста скептичный А. Ф. Писемский так откликнулся на выход в свет «Бродячей Руси»: «Спасибо тебе за высылку твоей книжки, с которой я теперь и знакомлюсь с великим удовольствием: эк, какой мирок ты разных гадин вывел; впрочем, надо сказать правду, и другие более высшие наслойки нашего общества не лучше» [1]. Книга Максимова действительно сильна критикой вековых недугов русского национального бытия, обличением религиозного невежества низов и цинизма верхов, пользующихся этим невежеством в своих корыстных целях. Мышление Максимова-художника здесь остросоциально и демократично в самом глубоком смысле этого слова. Он поэтизирует те стороны народного миросозерцания, где в религиозной оболочке проступает мечта крестьянина о лучшей доле, пробивается критическое отношение к окружающей действительности, утверждают себя жизнеспособные стороны земледельческого, трудового взгляда на мир. Но он беспощаден к явлениям отживающим, тормозящим развитие народной жизни.

Глубоко вскрывает Максимов социальные причины, которые гонят мужика на чужую сторону, заставляют его взяться за сбор средств на сельский храм или пойти в богомольцы. Главной причиной является пореформенное расслоение деревни, ее пауперизация. В деревне в разряд «прошаков» или «богомольцев» попадают прежде всего люди «лишние» — бедные и убогие, не способные к земледельческому труду. В дальнюю дорогу зовет их надежда «подкормиться» посытнее. Яркую картину разорения русской деревни рисует Максимов в главе «Нищая братия». Какими оттенками пестреет у него неспокойное море разоренного нищего люда! Побирушки и погорельцы, нищеброды и калики перехожие, наконец, «шувалики» — настоящие бродяги, ремесла не знающие, живущие милостыней, как доходным промыслом. Среди этих групп, выброшенных из родных деревень бедностью, создаются настоящие промысловые артели, эксплуатирующие и уродующие детей и подростков, артели, внутри которых существует сложная иерархия подчинения и господства.

«Бродячая Русь» Максимова — не только книга о народе, но и произведение, написанное как бы от лица народа, пронизанное крестьянским взглядом на мир с его стихийной материалистической трезвостью, здравым смыслом и простодушием, не лишенным озорства и лукавства, скоморо-

[1] Писемский А. Ф. Письма. М.— Л., 1936, с. 349.

шества и пересмешничества. Максимов поэтизирует народную жизнь и ведет беспощадную критику темных ее сторон с позиции того же крестьянского миросозерцания. Создается иллюзия, что книгу эту писал не русский интеллигент, а умный и зоркий мужик, деревенский мудрец, доморощенный философ. Склад крестьянского ума запечатлен в самой стилистической манере повествования: в синтаксической конструкции предложений, отступающей от строгих правил и литературных норм, в озорной игре словом, в склонности к витиеватому построению фраз, в остроумном использовании фольклора. Именно это умение воссоздать народную жизнь с крестьянской же точки зрения на нее и привлекало к «Бродячей Руси» столь пристальное внимание Некрасова.

7

С февраля 1868 года Максимов, обремененный семьей, испытывающий материальные стеснения, вынужден был вступить в должность редактора «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции». Служба в подобном официальном издании не приносила писателю удовлетворения. К тому же по складу своего характера он был человеком правдивым, не терпящим никакой лжи и фальши. Нередко эта правдивость переходила в ироническую дерзость, в склонность «шебаршить», по любимому словечку Максимова. Так, однажды на страницах его газеты, вскоре после 1 марта 1881 года, появилось крупное объявление о панихиде по «в бозе почившем императоре Александре III», только что вступившем на русский престол. Трудно сказать, был ли то недосмотр или сознательный дерзкий поступок. Но лишь заступничество влиятельных друзей смягчило правительственный гнев и отвело катастрофу: редактор отделался гауптвахтой.

В эти годы, наряду с доработкой «Сибири и каторги» и выполнением фундаментального труда «Бродячая Русь», Максимов работает над новым произведением. Начиная с 1883 года на страницах ежедневной газеты «Новости» стали появляться одна за другой его заметки под общей рубрикой «Не спуста слово молвится». Знаток русской истории и живого народного языка, Максимов дает в них любопытнейшие разъяснения многим идиоматическим выражениям. В 1890 году он объединяет свои очерки в книгу «Крылатые слова». Тогда же Максимов вплотную приступает к работе над литературными воспоминаниями, которым суждено было оставить яркий след в истории отечественной мемуаристики.

Воспоминания Максимова о Л. А. Мее, И. Ф. Горбунове, П. И. Якушкине, А. Н. Островском, А. Ф. Писемском соответствуют мудрому смыслу известной народной пословицы — «по товарищам и слава». Жизнь героев этих воспоминаний не замыкается в себе: за отдельными лицами Максимов видит «мир», группу лиц. Мемуары писателя рассказывают о людях, связанных между собою узами духовного родства, человеческого братства, «приятельской семьи». В центре внимания писателя не только факт, но и сам процесс этих дружеских общений, включая его нравственный результат: взаимообогащение людей, «прислушливых» друг к другу.

Максимов очень любил это слово — «прислушливый», оно часто встре-

чается в его сочинениях и определяет наиболее ценимые писателем душевные качества человека — повышенную чуткость к другому, талант приветного отклика на все живое в окружающем мире. В самой широте симпатий Островского, например, заключена, по Максимову, высокая оценка его личности и таланта. Именно присутствие Островского объединяло в дружеский круг уральского казака с оптовым торговцем из Ильинского ряда, знаменитого музыканта-виртуоза с кимровским мужиком-сапожником, учителя чистописания с утонченным литературным критиком, землемера с актером первой величины.

На закате дней Максимов оставил должность редактора «Ведомостей», доставлявшую ему немало хлопот и огорчений. В 1898 году богатый меценат, князь В. Н. Тенишев, создал в Петербурге «Этнографическое бюро» и разработал «Программы этнографических сведений» «о крестьянах и городских жителях образованного класса». Максимов взял на себя подготовку книги о народных обычаях, обрядах и верованиях крестьянства центральной России. Судя по неопубликованным письмам, работа «не собственным свободным порывом, а в путах чужой задачи, очень слабо выдержанной и очень темно выраженной» [1] не приносила Максимову желаемого удовлетворения. Один из самых талантливых этнографов вынужден был придерживаться в своих творческих исканиях чужой программы, сковывавшей его живой художественный ум. И тем не менее из-под пера Максимова вышла уникальная книга «Нечистая, неведомая и крестная сила», в которой воссоздается с энциклопедической полнотой поэтический мир народных верований и легенд, годовой круг крестьянских праздников.

В последний год жизни, когда неизлечимая болезнь — горловая чахотка — подтачивала силы писателя, Максимов получил известие об избрании его почетным академиком Императорской Академии наук. Кандидатуру Максимова предложил для избрания А. П. Чехов. Общественное признание заслуг писателя перед русской литературой пришло к нему слишком поздно. В письме к костромскому другу А. Н. Макарову от 19 декабря 1900 года Максимов со свойственным ему и в трудные минуты жизни юмором писал: «С возведением меня в звание почетного академика Академии наук «по разряду изящной словесности, учрежденному в ознаменование столетия со дня рождения А. С. Пушкина» (таков полный титул в дипломе) обязан надеть белый галстук и черный (чуть не красный, сенаторский) фрак, чтобы представиться Константину Константиновичу. И не знаю, чем я буду говорить с ним: с разбитым вдребезги горлом придется, видимо, обычаем московских купцов, подхватить обеими руками брюхо и кланяться в пояс — кланяться до тех пор, пока глаза не нальются кровью» [2].

В эти годы у Максимова появляется желание оставить Петербург и поселиться в Ялте вместе с Чеховым. 29 октября 1899 года он сообщал Макарову: «Наглотавшись досыта крымского винограда в Ялте и напившись ессентуцкой воды в Кисловодске, снова попал в чудовищно-разрушительный климат мерзопакостного города, где теперь действительно нет ни неба,

---

[1] Отдел рукописей Костромского историко-архитектурного музея-заповедника, 1259, 2564, л. 15.

[2] Там же, об. л. 25.

ни земли: одна зыбь поднебесная. А состояние здоровья таково, что врачи в одно слово, как бы сговорившись, советуют навсегда поселиться в Ялте в компании (уже и налаженной мною) с Антоном Чеховым, у которого легочные дела тоже тяжелы очень»[1]. Мечтал Максимов посетить родной посад Парфентьев, «где ждут хорошие лесные места, с здоровым воздухом», знаменитой парфентьевской «смолкой». Но этим мечтам не суждено было осуществиться. «Знаток русской жизни, ее духа, ее форм, ее юмора», как называл Максимова А. П. Чехов, скончался в Петербурге 16 июня 1901 года.

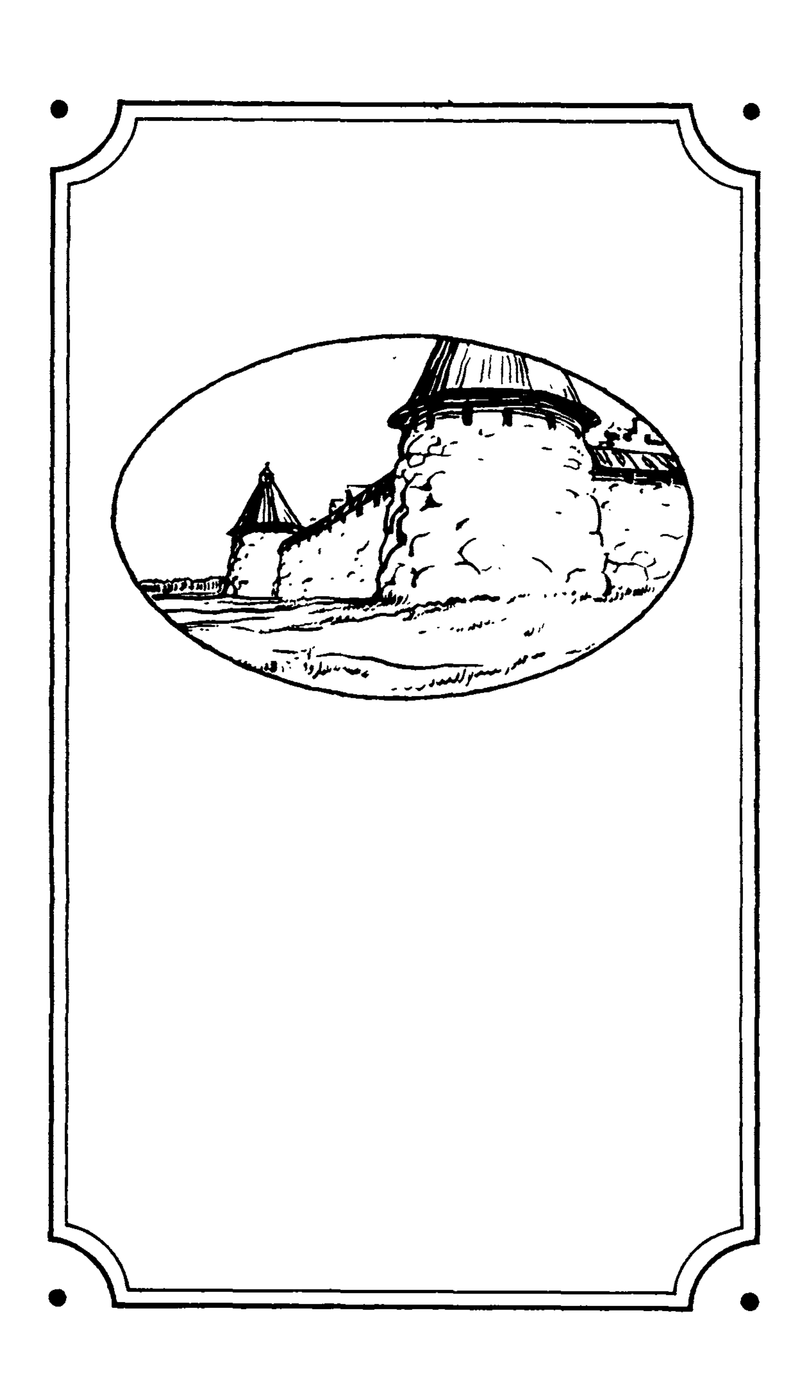
Прошли годы, и наступило время, когда книги Сергея Васильевича Максимова вновь стали появляться на полках библиотек. Имя писателя было и будет дорого всем, кто любит русский народ, кто не безразличен к его исторической судьбе, к богатствам его духовной культуры.

Ю. В. Лебедев

---

[1] Отдел рукописей Костромского историко-архитектурного музея-заповедника, 1259, 2564, л. 12.

ГОД НА СЕВЕРЕ



Часть первая

I

БЕРЕГА ЗИМНИЙ И МЕЗЕНСКИЙ

Общий физический вид этих берегов.— Город Мезень и его история.— Икотник.— Первые впечатления города.— Беседы с туземцами об обычаях домашней и общественной жизни.— Народные присловья.— Гаврило Васильич.— Моя поездка в село Долгощелье и в деревушку Сёмжу.— Ездовые олени.— Подробности промыслов за морскими зверями.— Крупная порода тюленей — нерьпы, лысуны, морской заяц, тевяк.— Способы их ловли.— Промысел выволочный.— Ужна.— Приметы.— Морская цинга.— Уродливость тюленьего рода.

Северо-восточный берег Двинского залива и юго-восточный берег Горла до устья Мезенского залива Белого моря издавна носит название Зимнего берега и по картам, и на языке туземцев. Не имея ни одной значительной величины губы, «берег этот (по словам автора «Гидрографического описания северного берега России», г. Рейнеке [1]) песчано-землистый с небольшими глинистыми прикрутостями, сажен до десяти высотой, имеющими низменную подошву: *заплеск* или *забережье*; отлогий берег около берегов покрыт песчаными холмами. Примечательнейшая из прикрутостей находится при северном крае Двинского залива, на завороте Зимнего берега, и называется *Зимними горами*. В них обыватели деревни Мудюги выламывают плиты (до 4 футов в диаметре и 1 фута толщиной) точильного камня. Этот утес, до 40 или 50 сажен высотой, состоит из зеленоватой глины и местами прорезан горизонтальными слоями песчаника. Над ним пологие горы, до 20 сажен высотой, разрезаны несколькими оврагами. В прочих местах от устья Двины до Мезенского залива хребет прибрежных гор не выше 30 сажен; он покрыт разного рода лесом, который к северу постепенно редеет и около реки Майды переходит в кустарник.

Несмотря на грозное прозвание гор, растительность их напоминает о юге: природа как бы истощает последние силы для того, чтобы оживить страну и показать свое могущество. Если море здесь не так богато и дает, например, только двустворчатые раковины, в которых продаются сухие краски, и только эти раковины,— зато на юго-западных покатостях гор красуются роскошные пионы вышиной в четыре фута; акониты (борцы) представляются на этих скатах в густой зелени, с листьями в полтора фута в диаметре. Но это

прощальный взгляд природы, последняя улыбка ее: перед смертью она еще пестрит голову свою на покатости гор красивыми цветами дикой розы и нежными голубыми гроздьями болдырьяна. Но еще шаг на север — и все мертво и бесцветно. К берегу моря низкие леса сменяют эти растения. Море выбросило на берег только то, что оно долго носило по волнам своим: истертое, измятое и видоизмененное совершенно. Даже можжевельник, который растет на сухой и бесплодной почве, имеет здесь желто-зеленый, болезненный вид. Ширина березки втрое превосходит высоту.

Жители этого берега — потомки первых поселенцев северных мест России, новгородцев,— издавна приобретают средства к своему существованию преимущественно в промысле морского зверя. Средоточием этих промыслов можно считать прибрежья Мезенского залива, и именно город Мезень и соседние с ним селения, в особенности село Долгощелье и деревню Семжу. Так говорят факты, и к тому же приводят и результаты личных внимательных наблюдений. Обращаюсь к последним.

Городок Мезень нашел я в средине ноября месяца 1856 года уже закиданным глубокими снегами, давшими мне возможность, при крепких, постоянных морозах, проехать по тундре из Пинеги на Кулой прямо, не делая огромного крюка по так называемой Нижней Тайболе. Хуже плохого села наших великорусских губерний глядел этот дальний городок, случайно превратившийся из бедной слободы Окладниковой в уездный город Архангельской губернии. До сих еще пор, правда, город этот известен в народе под именем Слободы Большой (в отличие от Малой Слободы — печорской Усть-Цыльмы). До сих еще пор велик тот пустырь, не застроенный домами, который отделяет ближайшую к Окладниковой слободу Кузнецову, долженствующую входить в черту города Мезени, названного так по реке, протекающей возле. До сих еще пор свежо в народе историческое предание о первоначальном заселении места, занимаемого теперь городом. Два новгородца — Окладников и Филатов — явились первыми к устью реки Мезени и первые положили здесь начало заселениям: один там, где теперь город Мезень, другой выселился ближе к морю, туда, где теперь раскинулась деревушка Семжа. Оба новгородца явились с семьями и с доброю волей противостоять негостеприимному климату и всевозможным лишениям и — оба устояли. Тот и другой заручились грамотами Грозного царя [2] и правами «копити на великаго государя слободы и с песков и рыбных ловищ и с сокольих и кречатьих садбищ давати с году на год великому князю оброки». Окладников явился на новое место своего жительства с пятью сыновьями и с иконою Нерукотворенного Спаса. Икона эта долгое время переходила от одного лица к другому, пока не сбереглась в руках какого-то безвестного отшельника, жившего в пустыньке на морском берегу, при устье реки Хорговки, и пока не была перенесена отсюда (в 1663 году) в Спасскую церковь Кузнецовской слободки. Копились между тем годы и десятки лет на столетия, копились и обе слободки на государей, вблизи *Студеного моря-окияна.* При царе Михаиле [3] в Окладникову слободу наезжал

уже кеврольский воевода для сбора подати с туземцев и ясака с самоедов [4]. Самоеды в определенное время приходили сюда и издавна уже имели поблизости (в 20 верстах, по дороге в Канинскую тундру, на месте, носящем название Кузьмина перелеска) главное свое мольбище. В нем, в 1825 году, сожжено было миссионерами более ста идолов и разрушено обширное требище. В 1703 году строилась в слободе церковь Богоявления; в 1718 — другая церковь, Рождества Богородицы; вскоре затем поставлены были в разных местах девять крестов (свято хранимых в настоящее время) в память об жестокой зиме, стоявшей до 24 мая, когда едва не вымерзло все живущее в городе. В 1736 году привезена была в Окладникову слободу, отдельная от кеврольской, воеводская канцелярия капитаном Степаном Немецким; в 1780 году обе слободы (Кузнецова и Окладникова), по реке, названы городом Мезенью и получили в герб красную лисицу в серебряном поле. В 1808 году жители вновь нареченного города потерпели новое бедствие от сильного разлития реки и разбрелись бы по соседним селениям, если бы правительство не выдало им пособия в 10 000 руб. асс. Беглыми из Сибири и острогов, преступниками и московскими и другими раскольниками населились ближайшие к Мезени леса и селения. Стоит теперь уездный город Мезень, обложившись множеством больших и малых деревень и неудобною к обитанию тундрою, со своим уездом, больше которого по пространству и меньше — по населенности нет уже другого на всем громадном протяжении Великой России.

Вот, таким образом, все бедное событиями прошедшее города Мезени, который мрачно глядит теперь своими полуразрушенными домами, своими полусгнившими, непочиненными церквами. Ряды домов, брошенных без всякой симметрии и порядка, наводят тоску. Все почти дома пошатнулись на сторону и в некоторых местах даже надломились посередине и покосились в противоположные стороны. Съезды, выходящие, по обыкновению всех русских деревень, на улицу, здесь обломились и погнили; ворота, которые давно когда-то, может быть, выпускали на эти съезды бойкую лошадку из (уничтожившейся уже в настоящее время) породы мезенок, как-то глупо, бесцельно торчат высоко под крышей и наглухо заколочены. Навесы над длинными задворьями обломились, и самые стены этих дворов рухнули, сгнили, а может быть, и истреблены в топливе. Мостки подле домов также погнили и, не поправленные, провалились; мосты по улицам тоже не менее тоскливого вида и бесцельного существования. Банями глядят дома бедняков, остатками мамаева разгрома — дома более достаточных; но — три кабака новеньких; но казначейство, на этот раз, выстроенное за городом, непременно каменное, и два-три дома, вероятно, туземных монополистов, с расписанными ставнями, с тесовой обшивкой, с длинным и крытым двором позади. По улицам бродят с саночками самоедки, с детьми в рваных малицах [5], вышедшие от крайней скудости *на едому* [6]. Из туземцев не видать ни души: может быть, холод, закрутивший 28 градусами, тому причиной; может быть, нет никого дома и все на промыслах...

Говорунья старушка-хозяйка, явившаяся в дырявом крашенинном сарафане и доставшая мне самовар у соседей, говорит, что промыслам теперь быть не время: еще-де Никола не пришел [7].

— Где же большаки ваши, мещане мезенские?

— Да, вишь, у нас теперь ярмарка...

— Где же она? не видать ни народу, не слыхать ни шуму, ни крику. Это, что ли, бабушка, торговцы-то?

В окно видны бегущие по улице целые аргиши: множество оленьих санок, одни за другими, нагруженные обледенелыми бочками.

— Это не торговцы, это пустозера,— отвечает хозяйка,— на Никольску на Волок (в Пинегу) ладятся... с рыбой и со всячиной. Эти у нас и возов не развязывают.

— Где же ваша-то ярмарка?

— А нашей не видать. По домам торгуют: коё свои же, кто с достатком, кое с Волока наезжают. Человек с пяток есть ли, полно, всех-то торговых?

— А народ-от где, бабушка? никого не видать.

— Повремени: может, кто и пройдет.

— Нет, бабушка, скучен ваш город, беден...

— Да уж и захотел ты от нашей слободы!

— Хуже, хозяюшка, я и городов не видывал, а проехал на веку своем больше сотни.

— Задвённая сторона наша, задвённая, желанный? К морю сели близко, хлебушко не родится. Что в море упромыслим, то и наше: времена-то, вишь, ноне крепко тугие. Эдаких, кажись, никогда не бывало.

— Отчего же так, бабушка?

— Да, вишь, аглечкой в летошний год приходил — баловал шибко. Много он на нас напустил напастей всяких [8].

— А ведь он к Мезени вашей не подходил...

— Не подходить-то не подходил: это слово твое верно. В губе, вишь, он стоял: река, знать, его наша не подпустила. Мелководна ведь она у нас, пройти-то ему, знать, не под силу было. А все же таки, родимый мой...

Старуха замолчала и подперлась локотком.

— Чего, бабушка? — подстрекнул я.

— Не пускал он, родимый, в море-то не пускал: промысла-то и затянулись, да года на два промысла-то наши затянулись! Стоит он — рожон ему вострый! — а прибыли нам оттого никакой нету: ну и исхудали, измаялись временем тем.

— Чем же жили-то вы, бабушка, во все это время, питались чем?

— Да семушку в реке ловили, навагу опять: тем и питались. Рыбинка-то аглечкова тоже не слушалась; ее-то ему не пропустить нельзя было. Против божьяго соизволения не пойдешь. Рыбинку-то *он* и пропустил к нам, *стрелье* бы ему в бока его басурманские,— право, окаянному!..

— Не хочешь ли вот лучше чайку, бабушка? что браниться-то: прошлого ведь — сказано — не воротишь.

— Правда твоя, батюшка, правда! А на чайку на твоем благодарствую.

— Что же так, хозяюшка?

— Да я ведь из мирских-то чашек не пью. Велишь, по свою сбегаю вниз.

— Сделай милость. Посидим — потолкуем!

И эта хозяйка, как и много других на летнем пути моем, оказалась раскольницей.

— Не пью я с мирскими-то,— говорила она мне, вернувшись.— Не пью по родительскому по завету, как вот себя не помню. Так и малолеткой учили. Я ведь и все остальное — правдой тебе говорить надо — по старине правлю.

— Что же еще-то такое ты по старине правишь?

— А вот старым крестом крещусь... эким.

И старуха сложила на перстах аввакумовский, дониконовский крест.

— Ну, а еще-то что же, бабушка?

— А еще-то? — да что тебе еще-то! Ну, по старым книгам молитвы творю, по утрам и по вечерам ста по три начал кладу...[9]

— Ну, а дальше?

— Чего тебе еще дальше-то? — все тут! Дальше тебе и сказывать нечего: по старой вере, на старом кресте живу — вот тебе и все тут! Только мы живем-то уж очень нужно: наготы да босоты изувешены шесты...

— Аглечкой-то нас уж очень обидел: старуха тебе правду сказывает! — перебил ее явившийся к нашему чаю хозяин, с поразительно болезненным лицом, худой и словно убитый тяжелым горем.

— Отчего ты такой бледный, хозяин?

— А все немогу: икота долит.

— И у вас она водится, как и в Пинеге?

— В каком месте злого человека нету? сам рассуди! Нагонит он тебе по злости скорбь какую, и ведайся с ней, и долит она тебя, мучает. Вот подойдет и у меня к сердечушку-то и начнет глодать его, что и свет-от в очах помутится. Начнешь разговаривать — удержу тебе нет. Спросят тебя — не слышишь, а болтаешь знай все свое, что на ум взбредет,— это еще не велико горе,— это «говоруха».

— Ругаешься на ту пору самыми такими неладными словами, что въяве-то и на ум не взойдет,— перебила хозяйка.— Начнешь ты: ох-ох! да ой-ой! и всякими такими звериными голосами заговорит в тебе нечистый. От него ведь это сердечушко-то больно-надрывно! За душу-то, одначе, не трогает, не смеет — стало...

— У меня так и за душу берет, берет, окаянный! — перебил речь старухи, в свою очередь, хозяин.

— У тебя ведь с ветру, сынок! это ты не сумлевайся, я уж тебе давно так-то сказывала.

— Да вот так и гляди, по ветру! А по мне, по следу — по следу оно и есть,— ответил хозяин на замечание матери.

Но эта не слушала его и продолжала свое:

— У сынка уж, то что говоруха отстала, а почалась «немуха»,

нет у него молвы, как у людей, а только рык да крик подобно лесному зверю,— волку бы, что ли, сказать. Худо у таких-то одно: из немухи сама «смертна» нарождается. Бьется-бьется ин человек,— почнет его ломать справа налево всякими судорогами, а в них и сама смерть приключается. Ведь сто бесов животы те гложут.

— У иных так, слышь, и на человека-то на того по молитве указывает, который порчу-то напустил по науке али по злобе. По имени и человека того называет, и деревню его сказывает. Редко же, однако, эдак; больше все втай, потому как дело оно от лукавого — нечисто и есть оно отныне и до века!

— Аминь, матушка! — закончил хозяин.— Гостю ведь и отдохнуть надо после дороги. Поизморился же, чай, поизмялся: дороги-то ведь наши тот же нечистый прокладывал. Пойдем-ко!

Вот памятные, самые первые впечатления мои по приезде в Мезень, тоскливее которой, действительно, я не встречал во всех своих шестилетних долгих и дальних странствиях по Великороссии. Жалка своим видом давно покинутая Онега, но Мезень несравненно жалче и печальнее, хотя и имеет много сходного в частностях с другими уездными городами: согласное, живущее дружно и угощающее друг друга сытно и много общество чиновников. Среди них, по обыкновению, первое место принадлежит разбитным, усатым господам, с размашистыми, лошадиными манерами, и последнее место — жалким, загнанным, робким учителям уездного училища, находящим все свое развлечение и наслаждение в танцах, если где таковые затеваются. В Мезени танцев нет: карты и еще карты поглотили там все свободное от службы время. Женское население из чиновного класса, по обыкновению, также застенчиво, также дико смотрит и боязливо и неохотно говорит со всяким новым лицом и также имеет (все поголовно) полное и неотъемлемое право на название хороших, добросовестно знающих свое дело хозяек... Впрочем, не до них наше дело.

Хозяйка снова и охотно толковала мне:

— На всяку болесть óберег есть, и таки люди — берещики — живут, что знают, как слово говорить «в усупор» боли. Вот взять озеву — зевнешь, да не перекрестишь рот, а черт и побывает,— против нее свой оберег. Алибо коровушка бодается, как ее усмирить? — А ты, мол, пестравушка, с места не шевелись; не дай господи ни ножного ляганья, ни хвостова маханья, ни рогового боданья: стой горой, а дой рекой, озеро сметаны, река молока.

Бывает «прикос»,— а кто и «призором» зовет,— сохнет тебе ребенок, отбивается от еды. Это — взглянул нехорошим взглядом недобрый человек,— ни от чего больше и взял «урок», а иные знающие отчитывают. Приключается так-то всего чаще, и никак не ухоронишься,— вот взять бы «баенную нечисть»: всего осыплет, все тело покроет коростами. И ведомо всякому, что прилучилась в бане, и знамо: нежить баенная вспрыснула по вражьему указанию,— и ничто поделаешь тут, как веред [10] перстом не очертишь, на ветер не бросишь.

Притчи идут на тех, что рожают неладно,— такой притычется грех, что стонут да охают, и никто не догадается, откуда така

трясовица. Когда повенчаются впервые да повалятся спать, кладем на всю перву ночь под постель кочергу и ухват: это противу той самой болести, чтоб не прилучалась впредь до веку. Иной привык чертиться да лешакаться,— что у него ни слово, то либо черт, либо леший,— вот таких одолевает болесть эка. И грыжа к таким-то пристает: сам звал нечистого, сам он и добрался до тебя и посетил. Пупыши (вереда) пойдут,— иди на болото, ищи траву — так она и зовется «грыжная трава» (Carpilli Veneris — Венерины волоса), столь длинна, как наши женские волосы.

Бывает «знобея», что всего знобит,— не согреешься ничем и все на печь лезешь; бывает «оглухица» — завалит тебе оба уха, ничем не промоешь; «желтея» бывает: весь ты цветом таким оцветешь, что горит на привозных ситцах. Бывает «неядея»,— сам знаешь, какая прытка. Сказывать ли? Да всего и не перескажешь,— где уж... Много же их по нашим местам, всяких притчей, живет: ино на лице прикинутся, ино из-под земли выходят, по ветру налетают тоже: всего не пересчитаешь, потому — иное и еретик напуск делает — стрелье бы под сердцем взять.

А между тем дальнейшее знакомство мое с Мезенью приносит с собой немного утешительных фактов. Говорят про мезенцев (да кстати и о пинежанах), что это — самые обездоленные люди, и при этом указывают на село Суру (говоря присловием: «Сура — дура») и на соседнюю с ней деревню Беричевскую, где икотная болезнь и невзгоды постоянных голодовок довели жителей до идиотизма и крайних суеверий. В погосте Немнюге — «опарники», за то, что они едят скороспелый и недопеченный хлеб и будто бы даже предпочитают сырую опару, почитая ее лакомством. Самих горожан в Пинеге назвали мне «водохлебами», за обычай брать деньги за воду с приезжих торговцев на тамошние обе ярмарки: Никольскую и Благовещенскую. Досужий мещанин пробьет пешней прорубь, встанет подле и сбирает за водопой грошики, а считать их, по великому неумению и непривычке, не умеет. «Покупала по цетыре денежки, продавала по два гросыка, барыса куца куцей, а денег ни копиецки»,— так насмехаются над пинежанками, неумелыми в базарных оборотах и денежном счете, да кстати задевают обычную привычку в их говоре — прицокивать. «Пинега — Мезень — толста селезень» — прибавляют другие. Это значит, что и женщины этих мест отличаются от двинянок неуклюжестью. Она выражается в толстых, как обрубки деревьев, нижних конечностях, в большой ступне, в неуклюжем, опухшем малокровном теле. По суеверному понятию и заблуждению, все это уродство (уверяют) зависит от болезненного чрезмерного развития брюшного черева, лежащего, как известно, в левом подвздошке, насупротив печени, и называемого селезенкой. Говорят, что давно уже начались из самого города Мезени частые и довольно значительные переселения мещан на берега моря, особенно в сторону Канина, что таким образом образовались уже там многие селения, как, например, Мгла, Несь и другие. Говорят, что город отсюда переводится в Усть-Важку или в печорскую Ижму. Рассказывают, что не дальше как сегодняшней ночью у пустозера,

проезжавшего за городом под хмельком в аргише, отвязали от санок трех оленей; что здесь, если хочешь жить домовито, запирайся покрепче и замки держи непорченые, нержавые и ненаружные, что на такое нечистое дело и здесь найдутся топоры и долото. Говорят, что свадьбы здесь справлялись когда-то, в давние времена, широко и гульливо, что прежде обдаривали всех гостей, а теперь и из родных-то не всякого.

— Да и свадеб-то вон что-то не слыхать совсем,— рассказывала мне хозяйка.— Допрежь, в досельные годы, все правили по отцовским заветам. И заручение правили с подарками: кто платком, а кто деньгами. И деньги-то эти жених невесте клал в долитую рюмку вина — большие. За зарученьем, дня через три, *почестной* стол бывал у жениха в дому; за почестным столом невестина мать *хлебинами* — обедом своим — потчевала и хорошими подарками всякого гостя одаривала. Ноне и сватанье-то не такое стало: ноне с вечера *заручились* сами молодые промеж себя, а наутро и под венец пошли. Съедят в этот день обед — да и дело в конец. Прежде лучше было, не в пример лучше.

— А что же, бабушка, лучше было?

— Да в старые годы вот как было: идет сваха в невестин дом со своим сказом, придет — не садится и дальше матицы полатей не заходит. Сгребется она руками за матицу и из рук ее не выпускает: сказывай ей либо «да», либо «нет». И отказы бывали. А ноне рады-рады, коли женишок на девку наклевался: бери ее вовсе, да поскорее, нам-де с ней, по своей скудости, нечего делать...

— Что же дальше-то, хозяюшка?

— Ну, вот сговорили. Девку к венцу обряжать станут; придут девушки — отпевать начнут. Сидит невеста платком накрыта, и плачь она — не плачь, а слезы на глазах оказывай. Попоют девушки — кончат. Невеста встанет с места, низким поклоном свою благодарность отдаст. А песни поют такие печальные, что и со стороны жалость берет, слеза пробивается, вчуже сплачешь — такие *жалости* попадаются. Верь ты мне!

— Ноне, батюшка,— продолжала старуха с преглубоким вздохом,— ноне, родитель ты мой, у нас и поседок не сбирается, и на масленице с горок не катаются. Все кинули, все бросили. И-и-хи-хи, тошнехонько!

Все ведь это, кормилец ты мой, от нужды от великия. Вон, сказывают, вниз-то туды, по Мезене по реке, кое-где, слышь, правят же все это. А у нас ты и песни никакой не услышишь, какая она такая есть... Тяжелые времена пали на нашу сторонушку задвенную: это перед твоей милостью, как перед богом!

Все-таки последние слова старухи были справедливы в одном, хотя и подлежали еще большому сомнению приводимые ею причины. В этом случае выручил меня, как и во всех других, толковый старожил, человек грамотный, бывалый, зажиточный, прочитавший на своем веку много книг и не духовного содержания. Таких посылала мне, впрочем, судьба почти в каждом большом селении.

На этот раз случай выпал такого рода. Был какой-то праздник.

кажется воскресенье. На углу церковной площадки, подле кабака, стояла куча праздного и праздничного народа. Лица у всех были такие плотные, здоровые: попадались решительно красавцы с правильно обрисованными профилями, с крепким румянцем, с густыми, пушистыми бородами. Все одетые чучелами в свои некрасивые, неуклюжие совики [11] и малицы. Последние покрыты были, по обыкновению, прихотливо-пестрыми ситцевыми рубашками. Толпе этой было, видимо, очень весело: проедет ли самоед на оленях — они осмеют его, обругают; пробежит ли собака, по обыкновению большая, желтая, хохлатая,— они и на ее счет пустят свой смех и замечания. Никого и ничего не пропускали эти мезенцы без того, чтобы не поглумиться своими доморощенными остротами, не посмеяться своим веселым, простосердечным смехом.

— Весело же вам живется, Гаврило Васильич,— заметил я моему гостю, явившемуся ко мне по приглашению.

— Это вы насчет чего же изволите говорить?

Гаврило Васильич долго живал в Архангельске на купеческих конторах и сам хвалился уменьем говорить со всяким: кого хочешь присылай.

— Да вот, видишь, как распоясались земляки-то твои, что стоят у питейного дома. Выпили, что ли?

— На что им выпить-то? На выпивку в нашем городу найдешь ли и пять человек имущих. Эти не выпили: они так смеются.

— Так, стало быть, живется вам весело?

— И этим не похвастаемся. Спросите хоть их же самих: многого хорошего не скажут. Гляди, другой и щи-то лаптями хлебает. А смеются они оттого, что глупый народ, дураки.

Гаврило Васильич как будто сердится.

— Нашему народу,— продолжал он,— плеть надо, да хорошую, чтобы горохом вскакивал. Наш народ (я буду говорить вам сущую правду) — лентяй, такой лентяй, что вот если заработал на год одним промыслом, за другим не потянет руки и с места не подымется. А вот встанет на перепутье-то да и начнет гоготать: ведь это дело легче, споркое это дело, особенно с голодухи! И добро бы ребята малые, али молодые, а то ведь у иного борода в лопату и вся седая — и он туда же. Вот и вспомнишь пословицу: «борода-то, мол, выросла, а ума с накопыльник не вынесла». К нашему народу пословица эта, как лучше нельзя, подходит, и вот почему. Приходили к нам английские корабли, пугали, на промысла не выпускали из дому; ушли — мы два года прожили, с голоду не померли, на то время и к печи-то своей попригляделись, полюбили ее, что мать родную. Стало замиренье, думаем: коли в два года черт не съел — и этот, третий, как-нибудь проваландаем, не лыком же шиты. Сдумали мы это дело великое да и на Мурман не пошли и советом положили вовеки не ходить туда: далеко будто бы. Да уж очень много рыбы туда приходит, всю не выловишь. Пущай там кемские поморы свое дело правят, пущай их. Когда-когда мы и на промысла-то ближние за зверем морским соберемся — нам ведь и это в труд большой, хоть добрым уловом сутки в трои заручаемся на целый год. Об этом

мы не рассуждаем. Позови ты нашего мезенца в покрут [12] — ни за что не пойдет, оттого и крутим больше снизу, речных. А отчего наш нейдет? Оттого нейдет, что у него не столько наготы, сколько гордости всякой да чванства: я-де и сам с усам. А того не знает словно, что держи, по пословице, голову уклонну, а сердце покорно. Вот потому у других нужда такая, что собаки ложки моют, спят на кулаке, а ихные ты щи хоть кнутом хлещи, пузыря не вскочит. Вот что! И не с сердцов все это говорю вам или злобой какой пылаю. Я ведь и сам здешний, и сам в нужде живал, и сам достаток свой не с неба получил! А жаль народ, жаль брата своего, ближнего. Наш народ — здоровый народ, работной, из него можно выделать такое дело, что весь край наш ухнет да диву дастся.

— Какое же, Гаврило Васильич?

— Да всякое, какое хочешь: от нас первое судно и на Новую Землю шло; мы и пол-Мурмана обчищали; у нас и суда сами строили: в кемское поморье не кланялись; у нас и лошади хорошие вырастали и на весь край славу пустили; у нас все свое — и хорошее свое — было. А теперь ничем-ничего. Все пропало, все погибло от лености да от гордости... Матерь божья!..

Гаврило Васильевич перекрестился три раза.

— Вы вот о морских промыслах слышать желаете,— поезжайте отсюда в Семжу да в Долгую Щель: здесь вам ничего сказать не сумеют. Поезжайте, поезжайте! Там дело ведут по-старому. Там народ честный, народ там богу работает. За одного тамошнего я вам всю нашу Мезень со всеми мозгами отдам.

Я послушался Гаврилы Васильича, нанял четверку оленей, завернулся в теплые, хотя и тяжелые, совик и малицу и по пустынным, снежным полянам, через пни и кочки, прямиком, по рыхлому, глубокому снегу, съездил на легоньких, но валких саночках сначала в Семжу, а потом за реку Мезень и за сосновые леса в село Долгощелье. В два с половиной часа промчали меня легкие на ходу олени через первое сорокаверстное пространство до Семжи, давши возможность увидеть, что это — деревушка дворов в пятнадцать, сбитых в кучу без особенного порядка, но ближе к широкому устью реки Мезени, уже с соленой водой и не замерзающему во всю зиму. На этот раз морская вода сполнялась (начался прилив) и ветер дул с моря, NO, а потому все устье наполнено было льдом синим, весенним. Через 6 часов убылая вода унесла этот лед назад и снова оголила черную воду широкого устья. В деревушке деревянная церковь, но выкрытая тесом и покрашенная в зеленую краску. Она, по обыкновению всех поморских церквей, освящена также во имя святителя Николы, как бы в большее подкрепление народной поговорки, которая давно уже и справедливо гласит, что «от Холмогор до Колы — тридцать три Николы». Здесь же, между прочим, слышал я, что при крепких северных ветрах море нередко выгоняет воду из реки на берега, топит и уносит стога, подступая к деревушке под самые избные стены. Это обстоятельство оправдывается тем, что течение прилива и отлива здесь продолжается дольше, чем во всех других местах Белого моря (исключая только Святого Носа), а потому

и возвышение прилива здесь наибольшее (от 20 до 22 футов). Причину этого явления легко объясняют сильным напором приливной волны от севера и стеснением ее в Горле моря.

Село Долгая Щель, расположенное на берегу реки Кулоя, в 51 версте от Мезени (прямиком через болота и труднопроезжие перелески на $4^1/_2$ часа не слишком быстрой езды на оленях), оказалось селением более людным (83 дома), чаще и красивее застроенным двухэтажными избами, не разрушившимися, как в г. Мезени, к уезду которого принадлежит это село. В старину оно приписано было к Сийскому монастырю; теперь населено государственными крестьянами [13], которые, как видно на первых же порах, живут достаточно: для наезжего гостя нашлась у них и рыба всякая, и чай, и сахар, и купленные в Архангельске лакомства, вроде кедровых орешков, пшеничных баранок и окаменелых пшеничных же пряников. Щеляне сеют ячмень (хотя и весьма незначительное число), ловят рыбу и в Кулое, и в реке Сойне, которая издавна дарована здешним *крестьянам и соенским бобылям.* Последние, выселившись из Долгощелья, образовали новое селение — Сóену. Рыба, вылавливаемая в этих реках и общая всему Мезенскому и дальнему Канинскому берегу, *нельма* (Salmo nelma), не попадается уже нигде на других беломорских прибрежьях. В Печорском краю она тоже не редкость и везде составляет лакомую, вкусную и здоровую пищу; мясо ее нежное и посоленное так же приятно, как и свежее. Заходя с моря в реки, она вылавливается здесь в семожьи невода и весит иногда до пуда. Эта рыба лучшая из всех так называемых белорыбиц и достоинством своим далеко превосходит, например, волжскую или уральскую белорыбицу, хотя и у ней, как и у тех, такое же белое мясо.

Как в Семже, так и в Долгощелье нашлось несколько словоохотливых, бывалых и знающих дело хозяев, которые радушно рассказали мне о многих подробностях ловли морского зверя. Рассказы их пополнил мне и во многом объяснил мой мезенский собеседник Гаврило Васильич. Результатами этих рассказов, в общей их сводке, спешу поделиться с читателями.

Вот что сообщили мне:

С первыми крутыми осенними ветрами: по востоку (О), полуношнику (NO) и северу (N) — у берегов Белого моря, покрытого уже большими ледяными припаями, начинают показываться стада, *юрова, лысей*, морского зверя из породы тюленей, каковы: *нерпа*, или тюлень обыкновенный (Phoca vitulina), *лысун*, или тюлень гренландский (Phoca grenlandica), *морской заяц* (Phoca leporina) и, реже других, *тевяк* — тюлень с конской головой (Phoca monachus). Плотно сбившимися в кучи, в отдельные семьи, состоящие иногда из нескольких тысяч зверей, гребут эти *кожи*, эти *юрова* из стран приполюсных или к Мурманскому берегу, или в Чешскую и Обскую губы океана. Значительное количество семей этих угребает, через Горло, и в Белое море в прямом направлении к островам Соловецким. Частию искание пищи (рыба по осенним ветрам также спешит выплыть из океана в море и его реки), частию наступающий период соития и деторождения (чему способствуют огромные тороса верст

по десяти протяжения, отрываемые от береговых припаев и носимые по морю), частию, наконец, жажда покоя на безлюдье и вдали от океанского шума и треска — влекут сюда все эти стада дальнего, сального, барышного зверя. Изредка только высовывая свои черные головы на поверхность моря, и то для одного дыхания легкими, звери эти большую часть времени проводят в воде, где, как говорят, и совершают они свой акт соития, *парятся* — говоря поморским выражением, в течение октября, ноября и первых недель декабря. Тощие с виду, они в это время на беломорской рыбе успевают откормиться и разжиреть до того, что каждый зверь дает иногда до 10 пудов сала. От Соловецких островов, по окончании случки, все звери, на сувое, идущем по направлению Воронова мыса от Сосновца, и выждавши попутные, благоприятные ветры, гребут в январе к зимнему берегу на Кеды (имя деревни). Здесь издавна места тихие, малонаселенные, стало быть, удобные к деторождению. Звери выбирают здесь самую большую и самую дальнюю от берега льдину или самый дальний конец припая и, при помощи передних ласт, выползают на них из воды. Тут самки, называемые *утельгами*, мечут по одному, редко по два детеныша, называемых *бельками*, по причине белой шерсти, которой они в то время бывают покрыты. Через месяц белая шерсть выпадает, местами показывается черными пятнами тело; белек превращается в *плеханка* и в *келка*, когда шерсть его начнет делаться серой. «На Стретеньев день,— говорят поморы,— льды *опятнает* и зверя на них — что *пня в лесу*». После деторождения все юрово ложится обыкновенно на продолжительный отдых, на залежку, и употребляет при этом весь инстинкт, все помыслы на то, чтобы защитить новое поколение своей породы от нападений врага. Для этого юрово обыкновенно размещается по льдине таким образом, что в середине держатся бельки и утельги, а по сторонам, кругом их, как бы стена или стража, ложатся самцы-лысуны. С другой стороны, звери, расположившись на залежке и уткнувшись мордой в льдину, начинают оттаивать ее дыханием своим и теплотой тела до того, что продувают ее четверти на полторы, вплоть до воды. В некоторых случаях отдушины эти звери оттаивают и снизу и потом уже через них выползают на льдины. Процесс этого продувания многие промышленники слышали сами (как уверяли). Таким образом, звери имеют готовую, и всегда под боком, прорубь, чрез которую легко и удобно могут спасаться в воде при первом приближении злого и беспощадного врага — человека. В это время бельки * еще не способны ходить в воду: искусству этому учат матери, таская их туда под своими ластами, во все те шесть недель, когда белек превращается в хохлушу. Белая шерсть их начинает в эту пору вываливаться хохлами; бельки тогда окончательно не способны плавать, и потому матери сами стараются таскать детенышей своих по льду или чешут шерсть их своими когтями, чтобы таким образом ускорить появление естественного цвета шкуры, слегка серебристого,

* Они успевают в эти два месяца *нажить* пуда два сала, и это сало чистое, лучшее, в сравнении с салом стариков; у тех оно *бардовато*, т. е. мутно.

изжелта-серого. Это — *серка*. Превращается она ко дню Благовещенья [14]. Серки уже могут плавать, природа уже наградила их инстинктом постоянного стремления к северу, и потому небольшие (в них от $1^1/_2$ до 2 пудов сала), зверьки эти тотчас после преобразования спешат оставить родные юрова и тоже стадами гребут в Горло, и если ошибкой не попадут на гибель к Терскому берегу, то угребают в океан. Оттуда, на будущий год, серки эти приплывают уже *серунами*, которые, еще через год, делаются уже *лысунами*, т. е. с черными полосами — *крыльями* — вдоль всего тела (утельги отличаются от самцов тем, что у них нет этих *пластин*, полос или крыльев). Оставшиеся на Кедах серуны и лысуны с значительно исхудавшими утельгами угребают на отдых, по первому попутному ветру, на льдины и тороса Мезенского залива, ближе к устью реки Мезени. Здесь они уже ложатся на *дох*, как говорят промышленники; редко уходят в воду, а в апреле спешат также выбираться в полярные страны на все лето, если только не погибнут от руки промышленников.

Соображаясь со всеми обстоятельствами, мезенцы, т. е. койдяне, щеляне, сёмецкие (из Семжи) и некоторые слобожане (из города Мезени), три раза в год выходят артелями на эти промыслы, которые у них, смотря по времени и по способу ловли, носят следующие названия: 1) *выволочный*, или *устинский*, или *загребной*, и 2) на *Кедах*.

Отправляясь на Кеды, в место недальнее (там, где мыс Воронов и где начинается заворот Мезенского залива), промышленники обыкновенно берут запасу на месяц. Обязанность эта главным образом лежит на хозяине покрута, или, по-здешнему, *ужны*, который и сам всегда отправляется на место промысла вместе с работниками. Запасаются обыкновенно провизией на 7 человек, котлом, ружьями, печкой (железным листом), баграми, лямками и дровами. На каждого человека полагается: по три пуда печеного хлеба, по пуду *харчи*, т. е. масла, рыбы соленой, муки, кроме *буйна* (полотна и рогож), которым закрываются от погоды. Все это складывается в лодку *, которую обыкновенно тащат на лямках работники или уженники **. Уженники, идущие на своем содержании, т. е. без бахил (высоких кожаных сапогов), совика и ружья хозяйского, получают полную часть, т. е. восьмую из всего промысла, и, напротив, покрученники, называемые обыкновенно половинщиками,— шестнадцатую; треть

* Для этого промысла употребляются особого рода небольшие лодки, называемые *осинками*. Делают их вчерне, т. е. выдалбливают в деревне Березнике, вверх по реке Мезени, но приспособляют к делу уже на месте. В этом случае обыкновенно обшивают их еловыми досками; делают два набоя, внутрь кладут *опруги* (строганые палки, пальца в два толщиной) и прошивают стяжками для того, чтобы не попортилась осина. Снизу пришивают три креня (планки) для удобства перетаскивания по льду. Кренья эти бывают еловые и сосновые. На устинском промысле идут в дело осинки длиной до $3^1/_2$ сажен и около 1 сажени ширины; на Кеды идут осинки поменьше ($2^3/_4$ сажен длиной и около 2 аршин шириной), потому что туда берут и самой провизии поменьше. На устинских промыслах, самых богатых, собирается таких осинок штук до полутораста; на каждую из них приходится пудов до 50—70.

** Называются они так оттого, что вся провизия, взятая для них, носит обыкновенно название *ужны*.

шестнадцатой достается на долю мальчишек — недоростков. Хозяин берет себе за снаряд все остальное: меньше, если все пошли с ним уженниками, и — гораздо больше, если пошли все половинщиками. Он, во всяком случае, с большим залишком окупает весь снаряд свой, обыкновенно стоящий рублей 30 серебром, если не считать лодки, ружей, одежды и котла. Часто на промыслы выезжают на оленях. Тогда хозяин, крутивший ужну, берет себе четвертую часть с каждого человека, треть четвертой кладет за оленей. На этих оленях обыкновенно «проведывают», т. е. узнают места залежки юрова.

— Вот сказывали наши флюгарки долгое время полуношником (NO ветром) от Сосновца (остров в Горле Белого моря), подходило дело это к Стретьеву дню [15], прошел этот праздник, мы долго не думаем на ту пору, сейчас на Кеды с ружьями! — рассказывали мне промышленники мезенские.— Тысячи до полуторы народу на это время сбирается. Знаем уж мы это доточно, что наметали утельги бельков своих беленьких, словно серебряных, черноглазеньких таких, чистеньких, гладеньких. С берега мы прямо на льдины идем и все свое богатство тащим: и лодку, и ружья, и котелки, и пищу — все до последней крохи, потому что уж нам на то время нет нужды в промысловых избах. На льдинах мы и огонек раскладываем, и кашицу тут себе варим, и спать тут ложимся; разве который уж боярской кости, так тот под лодку прячется. И ничего, благодаря богу! — живы бываем: в море-то ведь потеплей на ту пору живет; на горе (т. е. на берегу) забористей. Так вот ладно же: постой! Выйдем на льдину, смекаем: коли зверь этот на свой глаз чуток и на нос тоже, что, коли, мол, он духу человечьего не терпит и вид ему человека противен, мы его облукавим: на что и царь в голове сидит? Ладно!

— Надевай, мол, ребята, белые совики, а у кого нет, так на малицы белые рубахи напяливай. С тем, мол, подобием снегу и дело делать будем.

— Что же, мол, лукавый хозяин, ползти к ним на коленках придется?

— Да уж это, мол, так, как и быть тому следно, по-молитвенному.

— Ладно, сказывают, поползем. Дай-де только крестом осениться!

— Валяй, мол!

— И поползем под зверя, по душу его по морскую. Кто ледяную доску против рожи-то своей на ту пору держит, кто черную свою шапку за спиной прячет, кто за ропаками да стамухами (намерзшими стойком льдинами) прячется. У всех в руках палки, у всех по ружью, у всех и коленки болят, и спину ломит. На это не гневаемся. Ползем, значит, и ни единым словом не щелкнем, не перекинемся промежду себя, ползем, знай, все дальше да ближе: и зверя видим, на носу висит... подле ног лежит и отдушинку под собой продувает... И дух они от себя дают такой нехороший — под себя, значит... Тут его по шаболе-то резнешь да к другому идешь; первый готов, и этот тоже. Большая залежка — других решаешь; ребята твои там тоже смертоубивства творят. Хорошо это, и сердцу весело! Одно не ладно, что большого тут зверя мало живет; весь, почитай, он на то время в воду

уходит, а лежит больше мелкота, *белечки*. Этого зверя мы и не облукавливаем, и *хохлуш* не обманываем, потому этот зверь от тебя никуда не уйдет. Плавать малый не умеет; другая матка и спихнет которого в воду, а он все опять на льдину лезет. Старики в прорубь мечутся, а белек от нее дальше; ему на лед бы да на матерое место! И лежит он перед тобой в полном лике, не трогается, и словно бы что-то глупое, неподходящее думает! То ли он матку выжидает тут, чтобы пришла да покормила, то ли он человечий-то образ любит, не спознавал еще нашего брата за барышного человека,— господь его ведает! Только мы этих бельков на Кедах много наколачиваем. А вот как устанет рука, а зверя много, мы из ружей их бьем. А коли дошли до того, что зверь лежит весь поленьями, а который наутек пошел — мы и баста! Сейчас вынем ножи из-за поясов — свежуем.

Строгаем сало в лодку, шкурки почесть и не берем с собой. Этот ведь промысел сальный, сказывать надо — не харавинный *. Такой-то промысел у нас на устье бывает до Конюшина мыса,— *устинским* его зовем. Этот промысел большой, трудный. На этом промысле не один человек и головушкой своей решал. Тут не зевай. Тут ты будь навеки умный человек, коли вернулся домой живым, непомятым. На этом промысле хорошо, когда сильные ветры сопрут льдины к берегу. Зверю тут выходу не бывает: бежать ему некуда, воды кругом нету **. Тут уж мы за ружья не беремся, *хвóстяги* в дело пускаем. А хвостяга — это палка черемховая, длиной сажень с локтем, и один конец у ней толстый с шишкой, а на другом багор с крючком да шилом. Когда набежим мы на юрово да увидим первого зверя на глазах — хвостягой этой в морду усноровляем. Если не попадешь — руки береги: зубы у них превострые да и щетинятся шибко, пугают, хоть и редки случаи такие, чтобы укусили кого. Попадешь ты палкой зверю в морду, то и ладно — смерти он под твоей же рукой не минует. Хлипок же зверь этот, до того, слышь, хлипок, что один выстанет и полезет к тебе, так только по щеке ладонью дай раза пошибче — приляжет и морду воткнет в снег — приколи его только. Другой, пожалуй, и тут лукавит, притворяется мертвым, а потом и побежит, да не шибко. Этакого мы в зад прикалываем. С тем и конец.

Бывают дела на этом устинском промыслу, хитрые дела бывают, такие хитрые, что только вот слушай.

Зверя-то мы этак окружим со всех сторон, льды морские пособят нам, сопрет их ветрами,— юрово видит — дело пропащее, сейчас на хитрость. Один взревет чисто, тонко, звонко; другой пристанет, третий, все заголосят. Этим ревом они словно вот что сказывают:

---

* Т. е. не ради кожи: кожа не составляет цели промысла. Харавина — шкура убитых зверей, идет в продажу за границу и в Россию для ранцев, для обивки дорожных погребчиков. Здесь ее стелют нередко на оленьих санках; в просвещенных городах видим на ученических ранцах.

** Из более замечательных случаев этого рода памятен архангельскому народу особенно тот, который случился в 1839 году на Терском берегу. Тогда убиты были варзужанами (жителями сел Варзуги и Кузомени) целые тысячи зверей, принесшие им в три дня барыша на 30 000 руб. асс.

«Собирайся-де, други милые, в одну кучу, сообща поведем защиту; полезай ты на меня, ты на меня; навалим большую кучу да и понатужимся — может, и проломим лед-от». Ну и лезут друг на дружку, большие груды делают и пыхтят на ту пору, крепко пыхтят; слышим, силу-то свою останную собирают. Тут не зевай: коли, руби их,— в куче сподручнее! Не усноровишься — звери проломят лед: бывало этак-то! И бей ты их прямо в голову, а сделал которому *шавуй* (шавуйный удар — в шею значит), замечется зверь и всех прочь разгонит. И тут ты никоими силами не остановишь их: начнут забирать передом да подхватывать задними ластами, что угорелые, и прямо к морю, в воду. А ластами они своими круто забирают: человеку, хоть скороход он будь, не догнать. На этих на устинских промыслах, когда много народу, совсем война идет: кричим, ругаемся, деремся и все норовят, как бы вперед попасть поскорей да подальше. Большое тут дело бывает, самое спешное: однажды в сутки едим, да и полуфунта хлеба не съедаем: не хочется. Едим слегка, значит, понемногу. Тяжелее этого загребного нет; недели по три, по четыре земли не видишь, какая такая есть она! Боевой промысел, смертельный, трудный промысел — верь ты богу!..

Набьем мы этак-то их, наколотим, на месте же тут и свежуем. Шкуры свертываем трубкой (края закидываем и прижимаем ремнем), к одному концу юрки (длинные ремни сажен в 20) привязываем, а другой конец юрки в лодке прицепляем, да так и спускаем в воду. Конченое, значит, это дело. Счастлив человек, коли жив на берег вышел. Много денег тому архангельские купцы и за харавину, и за сало дадут. Только ты им сало на дому вытопи: без того не берут.

При промысле при этом есть ведь у нас и приметы разные: сказывать, что ли?

— Какие же приметы?

— Да вот: прибылая вода юрова эти к берегу приносит, убылая от берегу несет в голомя. Опять же запад (W) и глубник (NW) наносит их; шалоник (SW), летний (S) и обедник (SO) относят в океан.

— А еще-то что?

— А потянул ветер на Моржовец, не выходи в море — отнесет; и кожи пропадут на дальних сувоях, да и сам ты погибнешь — либо в океан тебя вынесет, либо с голоду на льдине пропадешь.

Действительно, опасен этот устинский, или выволочный, промысел (выволочный потому, что лед в это время по большей части *выволакивается* ветрами из Белого моря в океан). Не проходит года, чтобы не погибало два-три человека из смелых, действующих сломя голову на свое русское авось мезенских промышленников: то льдины рушатся от столкновения с другими, то окажется, что нет пищи ни на льдине, ни за пазухой; ламбы (водяные лыжи) на полой (открытой ото льду) воде не помогают; присутствие духа не сбережешь в течение двух-трех дней бесцельного плавания. Смерть, во всяком случае, неизбежная посетительница. И счастлив (как никогда в жизни в другой раз!) тот охотник, которого судьба примкнет с роковой его льдиной на берег, особенно же вблизи жилья, хотя бы даже и близ лопарских погостов. Этих спасенных

от смерти ловцов (некоторых) можно видеть, несколько лет после того (смотря по личному их обету), в Соловецком монастыре исполняющими самые трудные, ломовые, монастырские работы. У мезенцев есть обычай, и даже, можно сказать, страсть, ходить в одиночку на тот же опасный промысел выволочный. Страсть эта тем опаснее, что тут уже помочь некому, притом некому в трудную минуту выплакать свое горе.

Ко всем этим рассказам промышленников можно еще прибавить то, что первые звери, явившиеся в море из океана, считаются нечистыми и бывают с запахом. Промышленники, свежуя этого *поганого* зверя, обыкновенно остерегаются всеми мерами порезать руку, потому что, как говорят они, *прикидывается* болезнь, называемая ими *морская цинга*, которая-де выламывает персты. Пролежавшие на льдинах дольше Николина дня, т. е. первых чисел мая, или опоздавшие выплыть в океан делаются до того тощими, что, застреленные промышленниками, тонут в воде и уже не выплывают. Сала в них почти не остается, и потому стреляют их исключительно затем только, чтобы уничтожить лишнего врага для рыбы, который с будущей осенью может поправиться и натворить много бед и напастей. Бывали нередко такие случаи в Мезенской губернии, что противные ветры, не выволочные, разбивали стада зверей, зверь *осыпался* (говоря туземным словом), т. е. разделялся на мелкие юрова и в них угребал в дальнюю Кандалажскую губу. Губа эта, как известно, до половины своей замерзает плотно, имея припай поперечный, *поперечку*, там, где начинается широкое Горло моря и где лед уже бродячий! Тогда, в ущерб Мезенской губернии, усыплется зверем вся эта поперечка, и добыча переходит в руки счастливых жителей Терского и Корельского берегов. Эти случаи, впрочем, так же редки, как и упомянутый случай, бывший на Терском берегу. Промышленники прибавляют при том, что, во время охоты их на тюленей, зверь, застигнутый врасплох, жалобно воет, а у бельков проступают слезы: они будто бы плачут, как люди.

Раненые, но ускользнувшие от свеженья звери недолго плавают в море: в конце мая или в начале июня их непременно выбросит где-нибудь на кошке (надводной мели) или на берегу, и тогда туша эта достается на долю счастливца. Законность приобретения этого *вымета* нашедшим его обусловлена старым обычаем. Сало вымета, неиспорченное, годно в продажу, хотя хуже и мутнее после варки, чем нежное, чистое сало бельков.

Не лишним считаю также упомянуть и то, что все промышленники не выходят на морских зверей в день Благовещенья, когда, по русской пословице, и птица гнезда не вьет. Обычай этот охотники оправдывают тем наблюдением своим, что если поработать в этот день, то целый год затем вплоть до этого дня придется терпеть неудачи в ловле и разного рода домашние несчастья, особенно в те дни. в которые пришелся праздник: например, если он был в пятницу, то все пятницы в том году будут несчастными днями для промыслов.

В заключение спешим сделать еще одну важную заметку (подкрепленную и бывалыми промышленниками), которую привел

г. Озерецковский [16] в дополнительном описании северных берегов России, начатом академиком Лепехиным [17] в 1772 году. Вот собственные слова академика Озерецковского: «В походах своих звери наблюдают еще примечательное и странное правило, отнюдь не разрушаемое. Ни один зверь не может, ни для самоважнейших причин, отстать от стада. Чреватые утельги, если приспеет им в сем путешествии время к рождению, забывают живейшую побудительность естества к чадолюбию, которое в других обстоятельствах, несмотря даже на смертельные страхи, наблюдают. В сем случае рождающая, выскоча на плавающую или к берегу примерзшую льдину, выкидывает рождаемое и оставляет его там немилосердо без всякого о нем попечения, боясь лишиться общественного похода. Оставленное таким варварским образом несчастное исчадие, не имея согреяния, пищи, ежели до просушки чревных мокрот не захватит жестокий мороз, жизни его лишающий, получает отличный, уродливый, большеголовый образ, для коего называется *голован*. Сколько бы ни казалось сие обстоятельство невероятным, но оно очевидно и вообще известно. Голован, не имея пищи, лежит на льду или ползает на берег и в лес, пока природная белошершавая шерсть, препятствующая пуститься в водоплавание, вовсе не вычистится. что продолжается, без пособия отца и матери, более двух месяцев. Освободясь от сей шерсти и сделавшись серкою, пущается в море, где, пребывая во всю жизнь, не получает обыкновенной роду его величины, но всегда отличается видом и названием малорослого голована. Между тем по большей части остервененным промышленникам жертвою бывает малокорыстной добычи. Чудно строение естества, сокрывающее от наших понятий пружины, побуждающие толь напрягательно ежегодную сих зверей из Ледовитого моря к нам стремительность».

— Это, полагать надо, ревкуй,— старались догадываться и объяснять поморы.

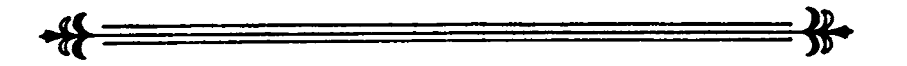
Ревкуй, с пятнистой шкуркой, поменьше обыкновенного тюленя и сердитый: вопреки обычаям боязливых и смирных лысунов, он бросается на людей с ожесточением.

— Он зло помнит: у него убили матку, алибо сам ее потерял, алибо она его. Он три месяца питается одним снегом. Когда подрастет — от него не бывает приплода. Оттого, знать, все и ревет. Когда подрастет в полный возраст, чтобы даром не коптил неба,— на залежках приставляют их в караульщики по той причине, что бывает всех прислушливей.

— Не путай (советовали в Сумах) этого зверя с ревяком-рыбой (ее и ревчей назовут в ином месте). Она по рани костлява, на окуня походит и только у нас живет *. Под Городом ее едят, а в наших местах слывет за поганую рыбу. Она с отравой, а скот ее ест с охотой: ему подсыпаем ее. Женщины дают тому, у кого завелись колики: высушивают и кладут под подсголовье...

---

* Водится и на Печоре. Похожа на навагу. Сушеную рыбу эту кладут там на упавшего в судорогах от падучей болезни. Там тоже ее не едят.



II

БЕРЕГ КАНИНСКИЙ

Физический вид его.— Морской зверь этого берега: заяц, тевяк, нерьпа.— Способы их ловли: стрельня.— Подробности этого рода промысла, по рассказам туземцев.— Остров Моржовец.— Разволочные избушки: их услуга и значение.— Голодовка и зимовка на Груманте (Шпицбергене).— Изобретательность и находчивость.

Если по Зимнему берегу разбросано только шесть селений и по Мезенскому пять, то Канинский окончательно пуст и безлюден. Составляя как бы продолжение Мезенского берега (от Мезенского залива до мыса Канина на полуострове того же имени), который весь покрыт лесом, переходящим в кустарник, Канинский берег безлесен. На нем редка даже приземистая сланка, не доходящая высотой от земли свыше аршина. Он — по описанию г. Рейнеке — «от мыса Канина к югу на 30 миль до реки Бугреницы состоит из шиферных гор, покрытых тундрой и около воды оканчивающихся голыми *щельями*, большей частью темно-серого цвета, из сплошного шифера. Хребет этих гор *(Тиунский камень)*, высотой до 60 сажен, идет к юго-востоку от мыса Канина, чрез Канинскую землю, до Чешского залива и, на другом берегу его, опять появляется в том же направлении по самоедской тундре. От Бугреницы к югу теряется шифер под толстым слоем песку и тундры. Однако, местами, в обрывах гор, видны каменные зубья; хребет этих гор до реки Торны — высотой около 50 сажен. Прибрежье большей частью песчано-глинистое. От Торны берег становится несравненно ниже и непрерывная цепь гор исчезает. Южнее этой реки стоят они отдельно одна от другой и кажутся стогами сена на ровной поверхности берега; цвет их несколько темнее цвета берега, состоящего здесь из невысоких песчаных осыпей, покрытых тундрой и прорезанных руслами рек: Месны, Камбольницы, Шойны и Кии. От реки Кии берег опять возвышается и до мыса Конушина составляет глинистый утес до 10 сажен высотой. Внутренние горы сливаются в общий хребет, с отличительными вершинами, до 40 сажен высотою. Прежде (около ста лет тому назад) через Канинский полуостров существовало водяное сообщение посредством рек: Чижи, впадающей в Белое море, и Чеши, вливающейся в Чешскую губу. Но теперь то озеро,

из которого вытекали обе эти реки, поросло мохом и превратилось в болото. От этого болота к северу тянется Канинская земля на 150 верст сплошным камнем, в котором видны по некоторым местам шиферные слои; в некоторых речках текут нефтяные копи, а по берегам попадается нередко серный колчедан, и даже когда-то производилась здесь разработка медных руд».

При мне весь берег Канинский, как и Мезенский, засыпанный снегами, окончательно запустел. Он брошен был на всю зиму и самоедами, которые по летам подходят к нему со своими оленьими стадами (и то, впрочем, редко), и самыми предприимчивыми, самыми смелыми из мезенских промышленников, которые иногда бродят сюда на так называемую *стрельну* (стрелецкий промысел) за нерьпой, морскими зайцами и тевяками. Звери эти, говоря словами туземцев, *не загребные*, *не юровые*, *не кожные*, т. е. такие, которые не ходят в стадах, или юровах, семьями, не загребают одновременно, но плавают в одиночку, без соблюдения условных периодов времени, хотя также гребут из океана и с той же целью — искания пищи. Все три породы зверей этих иногда проводят в водах Белого моря целые года, если не попадутся под пулю самоеда или мезенца.

Морской заяц (Phoca leporina), названный так по сходству с сухопутным зайцем, у которого величина соразмерна толстоте, а у морского голова круглая, шея короткая. Морской заяц имеет в длину те же $3^1/_2$ и $3^3/_4$ аршина, как и в толщину, хотя в то же время цвет его шерсти не белый или серый, а темно-желтоватый. Волосы его пушистее и длиннее, кожа значительно толще, чем у лысунов и у всех других тюленьих пород. Из кожи этой поморы выделывают прочные подошвы для своих охотничьих сапогов — бахил, а вымятую употребляют на санные вожжи. Зверь этот мечет обыкновенно по одному зайчонку, которые в первый период по рождении имеют на себе волосы мягкие, почти серо-голубого цвета. Для жизни своей морские зайцы предпочитают более северные части морей, и, заходя в Белое море, они делаются заметно мельче, чем, например, на Мурманском берегу около Ко́лгуева и Вайга́ча. Впрочем, и из беломорских зайцев успевают вытапливать сала от $6^1/_2$ до 8 пудов (весной от 4 до 5), хотя мурманские и колгуевские весят иногда свыше 15 пудов. Подстреленные охотниками, особенно в глухую летнюю пору, зайцы скоро тонут на воде. Любят нежиться на льдах и *гладухах* (подводных, осыхающих при отливе, камнях среди моря); любят жить в одиночку; любят, наконец, нередко заходить в пресные воды рек и речек. Водятся даже в некоторых больших озерах, каково, например, Ладожское.

Тевяк (Phoca monachus) — уродливое подобие льва с длинной шеей, к которой прикреплена голова формы лошадиной; около рта — густые, щетинистые усы; величиной больше морского зайца (4—5 аршин); шкура пятноватого, как у нерьпы, цвета с густыми, длинными, торчащими щетиной волосами. Предпочитая для местопребывания своего также более отдаленные, северные страны, они любят (хотя и весьма нечасто) селиться на Канинском берегу Белого моря и на Тиманском берегу океана. Здесь, выползая только среди моря

на луды, гладухи и поливные пески (и никогда на льды и берега), лежат, нежатся и засыпают. Чаще встречается зверь этого тюленьего рода около Трех Островов Мурманского берега и острова Моржовца (среди Горла). Сала дает пудов по девяти. Бьют его больше сонным, на лудах: спать он охотник.

Нерьпа (Phoca vitulina) значительно чаще изо всех тюленьих пород попадается в водах Белого моря. Длина ее равна длине серки (т. е. не достигает двух аршин), но чем севернее вылавливается, тем величина эта возрастает. Голова у них замечательно круглая, и столько же круглы большие зоркие глаза их. Шерсть, покрывающая нетолстую шкурку, отливает серебристым блеском, хотя в то же время цветом светло-желтая и значительно испещрена пятнами. Сала нерьпа дает до 2 пудов. За нерпичью кожу дают в Архангельске 25 и 30 коп. сер. В самой большой нерьпе не больше трех пудов; самая обыкновенная дает $1^{1}/_{2}$, $1^{3}/_{4}$ и даже полпуда. Нерпичью шкуру так часто приводится всем видеть на солдатских ранцах. В июле видят ее на берегах и прибрежных песках, всегда попарно, когда зверь этот *парится*, и в августе рожает детенышей по одному; двойни — замечательное исключение. На льды выходят они полежать; пресную воду любят; заходят в реки и живут постоянно в сладких озерах: Ладожском, Онежском и Байкале. В Каспийском море эти нерьпы (тюлени обыкновенные) — аборигены. В Белом море по зимам и веснам их больше, летом и осенью — значительно меньше; вероятно, они также уходят в океан. Попадаются в белужьи невода и семожьи сети; в последние заходят для отыскания пищи. Питаются также толокнянкой (Arbutus uva ursi). Во всяком случае, нерьпа самый меньший из всех зверей, населяющих моря. На Летнем берегу и у Соловецкого монастыря нерьпа попадает в нарочно для нее расставляемые сети. Сети эти плетутся из толстых ниток (в три прядки); ячеи величиной четверти две; их осмаливают. Сети опускаются в воду на деревянных ромбической формы поплавках, которые, для легкого держания на воде, коптят в огне. Попавшуюся в сеть нерьпу обыкновенно, при посредстве деревянной, фунтов десяти весу, колотушки *простят*, т. е. бьют в голову. Нерьпа, как известно, слаба головой.

Так как все эти три породы морских зверей ходят, как уже сказано, в одиночку, а не стадами, то и самая охота за ними, во всяком случае, не может быть артельной, какова, например, охота за лысунами и моржами. Так как эти звери, хотя и постоянные гости Белого моря, выходят на любимые ими места только по личному произволу (когда им захочется отдохнуть, полежать, погреться на солнышке, или когда влечет их к этому лежанью инстинктивное побуждение к соитию), то и самый промысел принимает иной характер, носящий название *стрельны*. На эту стрельну и сами промышленники отправляются в одиночку: каждый сам по себе. Это или тундряные самоеды, или самые ретивые, не знающие устали русские промышленники из приморских деревень Мезенского уезда.

Промысел этого рода безгранично утомителен: только освоившиеся со своей скудной родиной самоеды способны и привычны переносить все его невзгоды и сопряженные с ними житейские лише-

ния. Самоеды, прикочевывающие со своими оленьими стадами в летнюю пору на Канинский полуостров, иногда по целым суткам флегматически-сосредоточенно лежат в своих карбасах, спущенных на якорь дальше от берега, и терпеливо выжидают, когда-когда покажется на поверхности воды черная головка нерьпы, тевяк или морской заяц.

Покажется один из этих зверей, самоед не замедлит выстрелить в него из заряженного уже ружья, прямо в морду, и не промахнется ни в каком случае, если только зверь не успеет, высмотрев своего врага прежде его самого, нырнуть от всегда меткого выстрела в воду. (Самоеды, как и русские поморы, меткие стрелки.) Но такое терпение — выжидать целыми сутками зверя на поверхности воды — может доставаться только на долю самоедского племени. Русские к тому положительно непривычны; да и в таких случаях они приучились лучше предпочитать верный отдых в семейном кругу, чем на утлом, поталкиваемом с боку на бок карбасе, и притом в такой дали, каков тот же Канинский берег. В этом случае они поступают иначе.

Мезенцы, с незапамятных времен пребывания своего на берегах Белого моря, знают (и никогда не ошибаются в подобных случаях), что когда на Канинском и Тиманском берегу много *корму*, т. е. когда у берегов этих появляется в значительном количестве мелкая рыба *са́йка* (Gadus virens) — род наваги, видом похожая на налима, с синим и жидким телом и потому не годная к употреблению в пищу,— наверно в тех местах должны быть все три породы этого тюленьего рода, которые любят гоняться за рыбой сайкой и употреблять ее в пищу. Только этими обстоятельствами и положительными видимостями соблазняются мезенцы на дальний стрелецкий канинский промысел, и то самые беднейшие из них, в которых нужда породила и храбрость, и страсть действовать на авось, буквально — очертя голову.

Зная, что рыбка сайка преимущественно является в тех местах в конце ноября и живет там весь декабрь, что особенно любят жрать эту рыбку барышные нерьпы и что потому они являются туда в огромном количестве. (Продувая льдину, назначенную себе для залежки, нерьпы выползают через эту прорубь на поверхность льдины. Они лежат тут сторожко, имея всегда эту прорубь, как прибежище, как ближайшее и легчайшее средство к спасению в случае опасности.) Зная все это, бедняк из мезенцев долго не задумывается.

«Одна голова не бедна, а и бедна, так одна; семь бед — один ответ, а умирают люди один только раз на веку»,— думает какой-нибудь бобыль-одиночка или крутой смельчак и дела не кладет в долгий ящик.

Не обидела его судьба и самопроизвольная лень возможностью запастись крутоиспеченным с солью хлебом, горстями десятью соли и крупы (в малице, бахилах, шапке, камусах или рукавицах, и под одеялом он всю зиму бедует: без этого только самые плохие и пьющие хозяева живут на свете), смельчак не думает долго и собирается. Ходячая, разменная монета у него перед глазами — живее, чем

давно приглядевшийся Канинский берег, и нерьпа, и тевяк, и заяц морской. Между тем нужда бьет по боку назойливо и ежедневно. Осенится он аввакумовским крестом (если старой веры держится) и никоновским (если не соблазнен в раскол), чмокнет в уста того да другую (если найдутся у него в семье таковые) и, вскинув котомку с съестными припасами за плечи, взяв в руки ружье да дубину (пешню или носок с железным оконечником), ламбы * под мышку, лыжи на ноги, вскинет крестное знамение на лоб, обовьется длинным ремнем и побежит искать счастья и удачи вдали верст за 300 от родного крова.

— Да, тяжело ведь это для вас; скучно, думаю, так, как нигде и никогда,— замечал я тем поморам, которые ежегодно бегали на Канин.

— Скучно, говорят, ваша милость, у чертей в котле сидеть на том свете, да вот твоему благородью в стороне нашей задвённой. А нам ничего, ничем-ничего, хоть лопни глаза мои!

— Ведь, чай, все в карбасе качаетесь да на воду смотрите, зверя выслеживая?

— И в карбасе покачаемся, и всухомятку поедим, и, вместо ручья, из снегу воды добудем — нам это все что табашнику трубку табаку выкурить. Да нет: мы ведь в карбасе на нашей на заветной стрельне не качаемся. Тогда выстает зверя много — незачем в карбасе лежать: с берега очень в примету. Твою милость, кажись, охота-то наша крепко, вижу, забирает?

— Любопытна, должно быть, если не прямо стреляете.

— Нет, не прямо стреляем, а лукавим. Вот слушай теперь: надо тебе прежде сказать, что нерьпа лукавый зверь, особо та, которая около жила шатается. С этой по-христиански-то, по-православному не сладишь. Не чутка она на нос, зато далеко берет глазом; это не морж. Заприметит человечье тело версты за две — сейчас в воду; а там лови ты ее, когда семи пядей во лбу. Бродит эта нерьпа около припаев ледяных, и места-то мы эти знаем уж по своей по старой вере, по старым приметам. И то мы знаем, что человека она к себе близко не допускает. Вот тут и хитрит человек — божье рожденье, и хитрит-то он вот как... Да постой!..

Лежит зверь на гладухе (по зимам), на коргах, лудах (по летам)... больше всего на гладухах — тороса такие ледяные по зимам живут — лежат эти нерьпы. Тут мы их больше и берем... Вот нерьпа лежит — вижу, оком своим вижу и себе верю, что богу,— и лежит она не одна, а много. Из-за одной и рук марать нечего. Я сейчас на раздумье и сейчас к делу. На плечи напялю черный совик, на

* Все нехитрое устройство ламб основывается на том, что редкие из торосов не сопровождаются измельченным льдом, называемым *шугою*. Если от давления ноги мелкие льдинки, плавающие по воде, тонут, то достаточно размеренная быстрота передвижения ламб, широких и плоских, задерживает скорость погружения. Конечно, при этом необходимы крайняя опытность, главное — смелость, а еще более — огромное присутствие духа. Часто слегка нарушенный баланс, при самом первом скачке на шугу, часто ламбы задевают за льдину, и тогда смерть неизбежна: несчастный смельчак прямо падает в воду и затирается ближайшим льдом на века вечные.

голову — белую шапку беспременно, за спину вскину ружье, против себя доску держу, и водой я эту доску оболью, и заморожу, и по доске по этой *петничек* (деревянных гвоздочков) насажаю пропасть, чтобы снег держался, и поползу на коленках на льдину. Нерьпа видит доску мою, ропаком, льдиной-стамухой почитает; лежит и глядит на доску на эту зорко, во все глаза. Надул, думаю; стой теперь: я еще тебе штуку подпущу, знай ты меня! И сейчас кричать, сейчас стучать, как смогу и сумею, и опять одним глазком своим накинусь на зверя. Вижу, мечется он, по сторонам бросается, в прорубь сунется, опять выскочит, ухо прилаживает, прислушивается к проруби-то, не там ли, мол, шумит кто. Опять у проруби мечется, долго, круто мечется. Думаю: забрало! пошла битка в кон!.. гуляй, молодец,— твоя неделя. Он-то́ мечется! — а я ему «ого-го!» свое. Он-то пляшет да скачет,— а я свое дело правлю: ружье налаживаю, да пулей-то ему прямо в морду! — Так он и уткнется, так и продернет его всего крепкой судорогой. Ей-богу! это дело — ладное дело. На берег выйдешь, не прохохочешься. Эко, мол, ты человек — какой дикий да глупый, хуже, мол, ты самоеда нашего, право — недогадливый... Эдак-то мы по веснам больше... Тогда же и заячей ловим...

А есть у нас, твое благородье, и такие смельчаки (про себя только боюсь тебе сказывать), что облукавливают зверя всякого: и нерьпу, и тевяка, и заячей. И облукавливают они его вот как, и это труднее того, что рассказано. Доски на этот раз не берут: тут человек сам за себя отвечай, за свой ум, за все свое. Человек этот выходит на льдину весь белый, ворочается: нерьпу раздразнит, расшевелит. Она свое делает, и он по ее: она в одну сторону дернет и головушкой тряхнет — и он также; она ухом к проруби своей приложится — и он свое ухо на лед. Так и надует, так и облукавит! Зверь помечется, побесится: видит — человек что нерьпа, свой брат,— возьмет да и ляжет, успокоится и отворотится. Тут ей и пуля горячая!..

Мы ведь, ваша милость, из своих из плохих винтовок на пятьдесят сажен хватаем, и прямо в морду. И до того глупа на тот час нерьпа бывает, что щелкаешь ты выстрелами одних — другие не шелохнутся! Выстрелы-то эти, надо быть, за треск торосьев почитают. Облукавленный зверь — пропащий зверь, как перед богом!..

По берегу-то по Канинскому теперь избы настроили, хоть и не больно часто. У иной и часовня есть, и образ есть — да ведь в наледном-то промыслу что в этих избах? Тут вон со зверем ломаешься, хитришь, бьешь его: ум теряешь и сметку всякую, а на ту пору, глядишь, ветер оторвал твою льдину от припая да и понес в голомя. Сгоряча-то это тебе не в примету, а очнешься — руками махнешь, крестное знамение на лоб положишь, родителей, коли есть, вспомянешь, знакомые, какие на ум взбредут; сердцем опять надорвешься, глаза зажмуришь и поплывешь наудачу, куда ветер несет. На этот случай нам остров Моржовец * подспорье хорошее: все

* Скажем несколько слов о Моржовце — самом ближнем к Мезенскому берегу острове. Весь он гранитного строения с толстым пластом тундры, покрытым ягелем (оленьим мохом). Остров этот лежит к северу от Воронова носа, при выходе из Белого моря в Ледовитый океан, в 28 верстах от берега. Форма его овальная,

больше на него попадаем. Так вот и со мной раз было дело. А то уносит в океан, так там и погибают.

Вот оттого-то безрассуднее, бесчеловечнее наших тюленьих промыслов других больше и на свете нет...

Это ты там как хочешь... а и на дому-то потом не больно же много напастей после смерти своей бывает.

— Да правда ли, полно, все то, что ты сказал теперь?

— Истинная, сущая. Бобыль ты человек — по тебе зато и собака не взвоет. Семья у тебя есть — ну, известно, заревут бабы, шибко заревут. Опять-таки и они: поревут, поревут — перестанут. Это уж дело такое! Нет того на свете горя, в котором бы человек утешения себе не мог получить...

— Нет! как, брат, ты хочешь, как ты тут ни вертись, а уж если народ о человеке плачет, стало быть, человек дорог, стало быть, в человеке этом мир лишился товарища, а семья кормильца. Как ты себе ни ворочай дальше, а промыслы ваши глупо ведутся: попусту народ теряется из-за лишнего пуда сала. У вас семга есть, навага, зверь на Кедах на припаях лежит, добывать его в это время безопасно...

— Да ведь зверь-от лежит мелкота больше. А что ты больно смерть-то охаял? Где она тебе, сказано в Писании, написана, то место ты и на кривых оглоблях не объедешь: верно так!

Почти так же рассуждают и все другие поморы, которые, как и все простые русские люди, соберутся миром на улице, в кабаке. Услышат нерадостную весть о погибели товарища, покачают головами, покрутят плечами, перекрестятся, потолкуют:

— Вишь ты, братцы, грех какой, божеское наказание!

— Жаль парня-то, крепко жаль. Ну-ко поди! Хороший парень-от был, хороший!

— Хороший был, хороший — это что говорить. Жаль парня, жаль!

— И что его, братцы, угодило так-то?

— Да вот поди ты — угодило!

— Пошли ж ему, господи, царство небесное!

Опять весь мир деревенский перекрестится, опять все закачают головами, начнут толковать о бездолье погибшего парня, о тяжелом житье у моря и на морских промыслах и обо всем другом многом, да тут же и опросят друг друга:

— А кто из вас, братцы, на стрельню-то ноне собирается?

окружность около 40 верст. На нем текут две речки с пресной водой, Золотуха и Рыбная, и стоят два озера, также с пресной водой. Лес не растет здесь; жилья нет, кроме смотрителя и прислуги на маяке, выстроенном между 1832 и 1841 годами. В середине прошлого столетия, когда Мезень вела заграничный торг лесом, жили на южном краю острова лоцмана по найму лесной компании. Лед показывается у берегов Моржовца обыкновенно в начале октября, бродячие же торосы в начале ноября, и тогда прекращается всякое сообщение острова с материком. В мае сообщение это опять начинается и производится обыкновенно чрез посредство казенных судов, имеющихся при маяке. Не принося никакой прямо положительной пользы, за бесплодьем, безлюдьем, остров Моржовец весной служит спасительным пристанищем для *весновальщиков*, которых ежегодно, и не один раз, приносит сюда на льдинах.

— Да вот — я да дядя Никифор, дядя Михей, Кузька, Селифантей!..

— А когда, братцы, налаживаться станете?

— Да завтра, чай: что волочить дело по-пустому! — ответят в одно слово и дядя Никифор, и дядя Михей, и Кузька, и Селифантей.

Кто попал в беду и кому приходится отсиживаться в виду неизбежной смерти от голодовки, всех тех выручают промысловые избушки, неизбежно торчащие почти на всех островах Белого моря и во множестве разбросанные в удобных и необходимых пунктах по берегам. Кроме сторожевой службы, эти утлые строеньица служат другую, более существенную и знаменательную...

Стоят эти избушки на курьих ножках. Лажены они из прахового лесу, что пожалели и в печь бросить; углы избушек обглоданы и расшатаны; венцы сплошь и рядом околочены заплатами, да и те оторвались; вместо печи — каменка, пазы погрело солнышко и вытрусил ветер,— пожалуй, в такой избенке и не выпаришься, и тепло они держат кое-какое. Не хороши избушки складом и видом — хороши обычаем: не у всякой хозяин есть,— не надо стучаться и спрашиваться. Их и не запирают. В тамошних пустынных и безлюдных странах это издавна так и делается. Оставят там лодку и при ней шест — значит, чужая и нужная, никто ее не уведет.

Строят эти избушки соседние крестьяне про себя, да отсиделись недель десять сами, закалились еще больше во всякой нужде и терпении, съехали домой — владей избушкой кто хочет. Дай господи, чтобы овладел ею тот, кому приведется отсиживаться от морских непогод, гибели и голодной смерти. Вот почему не видал я таких промысловых изб, где бы про бездомного, случайного человека не оставлено было запасов: кадочки соленой трески, ведерка с солеными сельдями, соли на деревянном кружочке и сетки с поплавками половить свежей рыбки. Хранятся тут же всегда деревянный ножик, выдолбленная чурочка вместо стакана и прочее. Вот и низенькие лавки, на которых посидеть можно, и нары — выспаться; вот и тябло — богу помолиться. На одном я видел самодельную рамочку с медным створчатым образом.

На Колгуеве, на Новой Земле, Шпицбергене и т. д. такие убежища тоже построены давно, но кто их строил и из какого леса (привозного с берегу или выброшенного морем плавника) — никому не известно. Плавник здесь выручает не меньше привозных бревен из прибрежных лесов. Рубят избы в венец, как и быть надо. Рядом с тоненьким березовым бревешком, которое умела подрезать в половодье льдина, ложится и лиственный брус, обтесанный для благородных кораблей: честь всем одинакова. Стены мшат: мох под руками, и к тому же так много, что кроме его почти нет других трав и цветов. Устанут щипать мох в пазы, кладут все, что попадается под руки: и морскую траву, и крапиву. Я видывал и пеньку, и клочки рогожки. В стенах прорубают окна: одно маленькое — дыру, в которую тянет из избы дым, другое с задвижной доской на манер волокового, третье — красное, со стеклами. Переплетов не делают, а выходит так, что вся рама из осколков: один от разбитой бутылки,

другой от стакана; одно белое, другое зеленое, и все эти осколки скреплены берестяными лентами (березка растет там, извиваясь по земле змейкой и кутаясь во мху). А так как на такие рамы — большой злодей ветер, то кое-где стеклянные верешки закрепляют гвоздевыми костыльками. Крыши не кладут; много и той чести, если насыплют на потолок земли да набросают камушков. Из камней же и печь складывают, т. е., вернее сказать, не печь, а каменку. Если останется лесу, то сделают лавочки, но прежде всего — тябло для божьего милосердия.

Избушка готова: вставши во весь рост, я о потолок запачкал голову. На большие хоромы избушка не похожа, а на деревенскую баньку очень смахивает.

— Приладились мы зимовать,— подсказывал мне один помор,— и когда огляделись, ан в самом-то главном у на недостача. Все бы есть, а того нету. Забыли — согрешили, а взять негде теперь. Был с нами бывалый человек,— он смекнул, утешил всех да и позабавил мало-мальски. Вытесал он дощечку такую, гладенькую и чистенькую, взял нож и выцарапал им на той малой дощечке святой крест на все восемь концов. Помолился на него, поцеловал, поставил на тябло в угол избы, опять помолился и обсказал:

— Вот вам, товарищи, и икона Спасу молиться. На таком-то честном кресте господь терпел и нам, грешным, велел.

— Без бога ни до порога! — ответили ему мы на эти его слова все за один вздох и все сразу.

В расчете на подобную избушку, как на защитницу и покров, плыло на океанский остров Шпицберген русское промысловое судно, отправленное мезенским богачом Окладниковым. Пловцы по глухим слухам давно знали, что такая-то избушка свезена на остров и поставлена там. Поэтому не потеряли надежды и не пришли в отчаяние, когда судно их на ходу к острову было затерто льдом. Пристать было невозможно, но лед делал мост, хотя опасный и ненадежный. По такой густой, но мелколедяной каше, какова шуга, надо было умелым бежать на ламбах (в лыжах к ногам привязываются доски вроде полозьев; в ламбах эти доски загибаются с краев в виде лодочек или корытцев).

Вызвались идти на остров самые искусные и смелые: впереди всех сам голова и воротило-кормщик, Алексей Хилков, а за ним три товарища: крестник его Иван Хилков, Степан Шарапов и Федор Вершин. Взяли они ружье, рог с двенадцатью патронами, пороху, пули, топор, маленький котелок, 20 фунтов муки, огниво, трут, ножик. До берегу добежали все четверо целыми и невредимыми. От него в четырех часах пути нашли внутри острова промысловую избушку. Смерили ее, оказалось в длину шесть сажен, в ширину три; в углу стоит битая глиняная печка. Потолок успел прогнить, но его легко было починить — и сойдет избушка за гостиницу. Понравилась она так, что тут они и переночевали. Наутро пошли к морю повестить товарищей о радости и счастье, сказать, что нашли то, чего искали. Выбежали на берег, посмотрели на море,— ни льду, ни судна: гадай как хочешь, раздавил ли лед судно или уволок его,

куда ему ни хотелось, а беда все-таки висит на вороту. Спаслись на ламбах на глубоком море, пришлось погибать на своих ногах на сухом берегу. Хуже беды не могло стрястись: и стыдно, и обидно! Оставалось сделать одно — они и сделали. Вернувшись в избушку, вычинили стены, промшили мхом заново, да и прожили в ней 6 лет и 3 месяца. Умер только один, самый сырой и тучный. Трое ели мерзлую рыбу, отыскивали подо льдом ложечную траву, жевали ее сырую и спаслись от цинги. От голоду спасались мясом диких оленей, птицы и рыбы. Птица, прилетающая сюда линять, обыкновенно так слабеет, что ее били палками; рыбы было так много, что про свой обиход ловили простым мешком. Заряды жалели и берегли на оленей, на мясо (потребляя в течение 6-ти лет одно только мясо, они потом не могли есть хлеба). Раз нашли они на берегу доски с гвоздями и большой железный крюк — обломок какого-то разбитого судна. Товарищи-отшельники устроили кузницу, выковав сперва камнем — гранитным голышом, на голыше же, из крюка молоток, потом молотком, на том же голыше, из гвоздей сделали копья, насадили их ремнями на ратовище из наносного лесу: стала рогатина. С ней и воевали. Воевать приходилось с белыми медведями, т. е., вернее сказать, обороняться, так как зверь этот их сильно обижал. Варили пищу, разводя огонь из того же плавнику, который собирали на берегу. Огонь вырубали огнивом на трут, а в трут истлевало их платье. Когда истлела и измызгалась привезенная с берегу обувь, стали присноравливать (выделывать) меха и кожу от убитых зверей. Вымачивали да оскабливали, сушили да вырезывали. Нужда выучила и платье шить, и сапоги тачать: один стал портным, другому присоветовали быть сапожником. Тянули да высушивали оленьи жилы, как делают самоеды,— выходили нитки, выбирали рыбьи кости — вот и иголки. Надоело есть вареное и жареное мясо — стали коптить и есть копченое без хлеба, который весь вышел, но с солью, которую выпаривали из соленой морской воды, на железном листе. Пили ключевую воду, которой много бьет повсюду между скалами и стекает в море маленькими ручейками. Когда стало пробегать много песцов и лисиц — выдумали сделать самострелы: нашли доску, нашли крепкие и гибкие еловые сучья, приладили к ним доморощенный, но опытный глаз. С самострелом, с железным крюком и несколькими гвоздями, они не только защищались от зверей, но и охотились на них. Охота была немудреная: выложат мясо на крышу — прибегут либо песец, либо лисичка. Вместо часов, для счету времени и для счету в темные ночи, смастерили глиняную плошку. Стало протекать сало, плошку обожгли и облепили тестом. В 6 лет так наловчились ходить и бегать, что сделались столь быстрыми на бегу, что могли состязаться с скороходами.

Раз пустынники выбежали на берег, дрова собирать, взглянули в родимую сторону, а там парусок забелел, словно заблудший небесный посланец,— не иначе. Сложили дрова в кучу, зажгли; на длинный шест повязали оленью шкуру. По огню и по флагу поняли с корабля, что на острову живые люди. То было иностранное судно. Корабельщики спустили лодку, приняли отшельников, за 80 руб. с брата,

доставили в Архангельск, до которого от Груманта, при попутном ветре, дней 10—12 ходу. Весь длинный город ходил смотреть на грумантских схимников толпами, как на диковинку и великое чудо. На одном диковинкой была шуба вроде мешка, вся из черно-бурых лисиц, по петербургским ценам тысячи на три; на другом — мешок из белых лисиц, также редкостных. Рассматривали вывезенные ими драгоценности: 50 пудов оленьего жиру, 200 оленьих кож, 10 шкур белых медведей и очень много белых и синих лисиц. За 6 лет рассказов на полгода; да радостей в семье, что и на сотне возов не свезешь. В то время, как они, одетые дикими, на лодке входили в реку Двину и в город Архангельск, жена кормщика Алексея Хилкова шла по мосту. Увидев и узнавши отпетого и оплаканного мужа, она на радостях потеряла голову, заметалась и, в нетерпении свидеться с ним поскорее и обнять его покрепче, забыла про мостовые перила и бросилась с мосту прямо в воду. Ее, однако, успели спасти и приняли на подоспевшую лодку.

Из их рассказов оказалось, что самая великая беда заключалась в морозе: вода замерзала даже в избушках, а глотанье снегу не только не утоляло жажды, но даже доводило ее до адской муки. Когда не было возможности, по скудости топлива, растопить лед — предпочитали обходиться вовсе без питья. Ледяные куски делались твердыми, как стекло. Льдом покрывалось все, что находилось в избе, до последней веревочки. Стоило приоткрыть дверь, чтобы в избе образовалось целое облако удушливого пара, и пар этот, от щелей в избе, всегда наполнял ее полумраком. В особенности докучны были метели, которые длились дней по десяти и засыпали избушку так, что во все это время из нее, через двери, не было ни ходу, ни лазу. Когда стихали пурги, единственный выход из избушки — в потолочное отверстие, через которое выходит дым. Дым в таком заточении — неумолимый враг, потому что не всегда свободно выходит. Чем морознее становилось на дворе, тем непрогляднее в избе; каменка при этом испускала пурпурово-красные пары, дыхание человека походило на выстрелы из маленького пистолета. Припасы все леденели. Кислая капуста замерзала на манер слюды, слоями; можно было разрубать ее только ломом. Одно масло да сало твердели слабее; их раскалывали крепким долотом. Мясо и солонина застывали крепким камнем — и топору они не давались. Дышать было очень приятно, но высовывать язык далеко нельзя, и при том чем меньше приходилось говорить, тем было лучше. Мигнуть один раз стоило большого труда, голые руки как бы обваривало кипятком, и ножик в кармане жегся, как тлеющий трут, и т. д.

III

БЕРЕГА ЛЕТНИЙ И ОНЕЖСКИЙ

Прощанье с Архангельском и выезд оттуда.— Первые впечатления моря.— Заблудившаяся стерлядь.— Солза.— Посад Нёнокса; соляные варницы; беломорская соль и способы ее добывания.— Уна и унские рога с Пертоминским монастырем и преданиями о Петре Великом.— Селения по Летнему и Онежскому берегам.— Лов мелкой морской рыбы: наваги, камбалы, ко́рюхи. Ревяк.— Юнды. Продольники.— Остров Жожгин.— Белуха и промысел этого зверя, по наблюдениям и рассказам.— Салотопенные заводы и способы выварки звериного сала.— Город Онега: его история и первые мои впечатления по приезде туда.— Онежский лесной торг. Истребительная компания.— Народное прозвище онежан.— Беспутные.— Ссыльный Лев Юрлов.— Князья Долгорукие.— Суда романовки.— Крестно́й монастырь и Кий-остров.

Архангельский май 1856 года, против ожидания, оказался совершенно весенним месяцем, хотя, конечно, в своем роде: быстро зеленела трава, промытая вешней водой, быстро пробирались ручьи с гор в овраги и низменности. Скоро затем посинел речной лед, образовались полыньи, желтые окраины; расплылась всюду мягкая глубокая грязь. Ветер наносил весеннюю свежесть, чаще хмурилось небо дождевыми тучами. Утренники приходили к концу, постепенно утрачивая силу своего холода; все, одним словом, обещало скорый ледоплав и возможность пуститься в море. Вот два дня беспрерывно лил дождь, мелкий и частый, столько же времени крепились сильные порывистые ветры, и широкая, глубокая Северная Двина, надтреснувшись во многих местах и густо почерневшая на всем своем видимом Архангельску пространстве, наполнилась почти до краев — и начала вскрываться. Огромными кусками, иногда захватывающими больше половины реки, понеслась масса льду по направлению к морю. Раз остановилась она, спертая своим множеством, в узком Березовском рукаве реки, и залила водой Соломбальское портовое селение до нижних этажей его лачужек. Сутки стояла вода в селении, потешая добродушных обитателей карнавальскими играми в карбасах и лодках. Сутки же держался спершийся в устье лед, противясь напору новых кусков, наносимых горными ветрами. Наконец лед прорвало, и вся его масса прошла в Белое море, где придется ему или быть растертым в мелкие куски (шугу) морскими торосами, или

растаять в массе морской воды и не дойти, таким образом, даже до Горла моря. Для города наступило время *мутни́цы* — той грязной, желтой, густой воды, которая, по крайней негодности к употреблению, запасливыми хозяевами заменяется водой, заготовленной раньше ледоплава.

Кончилась и мутница. Выжидалось появление грязно-черного льда из реки Пинеги. Провалил и этот лед, сопровождаемый густой грязной пеной, успевши, по несчастью, разломать несколько барок с зерновым хлебом (по-туземному — *с сыпью*). Наступил июнь: городские деревья усыпались свежим мягким листом; повсюдная зелень била в глаза; солнце светило весело, грело своей благодетельной теплотой и заметно обсушало весеннюю грязь. Двина успела уже войти в свои берега и кое-где просвечивала даже песком у берегов. Стали ходить положительные слухи, что и море очистилось. Местное население высыпало в городской сад, приучаясь отдыхать под обаянием обновленной и просветлевшей природы... И город Архангельск красовался уже позади меня, весь сбившийся ближе к реке, по которой колыхался почтовый карбас, обязанный доставить меня на первую станцию по онежскому тракту, откуда, как говорили, повезут уже в телеге и на лошадях и дадут наглазный случай убедиться в истине присловья, что «во всей Онеге нет телеги», и достаточной вероятности факта, что там в былые времена «летом воеводу на санях по городу возили, на рогах онучи сушили».

Вправо передо мной, из-за зелени побережной ветлы, красиво серебрился шпиц и отливал золотом крест, венчавший деревянную церковь Кег-острова. Прямо тянулась река с своей непроглядной далью, в которой хранилось для меня, на тот раз, все неизвестное, все — что так сильно волнует и неудержимо влечет к себе. Влево тянулся обрывистый черный берег тундры и за ней выглядывал лес, а из-за него еще какое-то село, еще какая-то деревушка и опять та же Двина, ушедшая также в непроглядную даль. Ветерок веял прохладой: гребцы мои наладили парус, убрали весла, запели песню и разводили ее беззаботно-весело, разносисто-громко. Я обернулся на Архангельск не с тем, чтобы, глубоко вздохнув, пожалеть о разлуке с ним на четыре месяца, но чтобы просто посмотреть, так ли же хорош и он на своей реке, как, например, все города приволжские. При поверке и дальнейших соображениях, оказалось тоже, что и ландшафт Архангельска может увлечь художника своей оригинальностью и картинным местоположением. Правда, что и здесь нашлось много черт, общих со всеми другими городами: так же церкви занимали переднюю и бóльшую часть плана; так же церкви эти разнообразны были по своей архитектуре; так же белый цвет, сменяясь желтым, резче оттенял зелень садов и палисадников; так же, наконец, низенький новенький деревянный домик стоял рядом с большим двухэтажным каменным. На этот раз разница состоит в том, что вся эта группа городских строений тянется на трехверстном пространстве, замкнутом с правой стороны монастырем Архангельским, слева — собором Соломбалы. В середине красиво разнообразят весь ландшафт развалины так называемого немецкого двора, не разло-

манного до сих пор за невозможностью пробить скипевшуюся известь, связующую крепкие, окаменелые до гранитного свойства кирпичи новгородского дела. Но все это уходит постепенно вдаль и заволакивается туманом. Архангельск скрылся за Кег-островским мысом, с одной стороны, и тундристым, печального вида берегом, с другой. Потянулись берега справа и слева, кое-где лесистые, кое-где пустынные. Повсюдное безлюдье: ни человека, ни лошади не видать нигде. Выглянет из-за противоположного мыса еще село, раскинется деревня, но и там почти то же безлюдье и та же тишина, которая для нас нарушается только шумом воды на носу карбаса да раз только людским говором и криком с попутной соловецкой лодьи, обронившей паруса. Ветер стих; плыли греблей; шумела вода под веслами... Вот и все. Немного и дальше: в станционной избе, называемой Рикосихой, слепили глаза и не давали покоя мириады комаров, которые обсыпают в течение всего лета все прибрежья рек, озер и архангельского моря. То же самое ожидало (и действительно встретило) и на следующей станции, в Тóборах. Невыносимо била в грудь и спину избитая колеями и выломанная временем и употреблением гать [18], служащая дорогой: постукивали по ней колеса, привскакивали на своих местах и седок, и ямщик, с трудом собирая дыхание; заматывались, по обыкновению, лошади — хохлатые, разбитые ногами, сытно не накормленные, порядочно не выезженные. Те же удовольствия предстояли и на следующей станции и так далее — может быть, вплоть до самого города Онеги. К тому же ничто не развлекало внимания; пустынность и неприветливость видов поразительно сильно развивали тоску и апатию. Казалось, и конца нет этим мучениям; казалось, и не выдержать всех их...

— Ну вот, твоя милость, все ты пытал спрашивать: где море, где море? на, вон тебе и море!

Ямщик показал кнутовищем в дальную сторону расстилавшегося впереди нас небосклона. Первый раз в жизни приводилось мне видеть море, быть подле него. Я спешил посмотреть по направлению руки ямщика, но на первый раз увидел немногое: тускло и неприветливо глядело, по обыкновению, серенькое архангельское небо, и хотя на нем, на этот раз, во всей своей яркости сияло летнее солнце, то солнце, которое в описываемую пору скрывалось под горизонтом на какие-нибудь два-три часа, тем не менее близость моря почти была несомненна. В воздухе чувствовалась та свежая, заметно крепкая, но приятная прохлада, которая несколько (но довольно слабо) может напоминать ощущения человека, вдруг вышедшего из густого смолистого леса, в жаркую летнюю пору, на берег большого болотистого озера.

Резкий, довольно свежий ветерок, *морянка*, время от времени (*духами* — как говорят здесь) начинал веять в лицо и даже заметно разгонял мириады комаров, охотно кучившихся в лесной духоте. Но моря я еще не видал. Белесоватая широкая полоса, плотно слившаяся с небосклоном, могла, впрочем, казаться дальним краем морской воды, и это не подлежало уже ни малейшему сомнению

с той поры, как на этой белесоватой полосе далеко впереди показался беленький парусок, словно вонзенный в небо. Ближняя часть моря еще закрыта была от нас соседним перелеском: виднелся только парусок, полоса на горизонте — и только. Ближе к нам все-таки продолжали еще тянуться длинные, густые ряды невысоких, плотно стоявших одна от другой сосен и елей, вперемежку с необъятно-густыми, приземистыми и широкими кустами можжевельника. Ниже, по земле, у самой окраины дороги начиналось и тянулось в лесную даль, через кочки и мшины, бесчисленное множество красных кустов желтой морошки, находившейся на этот раз в полном цвету, и зеленели кусты цепкой вороницы, всегда разбрасывающей свои длинные ветви по голым и сухим местам, каковы здешние камни и надводные луды. Влево от нас, неоглядно вдаль, краснело топкое болото, вплотную почти усыпанное той же морошкой и той же вороницей, кое-где сверкающими на солнце лужами (радами, сурадками, подрядьем — по-здешнему, пугами — по-мезенски); кое-где по ним успели уже уцепиться мшины и даже объявилась чахлая лесная поросль — и только.

Между тем мы спускались под гору; лес прекратился, и море во всей своей неоглядной ширине лежало перед нами, сверкающее от солнца, пустынное, безбрежное, на этот раз гладкое, как стекло. Сливаясь вдали с горизонтом, оно обозначилось в этом месте густо-черной, но узкой полосой, как бы свидетельствовавшей о том, что дальше ее глаз человеческий проникнуть уже не может. Невозмутимая тишина по всей этой светлой поверхности, не осмысленная ни единым знакомым признаком жизни, производила какое-то неисходное, тяжелое впечатление, еще более усилившееся криком чаек. Они то поднимались, то опускались на огромный камень, красневший далеко от берега. Страшил на ту пору и этот лес, который мрачно потянулся вперед и назад по берегу, и эта пустынность, и одиночество вдали от селений, вдали от людей, обок с громадной массой воды и дикой девственной природой. Сосредоточенное молчание ямщика еще более усиливало безвыходность положения. Визг чаек начинал становиться едва выносимым.

Спустившись под гору, мы подъехали почти к самой воде, направляясь по гладко обмытому, как бы укатанному, и еще мокрому песку. Чуть не на колеса телеги начали плескаться волны, которые с шумом отпрядывали назад, подсекаясь на возвратном пути другими, новыми. Я заговорил с ямщиком:

— Что же, у вас дорога-то тут и идет подле самой воды?

— Дорога *горой* пошла. Да, вишь, теперь *куйпога*, а по ней ехать завсегда выгодней: и кони не заматываются, и твоей милости не обидно. *Горой*-то, мотри, всего бы обломало.

Своеобразная речь ямщика не казалась мне уже непонятной. Видимо, ехали мы подле морской воды в тот период ее состояния, когда отлив унес ее вдаль от берега (в голóмя), и продолжалось еще то время, когда полая (прибылая) вода не неслась еще приливом к берегу. Через 6, может быть, даже через 5—4 часа, то ме-

сто, по которому мы едем, на арщин покроется водой *. Давно также известно мне было, что для приморского жителя все виды местностей делятся только на два рода: *море* и *гору*, и горой называет он высокий морской берег и все, что дальше от моря, хотя бы тут не было не только горы, но даже и какого-либо признака холма, пригорка и проч.

Вероятно, поощренный моим вопросом, ямщик обратился ко мне со своим замечанием. Растопыривши свою пятерню против ветра, к стороне моря, он говорил:

— Ведь оно у нас так-то никогда не живет, чтобы покойно стояло, как в ведре бы, примерно, али в кадке: все зыбит, все шевелится, все этот *колышень* в нем ходит, как вот и теперь бы взять. Нет ему так-то ни днем, ни ночью покоя: из веков уж, знать, такое, с той самой поры, как господь его бог в нашей сторонушке пролиял...

А вот по осени у нас падут ветра, ай! — как оно разгуляется! взводнишшо (волнение) такой распустит, что без нужды-то большой и не суются.

— И вот гляди, твоя милость,— продолжал он все тем же поучительным тоном, каким начал, указывая своей пятерней на расстилавшееся под нашими ногами море,— никакую дрянь эту наше море в себе не держит, все выкидывает вон из себя: все эти бревна, щепы там, что ли — все на берег мечет. Чистоту блюдет!

Он показал при этом на ряды сухих сучьев, досок и тому подобного, рядами сбитых на прибрежный песок, по которому мы продолжали ехать все дальше влево.

В море белел новый парус: солнце осветило большое судно.

— Лодья идет,— заметил я,— должно быть, из Архангельска?

Ямщик быстро оглянулся, удивленным взглядом посмотрел на меня и спрашивает:

— А ты почем это смекаешь?

— Да ветер дует оттуда, а лодья бежит парусом...

— Так, воистину так: знаешь, стало быть; а то возим и таких, что и не смекают. Не спуста же ты с Волги-то сказывался.

Архангельские поморы до того любопытны и подозрительны, что во всякой деревне являются толпами и в одиночку опрашивать всякого: куда, зачем и откуда едет, и всякой подробностью жизни нового лица интересуются едва ли не больше собственной. В этом поморские мужики похожи на великорусских баб и нисколько на мужиков, почти всегда сосредоточенных на личных интересах и более молчаливых, чем любознательных.

— А коли смекнул ты умом своим дело это,— продолжал мой ямщик,— так я тебе и больше скажу. Лодья-то эта, надо быть, первосолку рыбу тресочку с Мурмана привозила; опять, знать, туды побежала за новой! Едал ли, твоя милость, свежую-то?

Получивши утвердительный ответ, ямщик продолжал:

---

* По наблюдениям г. Рейнеке, песок во время отлива осыхает в этих местах на 30 сажен, а возвышение прилива доходит до $3^1/_2$ футов.

— Больно ведь хороша она, свежая-то: сахарина, братец ты мой, словом сказать! Нам так и мяса твоего не надо, коли тресочка есть,— верно слово! У вас там, в Расее-то, какая больше рыба живет, на Волге-то на твоей?

— Стерлядь, осетрина, белужина, судаки...

— Нет, мы про этих и слыхом не слыхали, не ведутся у нас. Стерлядь-то вон, сказывают, годов с пять показалась на Двине *: так едят господа, да не хвалят же. Треска, слышь, да семга наша лучше! Нет, у нас вашей рыбы нет: у нас своя. Вон видишь колышки?

Ямщик при этом указал в море. Там торчали в несметном множестве над водой колья, подле которых качался карбас, стоящий на якоре; из-за бортов суденка торчала человеческая голова, накрытая теплой шапкой. Ямщик продолжал:

— К колышкам к этим мы сети такие привязываем: камбала заходит туда, навага опять, кумжа; кое-кое в редкую и сельдь попадает, семушка — мать родная, барышная рыба! Да вон гляди: карбасок качается и голова торчит — это сторож. Как вот он заприметит, что заплыла рыба, толкнула сеть, закачала *кибасы* (верхние берестяные трубочки, поплавки сети), он и взвопит. В избушке-то в этой, что у горы, бабы спят. Услышат они крик, придут, пособят вытащить сеть, какая там рыбина попадет — вынут.

— А места-то вот эти, где мы камбалу ловим, *ка́легой* зовут,— продолжал мой ямщик, видимо разговорившийся и желавший высказать все по этому делу.— У нас ведь, надо тебе говорить, на всякое слово свой ответ есть. Вот как бы это по-твоему?

Он показал на прибрежье.

---

* Появление в Двине стерляди весьма правдоподобно объясняют тем, что она зашла сюда из Шексны через канал Александра Виртембергского и осталась в реке по закрытии его. То же самое явление замечено еще в г. Вычегде (Вологодской губ.), где в реку его имени попали стерляди из Камы, через Северо-Екатерининский канал. Прежде этой рыбы там вовсе не было. «Жители, незнакомые с этой рыбой,— пишет в своем «Дневнике» Вас. Ник. Латкин, напечатанном в «Записках Географического общества» (кн. VII, 1853 г.),— бросали ее, считая нечистой, но скоро поняли, что стерлядь лучше семги, и принялись ловить ее сетями, чаще самоловами. Количество стерляди не уменьшалось, а увеличивалось с году на год, так что в последнее время налавливают ее много, часто весьма крупную, в $^3/_4$ аршина и более. Вероятно, мутные воды Вычегды дают ей много питательных веществ: она быстро развелась в этой реке, поднявшись до самой ее вершины и по некоторым притокам (в р. Сысоле стерляди, однако, вовсе нет)». Простой народ (рассказывают в Холмогорах) считал ее также *поганою* рыбою и потому за бесценок продавал любителям из чиновничьего и купеческого люда в Архангельске. Теперь, впрочем, и простонародье нашло в ней вкус, и цена на рыбу поднялась до 2 руб. сер., за самую, впрочем, крупную (в Усть-Сысольске в первое время она, живая, стоила от 3 до 5 коп. за фунт). Мне передавал за достоверное, как самовидец, холмогорский исправник, что в с. Лявли крестьяне позвали священника, заказали молебен, просили кропить святой водой чудище, которое, может, наслано божьим произволением на погибель всей прочей рыбы. «А что это за рыба? — чешуи на ней нет, без шубы какая же рыба живет? Что это у ней за бляхи на спине и что это за поганое рыло? Отойди от нас всякая нечистота! Спаси, господи, и помилуй от всякого дьявольского наваждения!» В настоящее время дошло уже до того, что объявления столичных рыбных лавок хвастливо зазывают покупателей на «двинскую стерлядь», очень маловкусную. В Архангельске на моих глазах за ужином съели всю разварную семгу, а от стерляди какой-то любознательный урвал один лишь кусок, очевидно, на пробу.

— Грязь, по-моему, ил...

— По-нашему — *няша*; по-нашему, коли няша эта ноги человечьей не поднимет — *зыбун* будет. По чему даве ехали — *кечкар*, песок-от. Коли камней много наворочено по кечкару, что и невдогадь проехать по нему,— это *костливой* берег. Так вот и у нас. В Онеге будешь — там это увидишь вчастую. Там больно море неладно, костливо!

— Вот это,— продолжал он опять,— что вода осталась от полой воды, лужи — *залёщины*. Так и знай! Ну да ладно же, постой!

Он замолчал, пристально всматриваясь в море. Долго смотрел он туда, потом обернулся ко мне с замечанием:

— А ведь про лодью-то про эту я тебе даве соврал: лодья-то ведь соловецкая! Не треску, а, знать, богомольцев повезла.

— Почему же ты так думаешь?

— Да гляди: на передней мачте у ней словно звездочка горит. У них навсегда на передней мачте крест живет медный; поближе бы стала, и надпись бы на корме распознал. Они ведь у них... лодьи-то росписные такие бывают. Поэтому и вызнаем их. И лодье ихней всякой имя живет, как бы человеку примерно: «Зосима» бы тебе, «Савватий», «Александр Невский» [19].

Между тем волны начали плескать на песок заметно чаще и шумливее; в лицо понес значительно свежий ветер (NO), называемый здесь полуношником. Лодья обронила паруса. Небо, впрочем, попрежнему оставалось чисто и ясно. Поверхность моря уже заметно рябило волнами. Ямщик мой не выдержал:

— Вот ведь правду я тебе даве сказал: нет в нашем море спокою. Завсегда падет какой ни есть ветер, вон и теперь на голомянной (морской) сменился.

При этих словах он повернул лицо на сторону ветра и, не медля ни минуты, опять заметил:

— Межник от полуношника ко встоку (ONO); ко встоку-то ближе, вот какой теперь ветер заводится. Пойдет теперь взводень гулять от этого от ветра, всегда уж такой, из веков!

Едва понятная, по множеству провинциализмов, речь моего собеседника была для меня еще не так темна и запутанна, как темна, например, речь дальних поморов. На наречие ямщика, видимо, влияли еще близость губернского города и некоторое общение с проезжающими. В дальнем же Поморье, особенно в местах, удаленных от городов, мне не раз приходилось становиться в тупик, слыша на родном языке, от русского же человека, непонятные речи. Прислушиваясь впоследствии к языку поморов, наряду с корельскими и древними славянскими, я попадал и на такие слова, которые изумительны были по своему метко верному сочинению. Таково, например, слово *нежить*, заключающее собирательное понятие о всяком духе народного суеверия: водяном, домовом, лешем, русалке, обо всем, как бы *не живущем* человеческой жизнью. Много находил я слов, которые, кажется, удобно могли бы заменить вкоренившиеся у нас иноземные; например: *махáвка* — флюгер, *перёшва* — бимс, брус для палубной настилки, *возка* — транспорт, *голомя* — морская даль, *дрог* — фал

для подъема реи, *красная беть* — полный бейдевинд, *бéтать* — лавировать, *приказенье* — люк, *упруга* — шпангоут, и проч., и проч. Правда, что в то же время попадаются и такие слова, каковы, например: *леме́ха* — подводная отмель, *па́дера* — бурная погода с дождем, *ала́ж* — место на судне, усыпанное песком и заменяющее печь, *гуйна* — будка на холмогорском карбасе... Но об этом в своем месте.

— Что это тебя охмарило, твоя милость? — снова заговорил мой ямщик.

— Что ты говоришь? — спросил я.

— Да, вишь, тебя словно схитил кто, осерчал, что ли?

— Задумался.

— То-то. А я думал, не от меня ли, мол?

— А что, земляк? — начал я, чтобы поддержать снова завязавшийся разговор между нами.

— Чего твоей милости надо: спрашивай!

— Неужели у вас только на море и промысел?

— У нас-то?

— Да.

— Не все у моря; в город ходят; на конторах там живут; суда опять чинят...

— Да ведь вы и хлеб, кажется, сеете?

— Как же! треть ржи высеваем, две трети жита (ячменя). Да что ты захотел от нашего хлеба? Только ведь слава-то, что сеем, себя надуваем, а, гляди, все казенный едим: своего не хватает. Вон лета-то наши, видишь, какие у нас: все холода стоят. Где ему тут, хлебушку, уродиться? Не уродиться ему, коли и хорошее лето задастся. Вот и посеем, и надежду на это большую положим, и ждем, и в радость приходим: взойдет наше жито, и семя нальется. А там, гляди, из кажной мшины и пошел словно пар туманом: все и прохватит, и позябнет твой хлеб — твои труды. Из чего тут биться, к какому концу приведешь себя? — ни к какому. Верь ты слову!

— Вон, коли хочешь, поле-то наше, все оно тут налицо! — продолжал ямщик, опять указывая на море.— Это поле и пахать не надо: само, без тебя, рожает. Вон откуда мы хлебушко-то свой добываем, и не обижает, ей-богу! Поведешь с ним дело, без лихвы не выйдешь из него, ей-богу!..

Мы повернули в гору. Вода значительно прибывала, чем дальше, тем больше. Волны морские становились круче и отдавали глухим шумом, который так увлекателен был во всем этом безлюдье. Есть где было разгуляться и этому морю, и этому шуму, из-за которого не слыхать уже было ни чаек, не видать уже было лодьи, ни сторожевых карбасов. Мы ехали недолго и, стало быть, немного, когда под нашими ногами, под горой, раскинулась неширокая река Со́лза, а по другую сторону — небольшое селение того же имени, с деревянной церковью. Надо было переезжать на карбасе и тащить свои вещи пешком с полверсты для того, чтобы взять новых лошадей и поверить личными расспросами ту поговорку, которая ходит про солзян, и по смыслу которой будто они, выходя на морской берег, к устью реки своей, и видя идущую морем лодью, говорят на ветер: «Разбей, бог, ло́дью —

накорми, бог, Со́лзу». Настоящий же смысл этого присловья оказался таков, что Солза, находясь довольно в значительном удалении от моря, на реке, в которую только осенью (и то в небольшом количестве) заходит семга, живет бедно, живет почти исключительно, можно сказать, случайностями: или той же починкою разбившейся о ближайший, богатый частыми и значительными по величине песчаными мелями морской берег, или ловлей морского зверя — *белуги*, которая только годами заходит сюда. Хлебопашество в Солзе также незначительно, по бесплодию почвы и суровости полярного климата, и вообще деревушка эта, и при наглазном осмотре, гораздо беднее многих других.

Также незначительно хлебопашество и в следующем поморском селении Нёноксе; но посад этот несравненно богаче и многолюднее Солзы. Не говоря уже о том, что Нёнокский посад, вследствие какой-то случайности, разбит на правильные участки, с широкими прямыми улицами, сами дома его глядят как-то весело своими двумя этажами. В нем две церкви, из-за которых синеет узкая полоса моря, удаленного от посада, прямым путем, на шесть верст. По улицам бродит пропасть коров, овец, лошадей; попадается, против ожидания, много мужиков и не в рваных лохмотьях, как в Солзе. Видимо, живут они зажиточно и живут большей частью дома, не имея нужды отходить от него. Множество каких-то длинных, мрачных с виду изб, попадавшихся мне на дальнейшем пути по берегу из Ненохсы в Сюзьму и оказавшихся соляными варницами, принадлежит посадским. В этом исключительном занятии вываркой из морской воды соли ненокшане находят средства к замечательно безбедному существованию. Всех солеваренных заводов по прибрежьям Белого моря насчитывали до 10-ти. Кроме того, 12 соляных колодцев принадлежали к варницам посада Ненохсы. Соль, вывариваемая здесь, называется *ключевкой*, тогда как соль, добываемая на дальних варницах Летнего берега, например в Красном селе, называется *морянкой*. Дело выварки соли производится таким образом: к *чрену* — огромному железному ящику, утвержденному на железных же полосах снизу и на четырех столбах по сторонам,— прокапывают от моря канаву или проводят трубы. Канавой этой или трубами протекает морская вода (рассол) и наполняет чан доверху. Снизу подкладывают огонь и нагревают рассол этот до состояния кипения и испарения; затем накипевшую грязь снимают сверху лопаткой, а оставшуюся на дне чрена массу (по прекращении водяных испарений) выгребают и сушат на воздухе. При этом на каждый пуд соли идет 1 сажень дров. Касательно крепости морского рассола замечают туземцы следующее: рассол у Красной горы на 3 процента сильнее рассола соседних варниц, в средине моря на 4 процента, у Святого Носа уже на 5 процентов. Но и во всех этих случаях крепость рассола зависит также от времен года. Так, например, весной рассол у Красной горы двинской водой так бывает разжижен, что выварку соли должны бывают приостанавливать на апрель и май месяцы. При этом замечают также то естественное явление, что в тихую погоду вывариваемая соль чище, при ветрах выделяется окончательно грязная, а при продолжительно тихих пого-

дах и солнечном сиянии она кристаллизуется сама собой на прибрежных камнях и лудах.

В осенней ловле семги и другой мелкой морской рыбы ненокшане ищут только простого средства прокормить самих себя и семьи свои некупленной пищей. Правда, что дело выварки соли ведется — во имя русского «авось», «небось», да «как-нибудь» — небрежно. Рассол, проходя через грязные, никогда не вычищаемые трубы, дает соль какого-то грязного, черного вида, с известковым отложением и другими негодными к употреблению примесями. Правда, что эта соль даже и вкусом своим, отдающим какой-то горечью, не выполняет главного своего назначения и не заключает необходимого характеристического свойства — солености и, во всяком случае, неизмеримо отошла достоинством от норвежской и французской соли, ввозимой поморами из-за границы (через Норвегию) беспошлинно. Этим обстоятельством можно объяснить себе то, что по берегу Белого моря много уже солеварен прекратили свои работы и что поморы решительно не пускают в дело при солении рыбы свою соль, ограничивая ее употребление только за домашней трапезой в приварке и в других пресных блюдах. Между тем рассол морской воды по всему Летнему берегу до того основателен, что дает возможность к существованию, до настоящего времени, в следующем за Неноксой небольшом селении Сюзьме морских купален. Они давно и положительно облегчают страдания многим архангелогородцам, выезжающим сюда, по летам, на дачи. Точно так же мелькнули мимо меня и городские шляпки, зонтики, пастушеские шляпы с широкими полями и трости в мой проезд через это селение, как мелькали они и в 1831 году, когда начались сюда из Архангельска первые выезды больных для морских купаний.

Те же задымленные, старые солеваренные сараи, пропитанные копотью, смрадом и сыростью, попадаются за Сюзьмой: в Красной Горе и в Унском посаде. Те же слышатся рассказы о том, что и здесь ловят, по осеням, в переметы семгу; что в невода охотно попадает и навага, и кумжа; что также у берега выстают белуги, но что не ловят их за неимением неводов, которые дорого стоят. Невода эти архангельские барышники и готовы бы уступать напрокат, но только за невероятно дорогую процентную сумму, от которой-де легче в петлю лезть, чем класть обузой на свои доморощенные, некупленные плечи.

Во всех этих местах, по осеням, идет и сельдь, но в весьма незначительном количестве, сравнительно с кемским поморьем. Те же двухэтажные дома, те же деревянные церкви или, вместо них, такие же часовни мелькают в каждом селении; тем же безлюдьем поражают прибрежья моря; те же, наконец, колышки торчат в воде у берега и качается на волне карбас со сторожем. Разницы в способах ведения промыслов между всеми этими селениями нет никакой, кроме, может быть, того только, что в Уне (посаде) обыватели ходят также и в лес за лесной птицей, по примеру следующих деревень к городу Онеге, на значительное уже расстояние удаленных от моря, каковы: Нижмозеро, Кянда, Тамица, Покровское и другие. На 20, на 30 верст удалены селения одно от другого, и только по две, много по три, часто пустых промысловых избушек напоминают на всех этих перегонах

между приморскими деревнями о близости жизни, труда и разумных существ. Чем-то необычайно приятным, как будто какой-то наградой за долгие мучения, кажется после каждого переезда любое из селений, в которое ввезут наконец с великим трудом передвигающие ноги почтовые лошаденки. То же точно испытывается и в следующих за Сюзьмой селениях, в деревне Красной Горе и в посаде Унском.

Не доезжая несколько верст до Уны, с крайней и последней к морю горы можно (с трудом, впрочем) усмотреть небольшой край дальней губы, носящей имя соседнего посада. Губа эта памятна русской истории тем, что судьба указала ей завидную долю принять на свои тихие воды, защищенные узким проходом *(рогами)* от морского ветра, ту лодью, которая в 1683 году едва не разбилась, в страшную бурю 2-го июня, о подводные мели и едва не потопила вместе с собой надежду России — Великого Петра [20]. Западный мыс, или рог, называемый *Яренгским* (ниже соседнего — Красногорского), покрыт березняком и держит перед собой песчаную осыпь, которая в ковше губы, на низменном прибрежье, покрыта лугами, а дальше по горе — лесом и пашнями. Красногорский рог, покрытый сосняком и возвышающийся над водой на 11 слишком сажен, закрывает со стороны моря небольшой, бедный иноками и средствами к жизни заштатный монастырь *Пертоминский* и две деревушки с солеварнями.

В Пертоминском монастыре расскажут, что основание ему положено при царе Грозном (1566 года) сергиевским старцем Мамантом, в часовне, выстроенной над телами утонувших в море соловецких монахов Вассиана и Ионы и выкинутых здесь на берег; что в 1604 году иеромонах Ефрем выстроил церковь Преображения, ходил в Вологду за антиминсом [21], на пути был ограблен и убит литовскими людьми; и что, наконец, только в 1637 году удалось кончить дело строения монастыря понойскому иеромонаху Иакову, построившему вторую церковь Успения и собравшему людное братство. Расскажут, что Петр I с бывшим при нем архиереем Афанасием [22] свидетельствовал мощи основателей, а найдя кости на одного праведного, сам их запечатал, однако ж велел преподобным составить и издать службу. Покажут также, что время основания церкви каменной относится к 1685 году, и прибавят ко всему этому то, что немногочисленность братии в настоящее время зависит от крайнего удаления монастыря в сторону от большой дороги. Питаются они промыслом рыбы и подаянием от богомольцев, изредка заходивших сюда по пути в монастырь Соловецкий, но с тех пор, как завелись пароходы, весь народ проезжает мимо. Впрочем, и в счастливое время этот монастырь, со скотным двором и другими хозяйственными постройками, более походил на большую ферму, чем на иноческую обитель, будучи даже огорожен одним палисадом. Благодаря спасению своему, Петр I приказал построить каменные кельи и эту ограду с угловой башней, от которых теперь и следа не осталось. Рассказывают, что и монахи ленивы были молиться, говоря приходящим богомольцам:

— Мы только так позвонили, а за нас ангелы молятся на небесах.

В голодный 1767 год монастырь помогал поморам, которые приходили сюда (даже за 35 верст, как из Сюзьмы), чтобы принять ло-

моть хлеба и отнести его к страдающей семье. Монахи с нанятыми рабочими сеют ячмень и рожь (урожай — сам-4) и садят овощи (даже огурцы в парниках). В монахах все больше люди дряхлые, ни к какой работе не способные, и в бесплатных рабочих — обетные. Один был человеком достаточным: накупил рябчиков, повез в Петербург, и на дороге загнил товар. Вскоре судно его потонуло в Мсте, а затем обанкротился в 7 тыс. руб.; кредитор его в Норвегии. Бедняк удалился в эту пустынь и сделался в ней послушником.

Следующие по Летнему берегу селения — Яренга и Ла́пшенга — выстроены на песчаном берегу и оба имеют по одной церкви, около 50 домов и по сту обывателей. Яренгская церковь выстроена над телами св. Иоанна и Логина, также утонувших в море, вблизи Яренги, во времена царствования Федора Ивановича, около 7102 (1594 г.). С севера от Лапшенги берег к деревне Дураковой значительно возвышается. Выступают из-за прибрежьев лесистые холмы, известные под названием *Летних гор*, поднявшихся над морем от 30 до 50 сажен. Однако общий вид берега безотраден: тускло горят во всегдашней мрачности воздуха беломорских прибрежьев сельские кресты и главы, хотя солнце и благоприятствует лучшему явлению. Серенькими кучками кажутся из морской дали дома деревень этих. За ними мрачно чернеет лес, раскинутый по горам, и страшно глядят зубья и щели прибрежного гранита, за который цепляется весь этот сосняк и ельник. За маленькой бедной деревней Дураковой к Ухт-Наволоку берег становится до того *костлив*, или каменист, что кажется целой стеной, огромной поленницей набросанных один на другой кругляков. К тем из них, которые поднимаются водой, прицепилось несметное множество маленьких белого цвета раковин, в которых от действия солнечных лучей и приливов воды развиваются морские улитки. Видится тура, или морская капуста. Обхвативши листьями своими, бледно-зеленого цвета, прибрежный камень, тура плавает на поверхности воды, не отходя далеко от места своего прикрепления, и поддерживается в этом плавучем положении теми шариками, которые заменяли здесь, вероятно, и цвет, и плод, и которые сильно щелкали и под ногами, и в руках от нажиманья.

Лов мелкой рыбы по всему Летнему берегу производится в следующих родах этих рыб и по следующим способам. Первое место здесь, по более значительному улову, принадлежит *наваге*, величиной не превосходящей двух четвертей (Gadus callarias). Наружным видом, по отсутствию чешуи, или клёска, навага похожа на налима и треску. С последней она имеет еще то поразительное сходство, что так же кровожадна, если не больше, и так же питается рыбой, меньшей ее по величине. В конце октября или в начале ноября навага бывает самая крупная по той причине, что в это время в устьях приморских рек мечет свою мелкозернистую икру, годную в употребление только в свежепросольном виде. Привозимая в Архангельск мороженой, она доставляет дешевую и вкусную пищу для тамошнего бедного простого народа.

Способ ловли рыбы прямо основывается на исключительном свойстве ее — кровожадности. Он состоит в том, что к леске уды при-

вязывается кусочек свинцу, длиной в четверть, а к нему, на ниточках, уже и самая наживка — это иногда куски той же наваги. Алчная рыба, не замечая того, хватается за наживку тотчас, как только заметит ее в воде, и так плотно присасывается своим круглым, огромным ртом все дальше и больше, что потом приходится отбивать ее о лед или отдирать руками с значительно сильным напряжением. Нередко вытаскивали на наживке нескольких наваг, ухватившихся зубами одна за хвост другой. Так ловят навагу по осеням в Мезени, в прорубях, и замечают притом, что рыба не хватает наживки в то время, когда мечет икру, и потом с весны присасывается так же алчно, как и осенью. За достоверное также рассказывают там, что навага у одного клюет необыкновенно охотно, у другого лениво и даже совсем не берет наживки, хотя рыбакам приходится сидеть рядом у одной и той же проруби и хотя не раз приводилось им меняться удами. Известно также, что, употребленная в пищу, рыба эта надолго оставляет во рту свой неприятный характерный запах, какого не замечается при употреблении других беломорских рыб.

Ко́рюха (Salmo eperlanus или Osmerus eperlam-marinus), также в значительном количестве идущая к Летнему берегу Белого моря, доставляет туземцам значительный продукт для сбыта на архангельском рынке. Рыба эта одной и той же породы с корюшкой, которая ловится в Неве и Ладожском озере, с той только разницей, что из моря заходит в реки не на значительные пространства и что вкусом своим она мягче, хотя и меньше телом, и не обладает тем неприятным запахом, который поразителен в петербургской корюшке. Продается она простому народу в Городе по зимам мороженой, а по летам или сушенной в печках, или вяленной на солнце.

Камбала (из Pleuronectes, именно Cynoglossus) — менее жирная, чем рижская, но той же палтусиной породы, только гораздо меньшая ростом (палтус бывает весом от 7 фунтов до 10 пудов; камбала самая крупная — $^1/_2$ аршина длины и самая мелкая — 3 и 4 вершка). Крутое и белое мясо ее бывает лучше вкусом весной и летом, когда рыба эта любит зарываться в тинистые, иловатые места при устьях приморских рек. Отлив несет ее всегда в море, прилив приносит ее за собой иногда в несметном количестве. Плавает она необыкновенно быстро, причем оба глаза ее обращены кверху, и самая рыба лежит и плавает обыкновенно так, что черная спина ее обращена к поверхности воды плашмя. Кособокая рыба устроена так, что кажется как будто раздавленной, и вся она странная, все у нее не на своем месте: голова прикреплена сбоку, спинной плавник охватывает всю спину, у иных кривой рот и у всех одна сторона тела темная, другая светлее. На темной сидят рядом оба глаза в чрезвычайно близком расстоянии друг от друга. Оборотясь этой стороной кверху, она спокойно лежит в иле, не отличаясь от грунта и обманывая тем беспечно плывущую добычу. У ней нет плавательного пузыря, а потому и предпочитает лежать, и если вздумает подняться на поверхность воды, то также плоско лежит на волнах,— и они уже несут ее, а не сама она плывет. Испуг ее приободряет,— тогда она, как молния, стремится недолго в прямом направлении и, снова принявши привычное плоское положе-

ние, опускается в любимый ил. Особенно много этой рыбы в реке Онеге и в более значительных реках Летнего берега и в реках Тамице и Ухте—Онежского. Идет она, большей частью, на местное потребление, но в незначительном числе и в вяленом виде отпускается на продажу. Камбал ловят на так называемые *прóдольники* — тоненькие веревки (сажен 15—20 дл.), к которым на каждом почти полуаршине привязаны на нитках крючочки. Нитки эти носят название *подлески*, крючки их железные. Продольники укрепляются на дне двумя якорями (камнями); крючки наживляются мелкими морскими червями, которых выкапывают из морского песку.

Менее прочих распространенная в беломорских водах рыба *кумжа* (то же, что *форель* — Salmo trutta или Cundschas, она же крóшица) более всех предыдущих рыбных пород любит ходить из моря далеко в реки и даже озера (каковы, например, дальнейшие от моря: лопарское Имандра и корельское Тóпозеро). Клёск этой рыбы, как и у невской форели, украшен красными и черными пятнами, тело такого же нежно-розового цвета, а величина доходит у самой большой до $2^1/_2$ футов. В продажу рыба эта не идет, по неудобству солить ее мягкое, нежное мясо, которое скоро горкнет, и даже в мороженом виде сохраняется она недолго. В Архангельск обыкновенно привозят ее сонной, хотя еще и достаточно свежей, годной для употребления.

Все эти три последние породы рыб беломорских (кумжа, корюха, и камбала) попадают часто уже в готовые сети, хотя бы даже и семóжьи; но чаще всего ловят их в так называемые *юнды* (сети), которые употребляют без поплавков и, прикрепленными на кольях, ставят поперек реки. В мелких местах моря, около устий, бабы-поморки бродят те же сорта рыб сетями, называемыми перемётами и которые бывают уже с верхними поплавками. В ячеях этих перемётов (тех же волжских неводов) рыба вязнет.

В Унской губе часто попадается на уды так называемая *рявца* или *ревяк* (рамша из бычков, керца, Cottus scorpius), испускающая изо рта род слабого рева после того, как бывает вынута из воды. Рыба эта величиной с окуня, чрезвычайно прожорлива и обладает способностью плавать необыкновенно быстро; для того у нее широкие и длинные перья. Шероховатая кожа испещрена черными и изжелта-красноватыми пятнами. Почитая эту рыбу ядовитой, поморы не употребляют ее в пищу; к тому же она *чрезвычайно костливая.* На этой последней особенности рявца поморы предположили в ней способность излечивать от колотья и потому сушат ее и кладут под постель страждущего.

В реке Онеге, около каменистых ее берегов и верстах в 25 от ее устья, вылавливаются *миноги*, принадлежащие к породе амфибий и долгое время у тамошнего простого народа известные под именем водяных змеек (с семью жабрами по бокам). Рыба эта (если только можно называть ее рыбой, скорее — переход от рыбы к ракам) заходит сюда также из моря. Выловленная, слегка поджаренная на больших сковородах или просто на железных листах и потом маринованная в уксусе с горошчатым перцем и лавровым листом пускается в

продажу. Местное употребление ее до сих еще пор весьма незначительно. Ловят ее в деревянные мережи, сделанные наподобие лукошек.

Из остальных пород рыб вылавливаются по Летнему берегу только уже *речные* рыбы: щуки, окуни, лещи, и притом исключительно в озерах, и так редко, и в таком, сравнительно, незначительном количестве, что не идут в продажу, но даже редко составляют предмет местного потребления. Мурманские треска и палтусина и собственные морские рыбы совершенно удовлетворяют неприхотливому вкусу трудолюбивых, честных, добродушных поморов прибрежьев Летнего и Онежского.

Вот почти все, что удалось мне вызнать из наглазного знакомства с Летним берегом, который кончается в Ухт-Наволоке и заворачивается здесь, по прямому направлению к SW, уже под именем Онежского берега. С каменистого мыса Ухт-Наволока виднелся, в дали моря, по направлению к северо-востоку, остров *Жожгин*, или *Жегжизня* *, как будто весь затянутый в туман, остров, обитаемый только служителями при маяке, освещаемом с 1842 года. Когда-то жили на нем вольные лоцмана для провода судов к городу Онеге и Соловецкому монастырю, переселившиеся потом на мыс Летний-Орлов. В середине Жожгина, как говорили, возвышается гора, крутая к дальнему морю, отлогая по направлению к Летнему берегу и в этом месте и по низменностям покрытая кустарником. В низменностях по озерам держится пресная вода. Весь остров почти неприступно осыпан крупными каменьями. Величина его в длину около 5-ти верст и около 2-х в ширину, и на нем, так же как и на всех более или менее значительных по величине лудах, прицепилась не одна промысловая избушка, временно посещаемая береговыми промышленниками.

На том же карбасе, заменяющем здесь тряскую телегу и пару обывательских лошадей, объехал я и Онежский берег, до села Нижмозера, откуда, через Кянду, Тамицу и Покровское, шла уже почтовая дорога и везли на той же паре почтовых лошадей. Помнятся на всем берегу гранитные ущелья, кое-где высокие горы (до 30 и 40 сажен высотой), крупный сосняк по ним; изредка низенький, тоненький, какой-то убогий березняк; по низменностям — луга, по некоторым горным отклонам — пашни с ячменем. Помнится ласковость и приветливость всех жителей в деревнях Летней Золотице и Пушлахте, разгромленной бомбами во время Крымской войны, и в селе Лямице. Помнится, привезли меня в следующее село Пурьему, с двумя церквами, более других людное и приглядное. Как теперь вижу перед собой хозяина отводной квартиры, явившегося с следующим интересным известием и запросом:

— Белуга подошла — рыбку обижает; невод наладили, к утру едем: не желаешь ли?

— Боюсь, не покусал бы зверь?

Хозяин на эти слова чуть не расхохотался.

---

* О происхождении названия этого острова, по народным преданиям, я имею случай говорить в IV главе этого тома: «На шкуне».

— Нашел ты зверя злого! На-ко, поди: да смирнее зверя этого и в поднебесной нету; даром, что с корову ростом, а разумом-то да смирнотой своей и теленка не осилит. Поедем — знай! Посмотри, каково тебе смешно и любопытно будет! Я ведь к тебе не врать пришел, а дело сказывать. Собирайся!

Через час он опять явился ко мне и принес орудия с таким оговором:

— Я вот принес к тебе, чем ты и заняться можешь, чтобы и тебе пай был. Едем мы двумя деревнями: наши с лямицкими один невод держат, поровну и дележ делают.

Орудия, принесенные им, оказались *пешней* и *кутилом*. Пешня было не иное что, как лом, которым раскалывают по зимам лед на всем пространстве России: тот же железный, с краю заостренный наконечник, деревянная рукоять, длиной около сажени, плотно прикрепленная гвоздями к самой пешне (наконечнику). Кутило отличалось от пешни только тем, что железный наконечник (собственно *кутило*) на конце имел загиб, наподобие крюка, и палка не прикреплялась к нему гвоздями, а свертывалась и в деле служила только рычагом для усиления удара. К кутилу, взамен рукоятки, прикреплена была длинная (сажен 8-ми) веревка.

— Теперь, вишь, у нас время такое стоит, что трава не дошла: *страду* затевать еще рано, о жниве и думать не моги; только вот и можно белугу ловить. Она, на тот раз словно угорелая, только, кажись, на наши берега и лезет: удержу нет. Известно, тут только подавай боже. Мы четыреста рублев на серебро за свой невод потратили да вот рублей по пятидесяти (тоже на серебро) ежегод на починку изводим. Потому этот невод наш собственный.

— На каких же условиях берут напрокат от архангельских?

Хозяин на слова эти рукой махнул и потом примолвил:

— Там ведь это — неволя, по Летнему взять или по Зимнему берегу. Там, слышь, возьмут этот невод-от да и думают: «Пошли-ко, мол, господи, зверя-то что ни на есть больше; было бы что за невод заплатить да из остатков и себя бы не обделить, не обидеть». Много ли, мало ли зверя придет, а половину выручки отдай неводному хозяину, хоть лопни; а другой раз закинешь невод — опять половину отдай; да хоть все лето мечи его — все половину отдавай. Так уж тот злодей-от и стоит над тобой, блюдет за каждым за твоим выездом. Там и выметывают, стало быть, чаще. Там уж и избушек сторожевых по берегу-то насыпано больше нашего. Там и сторожей сидит много; оттуда и на Мурман мало ходят. Там уж, коли начала выставать белуга, много не зевают: как заприметят, сейчас кричат на берег: «Бог-де в помощь!» — и выезжают.

А как у нас вот неводок-от свой завелся, мы и благодарим бога. Раз в год починишь его да уж и не горюешь: знаешь, что невод этот тебе лет восемь, а не то и все десять прослужит; только имей ты за ним глаз да блюденье. Мы уж и упромыслим что на этих белугах: на сорок человек своих разделим, да другого уж и не знаем никого. И части мы эти делим поровну, потому как все равные деньги на невод клали, всякий на промысел идет на своих харчах, со своим

достатком. Вот этак-то мы и ловим белугу по летам: три недели в Петровом посту (с Прокофья[23] косить начинаем), за три недели перед Ильиным днем[24]. Дело-то и идет у нас ровно, и плеч-то наших не давит, не тяготит.

— А видал ли ты невод белужий? — спросил он меня.

— Нет, еще не случалось...

— Сами плетем, а которые и соловецким монахам заказывают (да берут они дорого). Сети мы эти плетем из бечевок голандских, сколько можно толстых. Ячеи в этой сети по шести *верхов* (вершков) в поперечнике затем, что на рыбу тут не надеешься; рыба тут самая большая проскочит; а белуга зверь такой, что, хоть ты в сажень ячею-то делай, не проскочит. Невод этот на саду сидит сажен с тысячу, да веревок однех у него целая верста. Так — вот, смотри, какой большой невод этот. А затем и белуга — сальный зверь, а не кожный, как бы лысун али нерпа, заяч. И тех к нам много проходит. Да ладно! с тем и прощай!.. Ложись отдыхать, и я тоже, потому карбас-от уж налажен и про твою милость...

Рано утром разбудил он меня еще в сумерки, или в тот полусвет, который держался в это время с час между вечерней зарей и утренней, так что ночи, в собственном смысле, решительно не было. На карбас свой он поставил кадушку с просоленной треской, бросил мешочек с ржаным хлебом и житником — небольшим караваем ячменного хлеба, который можно употреблять в пищу только в тот день, когда он испечен, и который за ночь, для следующего дня, так черствеет и портится, что положительно становится негодным к еде, окаменелым. Три пешни и три кутила лежали тут же, подле нас, в карбасе. Мы отправились.

Дорогой хозяин успел сообщить мне, что белуга любит чаще приходить к их берегу, чем в другие места, и как главная цель ее появления в Белом море — отыскивать пищу в виде семги, сельдей и другой рыбы, то поэтому и рыбы этой на Онежском берегу меньше, чем в других местах. Сказывал также и то, что и самый берег этот сподручнее для ловли белуги, по значительному количеству мелей, на которые удобно загонять зверя, и что по этому случаю на Онежском берегу белуг вылавливается больше, чем где-либо.

— Главная причина,— говорил он,— не стоял бы шалоник (NW) долго: шалоник отдирает зверя. А на этого зверя пуще, чем на другого какого, ветер свою силу имеет. Вот, рассказывали, выставала было налыс белуга-то у Летнего берега, да зазнала: к устьям (двинским) пошла. А там пали ветра — угребла, знать, в Кандалуху (Кандалажскую губу). Может, которая половина и на нашу долю достанется.

— Ишь времечко-то теперь какое красивое стоит — любо да два! — говорил потом хозяин мой, не один раз любуясь погодой. Действительно, во всей своей необъятной красе, как огненный шар без лучей, выплывало из-за дальнего края моря летнее солнце. Пронизавши воду своим пурпуровым отцветом, солнце выглянуло из-за воды сначала краем, который постепенно и заметно увеличивался и золотил воду. Вот наконец и все солнце, весь этот огненный шар, на наших глазах. Кругом его заклубился словно пар, отливавший потом

как будто дальними, свивавшимися клубом облаками. Ближние к солнцу края облаков этих желтели, дальние еще отливали пепельным цветом, но солнечных лучей не видать было час, не видать другой. Солнце заметно, почти на наших глазах, отмеряло пространство и скоро взбиралось по небу. Кажется, если бы не обманывающий ход лодки все вперед и вперед, можно было бы решительно заметить этот скорый подъем, почти бег солнца к зениту. Свет значительно усиливался; на море было тихо; слегка поталкивала борты нашего карбаса легкая, сдержанная волна. Тумана не видать было ни на дальних лудах, ни на ближнем берегу, но лучи солнца еще час времени боролись с эфиром, не могли пронизать его и осветить наше море. Оно как будто только того и выжидало, как будто затем только и присмирело теперь, чтобы мгновенно осветиться ярким, животворным солнечным блеском.

Долго мы ехали греблей; долго впивал я дыханием своим бесконечно чистый, несколько свежий морской воздух, долго любовался и на безграничный, глубокий-глубокий свод неба, нависший над нами, с его солнцем, с светлой, нежной лазурью. Наслаждением подобного рода можно упиваться, но трудно передавать после всего того, что уже давно было не один раз сказано и поэтами, и живописцами. Солнце успело уже озолотить берег и тотчас же, скорее чем в мгновение ока, осветить и нас, и наше море на всю его бесконечную даль от севера к югу и от востока к западу.

Мы были уже почти подле цели.

С десяток карбасов плыло в дальних от нас местах Онежской губы; некоторые из них, перед нашими же глазами, повернули от соседней к ним луды и, как видно, гребли усиленно в нашу сторону. Быстро отделялись эти карбасы от туманной луды, быстро перебирали лодочники руками; в свежем воздухе моря доносились до нас резкие, дальние крики. На крики эти хозяин мой заметил только одно:

— Чуть не запоздали: обметывают уж!

Он тотчас же повернул руль влево, и наш карбас направился прямо к берегу, в сторону от тех карбасов, с которых, по-видимому, раздавались крики. У берега чернелось еще несколько карбасов, и, как видно, без всякого дела. Вероятно, и наше место было там же. Впереди, прямо против берега, к стороне, затянутой в туманную хмару луды, белелись, словно большие клочья морской пены, спины белуг. В нескольких десятках мест повторялось это явление: лёщились себе белуги, выставляя изжелта-серебристые спины на морской поверхности, и потом быстро опрокидывались головами в морскую глубь, хватая в ней спопутную рыбу. Одна зашипела почти подле самого нашего карбаса и успела обнаружить и горбатую спину, и какую-то дыру на ней, откуда вылетели фонтаном невысокие, но быстро вымеченные брызги воды, серебрившиеся в лучах солнца.

— Пошла оттыкать пробку, свинья морская! Постой, будет тебе ужо на орехи. Чуть не спихнула, проклятая! — быстро заметил хозяин.

— А разве бывает этак? — спросил я.

— Нет, не бывает, никогда не бывает. Разве сами спихнем ее, а ей, проклятой, нас не опружить,— отвечал он мне неохотно и каким-то сердитым голосом. И сильно прикрикнул мой хозяин на работников, чтобы те гребли сильнее и круче налегали бы на весла.

Послышались со стороны хозяина ругательства, и во всем составе его начались судорожные, нетерпеливые движения. Видно было, что теперь-то наступала для него самая горячая, самая важная пора. К тому же (как я заметил) все карбасы, ближние к берегу, отвалили и плыли по направлению к тем карбасам, которые от луды ладились к берегу и по-прежнему продолжали выбрасывать сеть, беспрестанно путаясь в веревках, и по-прежнему неслись оттуда сильные, громкие ругательства. Их даже можно уже было расслышать целиком, когда мы вдруг круто повернули к тому же месту, дальше от берега. Мгновенно схвачена была с ближнего карбаса и на наш длинная веревка, которую мы спешили выбирать в то время, когда другие передавали ее на следующий карбас. Долго, до обильного пота, тащили мы конец толстой веревки и перебрасывали ее соседям до той поры, пока не выбросали всю, пока не почувствовали в руках ячеи невода, круто и сильно опускавшегося тяжестью своей ко дну, пока, наконец, и мы не очутились, в свою очередь, крайними. Видно, поспели вовремя! Быстро гребли мы веслами и бежали за веревкой; быстро закручивалась эта веревка уже прямо против нас. Думаю, час целый выжидали мы, когда, наконец, попадет эта веревка в наши руки, после того как обойдет сеть меньший круг. Белуги между тем продолжали лещиться и кувыркаться, разгребая ластами воду на две струи, но уже не вразброску одна от другой, а почти все около одного места, ближе к середине того круга, который описывал выметанный невод. Зверь выстает заметно чаще и как будто сердится. У него захватывает с натуги и от гнева дыхание, и он спешит вздохнуть свежим воздухом, и если уже возможно это, так в последний раз перед смертью, которая висит над головой.

Между тем крики со всех карбасов, съехавшихся теперь на близкое друг от друга расстояние, превратились в громкий, базарный гул: все невероятно спешили, все как будто обижены были тем, что не по их желанию начали, не по их воле продолжают и, стало быть, неудачно окончат. Вдруг раздался сильный плеск по воде веревки, сопровождаемый сильным громовым эхом в горах. Раздалась опять крутая, громкая брань, и, в мгновение ока, несколько карбасов, в том числе и наш, юркнули через эту веревку в середину того заветного круга, который описал невод. Здесь, на этот раз, уже реже выставали белуги, вероятно утомленные. Быстро хватал хозяин мой кутило и бросал его выстававшему зверю, и, сколько можно было заметить это при скорости удара, прямо в *дыхало* (в дыру, пускавшую фонтан). С быстротой молнии выхватывал он из кутила палку, бросая ее прочь, в лодку, и в то же время, с поразительной ловкостью, выбрасывал в воду и всю веревку, привязанную к кутилу. Другой конец этой веревки он задёживал за карбас и, опять-таки ни минуты не медля, хватался за новое кутило. Некоторое время спешливо, внимательно высматривал он на воде выстававшего зверя, держа настороженным

орудие смерти. Веревку, сколько я мог заметить, крепко держал он у ратовища (палки) с той целью, чтобы не спрыгнуло с него кутило, и быстро выхватывал палку-ратовище, и ослаблял и кидал всю веревку до дальнего конца в то время, когда замечал сначала спину, а потом и дыхало зверя, как черное пятно, зиявшее мгновенно, тотчас же.

Таким образом выметал он все свои три кутила (в карбасе лежали только пешни) в то время, когда, опомнившись — он от тяжелых трудов, я от внимательного выслеживания за его движениями и движениями людей соседних карбасов,— мы заметили себя у самого берега, на который первые выскочившие из лодок с уханьем и той же бранью тащили сеть. То же сделали и мы. Впрочем, несколько карбасов еще ездили кругом сети, болтавшейся в воде, и с них, время от времени, еще выметывали кутила, но, вероятно, уже последние. Некоторое время слышалась эта буркотня, но и она вскоре смолкла. Чайки, все время кружившиеся над белужьим юровом и спешно выхватывавшие изо рта зверя рыбу, в несметном количестве кружились теперь над нами и густой, темной тучей над неводом. Визгливый, разноголосный крик их возмущал душу, но всем было не до них. Начиналась самая трудная, самая спешная пора работы, хотя и со всех нас пот лил градом, хотя весьма многие с трудом переводили дыхание. Крики и брань прекратились. Стадо пойманных, застигнутых врасплох белуг на прибрежных кошках обмелело; некоторые из них выставили напоказ всю свою огромную тушу, богатую салом. Видны были — гладкая, без шерсти кожа, изжелта-белая, у некоторых с мертвой просинью, на одном конце туловища виднелась голова, в зашейке которой чернело *дыхало*, величиной около полувершка в диаметре, на другом конце хвост длиной с пол-аршина, толщиной пальца в три, обтянутый белой кожицей, отливающей по краям пепельным цветом. На плечах ясны были ласты — *крылья* (как называли промышленники), имеющие некоторое сходство с небольшими свиными окороками, четвероугольной, продолговатой фигуры. Задние ласты, лафтаки, не были больше сажени, и весь зверь, длиной аршин семь, растянувшийся по земле, со своей горбатой спиной, головой, небольшой, сравнительно с остальным туловищем, глядел решительным подобием небольшого кита, к породе которых, вероятно, и принадлежит белуга эта (Delphinus leucas, по-камчатски — белюк, животное, однородное с черноморской свинкой и не имеющее ничего общего с рыбой белугой. Соимянная зверю волжская *рыба* называется Acipenser huso).

Пока я занимался рассматриванием фигуры невиданного мною безобразного зверя, промышленники *кротили*, т. е. пришибали пешней в дыхало тех зверей, которые шевелились еще и грозили, при малейших невнимании и оплошности, опрокинуться в воду и уйти от нас в руки других счастливцев, на берег к которым их может выкинуть морская волна. Промышленники наши перекротили всех зверей поочередно, немного отдохнули и, заправившись пищей, начали свежить добычу. Для этого они сначала отрубали голову, хвост и четыре ласта; затем сдирали шкуру вместе с салом и не буксировали его на карбасы потому только, что были на берегу. Мясо бросали тут же,

предоставляя его на съедение собакам, которые стадами бегут сюда даже из дальних деревень.

— Куда же пойдет кожа звериная, если сало в продажу? — спросил я хозяина, не отстававшего от других и молчавшего во все время работы.

В ответ на это он только приподнял ногу, показал подошву и пощелкал по ней пальцем.

— На это идет да на другую кою мелочь,— отвечал мне за него уже другой соседний мужик.— Кожа белужья — не кой клад. Это — не нерпичья кожа: та лучше, та барышнее.

Затем опять следовало молчание. Видимо, все с сосредоточенным вниманием занялись своей работой. С трудом, после долгого ожидания с моей стороны, нашелся еще один словоохотливый, который говорил мне:

— Вот все, что ты теперь видел, начальник, дело хорошее. Промысел наш на твой счастливый приезд задался ловкий.

— А как приблизительно?

— Да коли ста два зверей попало, рублев на большую тысячу будет. Ста по два рублев на ассигнации придется на брата. На это и сети поправим; порвала же, чай, зверина, не без того: бесится и она, как, вишь, не смирна теперь. Мечется, живот-от свой горемышный жалеючи.

— Этакий промысел мы на редкость делаем! — подхватил рассказчика уже третий, вероятно желавший тоже отдохнуть и тоже доказать мне свою бывалость и знание.— Больше всего мечем сети на мелях у Ягров, у Кумбыша, у Омфалы, у Гольца (острова это такие живут). Там-то вот мы эти сети и спущаем на кибасах (поплавках деревянных). Зверь-от в них сам заходит и путается; мы его только на мель тащим да кротим пешней. А там свежуем, спустим в воду, привяжем на веревку к карбасу да и везем в деревню. Зверя по три, по четыре и здесь попадает. Дележ на каждую ромшу после бывает...

— Что же это такое ромша ваша?

— А ромша: вот все мы, все обчество наше — артель бы, к примеру. Вот нас теперь двенадцать карбасов. На каждом карбасе по четыре человека, и малолетки ребята тут же: их дело промысловую избу чистить, ложки мыть, зверя караулить, когда мы спим. Это *ромша*. А жир-от, что с кожи режем, *шелегой* зовем; а согреется он да закиснет — *сыротоком* слывет. Вот тебе и все!

— Нет, не все, коли сказывать начал,— перебил его третий голос.— Ты ему расскажи про петровское-то дело. Слушай-ко, твоя милость!

— Поехали наши ребята за белугой навздогад, авось, мол, встренется. А зверь — дурак известный, про то не знает, чего человек-от хочет: не встренулся. Искали они эдак-то, долго искали — не нашли. Ухватили, слышь, рожу-то в горсть, чтобы не больно стыдно было добрых людей, поехали в деревню ни с чем. Там-де (думают) грязью закидают; года с три и опослях вспоминать да корить будут соседи. Едут они, едут: известно, надрываются сердцем, боятся мирского суда. А было их человек с десять на трех карбасах, и невод был при

них, и невод-от они этот так и не замочили: как был засмоленный, так и остался — ничем-ничего. Едут они это в деревню свою, едут, «да и видим, говорят, впереди-то, мол, нас словно пена морская! Да какая, мол, тут пена будет: корг нет, воде мырить не из чего, не из чего и пены пускать. Надо-де быть, братцы, белуги!» Стали присматриваться: белуги и есть! «Молись-де, ребята, да заезжай, который удалее!» Так и сделали. Выметали сеть — заехали. Вытащили сеть на мель: сто штук белуг предстали перед ними, как на блюдечке. Ну,— опростили. Известно, барышу много: плохая белуга меньше двенадцати пудов сала не носит на себе...

— А то рассказывали сорочане (из деревни Сороки на Кемском берегу), что к ним в сельдяную сеть белуга-то зашла. Стали, слышь, осматривать ее, потащили: да что, мол, туго подается, али, мол, рыбы поленницу навалило! Думаем-де, говорят, мы этак-то, тащим знай. Вытащили, глядим: дураково поле — белуга зверь. Разрезали: двадцать пудов сала выняли. Рыбу-то она в сети всю, слышь, пожрала, а себя самое в руки врага таки выдала. Худо вот, начальник, когда на заметке замотает тебе зверь один ряд сети, особо при самом начале: тогда всех товарищев до единого выпустит. Оттого вот мы при поворотах-то давеча и орали крепко, себя не помня, потому знаем, что выпустил ты зверей в море — вдогонку за ними ни на каком ты карбасе не поспеешь, хоть будь тебе самая красивая беть (полный бейдевинд [25]). Это уж мы знаем доподлинно: лют зверь на воде, круто берет!..

— Так вот, твоя милость, какие дела бывают,— сказал он как бы в заключение и снова принялся за работу.

Дальнейший уход за зверем состоит в том, что сало его вытапливается немедленно по улове на салотопенных заводах. Это не иное что, как простые ямы, вырытые за селениями на берегу реки или того же моря. Яма салотопенная, по обыкновению, обкладывается простыми камнями и кое-как наскоро обмазывается глиной. Тут же подле, по сторонам ямы, вкапывают два столба с шестом или *стягом*, на который и вешают котел с салом. Снизу разводят огонь. Перетопленное сало сливают в обрезы (кадки, сделанные из бочек, перерубленных пополам, на два обреза). В этих обрезах сало стоит и отстаивается двое суток. Верхний отстой переливают в бочки через решето и пускают в продажу под именем сала 1-го сорта. Нижний отстой, или гущу, называемую *бардой*, перетапливают еще раз и таким образом получают 2-й сорт сала, цветом несколько темнее первого. Слитое в обрезы с двумя днами сало этого сорта иногда дает новый отстой — 3-й сорт, называемый *мазью* и идущий для домашнего употребления, например для смазки сапогов — бахил и проч. Сало звериное обыкновенно (перед тем как топить его на огне) стружат, т. е. режут на мелкие куски особым орудием, имеющим форму серпа, для того, чтобы сало легче таяло. Сложенное в обрезы и умятое тут деревянным пестом для устою, сало белужье, нерпичье, лысуновое и моржовое иногда тает от действия летнего солнца, и тогда получается лучший сорт, более ценный в продаже и известный под именем *сыротока*. Харавины, т. е. шкуры, обыкновенно сушат на земле, распяливая на палочках,

в которых, для скорости дела, намечают скважины. Чтобы очистить шкуры эти от шерсти, их обыкновенно распяливают на деревянных рамках и в этом виде опускают в воду недели на две и больше. Для этой цели предпочитают опускать рамки на самое быстрое место реки или моря. Все припасы и орудия складываются в сараи, которые, таким образом, дополняют общий вид всех салотопенных поморских заводов. В этих же сараях хранится и звериное сало: и в бочках, и в обрезах. Морж дает этого сала средним числом от 10 до 15 пудов, заяц морской от 5 до 9, лысуны и утельги от 5—10, бельки от 1 $^1/_2$ до 2 пудов, нерьпа (самая большая) 3 пуда; белуга, как выше сказано, дает от 15 до 20 пудов, стало быть больше всех морских зверей, выключая кита. Сала ворванного, со всех морских промыслов по Белому морю и Новой Земле, привозилось в последние годы до 60 000 пудов; отправлялось оно более в Германию и Голландию (от 30 000 до 40 000 пудов). Во время монополии графа Шувалова отпуск этот был несравненно значительнее [26].

В тот же день вечером я оставил своих промышленников за счастливой добычей, а сам отправился дальше, по направлению к городу Онеге. Целые сутки ехал я до той поры, когда мне опять удалось ступить на твердую землю и сесть хоть и в тряскую, но в привычную, сыздетства знакомую телегу. Заснул я в ней крепко и сладко и проснулся, разбуженный ямщиком, который, слышу, рапортует, что приехали-де.

— Куда?

— В село Тамицу; тридцать пять верст до Онеги осталось. А у меня, ваше благородье, дорогой-то лошадки было побесились. Ты не слыхал, чай?

— Отчего же?

— А бог их ведает: коров, может, повидали. Вишь, с моря-то туману навалило: темно стало, ничего не видать. А море-то верст, надо быть, двенадцать отседова...

Ямщик замолчал. Слышался взрывистый звон почтового колокольчика, который, вероятно, раскачала отряхнувшаяся лошадь, и шум порогов, несущийся прямо с реки. Ямщик опять подошел к телеге с писарем, явившимся за подорожной.

— Чай, в реку-то семга заходит; хорошо ей тут: она любит пороги.

— Где семге!..

Ямщик расхохотался. Даже писарь не мог удержаться от улыбки.

— Думаешь ты, река-то и невесть какая? — вопросительно объяснил ямщик,— мелкая ведь река-то, курице по холку, и все тут. Кумжа вот разве зайдет?

Ямщик обратился к писарю.

— Заходит! — отвечал тот грубо заспанным голосом и взял подорожную для прописки в избу.

Ямщик продолжал:

— Здешний народ все больше в Питер ходит на лесные дворы. Так вот и пойдет тебе со всей Онеги, знай это!..

Слышу, опять раздается, приятный на этот раз, звон нового колокольчика; выезжает новая телега, набитая доверху сеном, с новым ямщиком на козлах и в шапке с медным гербом на лбу. Валюсь я и в это сено, и на нем также приятно и сладко засыпаю, и просыпаюсь на другой день, в виду Онеги, освещенной ярким солнцем, пробившим и испарившим весь ночной туман прибрежьев.

Едва ли особенно лучше было в том, что солнце осветило Онегу: плачевно глядела она из-за ярового поля черными, гнилыми домами. Правда, что белелась на горе каменная церковь, но церковь эта оказалась недостроенной; правда, что белелось еще каменное здание, но и оно оказалось неизменным казенным казначейством, с неизбежными, сильно захватанными дверями, с грубыми, заспанными, полупьяными сторожами-солдатами. Единственная улица города, по которой можно еще ездить на лошадях (все другие, три или четыре, заросли травой и затянулись кочками, представляя вид недавно высушенного болота), была когда-то выстлана досками, но теперь представляла ужасный вид гнили, с трудом преодолимый путь к цели, которой, на этот раз, служила отводная квартира. Но и к ней можно, не обинуясь, отнести слова поговорки: «на безрыбье и рак рыба, на безлюдье и Фома дворянин». Бедна Онега и печально глядит в глаза всякому проезжему. Бедностью своей (как оказалось после) она может соперничать только с одной Мезенью. Правда, что есть в ней опрятных домиков два-три, но это дома богачей и лесной конторы, которая нашла себе приют в этом городе.

Сколько бесприветен вид города, столько же печально смотрит и протекающая подле, хотя и значительно широкая, богатая семгой и миногами, река Онега. Всю ее, словно нарочно, какие-то богатыри закидали бесчисленным множеством крупных камней, перебор которых иногда сплошным рядом чуть не доходит от одного берега до другого, противоположного. Четыре раза в сутки все эти уродливо-каменные переборы, производящие на глаз неприятное, тяжелое впечатление, высоко покрываются прибылой с моря водой, и потом опять, почти те же двенадцать часов, мечутся на глаза обывателям обнаженные серые камни, в иных местах сопровождаемые длинными желтыми запесками. Вид на город с реки, и притом издали, недурен; но мрачно глядят из города берега реки, поросшие густым, черным лесом, из которого, в одном только месте прямо против города, белеют доски и строения пóньгамского лесопильного завода. На меня смотрит оттуда дальная дорога в Поморье, со всеми ужасами неизвестности, которой, кажется на этот раз, и конца нет, за всеми болотами, реками, морем и океаном, озерами и гранитными берегами и лудами...

Вот вся нехитрая, несложная, небогатая приметными событиями история этого города. Не дальше как восемьдесят лет тому назад он был просто Усть-Янской волостью, состоящей из нескольких слобод, до сих пор сохранивших древние свои имена: *Верхи* (верхний конец города), *Низы* (средний) и *Погост* (остальная часть ко взморью, самая лучшая и самая главная часть города). Все эти слободы, по указу императрицы Екатерины II [27], в 1780 году, вошли в черту нового уездного города Архангельской губернии. Первоначальное

заселение его относится к первым временам появления новгородцев на берегах Белого моря для рыбных и морских промыслов, еще во время княжения на Руси Василия Темного. При набеге литовских людей и русских изменников на северные страны России, около 1613 года, Усть-Янская волость была почти совершенно выжжена и истреблена; однако в 1621 году была уже в ней церковь и до 20 домов. С 1657 до 1764 года волость, по указу царя Алексея Михайловича, принадлежала, со всеми рыбными тонями, сенокосами, пажитями, ведению соседнего с ней монастыря Крестного, тогда еще нового и не имевшего никаких угодий. Принадлежа, затем, к Беломорской провинции Новгородского наместничества, Усть-Янская волость в 1774 году отчислена к архангельской воеводской канцелярии и вверена управлению экономического казначея и его помощников. С 1761 года в Онеге существовала лесная контора англичанина Гома, оживившая торговлю тамошнего края, значительно усилившая население Усть-Янской волости и, вероятно, немало способствовавшая к тому, что волость эта, предпочтительно перед другими, соседними, названа была городом. Девятнадцать лет производил здесь Гом свою лесную торговлю, по контракту, заключенному им с графом Шуваловым — тогдашним северным монополистом. В это время Гом успел отпустить за море более 18 коммерческих судов, больше 9 гальясов и 20 речных судов, выстроенных на двух тамошних верфях и нагруженных петрозаводским железом, волжским хлебом и онежскими досками и канатами. В то же время начали приходить сюда иностранные корабли (ежегодно от 20 до 70) за теми же досками и канатами. Но около того времени, когда Усть-Янская волость названа была городом, дела Гома начали упадать, закрылся канатный завод, а вскоре прекращено и судостроение. С 1769 года, по случаю худого состояния и слабого кредита купца Гома, за неплатеж, по обязательству, казенных денег, лесной торг вверен был заведованию Гаумана. В 1781 году он передан был вологодской казенной палате, и в 1783 году лесной торг окончательно взят был в казну и отдается теперь торговым компаниям только на арендное содержание. В 1783 году за рекой Онегой выстроена была, вместо обветшалой, новая верфь о 4 эллингах [28], на которой и был построен в том же году корабль. Двумя годами раньше этого времени (1781 г.) при новом городе учрежден открытый порт, по следующему указу Екатерины II: «Учредив при самом устроении Вологодского наместничества город Онег для доставления жителям его пропитания и в распространение торговли, всемилостивейше позволяем от пристани сего нового города выпускать российские продукты и товары, коих вывоз не запрещен особыми указами, с пошлиной, до будущего нашего соизволения, каковая собирается в городе Архангельском; равным образом ввозить туда все незаповедные товары с таковой же пошлиной, которая при архангельском порте установлена для оных; чего ради для досмотра и сбора настоящую определить таможню, с потребным числом служителей, под ведением казенной палаты Вологодской губернии». Таможня в настоящее время находится на острове Кие, около которого, за крайним мелководием реки Онеги, и останавливаются иностранные

корабли. Они являются сюда ежегодно за досками и брусьями, распиливаемыми на двух заводах компании, поньгамском (на другом берегу реки Онеги, прямо против города) и андском (по направлению вверх по реке Онега, в 8 верстах от города).

В таком виде представляется история Онежского лесного торга, история документальная, так сказать бумажная, а вот и живая с результатами, замеченными П. И. Челищевым[29] еще в 1791 году (см. путешествие его по северу России, изд. в 1886 г. графом С. Д. Шереметевым): «Шатаючись часто в жизнь мою по местам, где производится торг моего государя и отечества, не нашел я ничего вреднее, как бракование полезнейших наших произведений и произрастений и то единственно только в угождение алчных и сребролюбивых людей, которые без нас никак обойтиться не могут, а мы, если оставим наши прихоти, то смело можем забыть, есть ли они на свете. И в самом деле, какое право имеет чужестранец браковать наш товар? Если он ему не угоден, не бери; пускай в их отечестве преемники бракуют товар у корабельщиков, а до нас им какое дело? А тем самым сбивают цену и разоряют неимущих и не гораздо просвещенных наших соотчичей. Например, привез десять тысяч бревен, из которых пять тысяч самых хороших, три тысячи посредственных, две тысячи худых. Сребролюбивый бракер бросает совсем за негодность пять тысяч, а хорошие пять тысяч, ссылаясь на присяжную свою должность, говорит: и те сумнительны. Я уже зашел в долг на заготовление сего леса, кредиторы меня мучают, бракер мною ругается, а иноземец, снюхавшись с присяжным плутом, говорит: не мое дело. Наконец, с чрезвычайным ущербом перемогает мой гостинец лукавого и безжалостного чужестранца: половину моего леса принимают кой-как, платят мне за оный самую малую цену, другая половина остается на согнитие во вред мне, монарху и отечеству. Я расплачиваюсь кое-как с моими кредиторами, насилу мне остается на год хлеб насущный, и, отведав лет десять сего торгу, скапливаю кой-как тысяч пять в карман, наскучиваю беспрестанным сим шишиморством и, бросив сей торг, уезжаю в малый городишко, делаюсь сумарем (мелким торговцем) и на бедных щах за труды мои проживаю остаток моей жизни. А лихоимственные бракеры, нажившись от моих убытков, в великолепных домах утопают в роскоши. Ни в котором торге так не приметно воровство бракарство, как в лесном, и не так вредно, ибо вред из других торгов относится только на частных людей, а этот относится и на государство, потому чтоб бракеру сорвать за лес хороший гостинец с десяти тысяч бревен, то надобно, чтобы половина за бесполезное была брошена».

Этой песне уже на днях, так сказать, исполнится столетие, а между тем даже не чуткое ухо слышит и сегодня резкие и однотонные звуки того же мотива. Он наскучил своей раздражительностью, измучил чувствительные сердца и озлобил умы, а все-таки по-прежнему ноет и плачет, умоляет взглянуть на содеянное, чтобы проверить сказанное. «Одна гавань,— говорит дальше любознательный, честный автор, живо сочувствующий бодрому и трудолюбивому северному люду,— одна гавань (в Онеге же), складенная сажен на сто плотно из

обракованных брусьев поперек на Кий-острове, близ г. Онеги, доказывает сие. Ибо я скажу мало, ежели футовых брусьев квадратных в одном сем месте погублено сто тысяч, где бы все то можно сделать из камня, ибо весь остров, версты на четыре простирающийся, не что, как камень». Делая роскошные пристани из дорогого товара, иностранцы сумели многоводную реку, хотя и порожистую, сделать еще более порожистой и совершенно несудоходной, недоступной со стороны моря: они засоряют рейд до сих пор балластом. Ко всему этому надо присоединить, главным образом, то существенное обстоятельство, что, как здесь, так и в Архангельске, иностранцы всеми происками, «шишиморством» вытеснили с рынков русских людей, а более стойких смирили до совершенного подобия чужеземцам, в смысле людей, чуждых нашим отечественным интересам. Имя истребителя северных лесов Вильяма Гома имеет право на историческую память. О приказчике Гома (Нимане) тот же Челищев пишет: «Нигде и никогда не было выдумано вреднее для истребления леса заведения, как в Онежской лесной конторе, и способнее к тому не бывало человека, как сей нерадивый Ниман, природой швед, по званию купец, по должности директор, а по промыслу разоритель». «Содрогнуться должно (пишет Челищев), увидев, сколько сей зловредный бродяга в пятнадцать лет начудодеял. Но опустим занавес на государственную сию болячку, по пословице: «знай, сверчок, свой колчок». «Господам британцам пришла охота за бесценную плату разорять наши леса на свои флоты». Они и достигли своей цели. Академик Озерецковский в 1791 году нашел в Каргополе (при озере Лаче, из которого берет начало р. Онега) леса, которые росли на улицах этого города. Теперь ближе ста верст нельзя услыхать меланхолического ропота этих лесов, а кругом самого города, по присловию, негде лучинки взять в зубах поковырять.

Все обыватели города Онеги заняты работами на этих заводах, живя там пять суток в неделю: на шестые приходят в контору, получают расчет и в воскресенье, почти с самого утра, на улицах слышатся песни, бродят подгулявшие горожане. Песни эти не смолкают на ночь, тянутся потом и во весь следующий день — понедельник, который известен и там под именем *маленького воскресенья*. По общим слухам и по наглядным приметам, трудно найти в другом каком-либо городе такого долгого, бестолкового загула, как в Онеге. Вот почему дома безобразно покривились набок, деревянные мостки погнили и обвалились, улицы заросли травой, три городских кабака новенькие, каменная церковь не достроена, деревянная, кладбищенская, полуразрушилась. Весь заработок онежане успевают пропить за эти два загульные дня (иные, более ретивые, начинают еще с вечера субботы), если толковая, храбрая и сильная жена не успеет отобрать у расходившегося мужа небольшие остатки, которые пойдут потом на недельное пропитание голодной, полунагой семьи. Можно положительно сказать, что только в женском населении, отличающемся крепким, здоровым и красивым телосложением, сохранился новгородский тип. Ему, даже до сих пор, не изменяет и внешний наряд женщин, особенно праздничный.

До сих еще пор одевались они если не нарядно, то пестро и пышно, хотя по большей части в платье, переходящее из поколения в поколение по наследству. Штофные сарафаны из алой, голубой или зеленой материи, а часто из золотной (или золотой парчи), топырятся и шуршат. На головах у девушек надеты шелковые платки, у женщин — низенькие шапочки с золотым начельником или широким позументом. У богатых девушек, по праздникам, кокошники, называемые *повязками* и имеющие форму усеченного конуса или павловского кивера, украшены огромным начельником, широким позументом, пронизанным жемчугом ряда в три-четыре. Сзади, по косе, пускалась алая лента ниже пояса. У всех блюдется старый обычай: при всякой встрече кланяться и приветствовать друг друга добрым пожеланием и приветом вроде следующего:

— Почти праздник-от!

— Твои гости!

Каждую субботу и накануне всех больших праздников моют полы, подоконницы, лестницы и даже самые стены изб. Изба, по-старинному еще, делится на три части: *шолнуш*, или кухню, заменяющую также спальню, собственно избу — столовую комнату и *горенку*, которая ставится за *поветью*, или сараем, пристраиваемым прямо к избе, и которая, по обыкновению, строится без печи и украшается картинами, зеркалами, чашками, самоваром, завозимыми сюда *торгова́нами*, временно приезжающими из Каргополя, и *офенями* — бродячими вязниковцами. Точно так же, до сих еще пор, чаще, чем где-либо в других местах, слышится здесь старина, древнее сказание и новгородская песня, которые можно услышать и у тех же девушек — по зимам на поседках. Последние также исстари свято блюдутся здесь, хотя, в то же время, и значительно ослабели или совершенно прекратились во всех других местах архангельского края.

Если, с одной стороны, лесопильные заводы отвлекли все внимание горожан от родного крова, устремив деятельность их на трудные ломовые работы, то, с другой стороны, город Онега замечателен тем, что в нем нет ни кузнецов, ни столяров, ни слесарей; есть только плотники (да и то в чужих руках). По той же самой причине здесь и рыбная ловля незначительна и вся легко справляется женским населением города. Девушки и женщины осматривают и обирают и миноговые мережи, и камбальи уды, и запускают семожьи неводы и по́плавни. Потому же и собственно городской торговли решительно не существует: вся она находится в руках Онежской лесной компании. По ее милости (отчасти), по причине враждебных природных сил страны (вообще), все приречные онежские жители уходят на дальние промыслы до Петербурга включительно. Всех этих «прохорят», всех этих «прохоровых детей» (по народному прозвищу онежан) можно во многом числе найти в столице на лесных дворах и биржах. Сюда-то из Онеги мифический «Прохор письмо прислал, а лободырному (самому ледащему и глупому изо всех) велел оброк собирать»,— как давно уже дразнят и сердят этих простодушных выходцев с реки Онеги. Там у них есть село Усть-Межа, про которое говорят, что в нем «хлебно» (много засевают хлеба), и которое в самом деле пред-

ставляет конец или географический предел тех местностей, откуда жители уходят на дальние заработки и, между прочим, на петербургские кирпичные заводы. К югу от села все Прионежье сидит дома и питается от земледелия. «Не бывать вороне далее Усть-Межи»,— иносказательно выражаются про это экономическое явление в жизни прионежского люда (дальше к северу вороне и всякой птице нечего клевать, нечем питаться). Хозяйничанье монопольной компании иностранцев, без милосердия истребившей леса, довело здесь дела до того, что все бы Прионежье обезлюдело, если бы еще не поддерживала черноземная и хлебородная каргопольщина. Притом народ отличается глубоким суеверием до такой степени, что когда появились здесь первые проповедники нового раскольничьего толка странников или бегунов, многие здешние (особенно женщины) покинули дома и убежали жить уединенно в лесных трущобах и в землянках. Здесь же указывают на село Шелексу (слывущее так по реке) и называют жителей его «беспутными». В оправдание их крайней бедности сохранилось особое предание даже исторического характера. Рассказывают, что к шелеховцам явился некоторый святой муж и просил места для постройки кельи и часовни. Они не только отказали, но и плот, на котором прибыл преподобный, оттолкнули от берега. Отрясая прах от ног своих, святой муж предрек: «Жить вам ни серо, ни бело, ни голо, ни богато». Нашел себе удобное пристанище этот праведник святой Антоний, записанный в святцах с прозванием Сийский, в 1520 году, на прекрасном острове, окруженном глубокими озерами и опоясанном рекой Сией на ее пути в реку Двину. С той поры имя «шелеховца» применяют к беспутным и безнравственным людям как ругательное. Эти, по крайней мере, живут в избах, обещающих довольство, хотя и хуже соседей, но зато большая часть прионежан — непокрытая бедность, народ безлапотный: «семерых в один кафтан согнали». Близ самого города (всего в 10 верстах) на озере Андозере лежит деревушка, про жителей которой прямо говорят: «Андозера — хайдуки: нет ни хлеба, ни муки». Этим еще тем хорошо в печальной жизни, что озеро дает рыбу, и с ней привыкли они обходиться без хлеба, который и не сеют. Менее счастливые осуждены просто побираться Христовым именем, а по этой причине там и подслушано руководящее убеждение того смысла, что бедному всегда подаст бог, или, как говорят они по-своему, «андел дал бы в цяшку, Микола на ложку». Как бы то ни было, во всех этих крайних проявлениях беспомощной бедности не малая доля ответственности легла на Онежскую компанию лесного торга.

Доски и брусья с заводов компании доставляются к кораблям, стоящим на Кийском рейде, при помощи особого рода плоскодонных судов, называемых *романовками.* Романовки эти не иное что, как те же лодьи, только с некоторыми незначительными особенностями. Так, например, при противном ветре они, по крайней плоскодонности своей, ходить не могут и потому в этом случае буксируются компанейским пароходом. На них ставятся две мачты (по 9 сажен 5 вершков), к ним прикрепляются косые паруса. Палубы здесь не настилаются по той причине, что суда эти грузятся трехдюймовыми досками

(до 1000—1200 штук). У романовок дно плоское как пол; борты отвесны, как стена; ширина их (*лонная* сторона) 28 ф., длина — 75, высота — 8 ф. 3 дюйма; 6 ф. вышины в каюте, 7 ф. по форштевню, корма как стена; ахтерштевень уклоняется на 4 ф., форштевень на 5 ф., на ту и на другую сторону 9 ф. Обшивается она досками с обеих сторон так, что всего железа в это судно идет, приблизительно, пудов до 100. Суда эти дальше Кийского рейда не ходят, хотя и был один раз такой случай, что одна из этих романовок сходила и, к счастью, благополучно вернулась из Архангельска, на диво и крайнее удивление самих же строителей и хозяев. Прежде в Подпорожье строили лодьи, но теперь, как говорят, и не думают. Редкий из порожских не умеет строить романовок по аляповатым, бестолковым чертежам, что и делают.

В этих же деревнях Подпорожской волости построен огромный забор для семги, пользующейся во всей России заслуженной славой как одной из лучших и известных под именем *порога.*

2-го июля поморская шкуна «Николай Старков», нагрузившись досками и брусьями, ладилась пуститься в море, через Кемь, в Норвегию, где хозяин этой шкуны предполагал продать свой лесной товар. Брат его предложил мне отправиться вместе с ним, обещая доставить в Кемь, прямо морем и не дальше как через двое, много — через трое суток. Над предложением этим я долго не задумывался: близкая неизвестность, не изведанный еще мною морской путь, надежное судно, способное лавировать (по-здешнему *бетаться*), ласковый хозяин, говорун и остряк, прямо из корня всего поморского края — каково Кемское поморье и деревня Сорока,— все это, взятое вместе, соблазнило меня.

Я предпочел шкуну и дальнее морское раздолье езде верхом на девяноста слишком верстах и потом скучному прибрежному плаванию около всего Кемского берега, слишком на двести верст, еще и по тому важному обстоятельству, что на возвратном пути с Мурмана и Терского берега мне не пришлось бы уже миновать этих интересных мест.

На другой же день, со всеми своими пожитками, я был уже на шкуне — и город Онега потянулся взад, выказывая крайние ко взморью строения свои, между которыми рисовались высокие дома лесной компании. Из-за них белела соборная церковь; мрачно и неприветливо чернела темная роща, рассыпанная по крутой загородной горе. Чахлый лес сопровождал оба берега реки. Вдали белел уже маяк, и все-таки не пропадал из глаз, не закрывался ни берегом, ни лесом бедный, хотя и длинный городок Онега. Ровно сутки лавировали мы между отмелями и подводными коргами и кошками каменистой реки Онеги на полном, докучливом безветрии. Два раза на всем этом десятиверстном пути бросали мы якорь, выжидая ветра, и один раз так неудачно, что шкуну нашу убылая вода едва совсем не положила на бок. Изловчившись кое-как, с криками и ругательствами хозяина и его двух работников, мы на прибылой воде, поднявшей наше судно, медленно

выбрались вперед на Онежский рейд, пристали к острову Кию. Здесь вышли на берег его, с тем чтобы записаться в таможне и дождаться потом на берегу нового прилива, обещавшего нам надежду ехать дальше в глубь моря, помимо несчетного множества шхер и луд Онежского залива, с бо́льшим удобством и легкостью. Ровно полтора суток потом, на полном, всегда обидном и докучливом безветрии, виделся нам остров Кий с обгорелым Крестным монастырем, казенной таможней, реденькой сосновой рощей и красновато-грязным гранитным берегом. Тот же гранит бил в глаза и на всех остальных спопутных лудах: Пур-луде, Шаглоне, Конд-острове и других мелких лудах, не имеющих часто никакого названия.

Остров Кий — сплошная гранитная скала, возвышающаяся на 40 футов над уровнем малой воды, прекрутая к юго-востоку и западу, несколько отлогая во все другие стороны. Гранит покрыт тонким, разрывным слоем земли, на которой, особенно в щельях и ложбинах, прицепились высокие сосновые деревья, образующие реденькие, сильно просвечивающие рощи. Вот весь наружный вид острова, дополняющийся на юго-восточной стороне сараями лесной компании, домами таможни, выстроенной вновь после английского разгрома. Только они и составляют единственные жилые места острова. На зиму эти здания пустеют, при них остаются только сторожа; но летом они населены значительнее и гуще. Жизнь и деятельность кипят в это время на всем острове и около него, на рейде, в значительных размерах. Исключительная цель этой жизни и деятельности — доставка досок на романовках из складных сараев острова на иностранные корабли, стоящие верстах в полуторах, на рейде. Остальное жилье острова — Крестной монастырь, возвышающийся на северо-восточной стороне, состоит менее чем из десяти человек монахов. В мой проезд монастырь представлял обгорелую, далеко еще не поправленную массу зданий. За несколько дней до прихода англичан на Онежский рейд Крестной монастырь сгорел от неосторожности монахов.

Бедный в настоящее время, по незначительности рыбной ловли и бесплодности островного гранита, существующий весьма незначительными редкими вкладами соловецких богомольцев, Крестной монастырь, как известно, основан в 1657 году патриархом Никоном [30]. Он, бывши еще соловецким иеромонахом и отправлявшийся с церковными требами, потерпел крушение в устье реки Онеги, спасся на этом острове и, по исконному обычаю того края, поставил на том месте, где вступил на берег, деревянный крест. Это было в 1635 году. В 1652 году Никон, будучи уже новгородским митрополитом, ездил в Соловецкий монастырь вместе с князем Хованским за мощами митрополита Филиппа [31], видел на Кий-острове крест свой, видел веру к нему в ближних жителях и тогда же решился основать здесь монастырь. Обет свой он привел в исполнение тогда уже, когда сделался московским патриархом. В 1656 году Никон, по жалованной грамоте от царя Алексея Михайловича, начал строить монастырь на счет своей келейной казны и на те шесть тысяч рублей, которые пожалованы были ему царем Алексеем. В 1692 году царь Петр Алексеевич указал производить монастырю государева жалованья на церковные потребы

и на монашеские одежды каждогодно по 292 руб. 90 коп., что и производилось по 1707 год. Кроме риз и книг, жалованных монастырю царем Алексеем Михайловичем, царевной Татьяной Михайловной и самим патриархом, в монастыре хранится животворящий крест с 300 частиц мощей, сооруженный, по заказу Никона, в Иерусалиме, в настоящую меру креста Христова (длиной 4 аршина, поперечное дерево 2 аршина 13 вершков, титла — 15 вершков, подножие в аршин, ширина 5 вершков, толщина 2 вершка). Крест этот привезен был в монастырь в 1657 году, а в 1661 году явился сюда из Москвы и сам строитель для освящения готового уже соборного храма во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста. В 1657 году монастырь был утвержден государевыми жалованными грамотами, с дачею волостей с 4537-ю душами. Тогда же приписаны были к нему и Усть-Янская волость (теперь город Онега), и Опеченский (Печенгский) кольский монастырь, со всей округой, и Сырьинская и Благовещенская пустыни.

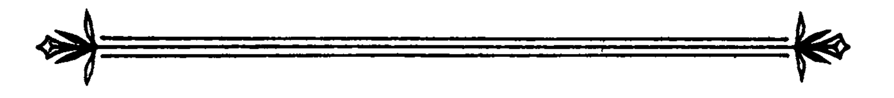
Монастырь нельзя покинуть, не вспомнив, что здесь около 12 лет прожил в ссылке лишенный сана воронежский епископ Лев (Юрлов), известный своими приключениями. Голиков [32] в истории Петра рассказывает, между прочим, следующее: однажды Петр пригласил невестку свою Марфу Матвеевну (супругу царя Феодора) на ассамблею в Немецкую слободу к голландскому купцу Гоппу. С царицей был ее паж Юрлов. После ужина, во время танцев, царь попросил меду, но его не оказалось. Когда потребовал анисовки, то не оказалось того кубка, серебряного, с крышкой весьма изящной работы, из которого обычно пил государь настойку. Он приказал запереть ворота и никого не выпускать не только на улицу, но и из покоев на двор. По расспросам, у прислуги, узнали, что выходил к царицыной карете один только ее паж. Спрятанный кубок отыскали, а невестке своей царь приказал на другой день утром прислать к нему Юрлова. Этот бросился к ногам царицы и повинился.

— Что ты сделал, проклятый! Ведь государь засечет тебя и вечно напишет в матросы или, по крайней мере, в солдаты.

Вручивши ему несколько червонцев, царица велела ему спасаться как знает. Она получила от Петра выговор, а Юрлов стал промышлять о своем животе. Все поиски остались тщетными, потому что виновный забежал далеко,— и в одном из вологодских монастырей успел постричься в монахи с именем Льва. В 1727 году он был уже в Переяславле-Залесском архимандритом Горицкого монастыря, так как в этом году (1-го марта) его хиротонисали во епископа и послали на епархию в Воронеж. Живя здесь, он завел ссору с губернатором, которая разгорелась сильно как раз к тому времени, когда на престол вступила Анна. Губернатор, получив указ сената, пригласил архиерея служить соборный молебен и приводить граждан и чиновников к присяге на подданство. Архиерей отказался неимением указа из синода. Губернатор поспешил воспользоваться случаем отомстить врагу и тотчас же отправил в сенат курьера с доносом на Льва. Сенат решил взять епископа в Москву, предать суду, лишить сана, переименовав Лаврентием. Суд приговорил наказать его кнутом и сослать в этот

никоновский монастырь. Решение приведено в исполнение 3 декабря 1730 года. Императрица Елизавета, прощавшая всех обвиненных при Анне, вспомнила обо Льве и приказала освободить его от ссылки и возвратить ему архиерейский сан. Прощенный отказался от управления епархией и кончил жизнь в Москве на покое в Знаменском монастыре.

Таким образом, и маленький Крестно́й монастырь не избег той же участи, какая предназначена была всем отдаленным монастырям и в особенности такому большому и богатому, каков ставропигиальный и знаменитый Соловецкий. Тамошняя монастырская тюрьма сделалась специальным местом для заключения не только преступников против веры, но и для ссылаемых за оскорбление Величества. В таковых, между прочим, зачтены были два князя Долгоруких — Василий Владимирович и родственник его Василий Лукич, желавшие ограничить самодержавные права императрицы Анны (первый прожил два года, а второй девять лет до освобождения Елизаветой). Когда разыгралась ссора Бирона с Артемием Волынским [33], сюда же, в Соловки, сослан был и здесь же умер друг бывшего кабинет-министра, граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, наказанный будто бы за дерзкие речи против правительства, а собственно — за связи и дружбу с Волынским.



IV

НА ШКУНЕ

Переезд из Онеги в Кемь.— Впечатления морского пути. Луды.— Старик-работник.— Егор Старков.— Шижмуй.— Вэводни.— Характеристика морских ветров.— Морские приметы.— Морские воды, прилив и отлив.— Куйпога.— Сувой.— Подводные опасности.— Предания о спопутных островах: Никодимском, Полтамкорге, Немецкой вараке, Осинке (голодная смерть).— Предание о Колгуеве и Жожгине и богатырях Колге и Жожге.— Кончак.— На берегу.

С востока потянуло крепкой, пронизывающей сыростью. Показались густо-плотные клочки облаков, превратившихся вскоре в сплошную массу, затянувшую ту часть горизонта, откуда появилось впервые густое дымчатое облачко — первый предвозвестник тумана. Солнце, до этой поры яркое и жгучее, со всеми характерными признаками летнего июльского солнца, стало каким-то матово-фольговым кругом, на который даже смотреть было можно безнаказанно, а там и совсем его затянуло туманом: ни один луч, ни одна искра света не могли пронизать тумана, чтобы осветить и нашу серую шкуну, нахмурившееся море, начинавшее усиленно плескать в борты ее. *Заводился* ветер, но *противняк*. Вся надежда полагалась на *полую воду*, которая, следуя законам отлива, пошла с берегов и понесла вслед за нами клочь изжелта-зеленой *туры* (морского горошка), мелкие щепки, где-то выхваченное бревно, еловые ветки, лениво колыхавшиеся в густой пене, смытой с берегов соседнего гранитного островка, а отчасти пущенной и нашим утлым судном. Шли медленно, сколько это можно было понять из того, что у бортов не визжала и не шумела вода, разрезываемая носом, а медленно, монотонно плескалась на судно, и след шкуны был так короток, что конец его легко можно было уследить глазом. Вот пробежал легонький ветерок и прорябил стихавшую поверхность хмурого моря: след судна стал заметно удлиняться и совсем пропадать из глаз, подхватываемый набегавшими волнами.

— Перекинь кливер!.. тяни шкот! — раздались громкие, урывистые слова, в которых было так много успокоительно-приятного, тем более что преследовавшее нас безветрие от самого города Онеги и его мелкой и порожистой реки бесило даже привычных мореходов — работников судна. Не один уже раз замечал хозяин:

— Надо быть, старая баба помирала на ту пору, как заводилось нам вечор поветерье...

— А то что же? — спрашивал я.

— Дело-то вот какое несхожее: у нас вера (примета) такая, что каким ветром пошел ты из становища, таким и на место придешь. Обидит тебя вот этак-то противняком на выходе, так на противняках тебе и весь путь идти. Больно уж горько ладиться этак-то, словно тебя кто за корму-то сгреб и не пущает.

Обиженный безветрием хозяин уходил с палубы и крепко засыпал, уложивши свое богатырски развитое тело во всю длину узенькой, душной каюты. У руля оставлял он работника с приказаньем ладиться на восток к Онежскому берегу и на Орлов наволок, откуда, по его мнению, течение моря идет прямо на Кузовские острова. От них уже рукой подать и до вожделенной Кеми. Старик дремал у руля, не считая нужным слишком налегать на него или поворачивать по требованиям прихотливого ветра. Другой работник (на шкуне их было всего трое), хотя и не ладно скроенный богатырь, пользуясь тем завидным преимуществом, что он был братом хозяину, тоже большей частью спал, и только когда уже не было никакой возможности смежить очей, от излишнего пресыщения в этом невинном удовольствии расходовать скучное время, щипал паклю или выливал помпой воду прямо на палубу. Все глядело до той поры как-то мрачно: и крепко заплатанные паруса, валявшиеся на палубе без дела и без призрения, и сама помпа, в которой сейчас только прошипел и опустился вниз поршень от напора ворвавшегося воздуха, и это серенькое небо с ярким летним солнцем и без всякого ветра, враждебного или благоприятного, и это безбрежное море, слившееся с дальным горизонтом и обозначившееся в месте слияния густо-синей полоской, и, наконец, эти голые гранитные острова (луды), которые целой вереницей тянулись справа и слева во всю длину Онежской губы, дальше в *голомя* — бесконечную даль моря. Кое-где на докучных островах пробился как будто густой лес издали, на самом же деле реденький, скудный кустарник, кое-как уцепившийся на клочке земли, приросшей к холодному и голому граниту луды (гранитные острова Белого моря; часто также слово это употребляется в значении продолговатой прибрежной мели, выступившей значительно на поверхность подобного камня, в противоположность кипаке — невысокой береговой гранитной скале). С одной луды выглядывала черная, догнивающая свой век промысловая избенка, каким-то чудом уцелевшая от англичан, только что в прошлом году оставивших холодное и бесприветное Белое море. Избенка эта пуста теперь и только будущей осенью населится артелью промышленников, вышедших в море за морской свинкой — белугой. Вскрикнут, бывало, пронзительно больно и для ушей, и для пораженного безлюдьем и скукой сердца пары две-три чаек, и поднимутся они над самой низенькой лудой, которая далеко за половину заливается прибылой водой, и опустятся опять вниз, и еще тяжеле, и еще бесприветнее послышатся их дикие, глухие крики. При этом заметит, бывало, кто-нибудь из товарищей-спутников:

— Над гнездом воют: петь ребятишек своих учат, как лешие по зорям; летать тоже учат: мы-де уж во как умеем, и вы по тому же, мол, смекайте... В Соловецком от ихнего крика деться некуда. Непутная птица, совсем дикая; раскудахталась вот этим-то *порато* — ну и чуй непогодь; знай — падет ветер какой ни на есть. Да, вишь, нам-то все противняк... все противняк!..

Рассказчик замашет, бывало, рукой, покрутит головой и уйдет либо в каюту спать, либо на корму платать продырявленный парус. Смотришь, бывало, в воду, как прорябит ее легонький ветерок и опять докучная тишь сгладит все рябинки. По-прежнему безотрадно и тихо море, по-прежнему ощущается та чарующая чистота воздуха, от которой как-то и в груди широко и привольно, и дышится так легко, и ничто, кажется, не увлечет с палубы в каюту. Здесь уже окончательно сонное царство, и ведут бессвязные, бестолковые разговоры в бреду оба брата. Один проснулся, вышел на палубу и также заметно поражен увлекающей прелестью теплой погоды.

— Эка благодать! Эка благодать — матушка! Эко привольное раздолье, жисть благодатная!.. мироздание божеское!.. А все бы, гляди, лучше, кабы поветерье-то пало. Ну, да ладно!.. Море — это горе, а без него — кажись, вдвое. Что у вас там... в Расее-то; есть экое-то? — прихвастнул хозяин и, получивши отрицательный ответ, еще больше приударил на свое:

— То-то, ведь нет!.. ину пору, правда, и тоска берет этак в непогодь алибо на берегу сидя, а попал вот в этакую благодать, так слезными рыданиями не прочь удовольствие себе получить: не сошел бы с палубы!..

— А что, паря, готов ли обед-от? — Наставляй скореича!..— завершит, бывало, свою речь хозяин. Знаешь уже, что уйдет он с братом в каюту и станет есть там сначала жидкость, на треть с морской водой, называемой ими рассолом, и на две трети с пресной, сильно потеплевшей и значительно выстоявшейся в нечистом бочонке. Горячую жидкость эту зовут они ухой, хотя оттуда вынута и потребляется особо обожаемая всем архангельским краем треска, со своим одуряющим, аммиакальным запахом, который не пропадает в ней и по выварке. Наверно знаешь, бывало, что съедят товарищи всю уху — один непременно примолвит, постукивая ложкой в пустую чашку: «Дождя не будет!» Твердо знаешь и то, что за треской последует пшенная каша, причем непременно потужит хозяин, что забыл прихватить с собой с берега масла, и заменит его той же соленой ухой. Твердо знаешь, что при первом появлении в каюту к обеду обзовет он тебя приглашением:

— Поешь трещочки-то: хорошо ведь!

— Не хочу; спасибо!

— Непривышное, вишь, дело-то тебе, непривышное. Мы так вот и о Пасхе ей разговляемся: на сковородке яйцами обливаем да со скоромным маслом и едим всласть: знатное кушанье!.. Что же своей-то не поешь?

— Ветчины-то? не хочешь ли попробовать?

— На оба конца не соблаговолила бы!.. а с молитвой и все

всласть: давай за твое здоровье! Вареную-то вот, чай, благонадежно можно есть.

Попробовал — не нравится: нашел, что она в пироге лучше, а так-де боязно есть.

— Женщины-то едят ли ее?

— Едят.

— А любят ли?

— Да уж едят, так, стало быть, любят...

— То-то!

Надоели в безветрии и эти докучные, невяжущиеся разговоры. И рады, и истинный на улице праздник для всех нас, когда, бывало, повстречаемся на морском безлюдье с другим судном, которое везет также живых существ. И все в этом судне интересует нас: и какой оно краской покрашено — и потому сумское ли оно или кемское, — и что везут: треску или мелкую рыбу морскую, и сколько рабочих. Спит кто — разбудят, бывало: «Ступай, лодья идет, полно дрыхать-то». И приветствуем, бывало, встречных заветным прадедовским приветом, и нам отвечают тем же:

— Путем-дорогой, здравствуйте, молодцы!

— Здорово ваше здоровье на все четыре ветра!

— Откуда бог несет?

— С Мурмана — в *Город*.

— Чьих вы?

— Кемские.

— Что это у вас лодья-то без мачты?

— На голомяни сломало: несхожие ветры пали.

— У нас так вольненькая морянка все тянет, так... Легонькая. Третьи вот сутки от Онеги шляндаем...

— Там, на Терском, ай какие бури стояли! Со дна воротило и все межонные ветра были!..

С тем мы и разошлись. Не удивили и не озадачили уже прислушавшееся к местному говору ухо новые слова, вставленные в короткие речи-приветствия. Знал я уже давно, что Мурманом зовется тот берег океана, который потянулся от Белого моря на запад мимо Колы к норвежской границе и на который съезжаются все поморы для ловли трески — спасительного продукта для пищи, заменяющего легко и благодетельно всякого рода хлеб, который в северных краях не родится. Знал я, что Городом зовется исключительно один только Архангельск, куда свозится и где продается вся выловленная на океане треска; что морянка — легонький, благодатный, по выражению поморов, ветерок с моря; голомянь — даль морская, все, что пошло от берега, который, в свою очередь, носит общее название горы, и что, наконец, с понятием о межонных ветрах соединяется понятие о непостоянстве ветров, дующих летом, когда случается, что ветры обойдут кругом по всем румбам компаса, тогда как осенью морские ветры N, NO и O часто дуют беспрестанно не только по целым дням, но даже и по целым неделям.

На море по-прежнему тишь и гладь; но на дальнем краю, там, где начинается синева горизонта, промелькнуло что-то белое, как

будто волны; вот ближе и в какой замечательной непоследовательности одна за другой, то в одном месте, то заметно далеко в другом!

— Что это такое, старик?

— А белуги лещатся: знать, ветер чуют! — спину показывают, целым юровом (стадом) выплыли.

Юрово это так близко, что можно различить все их проделки. Старик-работник не выдержал:

— Белуг-то как есть спихнем: на дороге стали! Любят они дух человечий — идут на него.

Белухи, высовывая голову, заметно вдыхают в себя воздух, издавая при этом неприятные для уха звуки, наподобие свиного хрюканья, и прячут голову в воду, выгибая при этом свою горбатую, серебристую, как вешний снег, спину.

— Совсем свинья бы,— присказал снова старик,— только ног нету, а хрюкает.

Над белужьим стадом мгновенно закружились — откуда взялись — огромные стаи чаек, подхватывая изо рту зверя пойманных им маленьких рыбок. Старик и здесь не выдержал:

— Чайки эти завсегда живут мирским подаянием, что богомолки соловецкие!.. Ишь норовит!.. ишь сторожит, проклятая!

Действительно, зоркая чайка, заметив зверя у поверхности воды, тотчас опускалась ниже и распускала свои крылья настороже. Зверь, разгребая воду ластами на две струи, высовывал свою небольшую голову и терял часть добычи: чайки уже тут как тут.

Старик продолжал раскачивать головой и хлопать себя по бедрам и как будто горевал белужьему горю:

— Эка, гляжь, ненасыть, эки проклятые! Всего им мало, обжорам!..

Белуги по-прежнему продолжали шуметь водой, и по-прежнему судорожно вскрикивали и немедленно тяжело отлетали прочь чайки с рыбой во рту...

Таков вид на море. На палубе виднелись прежние, давно знакомые картины: хозяин для разнообразия сел к рулю, отпустил горемычного старика-работника отдохнуть, соснуть, а сам замурлыкал себе под нос ту заунывную песню, от которой еще тяжелее становится на душе. Старик, воспользовавшись свободой, бросил на веревочку *плицу* (деревянное корытце, которым на мелких судах беломорских вычерпывают воду), достал морской воды и вымыл ею руки — занятие, к которому он ежедневно прибегал раз по пяти, по шести на день. Он завалился спать на палубе, сильно пропекаемой жгучим солнцем. Брат хозяина лениво щиплет, по-прежнему, паклю, как будто серьезное дело делает: ни песен не поет, ни с кем не заговаривает. Раз только подошел он к борту и бессознательно-тупо поглядел в темно-зеленую чернеть воды и засвистал тем дребезжащим свистом, каким приохочивает ямщик на питье свою уходившуюся и взмыленную тройку.

— Чего, черт, рассвистался-то? — обозвал его брат, все еще навалившийся на руль и мурлыкавший свою горемычную русскую песню.

— Да вишь — нерьпа...
— Выстает, что ли?
— Знамо.
На гладкой поверхности моря время от времени показывалась между тем черненькая, маленькая живая головка с плоским утиным носом, судорожно вертевшаяся из стороны в сторону, как бы прислушиваясь к диким звукам человеческого свиста. Вот показалась серебристая, лоснящаяся, сизая шейка зверька, и вот часть беленького брюшка. Зверек бойко поматывает головкой, ныряет в воду и опять выстает, чтобы снова подхватить долетающие до него звуки свиста. Опять он крутит головкой, подплывая почти к самому судну, и опять прячется, и опять выстает, но уже в другом месте, далеко в голоме: такой он юркий скороход!
— Надо быть, осенний выводок,— заметил хозяин,— да, вишь, заблудился, отстал от стада. Летом не следно им жить здесь: есть нечего, уходят за сельдями за Грумант (Шпицберген). И любопытный зверек: охоч на свист-то. Тем вот и донимаем, берем на стрельну. Больше за ними и уходу нет: нет этих там сетей, крючьев, что ли. А салом лаком, мягкое сало дает и кожу дает хорошую. Вон соловецкие монахи сапоги-бахилы делают, поясами чресла перепоясывают. Сходный, барышный зверек, что говорить; одно — мал!..
Морем опять понесло туру и щепку, и опять все это затянуло пеной, оторванной от берега и голышей-камней, кое-где торчащих без всякой системы и порядка на всем протяжении бестолковой и опасной для судов Онежской губы.
— Полая пошла, теперь ходчее станет. Все, гляди, хоть на куриный шаг, да ближе к Кеми.
— Скучно уж очень. Не глядел бы ни на что!
— Кто говорит?! знамо, скучно: впервые на море. Как тебе не быть скучно, дело несвычное. Мы вот и родились почесть что на море, да и тут все нутро воротит. Смекай, ведь совсем упал ветер! Экая тишь, словно на смех и горе!..
— Посвищи на тюленя-то, веселей станет! — счел за нужное прибавить от себя забавлявшийся созерцанием любопытного зверька парень.
— Поел бы нешто. Вишь, ведь ты не спишь, не ешь,— утешал, в свою очередь, хозяин.
— Не хочется: призору нет.
— Знамо, какой тут призор? несвычное дело, знамо... На берегу-то тебе, поди, лучше?
— Разумеется, лучше.
— А нас так вот там и калачом не удержишь. Нечего нам на берегу делать. Давно идет у нас пословка: «море наше поле, даст бог рыбу — даст бог и хлеб». Морем только и живем, а сторона выходит самая украйна, у край моря сидим. На него вся наша надежда!
— Да ведь уж скучно очень!
— Как не скучно; знамо, скучно!

Нет, решительно не клеится разговор. Хозяин, видимо, и сам утомлен и озадачен безысходностью положения: вяло как-то и по палубе он ходит, и спит уж чересчур часто и долго, и песни все поет заунывные да и ест лениво и много. Не таков был он в первый день знакомства с ним, когда пробирались мелководной и порожистой рекой Онегой, ежеминутно почти меряясь шестом, чтобы, не ровен час, не сесть на мель и не положить судна совсем на бок. Раз я поймал его на такой штуке: долго, долго смотрел он против ветра и крутил головой, как будто сердился; затем снял шапку, похлопал себя по лбу и стал зачесывать вихорь на правый висок. Опять похлопал себя по лбу и засвистал.

— Что это ты делаешь?

— Ветер хочу раздразнить: вишь ведь, чтоб его!..

— Как будто он тебя послушается?

Хозяин задумался было, но вскоре спохватился:

— Бывало, и слушивался; а коли и не так, так все как-то на сердце легче, как будто и сделал свое дело-то... Совсем напротивел,— свищи, старик!

Старик, также охотно и сохраняя ту же важность выражения на лице, хлопал себя по лбу, присвистывал и дразнил ветер.

— Что, старик, и тебе легче? — спросил я его.

— Знамо, легче!..

Одним словом, всем надоело постоянное безветрие в течение целых двух суток. Даже и старик-работник, который хвастался тем, что «вот-де пятый десяток живу, а, почесть, не сходил с судна», не доволен своим положением. Все время он охает и отрывисто поддакивает сетованиям на безветрие или постоянный противняк. По целым часам приходилось, бывало, просиживать у борта, бессознательно созерцая гладкую, безбрежную поверхность моря и синюю массу дальнего берега, на котором нельзя уже различить ни черных кучек — избенок селения,— ни яркой золотой точки, горевшей в кресте над церковью, ни оврага со сверкающей змейкой — речонкой: все ушло вдаль и отливало туманной синевой. Теперь и того не видно: все заволокло туманом, до того густым, что в нем нельзя уже различить с кормы даже старика, рочившего кливер[34], и брата хозяина, вскарабкавшегося на бизань[35] по оборванной, грозящей ежеминутно смертью, веревочной лестнице (вантам), где и самые приступки (выбленки) чрез два в третий измочалены, висят клочьями.

Наступила минута всеобщего торжественного молчания: все стояли настороже в ожидании того, в какую сторону примет направление ветер, до того времени игравший кливером то с одной стороны его, то с другой. Наступил и этот момент, сопровождаемый невыносимым скрипом бизани и всеми резкими бранными словами, на какие только может хватить уменье и привычка русского человека, в сердцах и безмерно обиженного. У брата хозяина сильным порывом ветра вырвало из рук кливер-шкот[36]. Его поймали багром, но виноватый получил пять-шесть ударов в спину — и отдохнуть бы, но хозяин, весь уже превратившийся в суетливого, почувствовавшего и сознав-

шего трудную минуту в своем положении посреди враждебных стихий, требовал его к бизани, крепко бранил. Бранил и за то, что спутал все веревки на мачте, хотя скорее спутал их ветер, и за то, что медленно рочил бечеву, и за то, что медленно отходил к другому борту для закрепы шкота. Не ушел и смирный старик от зоркого глаза и заметок хозяина: и ему послано с бизани приказание, с сильной закрепкой и памяткой, налечь на руль крепче и держать круче, наперерез волны. Любо было видеть его в эту минуту полного разгара хлопотливости: он то взберется на лестницу вверх, то опять, почти в мгновение ока, очутится внизу у кливера. Наконец, торжествующий, посреди прежнего всеобщего молчания, он сел к рулю сам, прогнавши старика следить за кливером.

— Что, хозяин, теперь весело?

— Ну, да как не весело? благодать! и на сердце складно. Этак-то вот иную пору там, в океане, сутки у руля-то просидишь легко и передать жаль. Таково-то любо!..

Все три паруса надуло ветром до состояния полноты и насыщения. Накренившееся судно бойко разрезало в мелкие брызги набегавшие густые волны и бежало смело вперед, оставляя позади себя белую гладкую полосу, окаймленную густой белой пеной. Пену эту подхватывали набегавшие волны, с шумом отпрядывавшие от бортов в мелких брызгах. Туман заметно пропадал, позволяя видеть мрачно клокотавшую бездну воды, взбитую густыми волнами, невысокими, но частыми и бойкими, во всем их поэтическом обаянии и прелести. Но вот волны, гонимые боковым ветром, стали чаще и смелее набегать на накренившийся борт шкуны, прядали через него, обсыпали своими противно-соленого вкуса каплями и лицо, и платье. Одна волна целую массу воды кинула через судно и опечалила всех.

— Порато же много выпало ветра! — наконец-то выговорил хозяин, до того времени хранивший гробовое молчание.

— Отдай кливер да держись крепче за бечеву: повернем!

На палубе сделалось так холодно, как холодно бывает в крещенский мороз; холод леденит руки и бьет в виски; только постоянным движением можно противодействовать его влиянию. Ходить по палубе непривычному человеку уже невозможно, и смешно видеть, как прыгнувший работник ухватился было за бочонок, но, при новом повороте судна на противоположный конец, отброшен был к печке. В каюте свалило со стола бумаги, книги, чернильницу; в шкапу хлопали дверцы и звенели две-три чашки. Хозяин плавал с некоторым комфортом: у него имелся и медный чайничек для чаю. Чай прислащал он сдобными колобками, хотя и значительно высохшими и одеревеневшими; после обеда услаждал себя часто, сверх сыта, щелканьем кедровых орешков — меледы, называя их *гнидами*. Вина не держал вовсе, считая вино на судне совершенно лишним продуктом:

— Вино на судне гибель, и без него тошно! На берегу еще отчего не побаловаться в добрый час? Там с вином весело; здесь маета. От холодов и под полушубком согреемся. Иные, пожалуй,

и любят брать с собой, да тоже в море, почитай, не пьют. Аглечкие, что в город на кораблях ходят, те, пожалуй, вон с утра до вечера пьяны. За них ведь другие дело-то правят, им сполагоря пить-то. А у нас вся надежда в тебе: работать за тебя некому, сам все...

Затем еще несколько ругательств и плюх со стороны хозяина, еще несколько сдавленных криков из уст его брата в ответ за науку, и нас погнало в сторону от прямого, принятого нами пути. Еще несколько криков и бранных слов да визг каната и всплеск свалившегося якоря в воду — и мы на безопасном месте, под островом Шижмуем, наполовину лесистым, наполовину голым, как вообще гол беломорский гранит.

— Экой взводнишшо разворотили: сюды нали досягнул!

— Поди-ко, там теперь какой ад девствует! Больно пылко...

— Пыль, пыль, братец ты мой! — прибавил от себя старик, стараясь поддержать разговор, завязавшийся тотчас после того, как *обронены* были паруса и повернулось судно. Один только хозяйский брат, видимо, был недоволен, стоя насупившись и сохраняя прежнее упорное молчание. Но и он был замечен хозяином:

— Слышь, черт, Петруха! Сердишься, что ли, аль нету?

Петруха молчит.

— Ишь ведь, словно Грумант, и разгневался! Пошто старик-от не сердится?

Петруха все еще стоит на своем: лицо его мрачнее неба и воды окольной.

— Больно, что ли, коли молчишь?

— Знамо, больно, против сердца бьешь: сразу-то ведь и духу тяжело!..

— Любя ведь, леший!

Петруха на замечание это издал какой-то глухой грудной звук, который братом его был принят по-своему.

— Сгоряча-то ведь, дурак, не разберешь. По шее бы, вишь, надо.

— Ну как те не по шее?.. Себя бы бил по шее-то.

— Ладно, ну ладно, поцалуемся!.. Да вари-ко паужин. Делать-то, видно, некого: спать ляжем.

— А недаром же, ваше благородье, белухи-то играли.

— А то что же?

— Да уж как стали выставать целым стадом, знай — крутой будет ветер. Такая скотинка необрядная! Надышаться, вишь, норовит: на волнах-то ей неповадно: не всякую ведь волну и одолишь. Теперь вся на дне в лежку лежит да рыбку проходящую удит: тем она живет, сам знаешь.

Между тем набегавшие волны от огромного *взводня* (волнения), распущенного крепким северным ветром, продолжали сильно раскачивать судно и хотя не накренивали его по-прежнему, но зато этой качкой сильно содействовали тому, что все мои спутники снова заснули богатырским сном. Из голомени доносился до нас глухой гул отголосками последних раскатов грома. Яснее и чаще выделялись из этого густого гула всплески набегавших волн на ближайшие к ним голыши. Оттуда снова слышались громкие, раздирающие

душу вскрики чаек. Из каюты вышел старик, поболтался по палубе, погрел руки над дотлевавшими угольками в печи, вымыл их морской водой, покрякал и опять спустился в каюту.

Прямо против судна потянулся длинный Шижмуй, слева лесистый и зеленый, справа каменистый и черный; далеко у края торчит что-то густо-черное: кажется, изба, а может быть, и просто огромный камень. Там и сям прорезаются в ночном полумраке деревянные кресты, которыми уставлены чуть не вплотную все берега и острова Белого моря, все перекрестки и выгоны городов и селений Архангельской губернии. Кресты эти ставятся по обету или местными жителями, или богомольцами, идущими в Соловецкий. Кресты на Шижмуе могли иметь иное начало: может быть, тем же крутым ветром, каким загнало сюда и нас, загнало в это становище утлые суденки промышленников и надолго затянул один и тот же ветер, запирая все пути к выходу не на один день мрачно-скучного гореванья. Ловцы сошли на остров и долго поджидали вожделенной поры, когда уляжется ветер или переменится в попутный. Проходит не один день скучного житья на голой луде, а между тем флюгарка на мачте по-прежнему реет в ту же, враждебную им, сторону, по-прежнему несется страшный гул от дальнего взводня со стороны моря и по-прежнему черно и сумрачно это море, до половины покрытое густой, серебристо-белой пеной. Ту же тоску и безвыходность положения испытывают промышленники, какие впору только тем несчастным, которые брошены на голый, безлюдный камень, окруженный громадной массой воды и сверху покрытый беспредельным голубым небом. Там с криком пролетит орел, тяжело размахивая своими сильными крыльями, и находит себе место, приют и довольство на первой же спопутной луде. Далеко не таково безызвестное положение покорившихся прихотливым капризам моря, когда наконец самый запас провизии заметно приходит к концу, а налепившиеся по луде ягоды: сочная морошка и кислая, водянистая вороница — набили оскомину. Даже забившаяся в овражке между камнями лужа дождевой воды, пощаженная палящими летними лучами солнца, грозит скоро истощиться окончательно и обещает рано или поздно возможность горькой смерти столько же от жажды, сколько и от голоду. Промышленникам остается одно: быть верными завету своих праотцев и в сооружении деревянного креста полагать всю надежду на лучшую долю, чем бездейственное положение на голом и безлюдном острове. За материалами ходить недалеко: лес под руками, и плохой тот мореход, который не только в дальнее морское плаванье, но даже и в ближайшее — на соседнюю луду за грибами или ягодами — не прихватит с собой топора и пилы. Целой артелью меньше чем в сутки сооружается крест и вырезывается на нем приличная надпись с именем Страдавшего и годом сооружения.

— Всегда после того, как вкапывали крест в землю, переставал ветер. Если он не становился попутным, то зато до конца плавания противняк не мешал плыть ровно и спорко и бетаться (т. е. реить, лавировать), — говорили мне в один голос и прежде, и после бóльшая часть ходоков по беломорским пучинам.

Между подобного рода крестами много, и едва ли, впрочем, не большая часть, таких, которые сооружались спасшимися. Из них два креста сделались историческими: один Петра Великого, сооруженный собственными его руками на берегу Унской губы в 1684 году и хранящийся теперь в Архангельском соборе, и другой Никона, послуживший началом основания на Кий-острове Крестного монастыря.

Если утомительны эти колыхания между голыми островами при полном безветрии, то едва ли не втрое мучительнее гнетет наболевшее сердце пяти-шестичасовая стоянка на якоре: приглядятся окольные однообразные виды, с каждой мелочной подробностью которых делаешься как будто знакомым сыздетства. Глаз болит от беспредельной поверхности моря, взволнованной, возмущенной на всем своем пространстве непокойными, спорящими волнами: одна подсекает другую, разбиваясь в мелкие дребезги об острые корги, голыши и луды. Мельничным воплем отдает шум волн, набегающих на каменистый перебор между соседними голышами, оголенными убылой водой. Стихает этот вопль по мере того, как сполняется вода, следуя неизменному природному закону прилива, несмотря на противодействующую силу крепко разгулявшегося взводня. На небе, заметно прочистившемся, с севера прошли облака и скрылись за хребтом вспенившихся волн голомени. С северо-востока показались другие, черные. Ветер опять пошел духами: то стихнет как будто, то опять заклубит и запенит дальние волны. Опять завоют они на переборе и острых окраинах Шижмуя, и опять закачает нас, словно в люльке. Крепким невозмутимым сном продолжают спать мои спутники. Снова походишь по палубе, хватаясь на пути за устои, чтобы не упасть при этой постоянной качке судна с боку на бок. Посмотришь в даль моря: там опять заиграли белухи, вырисовывая в черноте волн и на дальней окраине горизонта свои серебристые спины: какой-то предвещают ветер? Поглядишь на якорь, не повело ли канат прибылой водой налево, не подтянет ли его совсем под судно и таким образом не повернет ли последнее кормой, чтобы бежать оповестить своих спутников, что вода запала и нечего терять дорогого времени. Работники лениво просыпаются и почти наверно могу догадаться, что бранят нарушившего покой их и за его нетерпеливость, и за его бессонные ночи и бранят даже за то, что получасом разбудил их раньше, чем бы им самим хотелось.

Сначала вылез из каюты сам хозяин в слегка накинутом на плечи полушубке; но холод берет свое: хозяин крутит плечами и зевает:

— Что, брат, холодно?

Ответа не было. Хозяин опять спустился вниз, и слышно оттуда, как бранит он других товарищей и, верно, толкает их в бок ногой. Те огрызаются на него, обзывают лешим и охают. Он снова на палубе, плотно укутанный в шубу, моет руки и молится на восток. Удостоверившись, что якорь действительно находится под днищем шкуны, с помощью работников выбирает его рычагом на палубу. Кое-как, медленно и молча налаживаются паруса. Шкуну нашу легонько

потащило на запад полой водой, вырисовывая перед глазами новые острова, но со старыми, давно знакомыми видами.

— Вот смекай, ваше благородье! — начал наконец хозяин после упорного продолжительного молчания, которое нарушал только требованиями «опустить немного шкот, зарочить покрепче кливер, держать ветр в парусах, не налегать на руль и держать его на ветре, поддать бизани, подвести руль» и пр.— Пал голомянный, ветер морской бы тебе назвать: север ли там, полуношник (NO) вот как бы теперь, всток ли: завсегда взводень рыдат, по осеням неделями тянет, ну да и летом разве сутками удовольствуется. Это не то, что ветра горные· вот хоть бы летний (S) взять, запад, обедник (SO): от тех только визг пойдет, пыль... мачты крепи, паруса убавляй, а нет тебе, чтобы эти волны: шипит вода, что уха в котле. Один только шалоник (SW) побойчее всех, да и тот разве уж крепко наляжет, так распустит взводень-от...

— Где же опаснее взводень: здесь ли, в море, или там, на Мурмане,— в океане?

— Взводень нигде не страшен: умей только паруса обладить да не зевай по времени — не опружит. Опять же места знай: где мель, где корга. Становища, якорные места, опять знай, умей вовремя спрятаться. А который взводень сильнее?

— Да.

— Океанский матерущий взводень живет. Этот и звания перед тем не стоит, так... дрябь, зыбь и ничего... тьфу!..

Рассказчик присвистнул.

— На Мурмане во — какие волны!

Рассказчик засучил рукава и приподнялся.

— Пал там вот этакой-то чертовик полуношник, да сдуру начнет пылить по океану-то: ну... большие волны живут...

И он снова сел на место.

— А как же велики?

— Да чуть тебе с колокольню не посулил...

Прислушивавшиеся работники захохотали. Сам рассказчик скрыл улыбку и продолжал самоуверенным тоном и еще круче засучивая рукава. Он опять приподнялся.

— Идет тебе устречу волна, что дом городской. Подойдет это тебе под низ, взберет на себя все выше да выше, на самый хребет; вздынет, покачнет этак раз-другой-третий, потешит это душеньку-то, значит, свою, да и пустит легонько вниз, что по маслу, любо!..

Рассказчик покрутил головой.

— Спустила это она вниз,— ничего не видно и духу сразу не соберешь. Глянь, ан другая тебе лезет, еще больше той. И эта с тобой поиграет, да этак-то вон соднова по целым суткам и тешатся: и любо и им, и тебе. На попутный идет — шагаешь это все вперед да вперед и порато бойко; а на устретной — знамо, беги в становище, осилит, не справишься...

Он помолчал.

— И сколь велики эти волны — так вот теперь с лодьей бы идешь рядом да пополз на волну к хребту-то и стал на мель, верхушки

мачты не видать, не то что лодьи самой; во как!.. А ведь это морские волны! Это так... тьфу!

И рассказчик опять презрительно свистнул.

— Волна эта мелкая, бойкая, с ней опасливо: того гляди, подсечет и окружит. Волна эта немного от речной отстала. Та так вот совсем обижает, особе на сувоях: там это, где палая бы вода с прибылой встретится. Тут уж рулевой не зевай.

— Ну, а как же это, дядя Егор, на Мурмане-то лонись десятков семь ребят погибло. Такие бури стояли, что отродясь не запомнят?

— Что же? на то власть божья: знамо, все, все от его произволения. Тут нам с тобой, дядя Степан, делать нечего; верно ли я говорю?

Дядя Степан глубокомысленно кивнул головой.

— В океане взводень укладывается не больно же скоро: и ветер перестанет, и другой завяжется, а взводень все рыдает, все гуляет... В море не так, в море взводень в полчаса угомонится, а и раньше, коли на морской ветер набежит какой ни есть горний.

Поощряемый этими расспросами и общим вниманием, хозяин, привыкший, приглядевшийся к морю и капризам ветров, продолжал рассказывать следующее:

— Про ветры нешто сказать тебе зараз, чтобы знал ты и напредки, коли в Колу и на Мурман едешь, все их обыки, всякий норов, значит. Взять бы восток — морской, голомянный ветер — боек и разгуливается скоро, глазом почесть мигнуть не успеешь, и крутит иной раз по морю завсегда целый день; а пошло этак солнце на ветер...

— Что же это значит?

— Стало этак солнце, значит, на вcovок, в стороне этой на небе-то,— отишет ветер и отстанет и взводня не пущает больше. И знай: перестал ветер, так либо ничего, либо другой падет, а уж тот старый и никогда почесть не ворочается, не играет уж... По ночам после встока больше шалоник (SW) ходит.

— Ну, а этот каков?

— Совсем негодяй; пылит, словно угорелый, рвет все у тебя, ровно благует, и почесть не дает никакого взводня. Совсем взбалмошный ветер: задул, закрутил, оборвал бечеву, пену пустил — думаешь, и несосветимую погоду завяжет, и невесть куда унесет тебя, коли попутный. Глядишь, поиграл час, другой, третий, попылил и опешил — и приругаешь дурака, и наплюешь в глаза. Такой!.. Вон полуношник (NO), север, запад — теплый ветер, те молодцы, с теми можно дело иметь, потому благородно и не обидно... Север, однако, не круто взводень пущает,— разве уж крепко расходится и тянет долго...

— Летний каков? — спросил я, стараясь воспользоваться словоохотливостью Егора, не всегда разговорчивого, по большей части замкнутого и сосредоточенного в себе.

— То есть горние?

— Да.

— Про какой спросил-то: про летний?

— Про летний.

— Это ведь белоручка, дворянский сын. Под него спать на палубе ловко. Щекотит это по роже-то теплынью, умирать не надо. Таково любо!.. Так ли я, старина, говорю?

Старик опять молча кивнул головой и опять усмехнулся; даже на всегда мрачном лице хозяйского брата проскользнул род какой-то усмешки, и он переступил с ноги на ногу. Это замечено было Егором.

— Вон Петрухе-то какой ни завязывайся ветер, все ладно. Полуношник хоть все трубы открой — не проймет: моржевист...

Хозяин замолчал, но вскоре счел за нужное прибавить еще следующее:

— Гагара кричит — на море беспременно падет сильный ветер. По старым временам, на пятницу ветер сменяется, как бы ни играл круто...

— Да верно ли это, хозяин?

— С тем возьми!..

Полая вода продолжает подвигать нас, хотя и медленно, вперед. Потаились Шижмуи. Вместо них выплыли новые луды, из которых одним знатоки дали название Медвежьих Голов, другие обозвали именем Сеннухи. Далеко впереди выяснились высокие Кузова, цель настоящих наших помыслов и желаний. Каким-то матовым отблеском покрыты эти острова от вершин до мест прибоя волн и рисуются тускло: нельзя еще отделить гранита от того мелкого кустарника, которым, говорят, он вплотную усыпан.

— Гляди правее Седловатой луды, видишь?

— Ничего не вижу; но Седловатую луду узнаю и дивлюсь ее меткому прозвищу: лучше назвать ее едва ли можно...

— То-то! совсем ведь седло... А направо-то видишь еще кое-что? — продолжал добиваться своего хозяин, когда вопрос возбудил всеобщее любопытство.

Двое работников смотрели туда же и тоже не понимали: отчего мне не видно того, на что указывает хозяин. Один из них даже не выдержал и дополнил:

— Вишь, белеть нали стало! совсем видно...

Но я, по-прежнему, ничего не видел. За поморами, хотя бы даже и в очках, не угоняешься: они очень зорки и далекое видят ясно, благодаря безграничному горизонту моря, на котором с малых лет развивается их зрение. Только тогда, как нас значительно подвело еще дальше вперед, на NO выплыло как бы облачко, сначала незначительной величины, потом постепенно округлявшееся, резко обозначая свою подошву на месте прибоя волн. На этом облаке действительно забелела небольшая, но круглая точка. Над точкой прорезалась и загорелась золотая звездочка, одна, вот другая... третья,— и еще,— и еще...

Невольно дрогнуло сердце, и не надо было сомнений и расспросов: само собой разумеется, что золотые звездочки эти принадлежали дальней изо всех русских обителей, монастырю Соловецкому, с которым связано столько живых впечатлений, обильный наплыв которых мешал найти в них единое целое.

Некоторое время виделась только серая масса с серебристо-снежным пробелом, который начинал постепенно увеличиваться и выделил из себя две церкви, еще что-то, похожее на длинную стену, и вдруг все снова пропало.

— Темень подняло: дождя, знать, будет. А не надо бы нама-ка! — послышался голос хозяина.

— Зорок же, брат, ты и догадлив!

— Нам нельзя без того. Слепым-то у нас и на печи места много. Близорук в море будешь, так и нос расшибешь. Наше море не такое, чтобы корг этих, кошек, голышей не было, не такое!..

Предсказание хозяина сбылось: из теменцы — дальнего облачка — явилась вскоре над нашими головами целая и густая туча, обсыпавшая нас бойким, но скоро переставшим дождем, вызвавшим новое замечание Егора:

— В море встанет темень — жди дождя; в горах (в береговой стороне) завязалась она и кажет словно молочная, да зачернело оттуда море синей полосой,— быть ветру, и крепкому ветру. Так и завсегда вот, как и теперь!

Это предсказание сбылось как нельзя вернее и лучше: дождь загнал меня в каюту, куда послышались вскоре с палубы новые крики, и опять начались возня и брань.

Слышится задыхающийся голос Егора:

— К снастям, ребятушки, к снастям, други милые, человеки земнородные! Постарайся, други, золотом озолочу и по всему свету пущу славу! — Вот так, упрись! Вот этак, серебряные, золотые!.. А чтоб тебе, старому черту, ежа против шерсти родить, что кливер-то опустил? анафема... Не задорься, крепись на руле-то, лупоглазый! рочи живей, одер необычный!.. Начну вот кроить шестом-то, скажешь, которое место чешется!.. окаянные!.. Держи ветер-от так, желанные мои, так,— верно, так! Спасибо на доброй подмоге! Ишь как знатно пошло прописывать. Молодцы, ребята, тысячи рублей за вас не деньги! — Рочи-ко скоренько, рочи, бетайся, други, бетайся!.. Вот лихо!.. Знатно! Шевелись, старик, шевелись, перекидывайся, шевелись покрепче — погуще поешь, ладно! Вот тебе раз! вот тебе раз!..

За последними словами в каюту донеслись новые звуки хозяйского свиста. Я вышел на палубу: стоит он, расставив ноги и разводя руками, лицом к ветру и опять снял шапку, опять машет ею против ветра.

— Что, Егор?

— Да вишь, окаянный какой!..

— Что же, обидел?

— Попугал только, проклятый: на то и шалоник — разбойник, чтоб ему пусто было!.. Рони паруса, братцы, да крути якорь: надо опять *поло́й* * дожидаться!.. Вот и горюй тут!

---

* Считаю нелишним объяснить здесь значение поморских слов, употребляемых для выражения известного состояния воды в приливах и отливах. Вот весь порядок этих замечательных проявлений жизни Белого моря на поморском наречии, всегда метком и оригинальном. Начало прилива, и именно тот короткий момент, когда вода как будто *задумается* и стоит неподвижно, не подаваясь ни вперед, ни назад, поморы

— И тебе-то, гляжу, Егор, обидно!

— Зареву, вот по-коровьи зареву, и знай! Совсем обида: вино бы под рукой было, кажись, облопался бы, чтобы не видать экого посрамления на головушке. Сказано: как, знать, пошли, так и придем непутно! А Кузова-то далеко ушли: к Кильякам, знать, ладиться надо!..

— Что же так?

— Теченье-то, видишь, тяга-то тебе к берегу: без ветра одним бетаньем не одолишь...

— А ведь это, брат, совсем уж не по-морскому. Это уж, выходит, на авось идти.

Егор ничего не ответил. Видимо совсем ошеломленный от постоянных неудач, швырнул он без видимой нужды шест с одного борта на другой, две огромные, тяжелые щепки бросил в море, лег было на досках, на палубе, и не улежал, пошел в каюту. На пути сильно толкнул попавшегося брата, без видимой причины, и только в каюте смог улечься окончательно и ровно восемь часов проспал непробудным, богатырским сном.

Кончались уже пятые сутки нашего морского плавания, и немного принесло оно с собой радостей. На все гляделось как-то смутно, во всем составе чуялась какая-то истома, и на всех виделось то же самое: хозяин перестал шутить и петь песни; брат его глядит еще сумрачнее и молчит еще упорнее; старик-работник, словно развинченный, еще чаще стал доставать морской воды и умывать руки. Все истомились и неохотно заговаривают друг с другом. Дальний поморский берег синеет по-прежнему бестолково, неясно, каким-то длинным, бесконечно длинным облаком, обрамленным снизу яркой синевой неба, что водой морской дальний остров. Таковы и Кильяки, заменившие для нас значение вожделенных Кузовов, такова и Белогузиха, таковы и Медвежьи Головы, бьющие теперь в глаза своим красновато-грязным гранитом и вечной зеленью сосен и елок. Раз только потешил нас бойкий ветер, но и тот выпал настолько боек, насколько и бесполезно опасен, да другой *попугал*, говоря метким выражением Егора, сумрачно созерцающего теперь давно знакомые и сильно напротивевшие ему виды.

— Вот,— рассказывал он,— выглядывает круглой шапкой, что повыше всех из Кузовов, Никодимский остров, и жил на нем старец в посте и молитве, и помер, уложивши головушку на псалтырь старопечатную. Так и нашли ягодницы — девки кемские — лет тому десять, а не то и пятнадцать. С тех пор и зовут по Никодиму-то старцу

зовут *куйпогой* и *куйпакой* (значение этого слова в некоторых случаях переносится и на осыхающий после отлива берег морской). За куйпогой вода *заживет*, т. е. начнет прибывать, *сполняться*, и все остальное время прилива носит уже название *поло́й, прибылой воды*. Прилив кончается: вода *кротеет*, течение ее делается тише, она вскоре сполнится, и через шесть часов от начала прилива будет *полная вода*, затем она *дрогнет* и начинает *западать* (убывать) — и все следующее после того время отлива имеет одно общее название *сухая, малая вода*. Таким образом, опять через шесть часов будет куйпога и немедленно следующее за ней начало полой воды, и т. д. Неправильностями в одновременном появлении приливов и отливов объясняют несчастия, случающиеся с беломорскими судами во время их плавания.

и остров Никодимским. Стали было ходить с молитвой туда, да исправник не велел...

Трудно было отличить этот остров в целой массе других, более и менее высоких островов, целой стеной заступивших весь горизонт впереди. Самое море чрез то потеряло всю свою прелесть безбрежного, почти бесследно сливающегося с дальним горизонтом. Виднелись только острова и с боков, и прямо, и сзади шкуны.

Еще на один из них указывает хозяин и, называя его Полтамкоргой, ведет новую повесть:

— Девушка — этак в поре: полной девкой заводилась — плыла по ягоды с прялкой да божественные старины пела: «Сон богородицы», «Мучение Христово», «Плач Иосифа Прекрасного, егда продаша братия его во Египет» и прочее такое из стихов, что калики перехожие по ярмаркам поют. А как допела она до стиха в плаче-то Иосифа, что

Внуши-де, мати, плач горький
И жалостный глас тонкий,
Виждь плачевный образ мой,—
Приими, мати, скоро во гроб твой.
Не могу аз больше плакати.
Хотят врази мя заклати,
Отверзи гроб, моя мати!
Приими к себе свое чадо...—

и пал, слышь, шалоник бойкий, и окружил девушку-то: потопил, значит!.. А сирота была и ни одного мужика не знала, и все горем горевали по ней... Погоревали, сказывают, ни много ни мало да так и забыли, и забыли бы совсем. Да выходит: в сонных видениях являться стала то к одному, то к другому, и все с прялкой своей, и все, слышь, просила, чтобы часовню на ее косточках ставили. Взялись мужики, отыскали тело, зарыли и часовню сделали на берегу, где тело-то ее волной выбросило. Исцеления и чудеса были, молебны пели, да приехал раз исправник с понятыми, и сжег часовню, и крепко-накрепко наказал не ходить к тому месту. Да народ-от не будь глуп: откопал девушку и перенес ее тело на другое место. Утонула девушка лет пятнадцать, а судили ее всего года четыре назад...

Там вон, за Кильяками-то, в Кузовах, есть луда такая, ва́рака, а зовут ту вараку *Немецкой*: так тут, вишь, немчи кашу варили, и, стало быть, шли они на Соловки, чтобы монастырь ограбить. Варят это, значит, немчи кашу, да и похваляются: кто, выходит, больше ограбил, у кого денег больше. Один этак влез на вараку-то, увидел монастырь вдали, что картину писаную, да и пригрозил. Завидно, вишь, стало, что хорош больно монастырь-от, да и казны его счесть нельзя. Пригрозил немец: «Завтра, мол, красоты твоей не видать станет, всю по камушку разнесем». Да, видно, вражьим было это попущением — божьим-то изволением: немец, как сказал слова те свои, так и стал камнем, и товарищи-то все до единого в камни оборотились. Знать их теперь всех по той вараке: в сумерек проедешь — так ровно бы люди: вся почесть гора уставлена ими понизу. Так, выходит, все немчи и стали камнями!..

— А слыхал ли, твоя милость, про Анику? — завершил свой рассказ хозяин.

— Нет, не слыхал.

— Разбойник, вишь, был: по пятницам молоко хлебал, сырое мясо ел в Велик день. Жил он около промыслов на Мурмане и позорил всякого, так что кто что выловил — и неси к нему его часть; без того проходу не даст: либо все отнимет, а не то и шею накостыляет, пожалуй, и на тот свет отправит. Не было тому Анике ни суда, ни расправы. И позорил он этак-то православный люд, почитай, что лет много. Да стрясся же над ним такой грех, что увязался с народом на промысел паренек молодой: из Корелы пришел и никто его до той поры не знавал. Пришел, да и поканался коршику: «Возьми да возьми!» И крест на себя наложил: православный, мол, я. Приехали. Паренек-то вачеги — рукавицы, значит, суконные — просил вымыть. Вымыли ему рукавицы, да выжали плохо — осердился: «Дай-ко, сам!» — говорит. Взял это он в руки рукавицы-то да как хлопнет, что аглечкий из пушки: разорвал! Народ-от диву дался; паренек-то коли, мол, не богатырь, так полбогатыря наверняк будет. А тут и Аника пришел свое дело править: попроголодался, знать, по зиме-то. «Давайте, говорит, братцы, мое; за тем-де пришел и давно-де я вас поджидаю». А парень-то, что приехал впервые, и идет к нему навстречу: «Ну уж это, говорит, нонеча оставь ты думать; не видать-де тебе промыслов наших, как своих ушей; не бывать плешивому кудрявым, курице петухом, а бабе мужиком». Да как свистнет (сказывают) он его, Анику-то, в ухо: у народа и дух захватило! Смотрит, как опомнились: богатыри-то бороться снялись и пошли козырять по берегу. То на головы станут, то опять угодят на ноги, и все колесом, и все колесом... У народа и в глазах зарябило. Ни крику, ни голосу, только отдуваются да суставы хрустят. Кувыркают они этак-то все дальше и дальше и из глаз пропали, словно бы де в океан ушли. Стоит это народ-от да богу молится, а паренек как тут и был: пришел, словно ни в чем не бывал, да и вымолвил: «Молись-де, мол, братцы, крепче; ворога-то вашего совсем не стало, убил»,— говорит. Да и пропал паренек-от. С тем только его и видели. Аника-то тоже пропал...

— Ты этому веришь, Егор?

— В становище Корабельна Губа, подле Колы, островок экой махонький есть: зовут его Аникиным и кучу камней на нем показывают...

— Что же это такое?

— А, стало быть, Аники-то, мол, этого могила. Так и в народе слывет.

— Вот что, твоя милость! — примолвил мой рассказчик после некоторого раздумья.— В стихах старинных поется вот какое: «что, мол, старина, то и деянье». Да коли уж не веришь этому, что рассказал тебе про старинное, так вон тебе остров Осинка. На нашей памяти было и дело это.

Рассказчик, при последних словах, тяжело вздохнул и был справедлив как нельзя больше.

Остров этот, Осинка, не отличаясь ничем особенным от других,

соседних (такой же серенький, гранитный, только несколько пошире и пониже), замечателен по грустному, тяжелому воспоминанию, какое сопряжено с его именем у поморов.

Здесь, не так давно, умерли с голоду два мужика, Осип Каншиев и Яков Елисеев. Последний торговал хлебом и, вернувшись домой к осени на лодье, с значительным барышом, прихвастнул в семье, сказывают, раз как-то, «что теперь-де, слава богу, не умрем с голоду». Сталось иначе. Когда завязалась глухая осень, так схожая в том краю с зимой, когда на море у берегов образовались уже ледяные припаи,— торосья (огромные льдины) бродили по голомяни. С одним из этих торосов оторвало крутыми морскими ветрами рыболовные сети, привязанные к этим припаям. Сети были мирские. Все мужское население этой деревни отправилось на карбасах для поимки сетей, составлявших надежду не одной семьи и, может быть, даже не одного дня. Рыба, как известно, под шумок осенью идет охотно и подчас в огромном количестве. Сети были, однако, пойманы, хотя и значительно потертыми; но искатели недосчитались двух товарищей, отправившихся вместе на одном карбасе. Беда, при некотором соображении, оказалась избывною. «Мало ли,— думали мужички,— пропало народу, не только около дому, но и на Груманте, и на Новой Земле, и на Колгуеве, а миловал бог — ворочались, бывало, через полгода, через год: авось и эти...» Пришел между тем март — весенний месяц: море попрочистило, льды отнесло дальше в голомя. Поехали искать пропавших — не нашли; попытались другой раз и вышли на Осинку. Здесь изба промысловая: черная, закоптелая, догнивающая свой век под бойкими осенними дождями и раскачиваемая в своем дряблом составе крепкими морскими ветрами. Все по-старому. Вошли в избу: лежат на полу два почернелых уже человека, обхватившись руками и плотно прижавшись друг к другу. Сверху рогожка лежит: рогожкой накрылись. В одном узнали Якова Елисеева, а в другом Осипа Каншиева; у одного полон рот набит собственным же калом, у другого — мохом. Совсем голодной, не русской смертью умерли несчастные, и всего только в девяти верстах от родной деревни! Тут же в избе нашли три дощечки и с надписанием (Яков Елисеев был грамотный). Вот какие горькие строки выстрадал он и написал жене своей Прасковье Евдокимовой: (1 дощечка) «Пашенька! как унесло нас — четвертое воскресенье и понедельник; ты не пришла; тепло было. Ходили по Осинке, дожидали вас, вы не приехали; бог с вами! Панюшка, тощи стали! карбас отлучился (оторвало ветром), 15 верст ниже льды; по тонколедице пришли». (2 дощечка) «Панюшка! я воскресенье ходил по Осинке; вперед не знаем: долго ли живем или коротко. У Канбалина якорь возьми и долг Рынину заплати. Ты, Пашенька, не забудь моей души грешной. Мы здесь друг другу клялись, и скажи отцу: всеми грехами грешны и согрешили, и ты поставь псалтырь (закажи читать). Панюшка! вели Андриевной, чтоб бога ради принялась и пусть простит. Мы один белый мох едим, и силы не стало. Простите, други и недруги, меня, грешного, Якова Елисеева». (3 дощечка) «20 числа ходил по Осинке и домой смотрел; лед тонкий: если бы можно, еще бы ушел домой.

Пашенька, прости! всем скажи, и все меня простите. Братец Андрей, не обидь Парасковьи и другим не давай; если станут брать, прокляты будьте. Прости, Пашенька, и меня, и меня, грешника, простите, Иакова. И еще проходили осьмого числа, да не могли. Яков Елисеев». Стало быть, страдальцы жили на острову более *пяти недель.*

— Так вот, вишь ты, жизнь-то наша приморская (перебил хозяин): — где потеряешь — не чаешь, а где и найдешь — не знаешь. Вон и теперь под нами-то, надо быть, сажен пятьдесят печатных глуби есть. Ладно еще, что вольненькая-то морянка тянет да бог милует!.. Ну, слушай же, твоя милость, расскажу я тебе еще старину. Знаешь про Колгу да Жожгу?

— Слыхал, что есть острова в море — Колгуев да Жожгин...

— Супротив последнего острова есть мысок экой небольшой — Кончаковым наволоком зовется — неподаль от деревни Дуракова. Вот на всех местах этих жили три брата: меньшого-то Кончаком звали, так по именам-то их и острова теперь слывут. Вот, стало быть, и живут эти три брата родные, одного, выходит, отца-матери дети; живут в дружбе-согласии; у всех топор один: одному надо — швырнул через море к брату; тот подхватил, справил свое дело, топор ему передал. Так и швырялись они — это верно! С котлом опять, чтоб уху варить,— самое то же: и котел у всех один был. Живут-то они этак год, другой, третий, да живут недобрым делом: что сорвут с кого, тем и сыты. Ни стиглому, ни сбеглому проходу нет, ни удалому молодцу проезду нет (как в старинах-то поется). Шалят ребята кажинный день, словно по сту голов в плечи-то каждому ввинчено. Стало проходящее христианство поопасываться. В Соловецкий которые богомольцы идут, так и тех уж стали грабить; уж и что бы, кажись, баловства пуще. А вот пришел раз старичок с клюкой: седенький экой, дрябленький, да и поехал в Соловки с богомольцами-то. И пристали они к Жожгину острову, где середний братан жил. И вышел Жожга, и подавай ему все деньги, что было, и все, что везли с собой. Старичок-то клюкой и ударь его, и убил, наповал убил. А по весне приговорился на сальный промысел, да и Колгу убил, и в землю его зарыли. Да сказывали бабы — из земли-то выходить-де стал и мертвый был — а лежит, мол, что живой, только что навзничь. И пугает... Долго ли, много ли думали да гадали и стали на том, что вбить, мол, колдуну, по заплечью-то, промеж двух лопаток, осиновый кол...

— Ну! — привздохнул откуда взявшийся старик-работник, до той поры не замеченный.

— Перестал вставать: ушел на самое дно, где три большущих кита на своих матерых плечах землю держат.

— Ну, а Кончак-от что, третёй-от брат? — опять спросил рассказчика старик-работник. Но хозяин ответил не прямо, а обратился ко мне, примолвив:

— Старика, гляди, разобрало! Не все тебе, старина, сказывать надо: по ночам вопить станешь. Слушай! Кончак-от такой силы был, что коли сух да не бывал в бане, что ли, или не купывался — в силе стоит, с живого вола сдерет одним ногтем кожу; а коли попарился

этак или искупался, так знай — малый ребенок одолит. Вот и полюби он попову жену и украл ее у попа-то: та на первых порах и смекни, что богатырь-от после бани что лыко моченое. Она и погонись за ним вдоль берега по морю до Кончакова наволока, тут он изошел духом, умаялся — помер. Там тебе и могилку его укажут, коли хочешь.

— Будет же, браты, видно, разводы-то разводить: вот и Кильяки! — берись за шест да налегай, старина, на руль-то покрепче! — завершил Егор свои рассказы в самую опасную для нас пору плавания: шли мы узенькой салмой (проливом); саженях в десяти — двенадцати справа и слева тянулся ряд неширoких, невысоких луд, известных в группе своей под именем Кильяков.

В широких щельях этих голых луд забилась земля, и уцепились на этой земле искрасна-желтые кусты морошки и вьющейся плющом цепкой, черной вороницы. На одном островку занимались было березки, да, прохваченные в вершинках своих постоянной полярной стужей, изогнулись в горбыль и пошли опять к земле коленами, цепляясь одна за другую плотным, нераспутываемым плетнем. Дал этого сорта березкам поморский народ прозвание *ползушек* (сланки), а столяры дальних городов России — корельской березы. На одном острове порадовали уже отвыкавший и притупившийся на морской глади глаз кусты можжевельника, такого же косматого, такого же цепкого, как и на всех остальных пространствах громадного отечества. Большего отыскать уже ничего нельзя было: гранит и один гранит кругом. До ушей доносятся какие-то отрывистые, но покойно высказываемые выкрики хозяина и ответы на них:

— Ткни шестом справа-то!..

— Не хватает.

— Ну-ко, слева!

Раздается: «Ух»,— как выражение испуга, и опять слышится: «Не хватает!» Старик чуть не опрокинулся с шестом через борт.

— Впереди-то сувой * стоит: эка бы до нас-то его разбило. Ну да ладно: ткни-ко еще, старина.

— Не хватает.

— Держи, старик, брас [37] немножко; зарочи! потуже натяни, потуже!.. Отвори брас! поддай бизани-то! — Ладно; довольно. А ну-ко... теперь ткни шестом-то!.. ошшо!.. ладно!..

— Теменца идет: дождя, знать, хочет быть... Ишь парусок показался: на тоню, знать, поехали!.. Вон и другой, третий! куда это они?.. А дождя, знать, будет: сильна теменца-то!..

— Пущай будет, нама-ко что?

— Знамо!..

Мы по-прежнему продолжаем пробовать шестом, чтобы не наткнуться на подводную кошку в этом опасном проходе, про который сам хозяин выразился таким образом:

— Костливо же здесь место, куды ни поглянешь — все вода

---

* Сувоем называется то место в воде, где она крутится и клубит от двух встречных течений, когда полая вода пойдет на малую или же когда обе воды встретятся: полая с убылой.

мырит, все словно на корге бьется она; здесь, чай, из кемских-то и не ездит никто — право, не ездит. Ведь вот не бывал, так ведь и не знаешь и, того гляди, голову свернешь. Костливо место, костливо!.. Ткни, старик, вот впереди-то, полевее. Шестись, шестись знай!..

Действительно, в салме этой можно было проследить все разнородные виды морских голышей, так опасных для судов, и прослушать все меткие названия, которыми охарактеризовали их поморы в отличие один от другого. Вот *баклыш* — надводный огромный камень, покрываемый прибылой водой, и *бакланец* (бакланец потому, что любит на ней садиться и вить гнездо морская птица *баклан*) — низенькая луда, тот же баклыш, но вода прибылая не топит его; *корга* — подводный камень, иногда в целом переборе, в нескольких десятках экземпляров; *пахта* — целый утес, одиноко выдавшийся в море из груды соседних островов. Вот *поливуха* — камень, стоящий наравне с поверхностью воды, которая мырит на нем все время буруном. Вот и вечно обманывающие самый опытный глаз *водопо́ймяны* — камни и мели, поднимаемые водой во время прилива; *чуры* — хрящеватые отмели или косы; наконец, *клин* — подводная каменная банка или риф, *за́бережье* — та часть морского берега, которая во время прилива покрывается водой и осыхает при отливе, и *ле́щади* — ровные, гладкие подводные мели с *арешником* — целыми грудами мелких, округленных волнами камней, и проч., и проч.

Но вот снова крики: «Оброни марсель! и кливер оброни!.. Старик, ступай-ко к бизани; я пойду якорь брошу!» Затем опять несколько глухих криков, ширканье каната, глухой стук и всплеск — шкуна дрогнула и остановилась. Ветер ходит *духами*: то припадет, то опять зарябит волны, напущенные сюда дальним голомянным взводнем. Пену несет *дородно*, по замечанию работника, и вся салма наша представляла вообще тот вид, который не позволил бы сунуться в Неву ни одному петербургскому ялику. Егор преспокойно спустил свой ботик со шкуны, достал из каюты два избитых, обгрызанных весла, служивших, может быть, весьма недавно в деревенском дому его месивом пойла коровам, и принялся обряжать парус. Материалом для последней цели послужил старый мешок старика-работника, навязанный на тоненькую палку. Мешок, вдобавок ко всему, в одном месте украшался изрядной величины дырой.

— Мыши прогрызли, в клети лежала! — объяснил старик,— думали, надо быть, съестное найти!..

Нашли они немногое: пестрядинную рубаху, кусочек суконца синего, кусочек кожицы, нитки, козырек от шапки — и только. Старик, вечно нанимающийся на суда работником, жил налегке; да едва ли и мог иметь что больше, если представить себе его постоянно в руках прожорливых чужеядных поморских монополистов.

Егор уже готов, одетый в свой полотняный сюртук, пропитанный вохрой с маслом и представлявший вид самодельной клеенки — произведение личной сметки и досужества самого Егора; ни прежде, ни после не случалось мне видеть такого наряда. Сам Егор прихвастнул:

— Никакой дождь не берет: что с гуся вода — отменное дело.

Парусок налажен и, к крайнему удовольствию всех моих спутников, надулся ветром.

— Садись, барин, карета готова.

— Егор, не опружило бы? Видишь, какой взводень, и ветер не тишет!

— Не из таких бед выхаживали сухи: бог миловал, а и эта волна... сонное видение!

— Однако в реке-то мелкие волны будут, подшибут, пожалуй!

— Не кверху полетим и в реке, коли пронесет морем. Ветер-то к той поре авось и потишет...

— Страшно, Егор, право страшно!

— Страшен черт, коли во сне приснится, а наяву-то пристанет — так и открестимся. Одно только сумление наводит: не осмеяли бы встречные, что вот, мол, палкой подпоясались, мешком упираются...

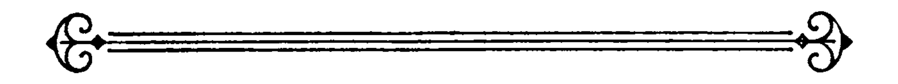
Трудно было не согласиться на предложение Егора, видя все его хладнокровие и зная его опытность и приглядку ко всякому шагу на море. Через месяц после я уже в подобных случаях не задумывался, видя даже в поморских бабах удивительную смелость, уменье управляться и с рулем, и с косыми и с прямыми парусами.

Егор продолжал быть верным себе и во все время, когда наша скорлупа-ботик болтался по далеко еще не уходившемуся взводню. У старика-гребца выскочило из уключин (называемых здесь *кочетьями*) весло, почти вышибенное бойко набежавшей волной. Егор усмехнулся с таким же хладнокровием, с каким посмеялся бы он и в каюте, во время стоянки на якоре, над стариковой дремотой или чем-нибудь подобным.

— Что, старик, каши ложку потерял?

— Бури престаша, ветры улегоша, во своя устроися,— примолвил он в ту пору, когда скорлупа наша обогнула наволок и побежала в небольшую, порожистую речку Кемь. За дальним коленом реки выглянул и самый город, сначала своими двумя деревянными церквами, потом рядом домов, из которых один коричневый, другой зеленый, остальные все цвета дикого крашеного, и дикого крепко подержанного, вылинявшего от дождей и снега.

Городок глядит приветнее Онеги и далеко успокоительнее: у пристани ребятишки рыбу удят и ведут бойкие, оживленные разговоры. Подле лает и прыгает собака. Инвалидный солдат прошел с ружьем и сильно просаленными масляной сажей усами, а позади — кемская женка вся в красном. Издалека несется визг пилы, лязг топора, попавшего плашмя на сучок, всплески весел и затем голосистая русская песня, разводимая бойкими голосами пяти — семи девок. Петух поет «кукареку», ребенок где-то плачет. Пороги шумят, и шум их то относит ветром далеко и делает глуше, то опять шумят эти пороги, словно над самым ухом... Все кругом живет и дышит той ласкающей, той чарующей жизнью, от которой на душе так тепло и привольно!..



V

ПОЕЗДКА В СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Первые впечатления пути по морю.— Воспоминания туземцев о недавнем посещении Белого моря англо-французской эскадрой.— Мои спутники.— Соловецкий монастырь.— Гостиницы.— Часовни.— Воспоминания о посещении монастыря Петром Великим.— Возмущение соловецких старцев и подробности осады монастыря от московского войска.— Беглецы и старцы.— Настоящее состояние монастыря и его значение.— Поездка на Анзеры и в скит Голгофу.— Соловки с птичьего полета.— Монастырская тюрьма.— Ее внешний вид.— Ее история.— Интересный заточник.— Папулин.— Из истории федосеевского раскольничьего толка.— Похищение древнего иконостаса.— Древние иконы.— Тюремный преступник.— Рассказ архимандрита Александра.— Земляные тюрьмы.— Мешок.— Побеги.— Великоважные преступники.— Строгость заточения.— Цепные.— Донской есаул.— Игумен Израиль.— Ссыльные.— Интересные из них: Пархомов и Жуков.— Всенародное поклонение.— Возвращение и обратный путь в Кемь.

Шумливо бежит в недальнее море порожистая, неширокая река Кемь, извиваясь прихотливыми коленами, обставленная высокими гранитными берегами; бойко бежит по ней и наш карбас, подгоняемый крутым, не на шутку расходившимся юго-западным ветром. Недавно оставленный нами город Кемь то закроется от нас ближней *вараkой*, высокой крутизной каменного, бесплодного берега, то покажет, как бы для последнего свидания, часть деревянных домов дальней набережной, то Леп-остров с его деревянной церковью древней постройки. Наконец, он совсем пропадает из виду, когда уходят далеко вправо и влево берега реки, на этот раз какие-то низенькие, какие-то черные, мрачные с виду. Казалось, что вот сейчас же разольется перед нами громадная ширина Белого моря и начнут метаться, одна на другую, крупные, соленые, для непривычного страшные с виду волны. Как будто нарочно для этого и правая крутизна ближнего мыса, затянувшись туманом, отошла далеко назад. Самый ветер надувал наши два паруса полнее и крепче; чайки выкрикивали чаще и тоскливее; море ширилось все больше и больше и бросало в нас уже крепко солеными брызгами. Мы находились в настоящем море и почти открытом, если бы не выступали направо и налево высокие, словно обточенные, скалистые и щелистые острова

из группы Кузовов. Дальние краснеют тускло, как будто надрезанные, прохваченные снизу полосой воды, как дальнее облако, неподвижно врезанное в серый горизонт. Ближние из них ярко выясняются своим грязным, сероватым гранитом с прозеленью тщедушного сосняка, с прожелтью выжженной солнцем, выцветшей травы, ягеля (оленьего мха), листьев ягоды вороницы и морошки. Некоторые из этих островов не кажут ничего, кроме камня, темного цвета выбоин-щельев и потом опять камня, серовато-красного и серовато-желтого. На одном из них прицепилась избушка — таможня.

— Это Попов остров,— объясняет кормщик.— В избушке солдаты живут. К ним приставай всякий, кто с моря едет, и показывай им: не везешь ли чего из запретного: рому норвежского, чашек чайных, сукна, алибо чего из прочего. Да наши молодцы такие, что и за Кильяками (островами) встанут, нечто возьмешь: далеко ведь... Туда досмотрщику несподручно ехать, хоть и карбаса есть у них, и багры, чтобы за чужой карбас ухватиться. Спасаемся же!..

— А вон, гляди, этот остров,— продолжал мой кормщик тогда, как выровнялась новая гранитная скала, несколько большая против других, соседних.— Ехали наши ребята на карбасе три человека: богомольцев везли к угодникам. С ними женок штук до пяти было — и все тут. А на ту пору у нас этот *аглечкой*-то бродил да обиды всякие делал. Едут вот наши ребята, едут, едут наугад, авось-де со врагом с супостатом и не встретимся, и проедем, и святым угодникам молитву воздадим. Ладно,— с тем, стало, и едут. Ан глядь-поглядь, из-за одной луды в Кильяках словно бы дымок показался. Стали всматриваться — дымок и есть. Наши ребята этак взяли в сторонку рулем и стали заходить правее за луду: там-де встанем, переждем на лютый час, пусть погуляют, проедут. Ружья у них и были, пожалуй, так, вишь, женского-то полу набралось — дери их горой! Ну, вот — хорошо! Слушайте! Обогнули наши молодцы луду ту: пристали. На гору подниматься стали, поднялись — посмотрим, мол, далеко ли супостаты. А они тут и есть под горкой: кто врастяжку, кто стоя, трубочки покуривают, кто как... Насчитали наши ихнего народу, надо быть, сказывали, человек до тридцати. Как, слышь, увидали наших на горе,— взболоболькали по-своему да как кинутся под гору назад,— так, слышь, только пятки засверкали. А нашим-то и любо: стоят да глядят, что дальше будет. Бегут аглечкие к шлюпке,— отчаливать тормошатся, весла хватают... Один оступился, в воду попал,— что бык взревел! Так и удрали, так и удрали на свой пароход. Наши после них пистолет нашли, цигаров, спичек хороших таких, ни одна не пропала, а горела, что тебе восковая свечка... Таково-то хорошо, ей-богу!..

Нам завязалось поветерье. Карбас, несколько накренившись набок, бежал довольно спешно, бойко рассекая несильные, но частые волны. Мы продолжали ехать между островами, оканчивая то тридцативерстное пространство, которое занято ими, начиная от устья реки Кеми. Остальные тридцать верст (изо всех шестидесяти от города до монастыря) идут уже *полым*, по-здешнему, т. е. открытым, свободным от всяких островов морем.

Хорошо было сидеть мне в чистеньком таможенном карбасе, предложенном мне предупредительностью доброго кемского городничего. Род каюты, навес над кормою, сделанный наподобие кибитки, обит был зеленым сукном; тем же сукном обиты были и скамейки по сторонам. На полу подостлана была шкура белого медведя, мягкая, удобная для лежания и сиденья. Навес не угрожал ударами по голове, как во всех других поморских карбасах, лаженных кое-как, только бы сошло дело с рук. Там сквозной ветер дует безнаказанно, там от дождя навесы не спасают и всегда одолевает одуряющий запах трески, которой запасаются девки-гребцы. Здесь на этот раз ничего из подобного не было; даже и женщин-гребцов заменили на этот раз 6 мужиков, сильных на руках, бойких и острых на язык. Они подобрали весла и, по обычаю всех архангельских поморов, тотчас же принялись за еду. Несутся в мою будку отрывки их разговоров.

Один сообщает прочим, что он вот уже пятый раз в нынешний год ездит в монастырь и съездит, может быть, и еще четыре раза.

— Чего ж больно так разохотился? — спрашивает его другой гребец.— Али весело очень, в привычку вошел?

— И в привычку вошел, и усердие имею: я и в запрошедший год два раза был там, хоть и аглечкой бродил — небось не побоялся. Я ведь более по портному делу, на монастырских работников жилетки шью: любят очень. Поживешь на острову три дни положенных, жилеток до пяти и обработаешь. А деньги особь и за греблю, и за шитье получу; вдвое, стало быть, в барышах и бываю...

— Стало, тебе там и помолиться некогда?

— Какая уж тут тебе молитва? — известное дело!

Слышатся новые толки. Тот же портной сообщает товарищам, что монастырь выставляет бочку дегтю даровую для того, чтобы богомольцы могли смазывать свои сапоги.

— А велят ли сапоги-то мазать? — робко, сдержанным голосом опросила его кемская женка, упросившая нас взять ее с собой.

Портной посмотрел ей на ноги: баба была в сапогах.

— Да хоть голову мажьте, коли *усердие* есть! — отвечал он ей и набил трубочку, коротенькую, прожженную и окуренную до безобразия и постоянной воркотни.

Почуялся прогорклый, неприятный запах махорки. Портной высосал трубку в два приема и очумел, вытаращив глаза, которые на этот раз сделались какими-то оловянными и бессмысленными. Вероятно, в это время он испытывал неземное наслажденье, потому что улыбка, до того времени не сходившая с его лица, на этот раз сияла полнейшей, двойной радостью.

— Нечистый вас, братцы, ведает, как это вы в экой дряни смак находите, будь вам пусто! — послышался голос кормщика.

— Да ведь это кому как, Гервасей Стефеич. Иной, пожалуй. вон из одной-то чашки с тобой и пить не станет, а все свою носит. Так-то!

— Да ведь из головы блудницы зелье-то это поганое выросло,— заметил было кормщик грубо-сердитым тоном.

— Это, брат Гервасей Стефеич, по книгам ведь. А по мне, коли водки в кабаке выпить захочешь, в артельной чарке она навсегда слаще бывает. Я не брезглив: по мне, коли водку пить, так и из ошметка хорошее дело. Верь ты моему слову нелестному!..

Кормщик замолчал на убеждения соперника. Но не молчал этот:

— Ты это знай, Гервасей Стефеич, что табак бодрости придает: в нем сила... Ты посмотри — вон и его высокородие сигарочку закурил. Стало, это хорошо: вон оно што!..

Кормщик хранил уже после того упорное молчание.

Остряк заглянул ко мне в будку:

— Ваше высокородие!

— Что хочешь сказать?

— Вот вы теперича изволите в обитель преподобных в первый раз ехать?

— Да.

— А знаете ли, какие там дивные дела случаются?

— Нет, не все знаю.

— На зиму, изволите видеть, месяцев на восемь острова Соловецкие совсем запирает: на них тогда ни входу, ни выезду не бывает во все это время. Сначала мутят море бури такие, что и смелый и умелый не суется. Попробовал архимандрит за почтой в Кемь послать — все потонули. С октября месяца у берегов припаи ледяные делаются. Так ли, братцы?

— Припаи верст на пять бывают от берега,— подтвердил кто-то.

— Бывают и больше. Вот на ту пору ветры морские, самые такие крепкие, зимние, от припаев этих ледяных льдины, торосья такие, отрывают и носят, что шальных, из стороны в сторону. Промеж льдин этих не протолкаешься: изотрут они утлый карбасенко в щепу.

— А Михей-то Назаров в четвертом году пробрался! — заметил кто-то.

— Ну, брат, ты мне про это не рассказывай! Про Михея Назарова закон не писан: он ведь блажной. Головушку-то свою где-где он не совал: он ведь, брат, зачурованный. Его и на том свете черти-то голыми руками не ухватят: такой уж!

Все засмеялись.

— Так вот я к тому речь свою веду, ваше высокородие, что монастырь на всю осень, на всю зиму, на всю весну заперт бывает; никаких таких сношений с ним нет. На ту пору они арестантов из казематов выпускают: которые гуляют по монастырю, которые в церковь заходят. В мае (рассказывают монахи), как начнет отходить земля, побегут с гор потоки,— прилетает чайка; одна сначала передовая. Сядет она на соборную колокольню и кричит долго-предолго, шибко-прешибко; покричит часок, другой, третий — улетает. Дня через два, через три налетает этих чаек несосветимая сила, проходу от них нету: сами увидите! Живут они на острову все лето, детей (чабарами зовут) тут же и выводят. Монахи и богомольцы их хлебом кормят, и чайки эти совсем ручными делаются, а ведь пугливая, дикая птица от рождения. Вот вам и первое диво!

Все гребцы при этих словах переглянулись. Портной продолжал:

— Осенью прилетают во́роны — с чайками драку затевают. Идет у них тут кровопролитие большое: чаек много бывает побито. Чайки улетают с острова все до одной: остаются хозяевами вороны во всю зиму, а по ранней весне и они тоже улетают, тут драки не бывает. Так ведь вот диво-то какое!

Острова между тем стали заметно редеть; быстро уходили они один за другим назад. Крепкий ветер гнал нас все вперед скоро и сильно. Сильно накренившееся набок судно отбивало боковые волны и разрезало передние смело и прямо. Выплывет остров и начнет мгновенно сокращаться, словно его кто тянет назад; выясняется и отходит взад другой — решительная груда огромных камней, набросанных в замечательном беспорядке один на другой; и сказывается глазам вслед за ним третий остров, покрытый мохом и ельником. На острове этом бродят олени, завезенные сюда с Кемского берега, из Города на все лето. Олени эти теряют здесь свою шерсть, спасаются от оводов, которые мучат их в других местах до крайнего истощения сил. Здесь они, по словам гребцов, успевают одичать за все лето до такой степени, что трудно даются в руки. Ловят их тогда, загоняя в загороди и набрасывая петли на рога, которые успевают уже тогда нарасти вновь, сбитые животными летом. Между оленями видны еще бараны, тоже кемские и тоже свезенные сюда с берега на лето.

Едем мы уже два часа слишком. Прямо против нашего карбаса, на ясном, безоблачном небе, из моря выплывает светлое маленькое облачко, неясно очерченное и представляющее довольно странный, оригинальный вид. Облачко это, по мере дальнейшего выхода нашего из островов, превращалось уже в простое белое пятно и все-таки — по-прежнему вонзенное, словно прибитое к небу.

Гребцы перекрестились.

— Соловки видны! — был их ответ на мой спрос.

— Верст еще тридцать будет до них,— заметил один.

— Будет, беспременно будет,— отвечал другой.

— Часам к десяти вечера, надо быть, будем! (Мы выехали из Кеми в три часа пополудни.)

— А пожалуй, что и будем!..

— Как не быть, коли все такая погодка потянет. Берись-ко, братцы, за весла: скорей пойдет дело, скорее доедем.

Гребцы, видимо соскучившиеся бездельным сиденьем, охотно берутся за весла, хотя ветер, заметно стихая, все еще держится в парусах. Вода стоит самая *кроткая*, т. е. находится в том своем состоянии, когда она отливом своим умела подладиться под попутный ветер. Острова продолжают сокращаться; судно продолжает качать, и заметно сильнее по мере того, как мы приближаемся к двадцатипятиверстной салме, отделяющей монастырь от последних островов из группы Кузовов. Наконец мы въезжаем и в эту салму. Ветер ходит сильнее; качка становится крепче и мешает писать, продолжать заметки. Несет нас вперед необыкновенно быстро. Монастырь выяс-

няется сплошной белой массой. Гребцы бросают весла, чтобы не *дразнить* ветер. По-прежнему крутятся и отлетают прочь с пеной волны, уже не такие частые и мелкие, как те, которые сопровождали нас между Кузовами. Налево, далеко взад, остались в тумане Горелые острова. На голомяни, в дали моря направо, белеют два паруса, принадлежащие, говорят, мурманским шнякам [38], везущим в Архангельск треску и палтусину первосолками...

Набежало облако и спрыснуло нас бойким, крупным дождем, заставившим меня спрятаться в будку. Дождь тотчас же перестал и побежал непроглядным туманом направо, затянул от наших глаз острова Заяцкие, принадлежащие к группе Соловецких.

— Там монастырские живут; церковь построена, при церкви монах живет, дряхлый, самый немощный: он и за скотом смотрит, он и с аглечкими спор имел, не давал им скотины. Там-то и козел тот живет, что не давался супостатам в руки...

Так объяснили мне гребцы.

По морю продолжает ходить взводень, который и раскачивает наше судно гораздо сильнее, чем прежде. Ветер стих; едем на веслах. Паруса болтаются то в одну сторону, то в другую: ветер как будто хочет установиться снова, но какой — неизвестно. Ждали его долго и не дождались никакого. Взводень мало-помалу укладывается, начинает меньше раскачивать карбас, рябит уже не крутыми и не высокими волнами. Волны эти, по временам, нет-нет да и шибнут в борт нашего карбаса, перевалят его с одного боку на другой, и вдруг в правый борт как будто начало бросать камнями, крупными камнями; стук затеялся сильный. Гребцы крепче налегли на весла, волны прядали одна через другую в каком-то неопределенном, неестественном беспорядке. Море на значительное пространство вперед зарябило широкой полосой, сталась на нем словно рыбья чешуя, хотя впереди и кругом давно уже улеглась вода гладким зеркалом.

— Сувоем едем, на место такое угодили, где обе воды встретились: полая (прилив) с убылой (отливом). Ингодь так и осилить его не сумеешь: особо на крутых; а то и тонут,— объясняли мне гребцы, когда наконец прекратились эти метанья волн в килевые части карбаса. Мы выехали на гладкое море, на котором уже успел на то время улечься недавний сильный взводень.

Монастырь кажется все яснее и яснее: отделилась колокольня от церквей, выделились башни от стены; видно еще что-то многое. Заяцкие острова, направо, яснеются также замечательно подробно. Мы продолжаем идти греблей. Монастырь всецело забелел между группой деревьев и представлял один из тех видов, которыми можно любоваться и залюбоваться. Вид его был хорош, насколько может быть хороша группа каменных зданий, и особенно в таком месте и после того, когда прежде глаз встречал только голые, бесплодные гранитные острова и повсюдное безлюдье и тишь. В общем, монастырь был очень похож на все другие монастыри русские. Разница была только в том, что стена его пестрела огромными камнями, неотесанными, беспорядочно вбитыми в стену словно нечеловеческими руками и силой. Пестрота эта картинностью и — если так можно выра-

зиться — дикостью своей увлекла меня. Прихвалили монастырскую ограду и гребцы мои.

В половине десятого часа монастырь был верстах в двух, на которые обещали всего полчаса ходу. Ровно в десять часов мы уже идем Соловецкой губой, между рядом гранитных корг с несметным множеством деревянных крестов. Теми же крестами уставлены и все три берега, развернувшиеся по сторонам. В губе стоят лодьи и мелкие суда; могут, говорят, подходить к самой монастырской пристани самые крупные суда: до того глубока губа!

У пристани толпится кучка народу, из нее выделяется фигура монаха в затрапезном платье. Монах оказался гостинщиком. Он ввел нас в номер, который не мог похвалиться ни особенной чистотой, ни особенным простором. Говорят, что привелось бы поселиться с пятью-шестью соседями в этой узенькой, маленькой комнате и что теперь я один здесь потому только, что *богомольцев поотвалило*, как объяснил мне монах-гостинщик, побежавший докладывать о новоприезжем отцу архимандриту Александру.

Я остался один, и бог весть сколько темных, нерадостных мыслей пришло мне на ту пору в голову. Вот куда, думалось мне на тот раз, забросила меня капризная, темная судьба, вопреки всех предположений и мечтаний. Это, казалось мне, грань крайняя: дальше идти было можно, но уже недалеко...

«Сию минуту (писалось мной в дневнике) ушел от меня какой-то допотопный варвар, инвалидный офицер в пьяном виде, сменивший своего предместника, который, по его словам, завтра должен был сесть на карбас и ехать в Архангельск. Много говорил он мне всякого вздору: говорил, что если он архангельский, а я костромской, то мы земляки; что солдат солдату брат, офицер офицеру тоже. Чудак принял меня за ревизора и никак не хотел верить, что я прислан от морского министерства, а не от министерства государственных имуществ и что приехал я не землю межевать... Хорош бы этакой-то гусь явился к настоящему ревизору. И пришла же блажь для первого знакомства с монахами нализаться до сплетения языка и немощи... И вот — темная, дальная, скучная, бесталанная сторона и безвыходная уездная жизнь: вся из однообразия, грязи, плесени и неизлечимых наростов, получивших каменистое свойство и характер гнилого чирья, переставшего уже ныть и болеть. Сердце мучится сомнением, неведением будущего, и не смеешь смеяться, и больно и стыдно за виноватого, пойманного с поличным».

— Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас! — послышался за дверью чей-то тихий припев, произнесенный тончайшим фальцетом с прибавлением ударов в дверь.

— Аминь! — отвечал я.

Явился молодой, кудрявый, сытый послушник. Он говорил:

— Отец архимандрит прислали вам свое благословение: сливок, булку, чухонского масла — и просили извинить, что не могут вас видеть сегодня: они уже в постели...

Крепко заснул и я на новом месте; но рано проснулся: монастырские часы монотонно отбивают минуты. Чайки разнокалиберно,

разноголосно кричат во всех углах ограды, на нашей гостинице, на берегу, на воде. Некоторые из них летают мимо окон: и длинноносые, и с утиными носами, и серые, и белые — бездна! Криком своим надоедают невыносимо!.. Прямо перед моими глазами хмуро глядит своими выломанными окнами, с выбитыми стеклами, другая гостиница архангельская, такая же деревянная, обшитая тесом, покрашенным желтой же краской. Разница в том, что та гостиница уже необитаема, тес ее по местам ободран, углы поломаны, крыша разбита. Говорят, ее заменят новой, потому что она решительно негодна для обитания и потому что на нее-то преимущественно и устремлены были выстрелы англичан во время последнего бомбардирования. Архимандрит оставил ее в том виде для того, чтобы богомольцы, приходившие в этот год в огромном числе, могли видеть следы недавнего неприятельского погрома [39].

По прибрежью бродят лошади с колокольчиками на шее; ходят инвалидные солдаты; на причалившей лодье шевелится люд православный; из-за ограды белеются монастырские церкви и несется звонкий благовест, отдающийся долгим эхом. Правее архангельской гостиницы зеленеет осиновый лес, левее — березки, и видятся низенькие белые столбики второй ограды. Дальше сверкает неоглядной, бесконечной гладью море. Чайки продолжают кричать по-прежнему невыносимо тоскливо; у пристани белеет парусок,— монахи ловят сельдей на сегодняшнюю трапезу. Солнышко весело светит и разливает приятную, увлекающую теплоту.

Я вышел из номера и пошел бродить подле ограды.

Тут, на прибрежье губы, выстроены две часовни: одна Петровская, на память двукратного посещения монастыря Петром Великим, другая Константиновская, на память посещения монастыря великим князем Константином Николаевичем [40]. Вблизи их стоит гранитный обелиск на память и с подробным описанием бомбардирования монастыря англичанами.

В первый раз был здесь Великий Петр в 1694 году 7-го июня. Прибыл он сюда в нарочно устроенной для него в Англии яхте с немногими приближенными особами, с холмогорским архиепископом Афанасием, недавно только спасшийся в Унских рогах от кораблекрушения. Выйдя на берег, государь тогда же приказал водрузить крест деревянный, который и находится теперь в Петровской часовне. Три дня пробыл он здесь. «В сем удаленном от мира пустынном месте младый самодержец России упражнялся в молитве и богомыслии, а потом, по отправлении молебного пения и по одарении настоятеля со всем братством денежною милостынею, того же июня 10-го дня изволили отбыть обратно к городу Архангельскому, с милостивым обещанием всегда покровительствовать святой обители»,— говорит архимандрит Досифей в своем описании Соловецкого монастыря [41]. Второе посещение монастыря Петром I, по свидетельству соловецкого летописца, последовало в 1702 году августа 10 дня. «Он прибыл,— говорит летописец,— на 13 кораблях и стал на якорях близ Заяцкого острова, и была пальба из пушек, а прежде себя его царское величество изволил прислать наперед, чтобы великого

государя пришествие архимандрит с братией ожидал в монастыре, а в судах встречать не ездил. И великий государь с корабля с ближними своими людьми, не со многими, изволил прибыть в боте в монастырь за полчаса до вечера, и, вышед его царское величество на берег, помолился против монастыря и принял от архимандрита благословения; келарь же не со многой братией подошли с подносом с образом, хлебом и рыбой, и великий государь благодарил и изволил сказать: *«будем у вас»*, а прочая братия все стояли по чину, вышед мало из святых ворот. Благочестивый же государь не подошел ко вратам, изволил идти кругом ограды монастырския на правую сторону, и, обошедши, вшел святыми воротами в монастырь, и изволил идти в соборную церковь — благовесту и звону не было,— и в соборной церкви помолился, и изволил идти в церковь к преподобным чудотворцам, и там у гробов преподобным прикладывался, потом изволил идти в ризницу, в оружейную, в трапезу и говорил архимандриту, что «завтра кушать буду со всеми своими пришедшими начальными людьми в трапезе». «Литургию слушал у преподобных чудотворцев, еже есть во вторник, потом пожаловал он, великий государь, к архимандриту в келию и благоволил в тот вечер, еже есть августа в десятый день, в понедельник, у архимандрита кушать. И, откушавши, великий государь изволил отъехать, часу в шестом ночи, на корабль, а вышеописанные бояре и ближние люди ночевали в гостиной келии. Августа 11-го дня благоволил великий государь придши слушать литургию без благовесту и звону. После соборныя службы братия отъели в трапезе, а он, великий государь, изволил войти в монастырь без встречи и с благородным царевичем и великим князем Алексеем Петровичем, и весь его царский синклит; служил иеромонах с иеродьяконом; пели великого государя певчие по скору, по литургии слушал молебен, отпущал один священник со дьяконом и благоволил на молебен ачу пожаловать, и, отслушав молебен ради благородного царевича, опять изволил ходить в ризницу, и в оружейную, и в прочия службы, и благоволил великий государь в трапезе кушать, и благородный царевич, и при нем ближние люди и начальные, а кушанье приспевало все монастырское и питие, а подчевал архимандрит, келарь, и казначей, и от братии первые. Он, великий государь, и благородный царевич сидели купно с бояры и с ближними людьми, и, откушав, благоволил по монастырю ходить, по тюрьмам, и благоволил быть у архимандрита в кельи до отдачи часов, и отбыл его царское величество и с благородным царевичем на корабль ночевать». 12-го августа Петр Великий был в монастыре уже без царевича, осматривал с ближними вараку (гору) и поздно уехал на корабль. 13-го с корабля не съезжал. 14-го августа он опять приехал в монастырь, слушал всенощную и сам стоял с певчими на правом клиросе и пел басом. После рассматривал он грамоты, жалованные монастырю; архимандриту Фирсу повелел носить мантию со скрижалями, посох с яблоками и совершать все по чину Чудова монастыря. За литургией архимандрит служил уже так, как указал государь. Сам же Петр снова стоял и пел на клиросе «и по святой литургии (прибавляет летописец) изволил идти в гостиную келью,

там кушал с благоверным царевичем. Приспешники были дворцовые. Откушав, изволил быть в монастыре и посетить старца Лаврентия Александровца: понеже он из кельи не выходил никуда, ниже в церковь, разве причащения ради». 15-го августа государь, на малых судах, отбыл на корабли, а 16-го наутре отправился в поход. Вечером он был уже в селении Нюхче Кемского берега, откуда шла недавно сделанная по его повелению деревянная дорога на Повенец. Архимандрит с келарем и некоторыми монахами ездил на корабли благодарить государя за посещение. Петр Великий «довольно их потчевал» и велел отпустить в монастырь из Архангельска двести пудов пороху. «Архимандрит,— прибавляет летописец,— возвратясь в монастырь, прямо пошел в церковь, пел молебен с благовестом и звоном за здравие государя и его спутников; от радости был архимандрит на погребе со всей братией и довольно *трахтовались*, благодаря господа бога за таковое благополучие».

Прямо против монастырских ворот находилась третья часовня, называемая *Просфоро-Чудовою*.

— На этом месте,— объяснили мне монахи,— новгородские купцы обронили просфору, которую дал им праведный отец наш Зосима. Пробегала мимо собака, хотела есть, но огонь, исшедший из просфоры, попалил ее.

В версте от монастыря четвертая часовня, *Таборская*, построена на том месте, где погребены умершие и убитые из московского войска, осаждавшего монастырь с 1667 по 1677 год.

Поводом к восстанию соловецких старцев, как известно, послужило исправление патриархом Никоном церковных книг. В 1656 году вновь исправленные книги присланы были в монастырь Соловецкий. Старцы, зная уже о московских бунтах и распрях, а равно и о том, что сам исправитель (некогда монах соловецкий) находится под царским гневом, присланных из Москвы книг не смотрели, а, запечатав их в сундуки, поставили в оружейной палате. Церковные службы отправлялись по старым книгам. В 1661 году из Москвы прислано было множество священников для обращения старцев к раскаянию. Московское правительство думало делать благо, но сделало ошибку. Все грозило близкой опасностью и восстанием: дела монастырские принимали воинственное настроение. К старцам присоединились беглые донские казаки из шайки Стеньки Разина. Двое из них, Кожевников и Сарафанов, назначены были, на случай опасности, начальниками. На Никона сочинялись разные наветы: возрастала всеобщая ненависть. Рассказывали за верное, что когда Никон, бывши еще иноком, однажды читал Евангелие во время литургии в Анзерском монастырском ските, то змей пестрый обвился около шеи его и лежал по плечам. Видел это своими очами святой старец Елеазарий. Старцы перестали повиноваться архимандриту Варфоломею и в конце седьмого года по присылке книг из Москвы рассмотрели их и написали, в опровержение *новин*, большую челобитную к царю Алексею Михайловичу. Келарь Савватий Абрютин (из московских дворян) с казначеем Геронтием сочинили эту челобитную; старец Кирилл, с двумя послушниками, вручил ее

царю на Москве. В сентябре 1666 года Алексей Михайлович потребовал к себе архимандрита и еще другого, жившего там на покое, архимандрита Никанора, бывшего царского духовника. Из Москвы с ними отпущен был новопоставленный архимандрит соловецкий Иосиф, затем, чтобы кротостью увещать непокорных. Соловецкие старцы не впустили архимандритов, кроме Никанора, который присоединился потом к расколу. Вместо первых двух в 1667 году явились новые увещатели, но старцев и эти не убедили. В следующем году пришла царская грамота, повелевавшая старцам «от противности недоумения и от непослушания отстать» и быть у архимандрита в послушании. Но соловецкие монахи и этой грамоты не приняли. Явился в монастырь стольник Хитрово с обращенным к православию келарем Савватием Абрютиным; монастырские и тогда не послушались. Сведав о том, что из Москвы идет в Суму с ратными людьми стряпчий Волохов, к которому должна была еще присоединиться на Двине стрелецкая сотня, старцы собрали собор. Советом этим положено было отослать на поморский берег всех немощных и малодушных, а всем остальным (1670 человек) обороняться до последней капли крови. Монастырь запер ворота 7 марта 1669 года и заявил вооруженное сопротивление. К этому представлялась полная надежда потому особенно, что монастырь издавна делал огромные запасы съестной провизии и была возможность иметь сношения с ближними монастырскими вотчинами. В монастыре, сверх того, находилось, кроме мелкого оружия, 24 медные пушки, 22 пушки железные, 12 пищалей и сверх того свыше 30 000 руб. серебром и медью. Стена была неприступна, твердыня ее неодолима. Все предвещало успех и надежду до такой степени сильную, что и вторая царская грамота была отвергнута. Мирное предложение Волохова сдаться без боя было осмеяно; боевые нападения не имели успеха и не могли иметь его потому особенно, что Волохов три летних месяца стоял или, лучше, смотрел на монастырские стены, а всю зиму жил под монастырем в бездействии на Заяцком острове. У него было 725 стрельцов против затворившихся в обители 500 человек монахов и бельцев. Только в 1670 году удалось ему захватить главного начальника осажденных, чернеца-будильника Азария, с 37 человеками, выехавших из гавани в море ловить рыбу. В том же году 30 человек вышли из монастыря добровольно, но дело нисколько не подвинулось вперед.

Стряпчий Волохов вызван в Москву. Его место занял голова московских стрельцов Клим Иевлев, явившийся сюда с тысячью человек свежего войска. Этот повел дела если не успешнее, то умнее Волохова: он перевел свои войска на самый остров, отогнал весь рабочий скот, захватил все рыболовные снасти, сжег все строения, находившиеся вне монастырских стен, прекратил всяческие сношения монастыря с его вотчинами, особенно с селом Керетью. В 1674 году царь отозвал и его в Москву за притеснения и насилия, которыми он отягощал монастырских крестьян; к тому же, как пишут, его постигла цинга. От нее же, как равно от пушечной и мушкетной стрельбы, в самом монастыре погибло 33 человека. Место Иевлева заступил стольник и воевода Иван Мещеринов. Этот, подступив

под монастырь, окопался шанцами, построил 13 городков (батарей) и начал делать подкопы. Осажденные принуждены были производить частые вылазки, и всегда успешно: подкопы уничтожались при самом начале. Мещеринов делал приступ, но приступ (23 декабря 1676 года) не был счастлив. Воевода решился блокировать монастырь во всю зиму, как вдруг представился легкий, неожиданный случай сделать дело скорее и легче. К воеводе представлен был перебежчик — монах Феоктист, объявивший, что под одной из башен (Белой) находится подземный проход, ведущий из монастыря к кладбищенской церкви, что этот проход закрыт ветхой калиткой и что перед утренней зарей ночная стража сменяется и идет по кельям, а в башнях, для караула, остается только по одному человеку. Ненастная, бурная погода, случившаяся на 22 января, указала на время приступа. Майор Келен, с отрядом и проводником Феоктистом, прошел в отверстие, указанное перебежчиком, отворил святые ворота и впустил через них воеводу с остальным войском. Осажденным, застигнутым врасплох, уже не было никакого спасения и не дано никакой пощады — по свидетельству Семена Денисова [42], который (в своем Выгорецком ските) написал «Историю о запоре и о взятии Соловецкого монастыря» *. Он говорит, между прочим, следующее: «Мужи же мужественнии, из них Стефан и Антоний, с прочими тридесяти, изшедши ко вратам на сретение и мужественно за отеческие законы во вратех святых дравшеся, все смертную чашу испиша, от воинов посечени быша. Отцы киновии и прочии слуги и трудницы, услышавше, паче же узревше нечаянную, новосодеявшуюся плачевную вещь, разбегошася во своя келии и затворишася. Еже услыша воевода не сме долго в обитель внити и посылаша начальники воинов молити и увещевати иноки, да, ничтоже бояшеся, изыдут из келий, никоего же им озлобления сотворити обещаяся и клятвою крепкою свое завещание печатствова. Отцы же, веру емше, изыдоша на сретение с честными кресты и со святыми иконами. Сей же, забыв обещание, преступи и клятву, повеле воинам иконы и кресты отъяти, иноки же и бельцы за караул по келиям развести».

Далее Семен Денисов пишет, что воевода, возвратившись в стан свой, приказал привести к себе сотника Самуила и бить его перед собственными глазами (Самуил ударов *пястицами* не выдержал и тотчас же умер). Потом приказал позвать архимандрита Никанора.

Этот привезен был на небольших саночках по той причине, что был уже стар и в то же время сильно болел ногами. Воевода говорил ему:

— Рцы ми, Никаноре: чесо ради противился еси государю?

— Самодержавному государю ниже противляхомся, ниже противлятися помышляхом когда,— отвечал Никанор,— зане научихом-

* В Архангельском поморье, можно сказать, нет ни одного селения, где бы нельзя было встретить рукописных списков этого замечательного сочинения, известного более под заглавием «Истории о отцах и страдальцах соловецких». Еще большим уважением и известностью пользуется «Соловецкая челобитная», сделавшаяся основным догматическим сочинением, опорой во всех спорах староверов и вызвавшая со стороны православных целые сочинения в ее опровержение.

ся от отец к царем чествование паче всего являти. Научихомся от самого Христа воздавати кесареви кесарево, и божия богови.

— Чесо ради, обещався увещати прочие к покорению, не токмо преступил обещание, но и сам с ними на сопротивление цареви совещался еси? — снова спрашивал Никанора воевода.

— Понеже,— отвечал старец,— божиих неизменных законов апостольских и отеческих преданий, посреде вселенныя живущим соблюдати не попущают нововнесенные уставы и новинства патриарха Никона: сих ради удалихомся мира, избегохом вселенныя и в морский оток, в стяжание преподобных чудотворцев, вселихомся преподобными их чины и уставы и обычаи тем же благочестием по стопам их руководитися желающе.

— Чесо ради воинства во обитель не пускаете и хотящие внити оружием отбиваете?

— Вас, иже растлити древлецерковные уставы, обругати священных отец труды, сокрушити богоспасительные обычаи пришедших во обитель, праведно не пущахом.

На всякий спрос старец давал ответ решительным, твердым голосом. Разгневанный воевода начал его бранить, но старец не потерялся и тут.

— Что величаешися? — говорил он,— и что высишися? яко не боюся тебе, ибо и самодержца душу в руце своей имею...

При этих словах воевода вскочил с места и бил старца тростью по голове, плечам и по спине, выбил ему зубы, приказал связать по ногам и бросить за оградой в ров. В одной рубашке пролежал Никанор всю ночь, а наутре умер.

По словам Денисова, казнены были потом: старец Макарий, резчик Хрисанф, живописец Федор с учеником его, Андреем.

«Тако,— продолжает он далее,— повеле прочия из караула привести иноки и бельцы, числом яко до шестидесяти, и различно испытав и обрете их тверды и непревратны, зельною яростию воскипев, смерти и казни различны уготовав, повесити сия завещав: овыя за выи, овыя за нозе, овыя и множайшия междоребрия острым железом прорезавше и крюком продевше, на нем обесити каждого на своем крюке; иные же от отец зверосердечный мучитель на нозе вервию оцепивши, к конным хвостам привязывати повеле и безмилостивно влачили по отоку, дондеже души испустят».

Выкинутые тела лежали на морском берегу до времени таяния льдов, когда они были погребены на соседней луде, называемой *Женской*. Из оставшихся в живых большая часть разослана была по дальним местам беломорских прибрежьев. Некоторые, более озлобленные, отправлены в дальние города государства на заточение. Иные успели самовольно убежать из монастыря и скрыться. Все те, которые покорились, прощены и оставлены жить в Соловках. Имена упорных, в числе 33, записаны в раскольничьи синодики и поминаются, как мученики и страдальцы за веру. Важно было разъяснить и доказать, что в защиту старого благочестия восстала святейшая в России обитель; помимо того что мятеж соловецкий одно из крупнейших событий в истории раскола, он произвел сам по себе сильное

влияние на обольщение простых умов в пользу раскола. Несколько избранных произведены даже в святые. Увлекшийся, но бесспорно даровитый историк Денисов в своей «Истории» сообщил об них краткие жития и обычные велеречивые восхваления их подвигов,— обстоятельство, существенно важное вообще для истории распространения раскола. Эти бежавшие из монастыря скитальцы (в числе десяти) были, собственно, пропагандистами, с большим или меньшим успехом укреплявшими в народе веру в старую книгу и старый обычай. Соловецкое сиденье с надлежащими последствиями сделало их озлобленными, уверенными в себе и помогло их очень быстрым успехам. Денисов, упомянув о «многострадальных» Епифании, дивном отце Савватии и Игнатии, дьяконе соловецком, указывает проповедников в лице Иосифа Сухого, положившего основу раскола в Суме и Каргопольских пределах, Евфимия Дивного, бросившего первые семена учения в Олонецком уезде, Павле, Серапионе и Логине — в Ковдинской волости и о Геннадии Качалове — в Нижнем Новгороде, Тихвине и проч. «И не токмо пустыни (пишет Денисов) и дебри и блата, но и окрест прилежащие грады и веси благочестия светом научивше и просветивше, сторичен плод ко Владыце принесоша». Для пущего успеха дела, два фанатика из них (Игнатий и Герман) прибегли к самосожжению.

Весть о покорении монастыря уже не нашла царя Алексея в живых. Мещеринов царем Федором [43] вытребован был в Москву и здесь судим за расхищение монастырской казны и сокровищ.

Монастырь вновь населялся приходившими и присланными монахами из дальних монастырей; но порядку в нем еще долго не было. «Отсюду,— говорит Семен Денисов далее,— в киновии умножишася мятежи и безчиния: умножишася по келиям особъядения, варения и пирогощения; умножишася винопития и пьянства и рождающие пьянство питий содержание: оставляют яже на пениих молитвословия — исполняют кликов безчиния, яже учащение празднословия, срамословия и лаяний неподобных изношения, яже табаки держания и табакопития и прочие неблаголепные обычаи и деяния».

Показания эти подтверждают и царские грамоты: Феодор Иоаннович (в 1591 г.) воспретил медовый квас; Михаил Феодорович запрещал (в 1621 г.) употребление пьянственного пития и обыкновение жить по кельям особенно, *заговором*, как сказано в грамоте. Алексей Михайлович (в 1637 г.) дал указ о том же, и, уже вследствие прошения игумена Ильи, он же вновь подтвердил указ Михаила Федоровича о том, чтобы младые, безбрадые трудники, в летнее время, жили отдельно, вне монастыря, а на зимнее время отправляемы были на берег в Сумский острог, или Кемь, «или где пригоже, а в монастыре б им зимовать не велели».

Осматривая настоящее состояние монастыря и вникая во все подробности его внутреннего и внешнего устройства, почти на каждом шагу встречаем имя св. митрополита Филиппа, бывшего здесь с 1548 года по 1566 год игуменом. В эти осьмнадцать лет он успел сделать многое, что до сих еще пор имеет всю силу материального своего значения. Поставленный в исключительное положение, люби-

мец грозного царя, щедрого на подарки и милостыню, сам сын богатого отца из старинного боярского рода Колычевых, св. Филипп не стеснял себя в материальных средствах для того, чтобы удовлетворять всем своим стремлениям и помыслам. Он исключительно посвятил деятельность на то, чтобы остров Соловецкий, до того времени сильно запущенный, сделать возможно удобным для обитания: прорыл канавы, вычистил сенокосные луга и увеличил их в числе; провел через леса, горы и болота дороги; устроил для больной братии больницу; учредил по возможности лучшую и здоровую пищу; внутри монастыря, подле сушила, устроил каменную водяную мельницу и для нее провел воду из 52 дальних озер главного Соловецкого острова; в братской и общей кухне устроил колодезь, в который проведена из Святого озера вода через подземную трубу под крепостной стеной. Помпа этого колодезя зимой подогревается нарочно устроенной печью. Другая печь приготовляет теперь в один раз до 200 хлебов. При многолюдстве богомольцев в печь эту ставят две квашни в день; хлеб день отлеживается, на другой день поедается весь. Остатки едят рабочие, остатки же этих остатков превращаются в сухари. Прежде было обыкновение давать каждому богомольцу по широкому ломтю на дорогу; теперь зто, говорят, вывелось из употребления. В квасной запасается 50 бочек по 200 ведр каждая.

Сверх всего этого, св. Филипп умножил домашний рогатый скот и на островах Муксалмах выстроил для него особый коровий двор. Он же развел на острове лапландских оленей, которые живут там и до настоящего времени; выстроил просторные соборные церкви и огромную трапезу, вмещавшую сверх тысячи человек гостей и братий. Близ монастыря сделал насыпи и разные машины для облегчения трудов работников; построил кирпичные заводы, заменил старинные чугунные плиты — *клепала, била* — колоколами; правителям поморских волостей, тиунам, слугам и доводчикам назначил жалованье, и пр., и пр.

Монастырь и в настоящее время находится в таком состоянии, что не нуждается во многом; только пшеница, вино, рожь и некоторое количество соли для монастыря — покупное, а все почти остальное он имеет свое. При легком даже взгляде монастырь поражает необъятным богатством. Не заглядывая в сундуки его, которые, говорят, ломятся от избытка серебра, золота, жемчугов и других драгоценностей, легко видишь, что сверх годичного расхода на братию у него остается еще огромный залишек, который пускается в рост на проценты. При мне высыпали из кружек богомольческих подаяний, скопившихся в полтора почти месяца, до 25 000 руб. асс.; но что нынешний год, говорили, один из *неурожайных*, затем что первый мирный; в *урожайные* годы вынимают до 95 000. Эту цифру монахи считают средней величиной. Сверх того, каждый богомолец покупает просфору, платит за чернила, которыми пишут имена родных на исподке просфоры, платит за писание, если только он сам не умеет грамоте. Годовые богомольцы платят деньги. Лубочные виды монастыря стоят 25 коп. сер., вместо 5 коп. назначенных; маленький кипарисный образ стоит 75 коп.; за стихи, описывающие бомбарди-

рование англичан убийственными виршами и переписанные довольно четко на листе, просили с меня 1 руб. 50 коп. сер. Товары в лавочке для богомольцев, со скудным количеством предметов, дороги неприступно: палочка плохого сургуча стоит 20 коп. (в монастыре почтовое отделение). Спутник мой на Анзеры (в скит) желал написать в синодик на поминовение своих родных. Монах, сидевший с пером, объявил, что они берут 30 коп. сер. за годичное поминовение и 1 руб. 50 коп. на вечные времена. Спутник мой решился на первое; писал долго и много; при расчете должен был заплатить 6 руб. сер.: оказалось, что 30 коп. сер. берется с каждого вписанного имени, в чем монах, однако, не предупредил заказчика, заставив бесповоротно испачкать шнуровую книгу с ясным указанием имен.

— Хорошо еще, что я призабыл многих, а то нахватал бы сотню: жутко бы тогда пришлось! — простодушно заметил мой спутник.

Торговля производится всюду, чуть ли не во всех монастырских углах: на паперти Анзерского скита продают лубочный вид этого скита, на Анзерской горе Голгофе (тоже скит) продают вид Голгофского скита, и везде кое-какие книги, и везде стихи монаха. Можно купить сапоги из нерпичьей кожи; можно купить и широкий монашеский пояс из той же кожи, довольно хорошо выделанной в самом монастыре. В самом же монастыре пишутся и иконы, шьется платье не только на монахов, но и на штатных служителей, обязанных черными и более трудными работами. Большая половина рабочих живет по обету. Обеты дают они при случае опасностей, которыми так богато негостеприимное Белое море. Тюлений промысел, называемый *выволочным,* соблазнительный по богатству добычи, опасный по отправлению, губит много людей. Зверя бьют на дальних льдинах; льдины эти часто отрываются ветрами и *выволакиваются* в море вместе с промышленниками. Счастливые из них прибиваются к острову Сосновцу или к Терскому берегу. Они-то и дают, в благодарность за спасение, обет бесплатно работать на монастырь три — пять лет. Большая часть уносится в океан на неизбежную гибель.

В монастыре вылавливается морской зверь, вытапливается его сало, выделывается его шкура. Есть невода для белуг, есть сети для нерьпы и бельков. В монастырскую губу приходит в несметном числе лучший сорт беломорских сельдей, небольших, нежных мясом, жирных. Только крайне плохой засол, какая-то запущенность этого дела мешают пускать их в продажу. Выловленные сельди летом уходят на братскую уху, выловленные осенью частью потребляются, частию идут впрок на зиму. Полотно для нижнего монашеского белья не покупное: оно сносится богомольными женщинами с разных концов огромной России; они же приносят и нитки. Коровы для молока, творогу и масла в монастыре свои; бараны, живущие на Заяцком острову, дают шерсть для зимних монашеских тулупов и мясо для трапезы штатных монастырских служителей в скоромные дни. Лошадей монастырь имеет также своих. Между монахами и штатными служителями есть представители всякого рода мастерств: серебряники, слесари, медники, оловянишники, портные, сапожники,

резчики. Все другие мастерства, не требующие особенных познаний, разделены на послушания, таковы: рыбаки, продавцы, пекаря, мельники, маляры.

В этом отношении монастырь представляет целое отдельное общество, независимое, сильное средствами и притом значительно многолюдное. Ежегодные обильные вклады и правильное хозяйство обещают монастырю впереди несчетные годы.

На третий день моего приезда в монастырь я был разбужен поутру громкими криками, раздавшимися под окнами нашей гостиницы и по коридорам ее.

— Что там такое? — спрашиваю я гостинщика.

— Гонят женок-богомолок сельдей чистить. Сейчас приплыл карбас с свежей рыбой. Ужо на уху она пойдет,— объяснял он.

— А уготовляли ли вы себе цельбоносное купание во Святом озере вчера? — спросил он меня потом.

Я отвечал отрицательно.

— Все богомольцы, немедля по прибытии, совершают сей обряд во душевное спасение и телесное здравие. От многих недугов полезна вода. И сколь она холодна и благотворна, то такой уже, говорят, и не обретается в иных местах, кроме честной обители сея.

— Что же, это, батюшка, обязательно для всех?

— Неволи не полагается; но всяк творит по мере сил. Немотствующие не купаются. У нас, по монастырским обычаям, все богомольцы, искупавшись во Святом озере, идут ко гробу преподобных отец Зосимы и Савватия и ходатайствуют у них об умилостивлении творца всевышнего. Затем всякий полагает отправиться воздать молитву при гробе преподобного Елеазара в скиту, сооруженном им на острову Анзерском, и оттуда идут на гору Голгофу, где поминают молитвой предшедших отцов и братию в панихиде при гробе преподобного отца Иисуса Голгофского. Засим, на третий день, посещаются все часовни, места, кои освятили своими стопами угодники божии: одну в трех верстах от обители, близ Исакиевой горы, где первоначально поселились преподобные Зосима и Герман, и все семь пустынь.

При последних словах его раздался звон в малый колокол.

— Это что такое?

— Кончилась литургия: к трапезе звонят,— пожалуйте. В сей день полагаются скоромные кушанья.

Я отправился. Огромная трапеза была полна народу; монахи пели. Между богомольцами не видать было женщин: все они, по монастырскому обычаю, угощаются в особой зале, так называемой келарской. Раздалось чтение житий святых того дня, производимое с особого амвона чередным монахом. При перемене кушаньев, при звоне колокольчика, читалась с амвона и прислуживающими послушниками молитва: «Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас». Трапезующие должны были отвечать «аминь». Всем возбранялись разговоры, все обязаны были есть из общей чашки; у всех были деревянные ложки с вырезною благословляющей рукой. Мне попалась ложка с надписанием:

На трапезе благословенной
Кушать братии почтенной.

У соседа моего на ложке было написано просто: «Во здравие братии». Вся посуда была оловянная. Кушанье солить или обливать уксусом обязаны были послушники. На этот раз вся трапеза состояла из четырех блюд: холодное — соленые сельди с луком, перцем и уксусом, треска со сметаной и квасом, уха, удивительно вкусная, из сегодня выловленных сельдей и каша гречневая с коровьим маслом и кислым молоком. В конце трапезы разносились кусочки просфоры или богородичного хлеба, освященные в конце пением и разрезанные при том же пении и тогда же. Певчие пели потом молитвы и отпуск, и затем все расходились.

Несметное множество чаек усыпало весь двор монастырский: кажется, на это время слетелись они со всего острова и его берегов. Монахи и многие богомольцы бросали им куски хлеба. Чайки до того были безбоязненны, что хватали хлеб этот из рук, многие клевали проходящих за ноги, за полы платья. Крик был невыносимый, и все это, вместе взятое, представляло странную, хотя и своеобразную картину. Некоторые из монахов пошли удить рыбу на озерах, другие — смотреть на море, где в это время разыгрывались знакомые, обыденные сцены: вот чайка учит своего чабара летать; чабар старается делать то же, что и мать: машет крыльями, бежит скоро вперед, но спотыкается, ударяется утиным своим носом в землю, прискакивает, но в воздухе держится недолго: собственная тяжесть не пускает его от земли дальше четверти аршина. За другим чабаром следит мать и смотрит, как он влез в воду и окунывается, хлопая по воде крыльями, и обмачивает голову; чабар на воде держится легко. Дальше все прежнее: мальчишки-работники, *безбрадые трудники,* по словам гостинщика, бродят без дела по берегу, одетые в монастырские подрясники с широкими кожаными поясами и в плисовых круглых колпаках на голове. Мальчишки шалят. Взрослые штатные служители важно толкуют с богомольцами; часы выколачивают половину; чайки кричат, и гул их отдается эхом в стенах монастырских. Кто-то запел: «Воскресение Христово видевше...»

Вернувшись в свой номер, я попросил лошадей, чтобы ехать на Анзерский остров. Потребовали три рубля сер.,— и мы отправились. Дорога пошла по Соловецкому острову гладким, исправленным полотном. По сторонам ее потянулся лес со всей обычной обстановкой, невычищенный, со множеством неприбранного валежника. Во многих местах лес этот отдавал решительной дичью. Все в нем напоминало леса наших приволжских губерний: те же высокие деревья словно и не полярные, не архангельские, та же спутанность сортов и видов их: тут и березовая полоса, перепутанная с ивняком, тут и сосняк с кустами густого цепкого волжского можжевельника. Сосняк перепутан с ельником,— даже кое-где между ними проглянула лиственница. Между деревьями, по кочкам, иногда мшистым, иногда обтянутым травой, рассыпались кусты ягод вороницы и морошки. Кое-где красовался цветами шиповник; во многих местах зацветала малина и даже краснела уже ягодами. В воздухе разлита была чарующая

свежесть, которой дышишь — не надышишься: то вдруг прольется струя целебной смолки, то здоровый запах травы, то вдруг пролетит нежная, эфирная струйка, пущенная зажившими цветами шиповника. Луга, выглянувшие между деревьями, усыпаны были цветами и рисовались таким же пестрым ковром, который так обыкновенен везде, кроме архангельского края. Местность Соловецкого острова — решительный контраст со всеми соседними ей: природа словно огорчилась, истощенная в береговых тундрах и болотах, и, собравши последние оставшиеся силы, произвела на острову новый, особенный мир, в котором так всем привольно и так все сродни и знакомо дальнему, заезжему человеку. Вот пошла дорога под гору, на мостик, перекинутый через бойкий ручеек; вот побежала она в гору, взрытую по местам колеями; вот канавы, прорытые по сторонам полотна ее, и опять та же лесная чаща и между ней болото, такое же ржавое, такое же зыбкое, как везде и всюду в России, богатой и горами, и болотами, и роскошными лугами. Прекратился лес, открылась поляна, на поляне посеяна рожь. Рожь уже наливается, налив идет к концу; васильки в полной силе. Вправо от дороги, между редко расставленными деревьями, через поляну, засыпанную хвоем, выглянуло озеро, большое, рыбное, на этот раз светлое, зеркальное. Лесная чаща продолжает по-прежнему окружать нас со всех сторон и дышит своим здоровым, целебным дыханием. В ней запела даже где-то птичка, другая, третья... и четвертая. Весело на душе, летят все черные мысли прочь, забываешь обо всем прежнем и живешь только настоящим. Пусть бы дальше и больше тянулась эта дорога с увлекательными видами и свежестью; пусть никакое тревожное воспоминание не беспокоит теперь воображения. А воспоминаний этих накопилось так много, ими так сильно утомлена и пресыщена душа, что прежний путь по прибрежьям кажется как будто сном, какой-то сказкой, выслушанной еще в детстве и теперь с трудом припоминаемой.

Ехали мы лесом часа два. За лесом началось поле, на конце которого стоит избушка, и в ней живут два монаха-перевозчика. У избушки этой надо было оставить лошадей и садиться в карбас, на котором предстоял путь чрез салму (пролив) в 4 версты 300 сажен. Ветру никакого не заводилось: привелось ехать на гребле, между тем как быстрина течения здесь поразительна. К тому же, на то время, *вода* на том берегу *распалась*, как выразился наш перевозчик, т. е. пошла на прибыль, начался прилив и обещал нам на встречу сувой, но сувой оказался не сильным, и мы хотя и медленно, но прошли его при помощи только двух весел. По пути нам морем играла белуга у самого карбаса, и так близко, что можно было рассмотреть, как опрокидывала она свое огромное сальное тело в воду, выгибая над водой спину и выкидывая на шее фонтаном воду. Провожающие нас монахи говорят, что она удивительно быстро ходит, и если уж одной удалось прорвать невод, так все другие уйдут за ней мгновенно.

— Молоко-то у ней тоже белое! — заметил монах.

— А где же его видели? — спросил мой спутник.

— У *пропавшей* (околевшей и выброшенной на бéрег) видели.

Через полтора часа езды мы были уже на берегу Анзерского острова, подле часовни, на месте которой, говорят, основатель скита Елеазарий работал в избушке деревянную посуду и потом продавал ее приходившим на Мурман поморам. Приготовленную посуду он, по преданию, выставлял на пристани, а сам удалялся в леса от людей. Приплывавшие поморы брали посуду, а в уплату оставляли хлеб и другие съестные припасы, по силе возможности.

От часовни этой мы шли $2^1/_2$ версты пешком до Анзерского скита, раскинутого в ложбине с каменными кельями (в них живет 14 монахов) и таковою же небольшой церковью. Вблизи скита этого ловятся лучшие соловецкие сельди и семга и производятся по осеням промыслы тюленей и морских зайцев.

На острову Анзерском жил несколько лет Никон.

Пустынножительство в этом ските существует на том же положении, как и в монастыре Соловецком.

В Анзерском скиту нас посадили опять в линейку, чтобы везти на Голгофу, в Иисусо-Голгофский скит, до которого считают $6^1/_2$ верст. На второй версте началась эта высокая, словно сахарная голова, гора Голгофа, чрезвычайно крутая, вулканического вида. Дорога побежала винтом между высокими деревьями, в виду озер, разлившихся у подошвы горы. Словно поставленная на облаках, белелась над нашими головами скитская церковь далеко-далеко наверху. Здесь первоначально жил Елеазар, а после него иеросхимонах Иисус, водрузивший здесь крест и положивший, таким образом, первое основание скита в 1712 году. По завещанию его, в скиту воспрещено употребление рыбы и молочной пищи, кроме субботы и воскресенья, и установлено неусыпное чтение псалтыря. Братии здесь жило в то время 8 человек.

Вид с горы и скитской колокольни поразителен: море протянулось во всей своей пустынности и ушло в безграничную даль океана. Неоглядная даль эта сливается в ближайшей стороне с бойкой, богатой лесной и луговой растительностью острова, с другой, дальней, ограничивается группой островов Муксалмовских. На них пасется монастырский скот. Между Большими и Малыми Муксалмами разливалась салма с необыкновенной быстротой течения, усиленной еще сверх того присутствием порогов. Пороги эти носят название Железных Ворот, едва одолимых гребным карбасом в сухую воду и едва доступных, по быстроте течения, при приливе, или полой воде — по-туземному. В самом узком месте этих ворот, с одного берега на другой, перекинут мост для перехода скота и оленей. За Муксалмами выясняется группа островов Заяцких с белой церковью, и вот правее их и ближе весь зеленый и огромный Соловецкий. Среди зелени его лесов светлеют зеркальным блеском то несомненные озера, то врезавшиеся в берег морские губы, которые так легко принять за озера. Между последними отличаются два: одно Исаковское, другое Секирное. Первое выделяется из всех тем, что выстроенная на берегу его пустынь означает место, на котором впервые поселился преподобный Зосима. Второе отличается от прочих не столько пустынью, сколько высящейся над ним горой, которая почитается

самой высокой на всем Соловецком лесистом острове. На верхушке горы некогда (во время шведской войны, в конце прошлого века) построена была батарея и поставлен маяк. Теперь белеется на том месте церковь.

Затем повсюду кругом, как венец, сверкает громадная, неоглядная масса воды, сверкающей на полном свете полуденного, летнего солнца. Вот на море этом чернеет корга, едва не заливаемая прибылой водой, та корга, на которой ловят монахи морских зверей по осеням и зимам. С колокольни, на которой вечно ходит круговой ветер (хотя бы под горой и на море была полная тишь и гладь), глаз бы не оторвал от всего, что рисуется и красуется внизу. Гора Голгофа до того высока, что видна с моря верст за 50, по словам туземцев, и до того своеобразна, что чаек, одолевающих криком внизу, в Анзерском скиту,— в здешнем, Голгофском, не могли прикормить. Не водятся также здесь и голуби; и только вороны да орлы способны прилетать сюда вить гнезда и кормиться от сытной и обильной братской трапезы.

В Голгофском скиту не служат молебнов — служат одни панихиды.

На обратном пути, в Анзерском ските, нам предложили варенцу и сливок, которых здесь, по словам монахов, в изобилии.

— Тяжелы были времена для обители в запрошедшие годы,— рассказывал мне анзерский монах.— В скиту нашем стекла дрожали от пальбы неприятельских пушек. Страшный дым стоял все время над монастырем: думали уже мы, что случился пожар и загорелась какая-либо из башен. Дым, стоявший над монастырем, минут чрез пятнадцать разносило ветром, и сердца наши испытывали велие веселие, радовались надеждою. Пришедшие монахи сказывали на другой день, что гроза миновала и молитвами преподобных отец наших Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, Елеазара Анзерского и Иисуса Голгофского обитель спаслась и только испытала некоторые повреждения.

Повреждения эти, сохраненные еще на мой проезд, состояли, как сказано, в неисправимых повреждениях архангельской гостиницы. Одно ядро прошибло крышу и опалило образ у дверей холодного собора, другое пробило в одном месте стену; многие расшибли церковные и келейные окна. Все эти ядра, собранные в значительном числе, показывали богомольцам выставленными по прилавку на соборной паперти. Пушки, из которых стрелял монастырь, отец архимандрит Александр предполагал позолотить и выставить при входе в Святые ворота. Также позолочены были и те ядра, из которых одно упало в соборной церкви и не разорвалось, и другое, засевшее в соборной главе и чуть не брошенное вниз, по неосторожности, кровельщиком впоследствии, когда поправлялись главы и кровля.

Вот что можно услышать от соловецких монахов, с присоединением того, что осталось в воспоминаниях самого отца архимандрита Александра о недавнем бомбардировании монастыря англичанами.

Эскадра английская, как известно, останавливалась около Заяцких островов. Отсюда отправлены были в монастырь парламентеры с просьбой снабдить их пароходы баранами. Архимандрит отказал.

Англичане высадились на один из Заяцких островов, и именно на тот, где паслись в то время бараны. Часть их была поймана, не давался долго один козел, но когда был схвачен, лизал руки у врагов своих владетелей. За такую ласковость англичане отпустили козла, не взявши его с собой. Монастырю, во всяком случае, угрожала опасность. Англичане, державшиеся той системы, чтобы не стрелять и не начинать ссоры с беззащитными селениями, сожгли в то же время Пушлахту и Кандалакшу, только после того, когда видели, что жители выбежали с ружьями и стреляли по ним. Англичане знали, что монастырь — сильная крепость, что в крепости этой есть некоторое количество инвалидной команды, есть пушки и боевые снаряды и есть, сверх всего, огромный запас провизии. К тому же из монастыря получен был отказ в снабжении мясом. Архимандрит знал, что бомбардирование неизбежно. Незадолго до него командир эскадры поручил заяцкому монаху, отправившемуся в монастырь, передать настоятелю подарок. Подарок этот была штуцерная пуля со всем припасом.

— Попенял я им, что посылают пулю,— рассказывал этот монах.— «Послали бы вы, я говорю, отцу архимандриту ружье английское хорошее». А пусть, говорят, приедет сам — подарим! «А мне подарите ружье?» — спрашивал я. Тебе, говорят, не надо ружья. Подавая мне пульку, командир, переглянувшись с другим, стоявшим рядом, усмехнулся.

Собрал отец архимандрит совет из монашествующей братии и объявил им о своем намерении ехать для личных переговоров с неприятелями. Одни отсоветовали, другие утверждали в этом намерении. Отец Александр решился на последнее и, благословивши и распростившись со слезами с братией, сел в монастырский баркас, управление которым доверил он самому опытному кормщику, а в помощь ему выбрал самых сильных из всего количества штатных монастырских служителей.

При холодном противном ветре, против которого с трудом держался баркас и едва спасала теплая двойная одежда, ехал отец Александр до неприятельских пароходов. Только на рассвете (отправившись после вечерен) он мог достигнуть до них. Выкинут был парламентарский флаг; с парохода неприятельского спущена была шлюпка для переговоров. Настоятель согласился сесть только в таком случае, когда увидел, что на шлюпку вскочило много.

— Отчего ты не давал нам баранов? — спрашивал переговорщик. Переводчик этот чисто говорил по-русски; сказывал, что воспитывался и жил в Архангельске, где и привык так бойко говорить по-русски; сказывался простым солдатом, хотя, по словам отца архимандрита, и имел на фуражке кокарду.

— Оттого не даем ничего, что вы враги наши! — отвечал архимандрит.

— Мы бы тебе заплатили деньги.

— Денег мне ваших не надо, потому что я монах и не нуждаюсь в деньгах. Я всем обеспечен от обители.

— Мы тебя возьмем в плен и увезем с собой.

— В плен вы меня взять не смеете, потому что я под парламентарским флагом приехал к вам, да и что вам во мне и зачем вы меня так далеко повезете?..

— Дал бы ты нам баранов, мы бы вас не трогали.

— Дать я вам всего этого не могу, да и не позволит братия.

— А если сам захочешь?

— Сам не хочу и не дам и братии не позволю, потому что мы, хотя и монахи, но принадлежим своему отечеству, любим его и молимся за своего государя.

— Ну, так мы будем стрелять...

— А мы будем молиться...

— Стрелять мы будем завтра.

— Стало быть, так и я знать буду, и так же точно перескажу братии. Поеду и сам приготовлюсь, по обрядам нашей церкви, к смерти.

Оставив англичан с положительным отказом, отец архимандрит собрал всю братию и приказал ей, исповедью и причащением святых тайн, приготовиться к завтрашнему дню. На другой день, в самый день бомбардирования, причастился и сам и, не дожидаясь начала пальбы, начал литию с тем, чтобы при пении ее обойти вокруг монастырских стен. Лишь только потянулось шествие по стенам и не совершило еще половины крестного хода, раздался оглушительный гром от пальбы, завизжали пули, некоторые из них носились над головами богомольцев, незначительная часть которых успела пробраться на то время в монастырь. И вдруг — в одно мгновение (которое, по словам очевидцев, неизгладимо останется в их памяти) — раздался сзади шествия страшный крик и почти все задние ряды повалились ничком на землю. Оказалось, что ядро прошибло стену и пролетело над головами богомольцев, не сделав им вреда. В то же время другое ядро ударило в соборную главу и влетело в церковь, другое пробило кровлю и попалило образ. Гул и пальба не прекращались долго, даже и в то время, когда крестный ход вернулся в собор.

Наконец все стихло; архимандрит совершал благодарственное молебное пение. Английская эскадра отправилась в Кемь...

При этом присовокупляют, что во время пальбы на монастырском дворе не видали убитой ни одной чайки.

Хотя теперь уже, может быть, уничтожен и последний след повреждений, произведенных в монастыре неприятелем, но, думаю, воспоминания и рассказы о нем слышатся богомольцами и до сих пор еще так же обильно, как слышал и я. Тогда для монахов было это свежо, но мне изменяет память; все, что осталось в ней, я передаю, как могу и помню.

15 июля 1856 года был последний день моего пребывания в монастыре. В последний раз видел я приветливого, гостеприимного, словоохотливого отца архимандрита и простился с ним. В последний раз видел я двух схимников с пожелтевшими словно воск лицами, в ризах, обшитых спереди и сзади крестами, с седыми, как серебро, волосами. Схимники выходили за трапезу.

Карбас мой был уже готов,— и мы отправились. Понесло нас сначала легоньким поветерьем: летний ветер надул паруса и веял приятной, клонящей ко сну прохладой. Монастырь еще виделся долго нам назади, серея своими стенами из неотесанных камней, плотно лежащих один на другом. Но вот и стену затянуло туманом.

— На Сеннухе ма́ра! — кричит кормщик.

— Что такое? — спросил я.

— Сеннуха — острова, а мара — гляди вон!

Я видел впереди спустившийся туман, который казался дальним, едва приметным берегом. Ехать было невыносимо скучно, к тому же ветер пал, и гребцы сели в весла. Затем пошли обычные, давно наскучившие подробности.

— Батюшко, припади! — говорил один гребец, обращаясь к ветру.

— Припадет — побежим! — подхватил его сосед и товарищ.

— Товарищи, други,— не посрамимся! — просил третий, крепко налегая на свое весло.

— Сделайте милость, товарищи, понатужьтесь: там станет легче! — упрашивал кормщик...

Гребцы послушно налегали на весла, хотя и хорошо знали, что *там* не могло быть легче.

Портной наш сидел каким-то сумрачным, как будто обидел кто.

— Что ты такой невеселый? — заметил я ему.

— Из монастыря едучи, всегда так надо.

— Разве работы не было?

— Ни одной жилетки не удалось сшить.

— Что же ты там делал?

— А у монахов про житие все слушал... все три дня жития слушал.

Опять по сторонам старые виды, и опять на карбасе пустые, наполовину понятные и неинтересные разговоры. Ветер то припадет, то опять стихнет. Дальний остров сначала выплывает словно облако, потом мелелится — чуть выясняется в тумане и наконец, по мере приближения к нему, совсем обозначается ясно и живо с грудами камней, по которым прошли желобки, словно приступки. В тех желобках, где более тени и тень эта долговременна, сверкают лужи дождевой воды сомнительных качеств, черной, как пиво, и все-таки дорогой в крайних случаях, при летней жаре для заезжих. По лудам, и самым счастливым из них, цепляется кое-какая растительность и зеленеет у самой воды какая-то скользкая грязная слизь.

Влево от нас выплывало из-за островов судно. На мачте этого судна засверкала от лучей солнца золотая звездочка, вероятно крест, без которого не бывает ни одной монастырской лодьи, назначенной перевозить богомольцев из Архангельска, из Сумы и иногда из Кеми. Все мы рады этому судну, и всех занимает оно, и рисуются в моем утомленном воображении следующие картины:

Видится мне дряблая, разбитая ногами и голосом старушонка, в крашенинном сарафане, с остроносой сорокой на голове, баба плаксивая, богомольная: вывела она сыновей, дождалась и баловли-

вых внуков. В товариществе попова Гаранюшки, блаженника-дурачка, да Матвеюшки, что позапрошлый год медведь ломал, да не изломал совсем, сама с клюкой, Христовым именем пробирается в неведомый ей край.

Дребезжит ее разбитый голос под волоковыми окнами спопутных городов, сел и деревушек. В деревушках видят у старухи котомку за плечами, старенькие лаптишки под котомкой — в избу зовут:

— Богомолушка, кормилица?

— Нешто, родимые.

— Куда бог несет?

— К Соловецким, родители, за грехи свои богу помолиться.

— Далеко, кормилушка, далеко. Возьми-ко, сердобольная, гривенку: поставь и за нас свечку там — не погнушайся, богоданная! А вот тебе пятак за проход, пирог на дорогу. Да присядь-ка то, касатушка, пообедай.

Бредет эта старушоночка и цокает: рассказывает про свою родину за густыми сосновыми лесами ветлужскими и кедровыми лесами вологодскими. Молит она милостынки и у вагана-шенкурца и у холмогора-заугольника. Приходит наконец и в длинный Архангельск, но уже не с пустыми руками, хотя и с разбитыми, сильно отяжелевшими ногами. Поскупится она заплатить, из бережливости и скопидомства, лишний грош, ее заставят щипать паклю или прясть канатное прядево — и без денег свезут...

Вот она на палубе огромного судна — монастырской лодьи, плоскодонной, безобразной, со старой оснасткой и покроем, посреди густой толпы богомольного люда. Едет тут и бородатый раздобревший купец, которому удалось хватить горячую копейку на выгодном казенном подряде. Едет тут и оставленный за штатом недальний чиновник из духовного звания, распевающий в досужее время церковные стихиры и не пропустивший на своем веку ни одной заутрени и обедни в воскресный день. Едет тут и сухой монах дальнего монастыря из-под Киева, отправленный со сборной памятью и игуменским благословением... Все тут вместе: и светская архангельская дама-вдова с томными глазами, со вкрадчивым разговором и в костюме, имеющем претензию на заметное кокетство, и бойкая щебетунья баба-солдатка из Соломбалы, и длинный семинарист богословского класса, и дальний сельский поп, низкопоклонный, угодливый, приниженный.

Паруса уже налажены, снасти подобраны, остается только вытащить рычагом якорь. Все богомольцы стоят без шапок и чего-то ждут с сосредоточенным вниманием и при сдержанном молчании. Раздается сладенький тенорок кормщика:

— Молись, господа! Молись, благословёны — в путь-дорогу пора. Читай, Кондратушко, молитву на путь шествующим!

Вслед за тем раздается звонкий, выровненный, развитой до поразительной чистоты голос монастырского служки. Богомольцы творят молитвы на городские церкви и потом на все четыре стороны, из которых на каждой непременно блестит по одному, по два церковных креста.

Судно трогается и бежит, если ветер крепко-попутный, и плывет лениво и вяло, плохо лавируя, если поветерье (говоря поморским выражением) кормщику в зубы. Бежит монастырское судно вблизи Летнего берега Белого моря к Ухт-наволоку и далее открытым морем.

Трудными повенецкими дорогами с Онежского озера идут другие партии богомольцев из ближних к Петербургу губерний. То пробираются они по узким тропинкам, через гранитные скалы, выкрытые тундрой с оленьим мохом и лесами с дряблыми деревьями; то плывут они по зеркальным, глубоким озерам в утлых, неудобных лодках или на посад Суму, или на деревню Сороку — людные и богатые селения поморского прибрежья Белого моря. Здесь их также принимают на лодьи или монастырские, или обывательские. В нередких случаях едут богомольцы и в мелких судах, карбасах. Теперь возит их монастырь уже на собственных прекрасных пароходах и таким облегчением пути все не нахвалятся.

В одном из промежутков между циклопическими стенами Соловецкого монастыря, складенными из громадных диких камней, и стенами жилых монастырских строений, в северо-западном углу приютилась отдельная палата каменная и двухэтажная. Весь этот угол отгорожен высокой каменной стеной. Часть палаты занята была казармами караульных солдат, присылаемых на определенное время из Архангельска с офицером, другая часть — арестантскими. 12 чуланов существовали издавна в нижнем этаже очень старинного здания, построенного еще в 1615 году. 16 новых чуланов прилажены были и в верхнем этаже в 1828 году, а в 1842 году тюрьма увеличилась надстройкой третьего этажа, который и делает ее видной богомольцам из-за стен. Для солдат и офицеров построено отдельное здание. До того времени мест заключения было несколько: у Никольских ворот, у Святых ворот, под крыльцом Успенского собора и в башнях: западной и на восточной стороне (у Архангельских ворот). Все были неудобны, но главное неудобство признано было в их разбросанности, не дозволявшей правильного надзора и требовавшей многочисленной стражи. Из стен начали перемещать в подвальные этажи монастырских корпусов. Явились таким образом тюрьмы: Келарская, Успенская и Преображенская (по церквам). Некоторые тюрьмы носили название по фамилиям заключенных, таковы Головленкова и Салтыковская. Иных узников не помещали в тюрьмы: так, один, священник Симеон, жил в хлебне прикованным на цепь и в таком виде месил братские хлебы; иные весь день были на воле в оковах и без них, но на монастырских черных работах, и т. д. Наступило строгое время преследования за всяческие убеждения, в том числе и за религиозные, ввиду развития сект: скопческой, молоканской и духоборческой. Основателями этих сект наших рационалистов и были впервые оживлены новые соловецкие чуланы, похожие более на собачьи конуры. Соловки стали второй по счету живой могилой после таковой же, приспособленной в городе Суздале, в тамошнем Спасо-Евфимиевом монастыре.

Мне не разрешили попасть туда, несмотря на то, что я был снабжен официальной бумагой, предлагавшей оказывать в моих работах

возможное содействие. Готовно показывали мне все, что относилось до монастырского хозяйства, столь замечательного благоустройством и предусмотренной обеспеченностью. Я видел даже и ту палатку в связи с Преподобнической церковью, в два этажа, в которой сложена была разная церковная ветхая утварь, и те иконы, которые отбирала кемская полиция в Поморье и доставляла из разрушенных федосеевских скитов на Топ-озере, р. Мягриге и др. Приходилось довольствоваться чужими сведениями и, без личной проверки, полагаться на них.

Хотелось мне попасть в тюрьму собственно затем, чтобы повидаться и побеседовать с одним из замечательных людей, деятелем раскола федосеевщины, моего почтенного земляка (костромича) судиславского купца, «батюшки-отца, батюшки Николая Андреевича» (Папулина). Народная местная молва и семейные наши предания указывали на Соловецкую тюрьму как на место заточения этого выдающегося человека, который не пройдет бесследно в истории беспоповщинских толков. Хотелось мне успокоить его нежданным появлением пришельца с родимой стороны и вдобавок, может быть, утешить передачей поклона от моего отца, с которым соловецкий заточник до своей ссылки находился в независимых приятельских отношениях. Спопутно при таком удобном подходящем случае возможно было совершить также одно из дел христианского милосердия, прямо указанное Евангелием — и в то же время в таком святом и много чтимом месте.

Папулин по вере принадлежал к беспоповщине, к федосеевскому толку. Он действовал в то время, когда на старообрядчество этого согласия, заменившего церкви часовнями, а попов — выборными наставниками с попечителями, правительственные преследования обрушились усиленно. Вследствие того с их стороны потребовалась особая энергия, понадобились руководители со стойким характером и твердым умом и явились защитники в виде покровителей, владевших капиталами. Прогнанные с одного места и рассеянные в разные стороны, федосеевцы умными и опытными наставниками собирались опять в новом месте, более безопасном и отдаленном. Денежными пособиями попечители этой общины укреплялись тут и снова начинали жить тесными союзами с наибольшей опытностью и осторожностью до той поры, когда, вновь открытые, снова принуждены были рассеиваться и прятаться. Это была в полном смысле слова «бегствующая церковь», находившая себе поддержку и существенное руководство в богатой Москве, где так наз. Преображенское кладбище было федосеевской митрополией. Ее влияние было обширно, простираясь на всю Русь, когда во главе стояли такие руководители, как богатый и умный Илья Ковылин, как ловкий, опытный и бывалый Семен Кузьмин. Последний сделался наставником в самое тяжелое гонительное время, в начале 40-х годов. Тогда за делами федосеевщины учрежден был особенно бдительный со стороны правительства тайный надзор. Последнему стало ясно, что мелкие толки беспоповщины разъединены и Москве не всегда удается сплачивать их, что федосеевщина разбилась на отдельные молельни, число которых, однако, возрастало (из 30 находившихся в Москве в 1826 году, в 40-х

годах стало уже около 150), и, во всяком случае, эта секта усиливалась и видимо укреплялась. Успехи ее оказались наиболее ясны в среде обездоленного, закрепощенного и полукочевого заводского и фабричного населения, и покровителями толка, естественно, явились владельцы фабрик и заводов тех известных фамилий, которые гремели не только по всей России, но и за пределами ее в Сибири, вплоть до китайских пределов.

Хотя Москва и почиталась главой всей федосеевщины, простирая свое влияние даже до таких удаленных общин, как Топозерская (почти на северной границе Финляндии с Архангельской губернией), но временами принуждена была уступать силу влияния и первенствующий голос иногородним общинам. Это бывало во всех тех случаях, когда дело переходило в руки умных богачей и у них случайно сочетались обе силы: нравственная и материальная. Таким между прочими оказался оптовый торговец грибами, производивший оборот этим тайнобрачным растением ежегодно более чем на 100 тысяч рублей. По этой причине он находился в близких и частых сношениях с московскими богомольными людьми, строго соблюдающими обычаи старины и в том числе православные посты. Всего ближе он стоял к федосеевцам, где старая обрядность доведена была до крайних пределов нетерпимости и знатоки Писания (по свидетельству даже врагов их) настолько были многочисленны, как редко можно найти между православными образованного общества. С одной стороны, ни один федосеевец, даже очень богатый и независимый, не позволит себе оскверниться одной каплей постного масла, одной ложкой горячей пищи в обе великие недели великого поста, так как во всем обиходе установлены точные границы самого строгого, истинно монашеского воздержания. С другой стороны, приверженность всего старообрядства к старым книгам и иконам — в федосеевщине породила наилучших знатоков по иконографии, по разбору пошибов письма старинных рукописей и по оценке старопечатных книг. В них понуждались и от них многому научились наши ученые историки, археографы и археологи. Федосеевцы владели главными и истинными сокровищами по всем родам русской старины и, между прочим, драгоценными иконами. На приобретение их не брезговали никакими средствами, и та община, которой доводил случай обеспечиться редкостями, выдвигалась вперед всех и обогащалась денежными средствами. На этом-то поприще и отличился Папулин, и маленький посад Костромской губернии, где он жил,— Судиславль, известный до тех пор лишь сушеными и солеными грибами, носившими его скромное имя, сделался известен и славен во всем разнообразном и богатом староверском мире. Похищение икон из старинных церквей велось издавна в одиночку и по частям, но то, что умудрился сделать Папулин, случилось во все 300 лет существования на Руси раскола только во второй раз. Папулин ухитрился приобрести целую древнюю церковь со всем ее иконостасным и настенным украшением.

В городе Сольвычегодске (Вологодской губ.), где, еще со времен Ивана Грозного, именитые люди братья Строгановы [44] на вывозке

соли и иных торговых предприятиях наживали основы последующих несметных родовых богатств, ими выстроена была всеградская соборная Благовещенская церковь. На ее благолепие богачи эти не щадили своих средств, приобретая редкости и отыскивая святыни, каков, между прочим, холстинный саккос пермского апостола св. Стефана [45]. Заботу же о церковном украшении они простерли до того, что выписали из Италии мастеров и завели особую школу иконописцев, слава которой сохранилась и до наших дней [46].

Папулин искусно соблазнил покладистого протоиерея того собора и купил весь иконостас под видом обветшалости дорогих старых икон, потребовавших будто бы одновременно и обновления, и полной замены вновь написанными. За семь тысяч Папулин приобрел 1300 икон и темной ночью, на шести парных подводах, вывез их из Сольвычегодска в Судиславль. Тут были иконы, писанные св. Петром, митрополитом московским (известным изографом) [47], каковыми московские патриархи благословляли именитых людей Строгановых. Тут же с прочими образами оказалась купленной и икона «Год святых», подлинно писанная знаменитым иконописцем Андреем Рублевым [48]. Вывезенные иконы Папулин исправлял и подновлял; некоторыми украсил свои молельни близ Судиславля, другими торговал не только в Москве, но и в других федосеевских и филипповских общинах. Его приказчик, торговавший в Петербурге грибами, салфетками и холстом, вывез их сюда и украсил домашние столичные молельни и общественную на Волковом кладбище. Самому обошлась каждая икона, мелкая и большая, круглым счетом по 5 руб., а он брал за иные по 250 и выручил от продажи в разные губернии 13 тыс. и сверх того 7 тыс. от одного Преображенского кладбища.

Это дело сделалось гласным и обратило на Папулина особенное внимание правительства. По розыскам, дознаниям и расспросам оказалось, что Папулин был не только ловкий торговец, но и опытный ловец в человеках. Жителей исстари православного городка в какой-нибудь десяток лет он совершенно отвел от обеих посадских церквей. При двух своих мельницах — Калишке и Шемякиной — он основал два монастыря-общежития для мужчин и для женщин и в число обитателей не задумывался принимать беглых и беспаспортных. Это последнее обстоятельство принято было за главнейший повод к его осуждению, аресту и ссылке. Но прежде, чем случилось все это, он умел ловко прикрывать свои деяния, задаривая и задобривая властей и успешно ведя много лет ловкую борьбу с епархиальными архиереями. Посчастливилось более настойчивому из них Владимиру (Алявдину), в союз с которым вступил и явился на помощь граф С. Г. Строганов [49], состоявший тогда в звании попечителя Московского учебного округа и уже успевший возвратить некоторые из икон, найденных врасплох у московских федосеевцев.

В хищении святынь, совращении в раскол, пристанодержательстве беглых и укрывании тех, которыми дорожили и за которых боялись в Москве и высылали к Папулину, он был уличен в 1846 году, тайно взят и неведомо куда направлен. Имущества его из одной Калишки было вывезено 20 возов. Груды икон сложены были

в Ипатьевском монастыре, и много других небрежно хранились в костромском губернском правлении. Стало доподлинно известно также и то, что много икон успели из Судиславля припрятать в разных местах, и, между прочим, на Преображенском кладбище в Москве в количестве тридцати. Между ними оказались три другие строгановского письма, и из них одна оценена в 200 рублей.

Этого-то Папулина безуспешно хотелось мне разыскать и увидеть.

Проезжая прелестным чищеным лесом поперек острова из главного монастыря в Анзерский скит, я слышал от своего возницы-монаха:

— Не выдерживают они у нас: в уме мешаются. Был случай, что один из них зарезал солдата.

Вот и пример:

— Один досиделся до того, что возмнил о себе, якобы зверь в него вселился, и сам он стал зверем. Встанет на четвереньки и с боку на бок качается и хрюкает. Положат его на постель, отвернуться не успеют, как он опять на том месте мотается. Так, где коленками упирался, большие ямки вывертел, где руками — поменьше: пол-от в тех покоях кирпичный, мягкий.

Убийство сторожа вызвало улучшение в тюремных помещениях и перемену участи заточенных.

— Не спрашивайте: ни имени, ни фамилии здесь нет, я знаю только номера. Вот и тот, похожий по вашим приметам, должно быть, сидит под номером тринадцатым, как раз под чертовой дюжиной,— поучал меня инвалидный капитан, на другой день возвращавшийся с командой в Архангельск и успевший уже на прощанье с знакомыми монахами подгулять — «наторопиться», как выразился он сам. Я доверился ему по безвыходной неволе.

Добровольно явился он в мой номер монастырской гостиницы в той же походной форме, в которой сидел поутру за общей трапезой. Разговаривая, он все оглядывался по сторонам и, оглядываясь, оправдывался:

— Стены здесь слышат,— вот какое строгое место!.. А земляк ваш добрый старик и ласковый! Да вот какой добрый: когда ни придешь, он всякий раз начинает около себя обыскиваться, шарит на столе, заглядывает под кровать: «Подарил бы, говорит, что, да взять нечего,— все отняли».

Офицер при этих словах не только оглянулся и приподнял над ухом настороженный палец, но на цыпочках подкрался к двери и, быстро отворив ее с видимым расчетом ударить в лоб того, кто там подслушивает, заглянул в длинный и неметеный коридор. Возвратившись, он с большей смелостью говорил:

— Доводят их до беды, потому что исправляют. Я готов в рапорт написать, что нельзя поверять монахам таких людей, которые с ними ссорились прежде, там... Помилуйте, скажите: я — офицер, а к архимандриту каждое утро должен ходить, как к генералу или коменданту, вытягиваться и рапортовать. Он выслушает, а чашки чаю не даст,— гордится предо мной.

Сквозь слегка нескладную болтовню я узнал от этого офицера, что земляк мой летней порой сидит в чулане безвыходно, надевает на нос большие круглые очки и беспрестанно читает толстые книги в кожаном переплете.

— Кроткому человеку архимандрит попущает: дает книги, а зимой выпускает с солдатом в старый собор помолиться. Конечно, это дело его. Он здесь полный хозяин, на комендантских правах.

— Конечно, без солдата и ему я не могу дозволить,— хвастался офицер.— Положим, что льды обкладывают монастырь так, что не вырвешься. Да здесь держи ухо востро. Вдруг он скрылся: может быть, с берега прибыл сюда его сообщник. Остров-то очень велик, есть где спрятаться. Выждал время, посадил в карбас и увез,— здешний народ льдов не боится. Да по-моему лучше морская пучина, чем эти чуланы. Я к тому это говорю, что из богомольцев много народу при-прашивалось повидаться с ним, давали мне хорошие деньги. Я не соглашался,— я помню присягу...

Следовала затем похвальба личными достоинствами, к которой обычно прибегает под хмельком всякий приниженный человек. Нового он уже ничего не говорил и становился прямо докучным: видимо, по сумме старых и мелких неудовольствий, желал сплетничать и спьяна злословил языком, наладя тоже на нескладную болтовню и воркотню. Стал он просить и от меня угощения,— для того советовал послать к самому архимандриту.

— Пришлет. Хорошего рому пришлет. Хорошо бы пунштику на дорожку. Давно не пил. Твоему приезду они не рады. Не по нутру им. Говорили мне, что писать будешь: грехи их переписывать. Постарайся, сделай одолжение!

Дальше пошло уже такое все нескладное, настоящий бред, что я и в самом деле не знал, как развязаться с ним. Он помог мне тем, что пообещал сам пойти просить рому,— и ушел.

За него договаривал сам архимандрит, пожелавший дополнить мои скудные сведения о № 13-м, как бы в утешение за отказанное личное свидание.

— Глубоко огорчен я был, когда, приняв настоятельство, посетил тюрьму, неся туда слабое слово утешения,— рассказывал мне отец Александр, прославившийся защитник монастыря Соловецкого во время блокады его англичанами в Крымскую войну. Рассказывал он тем говором, который обличал в нем малоросса и который не сумело затушевать и обезличить даже столь богатое и типическое архангельское наречие, и притом в течение многих лет.

— Получил я оскорбление, откуда не ожидал, от своего же, так сказать, брата — духовного. Бросился он на меня с зубовным скрежетом, намеревался ударить, круто обругал. Я уже не давал ему наставлений, ушел от греха. То был безбожник из кончивших курс семинарии, певчий. Номер второй обратился ко мне с криком и слезными жалобами на отца, по просьбе которого он и прислан к нам за непочтение родительской власти. Я ходатайствовал через синод, и испрошено было повеление, чтобы несчастному отец его обязательно высылал благопотребную сумму в приварок к монастырскому про-

довольствию (в 1855 году был освобожден). Видел и тринадцатый номер и ожидал новых оскорблений; полагал — отвернется или приблизится, чтобы сказать укоризненное слово. Взглянул он на меня исподлобья и нависших бровей кроткими глазами, поклонился очень низко, ничего не сказал, ничего не спросил, расположил меня к себе своей покорностью и смирением. Через караульных после выпросил он книги,— велел я снабдить ими. Зимой попросился посетить старый собор, чтобы там помолиться; я благословил. Видели вы сами, сколь благолепен иконостас нашего древнего храма постройки московского святителя и чудотворца Филиппа [50]. Поклонились и явленной ему иконе богоматери, именуемой Хлебенною по явлению ее в пекарне. Сказывали мне монахи, что перед нею с особенным усердием молился тот тринадцатый номер и не хотел отрываться. Повторял он и затем свои просьбы, и я благословлял ему таковые утешения. Не разрешил я только приносить коврик и лестовку, ибо нахожу неблаговидным. Да оно и соблазн производит: зачем? При предшественниках моих были случаи обращения монахов в федосеевщину от проживавших на воле ссыльных. Бывали случаи и хуже, но о них промолчу. Не удивляйтесь: большинство иноков — народ простой и легкомысленный, очень много из простых мужиков. Например, когда вступил предшественник мой Димитрий, то он мало нашел монахов, умевших петь и читать; из местных штатных служителей принужден он был собрать хор и сопровождать службы чтением по полному положенному уставом чину. И еще: предлагал я тринадцатому номеру посещать наши богослужения; он отказался решительным образом,— без всяких, однако, объяснений. И еще: из докладов по команде замечается в нем последнее время как бы какое-то внутреннее беспокойство. Перестал старец разговаривать, как бы наложил на себя добровольный обет молчания. Нарушает его, чтобы говорить все одни и те же слова: «Разорили, совсем разорили!» Начнет ходить по келье взад и вперед, начнет рукой махать. Я после того посетил его, встал он передо мной, воззрился мутными глазами и вопросил: «Где правда?» Я не собрался ответить, а он крепко топнул ногой, поднял на потолок глаза и крикнул: «Нету правды на земле,— в небесах она!» Я распорядился, чтобы не беспокоили его вопросами и не вступали с ним в подобные разговоры и подобные объяснения. Не знаю, исполняют ли? А я уже очень давно его не видел...

Под той же башней в северо-западном углу крепости, носившей исстари название «корожной», находились и так называемые (в старинных актах) исторические «земляные тюрьмы», уничтоженные и замурованные и в Соловецком монастыре по синодскому указу еще в 1742 году. Соловки дают о них наглядное понятие: это были ямы на целую сажень глубиной, обложенные кирпичом и покрытые вверху дощатой настилкой, на которую насыпана была земля. В такой крышке была прорублена дыра, называвшаяся дерзким именем двери, запиравшаяся, впрочем, замком после того, как опускали туда самого заточника или пищу ему. Пол устилался соломой, и в них не было даже тех кирпичных лежанок, которые приделывались к стенам в качестве кроватей или диванов. Нечто подобное описывает, как

самовидец, М. А. Колчин в статье «Ссыльные и заточенные в остроге Соловецкого монастыря» («Русская старина», 1887 г., октябрьская книжка).

«Идет узкий темный проход сажени две длины. Чтобы не запутаться и не запнуться за что-либо, необходимо идти с огнем. Спускаемся ступени на три ниже уровня земли, сворачиваем немного вправо и входим низкой дверью в большую квадратную, сажени в три, комнату. В ней темно, так как нет ни одного окна, а взамен их на каждой стене находятся двери с маленькими вырезками. Комната целиком состоит из кирпича: пол, потолок, стены, лавки, полки — все кирпичное; сыро, стены мокрые, заплесневелые. Воздух спертый, удушливый — такой, какой бывает в сырых погребах. Испугавшиеся света крысы, водящиеся здесь во множестве, с ужасом бросаются вам под ноги. В этой комнате в прежнее время помещалась стража, караулившая узников, заключенных в казематы, расположенные по всем сторонам этой комнаты. Прямо перед нами маленькая, аршина в два вышины, дверь с крошечным окошечком в середине ее; дверь ведет в жилище узника, куда мы и входим.

Оно имеет форму личного усеченного конуса в длину аршина четыре, шириной сажень; высота при входе три аршина, в узком конце (обращенном к кладбищу) полтора аршина. Здесь — маленькое окошечко вершков шесть в квадрате. Луч света, точно украдкой, через три рамы и две решетки тускло освещает этот страшный каземат (можно читать в самые светлые дни, и то с напряжением зрения). При входе направо мы видим скамью, служившую ложем для узника; над ней почерневшая до неузнаваемости икона, а за ней сохранилась священная верба. На другой стороне остатки разломанной печи. Стены, как и в первой большой комнате, сырые, заплесневелые; воздух затхлый и спертый».

В этих-то «каютах» маяли «гладом» и жили безысходно, не учиняя утечек (как выражались старые акты и жалобы самих заточников), многие годы несчастные в роде Кольнишевского, кошевого бывшей Запорожской Сечи, просидевшего, по преданию, 16 лет и оказавшегося невинным. (Его освободили, но он выпросил остаться в Соловках навсегда и молил царя московского лишь об одном — о постройке для преступников настоящей тюрьмы). Первым испытал ужасы одиночного заключения живым в гробу, по письменным известиям, игумен Троицкого монастыря Артемий [51], обвиненный, как соучастник ереси Башкина, и осужденный духовным собором при Грозном в 1554 году. Он прибыл сюда в то время, когда в монастыре был игуменом св. Филипп (впоследствии митрополит московский). Ему удалось бежать за рубеж в Литву, где он был ревностным защитником православия и написал на эту тему несколько книг. Вскоре за ним последовал в Соловки и исторический Сильвестр [52], протопоп благовещенский, друг Грозного, осужденный заочно и присланный сюда также на вечное заточение (могилу его указывают близ Преображенского собора). Этими ссылками дан был, так сказать, первый тон последующим временам и деяниям по применении к духовным лицам и преступникам против веры из гражданских лиц.

Замуравленные земляные тюрьмы (которые особенно предпочитал Петр I) заменены были особенными казематами для секретных арестантов, устроенными в подвале нынешней тюрьмы, куда надо бы было спускаться по нескольким ступеням. На длинном коридоре шесть дверей вели в шесть чуланов, сажени по две длины и с небольшим в 2 аршина ширины, с общим окном, находившимся на уровне земли. Такие же чуланы, похожие на обыкновенные тюремные одиночные камеры, находятся в верхних этажах, но они уже светлые и сухие. В самом нижнем этаже, в конце коридора, находилось то «особое уединенное место» с окошечком только в двери и аршина полтора в квадрате, где нельзя ни лежать, ни сесть протянувши ноги,— этот так называемый «мешок» в просторечии. Сюда-то с цепью на шее и железами на ногах замыкались в старину великоважные преступники, обреченные на вечное молчание и на постоянное уединение, с тем чтобы «ни они кого, ни их кто видеть могли». Сюда же временно, как в карцер, сажались строптивые и непокойные и покушавшиеся на побег. Монастырские акты указывают на Потапова, который под шумный праздничный колокольный звон разогнул табуретом решетку и выбросился на крепостную стену и с нее на землю в одной рубашке. В этом поличном он был усмотрен богомольцами, признался им и заслужил перемену квартиры на худшую, с кандалами. В такой же мешок посажен был и раскольщик Белокопытов (присланный сюда с урезанным языком), который с нечеловеческим терпением успел в стене проковырять дыру, чрез которую вышел на крепостную стену, по веревке спустился через бойницу, ушел в ночь, переночевал в пустой избушке, сколотил из досок плот, выехал на нем в море, но ветром снова был прибит к берегу и схвачен. В следующем году он снова повторил попытку. Достал нож, прорезал им отверстие подле дверного замка и вышел. Восемь дней он блуждал по монастырскому лесу, и снова очутившись в каземате скованным по рукам и по ногам — просидел там до самой смерти. Впрочем, это — редкие случаи: побеги невозможны в людном монастыре, при постоянном движении многочисленной братии, при крепких затворах, страже, живущей обок с самими казематами, при развитом до совершенства шпионстве. Побеги затруднительны даже для тех арестантов, которые живут на воле, именно по географическим условиям острова, когда не на чем сплыть на матерый берег и невозможно скрыться зимой, когда припаями обложится монастырь и за ними бездна открытого, незамерзающего моря.

Живущие на воле ночевали в казематах (иногда по двое) — из тех, которые присылались для употребления в монастырские работы; иные носили железа на руках только, иные лишь на ногах, другие были совершенно без оков. С каждым присылали инструкции, как содержать их, и даже назначался род самых работ. Этих «смиряли по монастырскому обычаю» либо батогами, шелепами, плетьми и цепью, либо сотнями земных поклонов. Летом, при наплыве богомольцев, их запирали, зимой пускали на полную волю и мучительное бездействие; грамотным не давали книг, перьев и бумаги, не позволяли сходиться и обмениваться разговорами; некоторым неграмотным

позволялось работать на себя в казематах: сапожничать, портняжить, сорить стружками, вытачивая ложки, вырезая крестики, делая ведра, сгибая ободья и обручи.

Бо́льшая или меньшая строгость зависела от характера архимандритов: Досифей Нелоленов (приписавший себе известное описание монастыря, составленное ссыльным за богохульство учителем Василием Воскресенским) был самым строгим и суровым дозорщиком; современный моему посещению монастыря Александр был самым мягким и милостивым. Досифей давал убогую пищу, присаживал в одиночные камеры по двое таких арестантов, которые ненавистны были друг другу по религиозному разномыслию. Александр почтил память тамбовского епископа Игнатия, пострадавшего по делу Талицкого (книгописца) сооружением над его могилой плиты с надписью. Легче всех было, конечно, тем, которые ссылались под начало «для строгого смирения», а не «под караул», т. е. в тюрьму. Вообще же, надо всеми парил дух сердобольного милосердия и человеколюбивого прощения, каким полно русское сердце, умеющее высказаться по требованию, не нуждаясь в денежных подкупах и ни в каких других искусственных связях, обязательных между стерегущим солдатом и стрегомыми заключенниками. Здесь было труднее прорываться этим добрым чувствам и евангельским подвигам. Но для таковых нет ни препон, ни избранных мест, ни людей. Нарушивших установленные правила для надзора и отдавшихся влечению мягкого сердца сторожа наказывали плетьми и цепью, отстраняли от подобного послушания, но соловецкая тюремная эпопея все-таки представляет многочисленные эпизоды, свидетельствующие о добровольном смягчении отношений караульщиков к заточникам. К тому же в громадном большинстве случаев приводилось иметь смотрение и вести дело с людьми покойными, виновными лишь в разномыслии с догматами православной церкви, и большей частью с главными руководителями («совратителями»), которые по самому характеру их деятельности должны были владеть привлекательными, мягкими, вкрадчивыми и симпатичными свойствами нрава. Таков, между прочим, известный в Сибири Израиль, увлекший тамошнее купечество (особенно в Кяхте) деяниями и вероучением. Он помогал беднякам, устраивал училища, нес слово утешения в каторжные тюрьмы, кормил голодающих в Селенгинском монастыре, где был игуменом, обучавшихся мальчиков кормил и одевал. Таковы деяния, а вероучение его, основанное на некоторых изменениях и нововведениях в церковных обрядах, было признано святейшим синодом преступным. За распространение его Израиля прислали сюда, лишенным священства и монашества, навсегда под присмотр военной стражи. Здесь он не применил учения своей секты и обращал на себя внимание монастырского начальства лишь горячими спорами с душевнобольным донским казаком есаулом Котельниковым. Сходясь в коридорах днем (на ночь их запирали в чуланах), они доводили религиозные диспуты до рукопашных схваток, вынуждавших начальство смирять их одиночным заключением. Один был убежденным защитником православия, другой — основателем новой секты вроде

хлыстовской, дерзко искажавшим самое существенное в божественной литургии и кощунственно веровавшим в свое призвание как истинного сына божия и спасителя мира. Соловецкая тюрьма его не смирила: он умер здесь (в 1862 г.), стоя на коленях в молитвенной позе*. Да и вообще, достигала ли Соловецкая тюрьма главной цели — обращения покаявшихся и смирения непокорных?

Вспыльчивый и сварливый есаул Котельников отказывался попрежнему от общения в общем молении и с Израилем, и с духовидцем Сергеевым, и с пророчествовавшим Курочкиным, а между тем и сам не ходил в монастырские церкви на службы, постоянно состязался и проклинал ереси, защищая православие, в ожидании стать вселенским учителем. Точно то же замечается и относительно прочих раскольников. Увещания монахов настолько были мало влиятельны, что случаи искреннего раскаяния в заблуждениях насчитываются единицами, и притом многие следует считать притворными, сделанными с расчетом на улучшение участи. Бывали примеры, что, обратившись в православие и приняв монашеский чин, ссыльные поступали так для получения известной свободы, которой и пользовались с целью скрыться из монастыря на твердую землю и затем в неизвестную отлучку. В этом столь жизненном и существенно важном вопросе заточения замечалось скорее обратное явление: видимое страдание за убеждения и несомненная в них стойкость подымали значение заточников до высоты героев и увлекали некоторых из монашествующей братии, в особенности же стоявших ближе к ссыльным приставников. Со времени ссылки сюда скопцов (каковых, например, к 1835 году — времени ревизии Соловецкого острога — было 7 человек) замечено влияние их на уродование монахов. Ссылка этих опасных прозелитов была прекращена с обращением их в Сибирь в Туруханский край и с отдачей в солдаты находившихся в то время в Соловках. Архимандрит Александр в 1855 году доносил, что «ученые и умные из приставников-увещевателей не только не имели успеха, но сами увлекались еретичеством». В 1836 году одних федосеевцев находилось 9 человек и 3 из секты так называемых странников, или бегунов. В числе федосеевцев был в то время весьма известный, начитанный, стойкий и влиятельный ловец в человецех, Сергей Гнусин, и т. п.

Кроме раскольников попадали сюда в заточение и юродивые, и заведомо сумасшедшие (которые такими и записывались в ежегодно составляемых донесениях), и крайние мистики, не принадлежащие ни к какой секте, но очевидные полупомешанные, так называемые маньяки, вроде Котельникова, душевнобольного фанатика (прожил здесь 28 лет). Присылались и за иные вины; как исключение, впрочем, но тем не менее личности, интересные во многих отношениях. Попадались обменявшиеся в острогах именами и много таких, которые несли наказание, превышавшее весьма меру вины их. Не говоря о тех раскольниках, у которых смешивалась идея противления

* Об Израиле я уже имел случай рассказать в сочинении моем «Сибирь и каторга».

государствующей церкви с непризнаванием светской власти и государственных и общественных законов, в прежние времена до нынешнего столетия присылались в соловецкие тюрьмы и такие лица, которые кричали страшное «слово и дело» [53], и те, которые произносили «важные и непристойные слова». Этим без всяких словесных внушений и духовных наставлений клали в рот, поперек его, палочку с завязками, какая употребляется для зверей, пойманных живьем, и на морду лошадей, чтобы не кусались (ее вынимали, когда давали пищу колодникам, а произносимые в это время слова записывали и отсылали в Тайную канцелярию). Некоторых присылали без обозначения вины, иные, как священник Лавровский (в 1831 г.), за подметные письма, в которых порицалось крепостное право. Бывшего казанского царя Симиона Бекбулатовича Лжедимитрий сослал сюда за то, что он обличил этого самозванца в латинстве и увещал народ стоять за православие. Один прислан за то, что насильно постриг жену; другой (монастырский казначей) просто «за грубость», и т. д. Тот самый воевода Мещеринов, который взял приступом Соловецкий монастырь и усмирил тем монастырский бунт, явился здесь узником, как обвиненный в разграблении монастырского имущества и в жестоком обращении с побежденными. Петр I прислал самозванца Салтыкова и следом за ним многих «говоривших великие непристойные слова», пойманных на «воровских подметных письмах», сообщников Кочубея, свидетельствовавших измену Мазепы, двух крещенцев жидовского рода (дважды принявших в 1709 году православие), в 1828 году — студенты московского университета — декабристы, два графа Толстых за неизвестную вину и другие лица, с кратким обозначением «за некоторую вину». Прислан был даже особенный колодник, который назывался «бывший Пушкин», и т. д. Ссылали епархиальные архиереи по своему усмотрению и произволу, но в 1835 году состоялось распоряжение, чтобы ссылать только по высочайшему повелению.

Из ссыльных прошлого века и этого сорта людей с исключительной преступностью выдаются двое: Максим Пархомов и Андрей Жуков — настолько, что на них следует остановиться.

У первого началом преступности и дальнейшим поводом к ссылке оказался роман на обычной подкладке. Разлюбил жену, от которой имел четверых детей, и полюбил чужую жену. Когда умер муж последней, любящий человек возымел намерение с ней повенчаться. Убивать законную супругу не поднималась рука, сама смерть к ней не приходила, все меры склонить ее принять иноческий чин не имели успеха. Придумал он постричь жену насильно, так как развод не дозволялся. Избивши до полусмерти, он свел ее в монастырь и, как влиятельное в губернии лицо, заставил постричь. Обиженная пожаловалась на своеволие мужа властям, и ее освободили от монашества, но не сумели водворить к мужу. От второй жены у него родился сын, и на радостях отец задал пир. Один из бывших там был оскорблен и, желая отомстить, подал донос в синод на Пархомова. Брак расторгли, велели жить с первой женой, но эта сама не захотела и вскоре умерла. Пархомов дал в синоде расписку в том, что со второй женой

жить не будет, а между тем тайно продолжал жить с ней по-прежнему. Опять у них родился ребенок,— и опять пир, который в новом доносе выставлен был как явная и гласная насмешка над синодским приговором. Синодским указом (5 мая 1729 года) велено обоих супругов в церкви не пущать, ни до каких таинств не допущать и в дом их с духовными требами не входить. Пархомовы скрылись; имение их конфисковано. В 1741 году Пархомов вознамерился попытать счастья в просьбе об освобождении от наказания и от принцессы Анны Леопольдовны (во время ее правления) получил разрешение, но, имея неосторожность лично явиться в синод с ходатайством о причтении к церкви, был арестован и скованным отдан под караул. Он подает прошение, в котором отказывается от сожительства, и с него снимаются оковы; но вскоре снова просит синод о соединении с женой; и на него опять кладут оковы. Так повторяется несколько раз. Привезли и жену его, которая с перепугу отказалась, ради свободы, от мужа, и оба окончательно объявили, что не будут жить вместе. Синод не решился им дать свободу, но от клятв и анафемы освободил и приказал ввести их в церковь. В воскресный день в крепостном Петропавловском соборе торжественно читался архиереем акт присоединения при многочисленном стечении народа. Описывались вины и в конце было сказано: «Во отвращение от их душепагубного сквернодейства, а на наставление их к покаянию и на путь спасения, разослать их в монастыри под караулом скованными». Пархомов привезен в Соловки, где его расковали, но жить ему стало столь тяжело там, где — по его словам — «не только здоровье, но и железа ржавеют, и он, из прегорькой неволи и ссылки, из места крайсветного, заморского, темного и студеного и прискорбного», стал проситься «с радостью души в каторжную работу!» *

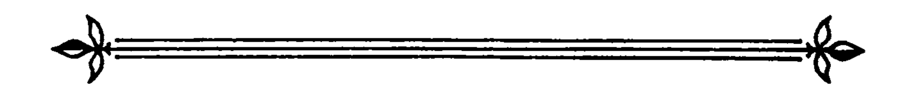
Не менее интересна судьба Жукова, каптенармуса лейб-гвардии Преображенского полка, испытавшего наказание, которое ни до того, ни после ни над кем не применялось. В 1754 году он, в сообществе с женой своей, убил мать и родную сестру. Заключенные в тюрьму, оба содержались там до 1766 года, когда Екатерина II, не подвергая их смертной казни, вознамерилась примирить их с богом посредством покаяния перед народом. Для этого убийцы одеты были в посконные свиты, с распущенными волосами, босые, в оковах, имея в руках зажженные восковые свечи, в сопровождении священника каялись всенародно. Их приводили к церкви и, не вводя вовнутрь, но окружив стражей и поставив на колена, заставляли читать вслух нарочно изготовленную молитву, которой исповедовали свое преступление. Продолжая стоять на коленах, они обязаны были много раз говорить входящим в церковь: «Возлюбленные о Христе! чувствуя мы тяжесть нашего беззакония и ужасаяся раздраженного нами бога, недостойных себе судим услышание его, вас убо молим, спостраждите нам и восшлите ко господу молитву, да призрит на покаяние наше и милостив нам будет». На актениях дьякон возглашал добавочное

---

* Заимствовано из рассказа г. Колчина в «Русской старине», декабрь 1887 г., стр. 591—599.

прошение. По окончании обедни на особом амвоне внутри церкви, но у самых дверей проповедник говорил народу поучение. Затем убийцы снова просили выходивших о молитве. Обряд этот совершен был в Москве четыре раза: в Успенском соборе, в Петропавловской церкви на Басманной, в церкви Параскевы Пятницы на Пятницкой и у Николы на Арбате. Затем Андрей Жуков сослан был в Соловки, а жена его в Далматовский женский (Пермской губ.). Настоятелям поручено было употреблять их в постоянные работы; одному наблюдать за ними и чаще напоминать о силе веры и закона, о страшном и неизбежном для нераскаивающихся грешников суде божьем; а по правилам св. отец об убийцах, 20 лет, включая, однако, и время, проведенное ими в тюрьме, ходить на всякую церковную службу, но становиться не в церковь, а в трапезе; всякий пост исповедоваться, но не приобщаться, кроме смертного случая.

Г. Колчин помогает нам проследить за последующей судьбой Жукова. Из секретного монастырского дела видно, что, несмотря на запрещение входа в церковь, этот Жуков ворвался в нее, и притом во время торжественной службы по случаю дня коронования императрицы, и нашумел сильно и злобно набранился. Безумца вывели и у всех служащих отобрали расписки, что они, под страхом смертной казни, никому не расскажут о слышанном. Жукова заковали и свезли в Архангельск. Дело дошло до Екатерины, которая повелела его прекратить, а преступника отправить обратно в Соловки, но заключить его там так, чтобы про него никто ничего не знал. Просидев в таком заключении около двух лет, Жуков «своею волею удавился», как показывал его караульный.



VI

КОРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ

Первые впечатления прибрежного плаванья и первые деревни этого берега.— Село Кереть и воспоминания об англичанах.— Мой хозяин.— Остров Великий и раскольники.— Село Ко́вда.— Богачи.— Деревня Княжа́я.— Корелы: их нравы, обычаи и характер.— Золото полярной страны.— Воицкий рудник и его приключения.

— Прости, крещеная душа, гостенек дорогой! Пошли тебе Никола Угодник да Варлаамий Керетский счастливое плавание! Едешь ты в сторону дальнюю — всякого горя наприма́ешься. Вживе бы тебе, заезжему человеку, вернуться назад и нас бы порадовать. Мы тебя в своих грешных молитвах не забудем. Смотри — неладное что выйдет тебе: поветерья, что ли, долго не будет, в бурю ли страх обуяет тебя, в великое ли сомнение впадешь и соскучишься крепко — молитву свою Варлаамию Керетскому посылай. Затем он батюшко в наших странах и обитель себе земную восприял. Молись ты ему — пособляет.

Такими советами и напутствием провожал меня кемский хозяин, когда готов уже был карбас, чтобы везти меня в глухую даль Архангельской губернии, к северу от Кеми, вдоль Корельского берега Белого моря.

Чистые, светлые комнаты отводной городской квартиры заменило на этот раз утлое суденко — карбас — в два аршина шириной, на восемь аршин в длину, шитое деревянными гвоздями и вичью. Род кибитки — по-здешнему болок (из гнутых деревянных ободьев, обтянутых заплатанной парусиной и накрытых поверх всего рогожкой, которой затягивалась также задняя часть этого навеса) — должен был защищать меня и от дождя, и от крепких, порывистых *духов* ветра морского. Четыре плотные, коренастые девки, сильные на руках и *крепкие сердцем* — как выразился мой кормщик,— сели на весла напротив, ближе к носовой части карбаса. Сзади на руль поместился мужик-кормщик — дорогое, самое главное и самое важное лицо, от умения и сметливости которого зависело все мое настоящее. Четверо гребцов прекрасного пола, как объяснили мне, служили на этот раз заменой пары лошадей (кормщик, стало быть, правил должность ямщика) на том основании, что *горою* по-здешнему, или берегом попросту, летом ездить нет никакой возможности. Огромные

гранитные скалы, наваленные грудами без всякого порядка, глубокие щелья, выстланные болотными, не поднимающими даже легкую ногу оленя, зыбунами, залегли на всем пространстве беломорских прибрежий. Они обеспечивают, таким образом, возможность ездить только морем, вблизи берегов, на карбасах почтовых или на *обязанных*, так называемых *обывательских*. Таким путем ездит почта от селения Унежмы (на поморском берегу) до Колы. Так же точно ездят и чиновники земской полиции по Терскому берегу.

Естественно, что особенных удобств в этом способе переездов не предвидится. Низенькая, наскоро гнутая и неладно прилаженная кибитка не дает возможности принимать иное положение, кроме сидячего (и то в редких, счастливых случаях) или полулежачего на подстилке, заменяемой в некоторых случаях шкурой белого медведя или оленьей постелью. В большей части других случаев подстилкой служил просто ворох сена, накрытый рогожкой или старым, рваным и отслужившим свой век парусом. Вылезти из этой берлоги на свежий воздух — помешать гребле: карбас короток и узок; поветерье — не всегдашнее подспорье в морских плаваниях. Лежать под навесом — истощить весь последний запас терпения и иметь неприятность слышать тяжелый запах одуряющей трески, которой (на два дня) запасаются гребцы на случай того несчастья, когда крепкий ветер и сильное волнение посадит на голую и бесплодную луду. Одним словом, скучнее, бесприветнее прибрежного плавания в карбасе трудно вообразить себе что-либо другое. Однообразно покачиваются вперед и назад, упираясь на весла, гребцы — девки и бабы, когда спокойно море и не заводится ни один из ветров или ходит один и вечный, но настолько слабый, что не способен даже слегка надуть парус. Завизжат гребцы от скуки песню и разведут ее на многие версты, на долгое время, чтобы спорилась работа и уходило вперед докучно-навязчивое время. Подпоет им козелком всегда сосредоточенный на своем руле кормщик. Слушаешь эту песню, привыкаешь к едва выносимому визгу, но удовлетворяешься немногим, она почти все та же, что и в дальних местах Великой России. Не услышишь этой песни под воскресенье, не допросишься и ничем не умирволишь гребцов на праздничную песню на середу и пятницу по вечерам, а тем более ночью, на этот раз коротенькою, светлою, полярною. Песня в таких случаях, и то только на настойчивый спрос и просьбу, заменяется плаксиво выпеваемой стариной про Егорья — света храбра, про Романа Митриевича млада, про царя Ивана Грозного, про сон богородицы и про другое прочее. Но зато уже таких былин нигде, кроме севера, не услышишь.

Начнется (*падет, завяжется,* по-туземному говору) ветер — гребцы выберут весла на карбас, наладят два косых паруса, недавно только в народном употреблении заменивших прямые, тяжелые, несподручные. Зарочат они (закрепят) шкот и дадут свободу по воле и прихоти ветра бежать утлому карбасу по широкому, неоглядному приволью моря. Весело сидится тогда в суденке, и ничто не увлечет под тот навес, который даже плохо защищает от дождя. Весело смотрится тогда и на море, по которому гуляют свежие, бойкие волны:

одна плеснется на борт и брызнет крупными каплями, обольет грудь и заслепит глаза; другая, как будто обессилев, распластается раньше, не достигши карбаса, и зальется вся новой волной, более сильной и более бойкой. Со стоном и визгом плещутся эти волны на каменных переборах, как будто тяготятся спопутьем их и как бы хотят и осилить эти груды камней, и стереть их с лица земли. Глухим гулом тех же плещущихся, неугомонных волн отдает и дальний берег, как черная стена навесившийся над ворчливым морем. По всей взрытой волнами поверхности его, по временам, но часто, вскипает пена, белеющая, как клочья пушистого снега,— «бельки» по-туземному, разгоняемые новыми волнами и вновь вскипающие на гребнях волн, как будто опять-таки для того, чтобы сильным прибоем последних быть прибитыми к отмелым местам ближайшей луды. Ветряной теменью с разорванными облаками — черными *свинками-ветрянами* по-туземному — глядит черная даль небосклона, откуда тянет *попутник*. Все небо, по большей части, в этих случаях хмурое и неприветливое, как будто опустилось вниз и хочет надавить и тем усилить и волнение и порывы ветра (*духи зóри* — по морскому говору). Ветер то *подпадет* — прибудет, усилится, то *охлябнет, опристанет* — уменьшится, но в тех и других случаях иногда и *подваляет* — держится в парусах, крепко надутых и значительно вытянутых. Накренив на правый бок карбас, мимо мчит он все спопутное: гранитную луду — голый камень, гранитный остров, нередко с утлой промысловой избенкой, с медведем, сидящим на корточках и сосущим лакомую ягоду, и всегда с целыми гнездами крикливых, докучливых чаек, робких уток, ныряющих в воду и долго не выстающих при людском приближении. Нагнувшийся набок карбас смело режет набегающие волны своей грудью — носовой частью, всегда острой и значительно приподнявшейся надо всеми остальными частями суденка. Хлопотливый кормщик сгонит гребцов на дно карбаса дальше от носа, и еще внимательнее следит за рулем, и еще крепче налегает мускулистыми руками своими на руль и его ручку. Бежит себе карбас бойко вперед, все дальше, и не на шутку сердишься, не на шутку негодуешь, когда ветер, мало-помалу *спадая* (стихая, подпадая), начнет болтать парусами, кидаясь в них с разных сторон. Волей-неволей гребцы роняют паруса, свертывая их на мачту, вынимают эту мачту и кладут к боку на судно. Опять они садятся на весла и визжат от скуки песню или начнут обмениваться остротами или замечаниями, вроде таких, что вот-де:

— Дурил, дурил ветер, да и схлябал.

— Не грозно же стало ветра-то!

— Ну, да где взять грозно-то?

— Не греби с подергой (неровно, урывочно) — весло сломаешь, а греби в рóстягу — не часто, а покрепче, и не по-мурмански — не далеко пускай весло в воду, а греби им по верху: легче груди бывает, суденко шибче бежит и круче берет.

— Спасибо стужа — подживила ноги! — приговаривает от себя молчаливый кормщик, когда гребцы, снявши с рук ситцевые нарукавники и обронив паруса, охотно берутся за весла. Скоро подается

карбас на сильных и привычных руках поморок, хотя успевают надоесть до крайности сторонние, скудные однообразием виды: черные тундристые берега, все лесистые, все словно вымерзшие, и безжизненные каменные луды по другой стороне. С терпением и кротостью примиряются гребцы с своей скучной, утомительной обязанностью и не шутя негодуют на то горе, когда ветер вдруг перебежит на противоположную сторону неба и подует с носа *поветерьем коршику в зубы,* говоря словами шутливого присловья. Обзывают девки, смеясь искренно тем встречным счастливцам, которым пало поветерье.

— Оброни парус-от: опружит.

— Опружит — никто не потужит,— отвечают те так же хладнокровно, как хладнокровно успокоивают себя и несчастные труженики, у которых теперь вся надежда на свои силы и руки. Они умеют утешать себя простым приговором: «в море по тиши ветер и по ветре тишь», т. е., что в летнее *межонное* время непостоянство ветров изумительно, что часто в один день ветер успевает обойти кругом все румбы компаса и не остановиться ни на одном из них надолго. Так же скромно радуются они всякому горному (дующему с берега) ветру, будь хоть это — *шальной* шалоник (SW), который, по их присловью, без дождя мочит, т. е. не пуская волнения (взводня), пылит, бросает на карбас брызги, особенно если придется ехать к нему навстречу. Так же добродушно смеются, в свою очередь, осчастливленные поветерьем над теми, которым ветер не благоприятствует:

— Эх бы тебе с носу поносу — далеко бы ушел!

Так же весело выбирают гребцы в карбас свои весла, когда падет опять поветерье, способное наполнить паруса, и так же простодушно острят между собой, принявшись за еду, от скуки и ради препровождения докучного времени.

— Коршик! Какое у тебя молоко-то?

— А белое.

— Есть ли пареное-то (топленое)?

— Затем, вишь, нет, что солнце-то закатилось.

— Мы рыбу-то, товарищ, съели; тарелочку в воду бросим.

— Брось,— отвечает кормщик,— да и руки-то брось.

— Да не выкинешь, не угораздишься...

— Приложу старание, любезна, для тебя: возьму через летико замуж за себя! — отвечает и на это замечание тот же кормщик словами песни и, передавши руль которой-то из гребцов, сам также принимается за еду, состоящую обыкновенно из пирогов — сгибней, вареной трески, а иногда и сырой (последняя считается у них не менее лакомой и вкусной пищей), из молока, лепешек, известных более под именем шанежек, и проч. Потрапезовавши и укутавшись в полушубки, гребцы вслед за тем лягут спать, и с большей притом охотой, если день пойдет на вечер или ночь застигнет карбас на пути. Кормщик отвечает тогда за всех и за все и не нарадуется за себя, когда опять стихнет ветер и придется ему будить своих товарок. Общая и безграничная радость для всех наступает в то время, когда наконец зачернеет в береговой темени устье реки и расширится оно с своими

недальними берегами, обещая за следующими наволоками, за дальними коленами реки, верстах в 5, 6, 10 от моря, вожделенное селение, взятое решительно с бою и долгим, утомительным трудом, сколько для гребцов, столько, кажется, и для седока, известного обыкновенно под общим названием «начальника».

Весело на тот раз смотрит деревушка, раскинувшаяся по обоим берегам всегда порожистой, всегда, следовательно, шумливой реки, с опрокинутыми карбасами, с доживающими последние дни негодными лодьями, шняками, раншинами и проч. Приветливо машут флюгарки, во множестве укрепленные на высоких, длинных шестах, прислоненных к амбарушкам, построенным у самой воды. Гостеприимно глядят и двухэтажные, всегда внутри чистые избы, и старинная, всегда деревянная, церковь. Лают собаки, кричат и плещутся в реке маленькие ребятишки.

То же точно испытываешь и в первой деревне от Кеми — Летней. То же и во всех остальных Корельского берега.

Летняя деревня (на мой проезд) значительно обезлюдела: все обитатели ее ушли на Мурман за треской, по найму от богатых поморов Кемского берега: кемлян и шуеречан. В сентябре вернувшись домой, они до 1 марта живут в деревне. Некоторые уходят, впрочем, на Терский берег, на подряд за семгой, недель на 5, на 3—4. Тогда же оставшиеся дома бьют на льдах нерьпу; но промысел этот не составляет для них особенной важности и производится почти исключительно от нечего делать, ради страсти попытать счастья и изведать приключений. Семгу ловят по взморью (в реку она не заходит), а в реке добывают сельдей и сигов, но исключительно для домашнего потребления. Редкий сеет жито (ячмень), и то понемногу. Дальше, севернее Летней, хлеб уже не родится и не делается даже никаких попыток к тому. Летняя, как и все остальные деревни и села беломорского поморья, выстроилась в нескольких верстах от моря, по той причине, чтобы и во время прилива морской воды иметь под руками годную в питье пресную воду, и для того же, чтобы укрыться за прибрежными скалами от сильных непогодей, всегда гибельных по зимам и осеням.

Так же точно, версты за две от моря, расположилось и следующее за Летней селение *Поньгама,* раскинутое на трех речонках: Поньге, Куземе и Воньге, богатой и хорошей семгой, для которой всегда строится забор. Отсюда на Мурман ходят реже; за зверями почти совсем не выходят. Деревня эта наполовину заселена корелами. В ней, между прочим, указывают на два деревянных креста, которые будто бы поставлены еще св. митрополитом Филиппом, когда он был соловецким игуменом.

От Поньгамы до следующего селения на Корельском берегу моря — Калгалакши, считают морем 50 верст, но таких, впрочем, про которые сами же поморы говорят, что «меряла их баба клюкой, да и махнула рукой: быть-де так». Нам назло, всю дорогу в воздухе стояло такое затишье, которое лишало всякой возможности наладить паруса. Привелось идти греблей, привелось до утомительного притупления зрения созерцать дальний лесистый берег, который то

поднимается горой и как будто срастается с дальним небосклоном, то полого опустится вниз, выясняя чернеющуюся ложбину: может быть, устье речонки, может быть, горло губы с соленой водой, с морской рыбой. Дальше, за лесом этим, наверное, тянется болото, корельское болото, которое захватило три-четыре дальних губернии, которое бесприветно подошло к самой Неве, усыпанное зыбунами, огромными и маленькими озерами, большими реками, речками и ручейками, то болото, на котором вся растительность — мох да водоросли, на котором все проявления жизни — крик перелетной болотной птицы, кваканье лягушек, шатанье бесприютного космополита — медведя, рысканье голодных волков и мелкого зверя, тех же лисиц, горностаев. Рыщет по мертвенным и все мертвящим местам этим заблудившийся, не попавший еще под пулю охотника дикий олень, живет кое-как приютившийся на сухих местах этого же болота, подле рыбных озер и рек, корел, привлеченный сюда богатством рыбы и зверя и обязанный к тому неимением лучшего места и неумением понимать лучшую жизнь, чем эта, на которую осудили его исторические судьбы.

Ровно четырнадцать часов нужно было нам для того, чтобы осилить греблей это пятидесятиверстное пространство между Поньгамой и Калгалакшей. Привелось испытать в это время бог весть какую тоску и какие страдания; привелось выходить на ближние луды, чтобы дать возможность уставшим гребцам расправить руки и наболевшую спину; привелось наглазно видеть всю справедливость поморской пословки: «тихо — не лихо, да гребля лиха». Вдоволь навизжались песен девки-гребцы; вдоволь успело наскучить и напротиветь все неприветное, какое-то мрачное, тоскливое однообразие прибрежных видов: спугнули мы и орла с одной луды, видели и опять медведя, сосущего ягоды на другом острове, слышали и усиленные крики утки, на которые поспешили все ее робкие выводки, при приближении нашего карбаса, спрятаться в воду и не показывались во все время, когда мы ехали подле. Привелось прислушаться ко всем переливам и тонам голоса кормщика, которым он ободрял гребцов. Чем-то бесконечно ласковым звучал этот голос в крайних случаях, когда сильно *мырила* вода на встречном сувое, в том именно месте, где встречалась убылая вода с прибылой, или когда сильно *садила* она и, словно камнями, звучно и сильно бросалась всплесками в борта карбаса.

— Приналяг, други! осчастливь, товарищи! Бери, мои богоданные, посильнее да покруче. Золотом озолочу вас и по всему свету славу пущу, что с этакими товарищами и умирать не надо! — кричал кормщик.

Гребцы, даже привскакивая на скамейка́х, дружно и сильно, хотя и медленно, выгребали карбас в то мгновение, когда он почти готов был повернуться носом назад, а может быть, и опрокинуться днищем кверху. Так же сосредоточенно-молчаливо гребли они дальше на всем пути, так же визгливо пели свои небогатые складом песни, так же принимались они за еду сырой трески и кислого молока, пока, наконец, всем нам не привелось увидеть Калгалакшу, удаленную уже

на значительное расстояние от моря, рассыпанную кучками на какой-то морской, болотистой трясине, по берегу мелкой, порожистой речонки того же имени. Калгане, толпой наполнившие всю избу, в которой мне привелось остановиться, поразили меня своим многолюдством, тем более в такое время, когда по всем деревням Поморья остается почти исключительно один только женский пол. Посещение их казалось мне праздным и праздничным. Словоохотливые посетители объясняли все это тем, что на Мурман, после недавней войны, они не успели обрядиться, но что вот подождут осени — станут тюленей стрелять на льдинах или ловить их сетями; что летом в озерах поблизости попадаются сиги, по губам морским — сельди, но что они в продажу их не пускают; что семга в мелкую речонку их не заходит; что держат они и скот, для которого по морским лудам и прибрежьям растет много и довольно сносной травы, лучшей, впрочем, только на одном Кочка́м-наволо́ке, при котором хорошее, безопасное становище, и прочее.

Предполагая еще раз встретиться с калганами на обратном пути, я спешил забраться в дальние места интересных кольских и мурманских пределов. Пешком, по болотным кочкам и грязным рытвинам, не просыхающим во все лето, привели меня версты две до того места, куда отведен был из речонки карбас. Путь на двенадцать верст шел по озерам. Перешейки — *переволоки* — между ними были прорыты канавами (версты на 3) для того, чтобы сократить дальний, почти сорокаверстный объезд морем. Гигантских трудов, терпения многих лет и силы многих сильных рук стоило выворотить огромные камни, чтобы сделать между ними проезд, глубокий, по крайней мере, настолько, чтобы можно было подняться *ездовому* карбасу, и узкий до того, что гребцы вылезли на берег и вели судно руками, ежеминутно спотыкаясь, ежеминутно торкая о каменья карбас, который, по словам их, и году не живет на этих поездках. Радостно, охотно хватались гребцы за весла, когда, наконец, кончались эти каналы и выплывало навстречу нам широкое озеро, обставленное гранитными скалами, с которых подчас опускалось картинно, над самой водой, ветвистое, густое дерево. Озеро это, своей невозмутимой гладью и зеркальной поверхностью, чем-то давно знакомым, хотя в то же время и несколько своеобычным, успокоивало на время, как будто вознаграждало за понесенные труды и терзания всех нас. Приветливо наконец глянуло и море, даль которого на все 12 верст закрыта была от нас целым архипелагом каменистых луд, о которые с громом разбивались волны, пуская дальше густую белую пену. Спопутный ветер довершил общее довольство и не больше как на 8 часов сократил нам весь путь от Калгалакши до Гридина, весь этот 25-ти верстный переволок.

Так же бедно глядит и эта деревушка, так же полна изба набралась народу, жаловавшегося на свое бездолье, как и во всех прежних селениях Поморья. Так же все единогласно причиной своего бездолья выставляли недавнее посещение неприятелей, не пускавших их в море, воровавших их скот и проч. Жаловались также на медведя, который давит скот, который здесь также верен своей привычке —

зарывать остатки глубоко в землю, про запас, до другого раза. Рассказывали также, что ловят они и лесного зверя, преимущественно лисиц, продавая по три рубля шкуру. Сельдей (известных величиной своей) ловят неводами с Успеньева дня [54] до льду, «а живет море — так и до Рождества тянут». Весной выходят на морского зверя, с теми же снарядами, с тем же риском, почти на верную смерть, как и на Зимнем, Мезенском, Канинском и других берегах Белого моря. Так же точно и гридяне, как и мезенцы, плавают за зверем туда, куда ветер потянет, и для этого запасаются печеным хлебом, калачами, крупой и рыбой на два и на три месяца.

Появление зверя в Кандалажской губе обусловливается выволочными ветрами: не будет их — юрова почти все останутся в руках мезенских поморов. Падут эти ветры — поживятся и корельские, а с ними, конечно, и терские поморы. Точно так же от случайности зависит и добыча белуг, которых иногда рано закрутившие холода *опеленуют* льдами на всю зиму и таким образом не дадут им выходу до поздней весны. Хаживали отсюда прежде и на Новую Землю. Чаще, чем теперь, обряжали покруты и на Мурман. Теперь подошли тугие времена и тяжелые невзгоды, и обеднело Гридино, как бы в подтверждение другой поморской пословицы, что «против руля вода не течет».

Семьдесят верст привелось мне ехать затем до следующего селения Корельского берега — Ке́рети. Реже попадались на всем пути этом острова, которых так много на пути, ближнем к Кеми. Эти острова, как и все острова Кандалажской губы, *глубокие,* т. е. такие, около которых, по общему сознанию, можно становиться о берег на самых больших судах.

Село Кереть едва ли не самое лучшее из всех селений Корельского берега. Сбитое в кучу и раскиданное на значительном пространстве по горе и под горой, оно пестро глядит обшитыми тесом и выкрашенными двухэтажными избами. Множество амбарушек, неразвалившихся, запертых неломаными замками, приютились к реке и пристани. Самая река Кереть, по обыкновению, так же порожистая и, стало быть, шумливая и богатая семгой, как и другие беломорские реки, глядит как-то празднично: у прибрежьев ее, ближе к устью, качается не одна, но пять лодей, и не гниющих за давностью лет и невозможностью быть употребленными в дело, но с налаженными снастями, с живыми людьми на палубе. Между этими крупными и безобразными судами видятся две шкуны, красиво срубленные по верному толковому чертежу, а не доморощенным путем, и видимо — умным хозяином, который изменил (на общий пример и благое поучение) закоренелый обычай прадедов держаться лодей и шняк допотопной конструкции и вида. Если прибавить ко всему этому казенные винные подвалы, соляной и хлебный амбары, то село Кереть можно решительно назвать посадом, по крайней мере в том смысле, как понимается посад или безуездный город дальней России.

Случай привел меня в двухэтажный, зеленый с мезонином, дом туземного богача и дал мне возможность видеть, какой роскошью

(относительно) обставляют себя эти богачи-монополисты. Несколько чистых, светлых комнат с крашеными полами глядят празднично; шпалеры, оклеивающие стены, недурного рисунка, хотя и поразительной пестроты и яркости. По внешнему виду комнат можно заключить, что хозяин — купец и придерживается старины, если принять во внимание, что все иконы с позолоченными ризами старинного письма, что под киотой на тябле стоит ручная курильница, святая вода в бутылке, псалтырь старинного издания (во Львове) и ни одной просфоры ни тут, ни в киоте. Не видать и прошлогодней вербы, не видать и первокрестного пасхального яйца. Комнатные двери — расписные, на столах клеенки; по стенам лучшего издания портреты царской фамилии; четверо часов, из которых одни с кукушкой, старинные, и другие густого звона и последнего рисунка, выписанные из Петербурга; много шкафов со стеклами, завешанными ситцевыми занавесками, набитых доверху фаянсовой и фарфоровой норвежской посудой; много зеркал, также, вероятно, вывезенных из Норвегии; старинные диваны и стулья — жесткие, с высокими спинками. Между печью и ближней стеной, за ситцевой занавеской, чистый, светлый медный рукомойник над тазом и белое как снег полотенце. Все это бросилось мне в глаза и приятно радовало подробностями, чистотой и своеобразием. Видно было, что живет здесь купец, и купец богатый. Наконец явился ко мне и сам он, с лукавой, умной усмешкой, с ласковым словом и приветом, в синей сибирке и смазных, ужасно скрипучих сапогах. На огромном полновесном серебряном подносе принесла из-за притворенной хозяйской комнаты чай с *лимоном,* сливками, архангельскими баранками, при поясных, низких поклонах, сама хозяйка в белом ситцевом с цветочками платье — безобразно толстая баба, расплывшаяся, как опара или гриб дождевик. Началось питье чая до седьмого пота. Тотчас же за чаем явилось угощение пирогами, всеми сортами соленой беломорской рыбы. Тут же — откуда ни взялись — явились и кедровые орешки, и вяземские пряники, и изюм, и еще что-то. Все это надо было есть, чтобы не обидеть отказами хозяев и чтобы, наконец, себя самого избавить от поясных поклонов и докучных просьб: того отведать, этого хоть пригубить, к этому *призорец* оказать; все это — говоря короче — напоминало мне здесь Волгу и ее хлебосольных жителей. Наконец, также по обыкновению, после обеда хозяин утопил меня в высоких, мягких пуховиках и вышел на цыпочках вниз, где на то время, как помнится, замолчал, вероятно по его же приказу, и ткацкий станок, и какое-то строганье и пиленье. Утомленному долгим путем и мучениями морских переездов отдых, естественно, кажется раем больше, чем когда-либо в других случаях жизни. Тут едва ли какой, даже самый громкий, стук и крик способен нарушить сон, всегда крепкий и приятный. На карбасе успеешь подремать час или два, много три, но либо плеск волны, либо настойчивая тяга свежего надводного воздуха, либо порывистый дух ветра обольют мурашками все тело и, разбудивши, приведут тотчас в то же состояние, в каком находится крайне бодрствующий человек.

По пробуждении моем явились кофе и чай и опять хозяин

с словоохотливыми, подробными рассказами о посещении недавнего неприятеля.

— Приходили, приходили и к нам! — говорил он.— Высадились на берег; мужичков встретили — ничего не сделали им: мы, говорят, пришли не по вас и вашего-де нам ничего не надо, бить-де и стрелять вас не станем. Заходили в церковь — ничего там не взяли. Гуляли по горам — ром свой пили: других совсем пьяных так и тащили на баркас. Спрашивали затем, что-де у вас казенного? А вот — говорят — соляной, винный да хлебный амбары. «Жги, говорят, винный!» — и огня подложили. Мужички наши в слезы: пощади-де! «Нет, говорят, поздно: горит уж!» Хотели жечь и другие амбары. Наши просили соли: вот-де рыбушка к осени пойдет — солить будет нечем, с голоду помрем. Дали четверть часа сроку — носи-де, что успеешь. Просили хлеба — хватай-де и его сколько можешь, а мы, дескать, остальное сожжем. Да упросил переводчик, толковый человек, на нашу речь такой бойкий, понятливый и словно бы знакомый, архангельский. Расспрашивали про шкуну мою, да спрятана была верстах в двадцати, в губе, и мужички — спасибо им! — не сказали где. «Ну ладно! — говорят,— теперь мы искать твою хорошую шкуну не станем: нужно-де поспешить получать на Сосновке (острове) почту, а получим ее да назад придем — смотрите! — худо будет». С тем и ушли, и опять-таки слово свое сдержали — вернулись; спустили баркас на наше селенье, да увидели, что наши керечане по горе с ружьями побежали к ним на устрету,— драла дали и — не ворочались уж, а пошли на Ковду. Там тоже высадили другого переводчика с матросами, бродили по деревне много, потчевали койдян ромом, возили на пароход — показывали. Наши-то распоясались — попросили пропустить их на Мурман за треской, мимо Сосновца. «Пожалуй, говорят, мы и дадим знать своим-то аглечким, так, видишь-де, там француз еще есть, а этот негодяй, того и гляди, всех вас перережет, не токма что все поотнимает». Тем и решили. Спрашивали опять казенного строенья — не сказали затем, что другой переводчик раньше надоумил и добрый такой человек и на русскую речь такой тоже легкий. Когда на берег вышел, сказывали, и шапочку снял, и кланялся, и дружком-приятелем назывался. Наши православные хотели было и переловить их, и перестрелять, коли господь поможет, да надумались таким делом, что белый-де царь никогда сам не начинает, а и они не напали и ничего не сожгли. Взяли только колокол и, там, что и у нас же. Промер в реке сделали — с тем и уехали. После приходили на трех баркасах, да увидели, что и там мужики с пищалями побежали, перетрусили и поплыли назад. Одно суденко у них село в суматохе-то этой на мель, так, сказывали, все они так и присели на днище, словно перед страшным судом грешники. Говорят, все были старый да малый, кто кривой, кто хромой — всякой сброд... У убогого человека какая же храбрость? Приходили они, сказывали затем, к Кандалакше, да не успели, слышь, и на берег выйти. Калгане приняли их с первого слова на пищаль: переводчика того, что в Ковде выходил, убили. Рассердился аглечкой: стал из пушек палить и выжег всю деревню,

что и Пушлахту на Онежском берегу, алибо и город Колу. Стало, с ним не заводи ссоры: они не обидчики и с тобой они что с другом своим. Вот хоть бы взять кемских молодцов. Тех взяли в плен да выпустить захотели — так «нет, вишь! (наши-то) так не сойдем, а дайте нам на дорогу хлеба, ружей, карбас: нам-де далеко, с голоду помереть можем, да пущай-де нас на жилой берег, а не на луду, а то-де мы и с судна вашего не сойдем». Так и решил аглечкой дать им хлеба (ружей не дали, однако). Нашли где-то карбас — посадили (шибко же, знать, надоели ребята). «Ступайте, говорят, дружки, ступайте ради Христа и господа, вы-де у нас только харчей много тратили, а пользы от вас большой не видали; в нашу-де землю мы других ваших отправили, а вас-де не надо нам!» Труслив же супостат-от наш был, труслив шибко; спроси не меня, спроси ты об этом у всех поморов, у которых хочешь, все тебе одно скажут. Народ на вражьих кораблях — самый негодящий был, самый такой убогий, что и выглоданного яйца не стоит — вот тебе господь бог в том порука! Мне на старости лет о спасении души, а не о лжи какой греховной думать. Слышь: кабы сметки у наших мужиков больше было — всего бы неприятеля живьем половили — ей-богу!..

Обращаюсь опять к селению. Пустынное летом, оно значительнее посещается зимой, когда из дальних погостов лопари и корелы являются сюда во множестве, чтобы почтить память св. Варлаамия, мощи которого почивают под спудом в керетской церкви. Он был, как известно, кольский священник; убил свою жену и с трупом ее поплыл из родины океаном. У Святого Носа заклял он каких-то вредных морских червей, которые протачивали суда, ходившие мимо, и остановился выше Керети, в лесу, на озере. Часто приходившие сюда ягодницы, с мирскими песнями, заставили его уйти дальше в глубь корельских болот, верст за 20; там он и умер. Тело его принесено в Кереть неизвестным человеком, и то место, где оно было погребено, означено (и доныне сохранившимся) деревянным крестом, близ алтаря. Св. Варлаамию молится здешний и дальний поморский народ о попутной погоде и об удалении всех опасностей морского пути.

Новых и столько же мучительных семьдесят верст легло между Керетью и Ковдою. Первые версты как будто и порадовали: места начались довольно красивые. Едешь словно озером, тихим и чистым. Кругом всю губу обступили высокие горы, с густым хвойным лесом, с зеленой травой. Все это картинно опрокинулось в воде, и все это представляло тот превосходный вид, который так любят все богачи целого света, имеющие загородные сады и замки. Одна скала, из целого десятка других соседних, отвесно, словно стена, смотрит в море — реденьким, как бы нарочно вырубленным лесом, осеняющим ее макушку. Невозмутимая тишина дополняла обаяние и уносила куда-то далеко, заставляя забыть всю скудость виденных уже прибрежьев. Забылись бы и они, может быть, так же легко, как легко натомили душу при постоянном, продолжительном преследовании на всем пути, если бы в то же время карбас наш опять не выплыл

в открытое море. А здесь — те же отчаянные виды, которые на этот раз показались еще беднее и однообразнее: море по-прежнему ширилось, по-прежнему выглядывал, далеко вдавшийся в него, дальний наволок, может быть, с промысловой избушкой на краю, может быть, без нее. По-прежнему выплывали и уходили назад луды. На одной, может быть, также поселился, ради морошки и вороницы, медведь, который из лесной гущи также, вероятно, подчас выходит поглазеть на воду и при виде карбаса и людей также лезет в гору, в лесины. Услышавши крик, поползет он в гору шибче и, обшибая лапами спопутные, мешающие бегству его сучья, пустит стон и треск, которые звонко отдадутся эхом по гладкой поверхности моря. Также, может быть, и этот медведь переплывает через салму на берег, где давит коров и оленей, как заклятый, исконный их враг, как ненасытная от века лакомка. В половине пути попалась на одной из луд, на южной стороне, почтовая избенка — станционный дом, или, лучше, баня, где кое-как, словно летучие мыши, гнездятся бабы-ямщики и староста-кормщик. К избушке идет пристанишка, дощатая, с погнившими приступками. Говорят, и людей этих медведь не прочь обидеть. Говорят, что попавшийся медленно идущий и опереженный нами карбас была почта, шедшая в Колу, что человек, растянувшийся на дне судна, был почтальон. Говорят, что почта от Архангельска до Колы ходит летом месяц целый в один конец и три-четыре месяца весной и осенью во время распутиц. Говорят, что нам осталось еще до Ковды тридцать верст и что если завязывавшийся попутник сумеет надуть паруса, то мы часа через четыре поспеем на место; в противном-де случае проедем еще часов десять. Толковали и еще многое в этом роде, но я уже не слыхал ничего больше: тихая погода, при полном солнечном свете и теплом южном ветре, склонила ко сну. Долго ли спал — не помню, но просыпаюсь в то время, когда солнце уже закатилось. Наступил мрак, столько же и ночной, сколько и происходивший оттого, что все небо задернуто было черной тучей. Паруса были обронены, шли греблей; по морю ходил взводень, бросавший в наш карбас крупные, сильные волны. Всегда неугомонный и сильный полунощник (NO) заметно усиливался. Страшно было в этом полумраке, среди открытого моря, правый берег которого совсем пропал от наших глаз вдалеке. Навстречу выплывала и стояла, словно тень в туманной картине, встречная луда, вся затянутая туманом. Многих трудов и усилий стоило гребцам, чтобы подтянуть к ней карбас и увидеть перед собой высокий, лесистый остров и за ним маленькую губу, по которой ходили мелкие волны, слегка рябившие поверхность воды. Губа эта оказалась удобным становищем для нас, тем более что и гребцы устали, и ветер крепчал ежеминутно с новой силой, лишая всякой возможности плыть дальше.

— Кажись, и о трех бы я головах был — не повез бы тебя, ваше благородье, дальше! — говорил кормщик.

— Пылко стало в море, несосветимо пылко! Хорошо еще, что благополучно вынес нас господь да Варлаамий Керетский,— поддакивали гребцы-девки.

— Здесь нам переждать придется, пока уляжется погодушка эта: без того нельзя; за тебя ведь мне перед начальством отвечать придется; на то я и кормщик, а ты — казенный человек!

На доводы эти я поневоле должен был согласиться и полез вслед за гребцами по щельям и крупным, подчас скользким, подчас словно обточенным, гранитным камням, представлявшим на целые десятки сажен решительное подобие петербургской дворцовой площади. Над нашими головами висел сосновый лес, густой и пустынный. Перед глазами нашими вздувалось и отшибало крутыми волнами, словно море, взбороненное поле.

— Гляди же, пыль какая, словно береста вода-то: горит, да и все тут! — не упустил и на этот раз заметить кормщик, не отстававший от меня во все время, когда я поднимался на гору.

— Мы, ваше благородье, соснем пойдем, а тем часом погодушка-то, может, сдаст и пустит. Право, так! — продолжал он вкрадчиво-льстивым голосом.

— Ну, вот и благодарствуем,— вот с этаким-то начальством мы не прочь хоть все лето ездить: это по-христиански,— заключил он же, сменив просительный тон голоса на повелительный, когда получил мое согласие, и, махнув рукой и головой взбиравшимся на крутизну гребцам, весело полез влево.

Я потащился за ним. Шли долго. Лес редел, открылась площадка и опять море. На площадке избушка разволочная, по-видимому недавно выстроенная, но уже недоступно грязная, как и все другие. Разволочная она потому, что предварительно срублена она на берегу. Сюда перевезена на карбасах в локченых, меченных зарубками, срубах и поставлена наскоро, так что имеет значение лишь временного пристанища рабочих. Прочную и поместительную избу зовут особенно — «становою»: она способна для зимовок, а поставленные по разным местам и зависящие от этой главной и будут разволочные, т. е. разъемные или разборные, избы — филиальными отделениями.

В этой керетской разваловной тоже битые стекла, блестящие радужными отливами, тоже одно заткнуто тряпкой и та же груда камней с углублением в середине, заменяющая печь; нары, солоница с солью, бурак (по-здешнему туес) с соленой треской, рыболовная сеть не рваная, ведерко с водой, иззубренный топоришко,— одним словом, все то, что, по исконному обычаю, любят оставлять в своих избах промышленники на случай посещения ее спасшимися от бури и незапасливыми путниками. От нечего делать, и тем более что сон бежал от глаз, я пошел бродить по острову, между деревьями которого (против всякого ожидания) нашел кусты малины, чернику, бруснику, тоже несметное множество морошки. На этот раз еще ни то, ни другое не поспело. Между деревьями, подчас высокими, подчас значительно толстыми, попадались: ель, сосна, береза коренговатая, сучковатая, приземистая,— одним словом, та, которая в столярных поделках известна под именем корельской. Далеко в середине лесной чащи и, может быть, самого острова нашел я площадку, которая, видимо, нарочно была очищена для какой-либо цели: гнилые бревна, полузарытые ямы говорили, что здесь было когда-то жилье, но чье?

Остров оказался *Великим,* на котором, как сказывали мне впоследствии, жили старушонки-раскольницы, скитом, еще недавно прогнанные отсюда земской полицией. Точно такая же пустынь, *Ивановка,* лежит в десяти верстах от Керети, на пути к Гридину, и третья — Мягрига близ Кеми. Но о них в своем месте.

Семен Денисов (один из первых проповедников раскола в северном краю, начитанный, обладавший удивительной стойкостью характера и неутомимостью) в своем сочинении «О запоре и о взятии Соловецкого монастыря» об острове Великом говорит, между прочим, следующее: «Серапион дьякон и Логин слуга многа лета безмолвным житием во отоце морстем господеви работавше. Сии бяху житилие киновии Соловетстей и, во время гонительного смятения отлучившеся обители, приехавши на остров, глаголемый *Великий,* иже близ Ковденския волости, и ту пребыша блаженнии время не мало, ангельским живуще житием, яко тридесять лет господеви работавше, ни единаго же человека видевше и еже узнавше чуднейши, яко зверобийцем и звероловцем и прочим человеком на остров той, потреб ради, присно приезжающим. Блаженнии же боготрудницы ниже ведоми, ниже познавшеся ким бываху. В толикая убо лета откуда пищу, откуда одежду телеси, от киих житниц, от киих сокровищ приобретаху: от человек сие утаися, яко выше естества и постижения. Егда благоволи бог в последния роды мужи совершенны явити, рыболовцы волости оныя, ловящие во острове, изшедше в пустыню, обретоша келии и в келии обретоша живуща великого отца Павла, прочим же ко господу отшедшим. С ним же беседовавше довольно вся о нем и спостника его уведавше и пищи у него вкусивше и благословение приемше — отъидоша и приехавше в волость возвестиша боголюбцем, иже еликим желанием рачения толико тщанием потрудишася. Потребным ладиицу наполнивше, на острове приехавше и много время искавше хождаху, но ничто же обретоша, ниже келию, ниже самого отца и не токмо тогда, но и послежде многожды ходяще, ищуще. По лете же едином видеша неции от жителей на острове оном столп огнем от земли и до небеси сияющ и разумоша, яко пустынный отец ко господу отыде, по видении столпа онаго преставление прознаменовавшу».

Сквозь хитросплетенные слова этого сказания можно видеть причину появления на этом острове впоследствии особенного скита отшельниц, после которых на моих глазах виделись только скудные, ничтожные остатки, которые, может быть, уже и смыло теперь дождем, так же точно, как, говорят, не осталось уже и следа огромного скита на огромном Топозере (в глуши корельских болот). Скит этот, по числу старообрядцев и по огромному количеству приношений, присланных из Москвы, с Урала и из других мест, грозил превратиться в огромный и богатый монастырь, который, как говорили, мог бы сделаться даже соперником Соловецкого. Скит этот уничтожен в конце 40-х годов настоящего столетия (о нем дальше в статье «Разоренная обитель»).

Между тем далеко уже на утре, когда провожатые выспались и я сам досыта нагулялся по острову, ветер начал спадать, взводень

как будто оседался и не пугал уже своими прежними страшными волнами. Мы, не желая терять времени, поспешили направиться к Ковде, до которой оставалось не больше десяти верст. Хотя волны качали нас, как в люльке, и часто обсыпали брызгами, хотя самые весла гребцов часто срывались с волны и не успевали захватывать ее круче и глубже, мы, однако, успели-таки наконец дождаться и той поры, когда смолкнул ветер и взводень постепенно укладывался и улегся уже, вероятно, весь, когда мы повернули в устье реки Ковды. Здесь до восьми маленьких карбасов качались в волнах, держась против течения на гребле.

— Что это такое?

— Да, вишь, погода какая повадная стояла...

— Ну так что же из этого?

— Так тресочку мелкую ловят на уду.

— На носу-то сидит удельщица, бросает уду, уда без поплавка,— на крючке наживка насажена из сельдей. К лесе (веревочке) свинцовый, алибо железный кряжик привязан. Схватит треска наживку: леса зашершит о борт — рыба твоя, тащи в карбас, снимай с крючка. Этак-то только здесь. На Мурмане это дело большим обрядом идет.

Я обернулся назад; прямо в дали моря оттенялись синие, высокие горы в северную сторону от нашего карбаса.

— Это Киберинские вараки, и все, что дальше черной полосой пойдет — Терский берег. До него считаем верст тридцать Кандалухой да островами верст восемь.

На одной из этих варак светлеет на солнце что-то, как будто белая церковь, монастырь.

— А это что такое, белое?

— Снег. Там он во все лето не тает. Горы эти — самые высокие; выше их есть, слышь, только на Канине. Снег у нас вечный.

А между тем середина июля, и такой день, когда тепла градусов 16, солнце светит во всей его силе и небо необыкновенно чисто: светлое такое, бирюзовое!

Огибаем колено реки: село выглядывает одним краем изб. Река, по обыкновению всех поморских рек, шумит порогами, которые расшатала недавняя непогодь и не угомонило еще наступившее затишье. Шумит она сильнее и едва ли не порожистее всех виденных мною рек.

— Если бы была теперь куйпога (последний час отлива) — нам бы и не выстать, быстрина что с горы, что водопад в Кандалакше,— объясняет кормщик.

И потом опять:

— Весной река шумит так, что уши глохнут; с привычки даже — и то крепко надоедно. Верь богу!

По берегам реки более, чем в другом месте, видно карбасов и обмеленных лодей и шняк, а еще того более развешено по берегу рыболовных снастей...

— Отчего?

— В эти губы много сельдей заходит. Вон теперь сено косят — страда идет, после Покрова [55] нерьпу бьют: серки в пуд попадаются.

Со Спасова дня [56] до Покрова только и дела, что сельдь упромышляют. Вон посмотри — ужо пойдешь по деревне — что увидишь?

Увидел я почти у каждого дома и чуть не целые поленницы небольших бочонков, плохо сплоченных из весьма тоненьких досок продолговатой формы. Это — сельдянки, которые известны едва ли не всей России. Здесь, говорят, почти исключительное место их приготовления, и здешние сельдянки все-таки плотнее и дольше живут, чем, например, сороцкие, гридинские и другие. Всякий домохозяин приготовляет эти бочонки. Приготовляет их и мой хозяин, квартира которого, как живая, теперь перед моими глазами, с ее шахматным крашеным полом, с голубком, сделанным из лучинок на Мурмане и привешенным к потолку, со множеством картин, содержание которых большей частью составляют эпизоды недавней войны и большая часть которых развешана даже в сенях. Помнится между ними вид города Ярославля, рисованный 1731 года и напечатанный иждивением тамошних обитателей, и изображение «птицы дивной, которой еще никто не видал». «Она — как гласит подпись внизу — влетела в Париж к градоначальнику и представлена к королю; на голове корона, нос корпусом индийского петуха, голос павлиный, выговор турецкий, пение ее весьма приятно и всех пленяет по примеру инструмента; ест мясо и всякую снедь, что человек употребляет. На спине имела гробницу и в оной три человеческие кости: когда запевает, то всех к сражению приуготовляет. Думают так, что послана по божию повелению». И эти картины завезены сюда всюду шатающимися вязниковцами, офенями-ходебщиками. Так же точно, как и в Керети, и здесь встречают меня те же угощения густым, как пиво, дешевым кантонским чаем, с теми же глубокими поклонами и ласковым приветом. Помнится, подали к чаю сливок; помнится, каким-то неприятно-соленым вкусом отдавали эти сливки, потом и молоко и у моего хозяина, так же как у священника и сельского головы — корела. На спрос мой о причине подобного явления отвечали все положительно, в один голос, что, по незначительному количеству наскабливаемого горбушами сена между гранитными камнями луд и прибрежьев, они принуждены приучить скот к рыбе. Для этой цели они обыкновенно берут рыбьи головы, которые летом сушат на солнце, разбрасывая их по крышам домов своих. Вяленные таким путем головки эти и кое-как разбитые в порошок не только койдянами, но и всеми поморами Корельского и Терского берегов зимой, перед пойлом скота, парятся в горшках. Образовавшейся от того гущей обливают скудные клочки сена, нацарапанного летом по сюземкам и островам. Приученный скот ест, говорят, эту дрянь охотно, хотя по зимам и дает молоко, отдающее запахом сельдей, едва выносимым даже для привычных людей. Летом свежая трава дает еще некоторую возможность пользоваться молоком лучшего вида и вкуса, хотя в то же время и соленым. Обилие приходящих сельдей облегчает способ.

Так же много приходит этих сельдей и в губу Княжую, на берегу которой раскинута последняя деревушка Корельского берега — Княжая. Много попадется их в селе Кандалакше, расположенном при вершине Кандалажского залива (Кандалухи — по туземному

выговору). Кандалакша, как известно, выжжена англичанами. К северу от нее, по направлению к озеру Имандре, идет пешеходный тракт на Колу, мимо лопарских веж и погостов. К юго-востоку потянулся от Кандалакши, к селению Порьегубе, высокий Терский берег, который из деревни Княжой виден уже значительно яснее и со многими подробностями: высокими вараками, обсыпанными на южных отклонах мелким лесом, мрачно чернеющими щельями и опять-таки сверкающим на вершинах вечно не тающим снегом.

Деревня Княжая или Княжегубская выстроилась также при устье речонки, берега которой в некоторых местах покрыты лугами и болотами, а по горным склонам — сосновым, березовым и еловым лесом. Жители ее заметно беднее обитателей Керети и Ковды; редко ходят за треской на Мурман, ограничиваясь ловлей сельдей в своей губе и незначительного количества мелкой трески для домашнего потребления, и даже не имеют собственных лодей. Впрочем, богатство жителей могло бы быть и значительнее, как в Княжой, так и во всех других селениях беломорского прибрежья, если бы все промыслы не находились в руках богачей-монополистов, с которыми судьба знакомила меня почему-то прежде всех остальных жителей селений. Работая из-за хлеба на квас и не столько для себя, сколько на своего патрона-хозяина, поморский работник ограничивается только насущным, хотя и не печалится и не плачется вслух на свое бездолье. Он даже примирился с своей участью до подобострастия, до глубочайшего, беспрекословного повиновения к лицу покровительствующему, дающему ему тяжелые, невыгодные работы. Сколько можно заметить при первом же легком и даже поверхностном взгляде, и здесь, как и везде на свете, по непреложному закону людской натуры, богачам-монополистам от бедняков-страдальцев почет и первый низкий поклон. Мне случалось, останавливаясь у местного богача, призывать из властей сельских кого-нибудь для спросов о том, например, нет ли в правлении старинных (по-ихнему — *досельных*) бумаг, или для поручения снарядить гребцов и обрядить карбас для дальнейшего пути. Приходившая власть кланялась богачу и спрашивала не меня, а богача: «Что угодно?» — хотя хорошо знала, что требование шло от меня, от приезжего человека в очках.

Я предлагал вопрос или высказывал свое желание.

Собираясь отвечать прямо, пришедшая сельская власть смотрела, после моего вопроса, пристально на богача, смотрела тем раболепно-покорным и робким взглядом, который как будто спрашивал:

— Что повелишь отвечать?

Ответы на мои вопросы составлялись уже потом обоюдными силами, после многих переминаний и заиканий. Богач приказывал делать по-моему, исполнить мое желание, вероятно в то же время заставляя себя, и непременно против собственной воли, уважать мою особу, по крайней мере на это время. Получивший приказ богача бежал затем, обыкновенно, сломя голову и немедленно приводил в исполнение, как умел, все, что мне хотелось получить и без таких докучных, досадных приготовлений, оговорок и замедлений.

Крайнее селение Кандалажской губы — самое северное село на берегу Белого моря — Кандалакша имело до прихода англо-французской эскадры две деревянных церкви, из которых одна стояла на возвышенном западном плече реки Нивы, другая, бывший Коков монастырь,— на восточной ее стороне, при устье, до 60 домов и до 140 жителей. Англичане превратили село это в груду пепла. Конечно, теперь оно уже выстроилось вновь и по-прежнему, тем более что русский человек плохой космополит и трудно расстается с родным пепелищем, и потому еще, что в реку Ниву, богатую большими порогами, из которых один даже глядит решительным и притом чрезвычайно картинным водопадом,— в реку Ниву любит заходить семга. Для нее прежде и существовал забор, один из самых больших в Беломорье, который, по всему вероятию, построен и на нынешнее лето.

Спешим обратиться снова к Корельскому берегу, или лучше — к тому инородческому племени, которое дало свое имя этому бесприветному, скучному, длинному и бедному берегу Белого моря.

Еще в деревне Поньгаме можно встретить в говоре некоторых мужиков ломаные русские слова, произносимые с оригинальными, неправильными ударениями, вроде цыганского, и с перестановкой букв: «отнако», «у городи», «Кристос», «свой лошадь» и проч. Моя болтливая хозяйка в этой деревушке, обзаведшаяся собственным домом, созналась (почему-то, впрочем, неохотно), что она корелка, жила на Топозере, в скитах, где родила сына на мху (когда мох *вздымала* — щипала), что она этого сына учила грамоте, что учитель нанялся к ней с тем, чтобы она за науку кормила бы его в течение всех лет ученья, и что за это выучил он ее сына старопечатной псалтыри и часовнику. Прицокивая уже по-поморски, она в то же время в следующем рассказе так же бестолково коверкала на свой корельский лад все русские слова. Она говорила бойко и речисто о том, что она умеет руду (кровь) заговаривать божественными и мирскими заговорами, но что не употребляет божественных оттого, что это грех и что эти заговоры пускают только староверы федосеевского, а не даниловского толка [57], и проч. Другой кореляк, попавшийся мне где-то между гребцами и поразивший сосредоточенной молчаливостью, белыми волосами, поразительным сходством с петербургскими чухонцами, и про которого другой гребец, русский, выразился так, что-де «у него наша речь круто не живет», с трудом и отрывочными фразами мог объяснить, что он родом с Елет-озера, что промышляют они там рыбу и тем питаются, но что про Топозеро и Пявозеро он ничего не слыхал. В Керети помнится мне еще пять корелов с рыжими, почти красными, бородами. Эти корелы, обвязавши голову, шею и часть лица тряпицей от комаров, несли грузные мешки (пудов до шести) с хлебом, выданным им из запасных казенных хлебных магазинов. Сильно изогнувшись под тяжестью ноши, корелы эти, уполномоченные от целого своего селения, сносили эти мешки из села Керети верст за 15 к лодке, которая дожидалась их на дальнем озере. Свалившие мешки, они немедленно являлись за новыми и поразили своей безустанностью.

— Когда же вы отдыхаете? — спросил я одного из них. К счастью, он знал по-русски; семеро других не говорили ни слова.

— А вот идем назад без груза: на ходьбе и отдыхаем! — наивно отвечал умевший говорить по-русски.

— Нужный народ, самый бедный: одолела их бедность пуще всех; подошли хуже нашего! — добавил за него проходивший мимо керечанин, слышавший вопрос.

— Вот, — продолжал он, — хлеб они этот не станут есть по-нашему, потому им невыгодно: не хватит, с голоду помрешь. На это у них свой закон, на это они свой хлеб выдумали. На это у них, вместо наших пирогов да сгибней, *решка* есть. Слушай, что они делают: весной с молоденькой сосны обдирают они кожурину, под кожуриной обрезывают заболонь — мягкая она такая, жирная на этот раз. Заболонь они эту на солнышке сушат, затем в печи. Затем ее в иготи [58] толкут, алибо между жерновами растирают, и выходит из нее словно бы мука — пыль такая. Этой пыли берут они три части да одну часть муки оржаной, мешают вместе — тесто делают, из теста лепешки крутят. Вот и реска или решка, горькая-прегорькая, рассыпчатая, что песок: городской собаке дай — рыло отворотит. С голоду, кажись, брюхо лопни: есть не станешь ее. Мы и не едим. Сеют они там у себя, в земле своей, ячмень и рожь — когда-когда да больно плохо родится (у нас так вон и совсем, вишь, нет этого заведения). Беднота народ, а плут, потому от них все колдовство идет, всякую они тяготу с Корелы своей на наше Поморье пущают. Вот зачем они плохой народ и зачем над ним трясутся все эти напасти. Спроси не меня!

Действительно, поверье о напуске скорбей с *Корелы* во всем Поморье общеизвестно и имеет даже давнишнее историческое значение. Давно уже, и по русским летописям, чудское племя, к которому бесспорно принадлежат и корелы, славилось волхвами, колдунами и чародеями, которые сжигаемы были и в Новгороде, призываемы были и к умиравшему Грозному царю, и живали при дворе царя Бориса [59]. Даже и в настоящее время корелы наивно, простосердечно, с полным убеждением и верой в истину передачи, завещают при смерти ведомые им наговоры, заговоры и чарованья доверенным лицам, большей частью, конечно, родным своим. С другой стороны, существованию в настоящее время подобного странного поверья много способствует вера и самих поморов, которые все свои болезни морские приписывают исключительно порче не столько злого духа, сколько злобе какого-нибудь лихого человека из Корелы. *С ветру* (говоря выражением поморов) приключается им и колотье во всем теле, особенно в суставах, известное у них под именем *стрелья* и *стрел*. Тому же напуску *с ветру* приписывают они и все разнородные проявления скорбута [60] и другие болезни и простосердечно уверены, что только корел, сделавший это или просто из личного удовольствия, от нечего делать, или даже из мести, может выгнать эту болезнь при посредстве заклинаний на ветры и на четыре стороны, в виде ли сажи, песку, мелко изрезанных волос, щетины морского зверя и проч., смотря по произволу колдуна. Также точно охотно зовет помор колдуна-корела (или, лучше, самого плутоватого из этого вообще

неразвитого, но доброго племени) на свадьбу для отпуска, на погребенье покойника, скоропостижно умершего или иногда и просто погибшего на промысле. Корелы, в том случае, по грустному факту в жизни русского человека, заменяют для поморов ту роль, которую поддерживают еще до сих пор плуты-цыгане в дальних от Архангельской губерниях России.

Вот все недоброе корельского племени, или, лучше, небольшого числа их (только одних *избранных, умелых*). Остальные кореляки, особенно дальние, живущие в глуши болот, дальше от морского берега, по общему мнению поморов, отличаются замечательным простосердечием, гостеприимством и хлебосольством. Воображение поморов, напуганное далью и безвестностью корельских болот, или, лучше всего, злые языки — придумали поверье такого рода, что будто бы для кореляков ничего нет проще и обыкновеннее выражения: «положить в озеро», несмотря на то, что выражение это отзывается самым нечеловечным, варварским смыслом. Выражение «положить в озеро», по смыслу своему, равносильно для кореляка с самым исполнением, которое состоит в том, что всякий корел должен зарезать и бросить в озеро каждого помора, доверившего свою жизнь гостеприимству и знакомству этого ближнего своего соседа. Что было первой побудительной причиной к сочинению такой нелепости — решить не беремся, зная из положительных фактов и наблюдений, что торгующие поморы живыми и необворованными возвращались из дальних корельских деревень, что кореляки, выселившиеся на берега моря в русские деревни и немедленно (года в три) обрусевшие, являются такими же честными, трудолюбивыми, предприимчивыми работниками, какими являются на глаза всякого наблюдателя те же поморы; хозяева покрутов, у которых почасту живут кореляки по найму, не нахвалятся их трудолюбием, беспрекословным, почти бессловесным повиновением всем, издавна заведенным, обычаям и порядкам в морском деле.

Редки, правда, переселения корелов в русские приморские деревни, не особенно часты также и наймы их в покруты на Мурман или за морским зверем. Корелы большей частью любят жить в своих деревнях и этой жизнью домашней сумели обусловить для поморов необходимость в их работах, особенно в приготовлении ружей, пищалей, винтовок. Это — давнишнее, привилегированное, можно сказать, занятие корелов: все винтовки, которыми бьют поморы крупного морского зверя, все пищали, из которых стреляют они мелкого морского зверя, все ружья, которыми добывают они же лесного зверя и птицу, выходят из корельских кузниц и отсюда расходятся по всей Архангельской губернии, в самые отдаленные места ее, каковы, например, Мезенский и Печорский края. Столько же и прадедовский вековой обычай, сколько и богатство корельских болот железными рудами и другими металлами* указали корелам на это ремесло как на выгод-

* Около села Надвоицы добывалось когда-то золото, выламывалась также слюда, которая и была в свое время употребляема для военных судов, строившихся в Архангельске.

ный способ добывания средств к существованию. Не имея правильно организованных заводов, кореляки на домашних кузницах обрабатывают добытую руду и тут же приготовляют и пищали, и винтовки, и ножи, и горбуши (род серпа, заменяющего в здешних местах косы), и топоры — одним словом, все железные вещи, необходимые для домашнего обихода поморов. Естественно, что все это выходит из рук корелов грубой, доморощенной работы: винтовки, например, непременно требуют от покупщика домашней выправки, очистки. Они выверяются уже самими поморами дома и притом требуют приноровки при прицелах: иное берет влево, редкое прямо и большая часть отдает иногда шибко в грудь, валит с ног. Со всеми этими неизбежными неудобствами, в свою очередь, умели мастерски примириться поморы и, по свойству русской натуры и по давнему навыку в деле, все-таки и из корельских ружей бьют лисицу и белку в мордочку; от пули их улетает редкая птица. Поморские стрелки и с корельскими ружьями — едва ли не лучшие в целой России. Испортится винтовка, дробовка, сделаются они окончательно негодными к употреблению, начнут бить вроссыпь, поморы не задумаются поехать за новыми снарядами, и опять-таки к тем же корелам, в деревни Масельгу и Юшкозеро, где живут, по крайнему убеждению покупщиков-охотников, лучшие ружейные мастера.

Большое и едва ли не главное подспорье для поморского народа доставляет корельское племя в другом промысле своем, тоже давнишнем, унаследованном от финнов, — именно в умении прочно и красиво строить морские суда: лодьи, раньшины, боты — и понимать чертежи быстро и безошибочно. В этом отношении замечательна деревня Подужемье, расположенная в 15 верстах от города Кеми, вверх по реке.

Об этом предполагаю говорить подробно в другом месте. Теперь же, для того чтобы покончить с корелами, которые, во всяком случае, не такой народ, который пользуется от моря и живет для моря, спешу прибавить еще то немаловажное обстоятельство, что между кореляками (так же, как между другим инородческим племенем губернии — зырянами) начала развиваться в последнее время страсть к коммерции в разных ее видах, но пока еще в незначительном объеме. Ижемцы ведут уже огромную торговлю пушными товарами и замшей, кореляки все еще ходят с коробками, набитыми всякого рода мелочью, по лопарским вежам и гейматам Финляндии, ограничиваясь незначительным сбытом и незначительным барышом, на который по-прежнему они закупают новый товар на Шунгской ярмарке (в Повенецком уезде Олонецкой губернии). После нее они опять носятся с московским товаром, бог весть как далеко от своей деревни, бог весть в какую погоду и при каких лишениях.

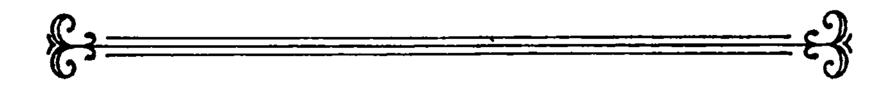
Все это, взятое вместе, дает некоторый повод заключить, что корельское племя ждет лучшая судьба, чем та, которую несет уже самоедское племя. К тому же корелы скоро и легко выучиваются по-русски, удобно, ненасилованно свыкаются с русскими обычаями, любят даже русскую песню. Самое же главное: они любят жить оседло, не в лопарских вежах или самоедских чумах, а в просторных,

теплых и, по возможности, чистых избах. К тому же почти все корелы давно уже христиане.

В заключение несколько слов о золоте нашей полярной страны — именно о Воицком руднике. Открыл его крестьянин Надвиицкой волости в 1737 году на самом истоке Выга-реки из Выг-озера, и как всегда у нас бывает, имени его предание не сохранило. Он открыл, указал, и начали через пять лет (1742 г.) разработку. Три года добывалась только медная руда, но в исходе 1744 года между медной случайно зажелтело и золото и начало заманивать рабочих и вызвало усиленный труд. По 1770 год добыли из 271 тыс. пудов руды 1 пуд 21 фунтов 71 $^{1}/_{2}$ золотника, израсходовав денег около 511 тыс.,— встал казне золотник золота в 8 руб. 59 $^{3}/_{4}$ коп. В этом и следующем году работ не производилось, в следующие два года из 17 $^{1}/_{2}$ тыс. руды, несмотря на ее меньшее количество, золота добыли больше (2 пуда 39 фунтов 48 золотников), и, конечно, оно обошлось казне дешевле (по 3 руб. 49 $^{3}/_{8}$ коп. золотник). С 1784 по 1791 год никакой работы не производилось. Горный офицер Толстой скучал от безделья и томился голодом; от безделья, чтобы убить время, собирал он между горами выделанных кусочки руд, набрал их много, начал плавить и добыл больше фунта чистейшего золота. Стал он уже и задаваться веселыми мечтами о наградах и будущем счастье. «Оставалось ему одна трудность (пишет в своем описании Севера П. И. Челищев в 1791 году): сыскать лестницу, по которой бы влезть до монаршего престола. На этот конец показался ему «манежный» олонецкий генерал-губернатор Тутолмин весьма способным, и для того отправил к нему свое найденное золото и просьбу о награждении его труда. Г. Тутолмин, яко ревностный сын отечества, золото взял, а просьбу сжег в камине. Он, при первой своей поездке в Петербург, не забыл взять изящный тот металл с собой и, представя ко двору, умел так расхвастаться своими подвигами и расхвалить свое рачение, что схватил Владимира первой степени и отменное благоволение. Бедный же виновник богатого сего открытия обязан стал быть безотлучным в той пустыне».

Уже и в то время «не одна земляная, но и влажная стихия сильными своими препонами защищают сокровища, хранимые в их недрах»: штуф, введенный на 80 сажен глубины, залился водой; ручные насосы и конные машины работали бесплодно, лишь в утомление рабочих людей и лошадей. Выписан был из Англии механик (Шерен), приладивший по новоизобретенному плану «чугунную огненную воздушную машину», но и возлагавшиеся на нее надежды не оправдались. Тогда уже подозревали, что наклон рудной жилы принял направление под самую реку Выг, многоводную, неистощимую и свирепую. Вскоре рудники были оставлены, как все теперь уверяют, за недостатком рук, отдаленностью края, а главное, как думают, по недостатку капиталов. Тем не менее, можно сказать, на днях лишь мы вычитали в газетах о новой находке в тех же местах драгоценных металлов, но на этот раз уже каким-то иностранцем. Теперь около того места лишь деревянная церковь Соловецких чудотворцев, да старинная дорога к их многоцелебным мощам, да

по-прежнему неумолкаемо шумят и гремят с незапамятных времен шеванские пороги, или, как называют там, падуны. Сказывают тамошние жители, что за этими тремя опасными порогами не бывало проезда к Белому морю на деревню Сороку. Первым через них проехал из Москвы в Соловецкий монастырь на игуменское место св. Филипп митрополит и поставил на берегу каменистого (окружности версты на две) острова Шеван деревянный крест. Последний давно уже подгнил, свалился и исчез. Встал на месте его уже не один новый крест, который тоже в свое время обветрился и зачернел, а верующий народ все еще продолжает считать и новый крест за тот самый, который вытесал и поставил на месте своими честными руками святой мученик, митрополит всея Руси Филипп (Колычев).



VII

КОЛА

Путь в этот город от села Кандалакши.— История города.— Ссыльное место и недобрая слава.— Двукратное бомбардирование его англичанами. Подробности последнего дела англичан в прошлую кампанию.— Кольский Воскресенский собор и предание об его строителе.— Рассказы колян о их жизни и занятиях.— Оригинальное стихотворение.— Рассказы о лопарях с точки зрения на этот народ соседних русских.

Кола, уездный город Архангельской губернии, имеет 811 душ мужского пола. 1053 ж. п.; домов каменных 1, деревянных 312; ярмарки не бывает; при училище учащих 2, учащихся 39 человек.

(*Описание Архангельской губ. Пушкарева* [61])

Две тысячи сто тридцать семь верст отделили Колу от Петербурга; тысяча сто верст легли между Петербургом и Архангельском. Так говорят почтовые карты и календари, и так же добросовестно, честно тысячу раз торчат до Архангельска на каждой версте пестрые казенные верстовые столбы, так же на каждых двадцати пяти верстах предлагаются к услугам каждого странника (по казенной ли он, по частной ли надобности едет) утлые, наскоро шитые станционные домики с жалобной книгой, с смотрителем из почтальонов, с ямщиками, оказавшимися в крестьянском быту ни к чему не способными. Тянутся по сторонам березовые аллеи там, где дорога бежит по пахотным полям, и пропадают эти аллеи везде, где сама природа потрудилась обильно расставить их в лесной куще. Выбежит на усладу и утешение скучающего путника и разбросается перед его утомленными, наболевшими однообразием видов глазами какая-нибудь серенькая, гниющая, выкрытая соломой и закоптевшая деревенька или бедный уездный городок с людным, крикливым базаром, с тихой, безмятежной, созерцательной семейной жизнью. Говорливый или безгранично молчаливый ямщик споет длинную, тоскливую или *развалистую* песню, расскажет веселую сказку и повезет пошибче обыкновенного, когда обеспечится возможностью получить лишнюю семитку на водку. Одним словом, и на этом пути точно то же, что и везде, на всех других дорогах Великой России. Разница не-

большая: меньше разнообразия видов, больше лесов и болот, меньше селений, больше пустырей — да и только. Промелькнут бесприветно шесть уездных городков: ближний Шлиссельбург, со шлюзами, крепостью; какая-то желтая и потому скучная Новая Ладога, с каналом петровского прорытия; тоскливое Лодейное Поле; значительно каменная, богатая купеческими капиталами Вытегра; заставленный множеством церквей большой Каргополь, пустивший по себе славу своими рыжиками, груздями и прочей соленой снедью и известный скорняжным промыслом. Наконец, дальше, Холмогоры, со сгнившими, развалившимися домами, с крупными, рослыми коровами — один из древних городов России, один из самых скучных и бедных между ними, родина гениального рыбака [62]. И вот (в награду за недельное мучение) Архангельск, бесконечно длинный, чистенький, немецкий, с треской и шанежками, с обрусевшими немцами и онемечившимися русскими, со всем своеобычным характером и обстановкой,— город портовый и торговый.

Почти тысяча же верст остается отсюда до Колы — говорит календарь,— и вдесятеро больше нужно времени для того, чтобы настойчиво, храбро одолеть это пространство. Во сто крат требуется больше терпения, чтобы перенести все трудности и сопряженные с ними невзгоды пути — говорит личный опыт теперь, когда так весело наслаждаться плодами одержанной победы.

Слишком двести верст бесплодной тундры, местами покрытой мохом и взбитой кочками, местами болотистой и прорезанной или чистой бойкой речонкой, или светлым, как хрусталь, озером, залегли между последним северным селением на берегу Белого моря — Кандалакшей и самым дальним, которое лежит уже на берегу Северного океана — Колой.

Счастлив путник, перенесший мученья скучного, бесконечно однообразного прибрежного плавания по морю, когда крепко расходившийся ветер нередко на несколько суток может заставить сесть на голой луде, где нет не только жилья, но даже воды пресной, где кругом море, кипящее бурей, как вода в котле. Счастлив путник, когда наконец увидит он обгорелые (после недавнего английского разгрома) пни и кочки людного *строптивого* селения Кандалакши, и вдвое несчастлив тем, что путь ему лежит не назад, а вперед.

Узенькой тропинкой с погнившими мостовинами потянулся почтовый тракт в Колу, поперек так называемого Лапландского полуострова — этой исключительно земли мхов и лишаев, этой холодной Сахары. Мхи и лишаи ведут здесь борьбу с древесной растительностью и, распространяясь все далее и далее, истребляют мало-помалу рощи, кустарники и даже небольшие леса. На горизонте как будто лес; он кажется густым, но приближайтесь еще,— деревья редеют на сухой лишайной почве. Передние ряды деревьев давно уже вымерли, и их белые суковатые стволы стоят как мертвецы. За этими рядами поднимаются деревья более выпрямленные, с несколькими клочками зелени на ветвях; наконец являются и совершенно прямые: там уже почти нет лишаев. Это — чистая лесная полоса. В самой середине Лапландии, говорят, есть такие леса сплошными насажде-

ниями, откуда береговые жители берут материал для построек. Так это у Белого моря, в начале пути. Затем уже везде, за этим скудным лесом, почва снова стелется мягкой постелью мхов и лишаев. По ним вьется почтовая дорога — узенькая тропинка с мостками. Ехать по тропинке этой даже верхом нет никакой возможности: *образ пешего хождения на своих на двоих* — единственное средство добраться до вожделенной цели. Подчас с шестом для сохранения равновесия между двумя крайностями: болотной топью с одной стороны и ямой с водой с другой, подчас на плечах привесившихся, присмотревшихся к делу проводников — плетется путник, обрекший себя на путешествие в Колу летней порой. Болят колени, ломит грудь и спину, давит плечи, проступает невольная, всегда стыдливая слеза, и вылетает из уст справедливый ропот на судьбу и на себя самого. Тоскливо глядит все кругом, и все окрестное заявляет себя навеки заклятым врагом утомленному страннику и физически, и даже нравственно. Бредешь бессознательно, машинально ступая с кочки на кочку, с сучка на сучок, тяжело прыгаешь с камня на камень, скользишь и пластом, с непритворными слезами, валишься на придорожную прохваченную насквозь водой и сыростью мшину. И рад, как лучшему благу в жизни, как лучшей награде за трудный подвиг и страдания, когда судьба приведет к длинному, десяти-тридцати-пятидесяти-стоверстному озеру, на котором колышется спасительный, дорогой, неоцененный карбас. Как в люльке, баюкает он и восстановляет силы, но опять-таки для того, чтобы истощить их в следующих пнях, кочках, болотинах, на погнивших, обсучившихся, выбитых мостовинах. В станционных избушках не насидишь долго: дым, наполняющий их от потолка до пола, ест глаза и захватывает дыхание. Сквозной ветер, свободно входящий в щели сильно прогнившей и расшатанной буйными ветрами избенки, гонит вон на свежий, крепко свежий воздух полярных стран, где затишье — редкий и всегда дорогой гость. Пройдет неделя, и слишком, в этой борьбе с препятствиями, когда наконец глянет в наболевшие глаза ряд шести-семи уцелевших домов и черные пни пресловутой Колы, выжженной англичанами 11 и 12 июля 1854 года и долгое время, в комплекте уездных городов Архангельской губернии, оставшейся за штатом.

Около шестисот лет (со времени первого летописного свидетельства о существовании имени Колы) жило безмятежно это бедное и самое дальнее из селений Великой России. Населенная вначале новгородскими выходцами и беглецами, увлеченными привольем моря и богатством промыслов, Кола только с 1533 года заявлена в летописях как большое селение, имеющее уже две церкви — Благовещенья и Николы. Нелюдное вначале, селение это с 1550 года начало заселяться теми несчастными, которых посылал сюда царский гнев и наветы крамольных бояр. Алексей Михайлович (в 1664 году) прислал сюда сто человек стрельцов для защиты слабого населения от частых нападений шведов, которые давно уже враждебно смотрели на Колу и раз (в 1590 году) делали, хотя и неудачно, нападение. Петр Великий, в 1704 году. выстроил в Коле крепость, прислал 53

пушки и офицера и считал Колу уездом Архангельской губернии, управляемым воеводами, комиссарами и управителями. Екатерина II, в 1780 году, назвала Колу городом, вывезла уцелевшие орудия, разрушила крепость и, в 1792 году, прислала сюда коменданта, который через пять лет переименован в городничие.

Как место ссылки Кола получила недобрую память и славу среди соседей. Стало известно «кольское страшилище»; создалась поговорка: «привязался, как кольский солдат». Самый город начали уподоблять рыбацкой уде или крюку и говорить: «город-то крюк (построился около губы, имеющей форму подковы), да народ-то в нем уда: что ни слово, то и зазубра». Уверились в том, что «кто проживет в Коле три года, того и на Москве не обманут». Преступники, ссылаемые сюда, а равно и их охранители прицеплялись и приставали со своей великой нуждой, стращали и вымогали, прибегали к насилиям и, во всяком случае, были докучливы, дерзки и нахальны. Стали поговаривать, что в Коле «мужика убить, что крынку молока испить». Молоко, впрочем, за неимением коров, в Коле — величайшая редкость и лакомство, а вместе с тем много всякого другого горя,— говорят: «с одной стороны море, с другой — горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох». Да и «морская губа что московская тюрьма»: есть вход, да нет выхода. Зато «стала Кола — бабья воля» (а «коляне господни — народ израильский»),— тамошние женки так умудрились и освоились, что любая удачлива в рыбачестве, неустрашима и ловка в управлении рулем и парусом на морских промыслах. Они отличаются большей энергией и самостоятельностью, чем вообще удалые и всегда смелые поморки. В Поморье сосчитали, что «от Колы до ада всего только три версты», а в противоположность мужественным тамошним бабам ставят понойских баб (из села Поноя на Терском берегу). Это имя стало ругательным и укоризненным: «и умен ты, товарищ, а судишь, как понойская баба». Про само селение, крайнее и последнее на Горле моря, при завороте океанского берега (где Святой Нос, который, по кемскому присловью, «ни одна рыба не минует, где она ни ходит»), привычно говорят так: «тут гора и тут гора, а сверху дыра — вот и Поной»). Для колян обратили в укоризненное слово прозвище «чинятниками», так как они преимущественно занимаются постройкой этого рода судов для мурманских промыслов.

Такова вся история города, которому только два раза на веку его привелось испытать невзгоды и бедствия в истинном смысле слов этих, и оба раза от англичан. Первый раз в 1809 году, когда Россия объявила Англии разрыв, запретив ее кораблям приходить в наши гавани. В Коле гавань эта существовала уже издавна. При Елизавете ежегодно приходило уже сюда до семи иностранных судов, за ворванью или оленьими шкурами. Северная кампания графа Шувалова усилила население Колы почти вдвое. Город был значительно люден (хотя столетняя деревянная крепость и пришла в ветхость), когда, накануне Николина дня, с ужасом услышали мирные коляне, что в морской губе показались неприятельские корабли. До сих пор ходят рассказы о том страхе, который обуял горожан, из которых большая

и лучшая часть ушла на вёшну (для морских промыслов на Мурманском берегу). До сих еще пор рассказывают о несчастном случае, как одна мать, спеша убежать вместе с соседями за утесы ближайшей к городу горы Сало-вараки, вместе с пожитками своими сунула в мешок грудного ребенка и таким образом задушила его. 9 мая подошли к городу два баркаса с 35 матросами (страх был напрасен). Люди сошли на берег, городничий встретил их в воротах деревянной крепости и торжественно, церемониально отдал им шпагу. Победители разбили дверь хлебного магазина и вытаскали оттуда весь запас хлеба, потом выкатили из винных подвалов бочки вина, некоторые взяли с собой на баркасы, другие выпили или разлили по земле; наконец обшарили пустые дома и, зарубивши саблями двух коров, с торжеством и народным гимном на другое утро уплыли в океан. Если считать известный всей России подвиг смелого кольского мещанина Герасимова за подвиг геройский, то он отмстил англичанам впоследствии за нападение на свой родной город. Отомстил он тем, что, будучи захвачен в плен, неприятельского кормщика столкнул в воду. Остальных врагов своих, спящих, накрыл люком и представил пленниками и живыми к коменданту норвежской крепости Вардегуза (по местному выговору — Варгаева). Император Александр I наградил Герасимова Георгиевским крестом, установленным для нижних воинских чинов за храбрость.

Естественно, не меньшим ужасом поражена была Кола при нападении на этот город английского винтового корвета *«Миранды»*, с двумя бомбическими двухпудового калибра пушками и четырнадцатью орудиями тридцатишестифунтового калибра. Собраны были чиновники и граждане Колы на совещание. Еще далеко до появления неприятеля составлен был акт о том, «что в случае нападения на город Колу неприятельского войска (говоря словами подлинника), по малому количеству у нас боевых снарядов (2 пуда пороху, 6 пудов свинца), при незначительном числе нижних воинских чинов, усердствуем с радушием в помощь инвалидной команды собрать из всякого сословия милицию под командой г. городничего Шишелова, как уже бывшего в 1812 и 1814 годах в действительных сражениях против неприятеля, на каковой предмет необходимо нужно собрать оружие, и дабы милиционеры не отлучались из города Колы, то выдавать им в роде провианта съестные припасы, и на покупку оных, по согласию и силе возможности каждого из нас, ныне же сделать пожертвование, и в случае нападения неприятеля на город Колу, то защищать и твердо стоять за православную веру, церковь святую, за всемилостивейшего государя и отечество до последней капли крови, не щадя живота своего, боясь крайне нарушить данную присягу и не помышлять о смерти, как доброму и неустрашимому воину надлежит». Следуют подписи: один жертвовал 15 руб. сер., два охотницких ружья, два пистолета и 20 фунтов просольной трески; другой — 10 руб. с оговоркой: «На службу отечества я готов посвятить личные мои услуги, не щадя живота до последней капли крови, и если нужно на защиту города Колы денежный сбор, то по мере возможности приношу на сей предмет 10 руб. сер. и почту себя счастливейшим,

если жертва моя будет благосклонно принята начальством»; третий жертвует 2 руб.; четвертый столько же; пятый 25 коп.; шестой 1 руб. 50 коп.; седьмой пишет так: «Жизни своей жалеть не буду для защиты отечества, но жертвы денежной, по бедному состоянию, принесть не могу». Далее следуют такие слова: «Как сей последний ложно именуется мещанином, ибо он только причислен и не может быть, по закону, даже допускаем на мирские сходки, как человек, лишенный доброго имени, то за сим никто не осмелится продолжать подписи по сему акту в добровольном своем пожертвовании, и засим, возобновив таковой для подписи желающих, покорнейше прошу не предлагать оного тем лицам, кои не имеют на то права». «Мне известно,— писал начальник губернии,— кольские жители народ отважный и смышленый, а потому я надеюсь, что и в случае недоставки по каким-либо причинам орудий в г. Колу они не допустят в свой город неприятеля, которого с крутых берегов и из-за кустов легко можно уничтожить меткими выстрелами; пусть сами жители подумают хорошенько, какие к ним могут придти суда, и как можно, чтобы они не справились с пришедшими! Одна только трусость жителей и нераспорядительность городничего может понудить сдать город, чего никак не ожидаю от кольских удальцов и их градоначальника. Да поможет вам бог нанести стыд тому, кто покусится на вас напасть! Предписываю вам объявить о сем жителям г. Колы».

Но сила солому ломит,— говорит пословица; неприятель с 2 $^1/_2$ часов утра 11-го до 7 часов утра 12-го громил город бомбами, гранатами, калеными ядрами и пулями с зажигательным составом. Город не был взят, и пытавшийся выйти на берег десант, при одном только виде спешивших к нему навстречу наших солдат, удалился от берега и возвратился на фрегат. «Ожесточенный неприятель, в яростной злобе своей, должен был ограничиться только тем, что сжег большую часть города, а именно: две церкви, колокольню, часовню, 92 обывательских дома, деревянный острог и казенные магазины: хлебный, соляной и винный». При этом не излишне заметить, что г. Кола, построенный без всякого порядка, с тесными, вымощенными деревом улицами, всегда, в случае пожара, подвергался большой опасности; при настоящем же случае пожар был неизбежен. Между погоревшими церквами был и прекрасный Воскресенский собор.

Собор этот построен при царях Иоанне и Петре Алексеевичах, в 1684 году. Увенчанный восемнадцатью главами с восьмиконечными крестами, собор имел три храма: главный, средний, освящен был во имя Воскресения Христова, правый придел — св. Николая Чудотворца, левый — св. великомученика Георгия. На восточной стороне церкви, под кровлей, прибита была доска, на которой славянскими буквами написана история основания храма. Служба совершалась в нем со дня великой субботы по день Успения пресвятой богородицы; он не был согреваем печами и сохранил необыкновенную прочность, изумлявшую всех, в течение ста семидесяти лет. 11-го августа 1854 года загорелся он вечером, в половине осьмого, и горел ярко и скоро, как построенный из соснового леса.

— Вот *его* жаль, да еще старого пепелища жаль, а то, что город? — городу этому только звание было. Кому надо, тот выселится, за это мы не боимся. Пущай на то и губа-то наша — привольная губа! — толкуют старики-коляне (временно расселившиеся по ближним поморским селениям берегов Корельского и Терского).

— А все же вы охотнее бы вернулись в Колу, чем теперь свыкаетесь с чужими местами и чужими обычаями?

— Да ведь это опять-таки привычка, не иное что. Привесился ты к своей печке, посвыкся с ней, известно, на чужой-то печи тебе как будто и зябко. А обычаи наши кольские — те же обычаи, что и терские, не далеко ушли. У промыслового и поморского народа одна забота и конец один. Гляди ты на море, да полюби его, да не жалей своей души многогрешной — хорошо будет! Море наше, где ни возьми, везде с рыбой, везде, стало быть, с добычей. Разноты тут большой не видать: у нас вон переметами рыбку-то ловят, а здесь, вишь, харвами. Присмотришься ко всему этому, так то же самое и выйдет. Нет, ведь наш народ кольский издавна за толком-то к соседу не ходит. Нашего брата закинутого, поморского человека дом-от не держит: так и не привыкаешь к нему. Мы домой-то ходим только отогреться да праздники большие, по завету отцовскому, христианским образом, честно править. Попьешь, пображничаешь с ромом норвежским неделю-другую, да и опять потеплей одеваешься, опять в море лезешь.

Летом кого ты в Коле увидел? грудных ребятенков да нянек-старух, и коровы не увидел бы (на весь город две). Лошадей опять тоже не держим. Свинью городничий прикормил (так и та, вишь, не наша), собак увидел бы, потому собака у нас заместо лошади, на них мы все возим: собака наша по этому самому делу — совсем друг.

Летом, стало быть, мы все на Мурмане треску, семгу, палтусину ловим до поздней осени, когда и к берегам ледяные припаи пристынут, и губы все в сплошной лед закует и в море заплавает сало — снег, такой мокрой, что масло коровье. А показалась шуга — сало-то это в мелкий лед застывать стало, мы к дому бежим на зимний отдых, сидим мы дома святки, сидим масленицу, сидим святую неделю. Вот и все наше ликованье, вся радость и земная, и небесная.

На те поры у нас и песня, и сказка, и ребята со звездой ходят и стих поют, и хухольники (ряженые) бродят, и все такое. Тут мы живем во мраке: солнышко на то время не токмо себя, и сумерек-то не показывает. Кажись, коли б на ту пору не месяц да не сполохи (северные сияния) да снег наш белый-пребелый не пускал от себя сияние, яко подобает ему,— тьма бы кромешная стояла и глаза бы полопались. Болят же они, правда, шибко ноют от ночников от наших со звериным салом, да за одну весну опять светлеют: морские, надо быть, ветры продувают, очищают их.

Живем мы в этой кромешной ночи до Евдокей до самых (до первых чисел месяца марта). Тогда дорогой гостенек-солнышко сначала крайком выглянет, так запаздывать станет все дальше и больше, а там,

он, батюшко, и совсем перестанет прятаться: так и стоит недель двенадцать с лихвой над нашими над украйными палестинами и над Колой нашей сердечной. Выйдет оно на полдень красивое такое, как и быть летнее солнышко, а пойдет на полуночь, так и смотри на него смело: не жжет глаз, не гонит слезы. Стоит оно себе красное такое, что уголь печной, и большим таким кажет, словно их десять тут в одно сошлись, и свет от себя бросает оно на ту пору такой приглядный, что и сказать не можно. Словно бы господь-то бог на ту пору всю землю красивой такой фольгой одеял. Иной раз вот этак-то вспомнишь, догадаешься, да и задумаешься: таково-то, мол, хорошо все это, и-и — господи! Всякое-то тебе в ту ночь древо видно и всякой-то лист на нем тебе в красоте своей показуется. И вдали-то что, все видишь и понимаешь, словно, мол, не ночь это, а та же де благодать, что по-крещеному днем нарицается. Право, сказывать надо, дух-от твой воскрыляется и сердцем твоим елей бы, что ли... проходит! Божье, братец ты мой, все дело это!..

Редко, правда же, зрелищем-то любуешься, потому заниматься этим временем не хватает — мы в ту пору все на промыслах: кипит у нас на ту пору дело с пылу горячее. Рыбы лезет много,— успевай только снасти обирать. А знаешь ли, как мы это дело правим?

— Знаю.

— А постой-ко, я вот тебе стишок покажу. У нас один молодец из ученых таких писал, тоже ваш, столичный. Больно хорошо в нем все наше дело описано: кажись, сам-от так и не расскажешь складно. Очень похоже написано. Почитай-ко!

Вот эти курьезные стихи:

ВЕШНЫЙ И ПЕРВЫЙ МОЙ ВЫЕЗД В МОРЕ

Пустившись в море от нужды
За рыбным промыслом скитаться,
С приятной грезою мечты
В шняке под парусом качаться,
Или ударом дружным весл
Броздить пенистую волну,
Или на ярусе*, из козл,
На мачту вскинув парус белый, сдаться сну.
Но вышло что же наконец?
Мечта приятная исчезла
И, боже милостей, творец!
Вся каторга трудов приспела!
Один гласит: греби сильнее!
Другой кричит: греби непорко!
Иной трещит, что будь живее.
Другой, оря, бранит позорно!..
То то подай, то то возьми,
То поскорей тряску тряси,
То живо фартук привяжи,
То пить скорее принеси.

* Ярус — рыболовная снасть для ловли трески и палтусины.

И не лишенному-то чести
Сносить все это каково!*
Тут нет приличья светской лести,
Ослушался — так и в скуло...
А в становище**, боже мой!
Тюки носи, дрова коли,
Воды неси и рыбу рой***,
Потом, как конь, ее свези
За полверсты в колено снегу,
Потом развесь на палтух**** в сушку
И наконец, бросая негу,
Вари обед, уху-голушку,
И чем немного б отдохнуть,
Само собой, по-христиански,
Кричат: ступай еще тряхнуть*****,
Хотя одну или две тряски...
Опять в шняку все потащились,
Опять все то же началось.
Опять приказы разразились
И эхо брани разнеслось.
Ну вот! — и кончилась разъездка!
Другое дело принялось:
Пришла продажная расчестка
И мена рыбы началась.
Везде вкруг раньшин и лодей
Шняки с трескою прицепились;
Везде премножество людей
На бортах. палубах расселись.
Иной берет для чая чашку,
Другой холстины, сетку,— чаю:
Иному нужно рыбну латку,
Другому что-нибудь к случаю.
Исторговались наконец.
Пошли ребята чередом,
Потом, о боже, мой творец!
В шняках пошло все кверху дном:
Упившись рому, все кричат,
Тот пляшет, тот дерется,
Как пчелы в улиях, жужжат,
Кто горько плачет, кто смеется,—
И каждый день все то ж и то же,
И этак месяца уж три,
А может, даже и побольше
Текли страдания мои...
И изнуренный, изнемогший,
С мозолями на всех перстах,
Брадой огромною обросший
И с болью сильною в плечах
Опять приехал в Колу я,
Опять в бездейственной дремоте
Жизнь сирая пошла моя —
Или во сне, иль в тягостной зевоте.

---

*Автор был из ссыльных.

** Удобные, закрытые от ветров океанские губы, по берегам которых промышленники становятся станами в избушках.

*** *Роить*, свежить рыбу — чистить и приготовлять к посолу.

**** Жерди на елуях — козлах.

***** Тряску трясти — осмотреть ярус и снять с него зацепившуюся на крючьях рыбу.

К стихам этим надо прибавить, в объяснение их, то весьма важное обстоятельство, что действительно в средине лета являются из Норвегии хозяева-поморы с товарами, но главное — с коньяком и ромом. В это время достаточно поломавшиеся в начале лета промышленники творят беспросыпный, двух-трехнедельный загул и тогда же запродают себя в пьяном виде сметливым богачам своим монополистам на будущее лето.

— В Коле нам по летам делать нечего (рассказывали потому всегда словоохотливые коляне) — солнышко там хоть и глядит во все глаза, да не греет. Ничего у нас не растет, ничего и не сеем. Капусту вон бабы и садят, да и капустка у нас не православная; вытянет ее всю в лист да вдоль, а кочнем не вьет, не загибает. Рубим ее, солим да с молитвой во щах и хлебаем: ничего, вперемежку с рыбушкой-то — живет! Вся тут и овощь наша. Потому у нас нет этих растений самых, что вдруг тебе ни с того ни сего падает ветер северный и надевай теплую шубу, хоть поутру и в рубахе по городу ходил. Зато нарожается у нас морошка знатная, ею и в Питере не брезгуют, крупная такая, что грецкий орех. Заливаем мы ее в анкерах спиртом, алибо то ромом. Она так и идет в Шунгу на ярмарку и не киснет, и хвалят все морошку кольскую. Ягодой этой, в иной год, вся тундра усыпана, что снегом; другая так и погнивает. Да это опять-таки что? — все это бабье дело!

По лопарским-то вон угодьям горностай бегает, выдра в море идет, росомаха роет норы в скалах. Так опять-таки и то не наше угодье, и не след нам лопаря [63] обижать. Лопарь, известно, неумный человек: ему господь такого разума не дал, хоть бы вот нашему брату. Лопаря обидеть легко, потому он добр: придешь к нему в вежу — всем потчует. Вчерашней рыбы не подает, а живую тащит, сегодняшнюю. А и выпьет — драться не лезет: не то что наш помор. А ты его поцалуй, ты его сам зазови в гости, ты с ним крестом поменяйся, крестовым братом назови, так он за тебя тогда душу свою заложит и выкупать не станет. Вот они каковы человеки есть,— добрый народ. Теперь вон сказывают, что озорничать стали, убивают-де которого бессильного, да я не верю же этому; без вести в море человек погибает — на лопаря валят, кровью-то его человечею пятнают, а он добрый, хлебосольный народ. Это перед тобой, как перед богом.

Старики вон наши рассказывают, что за то, что они в бога нашего верят, раз (давно уж это, годов с восемьдесят назад) принесло морским ветром в губу нашу пять китов, да в подосенок. Океян-от нахлестал в губе торосьев (льдин) бродячих да и заморозил губу-то самую — так, слышь, сердечные-то и остались. Льду-то и не смогли проломать. Сбежались лопари да и изрубили топорами сало-то их, чуть ли, сказывают, не на три тысячи рублей деньгами. Словно горы, слышь, ледяные-то бугры стояли над зверями; нам-де страшно было, а храбрые лопари небось не испужались. На моей памяти зашел этак кит-от по прибылой воде (за рыбой, знать, за мелкой погнался) да и замешкался. Вода-то его не подождала — пошла на убыль; он и сел на мели. Нас что было — все высыпали да на него с топорами, с ножами, скребками, кто с чем успел, и малые, и старые, и бабий пол. Рубили мы его часов пять и много вырубили. И сколь силен зверь этот;

так вон, сказываю тебе, как почуял прибылую-то воду — покачнул нас, чуть не свалил: пошевелился, значит. Да не смог, знать, уйти, так и дорубили до смерти. Из одного языка восемьдесят пудов чистого сала вытопили, вынули нутро, мужик самый большой вставал, топором не досягал до ребр. Ребра что бревна, позвонки что наковальни али стул высокий. Вон какой матерезный зверь этот! Редко же, надо тебе сказывать, бывает это, потому и лезем дальше от дому, хоть и мило там, и очень больно приятно с хозяйками. И теперь родины-то нашей, Колы-то, жаль, надо говорить правду. Очень жаль! Пуще того жаль собора нашего; такой он был приглядный, хороший, таким благолепием сиял, особенно вон с горы Сало-вараки — все отдай, да мало. Очень его жаль!

Ну, да ладно, стану я сказывать теперь тебе про мастера, что строил собор-от наш: мастер этот был не из наших. Построил он много церквей по Поморью, затем и нашу. В Нюхче увидишь похожую, в Колежме; только раз в пять поменьше те будут. Церкви он строил почесть что задаром; говорил: меня-де только без денег домой не пущайте, а я-де богу работаю, мзды большой не приемлю. Так построил он в Шунге церковь. Позвали к нам в Колу. Согласился, пришел и к нам, и у нас работал, и у нас соорудил церковь: вывел ее, значит, до глав. Довел до глав и идет к старосте:

— Я, говорит, главы буду выводить два месяца. Когда весь ваш народ, говорит, с промыслов домой придет, тогда-де и кресты поставим.

— Да не долго ли, святой человек,— говорит староста-то,— чай, и скорей можно?

— Нет, говорит, скорей нельзя.

— Ну-де, как знаешь!

— Я, говорит, не с тем сказал и пришел к тебе. Ты, говорит, надо мной не ломайся, потому как я мастер и для бога работаю, а не для ваших бород. У меня-де и своя таковая-то есть.

Подивился тут староста, подивился: ни с чего-де человек в сердце вошел. А он и сказывает:

— Ты, говорит, на всю ту пору мне клади по кубку вина утром, в полдень и вечером: без того-де и работать не стану.

Староста стал торговаться с ним: на двух кубках порешили, да чтобы поутру не пить. Так он тяпал да тяпал и главы стяпал. Народ с промыслов стал собираться. Опять пришел мастер к старосте, опять сказывает:

— Не надо, говорит, мне вина твоего, а через неделю повести народ, чтобы собрался,— середний крест ставить стану, так чтобы при всех это дело было. Я, говорит, так и батюшек-попов повестил.

— Ладно, сказывают, будет по-твоему.

Осталось три дня, церковь готова, и крест у церкви к стене прислонен стоит: бери, значит, поднимай его да и ставь.

— Не пора ли де? — опрашивают.

— Нет, говорит, сказал в воскресенье — так и будет.

Глядят: сидит мастер на горе против собора, плачет, утром сидит, в полдень сидит, вечером сидит — и все плачет... Обедать

зовут — ругается, спать зовут — пинается, а сам все на собор-от на свой смотрит и все плачет. Сидит он этак-то и на другой день и другую ночь и плачет уж — всхлипывает. Ребятенки собрались, смеются над ним — не трогает, не гоняет их. В субботу только к вечерне сходил и опять сел на горе и просидел всю ночь. В воскресенье после обедни только вина попросил да хлеба с солью на закуску. Народ собрался весь, и стар и мал; лопари, слышь, наехали из самых дальних погостов. Все его ждут. Приходит хмурой такой, нерадостный и хоть бы те, слышь, капля слезинки. Ждут, что будет. Молебен отпели, староста с шапкой мастера обошел народ: накидали денег много в его, мастерову значит, пользу, по обычаям. Полез он с крестом на веревке, уладил его, повозился там, стал у подножья-то — кланяется. Народ ухнул, закричал ему: «Бог тебе в помощь! Божья, мол, над тобой милость святая!» Все, как быть надо. Стал слезать — народ замолчал, слез — ждет народ, что будет, не расходится.

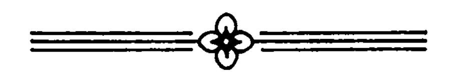
— К вам, говорит, православные, слово и дело. Пойдем, говорит, вместе на реку на Тулому вашу. Там, говорит, я с вами толковать буду.

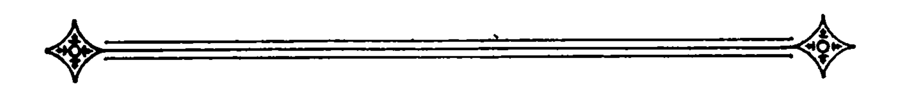
Народ испугался на первых-то на порах, да видят, лицо его кроткое такое, светлое: поверили, пошли — смотрят. Подошел он к крутому берегу, вытащил из-за пояса из-за своего топор, размахнулся, бросил его в воду и выкрикнул:

— Не было такого мастера на свете, нет и не будет!..

Сказал слова эти, бросился в толпу. Побежали за ним, кто догадался. На квартиру пришел. Целый день не ел, все ревел, благим матом ревел, да потом оправился и денежки взял и в свое место ушел.

И с той поры (сказывают старики) сколько ни было ему зазывов, поклонов низких, просьб почестных, никуда не пошел, топора не брал в руки. Лет с десяток жил после того и пил, мертвую пил. Тем и помер.





VIII

МУРМАН

Время, вызывающее поморов на тресковый промысел; путь их к океану.— Жальники.— Хивуса.— Подснежная статуя.— Подробности способов ловли трески и палтасины.— Мурманские судохозяева и их покрутчики во взаимном отношении друг к другу и к артели — покруту.— Станы и становища.— Тороса и припаи. Сало и шуга.— Устройство рыболовного яруса.— Зуйки.— Весельчаки.— Стряски.— Приготовление трески.— Штокфиш.— Норвежский ром.— Приезд хозяев.— Архангельский рынок.— Возвращение мурманских промышленников домой и обряды до и после этого.

В конце февраля полярная архангельская зима начинает заметно умерять свои холода, которые в конце января и в начале февраля едва выносимы. В феврале зима *сдает, кротеет,* говоря меткими поморскими выражениями. Перестают *играть* в северном краю неба *сполóхи* (полярные сияния); северо-восточный ветер, сменяющий горные, чаще нагоняет густые туманы, покрывающие сплошным, непроницаемым пластом все прибрежье. Хотя оно все еще засыпано глубокими, в рост человека, снегами, тем не менее привычному уху помора слышатся подчас учащенные, вдвое зловещие крики воронов, чующих свой скорый отлет в глубь окрестных корельских и дальних финляндских болот. Снег на берегах и на лугах еще сверкает своим поразительно ярким, едва выносимым для непривычного глаза блеском. Пороги в реках, не замерзающие во всю зиму, продолжают шуметь по-прежнему, но глухо и далеко не так бойко, как в начале весны. Окраины моря подернуты еще широким ледяным припаем, и, при сильных ветрах, все еще разгуливают по нем огромные ледяные поля с потрясающим шумом и треском. Подобно раскатам грома ломаются там самые большие из льдин — *тóросы,* от сильно набежавшей и бойко разрезавшей их меньшей льдины. Но зато чаще перепадающие оттепели стали держаться дольше, а за ними и неразлучные насты на снежных полях — тот промерзающий и обледеняющийся верхний слой снега, по которому так легко бегать на лыжах. Ночи хотя и становятся заметно короче, превращаясь при блеске луны, освещающей не менее блестящие снега, почти в такой же светлый и ясный день, каким впору быть зимнему дню и при солнце. Но по избам идут еще своим чередом *вечерины,* хотя и без песен и плясок, по причине великого поста. Между тем незаметно наступают и первые

мартовские дни — *Евдокеи,*— заветное время для поморов. Соображает каждый из них, про себя, пока еще лежа дома в теплой избе и в домашней холе, следующее:

— В Крещенье, на водосвятье[64], и потом целый день крепкий *север* тянул: надо быть, по старым памятям, морскому промыслу хорошим; тоже опять и звезды — низко, у самого моря, шибко горят и играют. Чистый понедельник[65] весну хорошую посулил: выпала на тот день такая светлая да благодатная погодка, что и бояться, стало быть, нечего. Все таково хорошо показует, что вот и самого заставь сделать-то этак — не сделаешь!..

Вот что бывает дальше на всем протяжении Поморья, начиная от городка Онеги и оканчивая последними деревнями дальней Кандалажской губы (по-местному Кандалухи) — Княжой и Кандалакшей. Во всяком почти селении найдется по одному, нередко по три и даже более богачей, у которых ведется туго набитая киса с деньгами, неразлучная с ними страсть к приобретению еще больших сумм и, наконец, исконный (у иных еще прадедовский) обычай *обряжать покрут*, т. е. нанимать работников для промысла трески и палтасины на дальнем Мурманском берегу океана. За работниками дело не стоит: всегда тут же, подле, дом о дом в той же деревне, живут целые семьи недостаточных мужиков, у которых нужда отняла возможность действовать самостоятельно, по себе, а с другой стороны, природа наградила крепким здоровьем и силами, не отказавши, в то же время, ни в терпении, ни в смелости. Привычка приспособила небогатых поморов к тому, чтобы целые полгода не видать семьи и часто даже не получать от нее никаких вестей, а короткое и близкое знакомство с морем отучило и от жаркой печи, и от теплых полатей. Помору в избе и тесно и душно, если только он в силах и если еще не изломали его вконец житейские нужды и трудные ломовые работы. Богач припасай деньги и свою добрую волю, а бедняк-наемщик не заставит просить и кланяться.

Он придет около Евдокей в избу *богателя,* встанет у дверей, поклонится на тябло да сам же и отдаст поясной поклон хозяину:

— Что, батюшко, Евстегней Парамоныч, ладишь ноныча туда-то?

Проситель махнет головой и рукой в угол.

— Знамое дело. Ну, да как и не ладить? ни одной почесть весны, как жив, не запомню, чтобы не обряжал покрутов. Сам вот подряжаю на двадцатую, да и батюшка, покойничек, тем же пробавлялся...

— Знаем доподлинно и эту причину. Так и нонеча, выходит, надумал?

— От других не отстану!

— Так, Евстегней Парамоныч, так, и как же, коли не так.

Проситель, оглядывая шапку свою с разных сторон, перекладывает ее из руки в руку и, того и гляди, запустит правую руку за затылок.

— Беру ребят нонешную весну на два стана,— продолжает хозяин.

— Так, Евстегней Парамоныч, так: и это хорошее дело! Стало быть, тебе покрученников-то много же надо?

— По глаголу твоему. Вестимо, больше, чем запрошлый год.
— Я-то — не лишний буду?
— Имел, имел, Степанушко, и тебя в предмете: милости просим! Обряжайся с богом!
Степанушко опять кланяется в пояс и опять оглядывает свою хохлатую шапку со всех сторон:
— Ты это как, Евстегней Парамоныч, меня-то... в какие?
— Да по-старому, думаю, Степанушка, по сёгодушному.
— Не обидно ли будет опять-то в наживочники?
— Это уж твое дело, святой человек: на твой кладу разум. Сам смекай!
Проситель учащеннее завертел шапкой и весь зарделся: озадачили его последние слова богателя.
«Ишь ведь ты, прорва какая! Неладно вышло-то больно,— на уме-то не так сложилось: ребятам нахвастал, что в коршики возьмет меня Евстегней Парамоныч»,— раздумывал проситель, по временам искоса взглядывая на хозяина.
— В коршики-то кого берешь? — говорил он уже вслух.
— Аль ты надумал?
— Больно бы ладно; отчего нет?
— Да не управишься, ведь тяжело, свыку надо много.
В ответ на это проситель улыбнулся и насмешливо посмотрел на хозяина.
— Обряды-то все мурманские знать надо: где тебе сеть опустить, где стоит тебе корга, в кое время рыба шибче идет, все надо,— продолжает хозяин.
Но и этим словам проситель улыбнулся, и только боязнь рассердить хозяина и таким путем испортить все дело помешала ему прихвастнуть о себе, «что и мы-де с твое-то знаем, тоже не первый год идем на Мурман-от, а богат вон ты — так и ежовист, ни с какой-де тебя стороны не ухватишь».
— Не обидь,— говорил он уже вслух,— вечные за тебя богу молельщики: возьми в коршики-то!..
— В коршики — сказал, не возьму: есть уж. До коршиков-то тебе надо еще раз пяток съездить туда, да тогда уж разве. А то как тебе довериться! И ребята, пожалуй, с тобой не пойдут: им надо по знати, а ты еще и весельщиком не стаивал.
— Вели: состоим! Нам это дело в примету: у тебя вот на пятую вешну иду!
— Нет, Степан, остань ты — остань; и не обижай меня попустому.
— Да хоть парнишку мово вели взять с собой.
— Парнишку бери, парнишко не в тягость, пущай привыкает, хорошо ведь это.
— Хорошо-то хорошо, Евстегней Парамоныч, что говорить!
— Ведь в *зуйки* берешь: чтобы кашу варил да потроха прибирал?
— Да уж, известно, не в коршики. Ты, Евстегней Парамоныч, не дашь ли теперича мне хоть маленечко?..
— Чего же это?

— Денег бы маленечко дал — вечные бы богу молельщики. А то, вишь, дома-то оставить нечего: измаются!

— Денег отчего не дать: мы за этим добром не стоим — много его у нас. Для ча не дать денег? Сколько же тебе надо?

— Да, вишь, бабам на лето, сколько положишь: твоя власть во всем, а мы тут, выходит, ни в чем не причинны...

— Бабам скажи, чтоб зашли, когда им тамо надо будет,— а тебе вот на перву пору полтинничек.

Полтинник этот — так называемый *запивной* и заручный — не пойдет в общий счет при осеннем раскладе заработков промысловых. Вот почему проситель не настаивал больше и тотчас же ушел, заручившись главным, т. е. хозяином. Просьба в кормщики сказалась так, спроста, с кончика языка соскочила без умыслу, как выражаются они же сами и как бывает часто со всяким поваженным человеком, когда ему придет вдруг ни с того, ни с сего просить и еще, и еще, хотя и так уже сыт и удовлетворен, что называется, по горло. В кормщики поступают всегда испытанные, искусившиеся в своем деле ходоки; новичкам — тут не место. Хорошие кормщики все наперечет в Поморье; их знают все хозяева и не заставляют приходить к себе и кланяться. Скорее хозяин ходит за ними, просит и поблажает.

— Скоро, Еремушка, Евдокеи,— говорит хозяин вкрадчиво-льстивым голосом.

— То-то, кажись, скоро, Евстегней Парамоныч: вороны уж больно шибко кричат. Вечор, слышь, выпить захотел, сунулся, ан карман-от хоть вывороти, словно тут Мамай войной ходил: ничего не осталось.

Хозяин улыбается и милостиво, и ласково, столько же и приучившийся слышать почти во всяком ответе весельчака-кормщика шутку, столько же и поблажающий ему, как человеку дорогому и нужному:

— Собираешься ли?

— Куда это?

— А на Мурман-от?

— Чего мне собираться? На то хозяева, сказано, на свете живут, чтобы покруты собирать, а наше дело известное: дело боярское! Чего собираться-то мне? Брюхо вон только с собой-то прихвачу да зубы еще нешто, ну... язык тоже, и будет с меня на лето-то!..

— К кому же идти надумал, Еремушка?

— Да кто даст больше. Нам, известно, у того хорошо, где с тебя работы меньше спрашивают да рому дают больше!

— А ко мне пойдешь?

— И к тебе пойду, коли вот *свершены** больше двадцати пяти

* При наряде покрута соблюдаются обыкновенно следующие правила, везде общие для каждого поморского селения. Крутятся в пай обыкновенно четверо: *кормщик, тяглец, весельщик* и *наживочник*. Последние трое называются *рядовыми* и отдаются в полное распоряжение кормщика. От кормщика требуется верное знание местностей всего спопутного Белого моря, а тем более океана и всех его становищ, умение метать снасти (яруса) и способы стряски, осола рыбы, знание *воды*, т. е. времени морских приливов и отливов, и наконец лучших мест для лова. Добытый

рублев положишь... на серебро выходит, да теперь дашь на выпивку полтора целковых — не в счет.

Хозяин не стоит за этим, зная, что опытный кормщик не у него, так у другого найдет себе место. Еремушка только спросит, получивши деньги:

— Когда обедом-то на расставанье кормить станешь, на Прокофья, что ли? Так и знать будем: придем!..

И придет исполнить обещание, верный старому обычаю *заручиться хозяином*. Заручка эта, по-давнему, всегда завершается, перед походом покрутчиков, обедом, на который сзывают промышленников мальчишки-зуйки, являющиеся в назначенные хозяином покрута избы с поклоном и приговором: «Звали пообедать — пожалуй-ко!» Повторивши еще раз последнее слово, зуйки стремглав убегают в другие дома, к другим званым-желанным. Обед прощальный, по обыкновению, бывает сытный и жирный, где первым блюдом — треска, облитая яйцами и плавающая в масле, последним — жареная семга или навага,— все это подправляемое обильным количеством национальной водки, а у тороватого хозяина и ромом и хересом, которые так *дешево* достаются в Норвегии. Естественно, к концу обеда, когда гости, что называется, распояшутся и войдут во вкус, начинаются крупные разговоры, затем споры. Гости, пожалуй, побранятся и поцелуются, потом наговорят про себя и для себя всякого пьяного, бестолкового вздору, споют несколько безалаберных, бессмысленных песен без конца и начала и, разбредясь кое-как по своим углам, покончат таким образом дело с хозяином до будущей осени, когда вернутся домой уже с промыслов.

На другой день после хозяйского пира если не похмелье, со всей непроглядной обстановкой вчерашнего пьянства, то уже непременно сборы в дальний путь-дорогу и прощания со всеми родными и соседями. Наконец наступает и самый день провод, с неизменным бабьим воем на целую деревню. Мужья, братья и сыновья, обрядившись по-дорожному и помолившись на свою сельскую церковь, целой ватагой идут на дальний Мурман за треской, а стало быть, и за деньгами. «Там (подсмеиваются сами над собой поморы), там каша сладка, да на море мачта прядка» (упруга, тяжела и непослушна, а на сдобренье каши разливанное море рыбьего жира, добытого топлением из тресковой печени и прямо полученного из самой жирной океанской рыбы — палтаса).

промысел делится на три части: две поступают в пользу хозяина, крутившего народ, за его снасти и суда; остальная треть добычи делится поровну между четырьмя работниками. Кормщик сверх того получает на свой пай *половой* от хозяина, т. е. еще ровно половину того, что ему досталось из третьей части по разделу, и сверх того награду, так называемый *свершонок*, от 50 и до 5 руб. сер., смотря по способностям своим и по тому, как богат был промысел. Это последнее обстоятельство зависит, естественно, от расторопности самого кормщика и добросовестности в работе остальных троих его товарищей. Зуйки — мальчики — не получают на свою долю ничего, кроме мелких, незначительных подарков и возможности с малолетства приурочивать себя к трудным и дальним работам на тресковых промыслах.

Теперь пока мурманцы все еще в куче и не расстались с остающимися дома родными.

Вообще не щедрый на слезы, русский человек, искушенный в трудах и сопряженных с ними частых разлуках, плачет редко, и, если уже подступит ему горе под сердце и нет ему исхода, слезы эти бывают и горьки, и едва выносимы. Чем-то зловещим, раздирающим душу несутся с сельских погостов всякому свежему проезжему человеку вопли и причитывания над свежей могилой, вырытой для кормильца-радельника. Едва выносятся еще не озлобленной, верующей во все святое душой те простые, по-видимому, сцены, которые разыгрываются подчас на площадках и улицах какой-либо дальней деревушки или бедного уездного городка, в котором некогда производился рекрутский набор. Огромная толпа народа, запрудившая всю главную улицу от одной стороны ее до другой, едва колеблясь, медленно, как только возможно медленно, подвигалась вперед. Разноцветно-пестрая по бокам, однообразно-серая в середине, толпа эта молчала, как бы выслушивая всю до конца длинную, печально-погребальную песню, которую тянула середина народной массы. Изредка прорезывались между однообразными звуками напева болезненные вздохи и выкрики, готовые превратиться в один сплошной плач и рев, когда выяснятся и примут плачевное целое последние слова длинной, безотрадной песни:

Уж и где ж, братцы, будем день дневать,
Ночь коротати?
Будем день дневать в чистом поле,
Ночь коротати во сыром бору,
Во темном лесу все под сосною,
Под кудрявою, под жаравою.
Нам постелюшка — мать сыра земля,
Изголовьице — зло кореньецо,
Одеялышко — ветры буйные,
Покрывалышко — снеги белые,
Обмываньице — частый дождичек,
Утираньице — шелкова трава.
Родной батюшко наш — светел месяц.
Красно солнышко — родна матушка.
Заря белая — молода жена.

Пусть оттуда, из середины толпы этой, тотчас же раздается на смену иная, веселая, плясовая, песня, сопровождаемая и стуком в бубен, и взвизгами задыхающейся гармоники, и треньканьем сподручной, но не гармоничной балалайки; пусть эта толпа пьет крепко и много на всех дневках и подымает пыль трепаком и камаринским везде, где позволят ей перевести дух и полежать свободно,— день провод из родных мест на всю жизнь, до гробовой доски, ложился тяжелым гнетом на сердце и в воспоминаниях всех, кто хоть раз видел подобную картину и был в ней не участником, а даже простым, спокойным и не причастным делу свидетелем.

В проводинных слезах поморских баб чуется иной смысл, далеко не так знаменательный и горький. Русская баба везде не

прочь поплакать, было бы только к чему привязаться. А тут вот какое горе: вчера был муж подле, тут же под боком, а теперь, гляди, и нет его, да и завтра нет, и все лето не будет. А там надо за дровами в лес съездить, лошадь впрячь, дерево свалить. Смотришь, из начальства кто наехал и пошел крутить все да браниться направо и налево; надо ему подводу сбивать, гребцов собирать, *карбас* обрядить, да и такой, чтобы и с боков не просачивал, да сверху бы навес был, чтобы не мочилось его благородие дождем. Во всем правь десятского должность; с женским-то умом-толком не везде тут угодишь. Парнишку где бы тут в иную пору сунула вместо себя — пущай-де отвечает перед начальством — так и тут несходное: и парнишек-то всех прихватили большаки с собой на Мурман. Воют бабы целым селением вперегонку одна перед другой, когда мужики, с ног до головы укутанные в оленя, потянутся из деревни на задворья и дальше в снежную степь. Будут ли назад живы-здоровы?— ведь всяко бывает. Кто туда хаживал, тот здесь сказывал, что по мурманской дорожке много «жальников» насыпано, а под этими насыпями много косточек сложено,— и все-то их одних, добрых молодцев — покрученников. «Во тяжких грехах без покаяния они приняли смертушку напрасную, телеса у них пошли без погребения, не отданы матушке сырой земле, придавило буйным ветрушком, призагрело красным солнышком, запало тело снежочком пушистым». Таковы плачки в деревне и то, что по мурманской дороге нет ни теплых пристанищ и при себе нет довольной и здоровой пищи, ни на себя теплой одежды, ни от других помощи. Путевые товарищи только и в силах, чтобы похоронить умершего. Повоют бабы потом и в домах целыми артелями, и в одиночку; назавтра поохают, повздыхают тяжело и глубоко, но уже не дальше — на том простом основании, что нудой поля не изъездишь, тугой моря не переплывешь; не на век же и не первый же год так-то...

Станем ждать да дожидатися:
Мы во чистыя поля во широкия
Прираскинем свои-те очи ясныя
Далеким-далеко на все стороны...
Мы станем глядеть да углядывать,
Что не придут ли наши ясные соколы,
Они — яблони, да кудреватыя,
По прежней поре да по времечку
На трудную работку на крестьянскую,
Будем век дожидаться и по́веку.

Со стоическим хладнокровием переносят мужья их более тягостную и более безутешную разлуку с родными семьями и деревней, тем более что бесприютная, голая действительность обступает их со всех сторон и не дает покоя своим холодом, крепко-накрепко заправляемым постоянными, упорными ветрами с моря и своими глубокими, в маховую сажень, снегами. Рады путники, как находке, как особой награде за свою решимость и трудный дальний путь, когда мороз прокует рыхлый подвесенний снег

крепким настом, давая им возможность легче и удобнее бежать по нем на лыжах. Картина странствия значительно оживляется, и хотя не слышно разговоров, уступивших место серьезной работе, для того чтобы по возможности скорее сократить расстояние до места привала, зато учащеннее слышатся и взвизги, и лай больших желтых собак, запряженных в салазки с необходимой поклажей и управляемых ребятенками, с малолетства обреченными привыкать к будущим трудовым работам на океане. Впереди несутся на лыжах вперегонку и только отдуваются, быстро переменяя одну ногу другой и подкатывая себя все дальше и дальше, большаки артельные. Сзади прыгает и заметно отстает весь поезд с собаками и ребятишками, а между тем вдали уже чернеет одинокая промысловая изба, до половины зарытая снегом,— место привала, если только бьет уже кровь в ноги и подгибаются колени и если далеко еще путникам до селения, которые не бывают ближе 40—50 верст одно от другого на всем пути по прибрежьям. В промысловой избенке промышленники находят не много: четыре закоптелых стены, замшенные кое-как, с щелями; в одной стене каким-то чудом уцелела еще рамка со стеклом, другое отверстие просто уже заткнуто куском армячины; сверху потолок, изогнувшийся, покривившийся во многих местах и глянцевитый от налетевшей сажи и выкипевшей серы. В углу печка, кое-как смятая из глины с песком, потрескавшаяся и закоптелая; подле нее полусгнившие нары; кругом — покривившиеся лавки, обезноженная скамеечка, две доски, из которых сооружается стол. В другом углу тябло с почерневшим и полопавшимся образом, и тут же две самоделки ложки деревянные, берестяная коробочка с отсыревшей грязного вида солью, ведерко для воды. Все, по обыкновению, издавна укоренившемуся в безлюдном и бесприютном архангельском крае, запасенное для всякого прохожего, имеющего ежечасную возможность спутаться с дороги, просидеть в пустой избе и умереть с голоду, если надолго завяжется бойкая, порывистая погода с сильными ветрами и истощится весь запас взятой с собой провизии. Горькое горе, только привычным человеком выносимое,— это те метели, по-местному *хивуса́*, когда снег носится целыми тучами с одного места на другое, подрывая бегущих на лыжах и сбивая с ног собачонок, ежеминутно грозя засыпать все это высоким снежным курганом. Тут один исход, если нет подле спасительной избушки и высокого подветренного бугра,— обернуть сани вверх копыльями, лечь под них, предаваясь воле божьей, и пережидать, пока ветер перестанет раскачивать чунку и нагребать на нее новые сугробы.

Это не в диво испытанным в путевых лишениях поморам; лежат они и толкуют:

— А тепло, братцы, что в бане! хоть бы и век так.

— Мокро уж больно, Ервасей Петрович. Ишь, словно капель какая: всего так и обливает тебя...

— Бери-ко шесты да порастолкайте — легше будет.

— А ты бы, Матвеюшко, налегал боком-то, уминал бы снег-от;

все, гляди, и дышать бы просторнее стало. А что, крутит, братцы, ветер-от? разгребись-ко да выстань!..

— Крепче серчает, Ервасей Петрович, так и залепило всю рожу, как выглянул.

— Ну, лежи, братцы, плотней да дружней. Твори молитву «Помилуй мя, боже!».

— А что, Ервасей Петрович, на ум мне пришло: которого у тебя хозяйка-то парнишку родила — ан пятого?

— Ишь тебе, черту, дела-то мало! Лежи знай, да поплотней ложись, другое думай что смешное, не засыпай, бодрись. Тыкай шестом-то кверху. Шапку бы кто просунул: повадней бы дышать-то. Ну-кось, ребята!..

— Водки бы теперь выпить, Ервасей Петрович!..

— Рому бы аглечкого!..

— Плетью бы вас, дураков, поперек живота, чтобы знали, что к чему и какую молитву творить надо перед смертью. Лежи-ко дружней да разговаривай меньше; попусту только дух-от глотаете!..

— Ну, братцы, знать, еще не написана про нас смерть эта!— говорил тот же Ервасей Петрович уже в лучших обстоятельствах — в теплой, знакомой избе ближайшего селения.— Знать, еще в книге-то судеб божьих имена наши не похерены: быть нам, стало быть, и ноне в Мурмане.

— Наше дело еще что? полусуток-то, почитай, не лежали; а вон лопари на тундре — трое было — так заснули, надо быть, под чункой-то. По весне уж нашли, что кисель-де, сказывают, совсем погнили: такие-де черные, как уголь, мол, черные!..

— А бывает, что и по суткам лежат — и ничего. Надо-де в носу щекотать, чтобы сон-от не брал.

— Не надо бы выходить в такую погоду.

— Ну да как ты узнаешь-то, Елистратушко, как? Вон в деревне: так оно, по-стариковски, не ходи в море — бури падут, коли ребятенки на улице в колокола звонят, играют значит. А тут-то как? Пущай, коли крепко на встоке небесья чернетью затянет — ветер падет крутой и с пылью; да как усноровиться-то, как? По летам, вишь, так чайки бы да гагары сказывают — и сноровился, подлаживался, а тут тебе снегу что воды в море, а и ширь-то, ширь по полю, что почесть не в двои сутки из жилья в жилье угодишь...

— Нет, да уж что, Ервасей Петрович, толковать по-пустому; не ты смерти ищешь, сказано: она сторожит. Вот Луканько-то по три года на Мурман ходил и в Город по все разы плавал, а дома по грибы ведь поехал-то и опрокинуло. От смерти не посторонишься: на роду пишется, где тебе умереть надо, то место и на кривой оглобле не объедешь...

Ло́поть (все, что носится на себе, рухлядь) высохнет, ребятенки выспятся, хозяева отдохнут, собаки отлежатся, и путники опять направляются дальше, крепко заправивши желудки, и с прежней верой в лучшую долю и более или менее отрадное будущее.

Мелькнут мимо их спопутные деревни и села, по обыкновению приютившиеся верст на 5, на 6 от моря, при устье более или менее значительной речки, всегда порожистой, несколько широкой при устье, на второй же, третьей версте значительно сузившейся и переходящей в плохую лесную речонку. Селения эти двумя рядами двухэтажных, чистеньких, веселеньких изб, раскрашенных по ставням, по крышам и даже воротам, всегда расположены по обеим сторонам речонки. Чуть живой мостик, почти пригодный только для пешеходов и вовсе неудобный для конной езды (которая, впрочем, и не в ходу), соединяет обе половины селения. В редком из них дома эти идут не сбиваясь в кучу, даже в некоторой симметрии. В редком нет кабака. В редком из них клети, старенькие и низенькие, не составляют вторую сторону улицы — собственно набережную. Редкое из селений не в две-три версты длиной, и всегда и во всех несколько десятков пестрых крошечных шестов с флюгарками, заменяемыми часто простым клочком ситца, ленточкой и даже веревкой, голиком и проч. В богатых селениях, преимущественно селах, разница та, что побольше домов новеньких, обшитых тесом и раскрашенных всеми ярко-прихотливыми цветами: коричневым, зеленым и синим. В иных из них внутри и зеркал много, и картины развешаны, и полы штучные и крашеные. Всегда и во всех селах старинные, обветшалые церкви, только по углам обшиты тесом, с резкими, яркими заплатами кое-где по местам на крышах, с отдельно стоящими колокольнями в один просвет, где три-четыре маленьких колокола, до половины разбитых, с глухим сиплым звоном. Тут же, против церкви, общественный дом для церковников: верхний этаж для попа, нижний для дьячка и пономаря — дом с горшками герани на окнах, с садиком или, лучше, клочком огородца перед окнами, где нередко можно увидеть и парничок, и пять-шесть грядок с неизбежным чучелом на одной из них. Пропасть мелких судов вперебивку с кое-какими из крупных, зазимовавших в реке, желтые большие собаки, бегающие по улице, парочка бойких и статных оленей да кучи сбитого у дворов и по задворьям снега довершают картину любого поморского селения, всегда однообразного.

Промышленники, отправляющиеся на Мурман*, идут из Кандалакши или почтовым путем на Колу, или через Лапландию — прямо к своим становищам, смотря по тому, куда ближе лежат эти становища: к Святому ли Носу или к городу Коле. Труднее и бесприютнее из обоих путей на Мурман тот, который идет через Лапландию — эту огромную тундру, кое-где покрытую озерами и частыми порожистыми реками и прерываемую небольшими гранитного свойства горами. Горы эти, уже окончательно пустынные, с незначительными проблесками жизни, обступили океан, образовавши таким образом сплошную стену на 300 верст протяжения (от Святого Носа до Кольской губы), называемую издревле Нор-

* Вся дорога им от дому до цели похода стоит обыкновенно не больше 9 целковых, даже, пожалуй, и со всеми непредвиденными расходами.

маннским берегом, превратившимся на языке туземцев в *Мурманский*, *Мурман*. Тонкий слой тундры, этой сгустившейся болотной грязи, проросшей кореньями трав в смешении с песком и мелкими камешками, выстилает все вершины мурманского гранита, давая достаточно питательных соков для ягеля — белого моха — любимой, единственной пищи оленей. Кое-где на покатостях мох зеленеет и над ним прорезается коленчатый приземистый березняк — *сланка*. На южных склонах березняк этот вырастает и больше аршина, а мох сменяется зеленой травой; появляются кое-где цветы и даже порядочный сосняк, особенно по рекам, бегущим из Лапландии. Зато собственно прибрежье — подошвы мурманского берегового гранита — сплошной голый камень с булыжником по отлогостям, с вечными снегами в расселинах, обращенных к северу, и песчаников в некоторых небольших заливцах, или, по-туземному, *зáводях*. Берег на всем протяжении, представляя всевозможного рода неровности, то переходя в высокие, обрывистые горы, то спускаясь в синюю массу воды океана невысокими отлогостями и мысами, называемыми обыкновенно *носом*, изрезан множеством губ и заливов. Неопасные по подводным коргам и мелям и защищенные от морских ветров губы, удобные для якорных стоянок, носят название «становищ», которыми особенно богат приглубый, почти всюду чистый Мурманский берег, сравнительно с обмелевшими беломорскими берегами. Более удобные и более безопасные из «становищ» (и именно те, в которые не заходит прибой океанских волн, в которых тихо гуляет всякий ветер) служат временным пристанищем беломорских судов, назначенных для трескового промысла. По большим ущельям, снабженным пресной водой от пробегающих в них речонок, настроены рыбачьи *станы* — те уродливые избенки, догнивающие свой век под морскими дождями и снегами и расшатываемые крепкими порывистыми и продолжительными морскими ветрами,— избенки, которых так много по всем островам и пустынным берегам северных морей России. Кое-как сплоченные из тонкого дряблого лапландского леса и обсыпанные с боков и сверху морским песком, с щелями, заткнутыми мохом и служащими вместо окон, избенки эти, в числе пяти-шести, составляют род небольшого временного селения, оживленного только с апреля до половины августа и пустынного во все остальное время года. Изредка — раза два-три во всю осень и зиму — навещают их лопари ближайших погостов, чтобы посмотреть: все ли цело из сетей, веревок, суденков, кулей муки и соли, оставленных поморскими промышленниками под их личный надзор и смотрение. Посмотрит лопарь, покопошится в избенках, перехватит на отощавший желудок того, что догадался прихватить с собой из дому, и выйдет посмотреть на океан, пока олени его, пробивая копытом снег, достают себе белый мох и комочки самого белого мягкого снега. Но каким-то зловещим и далеко не покоящим воображение зрелищем глядит в то время океан. С октября еще и во всю зиму почти беспрестанно носятся по нему огромные глыбы льду — *торосá*, оторванные

бойкими, порывистыми волнами от береговых *припаев* и успевшие в долгом плавании намерзнуть и смерзнуться в длину и ширину на несколько сотен и часто тысяч сажен. С поразительным шумом носятся они по прихоти ветров, один торос за другим, и с визгом, раздражающим нервы, идут они бок о бок, пока новый шторм не раздробит их в отдельные груды — *стамухи*. Длинными *поясами* (полосами) и широкими *полянами* (плотными ледяными полями) ходят по всему океану от берегов и к полюсу все эти тороса и стамухи. Кое-где и вредкую на сереющем пространстве до того вплотную темного моря просвечивают *рынчаги*, как острова, как водяные оазисы посреди *зажившего ропачистого* океана. Но и эти рынчаги недолго остаются свободными, недолго просвечивают в одном каком-либо месте, почти ежеминутно замещаясь или *салом* (комками снега, смытого с торосов волной, но еще не успевшего обледенеть и пристать к ближайшей льдине), или *шугой* — мелким рыхлым льдом, превратившимся в кашу от трения одной льдины о другую. Сало и шуга редко бывают толще четверти аршина. Попадающиеся в океане в виде обледенелого твердого снега только одни и могут считать океан своей родиной. Из них-то и накипают те огромные ледяные массы, которые запирают на $^3/_4$ года живую и деятельную жизнь береговых жителей, так как, по роковому закону, всегда неизбежно направляются именно в эту жилую сторону.

Там, где по пути попадаются полянам и поясам *стамики* — каменистые подводные острова, громоздятся одна на другую целые горы льду, которые при первом порывистом ветре, в свою очередь, образуют новые поляны и новые пояса. Последние тем чаще начинают бродить по морю в конце зимы, что ветры, верные необъяснимым законам природы, начинают переходить в межонные, т. е. дуть уже не с прежним постоянством и настойчивостью, сменяясь, как бы по очереди, одни другими, переходя часто от одного румба компаса на другой, противоположный. Так бывает обыкновенно в начале апреля.

В мае прибрежный лед начинает отодвигаться от берегов и только в конце этого месяца (редко в середине) оставляет океан свободным и чистым. В апреле, когда появляются на Мурмане первые артели промышленников, глубокий снег лежит еще всюду, но заметно уже оседающий к середине этого месяца, когда быстро сокращаются длинные зимние ночи и солнце начинает запаздывать на горизонте все дольше и дольше. Между тем почасту на разных сторонах горизонта появляются редкие, серовато-холмистые полосы, как бы дальний берег, при значительном ветре, сопровождаемые туманами до того густыми, что в двадцати шагах трудно бывает различать ближайшую избенку, соседнее судно. С мачт и снастей последних падают даже почасту комки сгустившейся слизистой жидкости. В конце апреля и начале мая туманы эти разрешаются дождем, при северных ветрах — мелким и настойчивым, при южных — крупным и перемежающимся. Но пока еще не зазеленеют мох и трава по южным отклонам гор, пока еще не слыхать

по берегу ни чаек, ни гагар и льды не все еще унесло к полюсу, воды океана оживают, в них являются две прожорливейшие породы из всех морских рыб — треска и палтус, вместе с невинными жертвами их алчности — сельдями. Лов тех и других составляет главную и единственную цель появления на пустынном Мурманском берегу океана почти всего мужского населения Кемского, Онежского и отчасти Мезенского поморья. Возможность всегдашнего богатого улова, способного вознаградить все труды, издержки и лишения, поддерживает твердость духа и мужество полутора тысяч промышленников, поставленных во всегдашнюю трудную борьбу с враждебными стихиями — океаном и климатом.

До двадцати более значительных, по количеству, станов разбросано на всем протяжении берега от Семи островов до Териберихи (губы) и от Иоканских островов до Кильдина. В каждой становой избе помещается обыкновенно от 12 до 16 человек, и только в крайних случаях больше 20-ти. Весь люд, населяющий места эти летом, с малолетства подготовленный к трудным и однообразно-утомительным работам, начинает настоящую деятельность свою тогда только, когда прибрежья океана очистятся от льда и дадут возможность опускать *ярусá*.

Ярусы эти обыкновенно обряжаются следующим образом: к веревке, свитой из тонкого прядева и называемой *óростягой*, на одном конце прикрепляется уда — крючок, обложенный варом в месте прикрепления, чтобы рыба не могла сорваться. Оростяги эти (или, как иные называют, арестеги, аростяги, длиной в аршин и полтора) привязываются другим концом своим, на расстоянии одна от другой около 4 аршин, к толстым веревкам, концами своими связанным между собой. Меряют же на Мурмане не казенными, или клеймеными, аршинами, а своей властной рукой-владыкой: меряют там «петлей», а в петле этой столько длины, сколько ее приходится от плеча левой руки до конца пальцев вытянутой правой руки. На расстоянии таких двух петель привязываются в ярусе все четыре тысячи оростяг верхними концами своими, противоположными тем, на которых прикреплены крючья с наживкой. Веревки эти, взятые в совокупности с удами и оростягами, и называются *ярусом*. Он обыкновенно спускается на самое дно океана и растягивается на нем верст на 5 и на 6. Для того, чтобы ярус удерживался на дне океана, употребляются особого устройства якоря, состоящие из тяжелого булыжного камня, защемленного в сучковатое полено и укрепленного в нем *вичью*, — древесными кореньями. От якоря на поверхность воды выпускается *кубасная симка*, или *стоянка*,— такая же, как ярус, веревка, к противоположному концу которой, над водой, прикрепляется деревянный поплавок, называемый обыкновенно *кубасом* (длиной почти в 2 аршина, а шириной вершков 8) — род чурбана: таких бывает два на всем ярусе. К кубасу, на верхней поверхности его, плотно прибивается шест, длиной аршина в 2 и 3, с голиком, или веником, на конце, называемый махáвкой. Махавка эта означает место, где брошен ярус, и должна быть приметна из становища. Крючки

наживляются по веснам маленькой рыбкой *мойвой* и *пикшей*, летом — червями, кусочками сельдей, семги и даже той же самой трески и кусочками того же самого палтуса, для которых и сооружается весь этот длинный подводный ярус. Его бросают от берега верст на 5 и на 10 и всегда четыре человека, отправляющиеся для этой цели на особого рода судне, называемом обыкновенно *шнякóй*.

Четверо рабочих *трясут тряску*, т. е. через каждые шесть часов, по убылой воде, осматривают и обирают ярус: коршик (кормщик) правит судном, *тяглéц* тянет ярус, *вéсельщик* улаживает судно на одном месте, чтобы ловче было тяглецу вытаскивать якорь. По мере того как все более и более сокращается стоянка, вода начинает белеть и серебриться, а когда покажутся оростяги, зацепившаяся рыба болезненно бьется почти на каждом крючке. Редко попадает туда какой-нибудь полип, еще реже сельдь. Обязанность наживочника — снять с уды рыбу (треску и палтасов) и, отвертывая им головы, бросать в шняку и опять наживлять крючки новой наживкой до тех пор, пока не осмотрят весь ярус и пока шняка их способна нести на себе всю нацепившуюся на крючья рыбу. Случается так, что в благополучный улов с одного яруса увозят по две и по три полных шняки. Случается и так, что вынимают ярус совершенно пустым: не только без рыбы, но даже и без наживок и уд. Ударят промышленники себя с горя по бедрам, примолвив:

— И так-то мы, братцы, на хозяйское — чужое дело — не падки, а тут вот тебе этакой еще срам да поношенье!

— А все ведь это, Ервасей Петрович, акула, надо быть: прорва эта ненасытная!

— Кому, как не этой лешачихе, беды творить. Подавиться бы ей, проклятой, добром нашим, и, гляди, брюхо-то у ней — пучина морская: чай, облизнулась только. Опять, смотри, придет пообедать. Надо бы, ребята, на другое место якорь-то положить!..

— Надо, Ервасей Петрович, надо! Больно бы надо!

— Опять придет. Надо на другом месте выметать — лучше будет, Ервасей Петрович!

— Али, братцы, и так ладно? — Не придет, чай!

— А и то, Ервасей Петрович, и так ладно, не придет!

— Не придет, Ервасей Петрович, пошто ей прийти?— Сытой ушла.

— Хозяйское ведь добро-то, братцы,— вам что? Известное дело, мы тут ни в чем не причинны. Не намордник же надеть на зверя-то!

— Поди же ты, ребятушки: пришла обжора рыба и поела все. Что вот тут с ней станешь делать?

— Ничего, Ервасей Петрович, не поделаешь: ишь ведь она какая ленивая. На готовом ей складнее жить.

— Черт, а не рыба — прости меня, господи!

— Никак ты вразумить ее не угодишь. Ушла ведь проклятая, далёко ушла, чай, в самое, тоись, голомя ушла.

— В самое голомя ушла, далеко ушла, Ервасей Петрович! — продолжают выплакивать свое горе и неудачу промышленники.

Опять они хлопают себя по бедрам и утешают себя тем, что ничего нельзя поделать с прорвой-рыбой. Опять еще долго качают головами, пока не догадается кормщик прикрикнуть на весельщика, чтобы греб назад в становище.

Первым делом и главной заботой по приходе в мурманские становища исстари водился обычай для каждого из них выбирать старосту. В шутку его называют «старый староста», а на самом деле на него возлагаются самоважнейшие обязанности в этой временной, свободно сложившейся общине. Он разбирает ссоры и разнимает драки, принимая на себя все случайности неприятных последствий и все неудобства гласного разбирательства. Он же уряжает всякий технический порядок в становище, посылает на шняку, указывает время, когда следует выезжать в океан и обирать рыбу, и т. д. Отправлению всех этих почтенных обязанностей предшествует обычное шутливое торжество посвящения в высокий сан этого главного человека изо всех, добровольно собравшихся сюда. Налаживают получше «кережку» — обыкновенные лопарские санки в виде корыта с острым носом и об одном полозе на самой середине днища. В нее сажают избранного старосту, и так как оглобель и дышла в кережке не полагается, то в ременные лямки впрягаются сами проводники, называя такой способ ездою на обывательских без прогонов, а самое торжество «поездом старого старосты». Возят его поочередно от одного стана к другому, в каждом из них все выбегают навстречу, потчуют высокого гостя водкой, а чтобы в то же время показать силу и значение самой артели и власть общины, обливают старосту водой и даже помоями. Весь этот канунный день староста ездит по становищам и возвращается к ночи в свое перепачканным с ног до головы и пьяным до бесчувствия. На другой день, с больной головой, он вступает в свои права и начинает исправлять должностные выборные обязанности.

Здесь, за неимением положительного дела, приходится обыкновенно плести оростяги, сети для семги и сельдей, точить уды, а то и просто спать врастяжку со всей настойчивостью опытных знатоков этого дела. Приготовлением ухи, припасом дров, промыванием бочонков и другими мелкими, утомительными работами заняты ребятенки-подростки, очень метко прозванные зуйками, на том основании, что они, не имея доли в общем участке, пользуются только остатками от трапезы большаков, как маленькая птичка зуек (из породы чаек) хватает все выкидыши, ненужные потроха из распластанных рыб. В чайках-зуйках поморы различают три вида: краеморский петушок (Charadrius hiaticula), глупыш (Ch. morinellus) и малой (Ch. minor), а в зуйках-мальчиках — тех способных, которыми можно подсменить заболевших или загулявших покрутчиков. По распределению занятий при ловле, на шняке не может быть меньше 4 рабочих. Их нанимают на тот рубль, который вычитается у рабочих из пая за каждый день, когда он не выходил в море, хотя бы даже и по болезни. Обыкно-

венно же им выдается подачка только: с каждых двух тюков снасти по одной рыбе. Из-за зуйков-ребятишек крепко и сладко спится подчас помору после неудачного осмотра яруса; зато по два, по три дня не приходится и очей смыкать, когда шибко пойдет на яруса рыба и когда приходится в одни сутки делать по четыре, по пяти добросовестных стрясок. Не говоря уже о хлопотах на воде подле ярусов, не менее хлопотливые работы ожидают рыбаков и на берегу, в станах, особенно если время близится к лету и ожидается скорый приезд хозяев с новыми запасами хлеба-соли, копченого мяса и, главное, крепкого, дешевого заграничного рому, покупаемого обыкновенно в норвежских ближайших портах: Гаммерфесте, Вадзэ и Вардэгузе*.

Работа кипит на берегу, чему немало способствуют светлые, с незаходящим солнцем, полярные ночи. Не всегда крепкие и продолжительные, межонные (летние) ветры способствуют легкому и удачному обиранию ярусов, а постоянное летнее солнце — береговым работам. Работы в море, кроме оборки ярусов, состоят еще и в приготовлении их к делу. Так как тотчас же за тем, как снята с крючков пойманная рыба, оростяги «глушат», т. е. связывают петлей, чтобы, цепляясь друг за друга, они не путались между собой,— перед ловом «снасть разглушают». Приготовляёт ярус, сидя на шняке, тяглец тем, что надевает «тюк» (три связанные между собой «стеклины» или «стояки» веревки) на доску («порубень»), прилаживаемую на шняке, и начинает разматывать и развязывать петли оростяг. Наживочник должен принимать распутанные пучки веревок и поспешать наживлением крючков по мере передачи тяглецом (всех тюков в ярусе бывает от 20 до 30); а разница между стояком и стеклиной заключается в том, что стояк короче (от 40 до 50 сажен) и толще (в мизинец) и служит на меньших глубинах, а в стеклине меньше 50 сажен длины не бывает, а доходит и до 60-ти. Таковы ярусные работы на море, когда приходится «наживить ярус» приманкой до 4 тысяч удяных крючков с заговором и приговором: «Рыба свежа, наживка сальна, клюнь да подерни, ко дну потяни». Береговые работы состоят в том, что тяглец отвертывает головы, кормщик пластает рыбу, надрезая ее по спине впродоль, и вынимает внутренности, вместе с хребетной костью, которые зуйками выбрасываются вместе с головами рыбы в море, как ненужные. Наживочник отбирает для сала максу. Рыба с вынутой захребетной костью назначается в продажу, под названием — *штокфиш*, и потому, полежавши некоторое время в кучах, раскладывается по жердинам, называемым *пáлтухами*, положенным на *éлуях* — толстых бревнах, укрепленных в козлах. Около двенадцати недель рыба таким образом сохнет на этих палтухах, и то только в таком случае, когда не ожидается скорого приезда хозяев. Обыкновенно же треску и палтусину солят вместе с хребетной костью в амбарах, или, лучше, в подвалах,

---

* Эти норвежские местечки на языке поморов превратились в *Омарфист, Васин* и *Варгаев*.

врытых в землю и обложенных дерном. Рыба укладывается плотно от полу до самого потолка штабелями — пластами, рядами. Каждый ряд солится особо и так скупо и небрежно (на 100 пудов рыбы приблизительно 16 пудов соли, лучшего, впрочем, сорта, голландской), что рыба дает впоследствии противный, аммиакальный, одуряющий запах.

Когда придут хозяйские суда, односолка рыба опять укладывается штабелями в судах и снова просаливается, и хотя делается несколько лучшей на вкус, но все-таки не теряет своего противного запаха. Из максы или печонки вытапливается сало или тот благодетельный жир, который известен едва ли не каждому под именем трескового. Языки солятся особо в отдельных бочонках — но очень, впрочем, редко,— так же как и головы, часто сушатся на солнце и идут потом, превращенные в порошок, в пойло домашнему скоту, особенно коровам. Палтус — также главный предмет (после трески) промысла на Мурмане — никогда не сушится, по причине присутствия в теле значительного количества жира (чего недостает телу трески), но солится тем же путем, как треска, и отдает тем же, если еще не более неприятным запахом. Рыба эта портится (горкнет) скорее трески потому особенно, что места около костей снабжены маслянистым жиром; солится же всегда с головой. На ярусах не часто, но попадаются еще небольшие акулы, дающие до 8 и 10 пудов максы (сала). Некоторое время солили ее и продавали простому народу в Архангельске, где не без основания находили ее чрезвычайно вкусной. Кожу, хорошо просушенную, употребляли в становых избах вместо стекол.

В начале весны и даже среди лета, когда вдруг временно перестает идти на яруса рыба, отнесенная сильными ветрами к норвежским и гренландским берегам или перехваченная в окрестностях Шпицбергена (называемого поморами Грумантом) стадами морских зверей: китов, косаток, акул, белуг и проч.,— архангельские поморы, от безделья и скуки, ловят рыбу особым путем — на *леску*. Это — веревка, наполовину тоньше тех, которые употребляются на яруса. К ней привязывается железный кусочек — *грузево*, который тянет ко дну и самую леску, и *перевесло* — железный прут, привязанный поперек ее. К двум концам этого перевесла, к особо приделанным ушкам, привязываются оростяги с теми же крючками и наживкой, как и в обыкновенном ярусе. Когда услышат, что грузево щелкнуло в каменистое дно моря, леску несколько приподнимают и, как при обыкновенном уженье, дальше уже по приглядке замечают: хватила ли рыба наживку. В счастливую пору уловов грузево не успевает доходить до половины пути своего ко дну, как алчная, всегда прожорливая треска на лету хватает приготовленную для нее наживку с роковым крючком.

При сильных ветрах, когда гуляет по океану громадный взводень, с волнами, величиной в порядочный петербургский дом, промышленники сидят в своих становых избах, предоставляя яруса воле божьей и грустно созерцая с высокого берега, как махавка над кубасом, вздрагивая, покачивается на хребте высокой

волны и как захлестнется набегом новой и совсем скроется из глаз, вся ушедшая в волну или сшибенная на бок и не успевающая, как должно, изловчиться. Кубас вместе с махавкой то мигнет на поверхности серебристой воды, то опять спрячется под водой.

— Эка, братцы, пыль какая пошла несосветимая!

— Этак ли еще бывает, Ервасей Петрович!

— Ну да сказывай ты малым ребятам это-то — не знаю, что ли?

— В избе-то теперь ничего: на ярусе так вот, поди, *порато* бы страшно и тебе показалось; а в избе — ничего: вон ребята в карты козыряют, а к ночи, слышь, кто кого обломает — и за вином к лопарям беги: попойку, стало быть, затевают.

— Вечор, Ервасей Петрович, Гришутка таких нам насказал бывальщин, что наши затылки-то все в кровь расчесали.

— Это что, парень?

— Да уж складно больно, Ервасей Петрович: не то тебе плакать надо, не то Гришуткину-то смеху даваться. Так это тебе пел, да все по-церковному, и ко всякому-то слову склад прибирал, как это, вишь, князь Роман Митриевич млад простился со своей княгиней — со сожительницей, выходит,— и поехал, вишь, немчов донимать: что, мол, вы теперича подать перестали платить? Мне, говорит, и то, и се — деньги надо, немча́ некрещаная. Поганый, мол, вы народ, и разговоров терять не хочу с вами! И как это нет его дома год, нет и другой. Схватили его, что ли? Гришутка-то, вишь, не знает. Вот теперича сожительница его и выходит это на крылец, и видит: «бежит из-за моря из-за синя три черныех, три корабля». Она, вишь, и заплакала, да так складно и жалостливо. Гришутка-то, слышь, рожу этак на сторону, глаза-то, что кот, зажмурил, и словно ему княгини-то, значит, больно стало.— Уж и взвыл же он это, как бы вот она сама-то... этак... этак! и рукой-то правой машет, и грудь-то вздымает... этак... этак! Да нет уж, Ервасей Петрович, застать самого его: прослезит.— А я-ко не смогу так!

— Что и говорить, братец, всякому, сказано, зерну своя борозда! А по-стариковски, кто горазд песню петь, сказку сказывать, кто ест спорко да много, скорее всех — тот и в работе золотой человек. У стариков наших, Михеюшко, водился вот какой обычай. Теперь, вишь, оставили вы его и не знаете. Пришли этак-то покрученники к которому хозяину на Мурман-от наниматься: он с ними и слова не молвит, а велит идти вниз в избу, да и выставит им всякой снеди многое число. Ребята-то разъедятся, а он, хозяин-от, на ту пору и сойдет к ним, и сядет этак с боку, чтобы видно ему было всех. Смотрит он, кто ест шибче, кто, свою-то съевши, с чужой ложки рвет — тех и опросит: как-де и звать тебя, и годов тебе сколько? А уж кого не опросил, который на него есьвой-то этой, выходит, не угодил, так лучше и не разговаривай: ступай прямо домой — не возьмет. Лениво-де ешь, ленив и в работе — мне-ко де не надо таких. Мне, говорит, коли человек ест да за ушами у него визжит,— дорогой человек: у этого и в работе руки зудятся. А ведь, почесть, парень, на то и выходит: ест человек

скоро и словно спешит, словно надо ему что-то сделать. А другой пошел этак в потяготку да в распояску, рот-то словно ворота спросонков растворяет, чешется, ложку-то положит на стол да скоро ли еще достанет ее опять — ну, человек тот спать после обеда ляжет; ушатом холодной воды облей его после — не разбудишь.

— Да ведь Гришутка-то, Ервасей Петрович, больно же боек и в работе!

— Да то ведь я и говорю, дураково поле! Горазд Гришутка и на песню, и на сказку горазд, а будущей весной ему и в коршики не зазорно проситься. Лихой, что говорить!..

Действительно, трудно найти хоть один стан на всем Мурмане, в котором бы не нашелся свой потешник — душа и любимец общества, то необходимое лицо, без которого едва ли стоит хоть одна артель в России. Всегда непринужденная веселость, бойкая речь, знание присловий и пословок и умение вклеить их в разговор кстати и у места, простая, но меткая и безобидная шутка над всяким попавшимся под руку своим братом, а пожалуй, и чужим, прохожим человеком, лишь только было бы весело самому шутнику и всем его окружающим,— вот особенности, характеризующие всякого шутника, балясника подобного рода, будет ли он из ямщичьего круга, извозчик ли столичный или тот же архангельский покрученник на пустынном берегу пустынного океана. Это едва ли не одна из главных характеристических особенностей нашего народа, непринужденно и неудержимо веселого на радостях, не унывающего в горе и не способного пасть глубоко перед несчастьями, какого бы рода ни были они. Ломало народ наш всякое горе, ломает оно и теперь подчас крепко больно, а все же в нем еще много сил, и хватит их на столько, чтобы быть поистине великим народом.

— Что это, Григорьюшко, погода-то шибко разыгралась, пылит уж оченно!— затрогивал шутника Ервасей Петрович, разлакомившись похвальными отзывами про него.

— А тебе-то что; твое это дело?

— Ну, да как же не мое-то?

— Да ты что это: дразнить меня, что ли, пришел?

— Пошто дразнить? так пришел: посмотреть, вон, как ты в карты играешь.

— С тем и ладно! Не серди в другой раз, а не то всю родню расскажу. Вишь, проиграл все свои, на хозяйский карман — чтоб он лопнул! — счет пошел. До шуток ли тут? Ужо проиграюсь — расскажу тебе сказку про белого быка.— Шел бы дразнил лучше хозяев-то; кстати, моряну на них несет, авось и услышат. Встань вот этак-то по ветру да и шапку скинь: оголи лысину, тебе же ее не покупать стать, вишь какая заправская выгорела, что Кандалакша позапрошлый год. А виски знай примазывай, присвистывай да приговаривай: «Дуй, мол, моряна, не на вас, мол, хозяев, *надея* (надежда); мать сыра земля народит — накормит, что посеял, то и вырастет».— Да и накрой голову-то шапкой, чтобы знали хозяева, что у тебя и виски есть, и волоса не все вылезли да и

брюхо наполовину против хозяйского будет. Им ведь что, хозяевам-то, было бы семги вдоволь, да чаю много, да рому на досужий час, а ты хоть с голоду лопни — и не почешутся: свое возьмут. Вот что ни стряска, то и их, а тебе только по усам течет, да в рот не канет. Сколько забрался-то у хозяина-то?

— Я, Григорьюшко, только половину взял вперед-от, да и то за нынешнее лето.

— Вот, постой, привезут они тебе рому — сдешевеешь; придешь домой и гроша ломаного на будущую-то весну не дадут за тебя, коли не надломаешь спины от поклонов им да почестей. Я ведь тоже было этак-то сначала, да вижу, всеми очесами-то вижу, что как ни кинь — все клин, взял да и закабалил себя на четыре лета вперед. Хоть патоку гони теперь они из меня, хоть поленья щипли, больше себя не сделаю,— лоб ты взрежь. Вот Михайло-то, да и Степка, да и Елистратко косолапый, да и все, гляди, наперед за два лета забрались. А что еще будет, как сами-то приедут? Им что, хозяевам-то: купил он тебя — так и пляши и ломайся, а уж он обсчитать тебя не преминет. Вон и меня позапрошлый год на десять рублев наказал, да и нонешний, гляди, так же будет, коли не дрогнет рука да не покачнется совесть в груди!.. Живодеры ведь все хозяева-то наши, сатанино племя! богачи, так и... Хлюст, хлюст, братцы! хоть вы-то не обидьте, пустите душу в рай!— завершил свою речь Григорьюшко — баловник и утешитель своей артели.

В начале июня в мурманские становища приезжают сами хозяева на собственных лодьях, привезя с собой муку, соль и другие припасы на остаток лета, с некоторым залишком для начала будущей весны. Явился в свой стан и хозяин шутника Григорьюшки, плотно раздобревший мужик с масленым лицом и зажиревшими пальцами, круглый и гладкий, упрямый и своенравный, по обычаю всех тех мужиков, которые сызмалолетства помаленьку сколачивали рубли и в сорок лет считают уже не только сотни, но и тысячи. В неизменной синей сибирке, в жилетке, личных сапогах и суконной шапке с глянцевитым козырьком, хозяин сановито, важно вылезает на берег, приветствуемый собравшимися работниками:

— Добро пожаловать, Евстегней Парамоныч, на наши промысла с молитвой да со святым благословением!

— Благополучно ли пронесло твою милость?

— А бойкие ветры были, бойкие, Евстегней Парамоныч!

— Ну, как-то вы живете-можете? Все ли по божьему благополучию?

— Твоими молитвами, Евстегней Парамоныч! Живем!..

— Как ты, Григорьюшко? шутки шутишь?

— Как не шутить, Евстегней Парамоныч? Кабы на животе-то плотнее лежало — спал бы!..

— Ну, а ты, Ервасей Петрович?

— Да вот, видишь, трясочку встряхнули: почесть не полная шняка вышла, да вечор три обрядили. Рыбинки дал бог — благо-

дать. Рыбинки нонешний год дал бог: амбарушку полную посолили, да еще пол-амбарушки станет. Сушить уж начали, и той пудов с сотню наберется. Посмотри, Евстегней Парамоныч!

— Ладно, други, ладно, так-то! С вами хоть бы век промысла обряжать: вот уж, гляди, и с залишком снасть-то окинулась... поочистилась! Неси-ко, ребята, с лодьи угощение: рому ямацкого я из Норвеги прихватил, позабавьтесь!

— Благодарим на почестях: много довольны!

— Продли господь твою жизнь на кои веки!

— С внуками тебе радоваться да и с правнуками! Не прикажешь ли — разведем веселенькую, Евстегней Парамоныч? — спрашивал шутник Григорьюшко, почувствовавши всю прыть и задор от прохватившего его насквозь нефабрикованного, заграничного одуряющего рому.

— Станем, братцы, хозяина ноне чествовать, а завтра, что бог даст: может, и поедем к ярусу, а может — и нет! Ну-ко разливанную-то приударим!

Пьет и поет и пляшет весь промысловый люд на Мурмане с приездом тороватых хозяев. Но как во всех подобных пиршествах редко простой человек обходится без загулу на трои, на четверо суток, то мурманские промышленники куражат не один день, тем более что за хмельное наличными платить не из чего да и неоткуда: хозяева после рассчитывают и охотно выпаивают весь ром, прихваченный в Норвегии. Более догадливые и радеющие о себе хозяева, естественно, тут-то и руки греют, и рыбу удят. Более честные и предостерегут, пожалуй:

— Смотри, ребята, ноне по серебряному рублю платил за бутылку-то!

— Да хоть бы и по три четвертака пришлось тебе гуртом-то, давай, не бойсь — коли есть еще — не стоим! Ты нам не указывай: сами хозяева! Вот хотим на ярус ехать — едем, а нет, так хоть лыки дери ты с нас. Ты нам не указывай — сами хозяева!..

— Что мне указывать? Зачем я стану, дружки мои, вам указывать?

— Вот это дело, это по-нашему! Слышь вон гармонию? Ну и давай, рому давай, коньяку давай! Водки мы вашей поморской и знать не хотим. Водка эта — вода, звания не стоит, тьфу!..

Лучшим спасением в этих попойках-загулах более или менее скорый отъезд хозяев со свежей первосолкой треской в Архангельск. Еще дня два гуляет промысловый народ и стоят яруса нетронутыми. Время и обычай, однако, берут свое. Чаще стали выплывать шняки на голомя, реже несутся из становищ песни и пьяные выкрики: или хозяева уехали, или наконец истощился запас привезенного ими вина. Снова обычной чередой идут стряски и посол выловленной рыбы, снова смешки и подсмеивания над хозяевами, и снова тянется целый ряд волшебных сказок про Бабу-Ягу, костяную ногу, про царя Берендея, про Яшку, красную рубашку, и проч., и опять по субботам и перед большими праздниками поются старины стародавние про Романа Митриевича, про Егорья-света

храброго, про царя Ивана Грозного, про Иосафа-царевича, про Иосифа прекрасного и проч., и проч. Между делом, при затянувшейся неблагоприятной морянке, досужие мастера работают разные безделушки. Отсюда те модели корабликов, лодей, раньшин со всеми снастями, которыми изукрашены палисадники, ворота и светелочные балконы в богатых домах богатых поморских селений. Отсюда же и те голубки, гнутые из лучинок и раскрашенные, которыми любят украшать потолки своих чистеньких зал все богачи прибрежьев Белого моря. Мешая дело с бездельем, к августу месяцу мурманские промышленники успевают наловить и насолить рыбы достаточно для того, чтобы часть оставить для будущей весны, а другой нагрузить ра́ньшину*, если они поедут по хозяйскому наказу прямо домой, и лодью**, если велено им ехать в Архангельск к Оспожинской или Маргаритинской (в сентябре) ярмарке.

Наступает вожделенный, давно ожидаемый август месяц. Рыба идет заметно не дружнее, чем в межонное время. Дни убывают, и солнышко давно уже уходит в море, и чем дальше за первого Спаса идут летние дни, тем дольше ночует солнышко в море. Морские ветра отдают крепким осенним холодом, а летние дуют и реже, и далеко непостояннее. Морошка, которой такое обильное количество на всей тундре за гористым берегом, поблекла, заводянела: гнить ей скоро придется. Чаечьи вы́водки, чабары, стали большими птицами и покрикивают сильнее и учащеннее, чуя свой скорый отлет в теплые дальние страны. Показались кое-где даже вороны со своим зловещим криком, редкие летние гости Мурмана. Лист на березках и ивняке начинает крепко желтеть, и к концу августа слетит, и прогниет на сырой влажной тундре к середине сентября, когда выпадает первый снег, который почти всегда бывает зимним нетающим снегом. После Успеньева дня завязываются частые холодные туманы и начинают дуть северные, попутные в Архангельск, ветра.

— Попадешь на них в добрый час — сутки в трои угодишь к ярмарке! — думают промышленники, которым уже далеко теперь не до песен и загула. Нагрузивши лодью доверху самой свежей, самой лакомой для архангельского люда треской, они покидают Мурман под присмотром соседних лопарей, всегда верных и честных в исполнении раз данного им обещания. Помор, в этом отношении, покоен: у него ничего не пропадает, ни даже фунта из оставленной им про весенний запас трески. Зверя бояться нечего: медведь не охотник до рыбы, да он сюда и не ходит. Не ходят на Мурман и другие звери, предпочитающие для своих прогулок и обсемьянения огромную лопарскую тундру, где им предстоит меньше опасности вдалеке от жилья и людей. Только неискусившиеся, неопытные из них близко подходят к селениям, на свою

* См. дальше статью «Беломорские суда».

** Описание лодьи, вместе с прочими, сделано также подробно в статье «Беломорские суда» (см. дальше).

беду и конечную погибель в силках и разного рода и вида капканах.

Впрочем, надо заметить кстати, что коляне, как ближайшие соседи океана, являются на нем за треской не один раз в год. В марте идут они на так называемую *вешну* и к Петрову дню приезжают назад за сухой рыбой. Стараясь рассчитаться с хозяевами в долгах, они идут в начале июля на *летню* и обряжают ее всю от себя и на себя. Около Успенья возвращаются домой и с Ивана Постного[66] отправляются третий раз на *подосенок*, и тогда промышляют до Воздвиженья[67]. Выловленную в это время рыбу солят для себя на зиму; затем, починивши сети и напекши хлеба, идут около Покрова на *осенню*, возвращаясь с ней домой к Дмитриеву дню или к Филиппову заговенью, около 13 ноября, с свежей мороженой рыбой, которая и идет в Петербург. Перед Веденьевым днем[68] уходят на *зимню*, и рыба с этого промысла идет также в Петербург, через посредство села Шунги, в котором бывает две зимние ярмарки: Никольская и Благовещенская.

Таким образом, в конце августа и в начале сентября, вообще во все лето пустынное, Белое море заметно оживает. Редкий день не пробежит на его волнующейся от частых осенних ветров поверхности пять-шесть разного рода судов: и неуклюжие лодьи, и красивенькие ходкие шкуны, и раньшины, и большие и малые карбасы. Все это направляется в Двинскую губу, к двинским устьям и дальше в Архангельск. В начале сентября вся Двина перед городской пристанью вплотную заставлена уже беломорскими судами. Пристань — длинная, покатая к реке площадь гостиных рядов — оживлена так, как никогда в другое время года. Торговки, являющиеся туда из городских слободок Кузнечихи и Архиерейской только по вторникам, теперь торгуют на площади целый день перед столиками, закладенными шерстяными чулками, всякой рухлядью, подержанной и подновленной, и заставленными самодельными компасами, имеющими на поморском наречии название *маток*. На плотах набережной целые артели поденщиц-женщин, называемых по-архангельски *женками*, обмывают треску от той грязи, которая напласталась на рыбе в мурманских грязных амбарах. Отсюда-то, и со всей пристани, и со всех беломорских судов, и от всех рослых богатырей-поморов, расхаживающих по рынку и по всему городу, несется тот характеристически неприятный запах трески, который не дает покоя нигде на всем протяжении бестолково-длинного Архангельска и даже в адмиралтейском Соломбальском селении. По улицам то и дело снует местный люд, прихвативший два-три звена любимой лакомой рыбы и в плетушку, по здешнему — туес, и в лукошко, и так под мышку. Дорвались до дешевого, вкусного, сытного и здорового добра, навезенного в таком огромном количестве поморами с Мурмана: и приземистый, коренастый матросик рабочего экипажа, и инвалидный солдатик, и гарнизонный молодец, и соломбальская щебетунья-торговка, солдатская вдова, торгующая всяким добром на потребу неприхотливого местного населения самого северного и самого

холодного из наших губернских городов. Несут треску и на трапезу бедного писца любой из палат, и для стола губернских аристократов: будет ли он из чиновного люда или из нѐмцев, искони пустивших корни в архангельской почве и почти сроднившихся с нею и наживших там большие капиталы в торговле с Европой.

Всем в Архангельске угодили мурманские промышленники; угодят еще больше и дальним городам, когда олонецкая Шунгская ярмарка отправит сушеную треску целыми вереницами возов по трем смежным губерниям, пройдет эта треска и в Петербург и на Сенной площади этого людного города накормит дешево и сердито целые сотни *толкученских* бедняков из серого, простого, доброго народа русского.

Пока таким образом поморы, облегчившие свои лодьи от мурманской клади, разгуливают покойно по городскому рынку, покупая для себя кто сапоги смазные, кто сибирки, кто новые городские шапки и перчатки, кто платки и ситцы на обновы домашним, или весело пропивают залишек в спопутных кабаках, которых так много в Архангельске,— дома, в родных семьях их, с последними числами сентября, начинаются все припадки нетерпеливых ожиданий большаков. Всякое судно, издалека еще показавшее свой белый парус, приводит в волнение целое селение. По мачте, по окраске судна, по мельчайшим, тончайшим, едва приметным для непривычного глаза признакам узнают, местное ли судно или ближней деревни и какого хозяина. Живы ли все, благополучно ли было плаванье в город: писем получить не с кем. Последние вести шли еще с Мурмана от хозяев и случайно от проезжавшего рассыльного земского суда. Между тем море бурлит уже по-осеннему, холода стоят сильные и бури вздымают море с самого дна. Раз начавшийся крутой морской ветер тянет трои-четверы сутки без перемежек, без устали. Того и гляди, при упорном севере и полуношнике (с.-в.) закует речонки и губы, а там уж недалеки и береговые припаи в самом море. Ветры все противниками смотрят, и зато почти не видать совсем никакого судна, не только своего.

Ноют бабы и плачутся друг другу на крутые, тяжелые времена:

— Чтой-то, женки, словно и не бывало такого горя: такая-то дурь, не глядела бы!..

— И не говори, желанная, словно на зло нам и погоды-то такие дались. Не наговорил ли кто?

— А то, девонька, не пустил ли кто с Корелы на нас этакое несхожее попущение? Делают ведь...

— Делают, богоданная, ангельская душа твоя, делают! Есть там такие: вот стрелья пущают же!

— Пущают, кормилка, пущают, желанная моя! Экой грех, экое горе!

— И не говори, девонька; такой-то неизбывной грех, такое-то злоключение! Ой, господи, ой, соловецкие святые угодники!..

— Да помолиться нешто, женки, Варлаамию-то Керетскому: дает ведь поветерье-то, посылает!

— И то, разумницы, помолиться: легче станет, на душе рай расцветет.

— Расцветет, кормилицы, расцветет и... полегшеет.

Молятся бабы о спопутных погодах и целым селением, и каждая порознь — в одиночку, всякая о своем сердобольном. Целым селением ходят к морю дразнить ветер, чтобы не серчал и давал бы льготу дорогим *летнякам*. Для этого они предварительно молятся всем спопутным крестам, которыми так богаты все беломорские прибрежья, где на редком десятке верст не встретишь двух-трех деревянных крестов. На следующую ночь после богомолья все выходят на берег своей деревенской реки и моют здесь котлы; затем бьют поленом флюгарку, чтобы тянула поветерье. Тут же стараются припомнить и сосчитать ровно двадцать семь плешивых из знакомых своих в одной волости и даже в деревне, если только есть возможность к тому. Вспоминая имя плешивого земляка, делают рубежок на лучинке углем или ножом; произнося имя последнего, двадцать седьмого, нарезывают уже крест.

С этими лучинами все женское население деревни выходит на задворки и выкрикивает сколь возможно громко следующий припевок:

Вcritical

Сток да обедник

Пора потянуть!
Запад да шалоник
Пора покидать!
Тридевять плешей,
Все сосчитанные,
Пересчитанные,
Встокова плешь
Наперед пошла.

С этими словами бросают лучинку через голову, обратясь лицом к востоку, и тотчас же припевают следующее:

Встоку да обеднику
Каши наварю
И блинов напеку;
А западу, шалонику,
Спину оголю.
У встока да обедника
Жена хороша,
А у запада, шалоника,
Жена померла!

С окончанием последнего припевка обыкновенно спешат посмотреть на кинутую лучинку: в которую сторону легла она крестом — с той стороны и надо ожидать ветер. Но если опять возвестит ветер неблагоприятный, прибегают к последнему, известному от старины, средству: сажают на щепку таракана и спускают его в воду, приговаривая: «Поди, таракан, на воду, подними, таракан, севера».

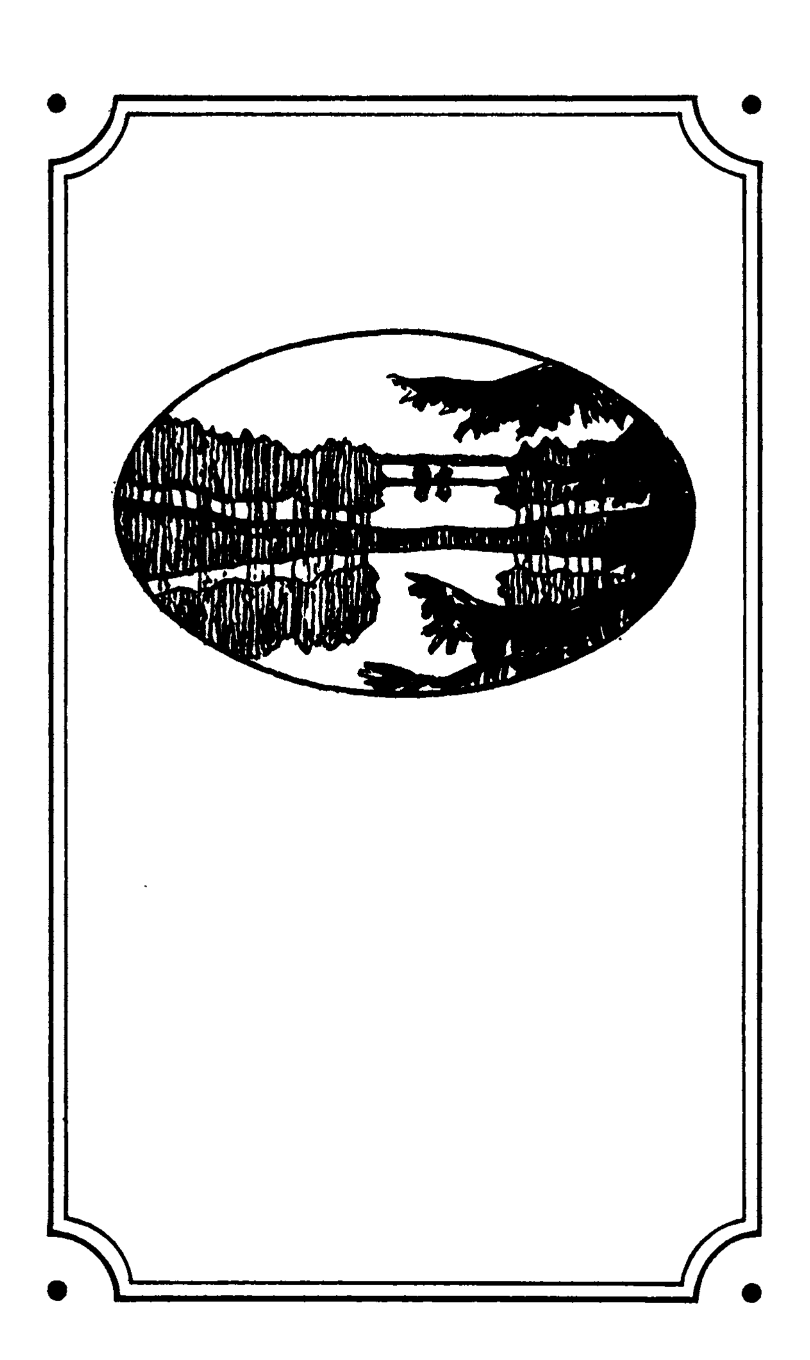
Но вот с колокольни, откуда уже целый день не сходят ребятишки, несутся их радостные, веселые крики: «Чаб, чаб-чебанят,

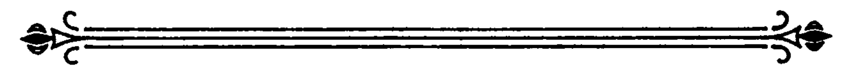
матушки-лодейки, наши деревенски!» Вся деревня целым своим населением бежит на пристань, к которой легонько подвигается то безобразное судно, которое и на ходу тяжело, и в бурю опасно, и за то теперь почти уже покинуто. Сходят с лодей на берег и мурманщики, цветущие еще большим здоровьем и крепостью, чем были перед походом в дальнюю сторону. Полнота и завидная свежесть лиц немало свидетельствует о том, что чистый морской воздух, которым довелось им питаться в самую лучшую часть года, постоянные, ломовые работы, так благодетельно укрепляющие мышцы и весь состав человека, чарка, употребленная вовремя и в меру, и, наконец, тресковое сало, топленное из максы и служившее вместо чаю по утрам и на ночь, возымели на телосложение хотя и не ладно кроенного, но крепко шитого русского человека все свое спасительное, благодетельно-укрепляющее влияние.

— Красавцы вы наши, благодетели, радости вы наши небесные! Разнесло-то вас, раскрасавило! Жилось без вас — тужилось, а теперь вот и счастье наше прилучилось! Не ждали вас, не гадали ноне, а сталось так, что по-вашему, а не по-нашему. Светы вы наши красные! — причитывают обрадованные до последнего нельзя бабы и будут еще несколько дней вычитывать все ласкательные приговоры и прозвища, какие только есть в их наречии, вообще богатом и, до сих еще пор, сохранившем в неприкосновенной целости следы славянского (новгородского) элемента.

Между тем, на первых же днях приезда, покрученники получают от хозяев расчет: более радеющие о себе успевают получить наличными. Забравшиеся и не умеющие сводить концы с концами, естественно, очищают только некоторое количество долгу и почти всегда тут же должают и на будущие весны.

Если ни одна заработанная копейка, полученная гуртом и всегда в час добрый, не обходится без *вспрысков* везде, во всех концах громадной отчизны нашей, то и здесь точно так же кабак и его содержатели получают огромный процент в общей складчине трудовых, кровных денег, от которых тяжело, и весело, и легко, и грустно, пожалуй, тому же самому помору. В глухую осень и холодную зиму успевает он отлежаться и отдышаться до того, что с первыми признаками весны его опять тянет в море, которое, по морскому же присловью, хотя и горе, а без него ему вдвое. «Море,— говорят поморы,— наше поле: даст бог рыбу — даст бог и хлеб».





Часть вторая

I

ТЕРСКИЙ БЕРЕГ БЕЛОГО МОРЯ

Физический вид на всем далеком протяжении его.— Лопари: их быт и нравы с исторической и этнографической сторон.— Преподобный Трифон.— Печенгский монастырь.— Прежнее местожительство лопарей.— Лазарь Муромский.— Шведское владычество.— Одежда и жилища.— Крестовни.— Озерная рыба.— Лопари по сравнению с самоедами.— Занятия лопарей.— *Лов семги*: село Кузомень, село Ва́рзуга.— Заборы для рыбы и другие рыболовные снасти, употребляемые на Терском берегу и в других местах северного края.— Нравы и обычаи семги.— Лох и вальчак.— Уменьшение рыбы.— Заборщик.— Водолазы.— Пунды.— Тайники.— Юрики.— Подледна.— Гольцы.— Дальнейший путь мой по Терскому берегу мимо Умбы и По́рьегубы.— Серебряная руда.— Впечатления при переезде через Кандалажскую губу в бурю.— Волчья ночь.— Забытое и заброшенное в крае.

Теми же высокими гранитными скалами, до 25 и 30 сажен высотой, как Мурманский и Корельский берега, начинается и Терский берег от Святого Носа. Таким же гранитным утесом кончается он в вершине Кандалажского залива. Выкрытые тундрой, с вечным снегом в оврагах, темно-красноватые горы эти тянутся до реки Поно́й, за изгибами которой разбросано первое селение Терского берега — село Поной, с деревянной церковью, с 20 домами, с таким же количеством обитателей (между которыми встречаются уже оседлые лопари) и с забором для семги, выстроенным поперек порожистой, глубокой реки. Той же тундрой и беловатым ягелем — оленьим мохом — выкрыты горы и прибрежные скалы берега на дальнейшем протяжении полуострова до реки Пулонги. Редко горы эти и прибрежные скалы поднимаются свыше 50 сажен, но большая часть из них, уже около острова Сосновца, покрываются мохом зеленоватого цвета и мелким кустарником, который, по мере приближения берега к реке Пулонге, переходит постепенно в реденький, невысокий сосновый и березовый лес.

Беднее и бесприветнее вида этого прибрежья можно представить себе один только голый Мурманский берег океана, продолжением которого можно считать безошибочно всю северную, печальную часть Терского берега. Около Пулонги начинаются уже песчаные осыпи и кое-где глинистые прикрутости, которые, при устье самой большой из рек Терского берега — Ва́рзуги, являются сплош-

ным песчаным полем, кое-где испещренным невысокими песчаными холмами в середине этого поля и более высоким, менее редким лесом по окраинам его. Пять только селений приютились на всем этом бесприветном протяжении Терского берега, до устья реки Варзуги, при устьях маленьких речек, на береговых прикрутостях. Во всех этих селениях можно видеть деревянные часовни, в редком церковь. Таковы Пялица (20 дворов), Чапома (22), Стрельна (4), Тетрина (30) и Чавонга (13). Из деревень этих только одна Тетрина, как бы в исключение из общего правила, не прячется за дальними коленами реки, дальше внутрь земли от устья, но видится с моря всецело на мыске, у подошвы голой гранитной крутизны; оттого и самый вид деревни картинно своеобразен. Так же приглуб Терский берег и на этом половинном протяжении своем (от Поноя до Варзуги), как приглуб он и везде дальше до Кандалакши. Кое-где и около него есть песчаные отпрядыши и глубокие острова, между которыми по величине замечателен *Сосновец*, служивший в недавнюю войну станцией судов соединенного англо-французского флота.

Остров этот голым камнем, прорезанным кварцем на десять сажен, возвышается над поверхностью моря, в недальнем (2 мили) расстоянии от берега, и идет на 600 сажен в длину и на 320 сажен в ширину. Издали видится на нем красная башня, а на западном берегу несколько крестов. Теми же крестами в некоторых местах установлено и все прибрежье. Кресты эти и становые избы кое-где на южных отклонах гор успевают еще поддерживать веру в то, что едешь не окончательно пустыми, безлюдными местами, что если теперь не видно жизни, то, во всяком случае, была она прежде, будет потом. Только около редких бедных селений успеваешь встречать живого человека: это или рыбак, выехавший с товарищами осматривать сеть, пущенную в море, или иногда куча девок с песнями и смехом плывут в таком же карбасе на ближний остров докашивать траву или добирать ягоду, успевшую уже созреть на то время (конец июля). Забравшись в селение, встречаешь те же чистые избы, тех же приветливых и словоохотливых русских мужичков с их своеобразным, в высшей степени типичным говором, с их бытом, сложившимся под иными условиями, при иной обстановке, чем во всяком другом месте Великой России.

Заселение Терского берега славянским племенем — одновременно с заселением этим же племенем всего севера России. Уменье освоиться с чужой местностью, в течение этих шести-семи веков, как с родной, дает почти прямое право считать русское племя за аборигенов прибрежьев Белого моря, а настоящих аборигенов — финское племя, лопарей,— как пришлецов, как гостей на чужом пиру, и притом гостей почти лишних и ненужных. Так скоро умело более сильное и развитое племя подчинить своему влиянию слабое племя инородцев! Лопарь теперь не более как работник, батрак, раб-невольник у русских обитателей Терского берега. Некоторой самостоятельностью (хотя, в то же время, незначительной) пользуются из лопарей только те, которые поселились своими

вежами в глуши Лапландского полуострова, вблизи озер, или на почтовом тракте между Кандалакшей и Колой, вблизи больших и рыбных озер. Зато все лопари Мурманского, а тем более Терского берега издавна уже существуют работами, задаваемыми им русскими промышленниками, и большей частью или уже обрусели, или находятся в последнем, близком к этому великому делу, периоде.

Лопари, или собственно так называемая «терская лопь», встречаются поодиночке не только на Мурмане, но и у реки Иоканки, и на берегу Лумбовского залива (до 80 душ), и в каждом селении Терского берега работниками у богатых хозяев. Семьями или целыми погостами встречаются они только у реки Поноя (свыше 50 душ), около острова Сосновца (свыше 20 душ) и верстах в 20 от селения Кузреки. В первом случае они живут у моря и ради моря, а потому посильно кладут и свою долю влияния на отправление звериных промыслов и рыбной ловли больше, чем корелы.

Резко бросается в глаза низенький лопарь, всем обличием заметно отмеченный от соседнего русского люда. Глянцевито-черные волосы щетинисто торчат на голове и, кажется, никогда не способны улечься; они висят какими-то неровными клочьями над лбом, из-под которого тупо и лениво глядят маленькие глаза, большей частию карие. Несколько выдавшиеся скулы, значительной величины разрез рта делают из лопаря некоторое подобие самоеда, если бы только все черты лопаря были менее округлы, если бы разрез глазной был у́же и самая смуглость лица была бы сильнее. Лопарь, напротив, в этом отношении составляет как бы переход от инородческого племени к русскому, хотя бы, например, от того же самоеда к печорцу. Правда, что в то же время лопарь сравнительно выше ростом самоеда, менее плечист и коренаст, хотя и далеко не дошел до русских, между которыми попадаются истинные богатыри и красавцы. Зато, в свою очередь, несравненно легче и понятнее говорит лопарь по-русски, чем картавый самоед, и хотя лопарь любит вставлять, *уснащивать* (по местному выражению), в свою речь лишние, не имеющие никакого смысла слоги, вроде *ба*, *ото* и проч., и свои родные, коренные слова — все же его понять можно и даже, при случае, разговориться с ним. Продолжая далее сравнение лопарей с самоедами, находим не лишним сказать, что самоеды уходят далеко от своей родной тундры, сбирают милостыню в Архангельске; лопарь же, в свою очередь, редкий и случайный гость этого города и почти никогда не оставляет своей вежи надолго. Если самоедское племя многолюднее, а лопарское малочисленнее и если самоедов только в последние десятилетия настоящего века начали обращать в христианство, то лопари давно уже христиане.

Лопари, как говорят летописи, в княжение Василия III явились в Москву с данью и произвольной просьбой дать им проповедников Евангелия. Тогда же (в 1527 г.) отправлен был с ними архимандрит Феодорит, успевший просветить Христовым учением лопарей, живших около Колы, и даже будто бы перевести

некоторые церковные книги на туземный язык. Но в настоящее время не сохранилось ни книг, ни даже каких-либо преданий и известий о Феодорите. Более памятным и высокочтимым всем лопарским населением остается св. Трифон, апостольствовавший в дальних северо-западных пределах Лапландии одновременно с Феодоритом (около половины XVI века). Мерами кротости, личным примером безупречной добродетельной жизни преподобный Трифон успел в короткое время обратить полудиких соседей своих в христианство и построил на реке Печенге монастырь, восстановленный в настоящее время. Вот краткая история этого Кольско-печенгского монастыря, некогда самого северного и самого дальнего изо всех существующих в России. Первый храм, построенный Трифоном, посвящен был имени св. Троицы и освящен иеромонахом Илиею, которого нашел преподобный в Коле. Этот же иеромонах постриг Трифона в монашество. Трифон отправился в Москву просить грамоты у царя Грозного, встретил царя на пути в церковь, подал челобитную и тогда же получил в дар от царевича Федора верхнюю одежду и от самого царя (22 ноября 1556 года) жалованную грамоту. Монастырь получил «на пропитание в вотчину морские губы: Мотовскую, Лицкую, Урскую, Пазрицкую и Навденскую», и с тем, чтобы «в море всякими рыбными ловлями и морским выметом, коли из моря выкинет кита, или моржа, или какого иного зверя, и морским берегом, землею, островами, реками и малыми ручейками и с верхотинами, и топями, и горовными местами, и пожнями, и лесами, и лесными озерки, и звериными логовищи, и лопарями, которые лопари наши данные в той Мотовской и Печенгской губе ныне есть и впредь будут, и со всеми луговыми угодьи и своими, царя и великого князя денежными оброки и со всеми доходы и с волостными кормы, и тем им питаться, и монастырь строить». При царе Феодоре Иоанновиче (в 1590 году) шведские финляндцы, жившие близ Колы, сожгли церковь Успения, стоявшую в 26 верстах от монастыря. Стояли потом 7 дней под самым монастырем и в день Рождества Христова, тотчас после литургии, умертвили всех бывших в ограде, ограбили церкви и сожгли и разрушили до основания весь монастырь. Феодор Иоаннович повелел перевести обитель в Колу, но она здесь вскоре сгорела, и вновь выстроена (в 1619 году), уже при царе Михаиле Феодоровиче, за рекой Колой. Монастырь управлялся игумнами; в 1701 году, по указу Петра Великого, приписан был к архиерейскому дому, а потом к кольскому собору. Церковь упраздненного монастыря сожжена вместе с городом соединенным англо-французским флотом в 1854 году.

Далеко прежде появления Феодорита в Лапландии лопари — по свидетельству соловецкого летописца,— вскоре по основании Соловецкого монастыря, уже имели веру во Христа: «Много от тех лопарей прихождаху во обитель преподобных отец Зосимы и Саватия и, остригающе власы глав своих, бываху мниси». В другой соловецкой рукописной книге, «Сад Спасения», говорится, между прочим, следующее: «Древле быша сии вышеречении родове, яко

зверие дивие живуще в пустынях непроходимых, в расселинах каменных, не имуще ни храма, ни инаго потребнаго к жительству человеческому; но токмо животными питахуся, зверьми и птицами и морскими рыбами, одежда же — кожа еленей тем бяше. Отнюдь бога истиннаго единаго и от него посланнаго Иисуса Христа ни знати, ни разумети хотяху; но им же кто когда чрево насытит, тогда оно и бога си поставляше, и аще иногда каменем зверя убиет — камень почитает, и аще палицею поразит ловимое — палицу боготворит, еже и ныне в самоядцех зловерие закаменелое обретается, еще и в лопарех, обаче *отчасти*». По крещении Трифоном лопари, оставшиеся еще в язычестве, стали называться лопью некрещеною, но уже недолго. Другое свидетельство о лопарях находим у Павла Иовия, жившего в России при Василии III. Он говорит: «На самом дальнем берегу океана живут лапландцы, народ чрезвычайно дикий, подозрительный и до того трусливый, что один след чужестранца или даже один вид корабля обращает их в бегство; москвитяне не знают свойств этого народа; торговля мехами производится без разговоров, потому что лапландцы избегают чужих взоров. Сличив покупаемые ими товары с мехами, они оставляют меха на месте, а купленное уносят, и такая заочная торговля производится с чрезвычайной честностью».

Другие исторические свидетельства приводят нас к тому заключению, что лопари в переселении своем шли с юга, и именно от Онежского озера, где некто муромский монах Лазарь[1] видел их еще около половины XII столетия и звал *лопянами*, *сыроядцами*, зверообразными людьми. Он тогда же хвалил их кроткие нравы, рассказывая об общей благодарности и желании стать христианами после того, как удалось ему исцелить слепого сына одного из лопарских старшин. Даже случилось так, что отец исцеленного, имевший жительство на Рандозере, сделался монахом и все сыновья его крестились. Те же лопяне (жители северного побережья Онежского озера), которые сначала гнали святого мужа с острова Муромского, сожгли его хижину, притесняли и даже били,— впоследствии сами оставили те места, «отыдоша в пределы окиана-моря». Это начальное переселение лопарей далее на север, очевидно теснимых новыми пришельцами, находившимися под защитой и покровительством сильного Новгорода, случилось, несомненно, ранее 1352 года, когда св. Лазарю Муромскому выдана была посадником Славянского конца Иваном Фоминым владельческая грамота на остров Мучь, озеро Муромское с окрестностями. В начале XI столетия лопари делаются известными истории и уже как данники Великого Новгорода. Новгород разделил их на два разряда: *двоеданных* и *троеданных* — и к последним приписывал тех из них, которые переходили за норвежскую границу добывать промысла. Дань эта состояла сначала из шкурок пушного зверя и рыбы, а потом уже из денег. Только при Иоанне III лопари начали сами возить эту дань в Москву, но до того времени отдавали ее нарочно присылаемым приставам, которые и обязаны были ездить и ходить по ближним и дальним погостам.

Посильно отбывая государственные повинности, лопари в то же время находились во враждебном отношении к тем из своих единоплеменников, которые подчинились норвежцам и в страны которых наши лопари ездили за промыслами. Происходили ссоры, драки, кровопролития; требовалось положить между соседями политическую, правительствами обусловленную, границу. Около пятисот лет тянулось это дело. Шведы неоднократно присылали уполномоченных, являлись и московские (в 1526, 1592, 1595, 1601); затевались споры, происходили разногласия, дело не подвигалось вперед, требовалось решение спора оружием. Шведы в 1591 году овладели Сумским острогом, сожгли монастырь Печенгский; московские войска под предводительством двух братьев, князей Волконских, опустошили северную Финляндию. Некто Валит — «ратный человек и к рати необычайный охотник, собою дородный», из знатных новгородцев,— ходил на Мурман, поставил огромный камень и, окружив его двенадцатью рядами каменных стен, назвал Вавилоном,— говорит финское предание (не сохранившееся у лопарей). То же самое соорудил этот Валит и на месте нынешней Колы. Шведы отдали ему все Лопорье до реки Ивгея, так что лопари сделались новгородскими данниками. Царь Борис начинал дело о границах, но не кончил; начавшаяся неурядица государственная затянула это дело надолго. Екатерина II, в 1784 году, подняла вновь вопрос этот, но также не кончила совершенно. В 1809 году, когда Финляндия присоединена была к России, границы эти были приведены в бóльшую ясность. Так было до 1822 года, когда норвежские солдаты из крепости Вардэгуза, приехавши к берегам, принадлежавшим к Пáзрецкому погосту, нарубили там дров во исполнение уже давнего обычая похищать лопарскую собственность. Лопари принесли жалобу кольскому исправнику. В дело это вмешалось шведское правительство; присланы были уполномоченные и тогда же получена новая жалоба от *финнманов** (норвежских лопарей, *финнманов*, *фирманов*) на русских лапландцев. Все это, взятое вместе, послужило к тому, что в 1825 году русский полковник Галямин и шведский полковник Сперк назначили окончательно границу эту по реке Пáзреке (Пазвигу). По конвенции между русским и шведским правительствами, подписанной в 1826 году, положено, чтобы норвежские семейства, а равно и семейства русских подданных, живущие на землях, которые навсегда достаются в удел России или Норвегии, оставались на месте их жительства или переселились на землю другой державы в течение трехлетнего срока. В течение шести лет те и другие имели право ходить на землю другой державы для производства

* *Финнманы* — живут в трех торговых крепостцах: большом и малом Вадзэ, в Несби и в селениих при Варангском заливе океана: Нявдеме, Пазе и Ровдиной. Образ жизни, одежда, язык и нравы ничем почти не отличаются от русских лопарей, но зато финнманы несравненно богаче последних количеством голов рогатого скота и оленьих стад. Рыбная ловля и морские промыслы значительно способствуют пополнению этого количества. Финнманы разделяются на *горных* (Fieldfinner) и *морских* (Seefinner).

там по-прежнему рыбной и звериной ловли, соображаясь, однако, с правилами внутренней полиции и таможенными учреждениями. Оленей позволялось пасти только на тех местах, которые названы общими (Fellesdistricter).

В правительственном отношении лопари в настоящее время стоят наравне с прочими государственными крестьянами: платят подати, исправляют земские повинности, но в то же время освобождены от личного рекрутства, платят вместо того, в рекрутский год, 150 руб. сер. с рекрута.

Закутанный в оленьи меха, лопарь живет по зимам в своих зимних погостах внутри Лапландского полуострова и только на лето перекочевывает к морю или океану. Тот же совик, что и у самоеда (но, на этот раз, называемый *печóк*, нераспашной, с колпаком для головы), те же оленьи высокие сапоги — *яры*, с длинным и острым носком, шапка с длинными ушами, опушенная росомашечьим мехом, спасают лопаря от суровостей полярного холода. *Юпа* — тот же *печок*, но не меховой, а из серого сукна, с таким же куколем, вроде шапки, служит лопарю на его летних морских промыслах, спасая его и от крепких ветров, и от мириад комаров, вьющихся над гнилой тундрой его отечества. Лопарки носят сарафаны; на голове — сороки из кумача, холста и каразеи; на затылке кладут вынизанный бисером, красного сукна назатыльник. Девушки носят шелковые каразейные повязки, а на шеях бусы из красного бисера и дешевого жемчуга, добываемого, как известно, во многих реках поморья, особенно в реке Кеми. У лопарей тот же конусообразный шатер, что чум у самоедов, называемый *вежей*, составляет его жилище. Разница между чумом и вежей незначительна. Те же обточенные шесты, сажени в две длиной, составляют ее основание, такое же отверстие наверху для дыма, тот же, наконец, земляной пол, устилаемый оленьими постелями, как и в самоедском чуму. Разница только в том, что вежа устанавливается прочнее и перевозится, как чум, с места на место (в этом случае вежа составляет как бы нечто среднее, переходное от кочевой палатки к избе или к дому). Для этой цели внешняя сторона вежи не обшивается оленьими мехами, а обкладывается сначала хворостом и ветвями хвойных деревьев, а потом сверх всего широкими пластами дерна. В одном боку вежи, в противоположной стороне от севера, оставляется отверстие, которое, на этот раз, закрывается опять-таки не оленьим мехом, а дверью, сколоченной из трех-четырех дощечек; дверь эта приподнимается кверху и тяжестью своей готова придавить и способна ушибить больно всякого неловкого, неопытного гостя, как западня, как защелка, по подобию с звериной ловушкой. Таких веж у так называемых кочующих лопарей для каждого семейства по две: одна, зимняя, остается при озерах *незапертой*, когда лопарь перекочевывает в весеннее время к морю, где уже ждет его готовая летняя вежа, точь-в-точь такого же строения и вида, как и прежняя. Многие погосты имеют уже лопарские избы, выстроенные по образцу русских. Скудную пищу и крепкий сон вкушает и лопарь в своих вежах, или избах,

какими пользуются самоеды в своих чумах. От оленьих же стад зависит участь и судьба большей части лопарского населения, как и самоедского. Разница только одна: лопари давно уже перестали находить в оленях единственных друзей и единственное, неизбежное подспорье в жизни, а потому обращают на них меньшее внимание. Олени лопарские больше ростом, значительно крепче силой, не гоняются стадами при передвижении, а живут по большей части на назначенных местах, на издавна отведенных пастбищах и часто оставляются без надзора на все летнее время морских промыслов. Огромные стада диких оленей вознаграждают утраты в случае нападения на стада домашних оленей волков, росомах и медведей, которых, как говорят, на Лапландском полуострове несравненно больше, чем в мезенской тундре. Точно так же, по большей части с пятилетнего возраста, пускают и лопари (как и самоеды) оленей своих в упряжь. Разница здесь только в том, что лопарские сани имеют форму корыта и называются *кéресом*, *кережкой*, но у них также веревочная упряжь, все то же, даже и особые названия для всякого возраста животного: теленок — олень на втором году жизни называется *урáком*, самка — *вóнделкой*; на третьем: самец — *убáрсом*, самка — *вонделваженкой*; на четвертом: самец *кундусом*, самка, как и у самоедов,— *важенкою* и, так же как у самоедов же, самец после пяти лет и до смерти носит название *быка*. Здешний олень также не живет более 20 или 30 лет и умерщвляется раньше, на случай насущной потребы, для одежды или пищи. На Лапландском полуострове, как и по мезенской тундре, врагами оленей, помимо волков, можно считать докучливых слепней (Tabanus или Coestrus tarandi). Оригинален здесь только тот обычай, что пригнанным к морю оленям лопари позволяют пить соленую воду. Олени пьют ее с жадностью, но только один раз в лето; другие разы они в этой воде только спасаются от слепней, но, как замечают, никогда уже не пьют ее больше. Терские лопари (предпочтительно пред другими одноплеменниками) из оленьих шкур приготовляют хорошую лосину и замшу, называемые в поморской торговле общим именем *рóвдюги*.

Продолжая сравнение лопарей с самоедами, найдем, что лопари, например, ничего не едят сырым и без соли, как любят делать это самоеды. Точно так же лопари в своей торговле с русскими промышленниками, забирающими у них летние уловы рыбы в становищах Мурманского и Терского берегов, скорее остаются в накладке, чем в прибыли. Лишняя чарка водки решает иногда дело к немалому ущербу лопаря, всегда доброго, сговорчивого и верующего в честность промышленников русских, но почти всегда ошибающегося. Наконец, несравненно лучшим здоровьем пользуется лопарь перед самоедами, по той причине, что, к счастью, нет у них наследственных заразительных болезней, нет и других, исключая неизбежных морских. Может быть, способствуют к тому правильно обусловленные перекочевки два раза в год,— а может быть, и не такая грязная, не такая животная жизнь, как жизнь самоедов. Если прибавить ко всему сказанному, что лопарки необыкновенно

пугливы, и что громкий, неожиданный стук или крик способен произвести во всем их организме значительное нервное расстройство, подчас доводящее их до состояния бешенства, то этим, кажется, придется сказать все о лопарках.

Той же кротостью и миролюбивым характером дышат все отношения лопарей к русским, как и отношения самоедов к зырянам*. Даже, как кажется, лопарь еще честнее, еще характернее самоеда, а простодушие его не ищет дальних доказательств. Патриархально-гостеприимный в своей веже, лопарь в сношениях своих с русскими любит заводить тесную дружбу, род братства, одним словом, любит блюсти вековой обычай *крестованья.* Угодит в чем-нибудь, понравится чем-нибудь, угостит хорошо или даст выгодную плату за промысел давний лопарский знакомец, помор,— лопарь не замедлит предложить ему *покрестоваться*, т. е. обменяться крестами, сделаться крестными братьями. Лопарь, по совершении обряда обмена крестов, дарит «крестовому» все, что есть у него лучшего: лучший олений мех, лучшую звериную шкуру, бобровую или черно-бурой лисицы. Крестовый русский должен, в свою очередь, отдарить, чем может, своего крестового брата, лопаря. Г. Верещагин[2], автор «Очерков Архангельской губернии», рассказывает один подобный случай крестованья следующим образом:

«Один из наших русских промышленников в одно лето был на Мурманском берегу около норвежской границы. Там наш промышленник случайно встретился с одним дотоле ему неизвестным лопарем, которого все богатство состояло в оленьих стадах. Рассудив, что не худо иметь знакомого человека, с которым, может быть, приведется на будущее время иметь какое-нибудь дело, промышленник пригласил этого лопаря к себе на лодью. Лопарю понравился новый его знакомый, так что он предложил ему свою дружбу; друзья покрестовались. Лопарь, получив, по обычаю, подарок (весьма, впрочем, незначительный), пригласил своего крестового к себе. Они съехали на берег и, пройдя несколько верст, очутились на небольшой равнине, окруженной скалами. Лопарь громко свистнул, и на этот свист послышался лай собак. В ту же минуту лопарь повел своего знакомца на ближайший холм. Лишь только они успели на него взобраться, как вдруг, откуда ни возьмись, со всех сторон набежали на равнину стада оленей, ловко загоняемые собаками. Наш промышленник, стоя на холме, с удивлением смотрел на это бесчисленное стадо оленей, которые покрыли всю равнину.

— Вот все мои олени,— сказал наконец лопарь, обращаясь к своему крестовому,— выбирай себе любого, какого хочешь.

Крестовый с минуту оставался в недоумении: он знал, что, по обычаю, должен был, взамен своего подарка, получить подарок и от лопаря; но, вспомнив о ничтожности своего подарка, в сравнении с тем, который предлагал ему лопарь, он невольно сму-

---

* См. ниже статью «Поездка на Печору» — «Самоеды».

тился, тем более что лопарь нарочно для него раскинул перед ним *все* свое богатство и великодушно предлагал выбрать самое лучшее.

— Нет, брат,— отвечал наконец промышленник,— куда уж мне выбирать? Спасибо! Сам ты делай, как знаешь.

Лопарь тотчас сошел с горы и, выбрав самого лучшего из оленей, ловко набросил на рога его петлю. Тотчас же олень был убит, и наш промышленник расстался с своим крестовым, неся с собой прекрасную шкуру и мясо оленя — залоги нового знакомства и дружбы с добродушным лопарем».

«Эта черта,— прибавляет дальше г. Верещагин,— показывает высокое качество души людей, которых мы привыкли считать грубыми; это качество сделало бы честь всякому образованному человеку».

По нашему мнению, случай этот, как и несколько других, подобных ему, служит немаловажной причиной к опровержению того мнения, которое хранят еще некоторые из поморов, что будто бы лопарь склонен к убийству, что будто бы без товарищей и оружия нельзя доверяться его гостеприимству, что, таким образом, недавно пропавший без вести кемский помор, имевший при себе значительную сумму денег, убит лопарями, и будто бы за то только, что у него было много денег! В то же время и те же русские, уходя домой с мурманских промыслов, оставляют лопаря сторожем всего запаса на будущую весну, всего, что было бы лишним дома, но что может пригодиться на будущий год. Семь месяцев блюдет лопарь, за ничтожную сумму, становища промысловые и все в поразительной целости передает хозяевам, не утаив за собой малейшего пустяка. Между тем надзору лопарей доверяется весьма часто несколько сотен пудов трески, палтасины, семги, на несколько же сотен рублей снастей и проч. А между тем чрезвычайно редки судебные следствия о смертоубийствах, в которых бы замешался лопарь (известны только два).

Лопари охотно и часто выселяются ближе к русским селениям и не строят уже своих погостов далеко, в глуби Лапландии; так же охотно, особенно в последнее время, они женятся на русских девушках. О простоте и даже некоторой тупости лопарей поморы, между прочим, рассказывают следующее. Одному ло́пину удалось утащить из часовни целый ящик церковного сбора. Желая спрятать его подальше, он вышел на тундру, высмотрел дерево, закопал под ним свою кражу и, отойдя, долго оглядывался потом назад, с целью хорошенько запомнить место. К несчастью лопаря, все это высмотрели ребята-зуйки, ходившие из становища за морошкой. Зуйки рассказали обо всем этом кормщику. Тот пришел, вырыл деньги, ящик расколотил и бросил. Лопин всплакался, целые дни ходил повеся нос и наконец не выдержал и рассказал русским промышленникам свое горе.

— Отчего же ты по-дурацки прятал?— спрашивали те.

— Льзя видеть, льзя не видеть,— оправдывался лопин и приписал все это злым духам.

Свадебные обряды лопарей до сих еще пор сохранились в первобытной целости и оригинальности. Свадьбе обыкновенно предшествует сватанье. Жених с родными своими отправляется в этот день к избе или веже невесты. Но жениха не пускают туда: дверь заперта на задвижку. Он со всеми родными своими должен стоять в сенцах, где так холодно и, в то же время, так неприютно — стыдно. Жених с пришедшими начинает стучать в дверь, с приговором: «Господи Иисусе, боже наш, помилуй нас!» — до трех раз. После последнего удара и молитвы из-за дверей окликают пришедших сердито-заспанным и хриплым голосом:

— Кто это там по ночам бродит, беспокоит?

И, просунувши голову в полуотворенную дверь, лопарь хмурит глаза и опять приговаривает:

— Не вижу, не вижу, что за люди пришли...

Ему дают полтинник. Он трет этой монетой один глаз и щурит другой. На этот глаз тоже поступает от жениха полтинник или другая монета, смотря по состоянию.

Получивши полтинник, сват не отстает: говорит, что горло болит, лечить надо,— дают платок. «Озяб»,— говорит сват — водки дают. То же самое повторяет и другой привратник, которыми бывают по большей части братья невесты. Этому последнему, обдаривши его, пришедшие сказывают свой сказ: что пришли-де от заморского купца, у которого улетела золотая птица и будто бы спряталась в этой веже. Их тотчас же пускают посмотреть и поискать. Гости, ухватившись руками за плечи и наклонивши голову, входят в избу гуськом, один за другим. Жених топает ногами; его осаживают, останавливают криками «тпрру», но жених продолжает топать до тех пор, пока не подойдут к лавкам. На лавках в это время сидит вся невестина родня, невесты нет тут; отец ее сидит, опустивши голову, как будто спит. Гости подходят к нему и будят, ударивши ноготками пальцев в голову. Очнувшийся отец протирает глаза, просит на очки, на починку головы. То же самое делает и вся остальная невестина родня, которую тоже жених обязан одаривать. Когда наконец кончится вся эта скучная церемония, выводят невесту, сажают на постель, накрывши предварительно лицо ее покрывалом.

Родные указывают на нее пришедшим и спрашивают:

— Не та ли эта птица, что ищете?

Сваха даром не показывает птицы, просит подарка. Получивши его, она поднимает покрывало.

— Она,— говорят пришедшие.

Старший сват жениха берет его руку под правую свою мышку, придерживая локоть своей ладонью; то же делает сватья с невестой. Жениха и невесту водят вместе, сближают их руки, чуть дотрогиваясь одной до другой, но мгновенно отдергивая, до трех раз, и потом разводят. Жених один уезжает домой, а родные его, вместе с невестиными, начинают пир и ведут его до поздней ночи. На другой день совершается и самая свадьба, сопровождаемая тем же пиром, но только уже в доме новобрачных.

Промышленники русские все единогласно хвалят целомудренность лопарских женщин, их трудолюбие и домовитость, которые немало способствуют к тому, что и дети воспитываются в некоторой патриархальной чистоте нравов: мальчик-лопарь до совершеннолетия живет большей частью дома и не допускается на трудные мурманские промыслы. Сама же лопарка всегда дома. На ее обязанности лежит приготовление пищи: тонких лепешек — *рески*,— приготовляемых из теста (муки с водой) и поджариваемых на раскаленном камне, и *линды* — ухи из рыбы (иногда мяса оленьего) — род грязноватой невкусной похлебки, с примесью незначительного количества муки. Черный хлеб, покупаемый или вымениваемый у русских промышленников на Мурмане, составляет лакомство. В свободное время лопарка обшивает детей, мужа, самое себя*, они такие же мастерицы шить платья, как и самоедки, но так же неопрятны, так же неразборчивы в пище, подчас так же упрямы, как и мужья их, и все до единой умеют говорить по-русски тем же говором, в котором слышатся крепкое ударение на букву «*о*» и неприятно-пронзительные звуки.

Таким образом, лопарь все лето живет морским промыслом; живет он им и осенью, и зимой, если только случайность судьбы поселила его на Терском берегу, около Поноя. В противном случае, с первыми признаками осенних непогодей, лопари удаляются к своим зимним погостам. Здесь, на ту пору, ближние (всегда большие) озера богаты разного рода рыбой: идут сиги, гарьюсы, харьюзы, гарвизы, Salmo thymalus— мелкая, но вкусная рыба с мелким клеском, или чешуей, до 5 фунтов весом,— попадаются в невода, сети и сетки щуки, окуни, ерши, мелкая палья с красным мясом, перьями и хвостом и черным клеском (из рода лососей, близкая к форели). Идут на крючки с сиговой наживкой жирные, вкусные налимы. Часть этой добычи служит для них большим подспорьем на зимнее продовольствие; часть скупается на месте приезжающими на оленях терскими поморами или на деньги, или на соль и ржаную муку.

Зиму лопари в своих дальних вежах посвящают ловле птиц и лесного зверя, и это едва ли не главные и не самые выгодные и прибыльные промыслы. Несметное количество куропаток населяют весь Лапландский полуостров, давая возможность лопарям не прибегать к огнестрельному оружию, а пользоваться легчайшими и дешевейшими способами. Куропатки кучками и в одиночку бегают по чистому снегу, обыкновенно по направлению в южную сторону. Зная это, лопари устраивают ловушку, весь нехитрый состав которой состоит в том, что к двум колышкам, наклонно воткнутым в снег, привязывают небольшую петельку, плетенную из ниток и называемую *гангáсом.* Около гангаса этого делают коротенький заборик с двух сторон из сосновых и еловых лапок. Куропатка, вбегая в этот переулочек, узенький и коротенький,

* Многие лопари приучились, в последнее время, к русским кафтанам, при которых носят ныне и картузы с козырьком, по летам.

принуждена стремиться вперед и, стало быть, прямо в петлю, где ей уже нет спасения. Но часто подобную добычу, и притом в значительном числе, похищают лисицы.

Против этих зверей лопари придумали много средств, большей частью общих с мезенскими краями, каковы: отравы, капканы и другие ловушки, всегда верный и меткий выстрел. Лопари такие же замечательно искусные стрелки, как вообще все живущие морскими и лесными промыслами и для которых ружье, естественно, предмет необходимой важности. Теми же снарядами и при тех же средствах добывают лопари горностаев, песцов, волков и зайцев, как производится это дело и в мезенской тундре. Медведей лопари не бьют, по тому ли давнему, суеверному понятию, что у медведя 12 сил человеческих и 10 умов мужичьих, или по тому убеждению, что медведь не приносит особого вреда. К тому же лапландский медведь смирен и почти никогда не нападает первым; при виде нескольких бежит даже прочь и больше лопарок боится неожиданного и сильного крика. Если иногда лопарь и надумает стрелять в зверя, то прежде выстрела — тоже по давнему обычаю — говорит ему краткую речь, или род увещания, чтобы медведь не нападал первым, затем-де, что ружье может осечься, рука может дрогнуть и проч.,— чего благородный (по убеждению лопарей) зверь никогда не решится сделать, и тому подобное.

Из других, более прибыльных для лопарей, лесных или тундряных промыслов замечательны два: промыслы выдры (бобры совсем перевелись) и диких оленей. Выдры, как известно, живут в воде, и преимущественно в тех реках и озерах, которые имеют прямое сообщение с морем. Уходят выдры и в море, но и там попадаются на всегда меткий выстрел охотников. Зверя этого считают три вида, из которых самый распространенный тот, который характеризуется белой грудью и черной, блестящей шерстью на других частях тела. Величина его доходит иногда до величины большой свиньи или дворовой собаки. Эта порода выдр очень легко делается ручной, и бывали даже случаи, что зверь этот помогал даже хозяину ловить рыбу, до которой сам он, в то же время, страстный охотник.

Диких оленей, которых множество бегает и по лапландской тундре (не стадами, но в одиночку), ловят лопари на хитрость: или подползая к ним *за ветром*, с петлей или ружьем, или подпуская к ним домашнюю самку осенью, во время течки, когда обыкновенно несколько сбежавшихся диких самцов затевают из-за самки драку. В драке той они путаются рогами и, таким образом, становятся легко́й добычей. Во время гололедицы бегают за оленями на лыжах и, утомляя их долгим и трудным бегством, берут на ружье, как и во всех других случаях подобной охоты. Иногда, впрочем, лопари прибегают и к более мирному средству добычи диких оленей. Для этого выбирают они в лесу такое место, по которому, по всем приметам, должен пробежать дикий олень. В этом месте к сучьям деревьев привязывается гангас — такая петля, как и для куропаток (только, естественно, значительно бо́льшая

и из довольно толстых веревок или ремня). Бегающий всегда быстро и, в большей части случаев, без оглядки, олень легко попадает в ловко настороженную петлю и, при усилиях выбраться, еще больше путается и затягивается на вечную смерть в мучительнейших предсмертных судорогах. Мясо убитого таким образом оленя не идет в пищу. В дело идет одна только шкура: из снятой с ног и выбеленной на солнце делают обувь, из остальной замшу, а нередко и печок, точно так же, как поступают в подобных случаях мезенцы и самоеды.

На огромное множество полевых мышей, бесчисленными вереницами бегающих по тундре, лопари не обращают ни малейшего внимания, предоставляя их в пищу птицам и зверям, и в то же время простодушно убеждены, что мыши эти падают с облаков, не зная того, что вообще животные севера многоплоднее животных южных стран (овцы носят ягнят два раза в год и часто двойни, козы дают по три козленка, и проч.) и что именно этим обстоятельством можно объяснить все эти мириады рыб (особенно сельдей и семги), мириады куропаток, комаров и тех же полевых мышей. Число последних так велико, что невольно рождается вопрос, чем они питаются на этой скудной лишайной почве. Их две породы: одни очень миролюбивы, никогда между собой не дерутся и скоро делаются ручными. Другие, желто-бурые, довольно злы и не скоро привыкают к человеку. На Новой Земле их, говорят, несравненно больше, чем в лапландской тундре.

Коснувшись суеверий, не лишне упомянуть и о том понятии (из множества предрассудков полудиких лопарей), которое имеют они о северном сиянии. По их мнению, это души умерших родных, идущие на небо; некоторые лопарки узнают даже в столбах сполохов своих мужей, отцов, братьев и подруг. Более суеверные и обладающие крайней степенью воспламененного воображения видят в тех же столбах сияний — злых духов; но грамотные русские, хватившие книжной премудрости, привыкли приписывать игру сполохов отражению в небе бесчисленного множества сельдей, совершающих свои полярные переселения.

Вообще лопарь, за крайней ли удаленностью церквей или по другим каким, более важным, причинам, при православии — крайне суеверен и мало религиозен при всем стремлении уподобляться русским, как сделали это, например, относительно одежды. У лопарей в округе Аккульском водятся такие опытные колдуны, к которым приходят гадать чухны из Саволакса и других мест Финляндии. Здешние кудесники не употребляют, однако, ни причитаний, ни заговоров, ограничиваясь некоторыми механическими приемами, передаваемыми из рода в род. Терские, например, не соблюдая постов, употребляют круглый год куропаток и наивно оправдываются тем, что куропатки — летучая рыба. Новорожденный ребенок иногда целые годы остается у них без крещения; редкий из взрослых знает какую-либо молитву: большая часть ограничивается крестными осенениями и частыми поклонами

перед иконами в часовнях, при своих погостах, при свете свечей, которые держат обыкновенно в руках; лопари носят крест, как украшение, поверх одежды, и проч. В то же время лопари верны и честны в данном слове, любят искренно своих земляков и стоят за них горой. Между тем нет между ними ни одного грамотного, хотя все охотно учатся говорить по-русски; все без исключения привержены к крепким напиткам, которые сделали им уже много положительного вреда, сделают еще больше, если не найдет их рука спасающая, благодетельная, если не найдет их грамотность, и честный привет, и доброе внимание. На соседних русских в этом случае надежда сомнительная и плохая, тем более что между русским населением Поморья развилась и пустила глубокие корни страсть к торговым предприятиям, со всеми дурными их сторонами.

ЛОВ СЕМГИ

Село Кузомень, расположенное на реке Варзуге, в шести верстах от устья и в двух верстах от моря, выстроилось на песчаном грунте и, в этом отношении, составляет разительное исключение изо всех других беломорских селений, которые все стоят на граните. С колокольни, недавно выстроенной вновь, можно видеть всю эту огромную массу песку, обложившего селение со всех сторон, кроме той, которая прилегает к широкой реке Варзуге — большей из всех рек Терского берега. Окрестное песчаное поле бесприветно тянется до моря. В редких местах на этой степи выставляются песчаные холмы, краснея издали своим глинистым основанием. На редком из этих холмов с трудом держится еще дряблое деревцо и как будто что-то подле него зеленеет. Мелькает еще такая же зелень (но неясно) вдали на дальнем горизонте, где, может быть, уже начинаются леса. Леса идут за селением по берегу реки, на которой качаются на якоре суда; несколько других белеют парусами. Море, на этот раз, отдает взводнем и валит на берег одну за другой пенистые, неугомонные волны. Самое селение кажется довольно большим и выстроенным как будто недавно. Дома его глядят чисто, приветливо: все почти они выкрыты тесом; редкие, словно бани, врыты до половины в землю. Печально, как и дома эти, смотрят и те амбарушки, которые прицепились на крутом берегу Варзуги и которым судьба судила хранить промысловые снасти и во всех беломорских селениях стоять впереди домов на берегу и приветствовать всякого приезжего прежде всего другого. В Кузомени глубокий, летучий песок кругом и тот же песок между домами. Кончаясь на этом берегу реки, он опять начинается в другом и идет бесплодной степью все дальше и больше в ближнюю лапландскую тундру. Как черные, непроглядные точки видятся на этом песке ближние к морю промысловые избушки, салотопенные амбары и проч.,

как и вообще во всех других приморских деревнях Терского берега. Кузомень отличается от них только той заветной особенностью, что в ней не встретишь ни единой собаки, тогда как огромные, желтые животные эти стадами наполняют все другие поморские селения.

— Отчего же?— спрашивал я у туземцев.

— Не ведутся — места-то у нас, видишь, не такие, не повадные; да и зверь-от этот для нашего края почитай что лишний! — отвечали одни.

— Место у нас такое сталось,— прибавляли другие,— что и овец-то как еще бог держит и чем питает: травы у нас нет, листвы тоже. Скажем тебе — пожалуй, не поверишь,— овца наша песок ест, пыль глотает; сети ты на виду и не вешай — все обгрызет, все иссосет; рада-рада, коли тряпочка какая попадется. Даем им тоже месиво из сельдяных головок в пойле. Да ведь уж скот, известно, не человек — с однова сыт не бывает, целый день ест — не наестся. Поедешь в Варзугу — то же увидишь.

Людное, богатое село Варзуга — одно из первых, по времени, заселений новгородцев по Терскому берегу — ушло на 18 верст внутрь земли от Кузомени. Везут туда обыкновенно рекой Варзугой в карбасе до того места, которое зовется *ямой* и выше которого начинаются уже пороги, столь высокие и бойкие, что по ним нельзя без опасности подниматься в лодке. От ямы дорога идет узенькой тропинкой по песчаным холмам, иногда довольно высоким, между дряблыми стволами деревьев и плотно сцепившимися кустами можжевельника. Между деревьями тянутся огромные пространства, покрытые белым мохом. Слева над горами разлеглось неоглядное, ржавое болото; в ложбинах бегут много ручейков, которые надо переходить вброд или перепрыгивать. К тому же на этот раз все это пятиверстное пространство надо было проходить с оглядкой: тут, как рассказывали, показывалась медведица с пестуном и медвежатами и успела даже задавить несколько коров и овец. По счастию, навстречу попадалось много мужиков, одетых в полотняные колпаки (по-туземному в куколи) от комаров, шедших со страды со всей беззаботностью и полной безбоязненностью, как бы по улицам своей деревни. За полторы версты, с последней песчаной горы, показалось наконец и самое село, разбросанное двумя порядками по обеим сторонам р. Варзуги. Виделись две высокие, почерневшие от времени церкви: одна на правом, другая на левом берегу; одна посвящена имени св. Ильи, другая имени св. апостолов Петра и Павла.

Село это можно почитать, в относительном смысле, центром деятельности, главным местом, столицей всего Терского берега. Сюда бредут и лопари, плывут и торговцы кемские и архангельские (особенно в августе месяце): первые (лопари) для продажи, все последние — для закупки семги — почти единственного продукта, от которого живет все население Терского берега.

Еще в Поное можно видеть забор для семги*. Выстроены такие же заборы и в Варзуге, и в Умбе, и в Кандалакше. Еще около Сосновца и далее по берегу видны десятки промысловых избушек и вымеченные на воду сети для той же рыбы. Семга для жителей Терского берега — единственное и богатое средство для существования и занятий. Отсюда, как говорится, во всех беломорских местах на мурманские промыслы *подъемов* нет, т. е. хозяева не обряжают покрутов за треской и палтасиной. Некоторые из них давно когда-то пробовали — не понравилось, и они предпочли тамошние, хотя и далеко не богатые промыслы, домашним, более легким и выгодным. Семга идет на Терский берег в громадном числе.

Следуя из веков своим врожденным инстинктивным побуждениям, семга ежегодно совершает свои переселения из стран приполюсных к берегам морей. Совершая эти путешествия в несметном множестве и становясь на пути богатой добычей для морского зверя, рыба эта (все-таки в несметном еще числе) входит, между прочим, из океана в Белое море. Здесь она выбирает реки самые порожистые и, по возможности, самые покойные в истоках, вероятно, вследствие того же инстинктивного побуждения. Обладая крепко развитыми мускулами, дающими ей возможность плавать быстрее всех известных пород рыб, семга, пробираясь реками и встречая на пути преграду в порогах, прыгает через них иногда в $1\ {}^{1}/_{2}$ сажени высотой. (За то по-латыни она и называется Salmo, т. е. прыгун). Никский водопад не в силах удержать эту рыбу, стремящуюся, подобно птицам, выводить детенышей в том же месте, где сама родилась. Не удадутся первые сильные прыжки — семга несколько раз возобновляет опыт. Некоторые поморы замечали при этом следующее интересное обстоятельство: если рыба не успевала осилить высоты порогов, то дожидала обыкновенно росы и по этой росе — сухопутьем — *переползала* выше порогов. Тогда же за этими порогами, вдали от селений и в самых спокойных заводях, она совершает те природные отправления, для которых и ведет ее инстинкт из океана в реки. В сопровождении самцов, полная икрою, самка выбирает тогда в реке такое место, где слабее течение и притом такое, которое закрыто с южной стороны скалой, камнем и проч. Целые сутки — как говорят наблюдатели — самка трется всем своим телом о песок подле камня, плавая на этом месте необыкновенно медленно взад и вперед. В этих передвижениях она мечет икру свою и, кончивши дело, остается подле (но в стороне) еще некоторое время, уступая свое место самцу, который тоже, в свою очередь, плывет над наметанной икрой и оплодотворяет ее молоками. Самец и самка, сделавши свое дело, утомленные, ослабевшие до последней степени, спешат подниматься выше, вполне уверенные в том, что придорожный

* Поной и Варзуга — две самые длинные речки Лапландского полуострова — вытекают из высокого болота, лежащего во внутренней части Лапландии. Внутренность эта малообитаема.

камень не пустит икры по течению и даст легкую возможность произойти из нее новому населению в значительном числе субъектов. Выбравши глубокую, тинистую яму, и самец, и самка иногда, как говорят, по целым неделям стоят в ней неподвижно, уткнувшись рылом в берег ямы, и опять-таки по-прежнему в прямом направлении к верхней стороне реки. Во время этого стояния и совершается с рыбой та перемена, которая на поморском языке известна под именем *облóховленья*, т. е. семга успевает тогда *облóховиться*, или, проще, превратиться в *лоха*: красное мясо ее бледнеет и становится совершенно белым. Из головы, под ртом, вырастает костяной крюк; внешняя сторона клеска серебрится, а уже не чернеет; хвост становится тоненьким, сама рыба делается тощей (от 7 фунтов первоначального весу спадает до 3 и 2 $^{1}/_{2}$), с дряблым мясом. Семга уже мало тогда бывает похожа на свой первообраз: она делается лохом и в этом виде идет вниз по реке, вдоль берегов, обратно в море, преследуя при этом других водяных животных. Попадаясь на пути в промысловые сети, она превращается уже и на языке поморов в *вальчака*, в *пана*, в *лоховину*, смотря по местному говору. Выйдя в море, вальчак все еще не теряет роговой крюк и красных пятен на поверхности кожи, хотя и начинает нагуливать тело, на котором появляется даже краснота. В этом переменном и переходном состоянии он получает название «кирьяк». Но та из этой новой породы рыб, которая успеет спастись от преследования человека и пройти в море, *пролоншав* (пробывши) в реке всю зиму,— к осени приходит опять в ту же реку уже без крюка и с красным мясом, настоящей семгой, и опять-таки для той же прямой и положительной цели: метанья икры. Так, по крайней мере, уверяют все естествоиспытатели и промышленники, из которых иные делали будто бы некоторые приметы на лохе (намечая зарубки, отрывая какое-либо перо и проч.) и пуская этого лоха в море. Замеченный лох приходил в ту же реку и на следующий год, и все-таки уже семгой, а не вальчаком. Этим же превращениям подвергается, как известно, и балтийская семга-лосось, прозимовавшая в Неве, или озерах Ладожском и Онежском, или в реке Свири.

Беломорская семга, рассыпаясь после полярного переселения и путешествий по прибрежьям Мурманского берега, Новой Земли, по берегам Норвегии до крайних южных пределов последней, по всем порожистым, самым дальним рекам Белого моря: Двине, Мезени, Онеге, Кеми — преимущественно и несравненно в большем числе расплывается по рекам ближайшего к океану Терского берега. Здесь ее самый главный и самый богатый улов. Лучшим способом для этой цели туземцы издавна, из темных и дальних исторических времен, почитают заборы.

Ранней весной, по возможности тотчас же после половодья, когда уйдут все льды и речная вода войдет в свои берега, строят эти заборы в реке Онеге (около волости Подпорожья); на Корельском берегу: в Поньгаме, в Керети; на Терском берегу: в Кандалакше, в Умбе, в Варзуге, в Поное. В Поньгаме встречается про-

стой первообраз этих заборов: там неширокая речка перерезана поперек заставой из хвороста и хвойных лапок, плотно прикрепленных к двум слегам — длинным бревнам, которые сходятся между собой под углом. Вершина этого угла обращена в верхнюю сторону реки, и только в одной вершине этой остается отверстие (обе другие стороны плотно законопачены хвойными лапками и хворостом). В отверстие это, в проход, в воротца (что все равно), вставляется обыкновенно *верша* широким основанием своим. Верша эта не иное что, как неправильной формы конус, составленный из планок, оплетенных веревочными сетками. Внутри этой верши привязывается в висячем положении так называемый *язык* — ветка же (род колокола), обращенная основанием своим к основанию верши, а узким отверстием вершины своей, конечно, прямо против вершины верши. Здесь язык укрепляется в висячем положении посредством веревок и употребляется в этом случае для того, чтобы воспрепятствовать обратному выходу рыбы, успевшей зайти в вершу через широкое основание ее, обращенное в сторону прихода рыбы (вниз реки). Для того, чтобы забор не могла снести и размыть вода речная и дождевая, на верхние бревна его кладутся обыкновенно тяжелые камни. Забор подобного устройства — самый несложный и самый маленький изо всех существующих в Поморье. Такой же точно забор с одной вершей выстроен и в реке Кузе около селения Терского берега — Кузреки. В Умбе (на Терском берегу) ставится забор в огромных размерах: здесь и река гораздо шире, и самой рыбы идет несравненно больше.

Умбовский забор, при взгляде с горы, кажется решительным мостом, с верхней стороной настолько широкой, что по ней можно свободно ходить в ряд четырем человекам. Верхняя сторона этого забора бревенчатая и называется *мосты.* По мостам этим к стороне моря накладывается для тяжести значительное число огромных камней, и чем, говорят, больше этого груза, тем плотнее сидят мостовые бревна на *перекладах* (бревнах же), укрепленных на козлах — *перебоях.* Эти перебои вбиты в дно реки на умбовском заборе в шести местах. Свободные пространства, имеющие форму треугольников, заслоняются так называемой *тальéю* — прутьями, сплетенными *вичьем* (древесными корнями). Талья эта, имеющая вид самого плотного частокола, опускается на дно реки в несколько наклонном положении к стороне моря и отвесно к верхним мостовинам. Все значение ее состоит в том, чтобы рыба не могла перейти в нее и чтобы, в то же время, не унесла ее вода. Для этой последней цели посередине тальи, параллельно с поверхностью воды, пришиваются тонкие хворостины, называемые *сельгáми.* Таких тальевых треугольников в умбовском заборе четыре, для четырех вершей (в понойском столько же, подпорожском или онежском десять). В этих треугольниках, как и в поньгамском, вершина оставляется свободной, с отверстием, к которому приставляются основанием своим те же верши. Разница только в том, что умбовские верши плетутся из самых толстых бечевок и притом так велики, что человек может входить в них и свобод-

но стоять на деревянной стороне конуса (лежащей при запуске на дне), не касаясь даже головой до верху. Верша и здесь кладется также на бок и, чтобы держалась тяжестью своей на воде, упирается вершиной, или *головою*, своей в коле — щипце, воткнутом в речное дно. По кольям этим идут кольца; по кольцам свободно поднимаются верши вверх при посредстве ворота. Верша сидит на воде четверти на три, а чтобы и этим свободным пространством не могла пробраться рыба вверх, опускают туда род лесенки, называемой *напле́ской*.

Рыба, ища прохода, стукается головой о талью и, не видя отверстия, идет в первое попавшееся, которое и приводит ее, таким образом, в вершу. Здесь она продолжает то же стремление свое все вперед и вперед и, не находя пути, упирается головой в сетку и стоит, таким образом, неподвижно, как будто отдыхает. Инстинкт не научил ее к обратному повороту в море, в котором рыба и не может находить особой нужды, привыкши метать икру в вершинах рек, а не в соленой воде. Как магнит железо, влечет ее инстинкт на место, родину, в верховье реки.

Когда осматривают забор и готовятся вынимать воротом вершу, отверстие ее, обращенное к морю, обыкновенно стараются заставить той же лесенкой — *заплескою*, чтобы, во время вынимания верши, рыба не выскользнула и не пустилась вон. Вершина — голова верши — идет на ворот к кольцу, основание верши поднимается в то же время и на тот же рычаг на канате. Рыба, почувствовавшая себя без воды, бьется необыкновенно сильно, прыгая одна через другую. В это время рыбаки, обыкновенно, распутывают наверху входное отверстие (попонку) и в то же время дают рыбе возможность несколько уходиться и успокоиться. На моих глазах, в Умбе, рыба таким образом так сильно взмахнула хвостом, что сшибла с ног того рыбака, который влез в вершу «кротить» добычу. Кротят семгу обыкновенно в голову деревянной колотушкой, и если покажется из головы кровь, рыба уже не шелохнется больше. То же делают обыкновенно и с остальными, и, во всяком случае, при этом требуется большое проворство и некоторая приглядка к делу. Иная рыба до того бойка, что по нескольку десятков раз способна вырваться из рук и спасти свою голову от кротилки. Попадет рыбак этой деревяшкой в бок — рыба мечется еще сильнее и только припертая в переднем углу верши способна поддаться удару. Иногда, впрочем, быстрина воды успевает прижать некоторых из рыб к куту языка верши так плотно, что *обневоливает* семгу, т. е. заморит ее. Тогда уже не нужно бывает пускать в дело колотушку: рыба на этот раз едва жива. Иногда (и это, конечно, самая бойкая рыба) вынимается семга совершенно синяя или покрытая множеством синих пятен, которые успевает она наделать себе, в порывах к свободе, о деревянные скрепы верши или стенки тайников.

Верши умбовского забора не одинаковой величины: те, которые запускаются в середине забора, заметно больше тех, которые ставятся ближе к берегу. У самого берега тальи или чащельного

колья уже нет; здесь, по мелководью реки, натыканы просто хвойные лапки и набросаны мелкие камни. Однако, при всех этих предосторожностях, рыба все-таки успевает подниматься выше, и, вероятно, в то время, когда осматривается верша, приподнятая на мостовины забора и оставляемая обыкновенно при этом случае в висячем положении. Заборы эти, таким образом, служат обыкновенно на все лето, когда идет особый сорт семги — *межéнь* (от *межéнное* — летнее — время) или *межонка*, доходящая весом от 1 до 3 $^1/_2$ фунтов, не так жирная и вкусная, как *осень*, которая начинает идти (в тот же забор) осенью, с первых чисел августа месяца. Семга осенью имеет уже значительно нежное и ярко-красное мясо, а весом доходит от 6 до 10 и даже гораздо более фунтов. Весной, когда *роспалятся* реки, попадается особый вид семги, называемый *залёткой*, но в чрезвычайно малом, незначительном числе, и притом эта рыба далеко отстает вкусом, весом и даже видом не только от осени, но и от межонки*. Рыба эта идет тогда всегда с икрой, вкус которой (особенно в осоленном виде) хвалят поморы. Икры этой добывают они из одной рыбы иногда до пяти фунтов. Вот почему лов залетки должен быть положительно запрещен законом, да и самые заборы, стоящие в реке все лето, доставляя богатое средство к существованию одним, отнимают от других, верховых жителей, средства к тому же (много уже тяжб заведено по этому предмету у соседей). Но и та рыба, которая успеет пройти вверх и притом в незначительном числе, запасается на пути икрой и, стало быть, не может идти на улов во имя будущих поколений, которые с годами заметно уменьшаются.

Меньше рыбы, против прежних годов, стало ходить теперь в реки беломорских берегов,— говорят в одно слово сами поморы, и меньше ее, вероятно, вследствие того же неправильного производства промысла, совершаемого без всяких правил во всякое время года. Новая рыба, идущая обратно из рек, попадается в те же сети, на которые не положено никакого разумного правила, кроме личного произвола рыбаков, всегда ошибочного, всегда поэтому вредного для целого поколения вкусной, здоровой для человеческого организма рыбы. Богатый улов осенью сам по себе указывает на законное время для лова, когда у рыбы нет еще икры, которую обыкновенно мечет межонка. Но эта межонка, как сказано, преимущественно и задерживается в заборах, обязанность которых в осеннее время исполняют сети, тайники, гарвы и проч., но опять-таки как подспорье для большего улова, а не как конечная замена забора.

Заборы стоят всю зиму. Их ломает только весенняя вода или руки догадливых мужиков там, где лес дорог и его мало. Промышленники в этих случаях оправдываются тем, что не попадет рыба в забор — попадет в пасть морского зверя: акул, китов, белуг.

---

* Молодая семга называется *тиндой*; она нарождается и вырастает выше порогов, мелка и безвкусна.

Последний сорт зверя за тем только и является в Белое море, чтобы поживиться семгой; но в то же время сами охотно вылавливают этого зверя в огромном количестве, во всех удобных местах и во всякое время. Они не замечают, в деле личной прибыли, того, что, уничтожая злейшего врага рыбы для сала, в то же время незаметно усиливают количество добытой семги. Вот, кажется, почему скорее надо усилить звериные промыслы, всегда выгодные, прибыльные и безопасные, чем строить заборы, и особенно на летнее время, или ловить семгу-залетку с икрой в весеннее время. Большего застоя, большего невнимания к делу трудно найти в ином месте и в иных делах русского человека, как в этом и вообще во всех других беломорских промыслах. Поморы, в этом отношении, живут еще той жизнью и по тем правилам, которые случайно установились еще во времена до Марфы Посадницы, во времена первого населения этого богатого края. Соловецкий монастырь, который мог бы служить поучительным, верным и решительным примером, идет тем же путем, ни на йоту не отставая от остальных прибрежьев. В Европе семга принадлежит к числу гастрономических яств; древняя поговорка тамошних рыбаков семгу почтительно называет «господином». Там же замечено, что, несмотря на свое плодородие, семга весьма заметно уменьшается в водах европейского материка. Еще несколько столетий тому назад лосось в изобилии подымался в реки из Балтийского и Немецкого морей,— по крайней мере, в древних постановлениях германских приморских городов воспрещалось господам кормить своих служителей более двух раз в неделю мясом этой рыбы. Наибольшее количество лососей ловилось до сих пор в Шотландии, в реке Твид. В ней еще несколько десятков лет тому назад получалось ежегодно до 200 тыс. особей. Такая богатая ловля существовала только потому, что эта рыба с древнейших времен находилась под защитой законов. Ловля рыбы подвергнута была известным правилам, и первый парламент в правление Якова I[3] (1424 г.) установил значительный штраф, в 40 шиллингов, за всякого не вовремя пойманного лososка. В новейшее время и в Англии количество этой рыбы значительно уменьшилось и искусственное население ими рек еще до сих пор не имело никакого успеха. Примеры эти довольно красноречивы и должны быть внушительны для наших поморов.

Вредные, положительно сами отрицающие свое существование, поморские заборы немногим отличаются один от другого во внешнем строении и в дальнейших отправлениях дела. Построенный в Кандалакше, говорят, был (до прихода англичан) настолько широк, что служил даже мостом для прохода и проезда путешественников. Осмотренный мною забор в Варзуге не настолько уже широк, чтобы по нему можно даже ходить, не только ездить, и осматривают его не на мостовинах, а с лодки, на которой подъезжают к самым тайникам. Здесь уже нет верши, которую заменяет самый тайник — такой же многоугольник из тальи, род садка со входными воротцами и с пятью углами, из которых три острых

и два тупых. На углах этих прикреплены вичью каменные якоря, которые держат тайник в укрепленно-стоячем положении, и для того, чтобы вода и течение ее не распирало частокольных стенок этого пятиугольника, кладется в самом широком месте его толстое бревно, называемое *мостйной*. Тайник этот, сверх того, на двух углах подле самого места забора укрепляется еще на кольях, имеющих название *колья стоячего*. Семга, входя в этот тайник, также нащупывает выход, бывает обманута углом, и если не остановится в первом, то пройдет во 2, 3, 4 или 5, и все-таки не выйдет обратно в отверстие, которое опять-таки остается свободным, открытым. Перед тем, как осматривать тайник, это свободное отверстие заставляется обыкновенно решеткой (в меру самого входа), плетенной из тростника и веревочек. Рыба вынимается из тайника прямо большим саком (в пуд весом) и притом нащупывается так, что сак этот начинают вести от головы тайника, для того чтобы и рыба попала в него головою же и, стало быть, могла менее биться и не разорвала бы сака. Запасных обыкновенно не держат, и забор осматривают только два человека: один сачит, другой, вынимая рыбу, кротит ее той же колотушкой и бросает в лодку. Заборы эти осматриваются летом один раз в сутки, рано поутру (часа в три), а по осени — еще другой раз, поздно вечером.

Устройство самого большого из беломорских заборов, построенного на реке Онеге в 17 верстах выше города, у деревни Подпорожской волости Каменихи, почти точно такое же, как и всех других. Здесь вылавливается тот сорт беломорской семги, который известен в Петербурге под именем *порог* и считается лучшим, хотя и ошибочно. Правда, что при опытных руках хозяина его, засол этой семги делается добросовестно и с некоторым знанием дела, но сама рыба в долгом пути по Белому морю заметно тощает, хотя, в то же время, и любит эту реку, в высшей степени порожистую, в сухую воду кажущуюся с берега как бы вплотную забросанной огромными камнями, сплошным каменным мостом. Здесь меньший приход рыбы (особенно заметный в последнее время) объясняют тем, что пугает ее шумом пароход компании, буксирующий романовки[4], нагруженные лесом и досками.

Вот вся разница сортов беломорской семги, пускаемой в продажу и известной под именем тех рек, где она вылавливается. Семга-*порог* с лучшим засолом и таким же плотным, твердым мясом, как *умба; варзуга* — мясо заметно нежнее, а осенняя почитается лучшей из всех сортов беломорских; *кола* — вылавливаемая по Мурманскому берегу, могла бы быть лучшей, но солится так скупо и небрежно, что расходится только между простым народом, а в Петербург доставляется почти окончательно негодной, в рогожах, мороженой, потерявшей свой цвет, сок и нежный вкус. Поньгама и кандалакша — худшие из сортов этой рыбы. Поной — сухая, без жиру. Мезень — также, и притом последняя мало вывозится из губернии. Нежную, мягкую, с белым жиром между каждым слоем мяса, печорскую семгу можно почитать самым лучшим

сортом этой рыбьей породы. Столько же неуменье солить, сколько и необыкновенная нежность печорской семги лишает обе столицы возможности употреблять в пищу эту рыбу. Она, отливающая нежным розовым цветом, попадается иногда на архангельском рынке, но и здесь стоит в низкой цене, затем что скоро покрывается ржавчиной и горкнет, тогда как умба, варзуга и порог способны долго хранить свой засол, не теряя вкуса, вида и даже красного цвета.

Рыбы достаточно для десяти вершей, которые на р. Онеге уже заменяются особыми сетками — *мерёжками*. Вот все устройство этой мережки: она не иное что, как сетка, сплетенная из довольно толстых ниток и натянутая полотном на 8 и более обручьев, к которым и бывает прикреплена, представляя вид (в растянутой фигуре) конуса. Часть сети между обручьями называется жиро (стало быть, всех жир в мережке 7). В первом жире, самом широком, 20 ячей; от второго жира идут по 18 ячей; в последнем, или в вершине конуса, называемом *кутковым жиром*, уже 60 ячей и ячеи эти плетутся чаще. При основании мережки, у первого жира, привязывается другая сетка, называемая *нагóжье* — род мешка, где и оставляется отверстие для входа рыбы. Вершина конуса, или последнего, куткового жира, привязывается веревками к кольям; отверстие обращается стороной к морю; вся мережка плавает в воде боком. Для того, чтобы вошедшая рыба не могла выйти назад, внутри конуса привязывается меньший конус, здесь называемый *языком* или *горлом* (*килесами* по Свири). В мережки эти на Соловецких островах вместе с рыбой заходит также и нерьпа, увлекаемая легкой добычей любимой пищи. Мережки бывают большие (с 12 жирами) и маленькие (от 3—6 жир); в последних бывает по два горла, вместо одного, как у больших мережек. Забор и в Подпорожье точно так же тянется через всю реку слишком на трехсотсаженном пространстве. В заборе этом также отверстия, называемые *ямегой*, которые точно таким же образом заставляются широким основанием мережки — конусообразной сеткой, распяленной на шести обручах, величина которых постепенно уменьшается к вершине. Внутри мережки укрепляется на веревках тот же язык, как и в поньгамской верше, как и во всех других мережках, употребляемых и на Ладожском, и на Онежском озерах, и на Волге, и во всех других реках России. Для того, чтобы распялить мережку и держать ее в наклонновисячем положении в воде, к вершине ее прикрепляется кольцо, свободно вращающееся на колу, называемом *кутовым*. Кол этот вбивается в дно реки в том расстоянии от забора, насколько вытягиваются сетки мережки (саженях в трех обыкновенно). Мережка вытаскивается вся вместе с рыбой на так называемое смотровое судно, похожее на архангельскую завозню или на волжский дощаник — нос его острый, корма усеченная отвесно, с широким бортом. В то время, когда вытащена мережка, отверстие забора, или ямега, заставляется рамой с сеткой, или так называемым *запуском*. Вытащенную мережку обыкновенно обивают снача-

ла палками от пены и наносных трав и щепок и потом уже рукой вытаскивают рыбу, кротят и убирают ее на том же смотровом судне. Для этой операции необходимы четыре человека, из которых трое в лодке вынимают пяло мережки (т. е. ближние к забору части его), четвертый зацепляет багром и тянет голову, *кут* сети; бабы очищают ее от наплывной дряни. В мережки попадаются вместе с семгой сиги, камбалы, даже щуки и налимы. Забор утвержден на тех же слегах с камнями, которые, в свою очередь, лежат на козлах, запущенных уже в воду. Лет тому 50 назад по Онеге настроено было до пяти заборов; теперь все они заменены одним.

Для починки забора, который успевает-таки не один десяток раз в течение лета промыть вода, употребляются те же работники, которые по этому случаю и называются *бродчиками*. Они получают особую плату и, кроме того, должны быть искусными. На подпорожском заборе таких бродчиков (бродчиков оттого, что река Онега в том месте довольно мелка) четыре и один *заборщик*, на ответственности которого лежит постройка самого забора (в Умбе бродчики носят уже прямое название водолазов). Он самый старший между рабочими; он же добывает рыбу из тальников, наблюдает за ее солением и продажей. Он хранит вырученные деньги и расходует их по требованию и задачам промысла. При постройке забора — его дело сообразить ломаную линию всего забора, указать, как перегородить реку кольями, т. е. «забирать реку» (отсюда и слово «забор», сменившее общее название «закол»). Он соразмеряет расстояние свай одна от другой на маховые сажени и наклоны рядов их, направленных по течению реки и против течения, указывает, сколько валить на мосты каменья или тюлетней. Он и в ответе, если забор снесет прежде времени, когда он мог бы начать свою службу. Забор строят в Умбе человек 18, которые иногда бьются около него недели три и более. При строении забора обыкновенно сплачиваются вместе два карбаса для удобства производства работ. Между карбасами аршина на полтора оставляется промежуток, на который накладывают лесину, сплачивающую карбасы; бревна и доски кладут в самый карбас. Но так как верхние слеги остаются на всю зиму нетронутыми, то все дело, стало быть, состоит в том, чтобы загородить все свободное под ними пространство тальей. А чтобы вбивать эти колья в дно, употребляют киюру — тяжелый камень (в полпуда весом), оплетенный вичьем. Талья эта, простоявшая весну, лето и осень, на зиму (после Покрова через неделю) опять убирается вместе с вершами. Таких мастеров во всей деревне Умбе нашлось только трое.

На моих глазах, для примера, опускались они в воду в шерстяных фуфайках (из которых они вбирают в себя свежий воздух) и с быстротой той же семги плыли по направлению забора, около тальи, хватаясь одной рукой за эту талью, а другой, правой, нащупывая дно реки. В том месте, где замечалось просоченное водой отверстие, водолазы выставали из воды и, принявши с мостин хворост и камень, снова бросались в воду, починяли прореху

и опять бежали вперед искать новой. Один из этих водолазов пробыл в воде 10 минут, и, вероятно, не столько при помощи шерстяной фуфайки, сколько по давнишней привычке. Этот, например, уже двадцать пять лет правил должность починщика забора.

Осенью, когда начнутся сильные бури в море, которые так любит семга, как будто находя в борьбе с волнами все свое удовольствие, всю жизнь и легкую возможность животного проявления, семгу ловят поездом, одинаково днем и ночью и одинаковым путем, как и везде. Едут против воды две лодки и за длинные веревки тянут сеть (вроде мешка, сажен до 2 печатных длиной и в *окол* (кругом) сажен до трех с половиной). В конце сети на двух углах привязаны камни, называемые *пундами*, зашитые в кожу для того, чтобы не шершили о дно и не пугали бы таким образом рыбу. *Коршик* (всегда мужчина) держит поезд, *носовщик* (всегда женщина) гребет веслами. Рыба, попадая в сеть, дергает ее и веревки* в руках кормщиков или часто поднимается с сетью вверх и серебрится у поверхности воды. Для этих поездов, например, река Варзуга уже разделена на участки для каждого семейства особенно, и поездов таких в один час осеннего рыбного времени ездит больше десятка, и притом на каждый из них рыбы попадает, как говорят, так много, что едва успевают кротить (в один запуск иногда пудов до десяти). Конечно, бывает, что тянут сеть и ничего не вытащат. Так случилось один раз на моих глазах. Я спросил: отчего это? — мне отвечали:

— А уж бог не даст, так и не вытянешь.

Но точно так же, как и заборы,— во все лето и осень стоят запущенными у прибрежьев Терского берега разные роды снастей, имеющих различные названия, смотря по расположению сети на воде. Так, например, около Кузомени (и только исключительно в этих местах) употребляются так называемые *тайники*, т. е. сеть точно с таким же расположением в воде и в такой же фигуре, какую имеет тайник варзужского забора. Для того, чтобы сеть не могло унести течение или волнение моря, она прикрепляется ко дну моря на веревках, к концам которых привязываются опять-таки каменные якори, оплетенные берестой, а для того, чтобы сеть держалась в отвесно-стоячем положении на воде, к тем же якорным веревкам (*симкам*) привязываются *кубаса* — деревянные дощечки овальной формы, в некоторых случаях берестяные поплавки и так называемые *ло́вдусы* — четыре дощечки, сплощенные в перпендикулярном положении друг к другу. Таких якорей и таких кубасов или ловдусов на всем *заводе* (на целом тайнике) бывает до десяти. Весь тайник держится вблизи берега на дреке.

Тайник делится на две части, отделенные одна от другой стеной сетки, которая идет к берегу с одной стороны и соединяется с задней морской стороной самого тайника. По обеим сторонам

* Веревок две: верхняя — называется *ихома* — потоньше, нижняя — гораздо толще — зовется *пуденица*.

этой стены оставляется небольшое отверстие, свободное пространство для прохода рыбы, которая идет, после захода в сеть, огибом вдоль стены завода и затем входит в сам тайник, т. е. в те две части завода, которые выгорожены новыми двумя стенами сетки. Отсюда рыба не может выйти назад, имея только одну возможность перейти из одного угла тайника в другой (углов этих и здесь, так же как и в заборе, пять). Если таким образом много наберется в тайнике рыбы, она не замедлит «торгать» сетку, качать веревки кибаса и, наконец, сторожевую веревку, которая протянута от береговой стены на берег, на глаза очередного сторожевого рыбака (большей частью бабы или мальчика). Сторож кричит в ближнюю избушку общим приветом: «Бог в помощь», или «Бог послал». Рыбаки садятся в карбас, вытягивают на него весь завод до той поры, пока не покажется первый кут (дальний мешок сети), в который заберется вся зашедшая в тайник рыба; затем приступают к высматриванию второго тайника завода, в котором находят тот же кут и также полный рыбы. В хорошие, уловные годы вынимают таким образом семги из одного тайника от 40 пудов до 50-ти. Тем же путем опускают опять тайник в море и на следующие полусутки, бросая сначала кут, затем стены правого тайника (которые сидят в воде в вышину на две сажени), наконец левого, и так же тянут и укрепляют веревку на берегу по окончательном запуске завода, и так же, оставляя чередового сторожа, идут в избу. Здесь или спят, если хватает еще силы на то, или на тюрике плетут сети и потом коптят их на самом легком огне в красный цвет для того, чтобы не разъедала потом соленая вода прядева и держалось бы оно на воде, а не тонуло.

По отмелым берегам Терского берега для подъема из воды семожьих сетей употребляются особого устройства полати, называемые *юриками.* Они же заменяют на этот раз и сторожевые избы. На этих полатях, под рогожным навесом (от дождя и ветра), обращенным открытой стороной к морю, также сидят и сторожат рыбу трое рыбаков, способных общими силами вытаскивать и обчищать семожью сеть. Полати эти не что иное, как дощатый помост, утвержденный над водой (иногда в полуторах и двух верстах от берега) на четырех бревнах *ногами.* Над полатями этими делаются перильца, называемые ведилками, и на них вешается рогожка, предохраняющая сторожей от непогодей. От этих же полатей идет наклонно в море род лесенки с частыми перекладинами, утвержденными также на двух бревнах (*юричинах*). По этой наклонной лесенке, или собственно юрикам, и вытягивают сеть после того, как в ней сделается приметной рыба (летом) или когда взыграет она над поверхностью (выскочит и всплеснется в ненастную, осеннюю погоду). Сеть тянут по юрикам на полатях двумя веревками, из которых одна называется *клечью* (в Кашкаранцах) и *ужищем* (в стороне к Поною); другая веревка называется *бережник* и бывает всегда тоньше первой. Рыбу из матицы (после того уже, когда всю остальную часть завода вытянут на

полати) выбирают в карбас уже у воды при основании юриков или юричной лестницы. Сеть, при таком устройстве, укрепляется обыкновенно в глуби моря на деревянном крюке, который и вытягивают потом вместе с ней.

Дальнейшее расположение в воде семожьих сетей во всех других местах беломорского прибрежья многим уже не отличается от рассказанных выше. Вся хитрость расположения *заводов* состоит в том, чтоб стены сети приходились где-нибудь под углом и чтобы в этом углу непременно был кутовой мешок, в который могла бы войти рыба для окончательной гибели. Здесь она не может повернуться и ни в каком случае не сумеет выйти назад. По разным местностям и расположение сетей носит разное название, помимо тайников и заборов. Так, например, по всему Корельскому и Поморскому берегу ловят семгу гарва́ми, именем которых называют то же расположение в воде сети, какое употребляется и на Терском берегу, с ничтожными видоизменениями, цель которых та, чтобы семга, попавши в завод, могла *объячеиться*, т. е. запутаться в ячеях сети. Хобот, или высота, запущенной в море стены завода, на этот раз называемого *переметом*, бывает до трех сажен. В Мезени этот же снаряд употребляется на местах, покрывающихся водой при приливе и осыхающих при отливе. В последнем случае объячеившаяся, запутавшаяся головой и передними крыльями рыба висит на воздухе (когда прекратится морской прилив), давая таким образом легкий способ для уборки. Перемет, находящийся в висячем положении, обыкновенно осматривается возможно чаще, на случай посещения сети этой чайками, которые в таком случае успевают очистить ее всю, еще далеко до прибытия рыбаков. То же самое можно встретить и на Печоре, особенно при устье ее. Вся разница при употреблении этих сетей для ловли состоит в немногом; так, например, в крайних деревнях Терского берега — Кашкаранцах, Порьегубе (на тоне Иогоконде), Сальнице, около Умбы и в Оленнице сеть, вместо поплавков, укрепляется над водой на так называемых *се́бьях* — деревянных крюках и даже на дреках. В таком случае на верхней тетиве ее привязано более значительное число поплавков деревянных для того, чтобы сеть опять-таки отвесно держалась на воде. Замечают одни, что сеть при себьях часто заливается водой, чего, как уверяют, никогда не бывает в то время и в тех местах, где сеть держится на воде кубасами, как, например, в Кузомени и Пялице, или *голованом*, как по Корельскому берегу. Голован этот не иное что, как деревянный чурбан, который держит сеть над водой в прямом положении и сам в то же время держится на одном месте каменным якорем.

Зимой весь Терский берег и в то же время Мезенский занимаются так называемой *подледной* ловлей семги, хотя лов этот бывает не всегда удачен. Для этой цели прорубают обыкновенно две проруби в дальнем друг от друга расстоянии (на 10 сажен). Через эти проруби, при помощи длинных десятисаженных же шестов и деревянного крюка (норила), пропускают сеть, *прона-*

ривают ее под льдом, во всю длину ее, вместе с веревкой. Проноривши сеть, ее утверждают на толстой палке — *паине*, связанной с шестом сети *вúлиной* в трех круглых прорубях; четвертую — по большей части большую и четыреугольную — в том месте, где придется кут запущенной сети. Эта последняя прорубь называется *приволóка*: через нее нащупывают рыбу в кутовом горле сети палкой и через нее же вынимают ее на лед. На воде подо льдом сеть держится опять-таки на тех же берестяных поплавках — *кебриках*,— имеющих форму трубочек. Запущенная таким образом сеть оставляется в воде на несколько суток, и иногда в пять-шесть дней не дает ни одной рыбы, особенно если долго тянется морозная, все леденящая зимняя погода.

По Печоре ловят семгу теми же переметами, теми же неводами (не через всю реку) и, наконец, теми же *поплавнями*, распускаемыми через всю реку, во всю ее ширину, как уже и было говорено в своем месте. Предпочитают ловить в бурную погоду также и на Печоре, как и везде. Замечено около Пустозерска, что в летнюю пору семга предпочитает плавать по мелям затем, чтобы тереться о песок. В это время разъедает ее кожу особое насекомое, называемое *семожьим клопом*. Если много попадается такой семги с клопами, то примечают, что осенний улов рыбы будет обильный. Семга с клопом называется *походнóю*: она идет первой из моря еще в первый раз и вывелась из икры, которая была вымечена в Печоре.

На реке Мезени для семги в большом ходу те же *пóплавни*, которые и здесь большей частью принадлежат целому селению, как, например, терские заборы. Каждая поплавь состоит из девяти сетей, каждая сеть в 20 сажен длины. Сети эти *свирываются*, т. е. сплетаются вместе и образуют таким образом поплавь в 180 сажен длиной (стоит она обыкновенно от 50 до 100 руб. сер.). Таких поплавней по всей реке Мезени ходит штук 50 и иногда 70. Каждая из них сидит в воде на три сажени и держится в отвесном положении при помощи кубасов, пришитых внизу, и поплавков, приделанных вверху к надводной тетиве или веревке. С каждой поплавней ездит один карбас с тремя работниками, из которых один мечет сеть, привязавши ее к трехведерному бочонку — буйку (на Мезени) и к палкам, имеющим форму креста (по Печоре); двое других работников правят лодкой: один на веслах, другой на руле. Выметавши всю сеть, с другим концом ее, противоположным буйку, едут все три работника в том же карбасе против течения и всегда в сильную погоду и преимущественно при мутной воде. Семга, идущая в эту пору в реки из моря (в котором в солнечную погоду она любит *играть*), попадает в ячеи поплавни, путается в них и иногда вспрыгивает над водой. Рыбаки, не обращая на это никакого внимания, продолжают ехать дальше до тех пор, пока не притянут сети к оставленному другому концу их с буем. Ехали бы они и дальше, если бы не могли приплыть в чужой участок (как это делается на Печоре) или если бы не боялись того, что быстрина воды может спутать сеть, сильно перекосивши

ее (как это и бывает при сильных морских приливах в реке Мезени). С поплавнями этими выезжают в осеннее время несколько раз в день, и так в течение 8 и 9 недель кряду.

В реке Двине редко употребляются поплавни, зато в большом ходу переметы, которые ставятся также и по Мезени, и по Печоре в довольно значительном числе. Переметы эти утверждаются на кольях, которые находятся на расстоянии двух сажен один от другого, и преимущественно там, где круты берега. В переметах нет уже ни кубасов, ни поплавков, одни тетивы. Длина всего этого снаряда достигает до 15 сажен. Один перемет от другого ставят на 50 сажен расстояния, и преимущественно на камнях, около которых, как известно, семга любит тереться. При приливах, когда чаще идет в реки рыба, переметы эти покрываются водой. Семга, подходя к ним, путается в ячеях, а при отливе остается в них и снимается сторожем, который обязан при этом обивать палкой все наплывные из моря нечистоты. Случается, что при больших и сильных приливах вода ломает колья и рвет самые переметы, и точно так же во множестве прилетают чайки похищать рыбу.

Переметами же, поплавнями и неводами (последними по известным всей России приемам) вылавливается семга и на всех других берегах Белого моря: Зимнем, Летнем, Онежском, Поморском, Корельском, иногда на Терском и редко, впрочем, на Мурманском. На Канинском берегу, на островах Колгуеве и Новой Земле попадается особый род семги, меньше ростом, с более нежным мясом и со всеми теми же привычками и свойствами, какими обладает сама семга. Это — *гольцы* (Salmo alpinus; круглее семги, длиной до $^3/_4$ аршина и весом от 2 до 15 фунтов). Они также любят подниматься вверх по рекам для метания икры, также любят борьбу с порогами и крутым, сильным течением, также *лоншают*, т. е. возвращаются из реки в море с носовым наростом. На этом основании и ловят их теми же способами, т. е. строят небольшие заборы с деревянными вершами, и точно так же гольцов этих набивается в каждую вершу так много, что все остальные, задние, стоят неподвижно большими табунами, уткнувшись головами в тальи забора. Отсюда их большей частью и добывают просто саком. Кроме заборов, гольцов ловят еще в невода при устьях рек. Лучшие вкусом гольцы — новоземельские, вылавливаемые в незначительном числе и исключительно притом для домашнего употребления. Вообще голец мелок, шкурка его синеватая с мелкой чешуей. Рыба эта очень вкусна, даже осоленная скупо и дурной солью*.

Так же скупо и, в то же время, так же дурно осаливается на всех пунктах улова и семга, вопреки огромного требования на эту рыбу во всех столичных и других рынках России; несмотря на то, что поморам дозволено приобретение лучшей французской соли в Норвегии и провоз ее оттуда беспошлинно, соление до сих пор

* Некоторое сходство с гольцами имеет рыба *палья*, вылавливаемая в Онежском озере и в озерах Кольского полуострова.

производится небрежно: рыба солится плохо вычищенная, плохо промытая, не тотчас по улове, а значительно уже вылежавшаяся, стало быть потерявшая половину из всего ее лучшего. Купорится она в нечистых, промозглых, прогорклых бочонках, нечистыми руками, количеством соли, брошенным наугад, без системы, без положительного знания, по каким-то вековым предрассудкам и приметам. Поразительное исключение составляет, может быть, одна только семга-порог, приготовляемая опрятнее, но и та солится вместе с костями, нередко в старом рассоле и без помощи селитры, которая принята за благо во всех других местах Европы. Несмотря, однако ж, на то, порог-семга солится не заграничной солью, а русской, той же беломорской (с варниц Красной горы) солью. Приготовляемая для Петербурга семга обыкновенно выбиралась из множества других; для этого употребляли ту, у которой белое брюхо и фиолетовая спина (красная и синяя, избившаяся о мережку, остается в губернии). Семга бывает величиной от 2 до 6 четвертей, весом от 4 до 80 фунтов; рот у ней небольшой; язык белый, костеватый, перьев плечных и подбрюшных по два и на спине и близ прохода по одному. На спине к хвосту замечается маленькое перышко, обросшее жиром и находящееся как бы в зачаточном состоянии. Хвост рыбы широкий с выемкой; цвет чешуи темно-синеватый, с серебряным отливом на спине; по бокам светлее и потому серебристее, с черными пятнами в некоторых местах; на брюхе цвет по большей части совершенно белый, серебряный. Обыкновенная цена за пуд 3 и 4 руб., зимой доходит до 5 и выше руб. сер. Порог — самая дорогая; кола и поной — самая дешевая.

На заборе в Подпорожье принято еще обыкновение прорезать рыбе ножом крайнее место у хвоста, и это, говорят, особенно важно при солении, хотя все дело состоит в том, что через этот разрез рыба скорее осаливается, но и то, может, одним днем раньше, чем та, у которой хвост забудут или поленятся прорезать.

Быстро нес меня карбас на легком благоприятном поветерье от деревни Кузомени по направлению к Кашкаранцам. Скоро пронес он это сорокаверстное пространство и к вечеру позволил увидеть эту деревню прямо с моря, на далеко выдавшемся из земли песчано-каменистом мысу, со множеством обычных крестов на наволоках. Назади помнился камень-корабль, скала, имеющая издали поразительное сходство с этим великаном судов; впереди виднелась деревушка Кашкаранцы с относительно недурными строениями. Попались в карбасе кашкараны, обиравшие рыбу с тоней, которых такая пропасть по всему спопутному берегу. То же множество промысловых избушек, не пустых на то время (был конец июля), стояло на берегу и на дальнейшем пути, на следующих 15-ти верстах до Сальницы и 20-ти до Оленницы. Огромная мель, на которой торчали голые камни чуть не над поверхностью воды, не позволила мне побывать в первой из этих

деревушек. Не был я также и в следующей деревушке — Оленнице (с 30 домами и 50 мужиками); белелась только верстах в 6 от нас вновь строившаяся деревянная церковь. Благоприятное — редкий гость — поветерье понесло нас мимо; даже сами гребцы не хотели сменяться до Кузреки, которая отстоит от Оленницы, как думают, на 35 верст (зимние пути, конечно, короче верст на 5, на 7. на 10 и даже больше)

Кузрека — маленькая (10 дворов), грязненькая, старенькая деревушка, заброшенная далеко за устьем реки Кузи, мелкой до того, что по стрежу ее расставлены вехи,— обстоятельство, помешавшее англичанам посетить эту деревушку, несмотря на то, что она, в то время, почти совершенно обезлюдела: все мужское население ее уходило на помощь в Умбу, до которой от Кузреки 30 верст морем. Немногим пополнило мои сведения посещение этой деревушки помимо семожьей ловли, которая и здесь составляет насущное, главное занятие. Из этой деревушки, точно так же, как и изо всех прежних до Поноя, народ не поднимается на Мурман, но по зимам, с Федора Тирона до Благовещенья[5], ходит для промысла морского зверя недели на три, на четыре на Бабий Нос, на мысы: Погорельский, Никодимский, в Девятое (становище у Поноя) и на Святой Нос.

На промысел этот идут обыкновенно в следующем порядке: впереди бежит на лыжах хозяин, обязанный высматривать удобное для прохода место и кричать, где камень, где ропачистый (негладкий) лед, между которым вода обыкновенно садит (ходит с необыкновенной быстротой) и мельчит торосный лед в шугу, по которой бегут уже на длинных и широких «ламбах».

Пока они бегут, мы ненадолго остановимся осмотреть эти диковинные ламбы, которые здесь, на Терском берегу, чаще называются лопарским словом «ка́лги». Берут доску длиной в 2 аршина 6 верхов (вершков), шириной 2 $^{1}/_{2}$ вершка, в толщину не более $^{7}/_{8}$ того же вершка. К верхней стороне доски, предназначенной для подошвы человеческой ноги, чтобы она здесь не скользила, деревянными гвоздочками прикрепляется кусок бересты в пол-аршина длины и в 2 $^{1}/_{2}$ вершка ширины. Это — пе́лгас. Эту доску в передней части загибают несколько кверху и «носок» затесывают острым углом. Нижнюю сторону доски обшивают, сплошь всю, тюленьей кожей, края которой заворачивают на верхнюю сторону. Это — «мелгас». Когда промышленник поставит ногу, то на «пятнике» обхватывает сзади ремнем-«запятником», а весь перед ноги прикрепляет ремнем, называемым и «переноском», и «наносошником». Поморские ламбы отличаются только тем, что короче (всего 1 $^{1}/_{2}$ арш.) и шире (до 6 верш.) и вместо обоих ремней — пелгаса и мелгаса — снабжены ременной дугой поперечки, в которую свободно просовывается нога, как в калоши или в стремя. С носка идет поводок для управления, когда нужно, руками, как и в лыжах.

Позади хозяина покрута, на этот раз правящего обязанность кормщика, бегут на лыжах двое его работников, которые тянут на лямках лодку с подделанными внизу креньями. В лодке — прови-

зия, теплая лопоть (носильное платье), орудия ловли: пешни, ножи, кутило и другая снасть. У всех на спину перекинуты винтовки, у всех в карманах и за пазухой кусочки свинцу для пуль и порох, если ветер, дующий с гор, не отнесет лед в голомя и не заставит промышленников в ближайшей избушке выжидать у моря погоды и возвращения льда.

На нем уже наверно образовали залежки бельки, отделившиеся от матерей и отцов, уплывших в Мезенский залив. Заметивши юрово, креневой карбас немедленно спускается на воду, зверь берется на те же хитрости и теми же орудиями (мелкий на ко́кот — деревянную колотушку; крупный — на винтовку). Убитого зверя выносят на берег, там его и пластают, мясо бросая, а харавины (шкуры) с салом везут домой, где обыкновенно строгают его и вымачивают харавины для замши в воде (летом) повыше заборов, для того, чтобы вымокла и вылезла вся негустая и короткая шерсть.

Точно так же и здесь, на Терском, как и на Зимнем, Мезенском и Канинском, сильные ветра раздергивают лед, на котором промышленники заняты своей работой, и уносят его в добрый час на Соловецкий остров или к мезенским берегам; в несчастный час, при перемене ветра,— в океан на верную гибель!..

На Святом Носе те же промыслы производят исключительно одни почти лопари. Удача этого промысла на Терском берегу зависит, как уже сказано, от ветров, которые в то же время могут вынести льды с юровами в океан или просто прибить их к Корельскому берегу, предоставивши таким образом промысел в другие руки, или примкнут те же неблагоприятные ветра и те же льдины к необитаемой, пустынной части Терского берега (между Кандалакшей и Порьегубой). Здесь зверь спокойно живет зиму и спокойно выплывает по весне в океан, ускользнув из рук поморов.

И вот — Умба, лучшее (после Варзуги) селение Терского берега, с огромным забором, глубокой, картинно обставленной высокими скалами рекой. С одной из варак глядит высоко поднявшаяся к небу деревянная часовня, словно орлиное гнездо, чуть держащаяся на обрывистой, сероватой, гранитной крутизне. С параллели этой скалы и часовни, из-за чащи высоких сосновых деревьев, уже сереет своими избами и самое село,— та Умба, которой, как носились слухи, хотели заменить Колу, переведя сюда уездный город с его присутствиями и уездом; та, наконец, Умба, которая пользуется лучшей рекой во всех прибрежьях моря,— рекой, порожистой только на две версты выше села, где и устроен забор для семги, охотно посещающей эту реку через два ее рукава. Река эта, против обыкновения, не надоедает уже шумом, а тихо катится в море по глубокому стрежу. Так же тихо и скромно расходится народ по домам (на мой приезд туда только что отошла обедня), небольшая часть того доброго и приветливого народа Терского берега, между которым, как положительно известно, нет ни одного раскольника и про который, вероятно, еще и до сих пор рассказывают все поморы ближних и дальних берегов, что стоит только обокраденному мужику заявить о своей пропаже в церкви после обедни — вор или вынужденный об-

стоятельствами похититель непременно скажется или укажет на него другой.

Действительно, на всем Терском берегу в редких случаях употребляются замки, и то по большей части против коровы или блудливой овцы. Доверчиво смотрят все терские, откровенно высказывают все свое сокровенное, хотя и высказывают это несколько книжным, фигурным языком, не отличаясь, в то же время, в говоре от других поморов. Гостеприимство и угощения доведены здесь до крайней степени добродушия; хозяин и хозяйка суетятся все время, принося все лучшее и беспрестанно потчуя и оправдываясь при этом тем, что, по пословице, «хозяева-де и с перстов наедятся». Добродушие это и по-своему понимаемое ими гостеприимство доходило несколько раз до того, что кормщики (по большей части хозяева обывательского карбаса) не хотели даже получать прогонных денег, что с трудом можно было убедить в этом законном их праве.

— С тебя деньги грех брать, *странный* (странник, заезжий), а мы за богом — дома! — был ответ одних.

— Странникову-то златницу черт подхватывает да и несет к сатане. Тот над ней прыгает, пляшет, к дьявольскому сердцу своему прижимает. Так и в Писании сказано! — объясняли другие.

То же гостеприимство и готовность на услуги, словоохотливость и радушный, родственный прием ожидали меня в следующем селении — Порьегубе, за 30 верст от Умбы. Высокие Умбовские горы долго еще тянулись по берегу, выкрытые уже значительно густым сосняком и ельником; острова попадались редко. Селение оказалось забившимся за дальней губой, преглубокой, обставленной низменными берегами с густым, непроглядным бором. В селении церковь и только 15 дворов. Бедность селения, как сказывали, зависит от безрыбья губы, от некоторой удаленности от моря. Лесные и тундряные промыслы пушного зверя и перекупка рыбы у лопарей дают возможность жителям Порьегубы выменивать достаточное количество муки, для годового пропитания, с судов, приходящих сюда из Кемского поморья.

С Порьегубы путь лежал назад, через Кандалажскую губу, в селение Корельского берега — Ковду, покинутую мной только в прошлом месяце. Плыть приводилось сначала десять верст между островами и лудами (Крестовой, Озерчанкой, Столбовыми, Седловатым, Хед-островом, Медвежьим); затем 20 верст полым (открытым) морем и потом опять десять верст между лудами противоположного, Корельского, берега до устья реки Ковды. На самом высоком и крутом из островов Порьегубских — Медвежьем, покрытом кустарником, мы останавливались и с трудом могли различить четыре рудокопные ямы: Орел, Надежду, Курт и Боярскую. Эти ямы, зарываемые временем и непогодами, служат последним, отживающим, наглазным признаком существования на острове Медведе, с 1740 по 1790 год, разработки серебряной руды и строений при этом прииске. Разработка производилась частными людьми, но «берг-коллегия, усмотрев прииск сей в делопроизводстве неспособным, оставила оный». Около ям этих промышленники до сих еще пор находят куски свин-

цового блеска. Впрочем, забытого и заброшенного в архангельском крае немало. В 15 верстах от села Керети, по дороге в Колу, в Пулонской горе, керечане добывали слюду большими листьями. Яму залило водой, а водокачек не было. В океанских губах ловились устрицы и добывался отличный аспидный камень, который от солнечного жара выламывался сам собой слоями. По рекам Сюзьме, Кеми и другим в их верховьях выжидали спада весенних вод, кроткой и малой воды, когда можно было видеть дно реки. Устраивали тогда прорезной плот и следили за движением раковин. Их брали особыми расчепами, и при удачном лове набирали штук до 50-ти. Вскрывая, искали жемчуг и находили мягким, как воск, а чтобы затвердел он, клали его в рот и за щеку для соединения с слюной. Теперь на лов жемчуга не смотрят как на кормежный промысел, а потому его и бросили. Только два-три кемлянина (больше для поддержки славы и чести городского герба, изображающего жемчужную нитку) разъезжают по верховьям беломорских рек и речек. Были они в реках Сюзьме и Солзе и назад больше не приезжали — значит, ничего здесь не нашли. Указы Петра и Екатерины II сохранили следы тех хлопот, которые устремлены были на развитие промысла: предписывалось осматривать раковины, не разрывая их; если бы при осмотре оказалась маленькая жемчужина — велено было таковые, как недозрелые, бросать обратно в реку, и т. п.

Начинало темнеть. Острова то уходили назад и скрывались в тумане, то продолжали снова выплывать впереди. Мы ехали греблей, хотя и перебегал какой-то ветер с разных сторон, желавший, по всем приметам, уходиться, улечься в одной стороне чистого, ясного неба.

— Который-то час, ваша милость?— спросил меня кормщик.— По-нашему, надо быть, девятый на исходе, коли бы не десятый в начале.

Я сверился с часами. Кормщик ошибся немногим: мои часы показывали половину девятого.

— Отчего ж ты угадал?

— А, вишь, солнце-то в побережнике (NW), немного подалось к межнику на север.

— По нашему счету, дело это во какое!— объяснял он потом.— Солнышко пошло от *полуношника* (NO) на *всток* и пришло туда — знай: шесть часов ночи. Вставай наш брат помор, богу молись, за работу примайся, пора! Солнышко на ту пору к обеднику (SO) три часа целых пройдет, в девять часов в обеднике будет; береговые наши терские обедать садятся: первая выть [6]. В двенадцать часов солнышко на лете (S) будет, на ветре том в ту сторону неба уходит. В три часа за полдень оно на *шалонике* (SW): вторая выть, береговые поужинают. В шесть часов солнце на запад придет, да не прячется, а только стоит в той стороне неба — и все тут. В девять оно в побережнике (NW): для береговых третья выть, ужинать садятся. В двенадцать часов солнышко на север придет: мужики все уже давно *повалились* и *заспали,* у мужика на брюхе туго и сон крепок, не дотычешься. Спит он и еще три часа, когда солнышко свое дело правит, в три часа ночи в *полуношнике* (NO) придет. Опять ты его, мужика, на ту пору

не дотолкаешься: все еще крепок сон, все еще мужик огрызается. Дай ты ему еще три часа доху. Когда солнышко на вcredит придет — опять мужик сам горошком вскочит: выспался, вздынулся, умылся, богу помолился, всех за работу усадил и сам за работу принялся. Идет красный денек вперед да вперед, идет красное солнышко своим чередом по ветрам, и опять мужику четыре выти, четыре раза есть, двенадцать часов работать.

На Мурмане вон, сказывают, всего только три выти, а то, слышь, и две, а то-де и одна, да и та всухомятку, особо когда работа-де горячая идет. Это ведь нам, береговым, хорошо на четыре-то выти распоясываться от нечего делать. Мы, пожалуй, в межниках еще сверх сыта пообедаем, когда межник от лета ближе к шалонику (два часа) или когда межник от запада ближе к шалонику (четыре часа за полдень). Право так, не смехом!..

— А вон, гляди, и матушка Турья гора, госпожа Кандалуха-губа, батюшка Олений рог! — вдруг прервал свою речь кормщик, указывая на последний ясневший остров, за которым чуть-чуть вдали синела безбрежная, непроглядная полоса воды в Кандалажской губе.

Последнее присловье его, общее всем поморам, посещающим Кандалажскую губу, имеет тот смысл, что Кандалажская губа, «куда ни едешь — все впереди, все она, все прямо, все в нее угодишь», — объясняли мне кормщики. Турья гора, гранитный утес с уступами, в 200 футов высотой над морем, у мыса Турья, на Терском берегу, приметна издали, «где-где покажется» (по словам поморов), а Олений рог (на Оленевском острове, у Корельского берега) с мелкими местами далеко оттянул в голомя Кандалажской губы, отпрядышами сажен на 50 от берега, между селениями Керетью и Ковдой.

Между тем мы плыли все-таки еще между островами, хотя и последними, и все-таки по-прежнему на гребле. Ветер установился сначала южный, потом перебежал, переменился на запад. Но оба, легким дуновением, незаметно располагали ко сну; на этот раз и монотонно затянутая кормщиком песня послужила для последнего занятия хорошим, благоприятным подспорьем. Я, убаюканный всем этим и легким покачиванием карбаса на легких волнах, заснул.

Просыпаюсь, чувствую озноб и холод, который, вероятно, и разбудил меня. Вижу обручья будки, слышу ужасный шум и свист, в которых ничего нельзя разобрать. Смотрю вперед — гребцы положили весла, подняли свои косые паруса и вместо того, чтобы спать по обыкновению, молча сидят на своих местах, закутавшись в полушубки. Действительно, холодная, пронизывающая сырость наполняла и мою будку: холодно было и мне, одетому, однако, совсем по-осеннему. Неопределенность молчания соседей, на первых минутах пробуждения, подействовала как-то смутно и тяжело. Мне сделалось бессознательно страшно.

— В чем, братцы, дело? — спросил я.

Ответа не было. Я обратился к кормщику, но и тот молчал. Неопределенный страх мой усилился. Я настаивал-таки на своем и опросил кормщика.

— Пылко больно! — отвечал он мне сердито и неохотно.

— Какой ветер?

— Полуношник (NO).

В словах этих представилось мне столько ужаса и двусмысленности, что, помнится, сердце облилось кровью и начало еще сильнее биться. Так же бессознательно я позволил себе, несколько оправившись, другое движение — вон из будки. Страх мой был не напрасен: море буквально кипело котлом; высокие волны бороздили его справа, ветер свистел невыносимо, может быть, в снастях нашего карбаса, может быть, неся этот свист продолженным эхом из дальних скал Терского берега, который на этот раз ушел далеко и весь затянулся туманом. В этом же тумане, еще более непроглядном, еще более густом, виделся за головой кормщика противоположный Корельский берег — цель нашего плавания. Дальнее море в туманном мраке слилось уже с хмурым небом, затянутым, в свою очередь, черными тучами без просвета, как в глухую осеннюю — *волчью* — ночь. Мы были на половине пути в самой середине Кандалажской губы.

Ветер ходил здесь свободно, без препятствий, без остановок. Здесь он был полный и неограниченный властелин и хозяин; надо было крайнее умение, чтобы бороться своим умом и толком с его враждебными порывами. Мне делалось уже окончательно страшно и привелось даже пожалеть о том, что холод разбудил меня прежде времени. Лучше было бы проснуться в то время, когда карбас миновал все опасности, а не теперь, когда она на носу, когда от нее никуда не спрячешься, когда на десять верст вперед, на десять верст назад нет ни одной хоронушки, ни одного становища, хоть бы один островок, хоть бы одна скала, даже и на пол-аршина над водой. Кипевшее море, постепенно крепчавший ветер ужасом обдавали по-прежнему сердце и нагоняли мрачные и страшные мысли. Я спрятался опять под будку, хотел заснуть — не мог: масса разных воспоминаний путалась в голове без связи, без порядка, но так, в то же время, быстро и своеобразно, что трудно было уследить за мыслями. Припомнился дальний уездный городок, куда бы ехал теперь с несказанной охотой, где бы желал быть в настоящую пору и полжизни бы отдал за то; где будут долго и искренне плакать над горькой участью, предложенной негостеприимной, далеко не родной и не родственной морской губой Белого моря. И вдруг, вслед за тем, промелькнул большой город: вспомнились золотые главы, узкие улицы, площади с фонтанами, бульвары с густопоросшими аллеями, маленький садик во дворе между четырьмя большими домами, theatrum anatomicum с крылечком, несколько лиц, хорошо знакомых издавна, с которыми бы не расстался вовеки. Опять новые виды: железная дорога, толпа мужиков кругом; незнакомый красивый город, высокие дома, чудно обставленные гранитные берега реки, еще что-то... длинный Архангельск, и семожий забор в Умбе, и опять что-то еще более неясное и неопределенное... седой старик в Порьегубе, угощающий густым, как пиво, чаем и окаменелыми баранками; овца в Варзуге, бегающая в круги, бесконечно долго, бесконечно много, словно сумасшедшая, под окнами моей квартиры.

«Крючок от сети в бок попал,— не ослобонится»,— вспоминается объяснение хозяина, как будто сейчас выговоренное и как будто звуки слов этих еще не застыли в воздухе...

Так же бессознательно смешными показались на этот раз и эти слова, как смешны были и другие случаи, пришедшие вслед за тем на память, но зачем и с какой статьи?— объяснить я себе этого уже окончательно не мог. Чувствовалось только, что как будто на душе с этой минуты сделалось и светлее, и приятнее. Я уже смел закурить сигару, смел опять вылезть вон и сесть на будку; смел опять смотреть на волны, даже, как казалось, безбоязненно, хотя и не безнаказанно. Бойкая волна круто разорвалась о накренившийся бок нашего карбаса, вырвала сигару из рук и унесла ее в море. Обливши меня щедро брызгами, волна плеснула на грудь и в лица гребцов и заставила одного из них нарушить его упорно сдерживаемое, сосредоточенное молчание.

— Ишь, лешая, плескается!— успел он однозвучно выговорить и опять замолчал.

Молчание это продолжало томить и возмущать душевный покой по-прежнему. По-прежнему проходили в голове новые воспоминания, быстро погоняя одно другое; припоминалось многое иное, уже новое. Но одна мысль о том, что мы, во всяком случае, едем по морю, которое имеет здесь сто сажен глубины, опережала все прочие и сделала свое дело. Опять пробовал и не мог я заснуть, видя, что передний берег все еще залит туманом, все еще тускло отдает надеждой на скорое плавание между островами, где и ветер будет ходить тише, где сами волны значительно мельче, где, может быть, выровняется даже и такая поверхность, которую чуть-чуть только рябит и которую тем легче может осилить своей острой грудью наша скорлупка — карбас. Захотелось чаю, теплой комнаты, захотелось быть на берегу так сильно и неодолимо, как не хотелось ничего и никогда в жизни. Не желал бы выходить из будки в другой раз, чтобы, не видя воочию опасности, спокойнее выждать благополучный и, пожалуй, уж и неблагополучный исход ее, если того требует судьба и житейская случайность. Набежит волна, подхватит наш карбас, явится ей немедленно другая волна на подмогу: разобьют они сообща неплотно шитое суденко наше, разломят его на две, на три, на четыре части, увлечет нас собственная наша тяжесть на этих осколках судна, между теми же осколками, на самое дно, где и холодно, где и темно и где, наконец, верная смерть — всегда мрачный, хладнокровный, безнадежный, неумолимый враг! Плыть от врага этого — не уплывешь: самый ближний берег чуть виден, и волны ходят такие крутые и высокие, с какими могут бороться одни только суда, затем выстроенные, на то приспособленные целыми веками не одним десятком умов.

Лучше, если бы стихал ветер, лучше, если бы нес он скорее между островами, в реку, к твердому берегу, где и изба теплая, и чай горячий. Можно приготовить недурно удобосъедомый обед; можно говорить спокойнее и словоохотливее, можно делать все, что захочешь: писать, ходить, лежать, не боясь смерти, не думая о ней.

И, кажется, не выехать бы из деревни до той поры, пока совершенно не уходился бы ветер, не улеглось бы море, и весь остальной путь предпочел бы проехать лучше греблей, чем на парусах, лучше между островами и гораздо медленнее, чем теперь по страшному взводню, на самом крепком северо-восточном ветре, который был для нас полнейший фордевинд.

— Слушай, Васька! на берег приедем, нос и уши обрублю тебе непременно — верь ты моему слову нелестному! Что зеваешь-то, окаянный, неумытая душа! Рочи шкот-от, леший! — кричал кормщик гребцу-лопарю, и как будто уже заметно более спокойным голосом.

Он был так щедр на слова, что казалось, в душе его затихла буря; да и была ли она? Он как будто не сердится уже на свое ремесло, а с любовью, крепко налегши на руль и внимательно устремивши взгляд свой вперед на дальний берег, что-то высматривает и, хотя молча, справляет свою обязанность. С ним, казалось мне, уже можно было заговорить и не рассердить его.

— Что, уж не страшно теперь: доедем?

— Чего страшно? чего доедем? известно, доедем!.. Сидел бы, твоя милость, под будкой; а то, на будке-то сидя, мешаешь, заслоняешь, не видно! — отвечал он резко, но опять-таки спокойнее и не с сердцов.

Он снова замолчал, крепко налег на руль; и то повернет его вправо, то отдаст немного назад, и опять двигает головой по сторонам, что-то сосредоточенно-внимательно высматривает.

Вот он кричит на помощников:

— Отдай, Гришка, кливера, рулю тяжело, скорей, проклятый! Ишь ведь вы, с Васькой-то одного гнезда воры. Ужо вот я вас!.. шевелись!.. Набежит бойчее волна, опружит... Рулю тяжело; руки-то у меня не каменные, жильные, чай, саднеют уж!.. Ну, живей, стрелья бы вам в спину обоим!..

Кажется мне, невольно ухватившемуся за его мысль, что слова эти были справедливы и брань сыпалась по заслугам. Как будто нарочно медленно, не живо брались гребцы за свое дело, как будто бы мертвым узлом крепили они шкот и другие снасти, и вот, того и гляди, вырвется бечева из рук, начнет хлестаться на воде. Набежит в это время волна, не умеющая медлить и пережидать ленивого. Но кормщик молчал: стало быть, все хорошо. Мысль об опасности пропала окончательно; даже весело было смотреть, как одна волна, набегая слева страшной горой на самый карбас, готовая залить его, ломалась подле борта, словно нагибалась тут, и проходила под судном на правую сторону уже неопасной, уже побежденной, а потому и покорной. Новая, такая же высокая, такая же страшная, точно так же, с тем же шумом вздымалась налево от нас, так же опускалась и проходила под карбас, легонько покачнувши его и отдавая свою пену назад, на новые волны, которых постигала та же участь. Весело было смотреть в это время на всю эту игру расходившегося взводня, весело было встречать все другие, новые волны и следить за ними на другой стороне за карбасом, который продолжал тянуть за собой

светящийся, свободный от пены след все больше и дальше. Вдали, в крайней дали, едва досягаемой взглядом, неугомонные волны заметали этот след, уничтожали его навсегда, как лишний, бесполезный и обидный признак победы утлого суденка-щепки, но выстроенного для борьбы этой и победы человеком и для человека.

Между тем ветер, надувши наши паруса, продолжал крепчать. Судно рассекало, резало волны и быстро бежало вперед. Скоро оно успело подтянуть к нам острова, скоро бросило некоторые из них назади. Взводень оказался между островами этими, действительно, слабее и рыдал только там, где оставался свободный проход для ветра, свободный выход в море. Наконец и последние острова остались назади, мы ехали рекой Ковдой между избами. Слышался давно знакомый шум порогов, который как будто, на этот раз, разносился еще сильнее, резче и даже музыкальнее. Но вот уже карбас наш привязан; мы на берегу и в теплой комнате. Передо мной кормщик держит руки, все окровавленные, все имевшие поразительно неприятный, отталкивающий вид, и просит на водку гривенник для косушки, простосердечно давая этому гривеннику огромное значение десяти рублей серебром.

— А ведь страшно было ехать?— заметил я ему.

— Чего страшного: этак ли еще бывает?— отвечал он прежним своим равнодушным голосом и с прежним невозмутимым спокойствием.

— Ну да, однако, и с нами хорошо было?

— Хорошо-то хорошо!.. Страшно было! Два раза чуть не опружило; а все вот эти черти!

Он указал на улыбавшихся гребцов.

— Что же ты с ними сделаешь?

— А что с ними сделать? Дал ты нам деньги — пойдем выпьем вместе за твое здоровье. Да надо же будет и нам переждать здесь: ветер-от теперь противняк на Терский берег...

— А я могу ехать дальше?

— Отчего не ехать? — можешь. А лучше бы, кабы и ты переждал: не ровен ведь час!..

Двое суток тянул потом крепкий северо-восток и держал меня в селе Ковде, не пуская с места. Каждый раз, как ни пошлешь посмотреть на море, приносился один ответ:

— Пыль, пыль, страшенная пыль в море. Вода что бересто, словно мылом налита.

— Спас тебя бог на этот раз, нечего в другой раз смерти пытать. Коршик-от у тебя был золотой человек, этаких-то по всему Поморью только три и есть, и всех по именам знают: малого ребенка спроси об Иване Архипове. С этим человеком можно горе горевать. Другой на таком взводнишше да на таком крутом ветре, пожалуй, безотменно бы пустил тебя рыбу ловить. Пей-ко вот чай-то, прошу покорно!

Прежний знакомый хозяин квартиры с шахматным полом, с мурманским голубком под потолком и с птицей дивной, говорящей человеческими голосами, усердно кланяясь, поил меня чаем со слив-

ками. Общелкивая в то же время маленькими кусочками крупно наколотый сахар и хитро поставив, московским обычаем, блюдечко с чаем на распяленных рогулькой пальцах правой руки, растабарывал:

— Нет ничего обиднее смерти этой выжидать среди моря, когда вот баба какая на ту пору прилучится. Сам ты о себе на ту пору думаешь мало, все попечение о житии своем откладываешь, только молитвы набираешь, чтобы больше их было. А бабы — нет: бабы смущают. Сердце у тебя окаменеет; перед собой только и видишь воду да карбас; а они вой поднимают, под сердечушки свои хватаются, словно они выпрыгнуть у них хотят! Опять же бабы эти — дери их горой! — причитанья свои надрывные, что на могилах сказывают, начнут разводить: в лес бы бежал! В чувство приводят, памятью твоей руководствуют. Иногда, слышь, до смехов доходит дело, разveселяют... Одна, как теперь вижу и помню, до того добралась: «Батюшко-де, слышь, Никола Угодник, помоги, если сможешь!»

На другой день после этого разговора я уже уехал в обратный путь вдоль Корельского берега и на пятые сутки скучного прибрежного плавания был опять в Кеми, на поморском берегу Белого моря.

II

ПОМОРСКИЙ БЕРЕГ, ИЛИ СОБСТВЕННО ПОМОРЬЕ *

1. ***Город Кемь;*** его история.— Занятия кемлян и жемчужная ловля.— Шкиперское училище.— 2. *Разоренная обитель.*— Копыловская вера.— Чашники.— Кто такой Копылов.— Вещественные следы Топозерского скита.— Дикая и пустынная река.— Пороги на р. Кеми.— Дорога на Топозеро.— Громадное озеро.— Скитское островное селение.— Внешний вид и внутренний быт скита.— Церковные службы в нем.— Влияние его на окрестных жителей.— Большаки.— Женщины.— Иван Демидыч.— Его мнения и рассказы.— Разоренные скиты.— Их государственное значение и последствия разрушений.— 3. *Беломорские суда.*— Внешний вид города Кеми.— Леп-остров.— Туземные богачи-судохозяева.— Строители судов и обряды, соблюдаемые при судостроении.— Беломорские суда: лодья, раньшина, с чердаками, шняка, кочмар, разные виды карбасов.— Мелкие речные суда: барки, полубарки, каюки, обласы, завозни, разные виды плотов, покинутые кочи.— 4. *Беломорская торговля*: история ее и настоящее состояние по сношению поморов с Норвегией.— Путь из Кеми в Онегу.— Село Шуя.— Село Сорока.— 5. *Сельдяной промысел*: полярные переселения этой рыбы; подробности ловли сельдей по всем прибрежьям, но преимущественно в деревне Сороке.— Порядок лова.— Общинный лов.— Деревни Сухая и Вирьма.— 6. *Сумский посад;* его история; занятия жителей.— Обжа.— Таможня.— Соловецкие богомольцы; путь их из Петербурга по переволокам между Онежским озером и посадом Сумою.— Здешний раскол.— Пертозерский скит.— Карташова.— Ее влияние.— Характеристика поморов присловьями.— 7. *От Сумы до Онеги*:— Железные ворота.— Село Колежма.— Нервные болезни.— Раздевулье.— Размужичье.— Трудный путь до села Нюхчи.— Предание о посещении этого села Петром Великим и история пребывания Петра в северном краю России, предшествовавшего посещению Нюхчи.— Народные предания о дальнейшем пути Петра Великого вплоть до Повенца.— Ямы.— Раскольничья хлеб-соль.— Петр на крестинах. Он же на работах. Повенецкий Петр.— Случаи в дороге.— Дальнейший путь мой из Нюхчи; Унежма.— Верховая езда.— Села: Кушерека, Малошуйка, Ворзогоры.— Крестьянская свадьба.— Молитвы.— Разлучение с повязкой.— Здоров.— Дружки и дружок (вежливый).— Катанья.— Честны.— Здарье.— Баенник.— Коробье.— Полюбовная гостьба.— Дорога в Онегу.— Последнее свидание с этим городом и конечный путь и возвращение мое в Архангельск.— Образчик нравов.

---

* Поморским берегом, или собственно *Поморьем*, на языке туземцев называется западная часть Онежского залива между двумя уездными городами губернии: Онегой и Кемью. Дальние поморы, мезенские и терские, обыкновенно зовут этот берег ***Кемским.*** Мы следуем первоначальному названию этого берега по той причине, что поморцами, поморами называются исключительно обитатели Кемского берега.

1. КЕМЬ

Кемь, по всей справедливости, почитается центром промышленной деятельности всего Поморского края. Капиталисты этого города строят лучшие и в большем, против других, количестве морские суда, отправляя их и на дальние промыслы за треской на Мурманский берег, и за морским зверем на Новую Землю и Колгуев; они же первыми ездили и на дальний Шпицберген; они же ведут деятельную, с годами усиливающуюся торговлю с Норвегией. Оставляя, до приличного случая, объяснение значения этого города в ряду всех других поморских селений и всю силу нравственного влияния его на домашний и общественный быт всех соседних ему обитателей, считаю главным проследить теперь за историческими судьбами города, чтобы потом перейти к главным проявлениям деятельности жителей его: судостроению и заграничной торговле.

В архиве кемской ратуши сохранилась рукопись, начатая по приказу олонецкого наместнического правления в 1787 году и продолженная до 30-х годов нынешнего столетия. Она называется так: «История о новоучрежденном городе Кеми, состоящем Олонецкой губернии, в Петрозаводском ведении, при пределах Белого моря, Северного океана, на реке Кеми». *История* эта начинается так: «От сотворения мира в лето 7084 (1576) и 7098 (1590) оная Кемская волость от шведов дважды была воюема. Храмы божьи и обывательские домы выжжены, жители побиты, иные в полон взяты, а другие разбежались. По населении, лета 7099, июня, по грамоте царя и великого князя Феодора Иоанновича, Кемская волость отдана Соловецкого монастыря игумену Иакову с братиею. Того же лета, августа 2 дня, по таковой же царя и великого князя грамоте, велено ему, игумену, с братиею хрестьян судом и расправою ведать Соловецкого монастыря властям, или кому они прикажут». Этим и ограничиваются все сведения о первоначальном заселении города. То же самое подтверждает и соловецкий летописец. В XV веке, по свидетельству его, Кемь называлась уже волостью и принадлежала именитой посаднице Марфе Борецкой [7]. Марфа, в 1450 году, подарила эту волость, вместе с другими, Соловецкому монастырю. После падения новгородского веча Кемь сделалась государевой собственностью и была ею до царя Феодора. Больше соловецкий летописец уже не говорит ничего, хотя, по всему вероятию, можно предположить, что и Кемь, как и посад Сума, первоначально населена была кореляками и Кемь была такая бедная корельская деревушка, как и финская Suoma — Сума. В Кеми, до сих еще пор, хранятся на языке туземцев старинные корельские названия частей города, хотя корелы русским новгородским населением и отодвинуты вверх по р. Кеми на 18 верст (до деревни Подужемья). Слобода, расположенная на северном берегу реки, до настоящего времени зовется *мáндера* (по-корельски «твердая, матерая земля»); городской погост называется *гáйжа*; часть города на южном берегу — *кóрга*. Гайжу можно назвать главной частью города, потому что здесь находится соборная церковь, казенные и общественные здания. Это большой остров, образованный двумя рукавами

реки. Против этого острова (к востоку) находится другой, меньшей величины, называемый Леп-островом, отделенный небольшим проливцем Пудас. Здесь находится деревянная церковь и полуразрушенная, догнивающая свой долгий век, деревянная башня — один из остатков некогда бывшего здесь острога.

Острог этот, как пишет соловецкий летописец, построен в 7165 году (1657) по грамоте царя и великого князя Алексея Михайловича (для караула воинских людей) на счет монастырских сумм. Он был двухэтажный, назывался городком, имел по углам башни и два ряда бойниц, 12 железных пушек, 14 пищалей затинных, 63 мушкета, 30 бердышей, 118 копий, 9 рогов, 2 знамени, 3 барабана, 1 алебарду, 3 значка, 90 ядер, свинцу 9 пудов 27 фунтов и две бочки пороху. Построенный исключительно для защиты от набегов «немецких людей», острог, однако, не успел исполнить своего назначения: немцы не приходили. Городок спокойно догнивал свой век до указа Екатерины II, когда Кемь отведена была от монастыря. Боевые снаряды остались, однако, за ним. До того времени в Кеми, на особом подворье, до сих пор еще сохранившем всю оригинальность своей архитектуры, жили соловецкие старцы, сбирая на монастырь волостные доходы *с рыбных ловищ и кречатьих садбищ*. Двор этот, по примеру других и по царским указам, был *обелен*, т. е. освобожден от всех тех поборов, какими обложены были все другие обывательские дома. Когда состоялись духовные штаты, подворье продолжало оставаться в ведении монастыря до 1808 года. Тогда оно продано было тамошнему купцу Дружинину.

«В 1714 и 1715 годах, по указам его царского величества Петра Алексеевича,— продолжает вышеупомянутая *История*,— для укомплектования морского флота, набирано в матросы поголовно людей годных, крепких и здоровых, господином лубенахтом и кавалером Синявиным да лейб-гвардии капитан-лейтенантом Румянцевым (отцом задунайского героя) [8]. Из Кемского города взято с полным мундиром 44 человека, которых указом его величества велено в предбудущие наборы с прочими губерниями уравнить зачетами; оставшихся же от взятых в матросы сирот, престарелых родителей, жен и малолетних детей воспитывать того городка обществом». Набор этот — *синявшина* — до сих пор памятен народу, до сих еще пор живет в памяти его как дальние муки и разбои каянских немцев и литовских людей. Выбраны были лучшие люди; волости заметно упадали, не имея уже крепких, здоровых рук для промысла; Синявин до сих еще пор для помора — второй Мамай, второй Бирон. Еще далеко до него, в 1702 году, Кемь отпускала работных людей для проложения дороги от села Нюхчи на Повенец, по которой Петр вез сухим путем свои яхты.

«В 1749 и 1763 годах бывшими великими вешними наводнениями в проходе Кеми-реки вешнего льда у городка, с летней и с западной стороны, стены льдом и водой сломало и унесло в море, также и обывательских домов и анбаров по низким местам состоящим, много сломало и унесло. В 1764 году, по указу ее величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны, оный Кемский город из вотчины

Соловецкого монастыря под ведомство государственной коллегии экономии присланным от архангелогородской губернской канцелярии поручиком Матвеем Какушкиным отведен и управляем был, как прочие духовные вотчины, архангелогородскими экономическими казначеями. 1785 года мая в 16 день, по именному государыни императрицы Екатерины II указу, данному правящему должность олонецкого и архангельского генерал-губернатора, господину генерал-поручику Тутолмину[9], велено пределы Олонецкого наместничества распространить до Белого моря и Кемский городок переименовать городом; а того же 1785 года августа 22 дня прибывшим нарочно его превосходительством, господином статским советником, олонецким губернатором, Гаврилой Романовичем Державиным[10], с церковной надлежащей церемонией, открыть».

Дальнейшие сведения, сообщаемые «Историей», состоят в том, что в 1787 в городе открыты были присутственные места; в 1796 году освящена церковь во имя Живоначальныя Троицы (кладбищенская); в 1802 году город присоединен к Архангельской губернии; в 1811 позволено жителям вывезти 2000 четвертей хлеба в Норвегию для вымена на рыбу и привозить последнюю в Россию беспошлинно; в 1820 году разрешено взимать за употребляемый на суда лес (для рыбных промыслов) попенные деньги (а не футовые) и дозволено снова увезти в Норвегию 6000 четвертей муки и выменять ее на рыбу. В 1822 году открыты уездное училище и больница; в 1825 году закрыты городовой магистрат и градская дума; оставлена одна ратуша. Того же года пожар испепелил 72 обывательских дома, гостиный двор и часовню, из которой крест вынесен в соборную церковь за правый клирос. В пособие обывателям правительство выдало 20 000 деревьев без платежа попенных денег и 10 000 руб. асс. взаимообразно без процентов на 10 лет. В 1826 году, от сильных жаров и сухих погод, распространились на городском выгоне пожары, так что пламя было близко города, особенно к кладбищенской церкви; дождь, начавшийся с 15 августа, потушил пожары; потеря оказалась только в траве и сене, хотя, в то же время, и значительная.

Соборная церковь города, с главным храмом во имя Успения и приделами: Зосимы и Савватия (левым) и Николая Чудотворца (правым), построена в 1714 году. Поразительная по своей ветхости, церковь эта имеет расположение в форме креста, края которого образуются главным храмом, приделами и папертью. В окнах ее до сих еще пор видится слюда. В самой церкви замечательны два креста с вырезными изображениями молитв, а на одном из них — с резным изображением Спасителя и вида св. града Иерусалима внизу. Некоторые относят работу этих крестов ко временам Марфы Посадницы, при которой будто бы поставлены и другие три креста бывшего соловецкого подворья, невдалеке от соборного храма. Сходная архитектурой церковь на Леп-острове, во имя Иоанна Предтечи, построена в 1782 году. Кладбищенская, в мой приезд, обводилась забором, но все три церкви находятся в запущенном, полуразрушенном состоянии, с ветхими ставнями у окон, обращенных к северной стороне, с плесенью по крышам, с желтизной по всем стенам. Причина

тому, как известно, заключается в том, что бóльшая часть жителей города держится раскола.

В Кеми существовало когда-то шкиперское училище и потом снова заведенное. С особенным удовольствием вспоминали толковые и грамотные отцы семейств об этом благодетельном учреждении. До тех еще пор лучшими мореходами считались те из поморов, которые слушали курсы. Кемляне и сумляне не теряли надежды иметь снова у себя это училище и готовы были обнадеживать возможность существования его даже и при существóвании таких курсов в Архангельске.

«Это (шкиперское) училище,— говорит г. Рейнеке в одном месте своего «Гидрографического описания северного берега России»,— учреждением своим (в 1842 г.) обязано министру финансов, графу Канкрину. Оно доступно всем поморцам от 15 до 20 лет, знающим грамоту; преимущественно же принимаются те, которые обучались в уездном или приходском училищах и, следовательно, знают начала арифметики. Первые два года ученики содержались собственным иждивением и ходили в класс только для слушания уроков; впоследствии, для облегчения бедных крестьян соседственных деревень, правительство приняло на себя и полное содержание учеников, в числе до 20 человек». Они жили в особенном доме, получали от казны пищу и одежду. Предметами курса были: закон божий, арифметика, геометрия, навигация и астрономия (без теоретических подробностей), практические правила кораблестроения и кораблевождения, гражданские законы по отношению их к торговому мореплаванию. Приморская география и съемка берегов преподавалась практически, в форме бесед. Курс наук продолжался два года; учение начиналось 1 октября, кончалось 1 мая; на него употреблялось ежедневно по четыре часа. Летом ученики ходили в море на собственной шкуне; другие отпускались для домашних работ. Кончившие курс получали аттестаты (но без всяких условных преимуществ) и возвращались в свое первобытное сословие, чтобы *улучшить мореходство, промыслы и торговлю своих семейств*. Некоторые из учеников в с.-петербургском училище торгового мореплавания умели выдержать экзамен на звание коммерческого шкипера; некоторые ходили на русских коммерческих судах матросами; *некоторые поступили на службу на иностранные корабли*...

Герб города изображает щит, в верхней части которого находится губернский герб, а в нижней, в голубом поле, *венок из жемчуга*. Это последнее обстоятельство немаловажно и не потеряло своего значения и до сих пор. В порожистой, быстрой и местами чрезвычайно мелкой реке Кеми попадаются жемчужные раковины, хотя лов их и не составляет исключительного занятия всех жителей, но даже и одного какого-нибудь семейства. Жемчуг этот ловят от безделья досужие люди, и не всегда для продажи, потому что здешний жемчуг невысокой доброты и попадается в реке в незначительном количестве. Иногда целый день терпеливые люди роются в воде и достают много горсть, чаще три-четыре зернышка. Ловля эта обыкновенно производится следующим простым способом. Искатели садятся на

бревенчатый плот, небольшой, с отверстием в середине, заставленным трубой. Бо́льшая часть трубы этой находится в воде. Один, по берегу, тянет плотик, другой смотрит через трубу в воду. Заметив подле камня раковину, имеющую сходство с жемчужной (обыкновенно при ясной, солнечной погоде, когда животное открывает раковину), наблюдатель опускает через трубу длинный шест с щипчиками или крючком на одном конце его. Раковина смыкается, и тогда ее удобно бывает принять на щипчики. Разломивши раковину, счастливец, нашедший зернышко, обязан немедленно положить его за щеку для той цели, чтобы это зернышко — отложение болезненного процесса улитки (как объясняют обыкновенно зарождение жемчуга) — через прикосновение со слюной делалось из мягкого постепенно твердым, до состояния настоящего жемчуга (обыкновенно через 6 часов, как замечают). Точно так же (замечают поморы) жемчуг водится во всех реках, куда любит в избытке заходить семга, и что между этой породой рыб и слизняков существует какая-то темная, загадочная, трудно объяснимая симпатия. Ловится жемчуг и в других поморских реках и кроме Кеми, как, например, в Жемчужной губе, около Княжой губы, около Колы. Но и кемляне, как и все остальные поморы, не дают этой отрасли промыслов особенной доли участия и внимания, кладя всю жизнь, находя всю цель существования исключительно в рыбных и звериных промыслах, в судостроении и торговле.

2. РАЗОРЕННАЯ ОБИТЕЛЬ

— Ты какой веры?— при случае спросишь иного помора, и нередко получишь ответ:

— Копыловской.

— Какая же это неслыханная вера и что это за неведомый раскольничий толк?

— Вера-то у них одна с нами, да согласие не одно,— уклончиво отыгрываются одни из вопрошаемых, осторожные и недоверчивые.

— Он своим иконам молится, из своей посудины ест и пьет,— серьезно поясняли те из словоохотливых поморов, которые принимают в свои дома священников и сами ходят в церковь.

— Он и в кабак со своей чашкой ходит,— толкует полицейский солдат Михеев, стараясь изобразить кривым глазом насмешливую улыбку.— Сначала соблюдает себя: свою чашку достает из-за пазухи, ее и подставляет, а когда подвыпил, то уж не разбирает: тянет из артельной,— не взирает, что она теперь и позахватана.

Более обстоятельных объяснений я уже и не слыхивал, и, к полному удивлению, именно от тех людей, которые находились во всегдашних сношениях с исповедниками «копыловской» веры. Подозревалось затаенное нежелание выдавать своих, потребовавшее большой осторожности в расспросах; оставалось рассчитывать на благоприятные случаи в будущем. Ясным казалось также и то обстоятельство, что поморы, за недосугом и за своими делами, не привыкли за-

глядывать в чужую душу и копаться в чужой совести, вообще заниматься обидным и щекотливым для других делом.

— Всякая божья птица по-своему господа славит, как умеет.

— Видимое дело, не стесняет того человека держать всегда при себе, за пазухой или в кармане, свою чашку,— пускай и носит.

Очень редко, и то больше от чиновных людей, доводилось слышать обидчивые сетования на ту брезгливость, с какой относятся староверы к православным именно в подобных приемах. На первых порах и самому лично случалось испытывать то же обидное и неприятное чувство досады, видя себя каким-то отщепенцем.

— Посудите сами, ведь они нас просто-таки считают погаными,— толковал мне исправник.— Мне доводилось одолжаться стаканами: он морщится, упирается, не дает. Прикрикнешь — уступит, да на твоих же глазах возьмет из рук тот стакан и разобьет о камень. Ему уже такая посуда не годится. Он не жалеет, хоть и помнит, что стекло в здешних местах — товар редкий и дорогой. У богатых мужиков на тот конец держится в особом поставце уже такая особенная, которая и носит свое имя «миршоны». У бедных из такой посуды и люди пьют, и собаки лакают. Кажется, ее никогда и не моют.

Этот обычай в самом деле докучлив в Поморье, где смешанно сидят рядом православные со староверами, обменявшись насмешливыми прозвищами, как отличиями двух отдельных лагерей. Одни — миршные или миршоные, другие — чашники, т. е. поганые и чистые. Последние с застарелым закалом и с закоренелыми убеждениями.

Один из таких толковал мне:

— Уж скоро изойдет вторая сотня лет, как вера-то сблудила.

Вот почему в Поморье необходимо было опознаваться, чтобы не попадаться впросак, и поневоле прибегать к таким, по-видимому, странным вопросам, каков в среде коренных русских людей вопрос о том, какой он веры. Оказывается, что есть еще какая-то копыловская. Чем еще эта вера может огорчать заезжего человека?

В одном селении, в отводной квартире, хозяйка по моем входе тотчас задернула пеленой иконы. В другой и другая, явившись с ручной кадильницей, так густо начадила дешевым ладаном, что пришлось выбираться вон на вольный воздух. Расторопный, умный и начитанный Егор Старков, хозяин моей шкуны, на которой я переправлялся по Белому морю из Онеги в Кемь, спускаясь в каюту молиться, просил меня на то время не курить. Увидя мою стеариновую свечку, похвалил ее:

— Хорошо бы ее теперь к образам поставить,— вишь ведь какая она толстая. Почем фунт-от экиих свеч? Какой белый, чудный свет для бога!

На объяснение мое, что в России в больших городах нет этого обычая, он с сердцем и с нескрываемой досадой резко заявил:

— Погаси ее, сделай милость: пущай не мешает мне!

Между тем Егор — человек бывалый, тертый калач, в Норвегу ходил, с тамошними «нехристями» давно уже ведет всякие дела. Однако и он то и дело проявляет странности в характере, в приемах и убеждении. Все, бывало, ждем какой-нибудь выходки. Между прочим,

почти ко всякому резко выдающемуся случаю у него находилось книжное изречение.

— Завтра пятнадцатое июля,— говорит он,— святого равноапостольного князя Владимира, во святом крещении Василия [11], и т. д.

Оказалось, что он почти все святцы знает наизусть. Не диковина в тех местах, среди староверов, встречать начетчиков. Очевидно, Егор был из таковых: не копыловский ли?

Я его об этом решился спросить и получил резкий ответ:

— Нету такой веры. Дураки тебе такой ответ держали. Есть такой в Кеми богач Копылов. Вот я тебя провожу, куда тебе идти указано в город, а сам к нему зайду! Дураки про такую веру сказывают, а ее и не бывало.

Он ушел наверх, словно бы даже рассердился.

Спустившись в каюту обедать и, видимо, пообмякши в сытом настроении духа, сам Егор начал разговор:

— О Копылове ты даве меня спрашивал,— тако дело обсказывать буду. Ладился я судно строить. Смекал я такой счет, что по нашим местам судно вгонит ста в четыре с половиной, а в Норвегу сведу, там за него дадут тысячу, а то, по временам судя, и полторы могу получить. Как быть, как стать? Места в Норвеге безлесные, а из Онеги всего лесу не вывезешь — сходно бы деньги в тако дело пустить. Нам, с дураком-братом, после батюшки-покойничка скопленных осталось ста три рублев. Видишь, полутораста не хватает. Как быть, как стать? Поищи-ка по деревне-то, по нашей по Сороке, такого капитала. И кто поверит мне, ледащему, неимущему?— Я к Копылову. На знати он у нас по всему Поморью. Одно слово — богач. Горд и ругателен. Как примет? По человеку он прием делает, а как он меня понимает,— того я не ведаю. Слыхал, что он по взгляду смекает и по разговору разбирает людей. А знает он про всякого по Поморью-то. Да, впрочем, и сам вот ты теперь видишь, много ли народу живет в наших украинах. Где река покрупнее пала в море, там и деревня; на мелкой речушке и жительства нет никакого. Ищи его дальше, обходи то место. А встал на горку и все дома сосчитал,— немного их. Про всякого слышим, всякого скажем наперечет: и как он, и что он. А Копылов про иного слышит и знает до потроху, прозирается: таково ему дело предуставлено. Бывает, что воззрится и уж наскрозь видит. Заробел я от таких слухов про него, однако, приотворил дверь-то, просунулся, встал у притолки, очи перекстил и начала положил, как устав наш велит. Накинулся он на меня, изругал: «Молод, говорит, в Норвегу торговать ходить: рому тутошнего пить захотел, с трубкой баловаться начнешь». Я ему клятвы сказываю, а он того пуще обиды говорит. Насказал столько-то, что я запужался даже: привел меня, мол, леший в такой тупичок, в уголок, что и выходу мне нету. Он и на улицу со мной вышел и там все пытал махаться руками и зыкать на меня, невзирая, что народ по улице ходит и все въявь слышит. Маял-маял, да и молвил на ушко: «Через три дня заходи».

И что ж бы ты думал? Дал ведь. Сколько я просил, столько он от щедрот своих и выложил! Сказать он мне не сказал, а я сердцем

своим понял так: вот-де тебе, бери на здоровье, разживайся! — и выложил бумажками. В осенях, после Воздвижения честного и животворящего креста господня, я ему тот забор отдал полностью золотом. Так он сам мне и приказал золотых там наменять и золотыми заплатить ему. Я было серебром подсменил малую толику, так он ругался опять, да на тот раз полегче. А я теперь новую шкуну сладил, именем покойничка, старшего брата, назвал, досками нагрузил, да вот по третье лето туда дерева вожу. Шкуну свою не продаю, хоть и были на нее охотники, да я треской там нагружаюсь и в обратну ту треску сухую сюда либо в Город (Архангельск) вожу продавать. Вот тебе Копылов! Каков он таков есть человек на сем свете, вот тебе — смекай!

В самом городе Кеми, в месте жительства этого известного в Поморье и интересного человека, получишь о нем такие сведения. Сообщал добрейший и обязательнейший человек, городничий Осип Яковлевич:

— Не думаете ли вы познакомиться с ним? не советую. От него что-либо интересное для вас и для печати слышать — все равно что перед любой нашей скалой стоять и ждать от нее слова. С полной откровенностью должен я вам признаться в том, что он первым известил меня о вашем приезде, случайно встретившись на улице. «Пали, говорит, слухи, что из Питера большой начальник наезжает какую-то проверку делать». Принял я его слова за обычные у них, у раскольников, вести. Все они кого-то ждут, чего-то опасаются. Вестями этими они любят пробавляться всласть, но цены большой сообщениям их я привык не давать. Мимо ушей пропустил и это известие. Уже через три недели после того разговора привезла почта указ губернского правления, предписывающий оказывать вам возможное и законное содействие при исполнении поручения, возложенного на вас морским министерством по воле генерал-адмирала. Да я и сам вчера слышал, как он из-за косяка, хоронясь и прищуриваясь, всматривался, любопытничал, как пробирались вы мимо его дома из карбаса. Приметы, знать, ваши распознавал, чтобы обходить потом и не натолкнуться ненароком.

Таким образом, вопрос мой на первых шагах решен был разом в отрицательном смысле.

— Что же, в самом деле, представляет собой этот Копылов?

— Прежде всего, Копылов он, должно быть, потому, что родители его на дровешках сюда зимой въехали, а теперь он сам может ездить в каретах. Отец благочинный толкует по-своему: поставить на копыл — по-здешнему значит расстроить что-нибудь, поставить вверх дном. Смутьян он (говорит батюшка): помутил церковь; многих православных отвел. По-моему, он — большак, как привычно говорят здесь*. Он, так сказать, комиссионер, и казначей, и блюститель

---

* Известный обычай сохранять за каждым лицом уличную насмешливую кличку в смысле приватного прозвища, более употребительного, чем по отчеству и фамилии, распространен по всей России, не исключая Сибири. В Архангельской губ. он известен под оригинальным названием «уличного устава», что и соответ-

федосеевщины здешних мест. Большой человек по влиянию и богатый по средствам. А где его корень и в чем его сила — за справками надо ехать в Москву. Сказать я вам сам ничего не могу, потому что ничего не знаю, а показать кое-что желаю с удовольствием.

Осип Яковлевич вынес ко мне несколько церковных книг, страшно закопченных, засаленных и захватанных, большей частью аляповато и самоделкой оправленных в кожу. Все больше псалтыри, печатные и писаные (и довольно плохо). На одной псалтыри надпись: «Сия богодухновенная книга, глаголема псалтырь блаженного пророка Давида царя, раба божия Илариона, писанная с древней псалтыри; аз многогрешный Иларион писал своей рукой». В печатной псалтыри бумага в некоторых местах повыхватана и исчезнувшие строки подклеены бумажными заплатками с починкой слов пером в неискусной руке. Еще псалтырь писаная, но переплет ее так улощен грязью с рук и воском со свечей, что книга даже скользила в руках.

— Все это конфисковано в Топозерском скиту,— объясняет Осип Яковлевич.— В этом ящике все это и хранится при описи и в таком виде получено мной от предместника моего.

Вот и опять вещественные следы неизвестного, но благочестивого и толико богомольного старца Илариона: более других замазанная книга молитв, ирмосов, седален, праздничных тропарей и кондаков, им же написанная. Евангелие, принадлежащее тому же рабу божию Илариону, но печатное, с вырванным в начале листком и без обозначения даты. Маленькие тетрадки (я насчитал их до 11-ти) с повестями о славе небесной и радости праведных вечной,— выписаны из Великого Зерцала; выписки из Четьи, слово о разбойнице и повесть чудна о некоем старце; выписка из соловецкого и других монастырских уставов о пище, поклонах и великом посте; житие преподобного отца нашего Марка Афинийского, бывшего в горе Фраческой сущие обонпол Ефиопии; месяцеслов всего лета (писанный весьма красиво), с обозначением на полях имен умерших скитников до 1774 года, и проч.

Все это следы созерцательной жизни в полном уединении и в совершенном удалении от живых мест, молчаливо красноречивая повесть исчезнувшей с лица земли раскольничьей обители. В ней невидимые и неведомые жили старцы, неутомимо богомольные по старинным образцам сподвижники и трудолюбивые списатели божественных откровений и отеческих наставлений, как жить и молиться и веровать — себе в усладу, другим на потребу. Все это — та драгоценность, которая оберегалась, как непокупная редкость, добытая великими усилиями одного человека, выделявшегося от прочих очевидной добродетелью и поразительным досужеством. Вот и створчатый деревянный образ, почернелый и закоптелый до такой степени, что с трудом распознаешь в бурых просветах, на совершенно

ствует прямо термину казенных бумаг, взятому из латинского языка (privatus). Так же точно такие же вторые прозвища сохраняются и за селениями помимо их официальных названий.

черном фоне, признаки распятия слева и воскресения справа. Может быть, ему он и молился, и, несомненно, со всеусердием. И второе сокровище из скудного скарба неизвестного Илариона, которому он также усердно поклонялся и с верой притекал: створчатый же медный образок с изображениями «св. Филиппа, Николая и прочих семи». Эти образа хранятся в холщовом мешочке (должно быть, старец их прятал, но не ухоронил), и тут же очки-клещи уже в качестве диковинки очень давней работы, несколько раз починенной, и так неискусно, что и очки эти кажутся также самоделкой.

Таковы ничтожные по числу и по наружным качествам следы некогда процветавшей и большой обители Топозерской, славной по всему русскому староверческому миру. В настоящем случае для нас это, пожалуй, лоскуток той канвы, по которой еще можно отчасти восстановить прежний рисунок, не прибегая к помощи Копылова и не выпуская, однако, его самого из вида, как ближайшего свидетеля интересных прежних событий, поучительных и для настоящего, и для будущих времен.

Из тех в полном смысле мертвых и глубоких трущоб, которые в новейших учебниках географии носят название «страны великих озер», взялась одна река, редко упоминаемая в тех же учебниках, но достойная особенного внимания. Во-первых, она не так ничтожна по величине своей, потому что протекает 400 верст; во-вторых, со своими притоками она образует огромную водную систему, усиливая течением пять более или менее значительных озер и несколько маленьких, которые она прорезает; в-третьих, глубина ее восходит в нередких случаях свыше 12-ти сажен, а ширина до целой версты, особенно в тех местах, где ей удается выбиваться из скал на широкий простор влажных, мокрых и болотистых низин. Угрюмо нависшие над прозрачными водами утесы и скалы делают реку Кемь дикой и пустынной, но, по Батюшкову, прелестной и в дикости своей [12], совершенно йота на йоту отвечающей той стране, которая соседит с ней и воспета поэтом. Близ самых финляндских границ берет эта почтенная река Кемь свое начало из озера Гогарина, в прямое свидетельство этим последним именем о том, что русские люди издавна спознали реку и бывали на ее верховьях. Здесь в Кемь впадает очень порожистая речка Шомбо-Курья, образующая несколько довольно значительных озер и между ними Костяное. Это не соединяется ни с каким озером, но от него в 3—4 верстах к северу лежит озеро Поньгама, а к западу от последнего, в одной версте, громадное среди прочих северных озер Архангельской губернии Топозеро. Разлеглось оно, как безбрежное море, в низменных болотистых берегах в длину на 90 верст и в ширину (в самом широком месте) на 40 верст*. Живописца видами своими оно не соблазнит: озеро это не чета соседнему Ковдозеру, которое все усыпано зелеными островами, покрытыми рощами и иногда, в контраст и для разнообразия ланд-

---

* Вот его сравнительная величина с прочими самыми большими озерами в этом глухом и далеком северо-западном углу Великороссии: Ковдозеро в длину 80, в ширину 40 верст; лапландское Имандра в длину 80, в ширину 30 верст.

шафта, голыми и безжизненными скалами. Приглядевшись к нему, русские люди поспешили приладить то же присловье, каковое приспособлено было ранее знаменитому в истории раскола Выгозеру: «сколько дней в году, столько на Ковдозере островов».

Все эти озера, расположившись гораздо выше берегов Белого моря, пустили в него быстробегущие реки — те естественные пути для входа и выхода людям, забредшим сюда по случайностям быта и житейским нуждам и велениям. Из Топозера оказались две таких дороги в живые и обжившиеся страны Поморья: по реке Кеми на городок Кемь, который хотя и зачислен в уездные, но не больше хорошего села, и по р. Поньге — в приморскую деревушку Поньгаму, совсем уже маленькую и очень бедную. (Из Ковдозера река Княжая приводит в приморское селение этого же последнего имени и в село Ковду.) Конечно, все эти пути — не дороги даже и в Архангельской губернии, прославившейся своей бездорожицей. Они береговыми кривыми линиями — только указатели таких троп, по которым обязательно надо колесить и делать мучительные, бесконечные обходы, но со временем и при нечеловеческом терпении попадать в желаемые места, хотя бы на то же Топозеро. Окрестности его обросли хорошим лесом, и на самых берегах попадаются сосновые участки сплошь годных для построек деревьев. Если на болотах леса представляют собой малорослый и корявый дровяник, то на сухих местах, по общему для всего севера закону, сосны вырастают крепкими, мелкослойными. По числу слоев древесины иным деревьям часто насчитывается 100—120 лет; растут они медленно на мелкой почве, состоящей из перегноя, песку, глины, мхов и супеси, но зато вырастают не спеша, в долгий срок, до того, что в старых постройках их не берет топор, разбрасывая не щепу, а лишь одни искры. При трехсаженной вышине они бывают 8, 9 и более вершков,— товаром вполне ходовым и настоящим. Ему-то и служат главным образом как прямые пути эти реки, бегущие в море,— пути, также мало надежные и обеспечивающие. Плотов порожистые реки не допускают, требуют сплавов бревен врассыпь, но р. Кемь и таких не щадит. На ней девять злодеев порогов, которые тянутся по 6 и 7 верст (Белый и Кривой), и иные обладают такой силой падения, что, несмотря на какие-нибудь 60 сажен длины, как Юшь, и не больше версты, как в Подужемье (близ г. Кеми), ломают крепкие бревна в щепы выстающими тут из воды резаками — скалами и бойцами — каменьями. На самых коротких из них спускаться в лодке нельзя. Только в самом городе на морском пороге (200 сажен длины) бойкие, шаловливые и сытые певуньи женки выучились бороться с пучиной. Но это уже артисты-акробаты. Они с малых лет навыкают смелости и ловкости, которые их и прославили во всем Поморье. На верхних порогах, несмотря на искусство лоцманов, почти ежегодно гибнет много кореляков (говорят, иногда человек по десяти и больше).

Такими-то трудно досягаемыми путями с едва одолимыми препятствиями обеспечилось топозерское жительство староверов, едва ли не самое отдаленное изо всех мест в Великороссии, куда устремлялись гонимые за веру. Во всяком случае, оно было из

давних и происхождением своим обязано многолюдному общежительству выгорецкому, которое, как известно, освободил от ударов своей тяжелой руки даже сам Петр Первый.

Предание приписывает основание Топозерского скита какому-то боярину, сбежавшему во времена стрелецких смут из Москвы, и указывает на деревню Княжую, назвавшуюся так по имени какого-то князя, поселившегося здесь для того, чтобы молиться старым крестом по старинным книгам и пред древнейшими иконами. Будто бы этот самый князь подкупил священника московской церкви св. Анастасии на Неглинной речке близ Кузнецкого моста (давно не существующей) продать старинный иконостас и показать следователям, что те иконы, по воле божьей, погорели. Сам Илья Алексеевич Ковылин, прославивший Преображенское кладбище, наезжал сюда в Поморье для обучения, как жить и молиться, однако сам из поморских ключей брал воду своим черпаком и привез с собой многое множество тех икон. Он рассказывал здесь и хвастал, что те иконы взяты им из нижнего тябла Успенского собора, но тем не менее топозерскую часовню этим приношением он обогатил, возвеличил и прославил. Наезжал сюда и позднейший заместитель его, не менее его оказавший услуг федосеевщине вообще и Преображенскому кладбищу в особенности, настоятель Семен Кузьмич, после того как выкупился из сельского общества казенных крестьян Владимирской губернии от преследования тамошнего архиерея и приписался в мещане г. Костромы. Эти сильные умом и характером наместники-попечители не боялись трудностей пути, чтобы полюбоваться на такую пустынную обитель, которая совсем удалена от всяческих соблазнов и предоставлена одним лишь трудам и богомыслию.

Уныло, неутешительно для воображения и неласково для глаз, привыкших к городским благолепиям, разлилось это безбрежное озеро Топо на каменистом и песчанистом ложе. Извилистые берега его изрезаны заливами так, что последние кажутся отдельными озерами и были бы таковыми, если бы узкие проливы не сливали их с водной громадой главного озера. В лабиринте рукавов можно заблудиться и умереть мучительной голодной смертью. Без проводника здесь нельзя обойтись и можно принять за рукав и залив устье р. Кизи, которая впадает в озеро, протекши целых 80 верст, и исток р. Воньги, направляющейся отсюда в Белое море,— и опять затеряться и не выбраться. Островов на Топозере немного, и те каменные, покрытые малорослым хвойным лесом, через что, естественно, унылость места удваивается. Где-где выглянет по берегу маленькая деревушка корелов (и таких на целом озере всего десяток) да промысловая избушка, не покрытая кровлей, с дырой вместо окна, закоптелая и с каменкой вместо печи, как молчаливый признак близости селения и один из намеков на житейское хозяйство. Таких избушек для временного пристанища, но необитаемых, очень много. Около одной из них дырявая лодка и проводник для доставки на тот остров, на котором расположился интересный скит. От берега сулят до него в глубь озера 12 верст, но лодка ползет пять часов, а остров все еще далеконек. На пути выплывает кое-какой маленький боло-

тистый островок, до того топкий, что далеко по нем не уйдешь и нигде не присядешь, а отдохнуть надо: и проводник умаялся греблей, и седок измучился ожиданием первой половины пути.

— Вот здесь и будет половина,— подсказывает корел, хорошо обучившийся говорить по-русски и приученый креститься большим староверским крестом, как почти все они.

Однако бывалый проезжий этому свидетельству не доверяет, помня поморскую поговорку, что «корельский верстень — поезжай целый день».

Не доверяя, проезжий переспрашивает и догадливо замечает:

— Вот здесь-то ваша баба, должно быть, и веревку оборвала, и клюку, которой версты меряла, бросила, и рукой махнула: быть-де так.

Корел старается весело улыбнуться на замечание, но снова наводит на лицо серьезное выражение при ответе в утешение:

— Задняя половина больше, передняя половина «горазд поменьше».

Опять вода кругом, отдающая той холодноватой сыростью, которая забирается под рубашку, но зато, по крайней мере, вода эта прозрачная и чистая и на вкус очень приятная. В ней великое множество всякой рыбы, тех, впрочем, сортов, которые не в почете у поморов, пристрастившихся к треске и палтусу и объедающихся вкусной семгой и сельдями. Здесь вместо семги лох (да и то редко). Всего больше в Топозере ряпусов, плотвы или сорог, харьюсов, кумжи (крупной желтоватой форели), ершей, сигов, окуней, язей, щук, налимов (последних двух архангельские поморы зовут особыми именами: щуку — штука, налима — менек). Весла лодчонки спугивают уток. На заднем островке из-под ног вышмыгивали кулички. Издалека несся крик лебедей и вздымалась, паря над водой, их белая, как снег, тучка.

Наконец и скитский остров оказался весь на виду и как бы длинной стеной разгородил все озеро: длины в нем от 4-х до 5-ти верст, ширины до 2-х. Почву его хвалят, называют хорошей. Видна сильная лесная растительность с особенным исключением для можжевельника, достигающего здесь до двух аршин роста. Хвастаются также жители обилием малины и особенно морошки; брусникой покрыты все откосы возвышенных мест. Рассказывают про белых и красных лисиц, про злую речную прожору выдру. А вот там по дороге, где шумит и ломает бревна в реке Кеми порог Кривой и где идущая из моря молодая семга встречается с перезимовавшим лохом (и ловится во множестве), почему-то любят держаться медведи и олени.

Мало-помалу, при встречных видах, ослабевает предвзятый страх от пустынного и скудного житья. Он сменяется чувством теплого довольства, испытываемым иззябшим и оголодавшим путником во всяком жилом месте, где пахнет и дымом, и навозом и ожидаются ободрительные звуки человеческого голоса. Даже собачий лай, всегда докучливый, на этот раз не беспокоит, но, дополняя картину, даже несколько радует. Собаки — обычной северной породы: большого роста, с острой мордой, торчащими ушами, обычно кроткие и терпе-

ливые и, конечно, чуткие и сильные,— один на один не боится она схватиться с волком и вести кровавую борьбу.

Еще больше радуют успехи человеческого труда, который также и здесь обязательно вступил в битву и повел ее на жизнь и смерть с враждебными силами негостеприимной природы. На скитском острову зеленеют луга и пересекают их перелески, но не видать полей: суровость климата и холодная почва с этой стороны победили, заставив положить оружие. Довольно бывает одного мороза, чтоб уничтожить все надежды хлебопашцев; попробуют — и бросят. Вернее и надежнее оказывается покупной и пожертвованный хлеб. Тем не менее разведены огородцы, где возделывают с порядочным успехом морковь, репу, брюкву и картофель (хотя и выходит он мелким), но отбились от рук огурцы, горох и капуста, которые никогда не достигают полной зрелости даже в городе Кеми.

Затем известно, что там, где завелись бабы, появилась и домашняя птица, где мужики — там и домашний скот. Нацарапывают горбушей траву по перелескам и речным бережкам — и кормят, а овца привычна есть и осиновый лист. Умудрил господь отшельников разумом и пособил придумать подспорье к корму: олений мох, болотный хвощ и осиновые ветки. Мох берется рослый, старый и чистый, т. е. без примеси опавших листьев и разного сора. За ним плавают на лодках и ищут в боровых местах возвышенные и сухие площадки. Он тут и сидит, сильно переплетенным, но слабо прикрепленным к земле корешками, отчего легко отделяется железной лопаткой. Эта работа — «вздымать мох» — бабьего досужества: отобрать и повернуть корнями вверх, чтобы приставшая к корням земля просохла. Дня через два встряхнут моховые кучи вилами — и готово. Такой мох если и от дождей намокнет, то снова просыхает в прежнем соку и неутраченной силе. По первому зимнему пути свозят этот корм в амбары, возов до 20—30 каждый. Когда надо задавать скоту корм, перемешают мох с сеном и заварят горячей водой. Выходит такое кушанье, которое ест всякая скотина охотно и даже отъедается, а коровы дают жирное молоко, конечно, не без запаха мохом. Лет через семь оголенная моховая площадь снова покрывается этим питательным и спасительным растением. Хвощ болотный, скошенный даже с мест, покрытых водой, и сгребенный для просушки на сухих местах, скот употребляет довольно охотно, осиновые же листья овцы предпочитают даже сену хорошего качества.

Сверх этих даров природы, топозерским отшельникам помогали расселившиеся по берегам в древнейшие времена обездоленные корелы, привычные, на свою беду, к хлебу и готовые из-за него одного работать при бесхлебье. Да и в счастливые времена они нанимаются за 50—40 копеек в неделю. Здесь для молитвенных старцев еще новый довольный повод и причина для прохладного жития, в котором самый неодолимый враг — докучное время; его надо убивать и с ним сражаться в ту же силу, как и с самой природой.

Из-за высоких бревенчатых стен забора, построенных нарочно для того, чтобы скит во всем походил на монастырскую обитель, поднимает три главы большая часовня, подобная церкви. Подле нее

отдельно стоит высокая колокольня, а кругом раскиданы в полном беспорядке братские кельи с запертыми тесовыми воротами и открытыми у окон ставнями, которые, однако, вопреки поморскому обычаю, не размалеваны. Среди прочих изб, величаемых неподходящим именем келий, возвышается изба большака в два этажа, или, по местному говору, в два жила: нижнее жило про себя, верхнее про почетных гостей и важных собеседований. Этой избе любой помор позавидовал бы: такие там бывают только у богатых, хотя бы даже у того же Копылова, у Савина в Керети, у Филатова в Ковде. Здесь те же голубки из лучинок — досужество умелых скитников, прикрепленные к потолку ради украшения, те же крашеные в шахматы полы, от которых неприятно рябит в глазах; покрытые клеенками столы; в богатых и больших окладах иконы, как главнейшее украшение, на которое старательно обращено исключительное внимание. Нет такого количества зеркал и стенных часов разных сортов, до которых неизменно охотливы все богачи поморы. Нет картин светского содержания, вроде рассуждения холостого о женитьбе, но зато есть картины с надписанием о том, что сосуды с водой всегда надо покрывать, иначе в них вселяется бес; объяснение лестовок; дьявол смущает молящегося федосеевца к «маханию рукой»; притча о том, как богач звал на пир и отчего «они» не пришли. Есть изображение воздушных мытарств св. Феодоры, человеческие возрасты, грехи и добродетели. Наконец, в исключение перед всеми поморскими богачами, украшающими свои парадные комнаты картинами, занесенными офенями, здесь висят портреты всех бывших поморских большаков — настоятелей. Все эти портреты висят без рамок, все писаны масляными красками и, конечно, все непохожи. Затем тот же посудный навесной шкапчик, который у всех светских поморов задергивается тафтичкой, а здесь он в открытую и начистоту. Посуда помечена особыми нарезками, которые обозначают три сорта ее: чистую — для настоящих федосеевцев, почтенных, но сердитых, необщительных и довольно грубоватых старичков и болтливых старушек; новоженскую — для недавно присоединившихся, не прошедших всего искуса, не вникших во все правила согласа, и для тех из православных, которые не курят и не нюхают, и миршону, или поганую посуду,— на всю прочую братию и на все христианы.

В большаковой избе, сверх всего прочего, опытный глаз способен заметить кое-где в полах люки для спуска в нижний этаж, заметное множество чуланчиков, перегородок и дверей, расположенных таким образом, что представляют целый лабиринт, из которого незнакомцу трудно выбраться. Им, этим тайникам, чердачкам, чуланчикам и жилым подпольям, также нередко связанным между собой под землей, дают недоброе толкование: их зовут вертепами разврата и притонами бродяг. Для отвода глаз и для успокоения подозрений имеется про всякого подозрительного приезжего ласка до приторности, радушие до докучливости и, наконец, пряник, очень большой и всюду неизбежный медовый пряник, из тех самых, которые нарочно пекутся и привозятся из Архангельска. Эти пряники, говорят, того же рисунка и величины, в каковом виде некогда подносился, по

преданию, выгорецкими раскольниками самому царю Петру Алексеевичу. И еще в подарок заезжим людям неизменный и обязательный шелковый поясок, в палец шириной, с молитвой, вытканной белыми руками девушек-старочек. Они присылаются сюда для обучения грамоте и рукоделиям и нередко, за содеянное увлечение, в наказание, чтобы очиститься и возродиться от живого греха. Конечно, для сильных и властных, сверх всего, то самое приношение, которое сохранило здесь древнее имя «мзды», основанное на открытом и твердом убеждении, что не для чего различать людей и опасаться от иного недовольного и бранчивого отказа от денежного приношения: «В восьмой тысяче лет толку не встанет». Подноси, значит, первому, лишь только вспадет на ум сомнение, что он из опасных и влиятельных.

Все в скиту предусмотрено и предуставлено: мужчины, если не спят и не едят, занимаются чтением и перепиской книг, для чего у грамотных две чернильницы, из которых одна непременно с киноварью. Женщины все за рукоделием: обшивают и починяют. Все из жарко натопленных и душных келий, степенной чередой, с ленивой перевалкой засидевшихся и ожиревших в безработное время суровой осени и долгой зимы, ежедневно ходят в часовню. Она дощатой переборкой, немного выше человеческого роста, разделена на две половины: правую — мужскую и левую — женскую. Здесь-то строгие большаки, помогая коротать досадное время в пустынном уединении, держат на ногах свою паству: на утрени — шесть часов, на часах — два часа и на вечерне с правилом — три часа.

Такие длинные церковные службы являются на выручку в скуке и на некоторую усладу отшельнической жизни для тех, кто ощущает в себе силы и тоскует по воле и бездельем. Затем крепительный, после часовенного утомления, что называется врастяжку,— сон, который так и слывет в Поморье под названием «скитского». «Пришел сюда этот сон из семи сел, а с ним пришла и лень из семи деревень».

Приглядевшиеся к топозерским работам прямо-таки уверяли в том, что и работают скитские не столько для дела, сколько с целью убить время. Работа их медленная, хуже поденщины; всякое дело они нарочно затягивают. Помогают длинные переходы и переезды к месту работ, оттого расстояния им становятся нипочем, потому что, собственно, спешить некуда, да никто и не ждет. Дальние переезды и все равно переходы становятся для них даже некоторого рода удовольствием: идешь — не работаешь. Исключительное положение на острове уединенного озера вынудило к самоделкам, и оттого мебель самой грубой топорной работы — не потому собственно, что нет мастеров и инструментов (все привезут), а именно от неохоты приложить свои способности в месте, где за труды не платят и даже некому похвалить. Еда скитская тоже особенная, т. е. чистая и всякий раз протяженная. Хотя вообще северные люди, как все жители холодных стран, едят много, скитские и из этого занятия сделали работу, убивающую время, и удовольствие приятного и легкого труда. Именно тот и скитский труд, который легок: кошельки вязать, полууставом

писать, перекоряться, перебраниваться, голубков клеить, бураки расписывать, сплетни разводить, ревновать, винцо испивать, по меткой пословице — «жить в скитах в тех же суетах». Кстати, здесь же выучивались пению духовных стихов и старинных богатырских былин старые старики и молодые бабы (от одной из них, выселившейся в деревню Поньгаму, я их несколько слышал и все записал). Впрочем, такой уже и народ сюда подбирался, с обязательным сильным перевесом женского пола над мужским, как явление общее и резко выдающееся не только в федосеевщине, но и во всем старообрядстве. На этот случай такая поговорка сложена: «муж ревнив, поп глумлив, свекор сердит — пойду в скит, пойду по вере». По вере идти — то же, что «переправиться в староверы»,— предпочитают старики лет за 50, преимущественно вдовы и засидевшиеся девки, лет после 30-ти, и затем по пословице: «живут по вере, а пьют по полумере».

При наружном благочинии, в несомненном довольстве на всем готовом и при внутреннем, душевном, безмятежном спокойствии процветал Топозерский скит в особенности в 30-х годах нынешнего столетия. Процветал он именно благодаря богатой московской федосеевщине, высоко расценившей его значение и услуги в гонительное время 30-х, 40-х и 50-х годов. Москва взяла его под свою защиту, и прислушивалась ко всем его нуждам; и побаивалась недовольного ропота, и не скупилась никакими денежными жертвами и разными приношениями. Дорогого стоил этот болотистый островок и этот деревянный скиток не для кармана только, но более для души. Недаром же, когда почуялись первые призраки надвигавшейся бури-урагана, преображенский настоятель Семен Кузьмин решился послать сюда на три года своего лучшего друга, правую руку и такого «твердого адаманта» веры, каковым был московский мещанин Наум Васильев. Митрополит Филарет поручал увещевать его избранному ученому священнику, законоучителю кадетского корпуса, и не имел успеха. Недаром тот же Семен Кузьмин поддерживал и Копылова. Он приставил его стражем Топозерской обители как раз на перепутье. На самом прямом повороте в ту надежную хоронушку сидел он, одаренный большим умом, ловкостью и изворотливостью, и притом пользовался большим значением и влиянием не в одной лишь Кеми.

— Я видел у него этого московского гостя,— рассказывал мне житель Сумского посада, Демидов.

Этот Демидов известен был в это время как самый искусный строитель судов, охотно и. разумно, между прочим, поделившийся со мной многими интересовавшими меня сведениями по специальной задаче морского министерства. Рассказывали про него, что он раз не только удивил всех, но и насмешил в то же время. Заказали ему судно: он на снегу палкой наметил чертеж, по нему сбил лекалы и построил судно не хуже прежних. Ходило оно в то лето уже на пятой

воде, как выражаются там, т. е. пятый год. По вере Демидов был строго православным.

— Пришел я к нему поговорить... не о вере. Зачем про то? Он твердо знал, что меня не спихнешь. Пришел я к нему подряжаться строить лодью. Не хотел он шкуны ладить, не глядя, что Савинов другую себе шкуну заказал. «Святые отцы,— говорил,— ходили на лодьях, а не на шкунах. Зачем же я буду поганиться». Вошел я к нему и на образа его не молился,— знаю, что не любит, да еще и зарычит. Крутенек он! А московский гость тут и сидит и не глядит на меня, словно смекнул, что мы уж про него слышали, да молчим о том, так как это совсем не наше дело. А Копылов так-то круто повернул ко мне, да и загадал загадку.

Демидов переменил тон, в котором послышалась и сдержанность: не болтнуть бы чего неладного, и опасливость: не проговориться бы в чужое суждение до греха. По улыбке его было видно и по самому тону слышно, что поделиться ему хочется, потому что загадка самому очень нравится и кажется ему, что умно она сказана. Вероятно, решивши про себя, что меня больше занимает то, как суда строят да рыбу ловят, а его рассказ будет по приятельству мимолетным, он продолжал:

— Так-то круто он ко мне повернулся и таково-то истово спрашивает: «Как лучше в шашки играть, скажи-ко: в поддавки или напрямую?»

— В поддавки, мол, скучновато.

— Ан весело!— отвечает, да и ногой притопнул и слова те самые выкрикнул.

— Кому, мол, как.

— А у нас, вишь, уговор такой, что у него с первого хода дамка и стоит на большой дороге.

— Ну, уж это что же за игра,— говорю ему,— надо бросить.

На эти слова мои, слышу, гость его хихикнул довольно громко.

— Да как бросить-то? Ведь все тебя обступили, все на тебя бельма вылупили и вопят: продолжай! И в бока толкают, и в спину тычут. Иной раз, может, он и впрямь зазевается, поддаст, а я и фукнул. Взял шашку-то, да и забоялся,— ой, не к добру! Он со злым умыслом поддал, в такое место запереть хочет, что и ходу не будет. В краску тебя ударит, за ушами загорит. А играть надо,— велит.

На эти слова гость его опять прихихикнул.

— В поддавки, Иван Демидыч, тем хорошо, что на большой соблазн навести можно. Он начнет жадничать, веселиться, выхвастываться, заторопится,— глядь, и зазевался, а я и поймал, и игру выиграл: оно мне и хорошо. Все меня похваляют и благодарят. Так-то!

Он говорил, а я все думал, к чему его такие речи? Да уж когда вышел от него да шапку надел, тогда уж догадался. Настало, знать, время смирения, чтобы пуще хорониться, и поглядывать, и не зевать. Нет у них, честной господин, настоящей такой прямой речи, все как-то в околесную. Водит он, водит тебя всякими притчами, так что

иной раз обидно станет. Брось, мол, обиняком,— говори прямиком. Почему и зачем, как ваша милость думает?

— От привычки скрывать свои мысли, как преследуемые и напуганные. Известно, что у них даже язык особый придуман, на образец того, как говорят ваши «торгованы-вязниковцы».

— Напуганы они точно, что вдосталь. Вот и Копылов не таков был до беды своей; знавал ведь я его и в раннюю пору.

— Добрее бывал? Не прижимал, не бранился?

— Жиловат-то он и допрежь был: в денежке жаден. Грехов по нашему крестьянству довольно-таки он набрался и перепачкался в них. Утеснитель он и в ту пору был. Я не про то... После той беды он редко стал из дому выходить, словно бы в себя ушел и затворился там. Выходит когда на улицу, так, кажись, затем только, чтобы побрехать, как собака, поругаться с кем ни доведется и кто первым на глаза вскинется. В разговорах на глаз так и норовит ударить тебя под сердце обидным словом. Перевернуло его.

— А какая беда?

— На ученого попа наскочил.

— Привели его к нему или сам пришел?

— Добро бы так, ан нет: самого нанесло, доброхотно. Человек он гордый. Об себе полагал всегда довольно много: и цены-де такой нет, чего я стою. Верно тут, однако, то, что он точно был начетлив и собачлив по ихним спорам,— всем про то было ведомо... А он и вздумал пойти к ученому попу собой хвастать. «Может быть,— говорил,— я что и неправильно думаю, так пускай он мне докажет. Я послушаю». Приехал он обратно, из города-то, как палками избитый. Однако на первых порах сгоряча сам рассказывал про свою беду — гнев свой изливал и себя утешал. И я слыхивал от него. Теперь уж он об этом не рассказывает да и вообще на речи-то туговат сделался, неохотлив. Глядит теперь волком на всякого с той самой неладной поры.

Откровенность моего словоохотливого собеседника доставила мне возможность услышать и запомнить этот рассказ о копыловской беде в том самом виде, как от него самого был получен.

— Велел он меня допустить. Хоромы богатые. Одеяние на нем шелковое, сплошь голубое, а в рукавах белая подкладка. Голова и борода расчесанные. Я ему обсказался, зачем пришел издалека и чего хочу. Он на меня воззрился и говорит таково-то мягко: «Поди-ка ты от меня прочь, да куда-нибудь подальше с глаз. Я с тобой о таком высоком предмете и говорить-то за стыд поставляю. Уместиться ли под твоей нечесаной, косматой головой такой премудрости, какая от веков заповедана?»

Я было ему из писаний про примеры совопросников, с которыми вступали в прения и разговаривали. Его в краску кинуло. Заговорил крикливо: «Так нешто и мне с тобой теперь заниматься прениями? Ты вон как на меня косо глядишь и сердито. Я, конечно, тебя не боюсь. А приходи ты лучше ко мне на задний двор: там у меня, привязан на цепи к стойлу, бодливый бык стоит. Я его велю выпустить,— попробуй с ним пободаться: чей лоб крепче?»

Я ему опять вставил свое слово,— осмелел я на такие обиды. А он в ответ: «Знаю ведь очень хорошо. Слышал, слышал про то, что в вашем потребнике алую-то строчку великий человек читал и одобрил. Да это мне ни к чему. Разве книга та богодухновенная, угодником написана?»

Тут уж я и уста замкнул, говорить с ним перестал. Собрался я уходить, а он не отстает и глазами сверкнул:

— Чего ведь вы там на лесной-то воле да в темных кутах своих не надумаете! Поди, знай, что никого-то на всем белом свете нету лучше вас. Затворяй-ка дверь-то поплотнее.

Через день-другой пришли за мной на фатеру, взяли и посадили. Посидел я довольно-таки. Вздумали и порешили, что я ничего такого согрубительного, за что наказуют, не говорил. Выпустили меня. Однако ни бороды, ни волос не стригли,— стало быть, начистоту простили.

Демидов толковал мне потом:

— Я полагаю, что с того времени он не только в наших местах в славу вошел, но стали его знать и поминать в самой Москве. И впрямь, как твоя милость вымолвил, стал он человеком напуганным, да — и надо правду говорить — ушибленным. Пошел Копылов крутить, огороды городить: куда вернет — там и улочка, куда махнет — с переулочком. Скажу прямо: из Москвы ему посылали большие деньги: он грош на Топозеро, пятак себе за сапог. На грошах у него чуть не города вырастать стали, а он молчит да свое долбит: дятел — птица упрямая и осторожливая. Копылова ни видать, ни слыхать, а все дела он один делает. Везде он поспел: прибылых проводил, настоятелю деньги свез, властей ублаготворил, тебя подсмотрел; отписал в Москву о том о сем, оттуда получил вести и повести да честные денежки. А ухо у него как у лисы: торчит оно, насторожено, прислушивается. Не по нашим местам этот человек. Лучше, как бы взяли его совсем на Москву и не спущали бы его оттуда...

Пошел Демидов на откровенность, развернулся, ударился в подробности.

К этому времени Демидов относит самую лучшую пору процветания Топозерского монастыря, когда в нем подвешены были красные звоны; появились редкостные иконы (одна, по его словам, стоила больше тысячи рублей); приметно прибавилось народу на жительстве. Стали там свои иконы пописывать и завели ими торговлю вдобавок к тем рукописным книгам и вышитым пояскам, которыми издревле снабжалось Поморье все оттуда же. Та паутина, которую плел искусник, сидя на Преображенском кладбище в Москве, и которой достаточно твердо обмотал он все разбросанные федосеевские общины, более крепкой нитью своей зацепилась за островок на Топозере.

В Тверской губернии, в Весьегонском уезде, крепостные крестьяне завели моленную. Помещик, генерал Маврин, на это рассердился, вздумал преследовать, начал круто теснить своих мужиков. Они доброхотно часовню свою уничтожили, но сами взяли да и разбежались всей деревней и прямо ушли на Топозеро, где, конечно, их любовно приняли и обогрели.

Сюда из больших городов северной России так же уверенно шли все те из ревностных федосеевцев, которым опасно было оставаться в родных местах. Для облегчений путешествия к тому времени сокращен был путь от г. Кеми до скита на целых двести верст; кривые дороги, указываемые течением реки с притоками, были обойдены, тропы облажены. Кое-где гатями и мостами улучшены были дороги для верховых вьюков и наставлены приметы для санного пути на снежное время. Дорога же до Кеми по северным губерниям, по Волге на Мологу и далее была надежно обеспечена весьма скрытыми переходами по селениям и общинам единомышленников. Добирались до Кеми без всяких паспортов и снабжались из Москвы таковыми лишь более дорогие и важные для секты люди, увлеченные надеждой спасения во святой пустынной жизни, искренние ревнители. Брели следом за этими и все те, которые рассчитывали обеспечиться совершенной свободой от всяких податей и полной независимостью от властей. Поговаривали и так, что сюда же из Москвы прятали и тех, которые тверже были в вере, да нечисты в делах, совершили что-нибудь несодеянное, за что строго наказывают по закону.

По мере увеличения населения, а с ним и некоторых стеснительных неудобств в общежитии, явилась надобность, как и во всяких других больших монастырях, в отдельных поселениях, настоящих скитах. Кучками в 3—5 избушек стали выселяться с глухого озера на приволье берегов самого моря и на его мало-мальски подходящие острова. Старинным знакомым способом выселков стали распространяться селения в виде займищ на новях и починками на давно покинутых, но некогда возделанных пустошах. При московских пособиях дряхлеющий север России начал приметно оживать и несомненно увеличиваться населением. По всем признакам ясно было, что это дело не остановится — дальше пойдет.

Как устраивались скитами на Ковдозере, на Вожмозере, так не побоялись построиться кельями и на более видных местах. По реке Ковде выбрались к деревне Гридиной (близ Керети) и основали здесь пустынь Иванькову. Те, которые выходили с Топозера по реке Кеми, обстроились скитком близ города Кеми и назвали это место Мягригой. На море, на луде (каменистом небольшом острове), назв. Великой, также указывали мне место бывшего жилья пустынников. Между Сорокой и Кемью на острове Полтам-корга стояла известная гробница утонувшей девицы, при маленькой деревянной часовне, и гробница некогда покрывалась тремя шелковыми пеленами с наметами на них серебряными большими крестами, и т. п.

Во время переезда на шкуне Егор Старков то и дело рассказывает про святые места и указывает их воочию.

Егор, указывая и рассказывая, заключил свою речь, по известной привычке своей к вычитанным книжным изречениям: — Тако да просветится свет их пред человеки и да видят добрые дела их.

На одном из островов, называемом Кильяками, стоит также пустынька и в ней при часовне живет 30 старушек.

— Ходят их нанимать на акафисты, соглашают читать канон за единоумершего. Когда нанимают церковные (т. е. православные),

они так и уговариваются: «Мы будем у вас читать, только с тем, чтобы вы сами на то время не молились. Не то мы перестанем и уйдем». Соглашаются. Ихняя молитва очень доходлива,— продолжал объяснять Егор.

— Вот сколько я насказал тебе, а многих обителей и сам еще не знаю.

И вздохнул.

— Процвела есть пустыня, яко крин господень,— промолвил он, по своему привычному обычаю.

— Кто же эти старцы, выселившиеся из Топозера: те ли, которых за древностью лет надо было снимать с хлебов долой, или уж самые опытные и искусные в делах веры и поучений, пригодные и полезные на непочатых местах?

За Егора объяснил мне уже Демидов:

— Всяко бывает. Однако в последние годы стали появляться такие люди в таких местах, где допрежь не водились: много народу перестало ходить в церковь в Шижне, в Сороке, в Шуе и у нас, в Сумах. А про старушек, которых я знаю, могу сказать, что все они круто просоленные. Хозяйственные дела вести всякими богомольными способами — нет их лучше, мужикам ихним за ними далеко не поспеть. Все они — начетчицы. Водятся между ними такие, что умеют руду заговаривать божественными и мирскими заговорами. Знают робят повивать. Плачеи на могилки от них хорошие наймаются. Как завидят карбас, так сейчас становятся на молитву и гудят разными голосами, точно тюлени на залежках... У нас, в Поморье, давненько-таки замечается такой обычай. Спросишь иного: какой, мол, ты «по вере»? «Православный,— скажет,— а вот состареюсь, приму старую веру». Пойдет к этим — макушку на голове выстрижет, чтобы благодати сверху вольней было входить в его потупелую голову. Вот и знакомца твоего керетского, Савина, недавно тоже в скит на Топозере возили, и там его перекрестили и перемазали. Топозерский скит натворил по этой части больших смут и много грехов на душу принял. Мужиков все еще возят туда; а вот эти самые старушки помаленьку да по охотке исповедовают и перекрещивают все наше бабье государство. До «гонительного»-то времени [13] росли эти скиты, как грибы. Далеко ли до Выгорецких-то пустынь?— От Сороки рукой подать, и путь прямой.

— Ими оживлялись пустыни и заброшенные страны, заселялись такие острова, которые всем казались ненужными и неудобными,— заметил я.

— Хорошо и так сказать. Если говорить по-твоему, то и впрямь выйдет на то, что жили иные там порато догадливые. Дорогу-то ко спасению ходили с запасом от доброхотных подаяний. Ограждались от скуки пустынного жития здоровыми женками. Они им помогали поклоны считать. Надо разговаривать и по-другому. Зачем они робят топили? Зачем не поднимали их на ноги, не учили их грамоте, хоть бы и по своей? Все ведь это по нашим местам едино-единственно, а они проклятым делом — за ножки да в воду. Исправник-от к ним когда приедет, чем пужал их, когда деньги хотел со-

брать? «Бросьте-ка,— говорит,— неводок: мне вашей рыбки захотелось, не попадется ли кумжа, хороша она вареная с хреном; я люблю ее». Они ему в ноги, начнут плакаться, затрусят: не ровен час, ребеночка сети вытащат...

— Ведь это ты, Демидыч, с чужих слов! По России обо всяком ските подобное же рассказывают. Как же понимать теперь: люди ли богомольные живут там, или волки лютые и свои чрева едят? Мне поньгамская старуха рассказывала, совсем мимоходом, что она, когда родила в Топозере на мху сына, то его возрастила и потом круглый год кормила учителя. Из-за хлебов одного года он паренька выучил и псалтыри, и часослову. Я этого мальчика своими глазами видел. В Москве новорожденных своих федосеевские бабы и девки подкидывали на Преображенское кладбище, и для них имелся там особый приют, называемый «детской палатой». Чтобы не переполнялась она, закуплены были чиновники казенного воспитательного дома: дети на казенный счет вырастали и возвращались родителям. Об этом хорошо знали и доносили по начальству те чиновники, которые приставлены были тайно следить за делами московских федосеевцев. Умерших ребят также принимали на кладбище, завертывали в миткаль и хоронили. Бывали часто и такие случаи, что зачисляли живых подкидышей в списки умерших, к сведению полицейского начальства, именно с той самой целью, чтобы скрыть их в какой-нибудь из единомышленных общин в Москве или отправить в надежные руки в деревню. Попавшие в воспитательный дом не выпускались из виду, и когда потребовали оттуда возвратившихся на Преображенское кладбище, настоятели придумали хитрую уловку. Так, между прочим, на Первой Мещанской известно было большое заведение одного федосеевца для изделия лакированных кож. Он забрал к себе, с разрешения опекунского совета, пятьдесят воспитанников из приемышей кладбища, кормил их, обучал своему мастерству: это и законом дозволялось...

Эти слова мои перебил и озадачил собеседник мой необыкновенно энергически высказанным замечанием. Он при этом встал со скамьи, оперся обеими руками о крашенный шахматами круглый стол на одной фигурной толстой ножке (обычный в лучших поморских избах). Оперся он о стол, словно вызывал меня на кулачный бой, и выпрямил спину. Я как теперь вижу эту еще незнакомую мне и непривычную позу всегда сдержанно-спокойного и выдержанно-рассудительного человека.

— Я тебе верю, вот истинный Христос! Всем словам твоим верю. От своих слов отрекаюсь. Одни эти дела их и сомущали мою душеньку. Я пытал узнать правду, да в наших забвенных местах спросить было не у кого. Спасибо тебе большое! Теперь вижу ее, всю правду вижу.

Он поклонился низко и, понизив тон, заговорил уже поспокойнее:

— Спрошу я тебя в упор, как того хочется мне. Скажи теперь по-божески, в такую же силу, как я с тобою досель говорил, всю подноготную правду скажи: за что их всех разорили? Копылов от них только нажился, черт с ним. Я об нем не думаю, его не жалею.

Таких злодеев, что пьют крестьянскую кровь, по нашим местам на каждое селение приходится по одному... хочешь сосчитаю? За что за одного виноватого все прочие разорились? Вот о чем я всех спрашиваю. Брак они отметали, это верно. Так ведь и на Топозере, по слухам, раздор был, проявились новожены, без бабы соскучились: дай-де мне такую, чтоб я ее одну только и знал. Стали и там поговаривать: женившиеся не согрешают, брак чист, ложе не скверно и не блазненно. Да и впрямь, прости ты меня, господи! Почему те ихние бабы — невесты Христовы, в прекрасные ризы облачаются, какие-то светильники куют, а моя верная жена — сатанина свинопасица до самыя смерти? С мужем живет, так, якобы, на руки и ноги узы железные надевает? Писано это у них, в ихних книгах, сам я читал. Да ведь мало ли что сказать и написать можно? Покажи дела!..

А я опять к своему же вернусь... Зачем *их* разорили? Давай теперь считать и смекать. Первое — устроили они жительство, как быть тому надобно. Ведь Топозерский-то скит был втрое больше самого города Кеми. Второе сказать — огородцы развели. Похвали их за то! Подати они не платят — так и все монастыри на одинаковом положении. Ну да ладно. Этим дай повеленье платить и не вели числиться монастырскими. Пускай себе куфтырьки для дому носят. ничему не мешает, а подати плати. Беглых они в чулан прячут и в подпольях держат,— сосчитай сколько, выведи и накажи. Из книг царский титул вырывают [14],— вот тут ты и прикрикни во весь голос, и притопни ногой, и так накажи, чтобы искры из глаз посыпались! Накажи так-то да и напредки большим кулаком пригрози, чтобы не повадились, ах, мол, вы, сатаниновы внуки, чертовы братья, погибельные сыны адского титана преисподнего.

— Накажи виноватых, зачем всех разорять?— продолжал Демидов допытываться уже совершенно спокойным тоном.

Последний, несмотря на свою вопросительную форму, не вызывал, однако, на ответы. Да, собственно, и не были они ему желательны, именно потому, что вопросы заранее решены им домашними средствами и без чужой помощи. Он, просто сказать, разговаривал потому, что опять впал в повествовательный спокойный тон.

— Довелось мне прошлой зимой, на Николу (в 1857 г.) быть в Шунге на ярмарке: свою треску продавал и белку пособрал, песцы были — привез. Послышал я там про недавнее выговское разоренье [15]. Любопытен я с самых малых лет: хочу знать про все разное не для других — для себя одного. Хотя и не по пути прямому было, да ведь и крюк небольшой: завернул туда посмотреть, что это такое за разоренье бывает,— не видывал. Порешил я ехать в Сюземки, так ли, не так ли, а ехать.

Приехал туда, и что я там увидел?

Сюземками (на вопрос мой объяснил Демидыч) по нашим местам так звали те пустынные места за то, что там стоят дремучие леса сплошь, чертово место, одно слово — сюземка. Церковь печатями запечатана, и окна закрыты ставнями, а к ним тоже красные печати приложены. «Можно и дома молиться,— подумал я,— затвори клеть

и там помолись: господь вездесущ, увидит и услышит». Колокольня превысокая стоит, а колокола сняты с нее. Пролеты с просветом таково-то уныло глядят. И тяжко мне стало на душе. Зачем так? Чем звоны виноваты? Ну, да пущай в другом месте сзывают эти колокола на молитву, где бывает нечем (слыхал я, что где-то там, за Двиной, лычный колокол висит, лыками оплетен). Избы заперты и запечатаны — точно кладбище. Заглянул я на настоящее, а там стоят кресты поломаны, кои повалены. А было то место свято, я это давно знал: тысячи народу сходились туда поклоняться гробам: братьев Денисовых, Данилы Викулыча и сестрицы Денисовых Соломониды* и их тетки. От нас туда ходило великое число всякого народу. Заборы в скиту где сломали, где повалили. Поглядел я — и словно пешней мне под сердце ударило! Вход на кладбище заперт и запечатан, под забором его сидят остатные старицы — завидели меня — и плачут. Взглянул я на них, да и сам заревел и стегнул по лошадке, чтобы кому-нибудь на глаза не попасться. Были те жительства обширные и прекрасные. В одной Лексе жило до семисот сестер. Обе обители царя Петра хорошо помнят. Он их простил, и все цари миловали,— и теперь ни с чего такое разоренье!.. Оправятся ли?

— Я сужу по нашим ближним местам, глядя на Топозерье!— поспешил ответить на свой же вопрос Демидов.— Про Выг-озеро после слыхать было, что на том месте, где монастырь стоял, поселили сто душ мужиков. Вывели их откуда-то из-за Питера (из Псковской губ.), и сказывали, что сам барин отступился от них: вор на воре и плут на плуте. Им бы хозяйство ладить, а они и на своих-то местах были гуляки да пьяницы; они и остаточных старцев поразогнали. Как пришли, так бабу и убили. Стали их разбирать, да целую половину и угнали в Сибирь. Малая толика прицепилась к месту, да и те непутные. Правильно ли начальство поступило? Когда делались самовольные попытки, тоже обходились не без грехов, хоть бы и у топозерских. Выгонят ветхих старух негодящих на море, на луды пустые (молодых при себе оставляли), построят им избы (недорогого стоят), дадут харча много, чтобы ели досыта (Москва на это денежки присылала, из Питера даянья шли и мукой, и всяким житом, и прочим таким делом). Да какие же это селения? Пословица впрямь говорит: «бабьи города недолго стоят». Цинга по нашим местам гуляет и воюет; на тех местах только одни косточки забелеются. Топозерские знали и другую пословицу: «без баб-де города не живут». Так и действовали. А вот теперь их вдосталь разорили... Что ж станется? Города ведь годами строятся,— взять, к примеру, нашу Суму. Старики, покойнички, сказывали про «Сенявшину». Прислал царь Петр злого генерала Сенявина солдат на войну набирать и город Питер строить. И натворил этот человек то у нас, что доселе не выходит в народе из памяти. Всех распугал.

* Основательницы женского монастыря на р. Лексе. От Данилова мужского скита езды сюда 8 верст, по р. Выгу, до слободы Сергиевой, а от нее столько же верст по адской колесной дороге, засыпанной крупным булыжником и пересеченной речками и озерами почти на каждой версте.

Стали прятаться: кои в леса забежали, те там и погибли. Нахватал самых молоденьких, крепоньких,— всех забрал, никого не оставил ни на племя, ни на семя. Было до него в нашем посаде шестьсот душ, стало двести пятьдесят. С тех пор вот нам и не поправиться, а ведь сколько годов прошло! Дошел вот теперь черед до Топозера. Как он строился? Кто-то скиток завел. Стали к нему пристраиваться втихомолочку, не торопясь, исподволь. Рубят избу — прислушиваются, не шибко ли топор звенит?..

— Слыхал, твоя милость, про Великопоженский скит?— спросил Демидов, круто оборвавши нить рассказа.

Намек этот указывал на свежее событие, как раз случившееся в то время и, несмотря на свою малость, довольно громкое: оно быстро облетело молвой весь Архангельский край. Дело было самое простое, которое при других обстоятельствах прошло бы совершенно незамеченным. Около Печоры давно уже существовал этот скит. За глазами, за непроходимой Тайболой скит в этом краю (который на Мезени называется «отдаленной») незаметно превратился в настоящее селение, людное и широко разбросанное. Палате государственных имуществ сделалось совестно называть его скитом, и она поспешила переименовать его в деревню.

— За что такая милость там, а здесь вот одни только разорения? Не слыхал, твоя милость, за что?

На прямой вопрос, выговоренный в том тоне, что требовался ответ, подкрепляющий или разрешающий сомнение или незнание, я не мог сказать ничего, кроме сообщения общих положений, которыми в то время руководились при преследовании раскола. У Демидова оказались свои аргументы, представленные с оговоркой, что говорит он по слухам.

— Прислан был в Соловки из Москвы на смирение и обращение некоторый человек, по прозвищу Гнусин, за большое его озлобление и за писания. Толковал он как-то неладно Апокалипсис и разные такие хульные тетрадки писал. Продолжал тот Гнусин делать то же самое и в Соловках. Того мало, что ругательно писал, а еще и картинки в насмешку хорошо мог рисовать. В Соловецком он и помер. В то время в Топозере настоятелем был Томилин. Он съездил в монастырь, выпросил тело, перевез морем и похоронил у себя в скиту. Болтают, что-де у архимандрита Досифея он и писания те, и картинки купил. У него, за великие деньги, перекупил их какой-то московский купец и свез в Москву. Там прознали и схапали, а на Топозеро грозу пустили: на полное разрушение. Освятили часовню на православную церковь, попа приставили. Жителям велели выбираться. Кто хочет — оставайся, а прочие все вон иди. Старики ушли, не похотели оставаться.

— А если захочет Москва,— перебил я собеседника своего, в свою очередь, вопросом,— восстанет ли топозерское жительство?

— Вот ты мне очи просветил. Прямо скажу: восстанет. Они живущи, а Москва сильна. Вот как они живущи. Выходило им, как и всем, общее положение: высланы были те, у которых пачпортов не оказалось. Старым доживать дозволено, а принимать прибылых

нельзя. Нельзя вновь строиться и старые избы чинить. Годов с десяток тому будет, приехали из Питера посмотреть: и заплаточек много наложено, и прибылые есть. Рассердились тогда и сделали тот великий их разгром. Стало теперь после них селение как настоящий соловецкий скит: десятка людей не сосчитаешь. Три монахини поехали прямо в Москву жаловаться. Вскоре туда игуменью вызвали. Знакомая она мне была, звали Анфисой. Сановитая такая, из себя дородная, плотная, даром что было ей пять десятков лет с хвостиком. Ростом высока, пущай, как и все наши бабы, да уж больно гладка была, еще не обрюзгла; на Москве, поди, очень понравилась. Пока не обойдется, бывало, важной такой глядит. Кроме благочестивых разговоров, других никаких не знает. С глаз — хитрая, в словах — увертливая. А разгостится да опознается,— любила гостить,— такая-то ли добрая да развеселая. И поговорить любила, и шутку подкинет такую, что и молодой разбитной женке не сделать. Эта Москву обойдет. Эта там не заблудится, да еще и других прочих с собой на свою дорогу проведет. Топозеру не погибать же стать из-за одного Гнусина!

— Чем пленяли?— отвечал Демидыч на вопрос.— Я должен теперь говорить по всей истинной правде...

Заговорил он шепотом:

— В Сюземки кто в кой час ни попадал, бывало, всегда у них молятся, все где-то служба часовенная идет и днем, и ночью: то заутреня, то часы, а то и всенощная, обедни, вечерни, молебны, панихиды — раздолье богомольному человеку. Вот это надо понимать, в самую глубь дела проникать.

Переменивши тон голоса на такой, каким обыкновенно говорят тайны (хотя даже нас никто в это время не слушал), Демидов сообщил:

— Начинают и на Топозеро помаленьку стягиваться (слышал я про то от верных людей). Из нашего селения и из Кеми кое-кто ушел уж туда. С Ковдозера ожидают. Ведь зачем Наум-то Васильев у Копылова сидел? Он собирал рассеянное стадо и новые деньги привозил на покинутое гнездо. Как можно потерять Москве такое место? Ведь оно насиженное, укромное! Поди-ко, знай, доберись до него: глаза выколешь себе, все тело перецарапаешь, ноги повывихнешь. Да и богата же эта самая Москва! По этим же самым Топозерам и нам всем это видно. Надо так думать и говорить: не пустяшная какая ни на есть забота житейская, а великое дело — о вере! Уж если человек по вере пошел и около нее начал устраиваться, то он и впрямь как дятел: и упрям, и чуток! День и ночь он крепким носом долбит, а голова у него не болит.

Я твою милость больше и спрашивать не стану,— сам отвечать могу. Топозеру большим городом не быть, а маленький сколотят.

Припомнились эти слова и все сейчас рассказанное, когда случайно попалось мне на глаза в газетах достоверное известие самовидца:

«Деревянный высокий забор обвалился. Ворота и ставни у многих домов заколочены. Много огородов совершенно заросли.

Жилых изб я насчитал двенадцать, и между ними видел большую в два этажа,— сказали мне, что тут живет большак. Между жилыми домами разведены маленькие огороды, засеянные репой, луком и картофелем. В жильях — около 20 мужчин и женщин: мужчины сидят за чтением и перепиской рукописей, женщины — за рукоделием...»

3. БЕЛОМОРСКИЕ СУДА

Город Кемь внешним видом своим столько же похож на всякое другое беломорское селение, обусловленное простым значением деревни или села, сколько, в то же время, не похож ни на один из других уездных городов России. Начиная с того, что в городе этом встречает всякого приезжего невыносимый, докучливый шум речных порогов, как и всюду по берегам Белого моря. Кемь, в свою очередь, поставлена в такое же исключительное и незавидное положение, что разбросалась в поразительном беспорядке по гранитным скалам, которые в пяти-шести местах слились в сплошные груды, как будто горы. Цепляясь по уступам этих гранитных гор неправильной линией без симметрии, идут одни за другими, одни над другими зеленые, желтые, серые домики и дома этого города. Незначительная часть их, полукругом, как будто в некотором порядке, как бы подобием набережной красивого приморского города (особенно при виде издали, при въезде в город с моря), обогнули широкий, круглый ковш реки, где она слилась двумя своими рукавами. С одного из этих рукавов с шумом и брызгами несется по крупным камням огромная масса воды, трудно победимая силой весел, силой человека и паруса, крепко надутого сильным и крутым ветром. Там, где масса воды этой не кипит уже котлом, а зияет огромной пучиной, выбитой временем и водой, как бы в упор стремлению водопада, выплывает невысокая гранитная скала со старинной церковью, с более древней башней уже разрушенного или рухнувшего от времени *острога, городка.*

Это — Леп-остров, ячейка первоначального поселения, защищенного деревянным острогом, который в конце прошлого века уже был в развалинах. Продолжая замечательно спокойное течение свое дальше, река обрамляется теми же гранитными скалами, по которым тянется изгородь, вешала с сетями направо и рассыпался такой же беспорядочный ряд строений налево, в сторону города. В дальнем конце своем, до которого видно такое множество углов, труб и кровель, ряд домов этих, названный корельским именем *мандеры,* замыкается деревянной кладбищенской церковью с крестами и гранитными камнями и плитами кругом. На таких же неправильно очерченных, неправильно разметанных кругом камнях и плитах выстроилась соборная церковь, встала отдельно от нее соборная колокольня, неизбежно каменное казначейство, еще несколько домов, пожалуй, относительно, и красивых, не похожих на дома деревенские или сельские, но ни огородца подле, ни кусточка зелени, кроме зелени ивняка, да дальнего соснового бора, ни лошади подле или даже где-

нибудь и вдали. Если в Онеге есть еще хоть одна улица, по которой можно ездить, то по Кеми окончательно по летам ездить невозможно. Два утлых, наскоро плетенных моста, перекинутых через узкие рукава реки, служат только для прохода пешеходов, заблудившейся или, по обыкновению, оставленной без призора бодливой коровы, всегда огромной, всегда желтой собаки, которая по зимам возит воду и воеводу, дрова и его челядинцев.

Взойдешь на гору, взберешься на колокольню — моря не увидишь, море затянули спопутные взору мысы извилистой, коленчатой реки, закрыли избы, сосновый перелесок, недавно построенные против неприятеля батареи, бараки подле. Видишь неровные, прогнившие крыши домов с кадушками и швабрами в них на случай пожара. Видишь опять прихотливые изгибы реки; видишь кемскую женку, всю в красном, с веслом на плече, идущую к карбасу; видишь этот карбас, который качается на воде подле берега, и парусок-другой вдали. Слышишь снова вой порогов или еще более несносный вой своры собак, бегающих по загородным горам. Там дальше тускнеет что-то в тумане: может быть, тот же бор, может быть, те же серовато-красные массы гранита. А там опять-таки слышишь человеческие голоса, как-то не гармонирующие со всей наглазной обстановкой, как будто чужие здесь, хотя под ногами и раскинулся широко один из лучших, самый богатый капиталами город Архангельской губернии.

Спустишься вниз по уступам скал, имеющих в некоторых местах вид и форму решительной лестницы, словно рубила ее рука человеческая, но и тут все-таки ничего не встречаешь нового: слышатся те же пороги, видится тот же широкий и глубокий ковш среди города, среди самой реки. По берегу этого ковша навалены грудами, поленницами доски и бревна. Из-за них, по временам, вырываются болезненный взвизг пилы, голоса людей, звон топора, плашмя попавшего на сучок. Здесь городская, доморощенная верфь и, говорят, хотя и маленькая, но чрезвычайно удобная. На этом месте, с этого берега, в этот ковш реки Кеми ежегодно спускают по одному, по два, нередко по три и по четыре крупных морских судна, назначаемых для дальних морских плаваний. Подрядчиками работ этих бывают, конечно, богатые капиталисты города; производителями, работниками — корелы из деревни Подужемья, расположенной в 17-ти верстах выше города, на той же реке Кеми. Вся нехитрая и несложная история этого дела обыкновенно обряжается и ведется простым путем.

Вот как про все это рассказывают.

Давно уже кемские богачи нажили свои капиталы и пустили об этом славу на всю ближнюю и дальнюю окольность. Правда, что слава эта на устах правдивых людей не всегда добрая, и кемские капиталы, как говорят, нажиты не весьма честным путем, а потому и наше дело сказывать всю сущую правду, как она рассказывается. Давно, еще до времен Петра Великого, в глухих непроходимых корельских болотах, вблизи больших рыбных озер, особенно же около Топозера, расселились первые раскольники своими скитами. Я уже рассказал, что такое представлял собой Топозерский скит. Прежде в

этот скит бежал, говорят, из Сибири клейменый и не один десяток раз прогнанный сквозь строй и сосланный на поселение солдат, всякий, кто мог понадеяться на личную смелость и не побояться второго, всегда более горшего, наказания. Пробираясь Христовым именем, обнадеженные сердоболием доброго русского народа, который давно уже приучил себя видеть во всяком беглом если не мученика, то непременно уже страдальца, достойного и куска хлеба, и теплого приюта,— беглые, со званием и прозвищем «несчастненькие», большей частью спокойно достигали до корельских болот. Здесь первый спопутный скит приглашал их к себе и благословлял на вечную, спокойную жизнь, обеспеченную дальностью места, непроходной глушью за зыбучими болотами, за высмотренными и зачурованными тропинками. Сюда целое столетие не достигал полицейский надзор, и корельские и выгорецкие скиты ежегодно населялись целыми десятками беглецов, *ревнующих о древлецерковном благочестии.* Опять-таки целое столетие эти беглецы-скитники были предметом бдительного надзора тех из богатых раскольников, которые заручались умением и смелостью в столицах. Богачи эти не скупились на милостыню и не десятками, а сотнями и тысячами рублей посылали ее сюда на помощь *гонимой, угнетенной о Христе братии.* Хорошо зная о крайней удаленности архангельских поморских скитов, о трудно проходимых путях туда, наконец, о крайней скудости средств к жизни, столичные раскольники обыкновенно адресовали свою милостыню на имя тех из своих единомышленников, которые жили в Кеми, ближе к почте и ближе к скитам. Комиссионеры эти, сначала обладавшие только одним секретом скоро и верно находить скиты, впоследствии научились другому: не обходить и себя в дележе, конечно, с большей выгодой и с большим барышом. Легко и в короткое время они успели убедить скитников, что скорее хлеб, мясо и другие съестные припасы, скорее одежда и предметы домашнего хозяйства, чем деньги — не приложимый в глухих и безлюдных местах материал — нужны для ревнующих о древлецерковном благочестии и спасении души, что, наконец, деньги эти, как игрушка, как забава, важны для них в небольшом числе, и то почти для того только, чтобы не сидеть без них, не разучиться распознавать одну монету от другой. Дело это было улажено при помощи тех же денег, которыми покупались хитрые из скитников и скитниц, имевших право голоса и силу нравственного влияния на всех остальных. Кемские раскольники-комиссионеры продолжали по-прежнему получать из обеих столиц, из богатых и торговых городов значительные суммы, закупали все нужное для скитов, часть денег приберегали для себя, а самую меньшую и ничтожную отсылали в скиты. Скрытные и хитрые, но верные в слове, по патриархальным, еще не испорченным понятиям о честности, корелы носили, за ничтожную плату, на своих крепких плечах громоздкие тяжести и под рубахой на груди доверенные им скитские деньги. С каждым месяцем, между тем, богатели кемские комиссионеры и раз (редко два раза) в году сами приходили в скиты, чтобы свести счеты, втридорога поставить цену на доставленные предметы, приносили с собой много водки и вина,

чтобы этим умирволить настоятелей и настоятельниц-*матушек*. С неделю пировали они здесь, бражничали и таким образом успевали располагать скитян снова в свою пользу на весь будущий и на все другие следующие за ним годы. Так велось дело до уничтожения скитов. Значительные капиталы перешли таким образом в пять-шесть кемских домов и способствовали тому, что все эти дома повели на основные несчастные капиталы новые дела, хотя уже и другого рода. Много морских судов большого и меньшего размера находятся теперь в собственности кемских раскольников. Редкий из них не строит еще по одному каждогодно на место обветшавшего. Дело это идет таким побытом.

Богач-хозяин, задумавший выстроить судно, заручается лесом, нарубленным по берегам и протокам реки Кеми. Для рангоута и досками на большие суда запасается он или на онежских лесопильных заводах, или привозит их на своем же судне из Архангельска, затем что ближний лес, дряблый и мелкий, не годен для судостроения. Освобожденный указом 1820 года от платежа *футовых денег* и обязанный только при постройке платить единовременно *попенные деньги*, хозяин спешит заручиться мастером. Для этого, как сказано уже, ходить не далеко: в семнадцати верстах выше города, в деревне Подужемье, живут корелы, которые всему архангельскому краю известны как лучшие мастера крупных морских судов, не имеющих никакого порока. Мастеров этих возят в самые отдаленные места прибрежьев: дорожат ими и керечане, и варзужане, и мезенцы, и летнесторонние, и соловецкие, и горожане (архангельцы). Работа их в чести и славе и у архангельских англичан, и немцев. Кемский судохозяин никогда не обойдет ближнего соседа, с которым ежегодно, в день Спаса Преображенья (6 августа), в том же Подужемье ведет он хлеб-соль и беседу и разводит веселый, длинный праздник и столованье. Напротив, богатый кемлянин выберет и заговорит себе мастера лучшего: к празднику Спаса мастера бывают все дома. Заказчик, пожалуй, и переждет один год, а пожалуй, и два, если у этого лучшего мастера есть уже на руках заговоренная работа. Вот отчего кемские суда лучше постройкой, красивее глядят своей внешностью, чем все другие суда, принадлежащие другим деревням и нередко выстроенные доморощенными, деревенскими мастерами, не подужемскими корелами. Кемское судно узнается в море издали, угадывается поморами безошибочно; иной сказывает даже при этом имя хозяина, а нередко и имя мастера.

— Лодейку задумал построить,— сказывает кемлянин в избе мастера, являясь туда с поклоном, приветом и приносом заграничного крепкого рому или коньяку.

— Сказывали — слышал.

— Возьмешься ли?

— Для ча не взяться — могим!— отвечает мастер.

— Да свободен ли ты?

— Сказываем слово, так, стало,— не врем. Сам знаешь!

— Как тебя не знать, весь свет тебя знает. Весь свет с тобой рад дело вести: это перед тобой, что перед Спасом! Откушай-ко!

Откупоривается бутылка, расходуется вино, идут разные сторонние разговоры, которым как ни завязываться, как ни метаться в бок да по сторонам: с Мурмана на город, из города в Москву и Питер,— а сесть на одно, опять на той же задуманной лодейке: в ней и заказчику барыш, и мастеру польза и выгода; для того и другого вожделенные, верные деньги: одному раньше, другому несколько позже. Начавши другую бутылку, и заказчик, и мастер, под веселый шумок, говорят о цене, спорят и шумят, не изобижая друг друга; ладят, как умеют и смеют; стягивают, как могут, накидки и скидки. Опять пьют и шумят, и опять-таки добираются до искомой, исходной середины, на которой и заказчику, и мастеру становится безобидно и неубыточно. Сойдутся они на этой средней цене непременно: не в первый раз вершат они дело. Ни заказчик не отпустит без конечного ответа хорошего мастера, ни мастер не бросит богатого, честного хозяина. Спорить — вольно, браниться — грех,— говорит поговорка. Как ни шуметь, как ни выговаривать своего *я* и своих барышей — заказчику не пойти из избы, мастеру не пустить его из дверей на город. Так во всех случаях, во всех сделках между своими и ближними. Темен человек дальний; свой ближний известен со всей придурью, со всеми изгибами простого, нехитрого сердца.

— Ну, так, что ли, дело наше, по тому идет?— спросит еще раз заказчик.

— Так и не инак, по тому по самому,— ответит в последний раз мастер.

— Ну, ударим по рукам, поцелуемся и станем богу молиться.

— Ладно, по рукам и за бога — по обычаю.

Сговорившиеся хватаются за полы, обнимаются, молятся на тябло: и кемский, и подужемец старым дониконовским крестом.

— Когда приходить-то?— спросит последний уже у дверей избы своей.

— Да когда удосужишься, когда зима станет; доски пилеными привез, кокоры обтесали инвалидные солдаты на задельные дни — все готово. Скорее придешь — лучше будет.

Подужемец не замедлит. Сборы его не велики; подмастерье его свой человек, правая рука, от него не отходит и часто живет с ним в той же избе, если не рядом.

Сидит кемский хозяин рано поутру в своей светлой, поразительно чистой избе, за крашеным столом, накрытым чистым рядномскатерёткой. Перед ним на столе лежит толстая книга в кожаном переплете, времен Михаила Федоровича, раскрытой. Он только что *перекрестил очи* и, *положив начала*, сел *попитаться от словесного млека и умственного кладезя*, чтобы потом напиться чаю из *немиршоной чашки* своей, купленной им за морем, в Норвегии. Чем-то мудрым, внушающим уважение, если не страх, глядит его чистое лицо, опушенное большой седой бородой и такими же волосами на лбу, подстриженными, по старому обычаю, в скобку; смело и сурово глядят его умные, бойкие глаза из-под медных очков-клешней, захватывающих его нос до страдательного вида и состояния. Он вслух, для себя, гнусливо читает житие святого настоящего дня, и, может быть,

прочтет это житие до конечного «аминя»,— но в двери стучатся с молитвой: «Господи Исусе Христе, боже наш, помилуй нас!» Слышится в молитве этой женский голос одного из домочадцев; старик *отдает «аминь»*. Входит жена, а за нею мастер подужемец, на другой же день по совершении сделки и подряда.

— Ну, вот и свет в очи, а только что об тебе думал, да и попризабылся было! Ладно же — прошу покорно со мною чаю кушать. Неси, девка, рому заветного; стряпай, девка, обед праздничный. На этот день распоясаться хочу — запой сделать, коли со старости лет выдержу это да не крякну! Гости пока, почестной гость! Назавтра думу будем думать и об деле смекать; а сегодня в молитвослове показано разрешение вина и елея. Так и станется.

На другой день, рано утром, и хозяин, и мастер уже на месте работы, и именно там, где река Кемь, сливаясь двумя своими рукавами, образовала широкий ковш. На берегу этого ковша строят кемляне суда свои, но преимущественно большого размера лодьи, шкуны, раньшины, боты. Для мелких судов отводятся другие места, как для карбасов, так и для лодок; но постоянных эллингов нет нигде по всему Поморью. При постройке крупных, как и при постройке мелких, приемы одни и те же.

Давно и положительно известно, что лодейные мастера не знают ни чертежей, ни планов и руководствуются при строении судов только навыком и каким-то архитектурным чутьем, которое, как кажется, надо считать прирожденной особенностью корельского народа. В то же время остальные приемы при деле установлены дедовскими и прадедовскими обычаями, преданием и наглядным наставлением. Точно так же положительно известно и то, что архитектура беломорских судов однообразна и точно такая же и теперь, какая была — говоря поморским же выражением — при царе Капыле, когда грибы воевали с опенками, или, лучшè, когда еще правила Поморьем Марфа Посадница. Таковы лодьи, таковы кочмары, таковы шняки и раньшины. Для всех этих судов чертежей и планов не существует. Только шкуны, в последнее время введенные в употребление, начали строить по чертежам, аляповато, бестолково, доморощенным способом начерченным. Правда, что лодьи, имевшие прежде всего форму нелепого ящика, поморы стали делать острее, но все еще по-прежнему оправдывали плоскодонность своих судов тем, что на них удобнее входить в мелкие приморские реки и затоплять эти суда на зиму у самой деревни, прямо под глазами, или становить их на городки перед окнами. Но в то же время (и отчасти справедливо) и даже те поморы, которые уже начали, вместо лодей, строить шкуны, объясняли существование на водах моря еще довольно значительного числа лодей тем, что построение их стоит дешевле (рублей на 100 серебром), хотя в то же время на лодью и требуется, для ее тяжелых, неудобных парусов и снастей, рабочих больше (по крайней мере, *пять* человек), чем на шкуну (три и даже *два* рабочих). Этим лодьям, почтенным древностью, а не морскими качествами, еще в 1618 году дана была такая оценка свидетелем спуска лодьи в Архангельске англичанином Традескантом. 30 работников заняты были этим делом при

помощи ганшпугов. «Рабочие,— говорит он,— подняли такой крик, что можно было подумать — не поссорились ли жители между собою»,— и утверждает при этом, что он с пятью англичанами успел бы более в этом деле.

Точно так же, как бывало прежде, мастер намечал на полу мелом, на песке палкой чертеж судна и вымеривал тут же его размеры. Ширину клал вершками пятью или шестью шире трети длины; половина ширины будет высота трюма. На жерди намечал рубежки (заметки) и по этим рубежкам этой же жердью все время намечал шпангоуты, называя их по-своему *боранами* (носовым и кормовым). Отвесы или перпендикуляры и на чертеж клал по глазу, без циркуля, и точно так же своим именем *скул* называл боковые части перпендикуляра, его прямые углы. Кончивши чертеж, мастер обыкновенно сбивал лекалы, если строится лодья, и считал это дело лишним, дорогим и для хозяина, если строилась шняка или раньшина. Сбивши лекалы, мастер приступал прямо и не обинуясь к работе, делал *поддон* — основание судна, его скелет; обшивал его снаружи и внутри досками; ставил три мачты, если лодья назначалась для дальних морских плаваний, и две, если она приспособлялась для богомольцев, идущих в Соловецкий монастырь.

В одну зиму, при не слишком усиленной и ускоренной работе, лодья бывала готова со всеми своими мелочными подробностями: с неизбежной помпой, с казенкой — каютой, с приказеньем — люком, местом спуска в каюту, с палубой, с козовами, прикрепленными на бушприте, с двумя печами, если лодья мурманская, и с одной, если ей суждено ходить только в Архангельск. Судно это имеет длины 40—80 футов, ширины 12—25 футов, в грузу способно сидеть от 6 до 9 футов и грузу этого способно поднять, смотря по величине и размерам, от 5 до 12 000 пудов. Правда, что большая часть настоящих лодей не берет уже свыше 3000 пудов, но все-таки строятся еще лодьи и больших размеров. Судно это все из соснового леса, креплено железом (единственные суда с таким креплением); обшивные доски его креплены в малых лодьях в наборе, в больших — в гладь деревянными гвоздями и сшиты мягкими древесными корнями — *вичью*. Перекладины, или брусья (бимс), на которые настилается палуба, называются *перешва*; подкладки из тонких досок, какими выстилают внутри низ судна, чтобы не подмок груз, зовутся *подтоварьем*. Лодейные мачты — однодеревные, бушприт короткий; на фок- и грот-мачтах по прямому парусу с реей; на бизань-мачте — косой парус с гиком и гафелем; прямые паруса держатся на ветре во всю свою ширину для одинаковых размеров паруса вверху и внизу распоркой, называемой обыкновенно *чеплино́й*. Сверх того, при лодье также употребляется бот, называемый павозком, и, наконец, повсюдная и неизменная бочка для пресной воды, называемая *подвозок*. Шпангоут лодьи и всех других судов зовется общим именем — *упруг*.

Таково в устройстве и подробностях своих самое крупное из всех беломорских судов — *лодья*, которое непременно должно быть готово в новом своем виде к спуску до половодья. Сильная разливом и нередко заливающая городские строения река Кемь в

половодье способна для этого спуска. Самый спуск ее на воду требует от строителей, по исконному прадедовскому обычаю, некоторой торжественности, некоторого рода гласности для целого селения.

Лед вынесло из реки в океан, река в полной заливной воде, на крайнем дохе — на крайнем рубеже, с которого она пойдет убывать. К тому же полая вода эта стоит на приливке — стало быть, обещает благополучный момент для спуска.

Момент этот предусмотрен, и час для спуска назначен.

Еще с вечера, накануне дня, назначенного для спуска лодьи, мальчишки-подростки обегали все дома деревни и повестили хозяев приговором:

— Дядя Еремей! дядюшка Пантелей на первую выть (после завтрака) звал тебя на лодейке спущаться — пожалуй-ко!

Мальчишка, скороговоркой произнесши эти слова, убегал из избы, и званый охотно приходил на другой день раньше часа спуска и видел широкое, чреватое днище лодьи во всем его неприглядном безобразии, еще на городках, на берегу, но без снастей, по обыкновению, без мачт.

Виделась только крыша казенки, толстый, тяжелый руль и свежая, щедро просмоленная конопатка. Все деревенские или городские гости, знакомые и благоприятели хозяина, влезают на палубу и ждут молитвы. Придет священник с крестом и чтением молебна — раскольник ли хозяин или нет. Прочтется последняя молитва, дрогнет сердце хозяина, дрогнет и сердце мастера, возбуждены и прочие зрители-гости.

Мастер с помощником спускаются вниз и, с крестным знамением, подрубают разом с уханьем и вздохами два бревна, поддерживающие корму лодьи. Судно качнется раз и два и, наклонившись несколько набок, ползет по двум другим бревнам, положенным параллельно килю, прямо в воду. Рявкнет свое заветное «ура!» весь народ на палубе раз, другой, третий,— и лодья уже на воде оселась благополучно: не умереть в тот год хозяину, не потерпеть большого несчастия ни ему, ни всем соседям его, спустившимся на новом судне на вешнюю воду. Хозяина целуют, поздравляют, кланяются в пояс. Честят лестными приговорами мастера, и во все это время ни хозяева, ни гости не надевают шапок — до той поры, пока судостроитель-богач не пригласит их всех в свою избу на почетный пир, на пьяное и весело-шумливое угощение. Несется потом неладная песня, бестолковый говор, и долго затем во всю ночь бродят по улицам шатающиеся из стороны в сторону тени, которые или скроются в воротах собственного дома, или под углом первой спопутной клети, подле первого попавшегося бревна, как это бывает везде, во всех углах широкого русского царства.

«Зимою суда обыкновенно замерзают в реке,— говорит г. Верещагин в одном месте своих «Очерков Архангельской губернии»,— но чтоб весною, при выходе льда, их не унесло и не изломало, то их поднимают на городки или костры коротких бревен, опирающихся на дно реки, так что лодьи стоят на этих городках выше поверхности льда. Для лучшего равновесия ее протягивают канат, которого

один конец привязан к вершине грот-мачты, а другой закреплен к берегу. Для спуска лодьи подкладывают под киль ее перпендикулярно бревна и тянут судно, заставляя его сделать прыжок с городков в воду. Совершив такой скачок, лодья, как будто в ужасе, долго качается с боку на бок и размахивает своими мачтами. Разумеется, такие спуски не бывают торжественны и на лодье, таким образом спускаемой, нет никого, кроме ребят — народа в высшей степени неустрашимого,— которые громким смехом изъявляют свое удовольствие, когда лодья, совершая свой прыжок, зачерпывает воду своим бортом*.

На этих лодьях поморы или возят купленный в Архангельске хлеб в Норвегию, или к промышленникам на Мурманский берег, или совершают прибрежные плавания на Терский берег за семгой, на Корельский за сельдями, на Новую Землю за моржами, на Колгуев за птичьим пухом, в Онегу за досками, в тот же Архангельск с треской и палтусиной и в Соловецкий монастырь с богомольцами.

Во всех этих плаваниях поморы ходят по *вере*, по старым приметам, замеченным или самими, или переданным от отцов или бывалых соседей. Большей частью лодьи держатся *бережья,* вблизи берегов, и в крайнем случае, при необходимости пускаться в глубь моря,— руководствуются компасиками — по их *матками,*— покупаемыми обыкновенно за четвертак, полтинник на архангельском рынке. У некоторых хозяев, более толковых и сметливых, встречаются, на случай порчи одного, два и три запасных. У некоторых ведутся также записные книжки о времени *перевалов* (поворотах курса), о коргах и опасных мелях, о более удобных и безопасных становищах и проч. Но и в этом случае все поморы руководствуются памятью, поразительно замечательной сметкой, и толком, и почти всегда верными приметами.

Второе (по величине судна) место, после лодьи, должно принадлежать *раньшине*. Первообраз этого судна — *шняка́*, по величине несколько меньшая предыдущей. Шняка обыкновенно шьется теми же древесными корнями — вичью (по местному названию) — из широких досок, в наборе, длиной от 4 до 5 сажен, шириной немного больше сажени, с плоским, как и лодьи, дном, с острыми носом и кормой. Шняка оставляется открытой. На нее ставят одну мачту посредине; на мачте употребляется еще до сих пор один *прямой* парус. Обыкновенно же шняка ходит на веслах (шести). Судном этим управляют четыре человека: кормщик, тяглец, наживочник и весельщик, т. е. все те рабочие, которые необходимы для осмотра мурманского яруса с треской и палтусиной. Шняка способна поднять 500 пудов груза и, в это время, сидит в воде около $2^1/_2$ футов. Перегородками судно это разделяется на «чердаки»: «собачий», где спит наживочник, «рыбный» (или «рыбная кладь»), куда грузят свежую, снятую с ярусов рыбу и тут же солят. Третий чердак величается

* Годы судов у поморов выражаются *водами*. Лодья, прожившая три года, называется *лодьею на четвертой воде*.

особым званием «кормовой заборницы», ибо ею владеет почетное лицо — кормщик. Перегородка называется «ушница», и выделенное одно из них отделение носит имя «кары». Здесь за низкой перегородкой по правому борту на полке хранится наживка, и ею наживляют уды; здесь же связывают в тюки крючные веревки и укладывают вытянутый из моря ярус. За карой — еще отделение — «гребень», в котором складываются смотанные тюки, и отсюда передают их для наживления в кару. У самого носу шняки «заборница», или каютка для весельщика и тяглеца. Не различают, однако, этой собственности и не признают специальности назначения, когда задается хорошая стряска. Рыбой нагружают сначала кормовой чердак, потом носовой, а затем валят и в носовую заборницу,— в крайних случаях и в самую кару. Вот почему на вопрос: «Много ли уловили?» — отвечают: «Пол носовой клади заняли»; стало быть, им «слава богу», а прочим выехавшим в тот же богатый океан завидно.

— Ишь вы какие счастливые!..

Тяжелое, плохо лавирующее судно это, самым названием своим (Sneke — фелука норвежская) напоминающее времена доисторические, употребляется исключительно почти для мурманских промыслов. Потому-то шняки и строятся обыкновенно в Коле, где они и покупаются промышленниками. На зиму шняки оставляются в становищах под надзором лопарей *, но редко пускают их в дальние плавания, хотя бы, например, в тот же Архангельск с мурманскими промыслами. Для этой цели нередко (к крайнему сожалению) и притом менее запасливые и достаточные хозяева на ту же шняку набивают *нашвы* (числом 3—4—5) — фальшборты, ставят еще другую (неопускную же) мачту, не накладывают палубы, но над серединой судна делают выпуклую крышу. Шняки эти, больше только бортом и, стало быть, способные поднимать более значительный груз, называются *раньшинами* по той причине, что они привозят первые — *ранние* — промыслы в Архангельск (следующие привозят на лодьях). Раньшины эти по большей части строятся в тех же деревнях и против тех же окон, а не на эллингах, как лодьи, как шняки и как все другие беломорские суда. Некоторое сходство в оснастке и в назначении с той же раньшиною составляет *кочмар* — палубное же судно, несколько, впрочем, большее, с двумя неопускными мачтами и употребляемое также для перевозки рыбы, назначенной в продажу. Однако судно это сделалось замечательной редкостью, вытесненное из употребления, вероятно, шкунами. Прежде строились они в Колежме, Шуе, Шижне и Сороке — деревнях Поморского берега.

Там же, откуда выходят в Поморье лучшие лодейные мастера, т. е. в кемской деревушке Подужемье, строятся и самые употребительные, самые важные для ближних прибрежных плаваний

* Лопари, вместо шняк, на мурманских промыслах употребляют так называемые *тройники*, управляемые *тремя* лопарями на шести одноручных веслах. Тройники бывают длиной от 3 до 4 сажен и строятся хозяевами обыкновенно около их летних веж. Шняки стоят в Коле от 20 до 30 руб. сер.

мелкие беломорские суда — *ка́рбасы*. Шьются карбасы (крупные суда «строятся») точно таким же образом, как шняки, но меньше последних (длиной 18—25 футов и шириной менее $^1/_4$ длины); в воде сидят на фут. На карбасах этих обыкновенно от 4 до 10 одноручных весел и два шпринтовные паруса; шпангоут карбасный зовется *опругой*. На веслах карбасы легки на ходу и, лавируя весьма недурно, в то же время заметно валки; пустозерские карбасы, с прямой кормой, пускаются в море с грузом, которого они поднимают до 200 пудов. Тот же карбас, только несколько пошире и покороче описанных, употребляется для промысла тюленей на льду и, в таком случае, принимает новое название *весновального* *. Этот род карбасов, как уже сказано, приспособляется к тому, чтобы быть удобно влачимым по льду, а для этого вдоль киля приделываются два полоза, называемые *креньями*. Так делается на Терском берегу; на Мезени же пришивается один крень и по обеим сторонам его, на четверть один от другого, по четыре бруска. Впрочем, мезенцы Зимнего и Мезенского берега весновальные карбасы заменяют особого устройства лодками — *осинками*. Лодки эти выдалбливаются в Березинке (вверх по р. Мезени), но обшиваются еловыми досками (в два набоя) уже на месте, самими хозяевами промысла. Для того, чтобы не попортилась осина, внутрь лодки кладут так называемые *опруги*, обстроганные палки (пальца в два толщиной), которые и пришивают потом стяжками. К килю приделан один крень и по обеим сторонам его по одному бруску; длина осинки $3^1/_2$ сажени и чуть не одна сажень ширины. Такие осинки идут на Устинские промыслы; на Кеды пускают осинки поменьше: до $2^1/_2$ сажен длиной и около 2 аршин шириной. Такого рода осинки или челноки с более плоским дном и сколоченные из досок или просто выдолбленные из цельного бревна без нашвов (фальшбортов) называются уже *стружок*. Суда эти годятся только на побочных реках и небольших озерах; они способны держать только двух человек.

Вот, таким образом, все самые мелкие видоизменения карбаса. Самые крупные из карбасов с каютой на корме и двумя же шпринтовными парусами носят название *двинских*, но чаще — *холмогорских*, хотя, в то же время, строятся почти исключительно близ села Емецкого (вверх по Двине, в 114 верстах от Холмогор); в селениях Хаврогорском (за 8 верст) и Прилуцком (за 5) делаются, по большей части, по заказу (редко на волю) и потому называются на месте отделки *городскими*. Они, как и все крупные беломорские суда, строятся из сосны казенных лесов, вырубленных по билетам, и имеют внутреннюю обшивку, называемую телгас, но без палубы. Он поднимает от 600 до 1000 пудов груза, состоящего из камня, извести и

---

* Еще строят так называемые *торосные* карбасы — небольшие лодьи, на которых возили почту из Кеми к Соловкам. Суда эти названы торосными потому, что они при легкости своей приспособлены к вытаскиванию на ледяные тороса. Теперь они становятся заметной редкостью, по причине той опасности, которая сопровождает всякую перевозку почты зимой по бродячим льдам между монастырем и Кемью.

лесу, адресованных в Архангельск. Для отливания воды на судах этих становится помпа; та же помпа идет и на лодью, и на раньшину. На шняке и на карбасах подужемских для той же цели употребляют водоотливный ковш, называемый «плица». На шняках, как сказано, употребляют прямой парус, те же прямые паруса держатся еще и при карбасах, но только уже исключительно на Терском берегу, где существование их объясняют большей легкостью обращения, чем с косыми парусами. Зато на всех остальных берегах Белого моря косые паруса заменили безобразные, опасные и тяжелые прямые паруса. Прямой парус шняки всегда с подзором: двумя веревочками внизу и в средине паруса. Эти веревочки привязываются к мачте, и тогда ветер держится в парусе и легче и больше. Рифы карбасных парусов на языке промышленников превратились в рефы («подрони парус и возьми в рефы» — общее выражение). На шняках деревянные упоры для весел, сделанные из больших березовых сучьев, называются *ключи* (веревки для весел — *оключина*); на шняках эти же ключи называются *кочетье*. Точно так же, как скамейка для сидения гребцов (на шняке) зовется *бабка*, и *нашестью* — также скамейка на карбасе; но в обоих судах для того, чтобы упираться гребцам ногами и облегчать процесс гребли, приделывают поперек карбаса шест, называемый *балка*. Верхний угол паруса называется «тайка»; шест, упирающийся в парус для расширения его, называется буглинным шестом: буглинями (булинами) называются веревочки паруса, которые служат к тому, чтобы при помощи их парус не рябил и само судно лучше бы шло при крутом ветре. На карбасах, назначаемых для почты и проезжающих, устраивается род кибитки, временного навеса против дождя и непогодей, и это место зовется *гуйной*. На Мезени этот же болок, или верх, называется «буйно» и имеет кол в середине, утверждающийся в веревку, которая притягивается от кормы к носу. Оно называется там шелемкой, а в Поморье «шелешень». На раньшинах и кочмарах существует особое место, где кладут особые толстые доски, густо покрытые землей или песком и называемые *ала́ж*. Тут разводят огонь и варят пищу.

В этом все особенности самых мелких подробностей беломорских судов. Чтобы проследить все изменения названий и одним разом кончить описание судов, встречаемых в северном краю России, начнем с более крупных, хотя они по большей части строятся вне губернии. Таковы: *барки, полубарки, каюки, о́бласы, заво́зни* и другие. Барки и полубарки встречаются лишь на Двине, по которой идут они из Вологодской губернии (из рек Юга, Сухоны и Вычегды) с паклей, льняным семенем, овсом и другой «сыпью» к архангельскому порту. Полубарка имеет 8—12 сажен длины, $3^1/_2$ — $5^1/_2$ сажен ширины и до $1^1/_2$ сажен глубины по борту. Судно это без палубы, как всякое другое грузовое, но с отлогой крышей на два ската, поднимает до 1000 пудов (печорские полубарки, или собственно пермские, несут от 2 до 3 тысяч пудов). Там же, на Печоре, можно встретить и *каюки* чердынских (пермских) купцов *. На той же Двине, у того же

* См. ниже: «Поездка на Печору».

Архангельска ежегодно и в значительном числе можно встретить в высшей степени оригинальные плоскодонные, широкие лодки с низкими бортами на средине. Суда эти называются «завознями» и наверху обоих штевней имеют развалистые кокорки, которые образуют выемки для завозного каната; употребляются, стало быть, для завозов при барках. На некоторых из них становятся каюты, и в таком случае эти *завозни*, ходящие на веслах медленно, черепашьим ходом, привозят обыкновенно хозяев барок к Архангельску и не отводятся обратно, а продаются на месте или для малых пристаней, или идут на паромы для перевозки через неширокие реки больших и громоздких тяжестей (телег с лошадьми и проч.). На той же Двине изредка можно видеть и *обласы*, поднимающие грузу от 100 до 150 пудов (длиной 4 сажени, шириной 1/2 аршина); приходят они или из р. Вычегды, или из р. Пинеги, где они и строятся как грузовые суда. Наконец, на той же Двине являются *паузки* (длиной около 8 сажен, шириной 3 сажени, глубиной на саду более сажени; грузу несут более 1000 пудов), *шитики* (небольшие лодьи, поднимающие тоже до тысячи пудов грузу) и *поездники* (собственно *поездные карбасы*), длинные, низкие и узкие лодки, но не грузовые, а промысловые суда, употребляемые на ловле речной рыбы.

Кроме этих судов*, по Двине ходят разного вида и наименования плоты. Таковы *ведило* или *видило* — плоты из тонких бревен с перилами по краям, на которых привозят к архангельскому порту смолу; *плитки* — плоты в один или два ряда бревен; на них привозят к Архангельску ту же смолу, песок, нередко даже хлеб; *гонки* — несколько плотов строевого леса, связанных между собой по два или по одному в ряд. Для этой цели два плота соединяются между собой счалками, т. е. еловыми шестами, длиной около сажени, толщиной вершка в два. *Сшивины* — еловые жерди (около 3 сажен длиной, около вершка толщиной) — кладутся поверх и поперек ряда бревен и затем прикрепляются вичью к каждому бревну отдельно. Таким образом, эти счалки и сшивины, образуя плот, составляют гонку.

На всех этих разного рода плотах и барках употребляется большое весло, в виде лопаты, называемое *гребок*. Вместо руля на подставке — *девке* — утверждается верхний конец *поносны*, весьма большого весла — правила, накладываемого на каждой оконечности барки и паузка. В некоторых случаях *поносно* называется *потесью* — это огромное еловое весло около 10 сажен длиной, с весьма широкой лопастью. Так же точно и потеси кладутся на обоих концах барок с перевесом в воду и также тешутся из цельного дерева.

Из судов с правильной оснасткой, выстроенных по верным чертежам, безопасных в море и употребление которых обусловлено законами науки и примером Европы, в Белом море, кроме иностранных

* На Двине есть еще *двойки*; но это не иное что, как двухвесельные лодки и *плотницы*, т. е. деревянные плавучие пристани для гребных судов.

кораблей, теперь довольно уже часто видятся *шкуны* и *шлюпы*. Шкуны строятся поморами Кемского и Корельского берегов и употребляются исключительно для торговли с Норвегией; некоторые и редкие возят из Архангельска богомольцев в Соловецкий монастырь. Шлюпы попадаются в редком числе, и выходят опять-таки из Кеми, и опять-таки употребляются для торговых плаваний в Архангельск и Норвегию. Для тех же торговых целей на взморье Двины ходят *лихтеры* — палубные, плоскодонные (по причине замечательного мелководья бара) суда с тремя мачтами. Они подвозят достальной груз из Архангельска на купеческие корабли, но редко пускаются в самое море. Кроме того, существовали на Двине *гальясы,* но теперь об них и сам слух пропал, как и о кочах. Между тем эти суда, палубные, об одной мачте, сыграли немаловажную роль при заселении края и вообще в его бытовой истории. Их строила казна с большой охотой для таких, например, дальних плаваний, которые предпринимались для походов в Сибирь,— для исследования прохода в р. Обь и Енисей (и небезуспешно). Хаживали они на Новую Землю, побывали и в Обской губе. Вайгачским проливом и Карским морем они доходили до устья р. Мутной. После пятидневного плавания по этой реке и по двум попутным озерам доходили до двухверстного волока. Здесь их перетаскивали в озеро Зеленое и из него по реке прямо в Обскую губу. Когда бунтовал Соловецкий монастырь против новоисправленных книг, на этих кочах сплыли туда из Архангельска стрельцы.

Обращаясь снова к собственно беломорским судам, которые и строятся в Поморье, и принадлежат поморам, мы все-таки должны повторить то, что крайняя, выходящая из размеров (обусловленных наукой корабельной архитектуры) плоскодонность судов поморских зависима не столько от мелководья поморских рек, сколько от какой-то упорно закоренелой привязанности к старине. Архангельские поморы сметливы и, видя лучшее против того, что есть у них, принимают новизну легко и скоро. Доказательство тому — более десятка шкун, принадлежащих частным лицам и в то же время закоренелым раскольникам, и, наконец, общее желание всего Поморья завести собственные пароходы, о которых они имели лишь смутные понятия. В мое время (да и прежде) во всем Архангельском краю существовали только три парохода, из которых два небольших: один — Онежской лесной компании, буксирует суда-романовки, нагруженные бревнами и досками, и не ходит в море; другой — купца Бранта, также ограничивает небогатую свою деятельность на водах реки Двины и перестал ходить в море, раз испытав несчастие, по малой величине своей, на плаваниях с богомольцами в Соловецкий монастырь. Его заливало морское волнение; он с трудом ладил с крепкими морскими ветрами. Третий пароход принадлежит казне — как говорят, тяжелый, неудобный, давней постройки,— с трудом правит работы при архангельском порте и употребляется почти исключительно для буксировки. Теперь настало то время, когда пароходы взяли свое право и бороздят воды Двины и Печоры и самого Белого моря во всех его направлениях.

4. БЕЛОМОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ

Выселившись на берег Белого моря исключительно для морских промыслов, поморы-новгородцы на первых порах поставлены были во враждебное положение с соседними норвежцами, записанными в летописях под именем *каинских немцев.* Но кроме взаимных враждебных столкновений иных отношений между соседями не было: новгородские дружины плавали на норвежские берега Северного океана и доходили даже до крепости Вардэгуза, но с вооруженной рукой, и, в свою очередь, получали возмездие. О мирных торговых отношениях не могло быть и помину: всякий отстаивал свой участок земли; всякий старался обусловить свое политическое существование, еще довольно шаткое, значительно неопределенное. Поморы, отданные под защиту, покровительство и ведение Соловецкого монастыря, строили остроги, содержали на общественный счет, в острогах этих, присылаемых из Москвы стрельцов с пушками, пищалями и пороховым зельем, мирно занимались рыбными и звериными промыслами, сбывая их, и то изредка, в один Архангельск, известный еще тогда под именем *Порта св. Николая.* Сюда, еще во времена Ивана Грозного (в 1553 г.), по ошибке и случайности зашел на кораблях Ричард Ченслер[16], названный двинским летописцем Рыцертом, послом англянского короля Эдварта. Ченслер искал прохода в Индию, но нашел ласковый прием при дворе Иоанна Грозного и получил позволение на торговлю. В 1557 году в Лондоне учредилось общество с целью основания этой торговли, а в 1569 году королева Елизавета заключила уже формальный торговый трактат. Французские и голландские корабли не замедлили явиться с товарами, англичане вскоре успели овладеть монополией двинской торговли и довели дело до того, что царь Феодор Иоаннович, в 1584 году, приказал заложить близ устья Двины новый город — Архангельск, за удаленностью от моря города Холмогор. Торговля Архангельска усиливалась, город увеличивался народонаселением, число приходящих кораблей возрастало, а с тем вместе неизбежно усилилась и промышленная деятельность всего поморского края, который уже не беспокоили немцы. Царь Феодор Иванович и потом Борис Годунов ослабили монополию англичан, дозволив приход всем иноземцам (с 1604 года стали ходить гамбургские корабли), а царь Алексей Михайлович даже вовсе запретил англичанам торговлю. Монополистами сделались голландцы, с одной стороны, и русские *гости* московские, костромские, галицкие, вологодские, ярославские и казанские — с другой. Поморцы пользовались ничтожными выгодами. Таким образом шло дело до времен Великого Петра. «Из Москвы,— говорит г. Пушкарев, автор «Описания Архангельской губернии»,— везли в Архангельск товары зимой до Вологды, откуда по Сухоне и Двине сплавляли их на судах. В июле приходили в Архангельск иностранные корабли, и торговля продолжалась до сентября. Это время называли *ярмаркой.* В октябре иностранные корабли отходили от архангельского порта. Главными отвозными товарами были: паюсная икра (доставляемая из Астрахани), меха и звериные шкуры

(отпускалось до 600 сороков соболей, до 350 000 белок, до 16 000 лисиц, до 20 000 кошек), юфть, пенька, лен, холст, поташ, смола, деготь, сало, мыло, щетина, рогожи (до 400 000 штук), слюда, рыбий клей, лес и проч. Стало быть, собственно поморских не было. Иностранные привозные товары были разнообразны, состоя из золота, серебра, драгоценных каменьев, посуды, мебели, галантерейных вещей, сукон, бархатов, парчей, шелковых тканей, колониальных произведений, аптекарских материалов, экипажей, сахару, лимонов, испанских и французских вин и проч. Провоз от Москвы до Вологды стоил 4 коп. с пуда, а с Вологды водой 15 коп. с пуда. За все привозные товары платилось с цены по 6 процентов пошлины. Если иноземец вез их сам в Москву, взыскивались еще 10 процентов и в московской таможне особо 6 процентов. С вывозимых товаров, если они менялись на привозные, ничего не взыскивали, но если отпускались без вымена — брали также 6 процентов.

Петр I после первой поездки своей в Архангельск дарованием многих льгот, уменьшением пошлин, повелением возить товары на казенных кораблях успел усилить беломорскую торговлю до того, что число ежегодно приходивших кораблей возросло до 150, а сумма пошлин до 150 000 руб. Но основание Петербурга и желание усилить значение нового города заставили Петра сначала ограничить ($^2/_3$ товаров должны идти в новую столицу и только $^1/_3$ в Архангельск), а потом и совершенно ослабить архангельскую торговлю. Указом 1722 года запрещено отпускать русские товары за море и позволено привозить в Архангельск только то количество товаров, какое необходимо для местного потребления. Уничтожая одной рукой, Петр Великий, в то же время, созидал другой. В 1703 году он дозволил Шафирову и Меншикову [17] учредить компанию для усиления рыбных, звериных и китовых промыслов по Мурманскому берегу океана и по всем беломорским прибрежьям и для этой цели выписывал из Голландии мастеров. Однако компания не оправдала надежд великого царя: дела велись неправильно мастерами, недобросовестно руководили ими ближние царские доверенные. Петр, уничтожив в 1721 году компании, дозволил заводить подобные частным лицам. Дело нисколько не поправилось. Первым основал компанию купец Евреинов, в 1722 году, но не имел успеха, как и иностранец Гарцин (в 1723 г.). Царь дозволил свободу промыслов без исключительных компаний и в этом деле, как и в деле кораблестроения, нашел исполнителя в том же умном холмогорце Баженине [18]. Баженин, в год смерти любившего его монарха, посылал для промыслов три судна с голландскими мастерами, но тоже без значительного успеха. Точно так же шло дело и в последующие царствования. При Елизавете промысла подчинялись монополии графа Шувалова до 1768 года. В этот год все монополии уничтожились. С 1803 по 1813 год — десять лет — существовала Беломорская компания, которая также не принесла особенной пользы. Естественно, что при такой обстановке и условиях самая торговля поморов, помимо архангельской монополии, не могла существовать самостоятельно, идти вперед, иметь что-либо характеристическое, самобытно русское. И теперь, когда вся торговля архангельского порта находится

исключительно в руках монополистов немцев и англичан, поморы довольствуются незначительным паем в заграничной торговле — паем, добытым с бою. Вся поморская заграничная торговля производится только с *четырьмя* маленькими норвежскими крепостями: Гаммерфестом, Вардэгузом, Вадзэ и Тромсеном,— но и торговля эта большей частью меновая, и та почти вся находится в руках местных деревенских монополистов. Дела общины, дела артели и обоюдных соглашений здесь нет. Торговлю эту начинает тот, у кого есть значительный капитал (пожалуй, даже хоть и нажитый от столичных раскольников) и есть крупное морское судно, особенно шкуна или гальот. Значение этой торговли много усиливает Мурманский берег и спопутные берега, на которых производятся сальные промыслы. Кемское судно, обрядившись с весны, обирает на месте улова рыбу, сало за полцены на Корельском, Терском и Мурманском берегах и с этим грузом идет в первую попавшуюся навстречу норвежскую крепостцу, и, конечно, преимущественно в ту из них, в которой оно уже успело завести знакомство и начать дела. Здесь оно сбывает товар свой и выменивает соль (беспошлинно), шкуры, треску (если попадается сходнее мурманской), запасается винами, преимущественно крепкими, коньяком, ромом и ликером (по-поморски *литерою*), накупает фаянсовых чашек и всего, что находит дешевле домашнего, и благополучно, умеючи проскользает со всей этой контрабандой и неконтрабандой мимо океанских и морских бурь, мимо норвежских и русских таможенных досмотрщиков.

Начало торговли этой должно относить к 1811 году, когда кемлянам императорским указом, для поправления бедственного состояния города, дозволено вывезти 2000 четвертей хлеба в Норвегию, для вымена на рыбу, беспошлинно. В 1820 году указ этот повторился. Кемляне променяли на ту же рыбу 6000 четвертей также беспошлинно. Вероятно, эти сношения, всегда мирные и направленные к обоюдной пользе, послужили к более частому и близкому сношению наших поморцев с поморами норвежскими. Окончательно скрепились они с той поры, когда дозволен привоз заграничной соли беспошлинно, в виде поощрения рыбной промышленности. Только, кажется, пока в этом отношении и имеет еще некоторое значение для поморского края Норвегия, не говоря о сильном, заметном при первом взгляде нравственном влиянии, о котором мы должны говорить после.

Точно так же *по вере* и старым приметам и при тех же плохих компасах ходят наши поморы и океаном в Норвегию, как ходят они по своему родному Белому морю. Немного получают там выгод, немного привозят и сведений. Все сведения их ограничиваются, при рассказах, тем, что Омарфист (Гаммерфест) как бы и город, но хуже Кеми; что в губе его есть медный завод, на котором работают беглые русские солдаты; что губа эта до того велика, что в ней могут установиться все беломорские суда, и большие, и малые, что когда океан гудет — вода в гавани рябит только; что Варгаев (Вардэгуз) — крепость: комендант живет, пушки стоят, солдаты видны; что там и сям по-нашему лавка, по-ихнему крам; что, наконец, города больно плохи, дома деревянные, но на каменном фундаменте.

— Живут норвеги весело,— прибавляют другие.— Только и дела у них, что гостьбу гостить да пуншты с хорошим своим ромом пить. До страсти любят! Всякий ходит со своей трубочкой; всякий, почитай, табак курит. Разговоров больших не ведут, а больше в молчанку играют. Зато уж и спать люты, особо купечество: во вторую выть к иному придешь, по нашему бы обедать пора, а он еще в постельке своей прохлаждается да кофеек в этих же постельках, не встаючи, попивает. Хозяюшка ему и кофеек-от этот припасает, она ему и обед стряпает, а он знай лежит чуть не по три выти ($^3/_4$ суток); для того и перины на мягком да теплом гагачьем пуху делают и гагачьим же одеяльцем накрываются. Счастливый народ! На пути с земляком своим али с нашим братом встречаются — шапочки не снимет, а привет свой сказывает: «Тузи так!» (Tusend tack). Опять же по праздникам гопку (hopska) свою охочи плясать, да нехорошо больно, не весело: словно в ступу толкут, от одного места далеко не отходят, ровно боятся, чтоб не занял их кто. Не весело, не по-нашему!

Финмана в городах ихних попадаются — дрянь народ. Одни по бочке водки в день выпивают — зельное пьянство! На ногах носят упаки с сеном. Народ мелкий, гнилой. Листовой табак жуют; за пазухой всегда водку держат; говорят по-норвежски, богаты оленями, промыслами никакими не занимаются. Спят на березовых вениках. Любят дарить и отдариваться — вот только и есть в них хорошего!..

— А народ эти норвеги,— рассказывали третьи,— народ обстоятельный, любят на аккурат да на честность всякое дело. Вот пришел ты к нему и сказываешь ему по-ихнему:

— Куфман! кюфт, мол, планка! купи доски! алибо: кюфт фишка — рыбу тоись. Надо ему — он тебе сейчас ответ дает:

— О есть кюфт — надо, мол. А то: кайниге кюфт; алибо: ики-кюфт — ступай-де к другому — не надо. Ну, да ладно, постой! Надо норвегу товар твой, покупать хочет, «о есть кюфт» сказал, то сейчас замолчит немного и опять спросит:

— Ват прейс?— цена-де какая? Тут, хочешь деньги, на деньги сказывай. Больше же, правда, на мену идет: «ват вара фор юр» — товар на товар по нашему: фишку берем — треску значит, сальт — соль, торфиш — сухую треску, рофиш — сырую, сальтфиш — соленую, искинвари — меха берем, решнинвари — лисиц покупаем. Сторгуемся — норвег сейчас русси принципал — хозяин, значит, и рушманов — работников по-нашему, сейчас в свой крам ведет — в лавку. В лавке он этой всякое угощение хорошее дает ромом, винами, литерой. Тут уж не стоит за добро свое; худо, коли ты стрекача дашь. Норвег на святое слово твое верит, ему и задатку не надо. А коли уговорился ты с ним, да стал около другого куфмана ладиться взять барыша побольше — держись: сейчас засудят. Прежде головы рубили, теперь перестали, и не вешают. Прежде ты с ним на ином каком языке не говори, опричь ихнего: изловчайся, как сможешь. Нонче и они стали простираться на наш язык; иные так и больно же бойко сыплют — выучились. Прежде, слышь, из дому к ним едешь, и окликают они тебя по-своему: «Куры фра?» — куда-де идешь?— Гамерфешт, мол, Тромсен,

Васен, да с тем и мимо. А ноне и шельму пошлют, и другое какое ни есть слово совсем наше и совсем по-нашему. Верно, так!..

К этим сведениям о норвежской торговле можно присоединить еще то, что самым выгодным продуктом для этой торговли в безлесной Норвегии служат доски. За брусочки, стоящие в казне в Онеге по $1^1/_2$ коп. штука, т. е. $1^1/_2$ руб. сер. сотня, норвежские купцы давали рублей 20 сер. (конечно, товаром больше); за фут доски — 3 *шкилина*, так что за доску, стоящую в Онеге 10 коп. сер., получали около 2 руб. асс. и всего 1 руб. 60 коп. асс. чистого барыша, за очисткой переправочных расходов. Также хорошо идет в продаже щипаная пакля, на приготовление которой поморы употребляют досужее, свободное время самих переездов в Норвегию *.

Все закупленное или выменянное таким образом в Норвегии торговцы-поморы обыкновенно продают по пути в становищах Мурманского берега, преимущественно же вина и соль. Этими обстоятельствами особенно пользуются хозяева покрутов. Они, обирая по пути первую рыбу, везут и продают ее в Норвегии, здесь закупают соль и вино. Соль пускают в оборот на собственное дело осола поздней рыбы; вином забирают в кабалу своих покрутчиков на следующие годы. Фарфоровую посуду везут для похвальбы и чванства в деревню, за стеклами в шкапиках.

Между злоупотреблениями, зависящими прямо от тех же поморов, торгующих с Норвегией, сами промышленники ставят шалости тех из своей братии, для которых честность не всегда дорогая, первая и главная доблесть торговца. Рассказывают три не особенно похвальных случая. Одни поморы, продавая доски англичанину в Гаммерфесте (который-де, кстати, умел еще недурно говорить по-русски), к своим доскам, для пущего счета, приложили украденные у того же хозяина его доски, да еще попросили денег и угощения! Двое других поморов у этого же англичанина украли пустой анкерок и продали ему за свой собственный; украли в другой раз и во второй раз сбыли с рук благополучно; на третий попались: хозяин узнал свой анкерок, отдал им деньги и в третий раз и с простосердечным приветом: «Спасибо, хоть мою же штуку да мне же продают!» Зато другой помор поплатился 400 руб. асс. за то, что пьяный велел рабочим своим валить балласт прямо с судна в порт. Вдобавок к

* Помор, сообщивший мне все эти сведения, знал больше сотни норвежских слов и, между прочим, счет, который он понимал так: 1 — ин, 2 — ту, 3 — фири, 4 — фире, 5 — фэм, 6 — сексе, 7 — сью, 8 — ота, 9 — ние, 10 — тие, 11 — ельве, 12 — толве, 13 — фретин, 14 — фюртин, 15 — фэмтин, 16 — сестин, 17 — съюстин, 18 — аттин, 19 — нэтин, 20 — тювэ, 21 — тювэ-о-ин, 30 — тридевет, 40 — фюртин, 50 — фемоти, 60 — сексати, 70 — съюати, 80 — атати, 90 — неэти, 100 — гундер, 1000 — тюсин. Монеты есть-де у них больше бумажные, золота не встречал, серебра (спэнсин) довольно, хотя-де и своего счета: урта — 30 коп. сер., пол-урта 15 коп. сер., половина спэнсина — вальковы. Бумажные деньги моему давнему ходоку и торговцу в Норвегии — честному и толковому кемскому промышленнику — попадались на глаза в $2^1/_2$ руб., в 5, в 25 руб., по сравнительной ценности с нашими деньгами, считая эту ценность на серебро. Хотя, в то время, и опять-таки торговля производится на мену — *вара фор вара*, говоря выражением искусившихся в познании норвежского языка наших толковых поморов.

денежному штрафу виновного продержали еще целые сутки под арестом. Одному норвежцу захотелось попробовать хваленого русского квасу. Для этой цели он обратился к первым попавшимся русским промышленникам. Те выговорили себе два пуда муки, потом припросили еще один пуд после. Из этих трех пудов, истративши всего, может быть, не больше десяти фунтов, они сварили два анкерка квасу, который еще вдобавок, по всему вероятию, и не понравился норвежцу. Поморы, как известно, в домашнем хозяйстве живут за женами и все-таки пьют отвратительный квас, да и тот весьма редко.

Торговлей с Норвегией, помимо дальних мурманских и новоземельских промыслов, занимаются, кроме кемлян, и все другие поморы Поморского берега Белого моря, каковы жители селений Шуи, Сороки, Сумы и некоторых других.

На том же карбасе, тем же путем прибрежного плавания (7 верст рекой Кемью и 30 — открытым морем) достиг я до первого за Кемью селения Поморского берега — *Шуи*. Немного интересного и своеобразного представляет и это село, правда значительно людное, с лучшими, более красивыми строениями, чем все те, которые виделись на берегах Корельском и Терском. В Шуе встречается уже не один на все селение, но несколько богачей-монополистов, имеющих, как сказывали, может быть, только наполовину меньшие капиталы против кемских богачей. Легче ли от этого трудовым рабочим и недостаточным шуянам — решить нетрудно, тем более что и богачи села Шуи, по всем наглазным приметам, положительно ни в чем не разнятся от всех других достаточных мужиков Поморья. То же стремление к роскоши, проявляющееся в фарфоровых чашках, чайниках, несметном множестве картин по стенам, в нескольких стенных часах, разного рода и вида, с кукушками и без кукушек. Какая-то крепкая самоуверенность в личных достоинствах и развязность в движениях, хотя в то же время и своеобразная развязность, которая высказывается в протягивании руки первым, в смелом движении сесть на стул без приглашения и т. п. Богатые поморы, как и шуяне, в этом отношении находятся в переходном состоянии, отдаляющем их от простого рабочего крестьянина и приближающем несколько к значению богатеющего купца. Не так бедно и не таким угнетением смотрит быт и тех шуян, которые, не наживши еще собственных капиталов, пока всецело находятся в руках богатых соседей. Даже и у бедных на первых порах можно заметить некоторое стремление к роскоши и комфорту. На женах и дочерях их — ситцевые сарафаны ярких цветов ежедневные. Гребцы мои, девки, сверх платья надевали *нарукавники* — род курточки или теплые рукава, сшитые между собой тесемками. Нарукавники эти предохраняли руки от простуды в то время, когда девки-гребцы положили весла, наладили парус и от безделья принимались или за еду, или за сплетни. Стремление к роскоши и какому-то, как кажется, даже тщеславию доходит

здесь до того, что туеса (бураки) и лукошки по всему Поморью не природных цветов, но обычно выкрашены масляными красками с изображением различных цветков и предметов.

Шуйская церковь великомученицы Параскевы существует около 300 лет и, неподновляемая лет 50, приходит к конечному разрушению. Выстроенная в форме осьмиконечного креста в довольно значительных размерах, она может, до известной степени, указывать на давнюю достаточность жителей Шуерецкой волости. Внутри этой церкви находится резное изображение мученицы с венцом на голове, украшенным жемчугом, и крестом в руке с частицами мощей. Изображение это, как говорят, относится к первому заселению этого места деревней. Другая церковь, во имя св. Николая Чудотворца, успевшая также значительно обветшать, построена при императрице Елизавете Петровне, 1753 года. Во всех церквах этих бóльшая часть окон до сих еще пор слюдяная. На оклейку внутренних стен их шуйское невежество истребило все старинные бумаги, между которыми, как говорили, попадались и свитки, и была одна *смешная* (как выразился мой рассказчик) расписка одного шуянина другому, в которой заимодавец пишет должнику, что если он не отдаст ему денег к сроку, то ему будет стыдно.

На другой день, рано утром, бойкий западный ветер успел в час времени разогнать все сбиравшиеся на небе темени — облака и, начавши бойко, вскоре смолкнул, давая, таким образом, возможность пуститься далее. К тому же на тот час начиналась полная вода (последнее время прилива). Я отправился.

Полная вода дала нам возможность выбраться в море через мель, засыпавшую устье реки Шуи, по обыкновению шумливой и порожистой и загороженной в двух местах семожьими заборами. Бойкий запад пронес нас между спопутными островами чрезвычайно скоро и еще более оттого, что ветер этот не распускает в Белом море волнения. Только за последним наволоком и уже в открытом море мы нашли довольно значительной силы взводень, распущенный побережником (NW), сменившим запад. Ветер этот был нам попутным. Начиналась ночь, которая могла бы отдавать даже теменью в это время года (были первые числа августа), но по небу гулял месяц. Он то серебрил воду, то, скрываясь за встречным облаком, обливал бродившие волны мраком, густым мраком, который на этот раз делал морской взводень страшным на вид, способным не на шутку напугать воображение.

Ровно двенадцать часов плыли мы эти 35 верст расстояния, от Шуи до следующего поморского селения, то под мрачным обаянием темноты и высоких волн морского взводня, то под чарующим обаянием лунного света, серебрившего хребты волн, беливших хребты дальнего берегового гранита. Над ним расстилался в непроглядном мраке темный лес.

Передо мной селение Сорока, густо населенное, разбросанное на значительном пространстве, с церковью, с красивыми, выкрытыми тесом и покрашенными краской домами, которые могли бы сделать честь даже городу Кеми.

Селение Сорока известно по всему северу красавицами, каких, действительно, трудно сыскать в других местах русских губерний. Сороцкие девушки и женщины — красавицы почти все без исключения. Еще громче, настойчивее и докучливее визжат пороги (их здесь, вместо одного, уже два). Прямо перед деревней расстилается широкая губа, из-за дальнего берега которой чуть-чуть чернеют дома ближнего (в 4 или 5 верстах) селения Шижни и серебрится на лунном свете крест его деревянной церкви. В губу эту, мелкую (при отливе пройти нельзя),— Сороцкую — заходит такое несметное количество сельдей, что, по словам туземцев, вода густеет, как песок или каша: шапку кинь на воду — не потонет, палку воткни туда — не упадет, а только вертится...

Село оказалось на острове, образованном рукавом реки Выг, носящим имя Сороки и имеющим в окружности до 3 верст. Стоящая на берегу рукава часовня означает место, где был погребен скончавшийся здесь преподобный Зосима, мощи которого перенесены были потом в сооруженный им Соловецкий монастырь. На эту деревню выходит прямой и естественный путь по порожистому Выгу из олонецких стран для богомольцев. Другой приток этой реки, Шижня, в четыре версты длиной, вышедший на 9 верст выше Сороки и впадающий прямо в море, наметил место деревушки этого же названия и также устроившейся на острове до 20 верст в окружности и также с церковью, по неизменному обычаю Поморья, во имя Николы.

5. СЕЛЬДЯНОЙ ПРОМЫСЕЛ

Арктические льды и приполюсные страны почитаются коренным месторождением сельдей. Здесь мечется ими икра, здесь икра эта оплодотворяется, и здесь же родятся несчетные мириады существ сельдяного рода (Clupea harengus). Под вечными, стоячими ледяными полями, может быть так же древними, как самая вечность, вырастает на самом дне, неизмеримо глубоком и от веков зачурованном, все поколение сельдяного рода, каждый паюс икры которого, по словам естествоиспытателей, содержит до 10 000 яичек и, стало быть, то же число отдельных существ. Все это несчетное множество существ этих, в первые дни по рождении, спокойно в тиши морской пучины, в стороне от лютых врагов своих, вырастает в нежную, крупную, белую рыбу. Вслед за тем, следуя неизменному закону природы, весной вся эта масса народившихся сельдей подымается с океанского дна на поверхность и начинает отдельными отрядами, семьями, *рунами* совершать свои полярные переселения. Переселения эти совершаются один раз в год, как один раз в год производится и самое нарождение всей сельдяной массы океана. Сельди идут всегда к югу, идут всегда тесными, плотными рунами под руководством и предводительством королька. Инстинкт этого вожатого ведет все стадо в те места, где уже, может быть, раз был этот королек и нашел безопасные и тихие заводи, которые так дороги и любезны рыбам с первого момента их рождения.

«Поход сей,— говорит один из первых писавших о сельдях (А. И. Фомин [19]),— представляет человеческому взору огромное, величественное и преузорочное зрелище лицами тьмочисленных разнородных животных действующего естества. Зрители с высочайших корабельных мачт не могут вооруженным оптическими пособиями оком достигнуть пределов пространства серебровидным сельдяным блеском покрытой поверхности моря. Они описывают сие пространство не иначе, как пространство десятков миль, густотой сельдей наполненное. Сие стадо, во-первых, окружается и со сторон перемешивается макрелями, сайдой, пикшуями, тресками, семгами, палтасами и многими других родов плотоядными одна другую теснящими и сверх поверхности моря обнаруживающимися рыбами. Оная окружная черта рыб знатной широты полосу составляет. Но к умножению пространства смешиваются с ней по окружности звери водноземные: нерпы, серка, тюлени, тевяки и прочие; а сих стесняют звери рыбовидные: дельфины, белуги, акулы, финрыба, косатки, кашалоты и другие из родов китовых. Оные огромные чудовища в смятение приводятся от собственных их мучителей, толпами их преследующих пильщиков, палашников, единорогов и тому подобных. При таковом смятении водной стихии увеличивают представление сего зрелища, со стороны атмосферы, тучи морских птиц, весь сельдяной поход покрывающих. Они, плавая по воздуху и на воде или ходя по густоте сих рыб, беспрестанно их пожирают и, между тем, разногласным своим криком провозглашают торжественность сего похода. Сверх сего множества видимых в воздухе птиц, сгущается оный водяными столпами, кои киты из отдушин своих беспрестанно выпрыскивают до знатной высоты, делают сей воздух, по причине раздробления сих огромных водометов и преломления в них солнечных лучей, радужно блестящим и дымящимся, а совокупно, от усиленного шипения и обратного сих водоизвержений на поверхность моря падения, буйно шумящим. Стенание китов, нестерпимым терзанием от их мучителей им причиняемое, подобное подземному, томному, но весьма слышимому реву, тако ж звуки ударения хвостов о поверхность моря, сими животными от остервенения производимые, представляют сии шумы странными и воздух в колебание приводящими. Сей величественный сельдяной поход, каковым его вообразить возможно, представляет, напротив того, странный театр поглощения, пожрения* и мучения, на котором несметным множеством и более всех сельди истребляются».

Количество истребляемых в походе сельдей пополняется новыми рунами: сельди продолжают метать икру и во время похода так, что все-таки еще несметное количество сельдей укрывается от преследования морского зверя в тихих, мелких губах нашего Мурманского берега, Канинской и Новой Земли, в Обской губе, по прибрежьям северной и западной части Норвегии, островов Гренландии,

* По свидетельству одного норвежского писателя, в желудке выкинутой на берег косатки найдено более 600 тресок с многими птицами и громадой не изгнивших еще сельдей. Такой же точно случай недавно повторился и в нашей Коле.

Исландии, по северным оконечностям Северной Америки, у островов Оркадских и около берегов Великобритании. Отсюда, направляясь дальше, сельдяные руны испытывают превращения: проходя Атлантическим океаном и Гибралтарским проливом, они, истомляясь долгим и дальним путем, израстаются, уменьшаются в теле, изменяются во вкусе. В северных заливах Средиземного моря сельдь уже является в виде *сардинки,* в Балтийском море в виде *пильчары.* Такой же точно род измельчившейся сельди проходит в Печору под именем *зельди, сельги* * и в реке Усе делается решительно похожим на итальянскую сардинку. Точно тем же превращениям подвергается и та сельдь, которая проходит из океана, через Горло, в наше Белое море. Величина рыбы уменьшается до $^1/_3$ относительно полярной гренландской и даже мурманской; белое мясо становится заметно красноватым. Один род беломорской сельди крупнее, другой несколько мельче и называется *галадья* (Cl. sardina), третий — значительно уже мельче последней (Cl. sprattus). Тысяча штук первого рода, пойманных вблизи океана, весит сначала 7 и потом постепенно, ближе к зиме, доходит до 5: второй сорт — *галадья* (сороцкая) — идет от $2^1/_2$ пудов до $1^1/_2$ в последний месяц улова (на пуд приходится сороцкой сельди 500—750 штук).

Мурманские промышленники начинают ловить сельдь в конце июля, и только через месяц (в конце августа), а чаще и в сентябре появляется сельдь в Белом море на зимовке, и опять-таки под предводительством тех же корольков. Несчастный случай погибели королька делается гибелью всего руна: сельди тогда рассыпаются на мелкие отряды; редко, счастливым случаем, попадают они в заливы и губы, чаще прибиваются на открытые морским ветрам берега. Здесь разбиваются они напором волн о гранитные камни и выметываются грудами на прибрежья. Осенью 1777 года был такой случай на отмелях Абрамовой Пахты, в семи верстах от города Колы, когда стадо сельдей обсохло в колено вышиной и выкинуто было потом на берег. Весной принуждены были, для предотвращения заразы, сносить их дальше, в тундру.

Из лучшей породы сельдей, собственно полярной, названной нашими *заурееей*, ловится незначительное количество, и притом лов этот не составляет особенной отрасли промысла. Когда в Кольскую губу навалило несметное руно, коляне черпали сельдей ведрами. На Мурманском берегу рыбу эту ловят для тресковой наживки и частью на уху для дневного пропитания и то только для того, чтобы семожья и тресковая с палтасиной уха («щерба» по-туземному) не набила, что называется, оскомины. То же самое можно сказать и

---

* Печорская зельдь — не настоящая, впрочем, сельдь и хотя посоленная подобится вкусом сельди, но далеко уступает в достоинстве. Зельдь эту солят в Пустозерске очищенной от внутренностей. Вообще печорский народ потрохами рыбьими дорожит, потому что эти внутренности, вываренные в кипятке, сверху дают отстой жира, заменяющего здесь масло, которое вообще там редкость. Между тем *воикса* эта у печорских жителей, от привычки, сделалась лакомой и вкусной приправой ко всевозможным родам кушаньев. Кашу, как известно, печорцы по милости чердынских купцов едят.

про Новую Землю, и про печорское устье; а у Канинского полуострова ее даже и ловить некому. Сельдь легко здесь делается добычей морского зверя, который зато и приходит сюда в заметно большом количестве.

Таким образом, исключительный улов сельдей производится только в Белом море. Делом этим заняты все приморские селения, поместившиеся вблизи мелких, защищенных от морских ветров губ. Ловят сельдей: Соловецкий монастырь, деревни Кандалакша (крупные сельди), Ковда (средней величины), Княжая, Кереть, Гридино (самые крупные), село Покровское, Онежской губы Сорока и соседние с ней деревни. Жители Корельского берега или вообще прибрежьев Кандалажской губы для ловли сельди выбирают преимущественно летнее время. когда рыба еще способна метать икру и когда потому бывает суха и тоща. К осени выловленная рыба засаливается и по первому зимнему пути сбывается в продажу. Мерзлой рыба идет только с Корельского берега, и все по той причине, что у жителей его есть большая возможность сбывать в селении Шунге (Повенецкого уезда Олонецкой губ.). До 100 000 пудов этой рыбы сбывают они в этом селении и на архангельском рынке. На Терском берегу, за значительным уловом семги, к ловле сельдей не кладут ни малейшего старания. Жители онежского села Покровского, вылавливая до 15 000 пудов, продают их мерзлыми по соседним уездам и деревням. но никогда почти не засаливают их; здешние сельди не уступают в доброте сороцким. Таковы же точно и сельди двинских устий Зимнего и Летнего берегов. Здесь они составляют самый меньший и притом самый ничтожный предмет внимания, хотя на архангельский рынок зимой несколько сот возов являются с мерзлыми сельдями почти исключительно из этих мест.

Во всяком случае, главными местами улова этой рыбы надо почитать Поньгаму (селение Корельского берега), Соловецкий монастырь и деревню Сороку (главнее всех).

Вылавливаемая в Поньгаме сельдь самая крупная из беломорских родов этой рыбы и составляет один из лучших сортов ее. На семь пудов весу поньгамской сельди идет только тысяча штук; в осень вылавливается ее до 6000 пудов. Отсюда возят сельдей мерзлыми на Шунгскую ярмарку (6 декабря) и редко на Благовещенскую (25 марта), по той причине, что оттепели часто захватывают возы на дороге, а иногда и на рынке. Коптить их не умеют, солить начали в последнее время, но неудачно, и на архангельском рынке как поньгамские, так и гридинские сельди считаются одним из худших сортов. В губах островов Соловецкого монастыря попадается галадья и вылавливается в таком огромном количестве, что по летам дает монастырю возможность кормить ухой и жареными рыбами людное население обители и огромное количество посещающих ее богомольцев. Для этой цели каждое утро выметываются невода. Монастырь, в то же время, сельдей этих засаливает до 5000 пудов, которые и сбывает в Архангельске; другая часть засола остается на монастырское потребление. Так как засол этот совершается с большей опрятностью и вниманием, то соловецкие сельди почитаются

самыми лучшими из всех беломорских (особенно выловленные в Троицком заливе Анзерского острова). Правда, что рыба эта, при изобилии корма * у берегов островов Соловецких, делается жирной и даже светлеет телом. В таком случае сороцкие должны быть предпочитаемы им, хотя, в то же время, засол их отвратительно дурен. Каждая тысяча этих сельдей весит только два пуда, потому сороцкая сельдь — самая мелкая, но зато и самая вкусная: уха из нее легко может спорить с прославленной стерляжьей. Не отличаясь особенной белизной тела, рыба здешняя имеет сладкое и твердое мясо, способное, по приметам знатоков дела, держать в себе засол долгое время, и, стало быть, не скоро портится. По несчастию, и отсюда также идет рыба более в мороженом и талом состоянии и, сравнительно, в ничтожном числе осоленной. Коптить ее здесь также не умеют, и здешняя сельдь (как и всего Беломорья) коптится не на местах добычи, а в других городах, и нередко других губерний (как, например, Вологодская).

Преимущественный сбыт сороцких сельдей — как уже и сказано — производится в мороженом их виде, и притом не на вес или на счет, а возами (двухмесячный улов, как говорят, доходит от 30 до 40 тысяч возов; в каждом возе полагают до 15 000 штук рыбы). С возами этими приезжают сюда в осеннее время торгаши из губерний Олонецкой и Вологодской, а нередко и ближайшие корелы. Часть сбывается на Шунгской ярмарке, и все количество сороцкой сельди идет большей половиной в Петербург. Сами сорочане в торговле сельдями участвуют редко. Коптят сороцких сельдей обыкновенно жители села Кубенского (Вологодской губернии).

Вот в каком небрежении находится этот род промысла, и вот как рассказывался мне один случай самовидцем события, сорочанином же:

— К нашему мужику корел на возу за сельдями приехал. Спросил: есть ли?— Есть-де карбас полон, с верхом. Стали спорить, торговаться. Поладили. Купил корел весь карбас за один рубль медью.

— Бери же, смотри, все! - приговорил хозяин.

— Ладно, все возьму: тебе не оставлю, небось!..

Стал корел складывать рыбу бережненько, хозяин стоит — пожидается; нет-нет да и припугнет кореляка, чтобы поскорее дело делал, не медлил: некогда-де. Навалил кореляк рыбы полон воз, так что уж и класть стало некуда. А в карбасе лежит еще много.

Стоит хозяин, сторожит, покрикивает:

— Всю бери, мне не надо!

— Да, вишь, мне некуда: тебе дарю!

— С подарением-то твоим тебе же и подавиться. Куда мне твоя рыба? Бери знай. Мне с ней куда деваться, некуда. Экой дряни у нас много. Ты бы еще песку вон морского подарил мне.

Стал корел опять куда ни попало прятать и попрятал кое-что, да мало.

---

* Кемские сельди, например, сухи, и, вероятно, потому, что там на дне моря в изобилии наметано так называемой *няши* (т. е. илу).

— Нет,— говорит,— не могу: лучше-де, слышь, тебе оставлю!

Взялся наш хозяин за строгость да за палку.

— Ты.— говорит,— купил всю — всю и бери, хоть подавися!

Пригрозил эдак, поругался, сам стал пихать да уминать боками и смеется: стало, на смех кореляку делал! Поладили так-то. Всей рыбы не убралось; однако отпустил кореляка, и домой пришел, и спать на ночь лег. На первом забытье слышит: стучит кто-то в оконце, зазывается.

Высунул бороду в оконцо, смотрит — кореляк стоит.

— Что, брат корелушко?

— Лошадка не смогла, пала. Емандую (не знаю), от чего пала.

— Тяжело стало — воз нагрузил; много рыбы купил. Не алчбил бы больно-то! Ну да ладно, посбросай с воза-то побольше — бери мою лошаденку. Пошутил ведь с тобой. Будет время, приведешь лошадку...

С тем и расстались. А кореляк не привел лошадки, да и в деревню нашу с той поры и глазу не кажет, мошенник.

В Сороцкую губу из веков уже является один род сельдей — галадья, и при этом замечают, что ее нет уже ни в Троицкой губе Соловецкого монастыря, ни в Гридине; точно так же, как анзерские и гридинские никогда не мешаются с породами кандалажскими и покровской. Всякая сельдь, по выходе из океана, отыскивает и всегда находит свое место, если только не признавать возможности и необходимости превращения породы от более или менее дальнего путешествия и свойства пищи. Сельдяные руны приходят к Сороке в более значительном числе обыкновенно в осенние месяцы, начиная с сентября и оканчивая серединой ноября, или, лучше, тем временем, когда губа покрывается льдом. Следует заметить, что первый лов сельди вообще в Белом море (подледный) — егорьевский (около 23 апреля) — дает рыбу с поспелой икрой и молоками, но мелкую. За этой следует залежная сельдь — около половины мая,— и главным образом в Кандалажской губе (это также егорьевская сельдь, лишь по вымете икры). В начале июня идет ивановская — крупная (от 80 до 120 штук на пуд) с икрой и молоками (к Иванову дню 24 июня). Самая жирная осенняя сельдь лишь около Успеньева дня [20] появляется в водах Белого моря. Лов в Сороке истинный праздник: старый и малый в это время на воде (особенно в первые недели); кипит там изумительная деятельность: простые саки и сачки пускают в дело, невода едва не рвутся от множества рыбы. Крик и шум, смех и брань делают из этого зрелища, как говорят, решительную ярмарку, с тем же гулом, с той же неуловимой бестолковщиной, затеянной, по-видимому, без особенной видимой цели, но как будто, в то же время, и для какого-то важного, великого дела. Из базарного крика зачастую раздается веселый и громкий смех: это наверное заставляют неудачных ловцов в шутку целовать «гурей» — столб, сложенный из диких камней, один на другой, для обозначения того места, где промышляли (таких много встречается по всем беломорским побережьям).

В большей части случаев и в другие времена, как здесь, в Сороке, так и во всех других местах улова этой рыбы, употребляются в дело самые простые снаряды. Ловят неводами, ловят и мережками, теми же самыми мережками, о которых я уже имел случай говорить прежде при описании ловли семги. В обыкновенном сороцком неводе для сельди длина обоих крыльев (боков) от 10 до 20 сажен, ширина $2^1/_2$ сажени, глубина матицы, или нижнего мешка, от $3^1/_2$ до $4^1/_2$ сажен.

С неводом этим обыкновенно ездят следующим образом, как в Сороке, так точно и в Шижне, и в Сухом Наволоке, и на Выг-острове, и повыше деревни Сороки по р. Выг. Едут два карбаса, нередко лодки с шестью человеками (по три на каждой), для обоих карбасов один большой невод. К неводу с обоих концов привязывается, сажен в 50 длиной, довольно гибкая веревка из вицы в мизинец толщиной и называемая *ужище*; к нему привязываются верхняя и нижняя тетивы (веревки) сети. Невод держится на дне нижним концом своим при помощи камней, зашитых в бересту и называемых кибасами; на поверхности воды невод держится *плутивами* — деревянными тоненькими дощечками с дырочкой. Глубина невода, «хобот», высотой бывает от 3 до 5 сажен, длиной от 90 до 100 сажен. Он плетется из толстых ниток, потому что он часто служит и для семги. На Соловецких островах для сельдей плетутся особые сети из тоненьких ниток, приносимых обыкновенно в монастырь богомолками. Невод из таких ниток ставится у берега на прикрепах, а иногда выбрасывается и наездом с карбасов, как и везде по Поморью. Если же глубина моря будет значительнее и между сетью и поверхностью воды останется пространство, то обыкновенно *торчают* в этих местах веслами, пугают рыбу. Стоящий на носу шестом нащупывает скопившееся в одном месте руно сельдей, а иногда обходится и без этого, догадываясь о присутствии руна по особенному резкому шуму, производимому рыбами в воде.

Наплывши таким образом на стадо, распускают невод, и оба карбаса, разъехавшись в разные стороны, растягивают таким образом сеть. Один карбас берет за ужище, или *шоранец*, невода. Когда невод распустится окончательно, остальные свободные руки бьют по воде палкой, чтобы загнать рыбу в невод, иначе она все время будет *стоять*, т. е. тянуться по направлению, принятому передними рядами. Процесс этот совершается возможно скорее, потому что рыба, заслышавши шум, начинает метаться из стороны в сторону, взад и вперед, *беситься*. Затем оба карбаса опять съезжаются вместе, вынимают невод и черпают рыбу саками прямо в судно. Редко попадается невод полным (особенно на Сухом Наволоке и Выг-острове), но полный нередко дает грузу на 12 карбасов, а в каждый помещается до 10 000 сельдей. Выловленная таким образом обществом целого селения рыба делится обыкновенно на *десять* (хотя в работе только *шесть*) человек: владельцам карбасов идет по три пая, работникам только по одному.

На Терском берегу такой же общинный лов сельди обставляется очень старыми правилами такого порядка. Жители четырех селений:

Умбы, Кузы, Сальницы и Оленницы в день Нового года собираются в село Умбу и там разбиваются на три «четверти», т. е. отдела. Кто представляет четверть (по одному от каждой),— те мечут жребий по участкам, какой достанется четверти из всего морского побережья, протяжением в 50 верст. Каждая четверть, в свою очередь, разделяется на «дружины», или партии, числом десять. Каждая такая дружина опять мечет жеребьи, уже о распределении между собой мест лова, называемых «тонями». Порядок пользования тонями ежегодно меняется круговым чередом подряд, как говорят там — «околицей».

Мережи и другие сети для рыбы, преимущественно по зимам, когда их проваривают обычным путем (смотри: «Лов семги»), обыкновенно опускают в салмах, верст за 30 от селения Сороки, в открытом море. Снасти бросают в *стреж* (глубину). При этом соблюдают некоторые приметы, добытые опытом долгих и многих лет. Так, сети запускаются в полнолуние (рыба особенно любит идти в это время) и при морском отливе (когда зимний лед, оседая от убыли воды, гонит рыбу из мелководных мест в более глубокие). Замечают также (и, говорят, весьма справедливо), что при последней четверти луны рыба почти вовсе не идет в сети, и полагают при этом, что она на то время уходит в *заветерь*, т. е. в ту сторону, откуда скоро должен подуть свежий морской ветер. Благоприятными ветрами для зимнего хода сельди, как и вообще для прихода всех других пород беломорских рыб, считают поморы: запад (W), летний (S) и шалоник (SW). Враждебными, производящими бури и прогоняющими рыбу в голомя считают: всток (O), полуношник (NO) и побережник (NW).

Если прибавить ко всему уже сказанному то, что небрежность соления * в невымытых сельдянках **, протухших, плохо сколоченных, легко выпускающих рассол вон, скудным количеством соли (редко ливерпульской и испанской, большей частью собственной, грязной, несоленой поморской), то придется повторять то же самое, что говорено много раз всеми следившими за этим делом. Говорят, уже и для него настало лучшее время; говорят, и он испытает преобразования, как и все, что творится в архангельском краю по старым, уродливым, закоренелым и закоснелым понятиям и обычаям. Голландские сельди все-таки остаются пока лучшими, но лучшими единственно от правильного, честного засола, тогда как беломорские сельди в сыром виде ничем не уступают им, но даже, как говорят, и далеко превосходят. Таковы, например, соловецкие, сороцкие и гридинские сельди.

— Ты, батюшко, коли тебе наши, сороцкие, сельди вкусом своим хуже архимандричьих, соловецких, показались, знай: там перво-наперво с молитвой засол творят, а у нас со всякой непотребной

* Солят разрезанными в предварительно приготовленном соленом рассоле. Резать стараются живыми. В Ковде, за недостатком соли, раз вся сельдь протухла.

** Каждая сельдянка заключает в себе с небольшим пуд (1 пуд 10—12 и 15 фунтов) соленых сельдей.

бранью. Опять же там бочоночки-то особенные, к ним и старания больше кладут, потому их мало, потому им и в Питер путь лежит: рыбу лавровым листом обкладывают. А наших ведь много, за всеми не поспеешь, за всеми не углядишь: некогда. Да и глядеть-то нечего, чего глядеть? — Съедят, ей-богу, съедят, да еще прихвалят. Так дело не одну уж сотню лет живет. Ты спроси-ко, где хочешь, про Сороку нашу. А! — скажут,— у них сельдей много, у них сельди самые наилучшие. И смотри! — беспременно: самые наилучшие — слово-то это упомянут. Нет, видно, дело это не нам с тобой править. Так пущай оно и будет, как было при покойничках наших. С тем и прощай, ваше благородье, счастливого тебе пути!

Этими словами провожал меня старик-хозяин по пути в карбас, который должен был вести меня до Сухого Наволока или Сухонаволоцкой станции. Перед этой деревушкой морская губа до того мелка, что весла доставали до дна и карбас наш, садясь раз до десяти на мель, едва-едва дотащился до селения. Вот простая, видимая причина, почему селению этому дал народ нехитрое прозвание *Сухого.* Сухое оказалось маленькой деревушкой в 50 дворов со ста жителями, которые все почти ушли на то время на Мурманский берег. Лаяли огромные желтые собаки, попались таможенные солдаты, их будка и сарай, и — что приятно порадовало после всего, что привелось встретить на недавно покинутых прибрежьях моря — это огороды с капустой и даже картофелем. Кроме того, здесь можно было достать морошку, уже поспевшую и потому *рыхлицу*, и молоко, не отдававшее противным сельдяным запахом.

Не заезжая в селение Вирьму (с 80-ю домами и 180-ю жителями), мы на новом карбасе кое-как по прибылой воде пробрались обратно Сухой губой. Под бойким шалоником (с пылью, как говорят здесь) обогнули ближний наволок направо, на полных парусах пронеслись 17 верст открытым морем, забрались в реку Суму. $3^1/_2$ версты привелось потом плыть нам рекой от того места, где стояла, тогда одинокая, еще не срытая батарея, подле нее старая часовня и еще два-три каких-то старых сарая.

Река гнулась на всех этих трех верстах прихотливыми извилинами: скрывался (*таился* по-туземному) один наволок, выползал другой, третий, четвертый и т. д. Берега вытягивались по обеим сторонам круто-неприветливо. Кое-где по ним торчали разные стоги сена. Попадался на глаза дряблый еловый и сосновый лес, как будто заблудившаяся, попавшая не на свое место березка. Вот сверкнул впереди крест сумской церкви сквозь полумрак, застилавший уже перед нами дневной свет на ночь. В 9 часов вечера я был уже в Суме — посаде, одном из древних по всему Поморскому берегу; некогда игравшем более значительную роль и имевшем большее значение, чем Кемский острог, хотя и Сума называлась в старину Сумским острогом. Сума и теперь не потеряла своего значения, даже нравственного влияния на соседнее Поморье, хотя значение это стало слабее значения города Кеми.

6. СУМСКИЙ ПОСАД

Та же неясность и недостаточность исторических данных о времени первого заселения места, занимаемого теперь посадом, встречается и здесь, как неизвестно то же самое и о первоначальном заселении города Кеми. На этот раз, еще до некоторой степени с большей вероятностью можно положить, что здесь жило сначала финское племя (Suomalaiset), давшее свое имя селению. Народное предание говорит, что новгородцы, селившиеся по прибрежьям Белого моря, заняли место несколько выше по реке от нынешнего селения, и именно в так называемом Загорье, в числе десятка домов. Здесь теперь стоит деревянный крест. В 1450 году селение это, наряду со всеми другими соседними с ним, принадлежало уже посаднице Великого Новгорода Марфе Борецкой, которая, именно в этом году, подарила его Соловецкому монастырю. Из летописца соловецкого видно, что в приход преподобного Зосимы в Новгород к архиепископу Феофилу с жалобой на насельников боярских и слуг вельмож и помещиков земли Корельской преподобному Зосиме посадница Марфа Борецкая пожаловала, для созидавшейся в то время обители св. Спаса, деревню Суму с четырьмя обжами (в каждой обже приходилось два лука, а в нем считалось 252 кв. сажени; из трех обжей образовывалась мера одной сохи и 67 вытей; в Шенкурском уезде обжей называется такое пространство земли, какое работник с лошадью может вспахать в течение одного дня).

Царская грамота 1555 года утвердила Суму за Соловецким монастырем навсегда. Монастырь посылал сюда своих старцев творить суд и расправу и взимать повинности. На помощь старцам сумский мир давал выборных, которые отправляли собственно полицейские обязанности.

Дальнейшая судьба посада во всем сходна с судьбой города Кеми. Точно так же шведы, литовцы и русские-изменники нападали на Суму. Шведы по зимам делали частые набеги, значительно усилившиеся в исходе XVI столетия. В предупреждение этого зла, Соловецкий монастырь вынужденным нашелся и здесь, как и в Кеми, построить острог (после чего Сума стала называться *Сумским острогом*). О строении этого острога, одновременного с сооружением соловецкой стены, в монастырских дозорных книгах 1586 года сохранилось следующее известие: «В волости Суме на погосте поставлен острог косой, чрез замет в борозды, и в остроге стоит 6 башен рубленых; под четырьмя башнями подклеты теплые, а под пятой башней поварня. А в остроге храм Николе Чудотворцу, да двор монастырский, а на дворе пять житниц, да за вороты две житницы, да у башенных ворот изба с клетью и сенями; а живут в ней острожные сторожи. Да в том же остроге поставлено для осадного времени крестьянских теплых подклетов, а вверху клетки, комнаты в два этажа построенные, да 13 житниц». Тогда же, как был построен острог, монастырь обеспечен был 100 и 130 человеками стрельцов, набранных из монастырских крестьян. Дети этих стрельцов считались уже присяжными в своих обязанностях. Половинная часть этих стрельцов

находились на береговых укреплениях, а в том числе и в Сумском остроге. В осадное время они обязаны были «на караулах ближних и отъезжих стояти, и в осадное время рвы копати, и тарасы рубити, и туры плести, и чеснок (частокол) ставити, и всякие градские крепости ладити, и запасы из-за города всякие в город носить, и на немецкий рубеж для вестей ходить, и с вестьми к государю, к Москве, и по городам к государевым воеводам ездить и ходить, и города государевым изменникам не сдати, и ни в чем государю не изменити». В 1590 году в Суму, для предотвращения нападений шведов, опустошивших все почти селения Корельского берега, прибыл воевода Ст. Бор. Колтовской, который, разоривши, в свою очередь, три селения шведские, целый год простоял потом здесь и открытого нападения не дождался. Нападение это уже последовало в 1592 году. Финляндцы, под начальством шведских королевских воевод *Мавруса Лаврина* да *Гавнуса Иверстина*, опустошили все Поморье, истребили хлебные магазины, соляные варницы, весь скот, опустошили рыбные тони, многих крестьян взяли в плен, ограбили и сожгли церкви, сожгли вместе с церквами и самые селения, ближние к Суме, наконец, подступили и к этому острогу. Сумские стрельцы, при помощи крестьян, успели упорно удержаться в засаде и даже сделали вылазку. Произошел жестокий бой, по словам соловецкого летописца, немцы были обращены в бегство, воевода их был убит и много было взято в плен. Царь Федор Иоаннович, на случай осадного времени, приказал игумену Якову заготовить в Сумском остроге 500 четвертей ржаной муки. В 1611 году Сума еще раз видела в стенах своих московские войска, явившиеся для отпора нападений тех же шведов, но этот раз был уже последний. Шведы с той поры успокоились. В 1613, 14 и 15 годах Поморье опустошали черкасы и русские изменники под именем литовских людей. После неудачного нападения на Холмогоры подступили они и к Сумскому острогу. Однако острог снова выдержал и эту осаду, и притом с малым числом ратных людей, почти единственно при одной помощи своих обывателей. В 1691 году острог снова укреплялся против шведов, но напрасно.

Мирно повела свой век эта волость до тех дальних времен, когда (в 1764 году) она с прочими поморскими селениями отдана была ведению коллегии экономии. За монастырем оставлено было только подворье его, деревянное, со скотным двором и с четырьмя сенокосными лугами. Подворье это числится за монастырем, и там, до сих пор еще, живут два монаха. Двор этот прежде против нынешнего был обширнее, по той причине, что архимандриты соловецкие имели обыкновение выезжать сюда на зиму. В 1792 году для этой цели архимандрит Иероним построил новые службы, но в 1793 году на подворье жительство уничтожено и все движимое имущество архимандритов вывезено в монастырь; ненужное продано. Скотный двор вывезен на остров Заяцкий, на котором он находится и в настоящее время. При подворье остался только огород, возделываемый монахами, которые, кроме того, обязаны наблюдать за сбором доброхотных подаяний. Каменная церковь Успения, принадлежавшая некогда

к подворью, теперь стала теплым собором и стоит недалеко от холодного Никольского с двумя этажами. В нижнем этаже последней существует часовня, где почивают под спудом мощи схимонаха Елисея, постриженника соловецкого.

Сумский острог в мое время сохранялся в замечательно целом виде; рухнули только крыши некоторых башен, обвалились крыши стен; но заметны были еще и бойницы, и окна, целые стены, даже некоторые рвы, обходившие крепость некогда с трех сторон, но поросшие травой и едва приметные. С четырех сторон этого острога, или города (по-туземному), на крутом и высоком косогоре, видны были из-под стены деревянные крепкие ворота, ведущие к реке на пристань. По свежим сведениям, в настоящее время все эти остатки исчезли.

Из других преданий старины сохранились в памяти сумлян только два: о том, что Меншиков приписал было Сумский острог, вместе с Кемью и Керетью, к олонецким Алексеевским железным заводам;* но что государь, по жалобе архимандрита Фирса, возвратил все это в прежнее монастырское владение. Вторым памятным для сумлян событием остались так называемые сенявинские наборы (в 1714 и 1715 гг.). По этому преданию, жители сзывались в церковь указы читать и слушать и потом выбирать миром народ в солдаты, что таким образом схвачено было народу много (кемские прознали это и успели разбежаться). Этому событию, вместе с несчастным случаем в двинских устьях, где потонуло 20 сумских мальчиков, старожилы сумские приписывают уменьшение народонаселения своего посада от 600 душ прежних до 250 душ настоящего времени.

Точно так же, как в Кеми, и здесь, в 1826 году, от сильных жаров и сухих погод распространились на посадских выгонах сильные пожары, испепелившие церкви, которые впоследствии перенесены были на нынешнее свое место — на гору правой стороны реки Сумы, внутрь старинного острога. Точно так же пожары эти потушены были сильными дождями, начавшимися с 15 августа того же года.

В 1806 году, согласно желанию и просьбе сумских крестьян, они переписаны в мещане, с дарованием им соответствующих прав и присвоением Сумской волости названия *посада.*

В 1830 году посад Сума избавился от холеры, которая брала свои жертвы по одну сторону его за 70 верст в деревне Нюхче и по другую за 30 верст в селении Сухом**.

* В 1703 г., при основании Петрозаводска, под именем Петровского завода, на крестьянах Сумского острога лежала повинность, обязывавшая отправлять там разные работы — с 1706 г. по сентябрь 1714 г., когда эта повинность заменена была взиманием в казну 2000 руб. (невнесшие отбывали работу на заводах).

** Во время холеры 1848 г. с.-петербургский купец М. Л. Башмаков, уроженец Сумского посада, располагал на свой капитал устроить в Сумском посаде богадельню и кладбищенскую церковь. Но холера, к счастию, была здесь несильная. Башмаков, однако, не переставал благодетельствовать месту своей родины. Он выдавал на беднейших жителей ежегодно по 200 руб. сер., через свою сестру, жившую в посаде. Он же пожертвовал навсегда 10 000 руб. асс. для содержания, процентами с капитала, приходского училища, с учителем и законоучителем. Сумское общество к этому капиталу прибавило от себя ежегодных 42 руб. 86 коп. сер. и, сверх того, нанимает сторожа.

В памяти жителей сохранились старинные названия частей селения. Весь посад поэтому делится на *низовье*, ту часть его, которая начинается от взморья. От низовья следовал *жемчужный ряд* до средины селения, т. е. до того места, где теперь выстроен мост, ведущий в заречную половину селения. Средина селения называлась собственно *посадом*; и *труновой ряд*, или *верховье*,— та часть посада, в которой выстроились беднейшие обыватели. Она идет дальше по восточному берегу за город, где начинается уже тундра, на которой растет мелкий сосновый и березовый лес и течет река Сума с прекрутыми каменистыми берегами, неширокая, местами довольно глубокая, кроткая течением, с иловатым дном. Другая половина посада Сумы по ту сторону (левую) реки, та, где существует острог и возвышаются церкви, называются *нагорье*, набережная нагорья — *зарецкая сторона*, дальше *кислая губа* и, наконец, опять дальше на выезде — *слобода*.

В таком, густо застроенном до тесноты, виде является Сума и со стороны реки, и с окрестных лесистых гор. Отчасти только видоизменяют это: деревянный, разрушающийся острог с каменной и деревянной же церквами, мост через реку, множество судов, наполняющих ее на всем верстовом течении внутри посада. С небольшим на полверсту идут строения посадские от реки в гору и к темным лесам, невдалеке сливающимся с лесами морского прибрежья. Обезлюдевшим наполовину населением своим представляется село это летом, когда оставляют его жители для дальних мурманских сношений с Норвегией. Прежде сумляне занимались хлебопашеством (к которому вновь обратили их англичане, не пускавшие в море за промыслами). Прежде в Суме было только одно поле, а в мою бытность насчитывалось уже за десяток, и те были вспаханы именно только во время плаванья англо-французской эскадры по Белому морю. Ячмень родится хорошо, рожь принимается недурно; растут также капуста, морковь, репа и картофель на многих огородах. Прежде ловили рыбу в значительном числе (теперь промыслом этим занимаются только женщины, и то для себя); теперь же все это оставлено для дальних, выгоднейших промыслов. По сказке Соловецкого монастыря иеромонаха Ильи, в 1715 году в Сумском остроге, Кемском городке и в принадлежащих к ним деревнях было монастырских и крестьянских 36, на пустых 19 варниц; в выварке соли было по 100 тысяч пудов. Сбыт этой соли производился в Повенец и Олонец, ценой от 3 до 5 алтын пуд. От промыслов десятая часть поступала в монастырь, а пошлина от продажи в таможню*. Деньги эти шли на жалованье стрельцам, на их амуницию и пушки. В 1713 году, по той же сказке, в Сумском остроге было 343 двора с принадлежащими к ним заведениями для соляных, рыбных и сальных промыслов; теперь домов считается здесь только 214. Некоторые из этого числа жителей умеют плотничать, шить сапоги; есть портные и кузнецы, хотя и плохие; некоторая, и притом довольно значительная, часть живет даже исключительно мирским подаянием.

* Нынешняя таможенная застава учреждена в 1834 году для очистки пошлин с товаров, привозимых в Суму прямо из Норвегии.

Сумские дома точно так же, как и все поморские, двухэтажные: у бедных в один этаж и, в таком случае, с неизменными волоковыми окнами. Но как в том, так и в другом случае у каждого дома крытый двор, на который ведут ворота, и над каждыми воротами непременно или крест, или икона. Внутреннее расположение избы также одинаковое со всеми поморскими избами и также старинное: неизбежная печь, рядом полати и *грядки* или *воронцы*. Подле печи сбоку посудный шкаф — *блюдник*; в правом от входа, переднем углу — *божница*; против среднего окна стол; подпечки красятся синей и красной краской; двери и рамы также; простенки снаружи обмазывают обыкновенно охрой. Над дверями и окнами в избе и горницах, назначенных для гостей, написана мелом, а иногда масляными красками или чернилами на бумажках молитва: «Христос с нами уставися вчера и днесь, той же и во веки».

Со второй половины июня месяца до последних чисел августа жизнь в Сумском посаде идет скромным, тихим, размеренным чередом: женщины ткут холст, бучат и белят его. Затем поспевает морошка, обираемая всем женским населением посада; с морошкой приходит и страдная пора сенокоса, для которого являются сюда из дальних деревень своих корелы; женщины занимаются только уборкой уже готового накошенного сена. При этом замечают, что корелы первым условием, при найме на страду, требуют каши, и по возможности пшенной.

Впрочем, каша пользуется высоким почетом на всем архангельском севере. Если у кого сегодня (говорят) «каша» — значит, надо понимать так, что хозяин желает отжинаться и приглашает для этой цели добровольных рабочих не за плату, а за угощение. В Холмогорском уезде знают и помнят всероссийскую «крестильную кашу» и за нее кладут копейки «бабке на кашу». По Онеге невеста после бани и «красованья» (когда надевает повязку и при этом похлопывает) идет в подполье и ест там «золотую кашу», т. е. непременно яшную. Называют кашей даже и такие кушанья, которые совсем на нее не похожи: горячий из ржаной муки киселек с молоком и маслом — водяная каша; густо заваренное ячменное тесто, съедаемое также с молоком или маслом,— «каша-повариха». Корелы не отстают во вкусе и питают к этому кушанью выдающееся почтение наравне с русскими и с некоторыми добавлениями. Так, например, у них на свадьбах, когда приведут молодую и пообедают и надо снимать с нее платок,— берут на ложку каши и до трех раз подносят ее молодым, чтобы они вкусили уже на этот раз не столько любимого всеми, сколько символического обрядового кушанья.

Изредка, и только отчасти, видоизменяют скромную, тихую жизнь посада, летом, отправления богомольцев в Соловецкий монастырь.

Богомольцы идут на Сумский посад целыми сотнями с повенецкой дороги. Путь этот (на 179 верст) идет для них, после Онежского озера и за городом Повенцом, вверх по берегу реки Повенчанки, десять верст по хорошей конной дороге. Богомольцы обыкновенно идут пешком, хотя в каждой деревне можно достать лошадей и за

умеренную плату. За десять верст от Повенца богомольцы садятся на карбасы и едут 4 версты рекой (по причине непроходимых сторонних болот); из реки выезжают в Волозеро (15 верст) и от северного края последнего, опять берегом, через гору, на пять верст по порядочной дороге до селения Масельги. Отсюда по озеру и реке, одноименным с селением, совершается на 10 верст снова карбасная переправа до деревни Телейкиной и затем 40 верст вниз по реке Телейкиной до Выг-острова и 20 верст этим озером до деревни Койкенцы. От этой деревни до деревни Вореньжи, на 30 верст, идет к Сумозеру волоком хорошая конная дорога. Сумозером до Сумозерской деревни (15 верст) вновь едут богомольцы на карбасах до входа в реку Суму (текущую на 35-верстном пространстве из этого озера в море). Дальше, на 10 верст до деревни Лапиной, идут вдоль реки ее берегом и в Лапиной садятся на 10 верст, в предпоследний раз до Соловков, в карбасы и, наконец, в последний раз идут еще 10 верст до посада* по едва проходимой, вязкой, болотистой дороге, которую могут преодолевать только крепко привычные и искусившиеся в частой ходьбе ноги. Но и весь путь этот пролегает местами дикими, мало населенными, по голому, бесприветному граниту, выстилающему берега рек и берега озер, густо покрытых, в то же время, жалким сосновым лесом. Большая часть сухопутных дорог пролегла болотами, а сухими местами только по кряжам гор, но и сухими только при продолжительных солнечных погодах. Для езды на лошадях, в телегах тряских и неудобных, дороги эти едва сносны. В реках встречаются большие, беспокойные, с трудом одолеваемые пороги. Прежде, говорят, этим путем возили из Петрозаводска в Архангельский порт балласт, пушки, ядра; но, вероятно, зимой.

* Зимний путь для товаров, отправляемых на шунгские ярмарки (за 202 версты, два раза в год — в начале января или конце декабря и в начале марта), несколько сокращеннее (впрочем, не больше 10 верст) и идет несколько иначе, хотя и предпочитают ехать по льду, чем по тайболам и гранитным, оголенным ветрами, горам. В тех местах, где лед на порогах худ, делают объезды берегом. От Повенца до Шунги (на 47 верст) едут сначала 17 верст по р. Повенчанке и потом на следующие 30, до села, через губу Онежского озера. В летнее время и в крайних случаях необходимости сумляне отправляют товары свои из деревни Сороки по реке этого имени на малых карбасах до деревни Выг-острова. Отсюда по р. Выг (70 верст), на которой, по причине порогов (два больших — Золотец и Маточные), перетаскивают кладь с великим трудом через низменные мыски сажен до 50 шириной. То же встречается и дальше у Войцкого падуна (где р. Войца падает в Выг почти отвесно с высоты 3 сажен). Здесь из мелких карбасов сороцких, поднимающих грузу не более 15 пудов, перекладывают его на большие, подымающие до 150 пудов. Около устья р. Телейкиной этот путь сходится с богомольческим, хотя и не слишком выгодно для провожающих кладь. Они у этой деревни, по причине мельницы, должны переносить товар свой в другие карбасы, выставляемые выше плотины. Не доезжая 10 верст до города Повенца, кладь везут уже на телегах. Путь этот первым совершил в 1822 году кемский купец Дружинин, говорят, в две недели, хотя теперь и тратят на него не более 5 дней, и в крайнем случае, при непогодах — 8. При этом надо заметить, что цена за провоз в Повенец дороже, чем на обратный путь, который по большей части совершается вниз по течению, стало быть, скорее (в 4 дня) и сподручнее, легче. Не лишнее также упомянуть, что архангельский купец Пашин сделал, в 1835 году, первую попытку отправить беломорские промыслы прямо морем (кругом Норвегии) в Петербург. Судно его со всеми рабочими погибло у Бердена. Только нескольким кемским шкунам и лодьям удалось попасть в столицу после.

В Суме все богомольцы нуждаются непременно в бане, в двухсуточном отдыхе, чтобы потом сесть или на соловецкую монастырскую лодью, или на суда Сумского посада. Богомольцы, прежде отправления, служат обыкновенно молебны у мощей св. Елисея и делают вклады в церковь и в кружку соловецкого двора. Это последние обычаи пред отъездом в монастырь, который находится от Сумского посада в 100 верстах. Особенно много является богомольцев в мае и июне, и незначительное количество после 20 числа этого месяца и во весь июль; в августе они уже положительно не показываются. Прибывшие в посад повенецкими соймами, богомольцы обыкновенно вывозятся в карбасах на взморье, по причине небольших, так называемых *верхних порожков* реки Сумы. На взморье этом имели обыкновение останавливаться лодьи и монастырские соловецкие, и посадские; едущие на раньшинах, карбасах и нередко шняках садились в самом посаде, потому что речная вода подпускает суда эти даже к мосту посада. Монастырь брал за провоз в одну сторону с каждого пассажира по 30 коп. сер. и в оба конца на обратную — 50 коп. сер. Сумляне берут обыкновенно несколько дороже.

Большими кучками идут эти богомольцы к своему судну, загорелые от жгучего и, в здешних местах, летнего солнца, с неизбежными котомками за плечами. Под котомками привязаны сапоги или новые лыковые лапти, в котомках праздничное, лучшее платье: нерваные и незаплатанные армяки, может быть, даже и синие сибирки,— лапти на ногах уже непременно измочаленные долгим путем, каковой для иных идет из стран благословенного малороссийского края. Правда, большая часть этих богомольцев бредет из соседних Петербургской губерний; большей частью убитые с виду, неразговорчивые и вообще какие-то неладные псковичи; бойкие, с размашистыми манерами подстоличные торговцы; нередко купцы целыми семьями, с неизбежными самоварами, больше созерцательные и молчаливые, чем разговорчивые. Правда, что эти редко ходят, чаще ездят на лошадях, хотя и немного выгадывают на тряских и уродливых повенецких дорогах. Большая же часть странников приходит в Суму пешком и почти на $^{3}/_{4}$ состоит из женщин, пугливых, охающих, почти всегда творящих изустную молитву, большей частью старух. В толпах этих не редкость те полунагие, молчаливые, вытянувшиеся в высокий, болезненный рост дурачки-баженники, к которым питает особенное сочувствие весь православный люд русской земли.

Вся толпа богомольцев на пути по посаду Суме творит крестные поклоны перед всяким спопутным крестом, которых так много стоит на перекрестках и перепутьях селения (больше, чем во всех других поморских селениях), и наконец садится на лодьи. Паруса еще валяются по палубе; пассажиры собрались уже все.

Судно готово к отправлению, ждут только исправления старинного обычая.

Один из работников обращается к хозяину лодьи:

— Хозяин, благослови путь!

— Святые отцы благословляют,— отвечает хозяин.

— Праведные бога молят,— прибавляет к этому другой работник, обыкновенно кормщик.

Все вслед за этим молятся в сторону, обращенную к Соловецкому монастырю. Потом вытаскивается якорь и судно, сделавши поворот по солнцу, отправляется в путь, полусуточный даже при посредственном, умеренном поветерье.

Жители посада Сумы твердо стоят в православии, несмотря на то, что ближняя Сорока и все деревни по направлению к Кеми, самая Кемь и деревни по Корельскому берегу почти все и давно уже держатся раскола. Правда, что и в Суму прокралось старообрядство, но крепится преимущественно между женским населением посада. Между мужчинами мало раскольников, и по мере приближения к городу Онеге число старообрядцев постепенно уменьшается, и нет уже их в последнем городе и по всем берегам Онежскому и Летнему, и мало их по Двине.

Раскол в Сумском посаде получил начало в 30-х годах нынешнего столетия, от родственной связи одного из сумских семейств с раскольничьим семейством деревни Сороки. Сильное влияние богатого сумского семейства на бедный класс жителей посада послужило первым основанием для распространения старообрядских понятий и убеждений. Вскоре после того в деревушку Пертозеро (за 15 верст от посада) приехала на жительство вдова прапорщика Анна Карташева, с сыном и дочерью, из С.-Петербурга. Карташева была закоренелая раскольница, и мало-помалу, тотчас же по прибытии на новое место, она, под строгим видом благочестия и в духе подвижничества, стала собирать около себя раскольничью пустынь и вскоре успела образовать таким образом до десяти келий. Под именем *матушки — наставницы* о душевном спасении Карташева в зимнее время выезжала для проповедания *гонимой* веры в деревни, Шижню, Сороку, чаще всего в ближайший Сумский посад. Успевши возбудить к себе общее доверие старческим видом, степенным и внушающим уважение, необыкновенно правильными чертами лица, осмысленными добрыми голубыми глазами, Карташева действовала на женщин и даже мужчин необыкновенной начитанностью. Знавшие ее уверяют, что старица в догматах веры была до того убедительна, что возражать ей было трудно, а спорить невозможно. Такими убеждениями и личным примером строгой, безукоризненной жизни Карташева успела подействовать на многих из сумлянок, каковых, немедленно же по изъявлении ими согласия, перекрещивала (она была филипповского толка, не признающего других расколов и называющего своих адептов *христианами* и *староверами*, а всех православных — *никоновцами, никовшиной, щепотниками*). Карташева умерла на шестидесятом году в Пертозере, завещавши дело своей родной дочери Анфисе. Эта сумела так же твердо и при той же всеобщей любви народа идти по стопам матери. Доказательством тому, насколько Анфиса возобладала народным доверием, может служить ответ одного из раскольников сумскому священнику:

— Що тобе, бацько, со мной толковать: я целовек темный, ницего не знаю. Спрашивай матушку Анфису, она про ефто знает

и тобе скажет. Куды хошь со мной, хошь в турму сади, а уж от веры матушки Анфисы я не отопрусь.

В том же крепком убеждении, что «что *котора вера гонима, та и права*», стоят до сих пор и сумские раскольники, как и все другие на всем пространстве русского царства.

В 1849 году раскольничий Пертозерский скит был уничтожен, обитатели его выселены на места прежнего их жительства, скиты срыты и сровнены с землей, но дело Анфисы и ее матери до сих еще пор продолжается (женщины придерживаются старой веры почти все без исключения, а мужчины почти на $^1/_3$ всего посадского населения). Зимой, при проезде крестьян Олонецкой губернии и других мест мимо Сумского острога в деревню Шижню и Сороку за сельдями и сухой треской, старообрядцы стараются внушать им в вечерних беседах, на ночлеге, истины исповедуемых ими догматов. Домохозяин, если грамотен, и особенно *по вере* (т. е. старообрядец), старается заводить разговор о вере, а во время ужина или обеда прочесть им что-либо из старинных книг. Книги эти они тщательно прячут от опасного глаза, и в таком количестве, как бы и в каком-либо раскольничьем ските.

Все остальные сведения, сообщенные мне в посаде Суме: что и здесь точно так же строят крупные морские суда; что отсюда, наравне с кемскими, ходили когда-то на Шпицберген; ходят, изредка, на Новую Землю; что лет 40 залегал туда путь и что первым возобновил его здешний мещанин Еремин, лет тому 30 назад. Большей частью, и почти поголовно, сумляне ходят для тресковых промыслов на Мурман; но здесь блюдется обычай давать деньги вперед за весь покрут только сильно нуждающемуся работнику, а залишек вследствие удачных промыслов уже после, зимой. Тот год (1856) был гибелен для мурманских промышленников по сильному развитию там цинги; многие из них, заболевши, до конца промыслов возвращались домой и здесь обыкновенно поправлялись при помощи моченой морошки и деятельной жизни, при постоянном движении. Рассказывают, что во время посещения англо-французским флотом Белого моря промыслы были кинуты на берегу, а сами хозяева с деньгами пробирались уже горой, т. е. берегом, через лапландскую тундру, пешком и на оленях. Некоторые хозяева пускали на риск свои шкуны в Норвегию мимо Сосновца (станции наших недавних врагов), но старались пробираться ночью, держась поговорки: «путь-дорога честна не сном, а заботой». В старину, рассказывали старожилы, на берега моря за морскими зверями выходили жители дальней Новгородской губернии, но это уже лет 100 оставлено ими.

На Мурман сумляне выходят лет также 100 назад и больше (с Норвегией ведут торг не дальше 50 лет. Промышляют сумляне, по тем же правилам и при тех приемах и условиях, как и все другие поморы, обыкновенно в трех становищах: Гаврилове, Тириберихе и в Вайдогубе. Отправляются они туда также в начале марта, прямо на Колу. Из Сумы до Кандалакши едут на лошадях, а от Кандалакши до Колы на оленях. Весь путь совершают в две или три недели (стоит он им от 4 до 5 руб. сер.). По приходе в Колу, при первой

возможности, отправляются на шняках в становища, в готовые станы (избушки); в каждой помещается от 12 до 16 человек, а в крайнем случае и до 30. В реке Вороньей, в 3 верстах от Гаврилова становища, где в огромном числе ведется тресковая наживка (рыбки песчанка и мойва), сумляне сходятся со всеми поморами и своими земляками других становищ. С мурманских промыслов сумляне возвращаются домой, после 20-х чисел августа, заметно напитанные чванством, заметно окрепшие в силах и пополневшие, «быки быками: шея что полено, лицо разнесет словно месяц» — по выражению самих же поморов. Днем производится выгрузка судов, а поздно вечером бывает прогулка по посаду молодых парней с девками при веселых хороводных и посиделковых песнях.

Зимние занятия сумлян немногосложны: они или ходят на губы для ловли наваг (самые лучшие и крупные ловятся в нескольких верстах от посада к Кунуручью), или возят на лошадях дрова, ездят подводами от торговцев рыбой и возят проезжающих по делам службы или по делам торговли. В праздничные дни по зимам сумляне спят после обеда, *уднуют*, по старому прадедовскому обычаю, и после уднования бродят толпами по улицам и толкуют обо всем, что взбредет на ум. При этом случае — сумляне имеют привычку, не выслушав рассказа или слов одного, перекричать друг друга, и кто больше кричит, тот почитается самым толковым. У женского пола — есть общая привычка, войдя в избу, перекреститься и, помотав потом головой и кивнув хозяевам, тотчас же, не выждав приглашения, с поспешностью сесть на лавку. Этот обычай, как говорят, блюдется из давней старины.

Из остальных моих бесед с посадскими можно было узнать только то, что между сумскими бабами бывали такие, которые кормщиками хаживали на Терский берег; что они желали бы иметь маяки на зимних горах к Мезени, где места опасные, течение необыкновенно быстрое; что точно так же желали бы лучшего устройства пути на Повенец, находя в этом обстоятельстве справедливую возможность усиления торговых предприятий и легкого обогащения края и видя трудность только в устройстве горного пути, потому что спопутные озера все глубоки и способны к переправам. Теперь, как известно, мечты их осуществились: прекрасная почтовая дорога устроена. По этому пути, как уже сказано, торгующие сумляне и ближние поморы отправляли свою рыбу и отчасти сало и меха на шунгские ярмарки (с 7 по 15 января и с 25 марта по 2 апреля). За товарами сумляне предварительно ходят на малых лодьях к Терскому берегу, в реки Умбу и Варзугу и даже до Поноя. На всем этом пути они скупают осенний промысел семги и почти только один этот продукт (из покупных) везут на Шунгу, если не считать сухой трески мурманского улова. Те же сумляне и те же промыслы отправляют также и в Архангельск, и через Онегу в Каргополь (по р. Онеге на карбасах, поднимающих до 200 пудов), в 6 или 8 дней; но большей частью это отправляется зимой. Сумские лодьи, на пути в Норвегию, иные заходят в Архангельск, чтобы нагрузиться мукой, досками, веревками, смолой и другими товарами, пригодными для Норвегии. Заме-

чают, что сумляне в торговых оборотах деятельнее и опытнее прочих поморов.

«Сума не купит ума — сама продает»,— говорит местное присловье на подкрепление общего мнения соседей,— равняло их со всеми остальными лишь одно общее для всех этих жителей Белого моря прозвище «красными голенищами», за то, что обычно носят они самодельные простые сапоги — бахилы (с круглыми носками и без ранта). Их не чернят; сшитые из нерпичьей кожи, они в самом деле отшибают красноватым цветом, даже если оглядеть помора издали. Эти же самые бахилы (наз. по р. Пинеге бафилами) столь неуклюжи и некрасивы, что сами обратились в ругательное прозвище, приспособленное горожанами к деревенским жителям. Обутые в привозные из Москвы и с Вологды настоящие сапоги (с каблуком и соковой подошвой), глядя на длинные, четверти на две выше колена, бахилы поморов, горожане осмеиваются прозвищем «бахилье». За поморами существует еще нелестное прозвище «ворами», но в этом случае следует помнить, что наши присловья вообще злоупотребляют этим словом, и к тому же оно применяется скорее в старинном, чем в нынешнем смысле, и что попалось оно на язык в данном случае лишь вследствие соблазна созвучием. Конечно, находчивость и изворотливость полуголодных и бывалых поморов, не свободная при подходящих случаях от плутовства и вороватости, составляет совершенно противоположное качество простодушию доверчивых и ненаходчивых жителей захолустьев, хотя бы даже вроде приречных (конечно, исключая подвинских), и, во всяком случае, удаленных от больших дорог и частых сношений с новыми и прибылыми.

7. ОТ СУМЫ ДО ОНЕГИ

Морем, суженным множеством луд, между которыми самые большие и метко названные Медвежьи Головы, плыли мы от Сумы по направлению к следующему поморскому селению Ко́лежме. Виделись нам на протяжении пути этого на берегу и наволоках две избы, на трехверстном расстоянии одна от другой,— соляные варницы; мучительно долго и с крайней опасностью перетаскивали мы свой карбас между грудами огромных камней, словно нарочно наваленных поперек попутного морского залива. Место это, прозванное *железными воротами*, ежеминутно грозило опасностью из каждого острия огромных камней, замечательно обточенных морским волнением, и нам, и нашему карбасу, который теперь оказался окончательно утлым, ненадежным, ничтожным суденком. Кое-как, после многих криков, ругательств и почти нечеловеческих усилий, пробрались мы через узенький проход, или собственно ворота, сделанные более усилиями рук человеческих, чем течением моря. И вырвавшись на вольную воду, мы выиграли не во многом: ветер тянул как-то вяло, вода стояла малая в часы отлива. Не доезжая трех верст до селения, мы сели на мель и дожидались, пока сполнялась вода, которой поверхность мало-помалу из желтоватой до того времени становилась

все чернее и чернее. Прибылая вода успела поднять несколько карбас, но позволила ему идти опять-таки не дальше версты расстояния: мы опять сели на мель: Три часа стояли мы на прежней мели (хорошо еще, что сумские девки нашлись в это время насказать мне много песен), немногим меньше привелось бы нам стоять и на этой, дожидаясь полой воды. Наконец, после мучительного ширканья карбасом о корги узкой речонки Колежмы и особенно после утомительнейшего, неприятнейшего пешего хождения (под сильным дождем вдобавок) через две версты от карбаса, где по голым щельям, где по избитым и старым мосткам из бревешек и палок, я попал наконец в вожделенное селение Колежму.

Село это разбросано в поразительном беспорядке, и, вероятно, оттого, что первоначальные жители предпочитали близость моря удобству местоположения. Местность вплотную изрыта огромными скалами, неправильно раскиданными, отделяющими один дом от другого на заметно большие расстояния. Оба ряда домов идут по обеим сторонам речонки, на противоположной стороне которой видится церковь, мелькают флюгарки, вытянутые в прямое, колебательное положение; слышится ужасный свист ветра. Кормщик приносит немного радостей:

— Дождь перестал, а в море пыль стоит: обождать надо.

Между тем в Колежме положительно делать нечего. Промыслы колежомов сходны с сумскими: та же перекупка у сорочан сельдей, за которыми приезжают сюда зимой из Вологодской губернии; та же осенняя ловля наваг на уды (рублей на 50—60 на каждое семейство). Судов здесь не строят, на лето уходят на Мурман: все, по обыкновению, точно так же ведется и здесь, как и во всяком другом селении Поморского берега.

От скуки смотришь в окно и видишь, что перестал дождь, ливший много и долго, выглянуло солнце, но и это увидело немного хорошего: ту же порожистую речонку, те же серые дома и бабу, которая, ухвативши неловко ребенка, выскочила, словно угорелая, из избы на улицу, обежала кругом клетушки, стоящей, по обыкновению, подле реки, раз, другой и третий. Баба задевала за каждый угол, за каждым углом что-то выпевала болезненно слабым голосом, словно совершала какое-то таинство, словно творила какой-то тайный, неведомый обряд. Из лепетанья ее удается поймать только несколько бессвязных слов: «Ушли детки в богатые клетки». Ребенок все время молчит, словно спит, словно перепуган нечаянностью и крутыми порывами матери так, что не может прийти в сознание и заплакать. Мать продолжает бегать с ним кругом другой клети, стоящей рядом с первой. На зрелище это собираются мальчишки, подходит колежом, отнимает у бабы ребенка с словами:

— Дай-ко сюда мне ребенка-то?

— Ребенок не котенок! — отвечает баба, но отдает его и сама бежит на другой конец селения. Ребятишки и несколько праздных баб следуют за ней. В мою комнату входит кормщик с поразительно спокойным видом и так же хладнокровно отвечает на вопрос мой: «Что это такое делалось перед окнами?»

— А, вишь, полоумная; на ребенке бес-от зло свое вымещает — порчена... Этак-то вот дня по два дурит, а затем и ничего — опять *живет*.

Что за причина болезни в этих странах, где так мало поводов к нервным болезням? Несчастный вид полоумной женщины, поразившей сразу общим тягостным впечатлением, не выходил у меня из головы и требовал справок. Настоящих собрать не удалось, но приблизительно объяснила повитушка-старуха, которая осматривала ребенка, нашла его уродом, всплеснула руками и, разумеется, не задумалась вскрикнуть во все горло и тогда же объявить всем окружающим до самой роженицы включительно. У последней, конечно, со стыда и испуга, бросилось молоко в голову.

— Чем прегрешила, за что божье наказание?

— Ведь у тебя, кормилка, робенок-от «распетушье»: страшное дело!

Страшное дело для матери,— с косвенным отношением неудачных и несчастных родов (по суеверным приметам) ко всему селению, где это случилось, для меня стало ясным, когда объяснилось, что родилось дитя «ни мальчик ни девочка». Здесь уже этой уродливости рождения придумалось новое слово на замену общего русского названия «двуснастным, двусбринным, двуполым» и на отмену длинного нескладного и непонятного чужого слова «гермафродит», составленного по греческой мифологии. Здесь домашним способом обходятся проще и удовлетворительно. Ребенка и потом взрослого парня, сохраняющего в чертах лица и характера нежную женственность с девичьими ухватками, называют «девуля» и «раздевулье»: парень застенчив, на всякое слово краснеет, стыдится того, чего мужчинам не следует, равнодушен к девкам и с ребятами не сходится! Другая женщина его не только заткнет за пояс, но и перехвастает. Она говорит мужским грубым голосом, в ухватках кажется богатырем. Ей бы кнут в руки да на лошадь. Рукавиц с руки не снимает, любит обувать мужские сапоги и надевать мужичью шапку — это «размужичье». Таких смелых, вольных и грубых баб много в Коле, но зато там про себя делают и отличие: все-де бабы как люди, а незамужние, вышедшие из лет «залетные», как говорят в Поморье, грубеют, утрачивая женские свойства, и размужичиваются, усвоивая все мужские привычки и приемы, и даже предпочитают всегда одеваться мужчинами. В некоторых случаях — и не без основания — подозреваются и в этих женщинах «распетушья». Если и вырастет раздевулье в большого мужчину и даже женится, он все-таки останется «бабьяком», «бабеней». Точно так же размужичье до крайнего возраста на старости «мужлан и бородуля», потому что у иных и бородка обозначается, и на губах усы пробиваются с юношеских лет, чтобы так уже все знали и видели. Кстати сказать, счастливый ребенок, уродившийся со схожими поместными чертами и свойствами отца и матери, «балованное чадушко», на богатом архангельском языке называется «сумясок» — две полосы мяса, согласная и обещая много хорошего помесь двоякой природы, благодатная и удачная смесь. Вообще должно заметить, что, распоряжаясь с успехом союзами

«раз» и «со», коренная народная речь обогатилась не только красивыми словами, но и образно понятными и внушительными.

Размышление мое прервал тот кормщик, который поразил меня равнодушием к участи колежомской порченой женщины. Он оповестил:

— Карбас готов, ваше благородие. Ветру выпало много, да он нам *у нос* до Нюхчи.

Недолго собирался я в дорогу и через час был уже вне порожистой реки Колежмы, в открытом море, берега которого и здесь бросают от себя далеко в море песчаные, бугристые отпрядыши. До селения несло нас отлично, благодаря прямому попутному западу, который, однако, успел развести огромный взводень с пеной, валившей прочь от нашего большого карбаса. В $5^1/_2$ часов мы успели пробежать все 50-верстное пространство. На двух наволоках показались лошади ровно через шесть недель после того, как мне привелось видеть их в последний раз. При входе в реку Нюхчу торчит бездна кольев, из которых иные с перекладинами. Это те же семожьи заколы с неводами; на некоторых висела оставшаяся от прилива осока, другие шесты уродливо и бесцельно поднимались кверху. На одном наволоке торчали избенки: в них также живут таможенные солдаты...

Карбас наш, по причине множества порогов и крайнего мелководья речонки (село Нюхча завалилось на 8 верст внутрь земли от моря), должен был остановиться за 4 версты до селения. Версты эти привелось одолевать пешком и с такими трудностями, о которых даже нельзя было составить и гадательного представления. Все воспоминания сходятся в одном, память способна удержать только немногое: кочки по всему пути, между ними калужины — глубокие ямы с грязной водой, которые надо было обходить стороной и с крайним умением и опасностью. Ямы эти глубоки, грязь едкая и крепкая, тундряная грязь; грязь эта всюду, и грязь по колена. Если бы не высокие туземные бахилы из нерпичьей кожи, достигающие далеко выше колен, одолеть бы ее было нельзя и привелось бы просто лечь тут в изнеможении, лишенным последних сил, потерявши последнюю каплю терпения. Едва-едва не случилось этого и со мной. Помнятся темный лес, изгороди — через них надо было перелезать, чтобы опять попасть в грязь по колена; помнятся камни — об них я разбил себе нос; ручей без мосточков, черная рыхло-сырая после дождей тундра, иней по полям, засеянным ячменем, темная, хотя и звездная, ночь, узенькая тропинка во ржи, серебристый крест, чуть видный вдали из-за ржи и леса, и, наконец, плаванье к деревне в огромном карбасе, который занимал собой чуть не половину реки, наполненной камнями и мелями. Вот наконец и самая деревня в то время, когда я успел промочить себе ноги, почувствовать лихорадочное состояние во всем организме, утомиться, выбиться из всех сил. Их хватило на то только, чтобы завалиться спать, и спать долго и добросовестно крепко до следующего утра. Но последствия вчерашнего странствия по адской дороге сказывались еще три дня потом...

Следующее утро осветило передо мной толпы народа, шедшие в церковь (был праздник Успения), осветило и самую церковь

поразительно оригинальной архитектуры, выстроенную на высокой скале и тем же мастером, который строил и кольский собор. В здешней церкви четыре придела: Никольский, Богоявленский, Климента, папы римского (особенно чтимого поморами), и св. Троицы. Построена она в 1771 году, освящена в 1774. Две, бывшие прежде нее и на другом месте, сгорели. Внутренность существующей церкви довольно богата; староверов здесь заметно меньше, но все-таки существуют. В реке выстроен забор для семги с двумя маленькими вершами, которые называются здесь *рюшками*; вершина их зовется чупой; в них попадает рыбы мало, и ее больше ловят поездами осенью. По веснам заходит сюда мелкая сельдь, которую также ловят и продают в Онеге и за Онегу; берут ее и корелы и потом вялят, сушат и солят для себя. Сельдей в волости Владыченской меняют на хлеб и редко продают на деньги. Вологжане скупают и навагу мерзлою, называя ее *меньками*; наваги приходит много, а равно и *корюхи*, которая весной носит название наросной (выросшей из молодых выводков, она же и корюшка Osmerus eperlanus). Ее ловят в те же рюшки. Кроме этих промыслов, нюхотские бьют в лесах рябков (рябчиков) и прочую дичь, хотя и в малом количестве.

В 1590 году царь Федор Иванович подарил Нюхчу соловецкому монастырю; в 1764 она, вместе с другими монастырскими волостями, отошла в ведение коллегии экономии.

Здесь все те сведения, которыми можно было воспользоваться в селе Нюхче. В селе два раза в год бывают крестные ходы из селения к часовне, построенной у Святого озера и Святой горы, совершаемые, как говорит предание, в воспоминание избавления селения от *Панька*. Предания об этом Паньке и вообще о паньщине — времени набегов на поморские селения литовских людей и русских изменников — в памяти народа сливаются с преданиями о главной исторической достопамятности села Нюхчи — посещении Петром Великим, который вел отсюда две яхты по нарочно устроенной для этой цели дороге. От дороги этой, известной в народе под именем *царской* и *государевой*, до сих еще пор сохранились остатки. Та часть ее, которая ведет от села к Святой горе и Святому озеру, ежегодно поправляется и поддерживается по той причине, что здесь совершаются церковные крестные ходы в день Троицы и Покрова. Дальше на всем своем протяжении дорога эта значительно погнила и потерялась в болотинах и грудах гниющего валежника. Только, говорят, около Пулозера (в 45 верстах от Нюхчи) сохранился курган и подле него до сих пор валяется огромный дубовый кряжище-столб, стоявший, вероятно, на кургане, где сохранилась еще огромная яма.

Вот что записано в «Церковном памятнике села Нюхчи» об этом путешествии Петра Великого: «В 1702 году проходил Петр с сыном своим Алексеем и синклитом в Нюхчу с моря. Свиты его, кроме начальников, ближайших бояр, духовных особ и чиновных людей, было 4000 человек. Царь пристал из Архангельска чрез пролив океана на 13 кораблях под горой Рислуды, а на малых судах пристал к Вардегоре; корабли изволил отпустить в Архангельск. От пристани

царь шел в Нюхчу и изволил посетить село; отсюда пошел в Повенец мхами, лесами и болотами 160 верст, по которым были деланы мосты Соловецкого монастыря крестьянами. По этой дороге людьми протащены две яхты до Повенца, от которого его величество озером Онегой на судах поплыл в пределы Великого Новгорода и пришел к городу Орешку, что ныне именуется Шлиссельбург».

А вот что рассказывает о тех же событиях народное предание:

— Были на нашу сторонку многие божеские попущения и разные беды: приходили к нам грабить скот, воровать девок и маленьких ребятенков *паны*. Всякий панок, у которого были рабы свои, крестьяне бы по-нашему, волен был творить всякий разбой и грабительство. Эдакий-то один пришел и к нашему селению в старые времена. Тоже богатый был панок и силу большую имел: много народу водил за собой (а сказывал мне все это старик-дедушка, а дедушке-то другой сказывал, а этому-то другому было восемь десятков лет: тот дело это сам видел). Грабил этот панок все деревушки поблизости; надумал сотворить то же и с нашим селом и силу распределил и спать лег. Поутру проснулся, диво видит: бьют его воины всяк своего брата. Бьют они, и рубятся, и насмерть друг друга кладут: потемнились люди неведомой силой и помотались все в озеро, которое и прозвали с той поры «святым»; и гору подле тоже «святой» прозвали, затем что спасение свое тут село наше получило.

Увидел панок народу побитие и, не ведаючи причины тому, взмолился богу со слезами, и крепким покаянием, и таким обещанием: «Помилуешь меня, господи,— веру православную приму и разбойничать и убивать крещеные души вовеки не буду!» Господь устроил по его желанию: простил спокаявшегося, дал ему жизнь и силу. Пришел панок этот в село наше, от священника православного благословение и крещение принял и стал простым крестьянином: стал землю пахать, на промысла в море ездить, скоро научился с волной правиться и стал распрехорошим кормщиком,— всем, слышь, на зависть.

Вот и идет, слушай, царский указ в Архангельский город: будет-де царь скоро — приготовьтесь. Едет-де он морем, так шестнадцать человек ему *лочиев* (лоцманов) надо. Ждут царя день, ждут и другой, хотят его лик государский видеть: от дворца его не отходят ни днем, ни ночью. Смотрят, на балкон вышел кто-то. Лоцманы пали на землю, поклонение ему совершили, и лежат, и слышат: «Встаньте-де, православные,— не царь я, а генерал Щепотев. Петр Алексеевич сзади едет и скоро будет. Велел он вам свою милость сказывать: выбрать-де вам изо всех из шестнадцати самых наилучших, как сами присудите». Выбрали четырех, пришли к Щепотеву. «Выберите-де из этих самого лучшего! Он будет у царя коршиком, а все другие ему будут помогать и повиноваться». Выбрали все в один голос Антипа Панова, того самого, что под наше селение с войной приходил и святую веру приял.

Царь на это время приехал и сам и сейчас на корабль пришел, Антипа Панова за руку взял и вымолвил: «На тебя полагаюсь — не потопи». Панов пал в ноги, побожился, прослезился; поехали.

И пала им на дороге зельная буря. Царь велел всем приободриться, а Панову ладиться к берегу; а берег был подле Унских рогов, самого страшного места на всем нашем море. Ладился Панов умеючи, да отшибала волна; не скоро и дело спорилось. Царю показалось это в обиду; не вытерпел он, хотел сам править, да не пустил Панов: «Садись, царь, на свое место: *не твое это дело*; сам справлюсь!» Повернул сам руль как-то ладно, да и врезался, в самую губу врезался, ни за един камешек не задел да и царя спас. Тут царь деньги на церковь оставил, и церковь построили после (ветха она теперь стала, не служат). Стал царь спрашивать Панова, чем наградить его; пал Панов в ноги, от всего отказался: «Ничего-де не надо!» Дарил царь кафтан свой, и от того Панов отказывался. «Ну, говорит, теперь *не твое дело* — бери!» Снял с себя кафтан и всю одежду такую, что вся золотом горела, и надел на Панова, и шляпу свою надел на него; только с кафтана пуговицы срезал, затем, слышь, золотые это пуговицы срезал, что херувимы, вишь, на них были *. И взял он Панова с собой в дорогу; в Соловецкий монастырь и в Нюхчу привез и на Повенец повел за собой.

А в Нюхче нашей царь остановился под лудой Крестовой (такая невысокая, в версте от Пономаревой). У Вардегоры сделана была царская пристань для кораблей; лес теперь разнесло, остался один колодезь, да по двум каменным грудам еще можно признать это место. Они-де и песочком были прежде обсыпаны. Теперь вода все это замыла и унесла **. В нашу Нюхчу пришел царь со своим любимцем Щепотевым, погулял по ней, показал народу свои царские очи. Деревню похвалил: «Как-де не быть деревне богатой — государево село!» Жил он у нас сутки целые в том месте, где теперь стоит наша церковь, а прежде стояли две соловецкие кельи. Для царевича был припасен другой дом, крестьянский, на другой стороне, супротив царского дома. На другие сутки царь отправился по реке нашей прямой к дороге, а строили эту дорогу целый год всеми волостями соловецкими; из разных сторон народ пригнан был, несколько тысяч. Дорога эта так и покатит вдоль по реке, подле берега, верст на четырнадцать. Тут *поворот* называется, и курган был накладен с печь ростом, на самом кряжу да на бережку (и теперь его знать, хоть и стал он поменьше). Тут царь опросил: «Нет ли де да не знают ли, где бы можно водою проехать?» Сказали, что нету.

---

* По более достоверным письменным свидетельствам видно, что царь подарил кормщику свое мокрое платье, даже до рубашки, выдал 5 руб. на одежду, 25 руб. в награду и навсегда освободил от монастырских работ. О последующей судьбе Антипа Панова народное предание повествует следующее: царь Петр, подаривши Антипу свою шляпу, даровал ему вместе с ней право бесплатно пить водку везде, во всех царевых кабаках, во всех избах, где бы и кому бы ни показал он эту шляпу. Панов этим лакомым правом не замедлил воспользоваться и неустанно злоупотреблял им до такой степени, что наконец опился и умер от запоев.

** Я был на этих местах, и только по указаниям рассказчика можно с трудом различить уцелевшие признаки царской пристани. Груды камней действительно могли быть навалены руками человеческими. Все рассказываемое здесь происходило в 1702 г.

На ту пору под яхтами царскими стали подгибаться, а инде и совсем обваливаться мосты. Доложились царю, что не ловко-де ехать, никак не мочно, нудно-де очень (а ехал он на своих конях, на кораблях привел коней этих из Архангельска). Велел царь на *берлины* поставить — лесины такие сделали вроде лыж бы али наших креньев. Так и потащили царские тележки и яхты эти дальше к Пулозеру, где курган высокий знать теперь и кряжище дубовое. Пулозеро (40 верст от Нюхчи) оставил царь в стороне, вправе, и в деревню не заходил, а приехал в деревню Колосьозеро. Тут он перешел мостом через речку, а затем волоком верст тридцать шел диким таким лесом и опять же по мосту (по настилке). В лесу-то этом и доселева еще полосу, просеку такую, сажени в три в ширину, заприметишь, хоть мосты и заросли травой шибко. Из Колосьозера шел царь в деревню Вожмосову *, оттуда уж плыл по Выг-озеру и по Выгу-реке на деревню Телейкину, через речки Муром да Мягкозерскую. Оттуда опять по мосту, по болотам да по лесам, на сорок верст до Повенца-города. Гати по дороге и до сей поры в примету. Прошел он, сказывают, всю эту дорогу (160 верст) в десять дней. А затем, толкуют, Онежским озером шел да рекою Свирью в Ладожское. На озере этом он город ** взял и положил под ним, сказывают, много народу. Щепотев попрекал его за это: «Зачем-де, ты, царь, много народу положил? Лучше бы, слышь, пушку навел: и город бы взял скорее, да и народу бы де потратил меньше!»

У нас тут, по дороге-то по этой, одно место за примету, верстах в шестнадцати отсюда, зовется *гора Щепотина* — и вот почему. Щепотин этот изобидел чем-то царского коршика Антипа Панова: щипал его, слышь, все сзади; подсмеивался. В обиду, знать, показалось, что тот об руку с царем идет на Щепотином месте. Панов изобиделся. Царь успокоивал было его, мирил обоих. Панов на своем стоял: требовал закону и челобитную подал. Царь принял и решил Щепотина высечь. И высекли его подле этой горы, что сейчас зовется *Щепотиной*. Сказывают еще, что когда царь был в Соловках — оставил ящик денег с наказом открыть его и тратить деньги тогда только, когда монастырь обеднеет.

Передавая рассказ этот, я старался возможно вернее держаться подлинных слов рассказчика, нюхоцкого крестьянина Ф. Г. Поташева, происходящего по прямой линии (женской) от Панова. Подробности рассказа этого казались мне тем более интересными, что о переправе яхт и путешествии Петра Великого известно немного по коротким, отрывочным сведениям, которые можно найти у Рейнеке столько же, сколько у Пушкарева, и у последнего столько же, сколько у лучшего и добросовестнейшего монографа Архангельской губернии, Молчанова [21]. Если из рассказа этого откинуть все те места, которые подлежат еще некоторому сомнению, как, например, о наказании

---

* Деревушка эта — собственно *Важмо-салма* — лежит у проливца на юго-восточном углу Выг-озера, в 27 верстах от Пулозера. Здесь царь подарил хозяину дома, в котором останавливался, кафтан.

** Орешек, названный им потом Шлиссельбургом — Ключом-городом, и крепость Нотебург при устье Невы.

Щепотина за такую ничтожную, темную вину, то все остальное кажется достойным вероятия, сколько по простоте рассказа и несложности событий, столько же и по тому обстоятельству, что времена Петра Великого недалеки и не могли еще быть затемнены народным вымыслом и баснословием. В рассказе нюхоцкого старика может показаться баснословным только предание о Паньке, и то в подробностях. Голиков[22] же, назвавший кормщиком Петра именно этого Панова, а не соловецкого лодейного перевозчика Антипа Тимофеева (уроженца Сумского острога) *, как бы и следовало, был отчасти справедлив, тем более что он мог записывать самое свежее, самое живое предание и притом от самовидцев события (сохранилось же это предание в том виде и до настоящего времени, до 1856 года!). Устрялов, в своей «Истории Петра Великого» [23], голословно отверг это предание и не мог догадаться о том, откуда взялась у Голикова такая ошибка (см. «Историю Петра Великого», СПб., 1858, т. II, примеч. 44).

Архангельский народ мог увлечься особенною любовью к своему собрату и земляку, одаренному царскими милостями, и настолько, чтобы по созвучию имен произвести его путем баснословия от заморского князя. Это в духе народных преданий всех веков и народов. Потому-то все эти предания достойны внимательной, строгой критической проверки, а не бездоказательных опровержений. Панов ли, другой ли кто ездил с Петром в Белое море, но этот же кормщик мог провожать царя на Повенец, и все-таки есть вероятие предположить, что мог об нем царь вспомнить и взыскать своей милостью еще один раз. Правда, что народ перепутал и соединил оба события в один год, тогда как несчастный случай подле Унских рогов произошел в 1694 году, а яхты переправлялись уже в 1702 году, как сказано. Но и перепутал народ события эти опять-таки, как нам кажется, для того кормщика, в лице которого он хочет видеть один из идеалов своих мореходцев, который сумел приложить доморощенные мореходные способности ко спасению великого царя от верной гибели и в самую критическую минуту жизни.

Спасенный Петр целых три дня после того жил в ближайшем к Унским рогам Пертоминском монастыре, пел и читал в церкви, обедал с монахами, своими руками соорудил огромный деревянный крест (хранящийся теперь в Архангельском соборе), собственными руками вырезал на нем голландскими и русскими буквами слова.

Обращаемся к событиям третьего посещения Архангельского края Петром Великим, в 1702 году, за которым следовало взятие Нотебурга (древнего Орешка, теперь Шлиссельбурга) и крепости Ниеншанца, стоявшей при впадении Невы в Балтийское море.

В начале лета 1702 года (30 мая) Петр I приехал в Холмогоры. Здесь слушал литургию, пробыл $1^1/_2$ часа у архиепископа и отплыл, вместе с царевичем Алексеем, Меншиковым, многочисленной свитой

* Крестьянином Сумской веси назван он в Двинских записках и Антипом Тимофеевым в грамоте архиепископа Афанасия к соловецкому архимандриту Фирсу от 18 июля 7202 (1694).

и 4000 войска, на дощаниках в Архангельск. Пониже р. Уймы встретил его воевода Ржевский с пушечной и ружейной пальбой.

Прибывши в Архангельск, Петр приказал строить Новодвинскую крепость, 30 мая, в праздник св. Троицы, слушал литургию, совершаемую архиепископом, и сам пел с певчими. На другой день плавал на взятом (24 июня 1697 года) шведском фрегате в Вавчугу и спустил там с баженинской верфи два фрегата: «Курьер» и «Святой дух». Вернувшись в Архангельск, царь присутствовал при освящении церкви св. апостолов Петра и Павла в новопостроенной городской крепости 29 июня. Церковь украшена была знаменами и флагами и одарена от царя ризами, книгами, сосудами и проч. По выходе из церкви царю салютовали из пушек. Он, долго стоя на балконе, наслаждался звуками пальбы и радовался ей. Отправившись в собственный дворец, на Моисеевом острове, царь угощал здесь сановников обедом. Для народа выставлены были бочки с ренским и простым винами и пивом. 6 августа царь выехал в Соловки и 10 августа со всей свитой и войском был уже там.

Царь прибыл сюда на 13 судах. Царская флотилия, за противным ветром, должна была остановиться, не доходя до монастыря, между островами Анзерским и Муксалмами. Здесь до сих пор еще приметны остатки тех трех городков, или, лучше, больших куч диких камней (гурьев), которые царь приказал, придерживаясь местного обычая, навалить в память посещения этого места. 10 августа флот остановился у Заяцкого острова, возвестив монастырской братии пушечной пальбой о прибытии государя. Вскоре на небольшом боте прибыл в монастырь и сам Петр Великий, вечером, и был встречен в воротах архимандритом Фирсом, еще прежде отъезда царя извещенным чрез стольника, князя Ю. Ф. Шаховского. Архимандрита царь жаловал к руке и принял икону соловецких чудотворцев, хлеб и рыбу. Осмотревши затем монастырские стены, церкви, раку преподобных, ризницу и оружейную палату и после всего отужинав в келье архимандрита, отправился царь к ночи на корабль. На другой день он снова приехал в монастырь с царевичем Алексеем, слушал литургию, трапезовал с приближенными своими вместе с братией *, вторично посетил ризницу, оружейную и тюремные места, был также у архимандрита, но провел ночь опять на корабле. 12 и 14 августа Петр Великий снова приезжал на остров и в это время, верхом на лошади, успел с подробностью осмотреть монастырские стены, окрестности, кирпичный завод. Возвратясь, он рассматривал монастырские грамоты и тогда же приказал архимандриту Фирсу носить мантию со скрижалями (поматами), а жезл иметь с шишками и яблоками, на что в тот же день и последовал царский указ. 15 августа архимандрит, в присутствии царя, служил уже со всеми вновь дарованными преимуществами. Царь стоял на клиросе и пел с певчими. Повелевши на острове Заяцком построить церковь во имя Андрея

* За трапезой царь заметил, что никогда так приятно и сытно не ел, как здесь. «Это оттого,— отвечал архимандрит Фирс,— что наша пища и питие приготовляются с благословением и окроплением святою водою»,— как свидетельствует об этом случае автор описания Соловецкого монастыря, архимандрит Досифей.

Первозванного, царь и здесь также, около того места, где стоял его флот, приказал навалить в два ряда из булыжника гурий, едва приметный теперь.

«16 августа,— говорит архимандрит Досифей,— государь, отправив молебствие, со всеми кораблями отплыл к пристани нюхоцкого соловецкого усолья, куда, по долгу благодарности за оказанные милости *, последовал и соловецкий архимандрит Фирс с некоторыми иеромонахами из братии. Они поднесли великому путешественнику икону угодников соловецких, а во флот доставили довольно провизии, что и принято от них с живейшим чувством благодарности. Напоследок, быв угощены на адмиральском корабле, получили милостивый отпуск. Вскоре за сим великий государь, сошед с кораблей и отправив флот обратно к Архангельскому порту, благоизволил путешествовать со всем войском чрез Нюхоцкую волость по новопроложенной монастырскими крестьянами мостовой дороге к озеру Онеге, на Повенецкий погост, лесами, мхами и болотами, на расстояние 160 верст. Экипаж государев со свитой и две яхты с пушками провождены сею же дорогою монастырскими крестьянами за довольную плату. В последующее время по сему новопроложенному тракту, на содержание Соловецкого монастыря крестьян, учреждены были почтовые станции от Нюхчи к Повенцу на 120, а зимним — на 80 верст».

---

16 августа оставил я Нюхчу, но начал дальнейший свой путь под теми же неблагоприятными впечатлениями, с какими въезжал в это селение два дня тому назад. Карбас наш сел на мель у морских порогов, до которых в первый путь не могли даже доехать. Нужно было дожидать прибылую воду, но пережидать привелось ее на мошках и неисчетном множестве комаров, усыпавших берега. Солнце светило во всей своей силе; в воздухе было тепло. Оставалось припомнить все обстоятельства, весь труд, с каким пробирался наш карбас от самого селения между порогами и грудами наваленных камней, при помощи сильных рук гребцов-девок, выходивших на берег или входивших по колена в воду. Оставалось, в то же время, созерцать пастуха и коров, пасшихся на противоположном берегу речонки, и опять-таки серую избушку, которая, на этот раз, была уже не промысловая, не разволочная, а пастушья, что так замечательно редко попадается во всем Поморье, где скот гуляет без призора. Все это могло бы унести воображение далеко-далеко, в несравненно лучшие, в настоящие благодатные места и нарисовать более родные и светлые картины, если бы все эти образы, на тот раз, не разгоняло новое чувство с иными проявлениями: этот путь от Нюхчи до Унежмы был последним карбасным путем, так сильно

* Между этими милостями архимандрит Досифей упоминает о 200 пудах пороха, выданных монастырю из казенного заготовления в городе Архангельске. Монастырь тогда же препроводил к царскому двору девять живых нерьп.

утомившим и опротивевшим в течение слишком двух долгих месяцев. С Унежмы начинался иной путь и новый способ переправы, мной еще ни разу в жизни не изведанный и предполагавшийся лучшим.

Помню, когда, к неописанному моему счастью, проширкал наш карбас своей матицей — килем, для меня в последний раз, по коргам и стал на мель, я нетерпеливо бросился вперед по мелководью оставшегося до берега моря вброд. Помню, что с трудом я осилил гранитную, крутую вараку, выступавшую мне навстречу и до того времени закрывавшую от нас селение. Помню, что наконец осилил я щелья, переполз чрез все другие спопутные, перепрыгнул через все камни и скалы и, освободившись от этих препон, бежал, бегом бежал в селение. Я не замечал, не хотел замечать, что небо задернулось тучами и сыпало крупным, хотя и редким, дождем; я видел только одно — вожделенное селение Унежму — маленькое, с небольшой церковью, которая скорее часовня, чем церковь. Я ничего в этот раз не знал, что со мной будет дальше: так ли будет дурно или еще хуже. Я хотел знать и знал только одно, что меня не посадят уже в мучительный карбас и не стеснят будкой и капризами моря. Я хорошо знал и, признаюсь, как дитя, радовался тому, что привезший меня карбас пойдет отсюда назад в бесприветную Нюхчу и что, если я захочу сам, меня не повезут до Ворзогор прямым ближним путем, но путь этот опять-таки идет морем, опять-таки в карбасе. Нет, лучше возьму дальнейший, более поучительный путь и, в первый раз в жизни, попробую ехать верхом, во что бы то ни стало, чем сяду опять в докучливый карбас.

— Давай, брат, мне лошадей!

— Готовы,— отвечал староста,— вещи на тележку-одноколочку положу и сам сяду, а то тебе марко будет и неловко сидеть: грязью закидает, да и коротка таратаечка,— еле чемодан-от твой уложился.

А вот и тебе конек. Не обессудь, коли праховой такой да не ладный: сена-то ведь у нас сроду не видят.

Мы ехали дальше. Я мчал во всю прыть, насколько позволяли делать то скудные силы клячи и чудная, ровная дорога куйпогой, т. е. по песку, гладко обмытому и укатанному, до подобия паркета, недавно отбывшей водой. Виделись лишь калужины с водой, еще не просохшей и застоявшейся в ямах. Виделся песок, несметное множество белых червей, выползавших из-под этого песку на его поверхность; кое-где кучки плавнику — щепок, наметанных грудами морем; выяснился лес, черневший по берегу, речонка, выливавшаяся из этого леса, дальние селения впереди, из которых одно было самое дальнее — Ворзогоры. Назади едва поспевала за мной одноколка с чемоданом и ящиком. Я ощутил крайнее неудобство моего седла, кажется деланного с той преимущественной целью, чтобы терзать все, что до него касается; стремена рваные, высоко поднятые и не способные опускаться ниже. Я мчал себе, мчал во всю немногую силу своей лошаденки, пугливой и в то же время, к полному счастью, послушной. Как бы то ни было, но только в четыре часа с небольшим я успел сделать на коне своем тридцать верст перегону до села *Кушереки*. Вспоминались мне уже здесь

таможенные солдаты, бродившие по улице Унежмы, бабы, ребятишки, мужики, рассказы моего ямщика о том, что здешний народ весь уходит на Мурман; что дома иногда строят они суда и даже лодьи, промышляют мелких сельдей и наваг на продольники; что попадают также сиги, что хлебом пользуются они отчасти из следующего по пути селения Нименги. Вспоминаются при этом кресты, также, по обыкновению поморских берегов, расставленные и по улицам покинутой Унежмы. Видится, как живой, один из таких крестов под навесом, утвержденным на двух столбах. Вспоминаются бабы на полях, подсекавшие траву, перевертывая коротенькую косу — *горбушу* — с одной стороны на другую. Вспоминаются почему-то и зачем-то картины, развешанные по стенам станционной квартиры: «Диоген с бочкой и Александр Македонский пред ним в шлеме»; «Крестьянин и разбойник» (басня); «К атаману алжирских разбойников представляют бежавшую пленницу»; «Жена вавилонская, Апокалипсис, глава седьмая-на-десять»; «Дмитрий Донской»; «О богаче, дающем пир, и почему оне не пришли» и проч.

Ожидают новые впечатления, требуют внимания новые серьезные данные: перед окнами расстилается новое селение — Кушерека, людное, одно из больших и красивых сел Поморского берега. Село это строит малые суда (лодьи весьма редко). За три версты до селения по унежемской дороге в трех сараях варят соль. Село имеет церковь, не так древнюю и, вместе с тем, не оригинальной архитектуры, имеет реку — Кушу, мелкую, но бочажистую (ямистую) и порожистую. Народ ходит на Мурман; обрадовавшись уходу англичан, на этот раз ушел туда почти весь. Ловится семга в заборы, в те же мережки, называемые здесь уже вершами; попадают корюха, камбала; кумжу (форель) ловят сетями; ловят также по озерам мелкую рыбу для домашнего потребления и по зимам удят наваг для продажи. Озерная рыба и здесь не в чести, ни щуки, ни меньки (налимы), ни прочая мелкая: избалованные морскими рыбами, хвастливые поморы сложили даже такую поговорку: «корельска рыба — не рыба: лонски сиги — не сиги», или с таким изменением: «корельски сиги не рыба, деревенска рожь не хлебы».

От того места, откуда с унежемской дороги виделась церковь Ворзогорского села, до этого последнего, к Онеге прямым путем, можно считать верст 20, между тем как мне придется совершать теперь до него 53 версты, не считая 9 верст крюку, который надобно сделать в сторону от почтовой дороги, до села Нименги.

Дугой вытянулся весь этот берег до Ворзогор и виден почти ясно и с лесом, и с чернеющими домами двух-трех спопутных деревушек. Выясняются впереди этого леса и этих деревушек морские пески, гладко укатанные и далеко уходящие в море; на них свободно и безбоязненно сидят крикливые чайки, внимательно, хотя и бесцельно, устремившие свои зоркие взгляды в даль шумливого, вечно плещущегося моря. Искал я и здесь старинных бумаг и не нашел, как не нашел их в Унежме, как не нашел и в следующем за Кушерекой селении – Малошуйке.

От Кушереки до Малошуйки считают, почтовым трактом,

15 верст. Дорога идет сначала горой, потом спускается в ложбину, как будто в овраг какой-то. Подкова лошади не звенит о придорожный гранит и не врезывается в рыхлую тундру или летучий песок. Влево видится узкая полоса моря, как говорят, на 8 верст отошедшего в сторону. Еще некоторое время чернеет Кушерека своими строениями, отливает крест ее церкви — и все это пропадает по мере того, как мы спускались в ложбину. Тут шумит бойкая, по обыкновению, говорливая речка; через речку перекинут мост, наполовину расшатавшийся и наполовину погнивший. Пришли на память в эту пору предостережения кушерецкого ямщика, который подвел ко мне лошадь с таким оговором:

— Конек маленький, а не обидит тебя: нарочно такого про твою милость выбрал.

Оставалось, конечно, поблагодарить, что я и сделал.

— Только ты под устцы его не дергай — на дыбы становится, сбрасывает. Не щекоти опять же — задом брыкает. Не хлещи — замотает головой — замотает, не усидишь, хоть какой будь привышный. По весне-то его гад (змея) укусил *.

— Так ты бы попользовал его.

— Попользовал: травы парили.

— Какие же?

— Голубенькие такие бывают цветочки...

— Словно бы колокольчики! — добавил другой мужик.

— А ты бы, Никифорушко, канфарой примочил,— вступился третий.

— А ладно,— отвечал Никифорушко,— есть канфара-то; разносчики, вишь, у нас в деревне-то живут: есть, чай, у них. Ладно, ну!

Лошадка, вопреки предостережениям, оказалась бойкой, не брыкливой и не тряской, так что я успел даже приладиться ехать на ней вскачь, особенно после того, как дорога из ложбины потянулась в гору. Тянулась дорога эта по косогорью, кажется, две-три версты. Скакал мой конек, для которого достаточно было одного только взвизга, легкого удара поводьем, и вынес меня на гребень горы, на котором только что могла уместиться одна дорога, так узок и обрывист был этот гребень. Узеньким, хотя и замечательно гладким рубежком шла по этому гребню почтовая тропа, достаточная, впрочем, для того, чтобы пропускать верхового и потом одноколку, также с верховым. Одноколка, с трудом поспевая за мной, плелась себе вперед, не задевая ни за придорожные пни, ни за сучья.

Мы продолжали, между тем, подниматься все выше и выше. Казалось, и конца не будет этой горе и этому гребню, и уведут они нас высоко-высоко, и покажут дальнее море, ржавое болото и т. п. Но вот впереди нас, на спопутном холмике, показался крест под навесом, рядом с ним другой. Гора здесь как будто надломилась и пошла вперед отлого вниз, заметно некруто, какими-то террасами,

---

* Змей на всем западном берегу Белого моря очень много, но зато лягушек нигде не видно, в особенности севернее Кеми.

приступками. Но ехать дальше было невозможно. Я, как прикованный, остановился на одном месте, и, по-видимому, самом высоком месте горы и дороги,— на половине станции, как предупреждал ямщик раньше. Ямщик говорил еще что-то и долго, и много, но я уже не слушал его: я был всецело охвачен чарующей прелестью всего, что лежало теперь перед глазами.

Высокие березы и сосны, не дряблые, но ветвистые, с бойкой крупной зеленью, провожавшие нас на гору, здесь раздвинулись, несколько поредели, и как будто именно для того, чтобы во всей прелести и цельности открыть чудные окрестные картины. Пусть отвечают они сами за себя, очаровывая отвыкшие от подобных картин глаза, забывшие об них на однообразии прежних поморских видов.

Влево от дороги, по всему отклону горы, рассыпалась густая березовая роща, оживлявшая тяжелый, густой цвет хвойных деревьев, приметных только при внимательном осмотре. Роща эта сплошной, непроглядной стеной обступила зеркальное озеро, темное от густой тени, наброшенной на него, темное оттого, что ушло оно далеко вниз, разлилося под самой горой, полное и рыбы, и картинной прелести, гладкое, не возмущаемое, кажется, ни одной волной. Солнце, разливавшее всюду кругом богатый свет, не проникало туда ни одним лучом, не нарушало царствовавшего там мрака. Мрак этот сливался с тенью берега, густой прибрежной рощи и расстилался по всему протяжению рощи, поднимавшейся на берег озера, также в гору. Видно было, как постепенно склонялась она на дальнейшем протяжении, редела заметно, переходила в кустарник, пропадала в этом кустарнике. Пропадал и этот кустарник в сопутном песке. Песок тянулся немного; на него уже плескалось, набегало волнами своими море, у самого почти горизонта, далеко-далеко.

Узкой полосой, черной и также зеркальной, виделось это море. Словно озеро, тянулось оно дальше вправо и влево на неоглядную даль, которую уже не мог проникнуть самый зоркий глаз. Ничего не видать было на этой дали, кроме песку и моря, ничего не слыхать было оттуда: далеко отошла вся эта картина в сторону, так чудно завершаемая у подножия горы нашей тенистой рощей и зеркальным, темным озером. Направо по горе тянулся тот же густой, беспросветный лес, и уже недолго: на наших же глазах быстро обрывался этот лес и не переходил уже в кустарник, а прямо в топкое, ржавое болото.

Бесприютная, мертвенная краснота этого болота, богатого морошкой, кочками, больно била в глаза, как нечто противоречащее со всем виденным прежде. Как разбитые стекла, как светлые пятна, отсвечивали и искрились на солнце и играли бойкими отблесками эти ямы болота, которые по местам разбросались по нем бесцельно и бесприветно, и снова мертвенная ржавчина убивала всякую жизнь, всякое случайное поползновение к этой жизни. Я оторвал глаза от этой смерти направо; я не хотел сравнивать ее с жизнью, изобилием, царствовавшим в той же роще, в озере, наконец, в том же дальнем море. Я уже боялся встретиться с безжизненностью болота в другой раз, переносил взор на дорогу и здесь встречал смелую,

не теснимую ничем, свободную жизнь: кружились мириады пестрых, разноцветных бабочек, словно не боялись они, что попали как будто не в свое место, что не дальше как за версту расстилалось бесконечное, тысячеверстное корельское болото.

Здесь так же, как и везде по всему беломорскому побережью, берега обнажены и северные ветры истребляют всякую растительность. Но стоит отойти немного верст — попадаются деревья. Зато лишь только высокий берег защищает почву с севера — является растительность, какой вовсе нельзя ожидать, судя по географической широте. В начале весны, когда начинает цвести черемуха — первое дерево, приветствующее своими белыми кистями наступление лета в нашем климате,—аконит в полном развитии цветов. Природа истощает последние силы свои, решительно разоряется, чтобы несколько оживить и украсить эти мертвые страны. В Петербурге аконит цветет почти к осени, на Белом море он к лету в рост человека. Между деревьями глядели голубенькие цветочки, среди них как будто запутался заблудившийся василек, отдавали своим свежим, нежным запахом анютины глазки; еще какие-то не архангельские цветы; тут же виделась отзревавшая, с пожелтелыми листьями морошка; выползал из-под гнувшейся хвои и листвы здоровый. сочный масляник, весь облитой словно маслом и, может быть, на наших же глазах проточивший свою голову на свет божий; виделись, наконец, белые грибы, красноголовые боровики, виделось много... рисовалась, одним словом, иная жизнь, царствующая только вдали, там, где у народа одна забота — поле, одно попечение — лес, и покосы, и жнива, и которой здесь как будто лишнее, не свое, не заслуженное место.

Здешний народ отвык, даже незнаком с такими местами и мог бы обойтись без них: только значение праздничного зрелища для отдыха и некоторого успокоения может иметь для них вся эта местность, от которой глаз бы не отрывал, к которой бы вернулся не один десяток раз. Столько в ней было прелести, столько в ней было чего-то, что унесло в дальние, знакомые места, обхватило самыми свежими воспоминаниями о давно покинутых местах для иной жизни, для иных обязанностей: в них уже не много поэзии и нет очарований!

— Что загляделся долго, али уж хорошо больно?

Ямщик, стоявший все время, поехал вперед; я бессознательно повиновался ему.

— Гора, вишь, здесь, самое высокое место, так и берет глаз-от далеко — оттого это. Малошуйские бабы за грибами сюда ходят: много грибов по горе-то этой живет; попадаются и белые: сушат, во щах едят по постам.

— Морошку-то больше мочат, а то и так едят,— говорил мой ямщик во все то время, когда исчезала от нас часовня; стушевались все эти чудные виды. Я еще долго не отрывался от них, несколько раз поднимался снова наверх к часовне и всякий раз встречал от ямщика наставления:

— Пора, ваше благородье, на место: стемнеет, хуже будет. Дорога за Малошуйкой самая такая неладная, что и нет ее хуже нигде. Полно, будет!

Ровная, как доска, дорога сбежала с горы, повернула в кустарник, бежала между дряблыми болотными деревьями, выбежала на берег реки, вела этим берегом, но впечатления, навеянные мне чудными нагорными видами, преследовали меня, восставая, как живые. Опять вспоминался приволжский край, и опять воспоминания эти в воображении не теряли своего места, но приходили с новой силой, с новыми подробностями. Расстилавшиеся поля, ржаные и яровые, и теперь перед глазами. Попадались бабы с серпами на плечах, подбиравшими на жниве пучки захваченных в руку колосьев.

Но вот опять болото раскинулось по дороге; по болоту пошла гать, размытая дождями, с грязными выбоинами, с погнившими и оголившими сучья бревнами. Все-таки я был счастлив, несказанно доволен, как ни разу во всех летних переездах по прибрежьям своеобразного, но утомительного Белого моря. Оно покажется мне еще раза два-три, но издали, на последнее прощанье и уже около самого Архангельска.

Село Малошуйка большое, раскиданное по двум берегам довольно широкой речонки. Встречает оно меня большими домами, деревянной, еще нестарой церковью. Оставшиеся дома жители его рассказали о том, что село это некогда, до штатов, приписано было к Кожеозерскому монастырю (существующему еще до сих пор вверх по р. Онеге); что они стреляют птиц и деньгами от продажи их оплачивают государственные повинности. Бьют и морских зверей, ловят и рыбу, но в незначительном количестве. Большей частью они по летам также выбираются на Мурман и строят суда, но немного. *Отлучаются* и в Питер для черных работ, на которые укажет случайность и личный произвол хозяев. Прежде занимались в селе Малошуйском хлебопашеством, но теперь производится это в меньших размерах, оттого-де, что земля неблагодарна, а вероятнее — оттого, что сманили богатые соседи — океан и море.

По церковному «Памятнику» видно, что церковь Сретения освящена, в 1600 году, по благословению новгородского митрополита Евфимия, а другая церковь (холодная), Николая Чудотворца, сооружена в 1700 году. Обе церкви эти существуют и в настоящее время, и обе заново обиты тесом. Жители здешние еще держатся православия, и только незадолго до моего приезда вывезены отсюда в Онегу два раскольника, явившиеся было сюда проповедовать старый закон и исповедание. Рассказывают еще, как бы в дополнение ко всем этим сведениям, что у самого почти селения есть небольшой, сажен в 50 высотой, осыпавшийся курган, который сохраняет еще новое предание о набегах паньков (литовских людей) и тяжелом времени *паньщины*. Сюда, будто бы, малошуйский народ, проведав о скором набеге неприятелей, спрятал свои богатства в трех «цренах» (котлах) в одном положено было золото, в другом серебро, в третьем медь. Црены эти покрыты были сырыми кожами, засыпаны землей, образовавшей этот холм, или «челпан» — по здешнему говору, и зачурованы крепким заговором. Никто не может взять этого клада (пробовали несколько раз, разрывали гору). Откроется клад и скажется — выйдет наружу — тогда, когда явятся сюда семь Иванов, все семь

Иванычей, все одного отца дети. Узнают об этом московские купцы — придут и раскопают...

Предание об этих паньках не пропадает и дальше и еще раз встречается при имени следующего за Малошуйкой селения Ворзогор, которое будто бы называлось прежде *Ворогоры* и по той причине, что первое заселение этого места начато *ворами*, теми же паньками, основавшими здесь свой главный притон. Поселившись на высокой горе, паньки эти — воры — прямо из селения могли видеть все идущие по р. Онеге и по Белому морю суда, всякого едущего по нименгской и малошуйской дорогам. Предание это присовокупляет далее еще то, что ворзогорские воры грабили окрестности и потом, когда приписаны были к Нименге, селению, брошенному в сторону от почтовой дороги, на реке того же имени, занятому вываркой соли в одном црене и заселенному, как говорит то же предание, еще во времена Иоанна Грозного.

Рассказывают также, что в Малошуйке живал некогда богатырь Ауров, который-де, что сено косил, побивал дубиной нападавших на селение паньков с бердышами, которые были-де как грабли по форме своей и внешнему виду.

За Нименгой в болотах (рассказывали другие), лет тому восемьдесять назад, семь беглых образовали было селение, относительно людное и большое. Один случай, причиной которого было поползновение к свальному греху одного из поселенцев,— и именно убийство за то виновного пешней впотьмах в сенях — уничтожил дело поселенцев в самом начале. По случаю убийства этого наехал суд и разогнал всех поселенцев; теперь уже нет селения, а обитатели его спокойно перебрались в соседние, оженились там и незаметно пропали в массе защищенных законом обитателей.

В Малошуйке свадьба: крестный отец — по старинному новгородскому обычаю, которому следовала, может быть, и Марфа Посадница, выходя замуж за Исака Борецкого,— крестный отец (или брюдга, т. е. крестная мать) сходил сватом, вызвал невестина отца в сени (непременно в сени), сговорился с ним, услав весть о намерении в невестину избу. Разнесли эту весть бабы по деревне.

— Находит на дело! — защебетала и невестина, и женихова бабья родня.

Надо ладить жениховой родне подарки: будущему свекру — ситцевую рубаху, холщовые порты, будущей свекрови — штоф на сороку, которую сладит она в виде копыта и положит в сундук, если заразилась от молодых девок городской модой. Ей же припасает невеста красной холстины на сорочку (которую по Белому морю рубахой не называют). Золовкам пойдет штофное очелье к девичьей повязке; деверьям — по ситцевой рубахе да вместо стариковых портов по ивановскому платку с цветочками либо с городочками. Женихов отец или сам жених дают невестину отцу деньги «на подъем», т. е. на вино.

Если злые люди свадьбы не расхинят (не расстроят), если не уверят в том, что невеста «кросен расставить не толкует» (т. е. не

умеет ничего делать),— быть представлению сложному и многотрудному.

Зажегши свечу и помолившись иконам, начинают пить малое рукобитье; дело кончено, по рукам ударено и малое рукобитье выпито. Теперь за «большим» стоит дело. Ходит невестин отец по знакомым, всякого просит — молитствуется: «Господи Иисусе Христе, сыне божий! Иван Михайлыч, загостил ко мне хлеба-соли кушать, на винну чарку». Невеста с девушками идут в свою беседу, которая называется «заплачкой». Она прощается поочередно с каждой подругой. Жених посылает двух парней с угощениями. С ними приходит и невестина крестная мать, с «почёлком», или повязкой с двумя рогами, вышитой на серебре кемским жемчугом, которую и надевают на невесту. Теперь, само собой разумеется, надо плакать. Невеста плачет и вычитывает — стиховодничает, подруги подголосничают, помогают стихи водить — такие:

Не во саду-то я, бедная, обсиделасе,
Не на сад-то я, бедна, огляделасе,
Не на травку-муравку зеленую,
Не на всяки цветочки лазоревы.
Не вода надо мной разливается,
Не огонь надо мной разгорается:
Разгорается мое зяблое сердце ретивое,
Разливаются мои горькия слезы горячия
По блеклому лицу — не румяному.
Что за чудо — за диво великое,
Прежде этыя поры — прежде времени
Сидела я, глупа косата голубушка,
В собранной своей тихой беседы смиренныя,
Не бывала крестовая ласкова матушка
Со хорошей-то моей дорогой воли вольныя.

Уж послушайте, милые подружки любовныя,
Не расплетайте моей русой косы красовитыя,
Два вострого ножа, два булатного,
Обрежьте свои белыя опальныя рученьки,—

поет невеста так потому, что в это время расплетают ей косу торопливо и скоро,— скоро по той причине, что та девушка, которая выплетет из кос ленту раньше, берет себе эту ленту *. Окончание песни обязывает невесту на новый обряд. Она «давает добров», т. е. при каждом стихе ударяет правым кулаком в левую ладонь и кланяется в пояс. После нескольких таких поклонов падает она в ноги тому, кому давает добров, и, поднявшись с полу, обнимает. Давая добров

* В селе Шуе сохранился еще обряд разлучения с девичьей повязкой. Невеста прикладывает ее к обеим щекам и кладет на окошко, когда плачея-подголосница девушка (которую обыкновенно сажают на стул) поет заплачку: «Брошу я за светло окошко косящето,— пусть повырастет сад — винограды зеленые, обрядится чужа дорога круглоскатна жемчужинка на сад — виноградье зеленое. Позабудем младу касатку голубушку». Впрочем, у заплачек этих конца нет; так, например, в селе же Шуе плачется невеста и о том, что матушка дернички сошила (вязаные шерстяные нарукавники),— тепло в них было рыбу ловить.

крестной матери, спрашивает (с подголосницами): «По чьему входишь повеленью ды (sic) благословленью,— со слова ли, с досаду ли ласкотников — желанных родителей, не от своего ль ума да от разума?» Ответ заключается в самой песне. Невесту накрывают платком и уводят из избы с песней:

Послушайте, мои милыя подруженьки любовныя!
Пойдемте вон со тихия беседы смиренныя:
Пришли скорые послы да незастенчивыя.

Идя по улице, поют о надежде заступы милых, ласковых братьецов: «Сполна-де пекет красное солнышко угревное, во родительском доме — теплом витом гнездышке — сидят они вкупе во собрании, весь-то род племя ближенное. Топерь слава тебе боже — господи! не бедная ды не обидная».

Если у невесты умерли братья либо на чужой стороне на петербургских лесных дворах, либо погибли на море,— невеста споет на улице добавок:

Собралися бы, сокопилися
Из славных-то петербургских городов,
Со печального синя солона моря.

Если братья умерли дома, надо прибавить так:

Со окат со горы со Микольския *.

Между тем кончилась улица, пришли к лестнице. На лестницу эту вызывают родную мать для встречи, без матери «не несут ножки резвые во часту во ступенчату лисвенку, как севодня до по-севоднешнему». Когда выйдет мать со тонким-то звучным со голосом, со умильной-то со горазной со причетью,— стихи поют ей «спасибо».

Приходят в сени,— опять заплачка:

Становись, моя поневольная млада головушка,
Середь новых-то сеней переных.

В сенях снимают с головы плат с новой заплачкой:

Теперь скину свои очи ясныя,
Оведу кругом новы сени переныя,—
На которой стены ограды белокаменныя
Стоят чудные Спасы многомилостивыя.

И молитва:

Помолиться было сизой косатой голубушке
Богу Спасу, пресвятой богородице,—
Придучись со пути — со дорожки широкия.

Затем невеста здоровается с сенями (конечно, стихами же):

Вы здорово, новы сени переныя,
Кругом светлыя окошка косесчатыя,
Кругом белыя брусовыя лавочки.

* На Никольской горе находится кладбище.

Потом зовет она подруг в дом, приговаривает к дому и себе, садясь на лавку в песьнем (печном) углу; потом опять стиховная молитва ко господу и пресвятой богородице и Николе Угоднику:

Свет сударь Микола многомилосливой!
Попусти тонкой молодой незвучен голос.
Случилось слыхать сизой косатой голубушке
От чужих-то от младых от ясных от соколов,
Через три губы синя солона моря
Есть мощи-ты среди синя солона моря.
На зеленом-то высоком на острове
Стоит божья церковь преосвященная.
Благословите же, соловецкие преподобные чудотворцы
многомилосливые,
Попустить тонкий молодой незвучен голос
По родительскому теплому витому гнездышку.

Попускает невеста звучен голос к родителям, как бы опомнившись, что забыла спросить и благословиться у них: «Чей дом, того воля вольная волюшка». Затем плач о своей воле: «Прости, вольная волюшка! Оставайтеся, все шуточки-глумочки, у родителей в дому. Прошла теперь волюшка у красных солнушков. Пошла я, повыступила во женско печально житье подначально. Не своя теперь воля-волюшка: день пройдет даваючи, другой слова дожидаючись; третий похоячись (т. е. наряжаючись): вот и вся неделька семиденная прошла-прокатилася. Приношу благодареньице, что дрочили (ласкали) да нежили, крутили (наряжали) да ладили». Вставши с лавки из печного угла, она идет давать отцу «здоров». «Здоров» этот подлиннее всех и поскладнее:

Расшанитесь-ко, народ, люди добрые,
Чужи белые хороши лебедочки,—
Дайте несомножечко пути-дорожки широкия
Со одну дубовую мостовиночку:
Пройти-проплыть сизой косатой голубушке
На родительский дом, тепло витое гнездушко,
Перед белые столы перед дубовые.
Могу ли усмотреть, дитя бедное,
Сквозь туман горьки слезы горячия,—
На которой белой брусовой на лавочке
Пекет красное солнце угревное,
Сидят мои желанные сердечны родители
. . . .
Пропивают меня, сизу косату голубушку,
Во злодейку неволю великую.
Послушай-ко, желанный родитель-батюшко,
За каку вину-опалу великую
Отдал да обневолил во злодейку неволюшку?
Разве не трудница была, не работница,
Не верная слуга все изменная:—
Изменяла ль тебе, красное солнце угревное,
У всякого зелья — работы тяжелые?
Не берея была красным наливным ягодкам,
Не ловея была свежия рыбы трепущия?
Разве укорять тебя стала, упрекать
При толпах тебя — при артелях великиих,
При славных царевых при кабаках?

Лучше найми меня в казачихи-нахлебницы,
Возьми собину счетную — золотую казну,—
Заплати-ко чужим ясным-то соколам
За проторы-убытки великие,
За довольное хмельно зелено вино.

Старик в начале песни сидит задумчивый, и так как стихи водятся самым заунывным голосом, то и нет того отца, у которого не растопила бы эта заплачка сердце и который бы не рыдал на всю избу. Плач становится общим. Невеста, которой уже надорвали нервы до того времени, плачет исподтишка. Кланяясь в ноги, она с трудом поднимется, обоймет отцову шею да и скатится головой на плечо. Редкая из невест допевает стихи благодарственные сначала отцу, потом матери, братьям и всем семейным по тому же порядку, в каком пишут письма родным с чужой стороны. Благодарят за невесту подруги ее и за то, что давали много вольной воли, дозволяли «ходить-гулять по гульбам-прохладам, по тихим полуночным вечеринкам; наделяли покрутой-покрасой великой, что дивовался народ — люди добрые, завидовали милые подружки-лебедушки».

Когда выберутся из избы гости, невеста одевает девушек — одну барином, другую барыней. Барина в синий кафтан,— барыню в хорошую шубейку и платок. Эти двое идут к жениху с песнями и отдают ему честь поклоном от невесты. Посланных сажают за стол и потчуют вином или водкой. Редкая из них не выпьет при этом двух-трех рюмок, стараясь вернуться к невесте пошатываясь, как бы пьяными. По дворам проказят: у холостых ребят опрокидывают на дворах костры дров, загораживают дорогу в ворота дровнями, санями и прочим, что попадет под руку. Выбирают, разумеется, те дворы, где понужнее и поприятнее. Чаще же всего затаскивают дровни на реку и запихивают в прорубь.

Возвратившись к невесте, начинают гулять: заунывные песни сменяют на веселые. Захватившись в круг руками, вертятся, притопывают и поют такую песню:

Бражка ты, бражка моя,
Да и-и-их-и!
Дорога бражка поссучена была,
На ручью-то бражка ссученая,
На полатях рассоложенная.
Да на эту бражку нету питухов,
Нет удалых добрых молодцев.
Я после мужа в честном пиру была,
Со боярами состольничала.
Супротиву холостова сидела,
Супротиву на скамеечке.
Уж я пьяна, я не пьяная была,
Я кокошничек в руках несла,
Подзатыльничек под поясом.

И пошла крутить гульба до упаду. Некоторые девушки остаются ночевать у невесты.

Утром приходят от жениха дружки — два холостые парня — будить невесту, которую подруги стараются спрятать как можно

дальше *. Прячутся и сами под одеяла, шубы, солому, кафтаны, укрывая лицо для того, чтобы дружки дольше не могли признать, где спит невеста. К этой путанице дружкам не один раз доведется понапрасну прочесть молитву и поднять с постели не ту, которую следует. Того, кто показал невесту, дружки благодарят калачами **. Будят невесту такой молитвой: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, княгиня первобрачна (имярек), встань-убудись, от крепкого сна прохватись: белый свет спорыдаитсе, заря размыкаетсе; на улице собаки лают, ребята играют, по боярским домам соловьи свищут, по крестьянским домам петухи поют, печи топятся». Скинув одеяло, невеста начинает стиховодничать. В стихах выражает сетование, что вот будила родная матушка, а сегодня убужают чужи молодые ясны соколы. У всех были перины пуховые, тепло одеяло соболиное,— у ней, у невесты, вместо перины три ряда серых валючих камушков, одеялом была белая льдина холодная. Во сне она видела, что под светлым окошком косесчатым стоит тихое приглубое озеро; в нем плавают серые водоплавные утушки; у них подобрано легкое крылье утиное; у одной этой крылушко распущено. Эти утушки — подружки любовные; у них зачесаны младые буйны головы. Только у ней одной распущены тонкие вольные волосы.

А потому зовут мать чесать голову, просят найти ее хороший частозубчатый гребешок, вплести семишелковые ленточки. Когда мать вычешет голову, получает песенную благодарность с сожалением, что не заплела косы и не вплела в нее ленточек.

Посылает невеста сестру за водой на реку обмыть горьки слезы горячие, намыть радости — веселья великого, но с наказом: первую струю пропустить вниз по славной Дунай-реке и другую туда же, а из третьей струи зачерпнуть водицы ключевыя. Первой струей умывается разлучница злодейка неволя; другой чужи-дальни не сердечные, а богоданные (жениховые) родители. С третьей струи у частой ступенчатой лесенки надо поплеснуть воды студеныя: пусть вырастет чаща-роща непроходимая, чтобы нельзя было ни пройти, ни проехати разлучникам злодеям великиим.

После этого стиха невеста умывается водой, а подруги пекут блины, которыми угощают дружек, и подшучивают: всей оравой стянут с ног сапоги, нальют в них воды или накладут снегу или куда-нибудь запрячут. За сапоги берут выкуп калачами. Сама невеста

* Архангельские дружки замечательны тем, что в числе своих атрибутов они снабжаются колокольчиками. Их они не выпускают из рук и, куда бы ни пошли, равномерно побрякивают. Этих дружек не следует смешивать с «дружком» (он же и «вежливый клетник, знахич»,— у корелов «подвашка»), который есть не кто иной, как знахарь, охранитель свадеб от лихой порчи. Перед свадьбой он осмотрит все углы и пороги, пересчитает камни в печах, положит на пороге замок, подует на скатерть брачного стола, пошепчет над одеждой молодых и конской сбруей, даст к шейному кресту подвески, «испортят злые люди и от чирьев не отвяжешься». Этот руководитель, оставшийся в наследство от старинной Новгородчины, объясняет нам, почему в былинах Древней Руси скоморохи, занимавшиеся также знахарством, величаются людьми «вежливыми и очесливыми», как в песне о новгородском госте Терентьище.

** Беломорские калачи, глухие кулебячки, вроде московских сгибней с солеными сельдями, из ржаного и пшеничного теста.

пришьет дружкам на плечи по ленте: большому на правое, малому на левое; дает каждому по белой опояске. Затем молится богу, предварительно попросив стиховным плачем зажечь свечу у иконы: «Помолиться было богу Спасу, пресвятой богородице за царя государя великого, за матушку царицу государыню. Им дай, господи, здравия-здоровья, долгого веку протяжного; жить после меня, с маленькими середечными детушками, со всей силой-армией. Теперь помолиться за ласкотнова родителя-батюшку, за мать, за братьев, сестер и всех домашних; за всех подруг и за себя самое, чтобы жить во злодейке неволе великой».

По окончании молитвы — отцу «добров» тот самый, что отдан был и на рукобитье. Затем приготовляется в баненку парную мыльную, но просит отца жаловать идти впереди себя; за ним мать, подруг и всех соседей, величая по имени. По выходе из бани невесту накрывают платком: «Спасибо тебе, парная мыльная баенка, на храненьи да на береженьи. Уж раскатить бы тебя с верхнего бревешка до нижнего, да пусть моются в тебе ласкотники желанные родители: глупая моя младая буйна головушка (не надо мне желать этого)».

Затем невеста просит у отца лошадей погулять по Дунай-реке быстрой, покрасоваться во честном похвальном девочесьви, во ангельском чину — во архангельском,— проститься со славной гладкой горочкой, со хорошей новошатровой колоколенкой.

Катаются на трех лошадях в санях до полудня, пока невеста не объедет всей той родни своей, где прежде гащивала. Везде «делает добров»: кто был добр — тем стиховодничает, кто неласков был — тех вправе на этот раз выкорить при всем честном народе. Не успеет объездить все избы — останавливается и дает добров на улице. У женихова дома дружки выносят водку и потчуют ею подруг и самую невесту. К возвратившейся домой невесте приезжают гости честные: крестная мать женихова, сестры его и тетки. Невеста встречает их приветствием на улице, сажает за стол и просит мать свою расставливать столы белодубовы, развертывать скатерти бельчатые, сажать гостей милых — небывалых.

По отъезде «честных» невеста надевает на себя хорошее платье и повязки. Повязками ударяет по воздуху, хлопает (это называется «невеста красуется») и принаряжается во покруты-покрасы великие. Затем благодарит она за них отца и братьев. По окончании красованья она садится под образом, обвешанным полотенцем, шитым по концам красной бумагой. У образа горит восковая свеча. Садится невеста «за байник», т. е. за стол, накрытый скатертью с хлебомсолью. Приглашает отца и мать ко белу пшеничному байничку. Подходит отец и, помолившись богу, дарит ситцу на сарафан или на рукава (на стан), судя по состоянию. Подходят и дарят все, кто пил вино на рукобитье. Получивши подарок, невеста обнимает каждого по нескольку раз. Подарки эти, делаемые женихом и его товарищами, называются общим именем «вздарья», «приноса», «задарья» и «здарья» (много названий — значит, обычай повсеместный). Здарья от невесты жениховым родителям и родственникам выговариваются

заранее, при сватовстве. Недача считается оскорблением и может расстроить налаженную свадьбу. Бедная невеста — жених поможет. Ничего она не принесет — от свекрови невестке всегдашние покоры и нередкие гонения.

С невестой конец, теперь за женихом дело.

Благословившись у родителей, он едет с большим дружкой звать свою родню «в пояс» (на свадьбу), т. е. идти с поезжанами за невестой. По улицам едет без шапки и за большое удовольствие считает пригласить «к себе в законный брак» встречного; когда родня его, т. е. поезжане — соберутся, они пойдут впереди, за ними «тысяцкий» (который сватал невесту) с иконой в руках; наконец жених и сватьи (крестная мать и тетки). Для встречи их в сенях у невесты зажжены у святых икон восковые свечи, почему поезд и останавливается здесь для богомоленья. Стихи в избе прекращаются, и девки захватываются кругом невесты так, чтобы ей не видно было, когда зайдут гости в избу. Дружки с великим трудом заталкивают кучу девушек в задний угол и выхватывают у них невесту. Ее уводят в горницу или в подызбицу снаряжать к венцу. В это время жених уже сидит с поезжанами за столом против невестина образа. Изба полна народа: пришли смотреть жениха. Это — *смотренье*, когда едва можно повернуться в избе, к тому же наносят еще досок, настановят скамеек, чтобы всем и все было видно. Сидят «сморены» на воронцах, на печи, на полатях, наваливаются на стол, который то и дело поскрипывает. В некоторых избах в предупреждение порчи обивают печи досками, чтобы не проломали. Дружки, как ни стараются, ничего в таких делах не успевают: гости требовательны и настойчивы, желая посмотреть невесту, которую для этой цели сажают иногда за стол напоказ.

Девки поют уже свадебные песни. Особенно злобятся на свата, как и везде на всей Руси святой и стародавней:

Да тебе, свату большему
Да изменщику девочьему
(такому-то),
На ступень ступить — нога сломить,
На другой ступить — друга сломить.
На третьей голова свернуть.
Того мало свату большему
Да изменщику девочьему:
На печи спать под шубою,
Под тремя полушубками,
Под четырема тулупама,—
Да трясло б тебе повытрясло,
Да сквозь печь провалитисе,
В мясных щах оваритисе.
Того мало свату большему
Да изменщику девочьему:
С хором бы тя о́ борону
Да с горы бы тя о́ каменье
Без попа, без покаенья,
Без духовного батюшка,—
Не ходил бы, не сватался,
Стариков не обманывал

Да старух не подговаривал,
Не хвалил, не нахваливал
Чужи дальныя стороны
Да подгорския слободы.
Она горем насеяна
Да слезами поливана.

Каждый стих вдобавок поется по два раза. Песни стихают; перед столом появляется невеста в лучшем наряде, закрытая платком, с двумя своими сватьями. Поклонившись три раза поезжанам, она начинает обносить вином каждого, за что кладут ей в чарку какую-нибудь монету, либо орехи, либо пряники. Когда дойдет очередь до жениха, то он сам уже подносит невесте красной водки до трех раз (она не соглашается). После этой церемонии он подает ей на подносе покрывало (большой платок), мыло, в которое натыкано на ребро грошей, за мылом — гребень, зеркало, потом большой пряник. Встает дружка *большой* и говорит невесте:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий! Княгиня первобрачная у столов была, молодого князя видела, подарочки приняла: мыльце, гребешок, зеркальце, пряничек: мыльцем умойся, гребешком зачешись, в зеркальце посмотрись, пряничком закуси. У нашего князя (имярек) горка низенька, водка близенько, ходи хорошенько. Сяжу грезь под матицу весь, худые порядки оставляй дома у матки, а хорошие с собой забирай.

Молодой дружка выступает: подает девушкам на подносе калачи за песни. Жених дает прихожим мужикам денег на водку; эти подарок принимают за совет уходить вон из избы. В избе стало просторно.

Невесту снова накрывают платком и заводят за стол к жениху. Здесь невестин отец благословляет обоих три раза той самой иконой, которая была на стене, и передает ее тысяцкому. Все встают с лавок, молятся богу и идут к венцу в церковь. Жених ведет невесту за платок, а «рожники» (братья) под руки. Впереди идут дружки. побрякивая колокольчиками; поезжане поют песни. Подруги за невестой в церковь не ходят.

Во время венчания в трапезе раздают народу свадебные пироги. Один не делится,— и это каравай «баенник»,— за то, что с ним долго возятся: делают чистым, беспримесным ржаным, зашивают накануне девишника в скатерть с двумя пшеничными калачами, деревянной столовой чашкой, солонкой с солью и двумя не бывшими в деле ложками. Зашивают баенник в бане (оттого и прозвание), когда невеста, выпарившись, отдыхает, а распивают наутро после венца, после второй бани обоих молодых. В церкви, во время венчания, он лежит у крылоса как запоздалый, но живой свидетель давно отжившей языческой старины. После венца одевают (крутят) невесту в бабий повойник (венчалась она в повязке девичьей), и она с молодым, благословившись у священника, идет в дом жениха. В сенях встречает новобрачных свекор хлебом и солью, т. е. решетом, в которое насыпано жито (ячмень) и на него положены хлеб и соль. Решетом свекор три раза обводит вокруг наклоненных голов молодых и переда-

ет своей жене для того же. От матери берет молодой и передает молодухе, которая несет хлеб-соль в дом и кладет на стол. В избе, после обыкновенного моления, молодые с тысяцким садятся за столы. Свекор раскрывает лицо молодой и здоровается с нею *, за ним все семейные и поезжане с плеча на плечо, приговаривая: «Здорово ли под венцом стояли?» Дружки подносят по рюмке водки поезжанам, и эти уходят. Молодые ужинают одни без поезжан. Им обеденный стол после, когда отдохнут до «ружников», т. е. тех, которые привезут от отца и матери приданое: сундуки и перины, называемые общим именем «коробье». Так и было — коробки из луба, а теперь — сундуки, в которых копили и рядили «коробью» одежду: портну, разное прищеголье, платенно, придано, скруту и круту (припомним кстати, что в древних новгородских летописях крута поминается также в смысле разных необходимых в приданом женских украшений. «Крутить невесту» и сейчас значит то же, что заготовлять ей приданое).

После ужина молодые идут спать в клеть, где невеста расстегивает у жениха кафтан и снимает сапоги, в которых положено несколько серебряных монет. При этом молодой пользуется случаем выманить поцелуй, не спуская с ног сапогов. В силе ноги у жениха возможность сорвать таких поцелуев десятки. Затем молодой валится на кровать лицом к стене и не поворачивается до тех пор, пока молодая не поклонится и не проговорит вслух та́кой молитвы: «Господи Иисусе Христе, сыне божий! Такой-то (имярек), пусти ночевать».

На другой день дружки зовут родню молодого на обед, а родню молодой созывают «ружники» опять с молитвой и просьбой «загостить пожаловать, хлеба-соли кушать, молодой смотреть». За обедом, когда дружки обносят водкой, молодая каждого гостя чествует поклоном в пояс. После этой церемонии раздает дары, выраженные при сватовстве,— и опять по рюмке водки. Опорожнивший рюмку возвращает ее с деньгами по тому же порядку и закону, как и на смотренье. Затем подают кушанья и за каждым из них чествуют гостей сперва дружки, потом жених и прочие домашние, называя каждого по имени и отчеству: «Поешь-покушай, гостей почествуй».

Кончают всю свадебную церемонию «блинами». Они бывают у родителей молодой чрез несколько дней после красного стола, называемого здесь «полюбовная гостьба». На эти блины зовет свою родню сам молодой. На «блинах» порядок все тот же, лишь не бывает даров и молодая не носит чарок, но ее все-таки заставляют беспрестанно целоваться с молодым мужем. После блинов молодой выдают приданое, каковое и несут к ней на дом бывшие на свадьбе подруги.

Затем и всему делу конец да, как и везде,— «придано в сундуке, а урод на руке».

Та́ким побытом справляются свадьбы по всему беломорскому

* На реке Пиигеге, далеко от Бе́лого моря, при этом водится еще такой обычай: когда молодую закрытую приведут от венца и отец женихов станет поднимать покрывало, она не дается. Ее хлопают по лбу ковригой и сулят денег, жита, нарядов. Она все упирается. «Вот,— говорит отец,— дам тебе сына своего». Тогда уже невеста опускает фату.

берегу от города Онеги до самого города Кеми. В Кеми делают не во многом по-другому, да и в посаде Сумах также. В Сумах тоже никогда не бывает свадеб летом, потому что, как указано в своем месте, все мужчины уходят на море или на дальний Мурманский берег океана. На богатую свадьбу собирают девушек до 30-ти, иногда всех, что есть в селении, исключая, может быть, тех, которые сами не любят ходить на свадьбы. В Сумах эти девушки, в то время когда молодой ходит с молодухой с визитами по гостям, остаются у кого-нибудь у родителей и прощаются там. Там же вместо лент дружки получают от невесты полотенца, которые и повязывают через плечо, как кавалерские ленты. Там же баенников (хлеба-соли) бывает два: один женихов, другой невестин. Их зашивают в салфетку, из верхней корочки в середине вырезают кружок и в ямку кладут головку чеснока и щепоть жита и потом все это прикрывают вырезанной круглой корочкой, как примету симпатическую и стародавнюю. В Сумах сохранилась сверх прочих заплачек еще одна перед воротами родительского дома, когда невеста возвратится из церкви от молебна. Прощается невеста с рекой, с полями и лугами, со всеми соседями: «Не поминайте, окольны порядны соседушки, не помните ни злом да и ни лихом меня, младу голубушку». У некоторых суеверных невест ведется обычай против лихого духа обтыкать подол сарафана булавками (в посадах и городах) или обматываться под платьем рыболовной сеткой (в деревнях). Косу у невесты к смотринам расплетает сестра либо, когда ее нет, люба подруга. С распущенной косой ходит невеста до повойника; когда последний наденут после венца, то расчесывают волосы вновь и заплетают их на две косы непременно либо мать крестная, либо та женщина, у которой нет детей. В Шуе сохранился еще обычай у невест до венца ходить гостить по честным гостьбищам для подарков: крестные отцы дают платки и ситец на сорочки; от богатых идут деньги, от бедных просто куделя (вычесанный лен) и проч. Впрочем, те же голосования слышатся, те же обряды водятся и в удаленных от Летнего и Терского берега странах двинских, мезенских и печорских: все одна стародавняя новгородчина (см. дальше ст. «Тайбола», «Печорский князь» и др.).

Таковы видимые порядки обрядовые. Теперь о тех, которые скрыты от посторонних, произведены домашним образом, т. е. о брачном договоре, по сведениям, заимствованным из превосходного труда г-жи Александры Ефименко («Обычное право», Москва, 1884 г.) [24].

Сватья толкуют свое в интересах уполномочившей стороны,— родители, привычно слушая вполуха, главным образом ожидают существенных предложений, так как дочь в семье работница, имеющая свою нравственную и материальную цену.

Иногда сват сумеет мастерски расценить работника, желающего получить поддержку в хозяйстве в жене, и никогда не постеснится похвалить выше облака ходячего. Один краснобай похвастал таким образом о бедном и заурядном женихе:

— Хватись — чего у него нет! Хлеба старого полжитницы, четыре скотины на воду ходят, два теленка на сене, пятигодовалый бык на корму; конь тоже хороший, одиннадцать овец и деньги водятся, домик ничего,— живет (т. е. порядочный). А хоть из платья-то! Шуб белых, сукманин, кафтан у парня, рубаха дорогого кумачу, тяжелые штаны, пояс из дорогого прядева шленской шерсти, и кисти какие наведены. Не то что кисти, да и концы — те у пояса разве на два вершка... да что на два — чуть не на три вышиты золотом! Срядится, просто золотой, все бы на него глядел. Ну, да что говорить: парень ходит на сплавку, гроша не промотает, не пьяница, а осенью-то ходит в лес: у него в лесу насторожено сорок петлей да тридцать кулем — сколько он переловит зайцев! Есть ружье и собака — стреляет белку. Собака у него, говорят, хороша: я чул, у старовера Митрохи целковый давали за собаку ту. И морд плести мастер, и рыб ловить в озерах — щук. Да есть, ты сам слыхал, и т. д.

Таким художественным, мастерским образом передана рекомендация о женихе заурядном и бедном, производящем привычные и общие всем работы и притом в самых скромных размерах. Вся задача свата заключалась в том, чтобы подействовать на ум, чувства и волю родителей. Со стороны последних следуют вопросы материального характера: о свадебных расходах и подарках, даже о количестве гостей, а самое главное для обеих сторон — какая кладка, и каково приданое, и какие задатки, и каких размеров неустойки, и т. п.

Кладка деньгами дается женихом невесте на изготовление приданого, и тогда о последнем уже не бывает речи. Подарки взаимные между сговорившимися и подарки родственникам имеют силу задатков. Условия эти совершаются словесно и держатся на честном слове, но в грамотном населении архангельского Поморья существуют еще письменные договоры на бумаге — «сговорные письма», продолжение допетровских «рядных записей». В них также определяется день венчания, залог или неустойка в предотвращение попятного отказа, перечисляется приданое. Жених, принимаемый в дом, ограничивается правами по отношению к имуществу тестя, ставятся условия, обеспечивающие детей, если невеста выходит замуж «детной» вдовой, и т. д. Неустойку определяют деньгами только богатые, но залог на случай расстройки сватовства обязательно возвращается полностью и в нередких случаях даже с наддачей неустоек. Впрочем, залог отцу невесты дается лишь в местностях края, где существует приданое. Здесь и в этих случаях обычай подарков получил большое развитие, и при необходимости возвращения их происходят недоразумения, доходящие до решения волостными судами. Иски начинают в этих случаях или отцы жен, или сами они, если брак расторгается смертью мужа. Меньше требований, если умер муж, и наоборот — они бывают гораздо значительнее в пользу жениной стороны.

Заключенный брак с обрядами и юридическими условиями считается нерушимым: «женитьба есть, а разженитьбы нет»; «худой поп обвенчает — и хорошему не развенчать». Даже бывает и так

в Поморском крае, придерживающемся беспоповщины: жениха и невесту благословят родители; брачущиеся кладут друг другу руки со словами: «желаю тебя в жену», «желаю тебя в мужа моего», целуются, кладут начало перед родителями, а если их нет — перед пятью свидетелями, и затем новобрачную крутят (сменяют девичий головной убор на бабий), пируют и закрепляют союз тем же порядком навеки нерушимо. Если «расходка» (развод) совершится по обоюдному согласию сторон, то уже сюда никто не мешается; если же муж прогонит жену или она сама убежит — недовольных разбирает суд: он или восстановляет сожительство, или закрепляет своим признанием расходку.

Замечают при этом, что в более цивилизованном Поморье отношения к женщинам и женам мягкие, ласковые, основанные в некоторых случаях (например, в правах наследства при незаконном, т. е. невенчанном сожительстве) на очень тонких, гуманных правилах. На Печоре отношения к женщинам совсем другие: в Усть-Цыльме, например, самым откровенным образом рядятся о цене невесты и поступают здесь, как при всякой купле и продаже: бьют друг друга по рукам, запивают, передают, как лошадь на недоуздке, из полы в полу, и т. д. В малых семьях (каково большинство в Поморье) хотя женщине приводится работать больше, но зато и нравственная цена ее выше; она по необходимости должна сбросить с себя отупение и апатию. Зато быть снохой (а особенно при этом вдовой) в большой семье — нет более тяжелой доли для крестьянки. Из малой семьи муж почти никогда не гонит жену, так как без нее решительно не может обойтись; в большой семье родители мужа считают вправе бить невестку, не давать ей есть и даже прогонять от мужа, вон из дома. Малые семьи здесь происходят вследствие частых семейных разделов: неурожай затрудняет добывание средств к пропитанию, надо семье работать каждой на себя, и союз большой семьи распадается всего чаще весной, когда нет хлеба и, стало быть, тяжело кормить стариков и чужих детей. Труд, по причине его исключительной тяжести, поставлен здесь на замечательно высокую ступень. Мы имели уже случай убедиться (в рассказах о промыслах на Новой Земле), как заботливо обставлена целостность морской добычи. Достаточно поставить подле сложенных вещей колышек или письменную заметку, чтобы всякий понял, что они не брошены или обронены случайно, а оставлены нарочно для сохранения. Кому из проезжих приведется взять по дороге из чужого сена охапку на корм лошади, тот всегда положит в зарод деньги по цене сена. Оставленная лодка, пойманная оторвавшаяся сеть тоже неприкосновенны, как и добыча. Уважение к чужому труду доведено даже до такой тонкости, что ценится рабочее время, бесполезно потраченное по чужой вине и для других, и оплачивается виновным, как бы употребленное по найму в его пользу. Таковы дни, потраченные на отыскание украденного; за труд при перекосе травы, помятой скотом. Запахался в чужой участок, засеял чужое поле — урожай получай весь себе, но за землю заплати кортомные деньги или отдай весь урожай, но получи с обиженного семена и плату за работу. Нарубил

по ошибке дров в чужом лесу — вези их домой, так как прилагал труд, но хозяину заплати по приговору суда, и т. п.

Подобное трудовое начало применяется и в семьях к женщинам. Исключая повсеместный нерушимый закон о приданом, которое безраздельно принадлежит жене, принесшей его в дом,— собственностью последних признается также и все заработанное в доме: всякий посторонний заработок обращается в женину пользу. Если вдова жила с мужем долгое время — значит, накоплено имущество совместно и в нем она является полноправной наследницей, и не только она, законная сожительница, но и незаконная. «Сестра при братьях не вотчинница»,— выговорила старинная поговорка, но, если она работала на них, будучи вдовой, долгое время, суд отдает ей наследство. «Мы нигде не видали (говорит изучавшая эти отношения в среде крестьянской г-жа А. Ефименко) более идеально развитого уважения к трудовой собственности, чем на нашем глухом севере. Одним словом, трудовой принцип красной нитью проходит чрез все наследственные отношения крестьян, поскольку они определяются обычным правом». В крестьянских судах интересы слабой стороны, т. е. женщины, более принимаются во внимание. Крестьянский суд, руководясь своими обычными понятиями о справедливости, относится к женщине мягче, чем закон. Муж требовал от жены имущества ее — приданого платья и заработанных денег — и при этом выхвалялся, что он ее «в пол втопчет и при живности ее более никакого согласия делать не будет, кроме побоев». За все это суд волостной приговорил мужа к наказанию розгами.

В Малощуйке я сел опять верхом на лошадь, и на этот раз решительно на клячу, для которой собственное право и личный каприз были выше всего остального. Тяжело ступала она своими уродливыми ногами в липкую болотную грязь, размытую крепким осенним дождем, лившим целые сутки. Лепила эта грязь всего меня с головы до ног; к тому же дорога шла безутешными, бесприветными местностями. По сторонам тянулось как будто поле, стояло много стогов, как будто сена; торчали миллионы колышков, к которым, вероятно, также приставлены будут копенки сена, или, лучше, болотной осоки. Шумел кое-где народ, подбиравший траву коротенькими своими косами-горбушами; лаяли собаки; валялись перед теплинами ребятенки; заползали некоторые из них в наскоро плетенные шалаши. Все казалось как будто так же, как и в благодатных местах Приволжья, но только при внешнем взгляде: частности изменяли этому случайному впечатлению и не оправдывали его.

Вилась прихотливыми изгибами речка в стороне от дороги, но с совершенно голыми берегами, без ивняку, без другого леса, хотя и с теми же мертвенными водорослями; беспредельно тянулось вдаль опять ржавое, безжизненное болото. Только некоторой жизнью отдает передняя гора, по которой разостлался ячмень и выяснилось на вершине ее село Ворзогоры. Поле не безбрежно уходило вдаль,

а также, в свою очередь, охвачено было мертвенным болотом да едва ли и само, в то же время, не было болотом, хотя и со скудной, жесткой травой. Дорога все время тянулась гатью; гать пересеклась рушившимся мостом, перекинутым через речонку. Лошадь не слушалась, боялась моста, не умела ладить с выбоинами гати; хотелось ей идти по болоту стороной — зачем, для чего? Она *норовилась*, брыкала задними ногами, свалила меня в грязь раз, и другой, и третий. Я взял другую из телеги, но выгадал немногое: раскормленная болотным сеном, которое скорее раздувает, чем питает желудок, лошадь эта представляла решительное подобие бочки, неловкой, почти невозможной для сидения. Какого-нибудь седла взять было негде. Кое-как добрались мы до перевоза через р. Нименгу с грязными, расплывшимися берегами, по которым ходить человеку в дождливую погоду едва ли возможно. На перевозе стоит таможенный солдат, не здешний уроженец.

— Поломало же ваше благородье напорядках. Изволите видеть, проклятые места здесь: таких я нигде не видал, всю Хохляндию с полком произошел. Вот в Сибирь посылают, а зачем? пошли сюда — намается хуже ада кромешного. Здесь, я доложу вам, только и жить бы надо морскому зверю: смотрите, какой народ — мелкота: в гарнизу не годится. А оттого гниет народ: яшный хлеб ест, приварок какой в честь почитает. У них, вот изволите видеть, и лето, и зиму на санях ездят. Запоют они теперь песню, такую длинную, что целый день тянут и на другой день еще допевать оставят, ей-богу! Совсем, выходит по-нашему, кромешные места здешние — вот что; извините меня, ваше благородье, на таком крутом слове!

Но, как известно, летом на санях здешние жители возят только сено к стогам в полях; а такой длинной песни, чтобы тянулась целый день и на другой день оставалась, мне не мог сообщить никто из здешних. Видимо, солдат был озлоблен и скучал здесь по дальней родине, которая отошла от него далеко-далеко (солдат был из Нижнего). Случайность и житейские обстоятельства завели его сюда, в крайнюю даль России,— случайность, может быть, и возвратит его на родную сторону.

Через час я уже был в Ворзогорах, жители которого считаются лучшими судостроителями. Они строят и романовки для лесной компании, строят и лодьи для своих промыслов. Ловят также варзужане сельдей и мелкую морскую рыбу, переметами и бреднями, при тех же приемах и обычаях, как и всюду в Поморье. Село делится на два: в обоих свои церкви; в одном даже две, из которых одна новенькая, красивая с виду и богатая внутри.

Каменисто-песчаными и высокими горами шел отсюда путь в Онегу. По сторонам расстилался ячмень, наполовину в то время (23 августа) уже выжатый. Спустившись с горы, дорога пошла в лес — настоящий лес, с высокими, не всегда дряблыми деревьями, с просинью по сторонам, со сплошной лесной стеной, сквозь которую прямо, кажется, нет и проезду. Правда, что в некоторых местах лес этот идет сплошным бором и усыпан грибами и ягодами, но зато в других местах, и очень часто, стоят редко расставленные деревья,

и из-за них уже выглядывает ржавое болото. Такое же болото широко идет направо, но без всяких деревьев, словно недавно высохшее и затянутое уже зыбуном дно озера. Из лесу дорога вышла на берег моря и тянулась по той прибрежной няши, которая уже, не заливаемая морским приливом, успела покрыться какой-то красной травой, без цветов, без деревьев, и все-таки была грязь, наполовину смешанная с песком и всякой гнилью. Едва держала грязь эта ноги лошади, едва заметно выделялось на ней полотно дороги какой-то расплывшей чернетью. Чернеть эта опять ушла в лес и сопровождала дорогу этим лесом, также густым и высоким, верст на пять, на шесть вперед. После лесу дорога шла дощатыми широкими мостками поньгамского завода Онежской лесной компании. Но я не мог понять ее удобств, не мог оценить всей ее прелести, сравнительно с прежней дорогой, размытой дождями, изуродованной до последнего нельзя выбоинами и ухабами. Едва дотащился я до карбаса. Он должен был перевезти меня на другую сторону реки, в город. Едва поднялся я на отлогий городской берег и с трудом дотащился до отводной квартиры, той же самой, которая принадлежала мне до отправления в Поморье. Путешествие верхом возымело всю силу своих последствий.

— Изломало же тебя, моего батюшку, пуще всякой-то напасти да болести,— говорила мне старушка, хозяйка отводной квартиры.— Непривышное, гляжу, дело-то тебе это, непривышное! Ишь, даже ходить не можешь: тяжело, чай, что беремя тащишь, а ноги-то, поди, что свинцом налиты. Ну, да вот, ладно, постой: в баню сходишь, как рукой снимет, отойдешь...

— Словно тебя ветром шатало, словно я на диво на какое глядел на тебя, как даве с реки пробирался; насилу выдержал на старости лет — не засмеялся,— говорил мне опять старый знакомый, семидесятилетний старик, ежедневно навещавший прежде и пришедший теперь поздравить с приездом.

— Тебе смешно, старик, а мне не до шуток!

— Ну, да как не смешно? суди ты сам. Этак-то ведь редко которому выпадает. Пущай вон наши чиновники, тем это дело привышное: смотри-ко, иной как на коне-то отдирает. А ты, поди, и седелушком-то своим не запасся. Ну, да ладно — дело теперь все это прошлое, останное, с тем оно такое и будет вовеки. Сломал же ты таки путину большую; как еще живот-от твой выдержал, ведь вы все породы-то какой жидкой, словно мочальные. Жил у нас чиновник — измотался совсем по нашим дорогам, в перевод попросился; перевели, слава богу! Тем только, слышь, и поправили. А ты, на-ко поди: путину такую отляпал, что и наши привышные-то поморы такой не делают. На-ко: три тысячи верст обработал! — Поди вот ты тут с тобой и разговаривай!.. Чай, опять завтра в обратную потянешься?

— Нет, старик, поживу у вас с неделю, отдохну.

— Отдохни, кормилец, отдохни: переведи дух! Телеги-то почтовые тоже небольшая находка: обламывают же вашего брата и они...

Неделю потом оправлялся я в Онеге, в старой знакомой Онеге, все такой же: с той же одной проезжей улицей, недостроенным собо-

ром, закиданной камнями рекой, с той же, наконец, говоруньей, до бесконечности доброй, простодушной хозяйкой-старухой. Точно так же оказалось неизменным давно слыханное присловье, что «во всей Онеге нет телеги»,— неизменное до сего дня. Здесь же именно и создалось и может быть проверено воочию народное предание, что будто бы воеводу летом на санях возили по городу, пользуясь мокрыми, глинистыми и скользкими болотинами, и здесь же можно уразуметь, что некогда (и не так давно) необходимо было «на рогах» (домашних коров) онучки сушить.

Все старое, давно знакомое, забытое только на время, восставало передо мной и на всем остальном пути до города Архангельска. В Красной Горе разбитная хозяйка почтовой станции встречает приветом, по-видимому добродушным и искренним, и поражает вопросом:

— Не ты ли, баринушко, остатоцьку оставил?

— Какую, бабушка?

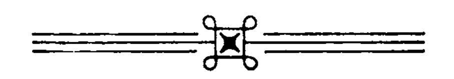
— А ложецку серебряную.

Ложечка эта оказалась действительно моей, но об ней я забыл и думать, и вспомнил и узнал ее только теперь, через три месяца.

В Сюзьме не было уже видно ни архангельских шляп, ни архангельских шляпок и зонтиков, принадлежавших, в первый мой приезд, морским купальщикам и купальщицам.

— Все уехали, давно уехали,— говорили мне здесь.— После другие приезжали, и те уехали. Видишь, ведь ты больно долго ездил, далеко забирался.

От Тобор до Рикосихи была хуже дорога, вся размытая дождями, вся грязная по ступицу колес почтовой телеги. В Рикосихе пропали уже те мириады комаров, которые, на первый проезд, слепили глаза и буквально не давали покоя и отдыха. С Двины несло уже сыростью, осенней сыростью; не слыхать было пения пташек, свободно и громко распевавших прежде. С деревьев кое-где валился лист. В залив реки Двины вели соловецкую лодью — на зимовку, как сказывали гребцы. Двина у города засыпана была разного вида и наименований судами. Сам Архангельск представлял более оживленную картину, чем тогда, как оставлял я этот город для Поморья. У городской пристани, на судах и на городском базаре толпилась едва ли не половина всего Беломорья: по крайней мере, мурманские промышленники были все тут. Начинался сентябрь месяц: шли первые числа его. Приближалось 14 число — время Маргаритинской ярмарки: стало быть, я приехал в Архангельск в самую лучшую пору его промышленной и торговой деятельности.



III

ТАЙБОЛА

Первые впечатления пути.— Кушни и кушники.— Волки.— Медведи.— Комары.

Декабрь месяц 1856 года нашел меня уже на реке Мезени, и притом в самом дальнем южном краю ее, там, где она готова перейти в другую губернию — Вологодскую. Семисотверстная Тайбола, закиданная глубокими снегами, лежала еще передо мной, рисуясь подчас в воображении, как темная ночь без просвета, со всей своей мрачной и непривлекательной обстановкой. Все советовали запастись медным и жестяным чайниками, копченой и жареной провизией, хлебом и — терпением. За первыми не стояло дело. Надо было вооружиться последним.

Зима этого года начиналась как-то вяло: по целым суткам валили крупные хлопья снега, но все это, не скрепляемое достаточно крепкими морозами, ложилось на плохо промерзшую землю рыхлой, глубокой, в рост человека, массой. Дороги не устанавливались долго. Не было бы, кажется, и пути на Печору, если бы не прошли оттуда обозы с мерзлой рыбой на ярмарку в Пинегу. Обозы эти оставили за собой узенькую дорогу с глубокими выбоинами, ухабами и широкими раскатами. Прихотливо извиваясь, прошла эта дорога по Тайболе между высокими вековыми соснами, елями и лиственницей. Этой-то дорогой приходилось ехать и мне в длинной, узенькой, только одному сидеть, кибитке, предложенной любезной предупредительностью доброго человека в Архангельске, испытавшего на себе все невзгоды дальних дорог в губернии. Как теперь слышу роковое известие, сказанное мне как-то вскользь и равнодушным тоном в селении Вожгорах, что дальше уже нет деревень вплоть до первого села на Печоре — Усть-Цыльмы.

— Тайбола пойдет тебе теперь ста на четыре верст, вплоть до самой *отдалены*,— добавляли ямщики.

— Пугает меня эта ваша Тайбола!

— А вот поезжай: увидишь — нам скажешь! — отвечал бойкий староста с насмешливым видом и тоном.

— Кибиточку-то ты ладную обрядил! — добавил он потом.

— А то что же?

— То-то, мол, хороша: легкая такая!

Он, в доказательство своих слов, откинул ее в сторону, как самые легонькие, маленькие ребячьи саночки.

— Ходка уж порато, дядя Кузьма, сама бежит! — прибавил от себя привезший меня ямщик.

— У нас ведь места здесь, надо бы тебе сказать, проклятые: коли сани с отводами, так и не проедешь,— продолжал свое ямской староста.

— Ты гляди-ко, дядя Кузьма, в нутро-то: ишь он как его олешками знатно уколотил,— тепло ему будет!

— Это ты, твоя милость, ладно надумал; а то — ишь, холода, кажись, вовсе надумали встать. Не хватили бы только тебя, паря, хивуса на дороге-то?

— Это что же еще такое: хивуса?

— Хивуса эти, вишь... по-иному бы тебе молвить: падь экая, рянда, чидега — все вместе.

— Курево — сказывай, дядя Кузьма!

— Заметель тоись,— говорил третий.

— Все вместе, все вместе: снег тебе сверху идет — одно это. Опять другое: ветер метет тебе снизу и с боков, свет закидают. Ничего тебе не видно, и ехать нельзя: лошади столбняком так и встанут, бревном ты их не спихнешь с места, не токма плетью; самое такое поганое дело!

Староста урывисто махнул рукой.

— По трунде (тундре) вон совсем засыпает... Эдак-то, слышь, ономнясь пустозеров двое ехали — порешило, замело насмерть! — прибавил старый ямщик.

— Что же вы меня пугаете? Ведь ездят же другие!

— Да, это точно, что ездят: вишь, недавно ведь этих лошадей выставлять стали здесь, а то ведь сменных у нас допрежь не было: больно же чиновники жаловались в ту пору, скучали... Садись, ваше благородие, ничего: страшен гром, да милостив бог, ничего — проедешь, чай!

Поехали. Тройка хохлатых, измученных лошаденок, сбитых десятским с разных дворов и потому не выезженных, метнулась в разные стороны, сбилась с дороги в сугроб, опрокинула кибитку на бок. Кибитка была, правда, тепла, но неудобна для того, чтобы в таком крайнем случае выбраться из нее. Наконец и это неудобство было устранено: трое мужиков поставили ее на копылья, ухватившись за один бок. Я вылез, но ушел в снег по плечи; наконец и оттуда вылез и опять сидел в кибитке по-прежнему, созерцая впереди себя длинного, как шест, ямщика, взгромоздившегося на переднюю лошадь. Он ежеминутно дергал руками и прискакивал на крестце ее. Все пошло своим чередом: лошади не метались в сторону и не могли этого делать, потому что мы въехали в лес, на лесную тропинку. Огромные лапчатые ели и сосны, засыпанные снегом, ветвями своими метались в лицо; ямщик задевал головой за сук, раскачивал ветви и подвозил меня с кибиткой под этот сук как раз в то время, когда валилась оттуда огромная охапка густого, пушистого снега. Один только, стало быть, ямщик

с передней лошадью был в барышах. Пробовали снег вытряхивать из саней — нашли бесполезным: ямщик валил на первой же версте новые охапки. Советовал я ему смотреть вперед и быть осторожным — не помогло: он всегда забывал этот совет, но если и сторонился, то, по какой-то случайности, не вовремя. Опрокинуться мы не могли: обступившие нас со всех сторон дряблые, выросшие на болоте деревья, подхватывая с одного бока, бросали на противоположный пень, там, где лесная дорога изломана была рытвинами и ухабами. Не меньше радостей приносили и новые виды, когда мы выбирались из лесу на широкую снежную поляну. Здесь не было деревьев и, стало быть, приводилось чаще опрокидываться: повалится кибитка на бок, зарывшись до половины в снег, и протащится таким образом вперед до той поры, пока не услышит форейтор-ямщик задыхающегося голоса из кибитки, вопиющего о пощаде и помощи. Соскочит он с лошади, кое-как поставит опять сани на копылья и в сотый раз удивится причине такого злоключения, промолвив:

— Со всеми, почесть, начальниками вот эдак-то!

— Да вы по-дурацки ездите: вместо облучка садитесь на переднюю лошадь. Нигде ведь так-то не ездят!

— Все так бают, да вот поди ты...

— Садись на облучок!

— Несвычно: лошади опять замотаются. Ну, ин ладно!

Чтобы угодить седоку, он и примостится, пожалуй, на облучок, но ненадолго. Лишь только успеешь немного вздремнуть и раскроешь глаза, смотришь — он снова сидит на передней лошади и по-прежнему дергает руками и прискакивает.

— Ты, ямщик, хоть бы песню запел.

Махнет он рукой, обратившись назад,— и ответ его на запрос весь тут.

Примешься от скуки версты считать, и, по крайним соображениям, по количеству употребленного на езду времени и по пространству, должно быть далеко за половину и скоро должна появиться станция, на которую обещали 25 верст. Спросишь ямщика об этом.

— Да вот озерко проедем, в лес втянемся, так тут кедры стоят. От них считаем половину-то.

— Так какие же вы двадцать пять верст кладете на станцию?

— Это точно, что неладно кладем. Да, вишь, ведь наши версты-то какие: мерила их баба клюкой.

Но и станция здешняя не находка: эта низенькая избенка-кушня, полуразвалившаяся, черная снаружи, с двумя маленькими дырами вместо окон, из которых лезет не пар, а горький дым. Я попробовал пролезть в одну кушню через низенькую дверку и закаялся: больно резали глаза вплотную наполнявшие ее дым и смрад и захватывали дыхание. В четверть часа времени с трудом можно было разглядеть все вопиющее убожество ее, всю голую, горькую бедность ее обитателя — кушника, оборванного, с загноившимися глазами, сугорбого старика, с черным, неумытым лицом,

как у кузнеца или угольщика, с крайне недовольным и каким-то плаксивым видом. Кушник и здесь не преминул попросить подаянья в одинаковом тоне и одними и теми же словами, как и все другие на дальнем протяжении Тайболы.

— Не сойдется ли что от твоей милости на бедность?

— Скучно тебе жить здесь, старик, одному, без товарищей?

— Пошто скучно, не скучно! Немощный ведь я: в миру не гожусь, нешто делать-то мне!..

— А давно ты ушел из мира?

— Давно. Почитай, порато же давно. Дальние-то кушни на лето снимают — уходят кушники-то по домам, а я круглый год живу здесь.

— И не боишься?

— Чего бояться-то?.. Нету, не боюсь...

— А лесовиков, водяных?

— Кричат же по лесу-то, а ко мне не ходят: оборонял бог. Молитвой ведь я их!.. Медведи вон по летам живут, те балуют, шибко балуют.

— Что же они с тобой делают?

— Да всяко. Об угол чешутся: расшатывают углы-то; тоже опять дверь припирают...

— Как же это?

— А хворосту да бревен натаскает к двери-то, тем и запирает. И не выйдешь.

— Ты бы оборонялся.

— Чем обороняться-то стану? Ружья у меня нет; прячусь вон на подволоку — вся моя тут и оборона. Подурит дурак, знаю: пошалит у тебя в избе-то, поломает все, да с тем и уйдет: милует бог!

— Зверков, чай, ловишь тоже?

— Это бывает: горносталев ловлю; тоже псецы (песцы) приходят, лисицы...

— Чем же ты кормишься, старик, ешь что?

— А то и ем, что с проезжих сойдет: дают тоже. Летом в наших местах больно хорошо!

— Чем же, старичок?

— Да ягод уж очень много всяких растет, ну и ешь... Промышленники, что за лесным зверем ходят, хлебушка дают; ем по праздникам!

— А не ошибаешься, в какой день праздник, в который будень?

— Бывает же и эдак, ошибаюсь!

— Кто ямщики у вас, старик?

— А земские выставляют на зиму с Мезени. Летом-то, вишь, здесь лошадями нету езды: реками плавятся, в карбасах. Есть, бают, пешие переволоки, да небольшие.

— Чья же у тебя кушня, своя?

— Нету, мирская; я, коли поломается что, от себя поправлять должон. Опять же уход за ней мой.

— Какой же уход и какая поправка?

— Правда, что нету, да и не спрашивают. Пошутил ономнясь земский начальник один, что стены-де не скоблишь; да сам же и отшутился, не пугал же больно-то: «Эдак-то де лучше, коли стена коптится: изба-де меньше гниет, а ты-де, старик, не пужайся». Такой добрый!..

Готовы, между тем, лошади, и затем новые испытания от кушни до кушни, которые похожи одна на другую, как две капли воды: с такими же бедными убитыми одиночеством кушниками, между которыми только ближе к Печоре стали попадаться зыряне, умеющие по-русски только выпросить подаяние и затем молчаливые на все расспросы. Говорили ямщики, что они и по-зырянски-то толковать разучились.

— Туги же на разговор-от стали! Приедешь это к ним на зиму, мнут они тебе, мнут язык-от свой, чешутся-чешутся, а не приберут тебе ладного слова: сам уж смекаешь. Шибко же дичают за лето, что и наши русские,— отвыкают...

— А все-таки добрые, ласковые по-прежнему?

— Добрые, больно добрые, что дети: ни они тебя обругают когда, ни на твою брань огрызнутся; порато добрые — это что гневить бога!

Ночью как-то вой волков разбудил меня и обдал всего холодным потом.

— Гони, ямщик, скорее: погибаем!

Ответа не было. Казалось, ямщик дремал себе беззаботно и так крепко, что не слыхал зловещего, леденящего душу воя. Лошади бежали труском.

— Гони лошадей: волки воют!

— А пущай их!

— Съедят, чудак, в клочья разорвут. Гони скорей, если дорога тебе жизнь! Опомнись — не спи!

— Не к нам бегут, к лесу!..

Вой усиливался, но становился заметно глуше. Слова ямщика оказались правдоподобными; боязнь не позволяла мне высунуться из кибитки и посмотреть по направлению к лесу и волчьему вою, чтобы убедиться в его показании. Я нашелся: ударил кнутом коренную, та брыкнула задними ногами и опять пошла прежней ровной побежкой, как бы согласная с мнением и убеждениями ямщика. Этот равнодушно обернулся назад и, еще при большем хладнокровии (поразительном и досадном), отнесся ко мне с таким вопросом:

— Нешто у вас они страшны, там... в Расее-то?

— В клочья рвут, до смерти рвут; голодные ведь они!

— Наши сытые, наши не рвут!..

Он опять замолчал.

— Гони же, братец, не спи: мне еще жизнь не надоела.

— Да ты не бойся! Что больно испужался? Наши волки человека опасаются, стреляем ведь: они от тебя бегут, а не ты... Оленей вот они режут: это водится за ними, за проклятыми,— и много оленя режут!..

Он опять помолчал, но не дремал.

— Оленя они потому режут, что он смирен, нет у него противу волка защиты никакой, разве что в ногах. Так, слышь, подкарауливает серый черт,— на цыпочках подкрадывается и режет. А то бы человека?! Сорок годов живу, не слыхивал, чтобы этого, никогда... Девоньку вон с братишком на трунде (тундре) комары заели — это было. Комаров у нас по летам живет несосветимое много: деться некуда.

— Знаю, сам испытал!

— Ну вот, девонька-то, вишь, за ягодами, за морошкой ходила; те и напали на нее, комары-то. Она братишку на колени взяла: его-то и отмахивала бы, так самое-то кусали.— Выбились из сил, так и изошлись. Нашли дня через два: парнишечко-то у ней на коленочках, сама она на кочке сидит,— оба мертвые.— Господи!

Ямщик глубоко вздохнул, но в прежнем показании своем был справедлив: вой волков стих мало-помалу и затих совсем, когда мы съехали со снежной поляны — оказавшейся, по словам ямщика, замерзшим и закиданным снегом озером — в лес, по обыкновению поразительный своей тишиной и мрачным видом. Выглянувшая из облаков луна позволила разглядеть, по указанию ямщика, дремавшую на придорожном сучке птицу, которая оказалась глухарем, по-здешнему — *чухарем*.

— У нас, вишь, и птица не пуглива, не токма...

— Тебе бояться нечего — ты привык. Теперь и я похрабрее буду.

— Медведей ты бойся: эти ломают, так и те теперь в берлогах спят. Летом они хрустят же по Тайболе, так мы сюда и глаз не кажем на ту пору. Бить их в наших местах — не бьют...

— Отчего же не бьют?

— А как ты его досягнешь! Тайбола-то ишь какая долгая да широкая; на низ-то она к тундре подошла, а вверх — так ей, сказывают, и конца там нет.

— Хороший, кажется, лес по ней вырос?

— Какой хороший! С виду — так пожалуй, а то нет — дряблый лес: на болотинах растет, где ему хорошим быть; пущай вон по суходольям который поднимается — ничего, живет, матерой есть. А много ли тебе суходольев? Все, гляди, мшина, да болотина, да зыбь, что человека в иных местах не держит. Озер опять насыпано по тундре-то по этой и невесть кое число; и живут крепко же большие, верст по тридцати бывают.

— И рыбы в них, чай, много?

— Где же без рыбы? Известно, много рыбы: щук, окуней, лещей. Да не ловят, разве которое озерко к кушне подошло, так кушники берут же про свое удовольствие, а то нет, чтобы...

— И птицы ведь много?

— Много, и — несветимая сила! — много!

— И ее не бьют?

— Где же всю-то перебьешь? Да и кому бить-то? Вон там, по

Мезени, кладут путики*, и много же этих путиков и у Печоры живет, да где ее всю перебьешь? Вот видел даве чухаря? сидит и глазом не двинет, словно человека-то он и не видал, словно человек-от ему и не страшен...

Послышался лай собаки, тот радостный привет, который бесконечно отраден и дорог во всех тех случаях, когда утомляешься долгим и скучным путем и ждешь не дождешься теплого угла, хотя бы, пожалуй, курного и грязного.

На лай этот отозвался и ямщик, обратясь ко мне с замечанием:

— Вон собаки наши чуткие какие: за версту слышат. С виду ты им ломаного гроша не дашь: хохлатенькая такая да маленькая; да и все тут... Ан нет!.. На охоте за птицей ли, за зверем ли — золотой человек!

— Привыкли, братец! Живут на лесу, около зверей, да с толковыми охотниками, вот и выучились!

— Оно, пожалуй, что и от этого!

Лай собаки и на этот раз не обманул нас: впереди уже чернела, как большая серая куча, кушня, до половины в снегу, вся целиком закоптевшая, с кушником у дверей, который опять-таки, по обыкновению, подошел попросить на бедность и, взявши свое, ушел в избу. Изба на этот раз оказалась хорошей: в ней можно было напиться чаю и не задохнуться от дыма.

— Отчего, старик, у тебя в кушне-то не чадно?

— Чадно же живет, как топить начнешь. Теперь, вишь, скутал (закрыл), так, надо быть, оттого.

Коротенький декабрьский день, с двумя часами света и часом бледного просвета, на утре и в сумерки, приходил к концу. Вскоре выплыла луна... Вспоминаются еще две кушни, слышались брань и крики ямщиков и робкий голос кушника, просившего на хлеб. Я просыпался и опять засыпал до новых криков на сбившуюся с дороги переднюю лошадь и требований прогонов, на водку и проч. Это была последняя, третья, ночь моего путешествия по Тайболе.

Проснувшись на рассвете, я уже видел перед собой, верстах в трех от нас, огромное, раскиданное селение с двумя церквами и перед ним большую снежную поляну. Мы спустились под гору.

— Ямщик! рекой, кажется, едем?

— Печорой.

— А впереди Усть-Цыльма?

— Она самая и есть.

Много зародилось в эту минуту мыслей в голове моей; трудно было собрать их воедино в то время. Правда, немного было между ними ласкающих и живительных. Холодом каким-то захолонуло сердце и немного отрадного виделось в этом настоящем; все же

---

* *Путики* — это одно из тех зол, которое когда-либо должно же получить свой конец. Путнк — лесная тропа, иногда больше 50—100 верст длиной, по которой расставлены силки, сетки, кулемки и другие смертоносные орудия для птиц и лесного зверя (см. дальше).

будущее казалось смутным и неизвестным. Вот, думалось мне, тот отдаленный, благословенный, сильно расхваленный всеми Печорский край, богатый, по общему мнению, всеми дарами природы, но еще не початый и не разработанный. Чем-то порадует он меня, одного из тех многих, кому предлагается он как предмет изысканий и кому знакомство с ним достается так дорого и так трудно и зимой, и летом? Будут ли и здесь так же словоохотны печорцы, как были предупредительно-искренни ко мне дальние жители дальнего Терского берега Белого моря, или так же подозрительно, недружелюбно будут смотреть на всякий спрос мой и дело, как досталось мне испытать это в другом Поморье — Кемском и Онежском?..

IV

ПЕЧОРСКИЙ КНЯЗЬ

Ехать ли на Печору? — Предупредительные слухи и советы.— Летний путь на Печору.— Рассказ М. Ф. Истомина.— Дорожный случай.— Путь по р. Цыльме.— Сведения о князе.— Замечательная личность князя Е. О. Палавандова.— Его помощь и содействие.— Его рассказы о А. А. Марлинском (Бестужеве), А. С. Пушкине и А. С. Грибоедове.— Причина появления князя на Печоре.— Тифлисский заговор.— Грузинские царевичи и Додаев.— Суд и приговор.— Добрейший лесничий.— Его отношение к печорским лесам.— Бесконечные споры устьцылемцев.— Марья Савельевна.— Усть-цылемский священник.— Услуги князя академику Кастрену и слобожанам.— Его нравственное значение и влияние.

Ехать ли дальше, на Печору? Стоит ли вновь рисковать временем и здоровьем в виду того, что работа ограничена сроком и суровая зима, видимо, обещает встречу с лютыми полярными морозами?

Эти досадные вопросы тотчас же и напросились вновь, как только раскинулась по гористому берегу вообще весьма картинной реки Мезени деревня Вожгоры. Отсюда прямо-таки и начинается зимняя дорога в эту страну, называемую у местных неученых географов Отдаленной и на самом деле представляющую собой край совершенно отделенный от прочих архангельских. Он живет самобытной жизнью, находится в зависимости от Пермского края по торговле и от камского Сарапульского края по хлебному продовольствию; с Архангельском он имеет сношения лишь на короткое время зимой,— летом почти совершенно недоступен. Десятки лет серьезно толкуют о том, чтобы отделить его в самостоятельный, независимый от Мезени уезд, оставив почему-то за Архангельской губернией.

Начинать исследования приходится, стало быть, снова и по другим приемам, с обязательными неудачами при торопливых работах, когда приходится брать не то, что хочется, а то, что дадут Христа ради, на бедность. Не очутиться бы и здесь в том же безвыходном и обидном положении непрошеного гостя, как нередко доводилось испытывать в раскольничьем Поморье. Первое же спопутное селение на Печоре, Усть-Цыльма, населено староверами, и притом точно такими же, которые не едят из чужой

чашки, в открытую спорят о правоте своей веры и в ревизских сказках из 1260 душ мужского пола записали $^1/_5$ часть (250 человек) незаконнорожденными. Въедешь каким-то оглашенным, выедешь несолоно хлебавшим. Не с той ноги коренная лошадь тронет с места или ямщик с левой стороны взберется на козлы, косой заяц перебежит дорогу — и снова покажется, что все сговорились молчать и столпились тесной стеной, чтобы заслонить самые редкостные, любопытные и поучительные виды.

Подсказывают знающие:

— Печорцы добрее, хлебосольнее, проще и откровеннее. Они даже до того простодушны, что купца Вишау, ездившего с управляющим палатой государственных имуществ Пащенкой, приняли за большого человека из самого Питера. Когда узнали и увидали, что он отлично бегает на лыжах, еще больше укрепились в своем предположении, сказавши себе и другим, что в Питере больших людей учат бегать на лыжах и ламбах. «Где купцу сделать экое дело!» При отправлении заезжих в обратную народ собрался толпами, обступил их. Один пьяный кричал всем встать на колена. Когда лошади тронулись, вся толпа побежала через Печору и сдуру кричала «ура». Долго потом не могли разуверить народ в очевидной ошибке.

Советуют тамошние:

— Непременно надо съездить, воспользовавшись случаем, когда зима сковала болота и настлала по тундрам прямые дороги во все желаемые стороны. Край — богатый дарами природы, не початыми и даже не исследованными, крайне любопытный и совершенно неизвестный. Очень редко кто его посещает иначе, как по скучным казенным поручениям и служебным обязанностям. В 1838 году приехали, 26 ноября, по просьбе самих печорцев, следователи, большие чиновники, которые на Печоре не бывали от начала мира.

Губернаторы там не бывают вовсе, и если который соберется навестить, то летом, в досужее время, ездит на Вологду и на Пермь, оттуда на г. Чердынь, делая громадную околесицу на большие сотни верст. Посещение архиерея составило эпоху и вызвало легенды, которые живы до сих пор. Незначительные и пустые, самые обыкновенные случаи приняты за события чрезвычайной важности и крупного значения. Их хорошо помнят и непременно сообщают.

Приходится выслушивать от многих целый подробный рассказ о поездке епископа холмогорского Георгия в 1831 году, отправившегося не столько по доброй охоте для обозрения запечорских приходов, сколько по предписанию синода, озабоченного в то время ревностным миссионерством среди самоедов при содействии архимандрита Сийского монастыря Вениамина Смирнова (с 1825 по 1830 год).

У одной избушки-кушни для перемены лошадей остановился преосвященный со своей свитой. Около повозки суетятся дьяконы, хлопочут певчие. Архиерей не вылезает из повозки и торопит

запрягать лошадей. Ему докладывают о проезде старушки, которая везет будущего семинариста поставить под архипастырское благословение, и привычно спрашивает:

— Умеешь ли ты петь?

— Умею, да худо.

— Ну, спой что-нибудь, хоть «Святый боже».

Мальчик молчит и заставляет повторить приказание, но снова продолжает упорно отмалчиваться, тем более что большие и малые певчие окружили печорского дикаря и пощипывают.

Георгий, видя замешательство совершенно оробевшего ребенка, милостиво и благосклонно говорит с добродушной улыбкой:

— Экий упрямец! Ужо в семинарии выучат.

Эта самая семинария, разрешая ученикам родом с Печоры отпуск на летнее вакационное время, вынуждена была доставлять его не иначе как на целые полгода, и то раз или два во все время полного курса учения. Чтобы добраться туда обычным, самым употребительным летним путем, по которому до сих пор еще таскают почту, надо истратить целый месяц и испытать целый месяц десятки препятствий и сотни приключений. Второй летний путь с нижней Мезени от села Большие Нисогоры (с устья Мезенской Пижмы, по этой реке до трехверстного волока в Пижму Печорскую и опять в Цыльму) еще хуже и затруднительнее (а потому редко посещается).

Посещение Печоры летом — подвиг; поездка туда зимой — обыкновенное дело переезда по такому тракту, на котором выставлены обывательские лошади. Нет станционных домов, где бы можно было отдохнуть, но зато есть избушки, обитаемые задичалыми зырянами и захудалыми стариками с Мезени. Можно здесь перепачкаться сажей с головы до ног, но, во всяком случае, обогреть окоченелые конечности. Для прохожих людей эти кушни снабжаются на общественный счет «бражном», т. е. съестными припасами, хлебом, солью и соленой рыбой в ведерках.

Так успокоивали и уговаривали меня, рисуя контрастом летний путь на ту же хваленую и неизвестную реку.

Говорили:

— Надо пользоваться случаем, чтобы не упрекать себя потом во всю жизнь. Послушайте-ка, как достигают до этой страны летом.

Легким способом на пинежских карбасах, которые всегда готовы к услугам на архангельской пристани, как обратные, проплываем Двиной и рекой Пинегой до того волока, который предоставил свое нарицательное имя самому городку (название города Волоком — народное, название по реке Пинеге — официальное и книжное). Собственно пинежский волок как водораздел не велик: маленькую лодчонку — долбленую однодеревку — можно купить за грош и донести на руках до быстрого небольшого ручейка, который превращается на второй день езды в настоящую реку Кулой, а на третий и последний день пути в необыкновенно широкую реку при самом устье. Стрелой мчится здесь лодка, совершенно в противоположном направлении от прямого пути на Печору

и решительно в сторону от нее,— прямо на север. В селе Долгощелье лодку надо бросить: приводится выходить в открытое море, огибать берег до устья реки Мезени и подвергаться случайностям. По Мезени полагается плавание всего тридцать пять верст до устья реки Пезы, известной всем по своему знаменитому волоку, второму на пути.

На этом водоразделе рек, текущих в Белое море, от впадающих в Печору и, стало быть, непосредственно в Ледовитый океан, действительно волокут, а не возят. Здесь народное суеверие силится несколько веков подслужиться практическим целям, хотя и бесплодно. На могилу богатыря, разбойника Туголукого, всякий проезжий и прохожий обязан бросить щепу, ветку, камень, но доселе не набросали мало-мальски сносной гати: на этом болотистом перешейке вырос лишь небольшой холмик, аршина два вышины и сажень в диаметре. Волок тянется пятнадцать — двадцать верст (по прямой линии всего семь), и из Пезы добираются до него по реке Рочуге. Сам же пезский волок осиливается при помощи лошадей с ямщиками. Наполовину едем озерами, соединенными протоками, и в одном лишь месте попадается сухой еловый бор. Весь пригорок оброс мохом и усыпан иглами хвои так, что нога скользит, как на паркете. Редко расставлены деревья, как в чищеной роще. Сидя на них, посвистывают рябчики; убил одного, другой испугался, но далеко не улетел, а сел тут же на соседнем дереве. Тетерева и пеструхи качаются прямо над головами, безбоязненно поглядывая на прохожих в том положении, которое говорит о равнодушии птицы: либо глупа она, либо глуха, а может быть, то и другое исправно. В первом случае она доказывает, насколько дика самая местность, редко посещаемая для встреч и взаимного общения людей, с их разговорами и перебранками. Во втором она оправдывает свое название, придуманное птице этой в остальной России (на всем севере, как известно, глухаря называют чухарем).

На пезском волоке лодки втаскиваем на сани, настоящие сани на полозьях. Полозья и оглобли — один кусок дерева. На конце полозьев четыре копылища, по два на каждой стороне. Наверху копылища перетянуты сучками; на связке лежат доски. Тут же подле избушки стоит и каток, или ось с двумя колесами, весьма неправильными сплошными кругами. На эти волоки (сани) больше десяти пудов не кладут. С ними волочемся мы по мокрой болотистой грязи и ослизлой траве, чтобы воочию не утрачивала буквального значения историческая поговорка, что и летом на санях воеводу возим. Раз отпряжем лошадей и плывем из одного озера в другое протоками на лодке, а в другой раз ведем лошадей по худо намеченной и едва протоптанной тропе, и тащимся так-то до речки Чирки. Здесь опять стоит и дожидается нас другая казенная избушка на курьих ножках и об одном окошке — задымленная и прокопченная насквозь кушня. Других дорог нет, и единственная обязательно должна привести сюда. Из бору дорожка вышла прямо в болото, на котором была когда-то гать, а через

ручеек мостик. Все это погнило, а с тем вместе исчезли и последние следы пути. Сбиться с него, выйдя из живой цепи опытных провожатых, и зайти за края того кольца, где еще может быть действительным и сильным человеческий голос, при помощи лесного эха,— значит заблудиться и погибнуть.

— Я ехал с бабушкой домой в Ижму,— рассказывал Михаил Федорович Истомин, много и с полным успехом поработавший с пользой для родного края, заслуживающий благодарности и ожидающий справедливо оценки, как один из видных деятелей отечественной местной печати.

— У бабушки моей, сверх необходимого барахла (всякого скарба и носильного платья), был еще ящичек, в который она наклала всякой ненужной дряни, лоскутков и тряпья. Ямщики даром нас не везут через волок: просят двадцать рублей ассигнациями, а денег у нас нет. Что тут делать? Надо хитрить. Я завел речь о пороховых заводах, сказал, что много их сгорело и порох сильно вздорожал, даже и нет его в продаже: самой казне недостает пороху. Мужики заахали, а это мне и нужно было. Дело в том, что я вез фунта три пороху. «Вот,— сказал я,— много ли тут, а я заплатил тридцать рублей, да и то едва-едва достал через людей». Мужики взмолились: «Дай нам сколько-нибудь!» Предложил его ямщикам — они и согласились везти нас. Над бабушкиным ящиком заломались. У меня с ней вышел спор. Я хочу, чтобы всю эту дрянь бросить, а бабке жалко. Тогда я взял ящик и бросил его в речку. Она рассердилась, не молвила ни слова и исчезла в лесу. Я подумал, что она пойдет через волок, и сам потянулся им следом за другими. Мы пришли к Чирке, а бабушки там нет. Решили, что она либо пошла стороной, либо заблудилась, либо с намерением не выходит из лесу, чтобы дать внуку урок. Однако ждать-пождать, а старухи все нет. Я влезал на высокие ели, смотрел кругом, кликал — не было ответа, только эхо гудело в лесу. Стемнело. Мы так и положили, что старуха заблудилась. Может, она явится утром. Не то намеревались поискать. Ямщикам надо было ехать обратно, но они остались с нами ночевать. Памятна мне была эта ночь! Холодно, сыро; как ни стараешься укутаться, сырость и ветер берут свое, а печь в избе не топлена, окна повыбиты. Я не мог сомкнуть глаз: чего-чего не передумал! Жаль было бабушки, и я горевал ужасно.

Напросился незваным покойный муж ее и дед мой, священник Иоанн Истомин, погибший на этом самом месте из виду и на глазах этой же самой бабушки, в 1806 году, в Троицын день. Печальный фантастический образ его так и восстал перед мною и не давал во всю ночь сомкнуть глаз. Не его ли тень вызвала и мою старуху, или она сама услыхала его голос и пошла на милые, забытые звуки? Вот как дело было. Епархиальному архиерею сделали донос на деда, будто бы он, вместе с некоторыми крестьянами, ходил на медведя. Не знаю, справедлив ли был этот донос, но не могу и не сомневаться. По преданию, дед был человеком общительным, откровенным, веселого характера и мог быть

запанибрата с зырянами. К тому же он был одарен необыкновенной силой, которая могла во всякое время, особенно под хмельком, соблазнить его потягаться с медведем. Как бы то ни было, но преосвященный потребовал его к ответу и по тому суровому времени и бесконтрольной деспотической власти мог, дознавшись вины и не слушая никаких представленных оправданий, обрить ему полголовы и полбороды. Так уже и случилось это с одним его предместником, забежавшим, со страху, после такой резолюции, в скиты раскольников Топозера. Для деда на ту пору стояло время летнее, но путь был трудный. Когда бабушка уговорила мужа взять ее с собой, он не прекословил. Отправившись, тянулись бечевой, ехали на шестах по Цыльме, реке быстрой и порожистой. Спускаться с порогов опасно и трудно, а подниматься еще труднее и опаснее. Греблей нет возможности не только подвигаться вперед, но и держаться против быстрин. Такое плавание возможно лишь тамошним бывалым пловцам. С ними вошли наши путники в реку Чирку, мелкую, каменистую и быструю, а по ней через двадцать пять верст добрались и до пезского волока. День был ясный и теплый. Чирка сверкала и прыгала по каменьям. Пробежит она в одном направлении сажен пятьдесят, много сто,— и своротит в сторону. Доплыли путники до порога Кременцы. Разлился он почти на версту: отыскала вода меж грудами каменьев проходец и несется с ужасной быстротой. Спуститься по такому сливу опасно: того и гляди, наскочит лодка на камень и быстерь окружит и зальет ее. Вот около этого-то места вдруг дед мой приподнялся в лодке и стал прислушиваться. В лице его произошла перемена: вступила кровь и глаза засверкали. Он долго и чутко прислушивался к чему-то. Потом тихонько сказал жене, что ему из лесу слышится отдаленный звон, ясно доносятся даже звуки нескольких колоколов. Моя бабушка сомнительно покачала головой: откуда мог быть слышен колокольный звон, когда кругом на двести верст совершенно мертвая пустыня? Но дед стоял на своем. Велел он ямщикам пристать к берегу. Выходит дед на гору, уходит в лес, сказав бабушке, что проведает, где звонят, и тотчас воротится. Ждут час, ждут другой, ждут целый день — опального дедушки нет как нет. Пошли искать в лес в разные стороны. Искали недели две, тужили, но не нашли никакого следа. Только нашли его шляпу: висит на сучке. Вернулись наконец домой, хоть и страшно стало: станут спрашивать, куда дели деда. Из Ижмы тотчас же отправлена была партия для поисков, но и она возвратилась без успеха: старик исчез без всякого следа. Только впоследствии ижемские богомольцы, ходившие в Соловецкий монастырь, рассказывали, будто они видели его там в числе схимников. Узнавали же его по бородавке на лбу и проч.; другие будто бы даже разговаривали с ним. Все это не имеет признаков достоверности. Один бог знает, что случилось с дедушкой!

«Вот теперь, видимо, дошел черед до бабушки»,— подумал я. Заныло у меня сердце. Лежу не сплю, сдумаю и вскочу с места,— сильно боюсь я того, что вот-вот и мне, в свою очередь, послы-

шится роковой колокольный звон. Что-то похожее уж и мерещилось, да настало утро. Все проснулись и решили разойтись по лесу искать старуху. Мои спутники, ямщики, разумеется, боялись ответственности: как страшно придралась бы к ним земская полиция,— боже упаси! Бродили в лесу до полудня, но тщетно. Я был в отчаянии, прочие в тревоге. Наконец под вечер явилась наша старушка, еле жива, в грязи, в лохмотьях, в крови. Все обрадовались, что еще жива. Пошли расспросы: что и как? Она рассказала, что пошла сначала по дороге, потом около озера, где тропинка едва заметна, и сбилась с пути. Побрела она целиком по болотам, по лесу, шла целый день до позднего вечера. Когда уж совсем выбилась из сил, то села под дерево, перекрестилась и стала ждать смерти: думала, что съедят ее звери, как и покойного мужа. Ночью слышала вблизи вой волков и рев медведей. Настало утро, она опять пошла, куда глаза глядят, питалась ягодами, рвала малину, ела красную и черную смородину, собирала морошку и сцыху (гонобобель). Около полудня заслышала голоса. На них-то и потянулась она прямо болотами и непроходимой чащей. Сучья исхлестали все лицо в кровь, изорвали платье в клочья. Вот и добралась до нас. Тут и вся история!..

Добытая нашими усилиями и медвежьим терпением река Чирка — не речка, а ярый поток, сплошной клокочущий порог, усеянный камнями. Между ними лодка мчится стрелой и выносится в Цыльму, также неширокую, также порожистую, но более степенную и сравнительно смирную. Порогов на ней множество, и иные из них весьма опасны. Страшно, однако, то обстоятельство, что от последней деревни по Пезе до деревни Носовой на Цыльме, на расстоянии почти 300 верст, нет селений. Рыбы в Цыльме пропасть, да некому ее ловить. Изредка, где-нибудь на берегу, встретится жилье, и то не селение, а какой-нибудь одинокий крестьянский дом, по большей части раскольничий: в двух углах образа; перед восточным углом налой, на нем старопечатная псалтырь; тут же писаные святцы, поучения Златоуста, кожаные лестовки. Рожь сеют редко,— сбивает мороз,— житная (ячменная) мука своя, ржаную покупают. Живут больше промыслом рыбы. Одна хозяйка пошутила: «Вот мы каковы: роду мы большого, кореня толстого, отпить-отъесть не у кого!» Цыльма чем ближе к устью, тем глубже; порогов нет; берега становятся ниже; скот попадается все больше комолый (безрогий). Исчезают леса и заменяются пожнями... Плыли мы по Цыльме без малого неделю, до села Усть-Цыльмы, но тут уже своя сторона. Оставалось до Ижмы только сто верст — рукой подать!

В самом деле,— решил и я, в свою очередь, про себя,— после тех пространств, которые удалось сделать прежде, что значит 230—250 верст, конечно, неизвестно каких: старинных ли семисотных, или нынешних пятисотных, вернее — вымеренных послович-

ной бабьей клюкой? Конечно, после свежих опытов, не в расстоянии заключается дело, и даже не в той тысяче верст, которые объявятся на самой Печоре и сделаются сверх сыта обязательными там. Лишь бы не сыграть впустую, оставшись одиноким и беспомощным. Не очутиться бы там в том глупо-комическом положении, которое наивно рисует безграмотное либретто бессмертной оперы Глинки, при буквальном смысле арии: «В поле чистое гляжу, вдоль по реке очи вожу»? [25] Забираться ли в такую глухую даль?

Этот страшный вопрос неотступно преследовал, несмотря даже на то, что со всех сторон и всюду уверяли в одном:

— Там — князь, вы прямо к нему! Добрейший он человек!

— Князь у них в царево место, надо так говорить по-божьему,— объявляли мезенцы.

— Что князь велит, то все и сделают! — говорили еще в Архангельске.

Такими советами напутствовали меня от самого Архангельска на всей счетной тысяче верст.

Через два дня на третий я был уже на этой Печоре, в селе Усть-Цыльме (когда наконец решился пуститься в Отдалену, хотя она и не входила вовсе в казенную программу командировки). В отводной избе, жарко натопленной, очумелый, заспавшийся старик, слезая с печи и спускаясь по приступкам, ворчал на большуху:

— Ишь как нажарила сдуру, ребро за ребро задевает,— столь тяжко!

— Чай, ведь он намерзал четверы сутки,— отвечала она, ссылаясь на меня, когда я уже успел развязать свой чемоданчик, оттаять замерзшие в походной черниленке чернила и развернуть странички своего дневника, чтобы вписать в него на память эти первые приветствия печорцев слово в слово.

Тем временем старик успел испить квасу, потянуться, очухаться, обчесаться. Он пришел в себя и заговорил:

— Ты, чай, до князя приехал? Куда больше, не к кому!..

И позевнул.

— Мимо нашего князя никому не проехать! — вмешалась хозяйка.

— Добрый он у нас,— такой добрый, что лучше нам и не надо! — подкреплял старик.

— Пошто не добрый! Не нажить нам другого такого! — поддакнула толстая, вся в пестрых ситцах, большуха.

— Этот человек,— толковал дед,— долго будет на людских памятях! С богатыми он богатый, с нужными (бедными) нужный.

— Он у нас, батюшка,— продолжала словоохотно болтать хозяйка,— захворал онагдысь. И так его круто свернуло, что днями лежит и горит. Неделями уж мы стали считать, а он все, свет наш, что бревнушко лежит и не шелохнется. Сдумали мы, что он, знать, помирать собрался, не отойти ему. Кое-какие из баб тех саван ему стали шить. Всполохнулись мы тогда все. Все село на ноги

поднялось. Страху все дались, как бы и впрямь он не помер. Что мы тогда без него?

— Бабы совет такой промеж себя собрали и положили лечить его,— перебил, улыбаясь, старик.— Скажи-ко теперь сама, как вы лечили его?

— Да ведь и вылечили же,— молитвы читали! С нашего-то дела, с того самого дня, ему и отпустило. Раздышался он, почал в себя приходить и вздынулся. Здоров ведь теперь. Была у него огнева (горячка или нынешний тиф), от которой люди в себя не приходят и помирают в забытьи. Об стену она не бьет, а держит плашмя и все нутро огнем выжигает. Одиннадцать сестер у этой болести, она двенадцатая: лихоманка, трясуха, гнетуха, ломовая, маяльница...

— Оне что сдумали-то, бабы-то...— перебил снова дед.— Сколько вас было?

— Десятка два набралось.

— Вот всем-то этим суемом оне принесли ушат холодной воды полнехонький. Подкрались к князиной кровати сзади да и окатили его: весь ушат вылили, сколь он ни велик был. Так весь и бухнули на князеньку нашего.

— Пять баб волокли, да еще две подхватывали и опрокидывали,— подтвердила большуха.

— Это она правду говорит, что стал с того дня князь поправляться, с этой самой со глупости-то с бабьей. Не то оне болесть ту напугали, не то сама она ихней затеи испужалась,— богу ведомо! Однако вышло из князя все зло коренье. Сгило оно и пропало: чист стал!..

Вот, теперь ты, хозяйка, рассказывай, как это вам в голову вошло снадобье такое. Ну, да ладно, я сам расскажу... На суеме бабы стояли и такой совет держали. Всем бы князь святой человек; одно поганит его. За это самое, видно, бог рассердился и наказует этакой приткой. Не истовым крестом князь молится, а Никоновой щепотью, которой и табак в нос пихает. Дай освятим! Перекрестить его надо, может-де он, по своей-то земле, и обливанец еще. Стали по требнику начитывать, со своими молитвами в горницу вошли. И когда из ушата ухнули, эти самые молитвы читали на голос. Поди разговори их теперь, что он стал не ихней веры! Теперь, говорят, вовсе он наш стал, как бы и совсем прирожденный. Господа, однако, смеются князю, да и он таково-то кротко на их слова отсмеивается. В церковь он по-прежнему ходит, так это, вишь (толкуют бабы), для начальства, страха ради иудейска. Ничем их не спятишь с того, что забрали в голову.

Вот и добрые признаки в этой добродушной откровенности, обращенной ко мне, без всякого с моей стороны вызова, хотя бы даже случай этот и был уже мне известен в Архангельске, и сам князь подтвердил его. Действительно, женщины силком ворвались к нему, сбивши с ног слугу и заранее подговоривши в свой заговор княжескую кухарку. Операция решена была полным консилиумом всего усть-цылемского бабьего царства (женщин, ска-

зать мимоходом, по всему Архангельскому краю, включительно до маленьких девочек, зовут «женками», на Печоре же господствует общерусское слово «бабы»).

Весело глянулось на другой день на божий свет, хотя последний на то время (в декабре) обозначался лишь сумерками: знать, и лошади принимали узенькую дорожную кибитку мою с правой ноги, и заяц не перебегал дороги, и ямщик не садился на козлы, а громоздился на переднюю лошадь, так как мы принуждены были всю дорогу ехать гусем. Дорога шла так называемой Верхней Тайболой — обширными сплошными лесами, исконной глушью, где на огромном просторе местами залегли болота, замерзающие поздно, лишь на лютых морозах, местами разлились озера, казавшиеся на то время снежными полянами. Там, где дорога вступала в еловые и сосновые леса, среди которых располагались красивые и стройные лиственницы (иногда сплошными рощами, но чаще вкрапленными в борах отдельными насаждениями или кущами), дорога имела подобие совершенного корыта. Его выколотили земские лошади копытами, и оно давало собой все-таки скорее тропу, чем дорогу. Она самыми причудливыми коленами извивалась между гигантского роста деревьями, среди которых лиственницы имели до первых сучьев по 7 сажен в вышину. Дорога лежала гладким полотном лишь там, где попадались калтусы — не слишком вязкие болота, отчасти покрытые водой даже среди лета, и веретеи — чистые площадки, не заросшие деревьями или кустарниками.

Охотно, с добрыми надеждами, шел я на свидание с князем, вспоминая прошлые дни неудач и приемы богачами и влиятельными людьми в Поморье. Бывало, всегда выходило как-то так, что на первых шагах в новом селении я попадал прямо на шахматные полы верхнего этажа этих богачей, а не в иную, победнее, избу. Кормщик, управлявший рулем почтового карбаса и заменявший, таким образом, ямщика, передавал меня следующему, с очевидным наказом — проводить в такое место, куда приказано где-то и кем-то, оставшимся назади и неведомым. Такова, значит, сила подорожной по казенной надобности, с прибавкой печатного указа губернского правления. При входе в дом тотчас же начинается угощение. Богач в Ковде, Матвей Иванович Клементьев, хлопотливо суетится около самовара самолично. Возвращаясь в комнату, низко кланяется и усердно старается угостить каменными баранками, пряниками, гнилыми орехами. Видимо, любит он принять заезжих гостей (думалось мне), но на поверку оказалось, что он человек замечательной скаредности и заражен язвой стяжания новых прибытков в наибольшей степени сравнительно с прочими. Прижимист он и неподатлив; ни на какие уступки не ходит и чужими бедами не возмущается. Он даже прославился тем, что охотно откупал бедняков от рекрутства и затем забирал их к себе в кабалу, заставляя работать на себя за 50 руб. асс. в год, при своей одежде. При этом он требовал еще перекрещивания и обязывал купить для питья особую чашку и держать ее всегда при себе.

Словно эта вера — его личный каприз и придурь, из-за которой бедняки должны гнуться в три погибели, молиться затребованным старым крестом. Где-нибудь за глазами они все-таки пускают в обе ноздри табачный дым и чокаются в кабаках артельными шкаликами и стаканчиками. Этот Клементьев так и ходил за мной, чтоб я не пошел смотреть хотя бы невинный забор, устроенный для ловли семги. Прислушивался он к моим разговорам и расспросам, предупреждал своими ответами те вопросы, которые обращал я к рабочим-промышленникам. Он так и не выпустил меня из плена, буквально не спуская со своих глаз. Савин в Керети повыступил совершенно в такой позе, в какой в знаменитой картине правдивого Федотова «Сватанье майора» [26] представлен отец невесты: вырядился в непривычную долгополую нарядную сибирку и даже нижнюю пуговку еще не успел застегнуть. Как будто бы Савин заробел: «Есть чему (объясняют),— он свеженький федосеевец, еще не обсох от второго крещения, которое совершилось над ним там, в корельских скитах, кажется, на Топозере». Понуждался я в сельском начальстве для помощи — Савин послал за ним своего парня. Пришедшая власть поклонилась сначала ему, хорошо разумея, что позван приезжим человеком, с которым еще не видался. На предлагаемые вопросы, он, собираясь отвечать, сначала читал в глазах богача раболепно, покорным и робким взглядом, отыскивая решение:

— Как повелит говорить твоя милость? Не проврàться бы, не прогневить тебя, нужного человека: с тобой век изживать, а налетов-то этих ездит довольно,— на всякого не угодишь.

В этом случае, при таком же замешательстве в ответах, Савин не выдержал-таки и заметил оробевшему:

— Говори же, братец, что знаешь и как дело понимаешь, ты это должон!.. Что ты на меня-то пялишь глаза?

Игра на этот раз велась уже до того открыто, что мне становилось не столько досадно и обидно, сколько смешно. Чего тут, в самом деле, скрывать, на этом семожьем заборе, на этой ловле сетью — гарвой? Знай болтай: сколько запущено вершей, как зовется продольное колье и как поперечное, когда ставят гарву и зачем ее не принимают на Терском берегу,— чем она там неудобна? Сказывай знай; чего жалко? Экие секреты!

Оказалось, однако, что без разрешения Савина сельская власть на полное исполнение моих просьб была не властна. Богач, за раскол не будучи ни старшиной, ни головой, оказался потом настоящим начальником. На подножном корму, выращенном и приготовленном бедняками, а в том числе и этим, избранным в начальство за бессилие, он отпаивал, откармливал и опускал до колен свое чужеядное пузо. На этом самом Корельском берегу, бывало, то и дело лезут поморы с жалобами на притеснения: «большой начальник ездит».

Поморы вообще не прочь попечалиться на горькую долю, но жалобы строят на общих невзгодах, зависящих от местных причин: от агличана, приходившего разорять берега во время Крым-

ской войны, от сурового предательского климата, от норвегов, без спросу вылавливающих на наших берегах треску, и т. п. Зато поморы Корельского берега вдвое, вчетверо докучливее жалобами против прочих соседей, и так, что сами просьбы их перестали уже давать темы для расспросов и служить путеводной нитью при исследованиях быта и нравов; просьбы и жалобы были слишком личными, в тесных рамках единичного интереса. Просто-таки жмут их и надавливают богатые монополисты, каждого по-своему и всех заодно. Брошенное письмо валялось в коробе с древними рукописями, принесенными напоказ. Пожелав познакомиться с письменным стилем поморов, я развернул письмо и прочитал: «М. г. Иван Андреевич! Желаю вам здравствовать! С наступающим летом поздравляем. Сим вас прошу покорно сходить к Ивану Сущихину и получить по моему регестру денег три рубля. Если не отдаст, то нажми. Скажи ему, что я буду просить станового, чтобы он выслал его ко мне, и вы попросите Назара Васильича моим словом: нельзя ли его выслать ко мне для расчета? Если вам не отдаст, меня уведомить. Проситель А. Тукачев. Прошу меня об обстоятельствах уведомить. Писать про себя нечего, а пишем ради вести, что нагрузились сухой рыбой и идем в Архангельск». В другом месте лезет ко мне проситель с такой просьбой:

— Мир на море отпустил, а становой держит. И билет от головы и от писаря есть; в кармане лежит. Пали слухи, что на Мурмане рыбы не выгребешь, а рук мало. Повели, как мне быть?

Избитые песни, надоскучившие и измучившие своим режущим уши и надрывающим сердце тоном, непрошеными снова пришли на память, когда я шел знакомиться с князем. Кого в нем встречу?

Вот и сам печорский князь налицо, когда я в беспорядочно раскиданном, но очень большом селе Усть-Цыльме, на площадке против церкви, нашел двухэтажный дом один из лучших и выделяющихся в слободе. Дом этот казенный, предназначенный для квартиры лесничего, в должности которого и состоял в то время этот столь всем известный, любимый и расхваленный человек. В Пинеге, на Никольской ярмарке, от всякого печорца в числе первых опросов требовался ответ: «Все ли поздорову князь поживает?» Всякий хорошо знал, что ни один ижемец не проезжал мимо без того, чтобы не повидаться с князем, не поклониться ему, лишь бы только лежал этим людям путь через Усть-Цыльму.

Передо мной стоял небольшого роста, живой и подвижный старичок (ему было лет под 60) в беличьем архалучке — бабий любимец и кумир. Он приветливо, очень мягко и ласково улыбается мне черными глазами. Над густыми усами ярко выделялся круглый восточный нос грузинского типа. Это и был тот самый

князь Евсевий Осипович Палавандов, к которому обращаются теперь мои запоздалые воспоминания.

Он сейчас же и обогрел меня теплым приветом. Сказал, что поджидал со дня на день и кое-что успел уже приготовить из того материала, который может пригодиться для знакомства с краем: песельницу хорошую разыскал, знает такую женщину, которая свадебные порядки умеет вести, и уже подговорил ее рассказывать, когда я приеду. Теперь ждет лишь прямых указаний, что еще надобно для моего дела и чем еще может помочь.

Едва мы успели обговориться и поосмотреться, как Евсевий Осипович поспешил сообщить мне то, что по званию моему, прописанному в подорожной, казалось для меня близким и интересным и что в том или другом виде сохранилось в запасах его памяти. Живя в Тифлисе, он слыхал про Марлинского, знавал Грибоедова, лично видал А. С. Пушкина. Сам был он тогда очень молодым юношей, с ограниченным, как грузин и тифлисский житель, наблюдательным кругозором. Последующая судьба и суровая жизнь могли лишь рассеять и малые запасы сведений, изношенных в течение тех трех десятков лет, которые протекли со времени любопытных тифлисских встреч. Конечно, он мог сообщить уже немногое, лишь кое-что более резко запечатленное. Отдавшись благодарным воспоминаниям о добром князе, я не могу замолчать его рассказы, как своеобразные, как рассказы очевидца. Я занес их в дневник, так сказать, по горячим следам. Записал я тотчас же, как представилась свободная минута по выезде из Усть-Цыльмы на север Печоры в Пустозерск и далее, на печорском Мыцком острове, в деревушке Хавринской, представляющей собой недавний выселок из слободы. Это был один из тех, на которые охотливы устьцылемцы, населявшие малыми починками, превратившимися потом в небольшие деревеньки, все более или менее значительные и подходящие притоки Печоры. В Хавринской всего два дома, да два таких же остались назади в некотором расстоянии. В выселках Усть-Цыльмы засевают жита (ячмень) пудов по десяти на душу да по пуду ржи, но держатся на своих местах больше промыслом — давят петлями рябчиков, ловят рыбу:

— Живем все больше рыбкой; не сами себя кормим, бог нас кормит. Когда у нас пала мокра, так и брюхо сыто.

Иные в щельях (каменные кручи, отсечины на речных берегах, от которых и большая часть названий тамошних селений) ломают брусяной камень и эти точильные брусья продают чердынцам по 15—20 коп. за пуд. Бруса в щелье много, лишь бы покупали.

О Марлинском (А. А. Бестужеве)[27] князь Палавандов передавал мне известную легенду, сложившуюся на Кавказе и облетевшую всю Россию, когда имя романиста повсюду гремело и он был любимцем всей читающей публики.

— Живя в Тифлисе, числился Марлинский рядовым, но не служил. Все его любили. Постоянно ходил он в венгерке; жил вместе с сумасшедшим братом. Ему разрешено было писать и

печатать, но не иначе как под псевдонимом Марлинского. По настоянию какого-то негодяя полковника Паскевич вскоре услал его на Кавказ в горы, в действующие войска. По самым верным слухам, там полюбили его мирные черкесы и трое из них дали возможность собраться и проводили в горы. Что там с ним сталось — в Тифлисе не было известно.

Всех яснее запечатлелся в памяти Евсевия Осиповича, конечно, образ нашего великого поэта.

— Наша грузинская аристократия любила блеск и пышность. Ради удовольствий готова была разориться (что и случалось при князе Воронцове[28]). Роскошничала сломя голову, невоздержно, с увлечением. При этом не только не лишена была чванства, но считала за честь кичиться княжескими титулами. Ведь и в самом деле, многие роды вели свое происхождение прямо-таки от царей Вахтанга VI и Георгия[29]. Внуков последнего, отдавшегося России со всей страной в 1800 году, особенно ласкали и баловали. Попасть в княжеские дома нелегко было, разве уж тот человек был близок по родству или другим связям с главнокомандующим. Можете вообразить себе, какой роскошный пир приготовили в Тифлисе в честь нового наместника, графа Паскевича[30]. За почетным обедом, между прочим, для парада прислуживали сыновья самых родовитых фамилий в качестве пажей. Так как и я числился в таких же, то также присутствовал тут.

Я был поражен и не могу забыть испытанного мною изумления: резко бросилось мне в глаза на этом обеде лицо одного молодого человека,— я его как сейчас вижу перед собой в подробностях. Он показался мне с растрепанной головой, непричесанным, долгоносым. Он был во фраке и белом жилете. Последний был испачкан так, что мне показалось, что он нюхал табак (князь Палавандов особенно настаивал на этом предположении). Он за стол не садился, закусывал на ходу. То подойдет к графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо,— те засмеются, а графиня просто прыскала со смеха. Эти штуки составляли потом предмет толков и разговоров во всех аристократических кружках: откуда взялся он, в каком звании состоит и кто он такой, смелый, веселый, безбоязненный? Все это казалось тем более поразительным и загадочным, что даже генерал-адъютанты, состоявшие при кавказской армии, выбирали время и добрый час, чтобы ходить к главнокомандующему с докладами, и опрашивали адъютантов о том, в каком духе на этот раз находится Паскевич. А тут,— помилуйте! — какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем и даже смешит его. Когда узнали, что он русский поэт[31], начали смотреть на него, по нашему обычаю, с большей снисходительностью. Готовы были отдать ему должное почтение, как отмеченному божьим перстом, если бы только могли примириться с теми странностями и шалостями, какие ежедневно производил он, ни на кого и ни на что не обращая внимания.

Всего больше любил он армянский базар — торговую улицу, узенькую, грязную и шумную. Узка она до того, что то и дело

скрипучие арбы сцепляются с вьюками на верблюдах. Из одного дома в противоположный, стоящий по другую сторону улицы, протянуты веревки, и на них просушивается белье. Улица ревет в открытую: лавки и мастерские все настежь. Чуть не на самом тротуаре жарят шашлыки, готовят кебабы; на глазах всех проходящих открыто бреют татарам головы, чинят штаны, вышивают шелками по сукну. Отсюда шли о Пушкине самые поражающие вести: там видели его, как он шел обнявшись с татарином, в другом месте он переносил открыто целую стопку чурехов; на Эриванскую площадь выходил в шинели, накинутой прямо на ночное белье, покупал груши и тут же, в открытую и не стесняясь никем, поедал их.

Из Тифлиса езжал он и подолгу гащивал в полковой квартире Раевского[32], откуда привозили подобные же вести: генерал принимает подчиненных в мундирах, вытянутыми в струнку, а из соседней комнаты в ночном белье пробирается этот странный человек, которого по всем правам обязаны почитать. А он вот этого-то самого от наших грузин и не хочет, несмотря на то, что все хорошо знали, что он народный поэт. Не вяжется представление: не к таким видам привыкли. Наши поэты степеннее и важнее самых ученых. Поэт должен сидеть больше дома и, придя в гости, молчать: он обязан ценить каждое свое слово на вес золота и на площадях и на ветер речи свои не выпускать. Каждое его изречение непременно должно выражать собой практическое правило, и чем лучше и красивее та форма, в которую оно облекается, тем поэт почетнее и уважение к нему больше. Надо это видеть у мусульман, например у персов, особенно по большим праздникам, когда целой компанией являются к почетным людям с обязательным поздравлением все эти улемы и муллы. С непривычки подумаешь, что это рассажены статуи или языческие боги с поджатыми ногами — до того они степенны и неподвижны. Кажется, не волнуют их подставленные под нос подарки, не смущают сладкие и лакомые угощения. Если и новый гость войдет в это время, они, по-видимому, и на него не обращают никакого внимания. Ни один не изменит себе предательской чертой на лице в сосредоточенности помыслов даже и тогда, когда понесет под мышками и в руках предложенные ему подарки. А тут — помилуйте! — совсем наоборот: перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеется, якшается на базарах с грязным рабочим муштаидом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в то время пробыл в Тифлисе, в общей сложности дней, всего лишь одну неделю, а заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не один год потом. Это я очень хорошо помню.

Кстати, князь вспомнил также и эпиграмму на капитана Борозду и, полагая ее неизвестной, повторил с комментариями, рисующими личность, с той поры всем известную[33].

Совсем другое впечатление произвел тезка Пушкина, А. С. Грибоедов, бывший в Тифлисе гораздо больше, но раньше его.

— Я,— говорил князь,— как теперь вижу его большие выкатившиеся глаза и умные беседы, которыми он очень очаровывал, будучи радушно принят во всех лучших домах. Он — секретарь персидской миссии; он недавно исполнил поручение — переселял армян в Россию; он — чиновник по дипломатической части при великом Ермолове [34],— чего еще больше? Когда арестовали Рылеева, в его бумагах нашли письма Грибоедова. Ночью тайно схватили его и увезли в Петербург. Он успел оправдаться и вернулся назад с рассказами.

Перед близкими людьми Грибоедов шутливо оправдал свою невинность и непричастность к заговору тем, что написал «Горе от ума» с прозрачными намеками, которые не умели-де понять, а в Чацком могли бы заподозрить любого либерала из вернувшихся из-за границы молодых гвардейцев того времени. Весьма скоро выучившись по-персидски, Аббас-Мирза [35] (умер 1833 г.), знаменитый тем, что оставил по себе двадцать шесть дочерей и двадцать четыре сына, также и тем, что бесплодно и безнадежно старался водворить в Персии европейское образование, получил за последнее стремление от Грибоедова похвальные стихи, написанные на чистом фарсицком наречии, и наградил его орденом Льва и Солнца *. По возвращении в Тифлис, Александр Сергеевич выпросил у Паскевича позволение жениться. Ему, на счастье, досталась красавица Чавчавадзе, за которую раньше сватался племянник Ермолова, но суровый и строгий генерал не любил, чтобы в боевой армии его находились женатые офицеры, а потому не позволил и расстроил брак. Вот почему и уцелела для Грибоедова эта красавица, Нина Александровна, которую он и увез с собой в Тегеран, отправившись туда посланником и на смерть. Сестра его желала иметь землю с могилы брата, и я ее в мешочке вручил ей в Москве, через которую провожали меня в ссылку, в финляндские батальоны.

Евсевий Осипович Палавандов действительно был в опале и ссылке, обвиненный за участие в заговоре, о котором, собственно, весьма мало известно, но организация которого не лишена интереса. Сам участник не любил об этом рассказывать (о чем меня раньше предупреждали все). Не вспоминал он и не сетовал даже на то суровое время, которое привелось ему провести в исправительных финляндских батальонах, отличавшихся не только строгостью, но и жестокостью в обращении с жертвами дисциплинарных взысканий. Мне еще в Архангельске объясняли:

— Незлобивый, добрейший человек — вычеркнул из своей ссыльной жизни эти годы и постарался забыть о них, так что, если когда неосторожно доводилось коснуться этого вопроса, он вздрогнет, вскочит с места, начнет ходить из угла в угол и впадет в такую меланхолию, что его уже и не расшевелишь целый день. Ни слова против, ни обличительного звука, как будто ничего этого

* Здесь в сообщении князя неточность: Грибоедов был награжден этим орденом 2-ой степени за переселение армян из Персии в Россию.

не бывало и никакой Финляндии не существует, а есть вот прямо перед глазами облюбленная им Печора и застилающаяся в памяти милая, родная, роскошная и цветущая Грузия.

— Мне доводилось,— рассказывал мне сам Евсевий Осипович,— во время прогулок по полям прилечь от усталости на траве, где посуше. Я всматривался пристально в цветки и находил даже мелкие розы, едва поднявшиеся от земли, но распустившиеся. Видел я другие цветки, которые напомнили мне родину. Здесь они не поднимают головок над травой и, скрываясь в ней, ни для кого не видны, а потому и считаются несуществующими или несоответствующими климату и почве. На другой день я приходил на те же места, ложился, высматривал те цветы и уже не находил их: они цвели не вчерашние лишь сутки, а, может быть, всего-то несколько часов. Я был счастлив, что уловил эти мгновения. И на Печоре светит то же солнце, что и над Грузией... Напрасно здешнюю природу зовут мачехой, несправедливо весь край считают забытым и обиженным богом! — толковал князь с убеждающей настойчивостью.

Он убеждал, конечно, не без увлечения теперь, на старости, и в этой бедной и далекой стране, куда привели его другие увлечения давно мелькнувшей молодости, которою ему так и не довелось вполне насладиться.

---

12 сентября 1801 года манифест объявлял всенародно:

«Не для приращения сил, не для корысти, не для расширения пределов и так уже обширнейшей в свете империи приемлем мы на себя бремя управления царства Грузинского; единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас священный долг, вняв молению страждущих, в отвращение скорбей, учредить в Грузии правление, которое бы могло утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона».

Таков был ответ императора Александра I, вызванный посольством больного и бессильного последнего грузинского царя Георгия (в числе членов посольства был и дядя Евсевия Осиповича, князь Елеазар Палавандов). Не было никакой мысли овладеть Грузией — предполагалась одна лишь поддержка страны, в которой все материальные и внутренние производительные силы были подточены внутренней анархией и расшатаны беспрерывными нападениями внешних врагов. Казалось, беспримерная по странностям, неожиданностям и запутанности история Грузии должна была изменить свое течение в благоприятную сторону в мирном и осмысленном направлении. Простой народ единодушно выражал желание вступить в русское подданство и избавиться навсегда от гнета корыстолюбивых царевичей и расточительных цариц, доказывая то очевидными знаками доверия и расположения к новым правителям. Случилось не то, на что имели полное основание рассчитывать.

Царевич Александр убежал в Персию искать там помощи: ему хотелось сделаться царем и в то же время он не желал ссориться с русскими. Прочие царевичи, привыкшие соблюдать более свою, чем государственную, пользу, двуличили не только перед русскими правителями, но и перед своими клевретами. К 1800 году всех царевичей, цариц, царевен и их детей насчитывалось 73 человека. Царицы (Дарья и Мария), представлявшие крупные силы, руководили всеми смутами и интригами, и одна из них дошла до коварного убийства русского генерала Лазарева. Прирожденные многочисленные князья разделились на две партии: одни, жившие безграничным насилием и грабительствами, как манавские, ездили на гору каждый день, поджидая и высматривая царевича Александра с многочисленным войском, злонамеренно подговаривали лезгин к нападениям, чтобы показать народу бессилие русской защиты, и возмущали Кахетию. Другие князья, владевшие деревнями и имевшие свои доходы, были довольны и жили смирно.

На беду, русские правители оказались не на высоте своего достоинства. Князь Цицианов[36] в 1803 году застал уже весьма печальные следы управления, игравшего прямо в руку недовольным князьям и к возбуждению всеми средствами враждебных чувств к России и русскому владычеству. Коваленский с компанией воспользовался данным уполномочием и предоставленной ему властью лишь для того, чтобы обогатить себя и солидно обеспечить клевретов и родственников. Он захватывал без разбора и земельные грузинские имущества, и казенные деньги. Он обирал и победоносные войска, и мятежных князей. Замечательно, что и с удалением его от власти он оставался действующим лицом по части злоупотреблений и кн. Цицианов не мог помешать ему.

Милости, обещанные манифестом, не были выполнены. Князья, участвовавшие в присоединении Грузии и в случае неудачи обязанные нести свои головы на плаху, остались не только не награжденными, но даже лишились тех отличий и доходов, которыми до тех пор пользовались. Многие же из явных врагов России были награждены или отличиями, или большим жалованьем. В числе обиженных и недовольных очутился и род князей Палавандовых, игравших значительную роль в истории присоединения Грузии и, в большинстве членов, преданных России. В их среде, недовольной и в самом деле обойденной и обиженной, вырастал и воспитывался наш Евсевий Осипович.

Он видел, что вместо обещанной манифестом прибавки князьям чести их лишили даже пропитания, сообразного титулам и услугам. Он слышал, что велено возвысить честь церквей и епископов на его родине, доныне отличающейся усердием к храмам и богомолениям, а вместо того у духовенства отобраны все вотчины и крестьяне. Обещали не требовать с крестьян податей в течение 12 лет, но и это не сбылось. Рассказывалось про необычайные выходки, злобные глумления, смешанные с полнейшим презрением

к человеческому достоинству, со стороны наездных и навозных людей. Злоупотребления корыстных чиновников послужили главной причиной тому, что недоброжелательство к русскому правительству из высших слоев населения начало переходить в низшие сословия, в среду самого тихого и спокойного народа, каковым, по справедливости, считаются до сих пор обитатели счастливой Грузии.

Пока молодой князь Е. О. Палавандов получал обычное высшее воспитание — ловко сидеть на коне, стрелять в цель на всем скаку, владеть саблей, успел даже несколько лет прожить в Константинополе (для изучения арабского языка), — в судьбах его родины не произошло перемен к лучшему.

К концу 20-х годов нынешнего столетия царевичи и все грузинское царское семейство были перевезены в Россию, где предоставлены были им возможные почести и вознаграждения. Но многие «вместо должной признательности за благодетельное спасение их самих и отечества их от явной гибели питали скрытную злобу или мечтательные надежды, породившие наконец повод и к видам преступным». Так было сказано в судебном акте о событиях 1831 года. Из него, между прочим, видно, что молодые грузины, цвет юношества края, получавшие образование в Петербурге, по воскресным и праздничным дням ходили к князю Дмитрию и другим царевичам «отдавать им почесть, навещали их». У Дмитрия явилась мысль к восстановлению самобытности отечества. С другой стороны, князь Окропир (из царевичей же), живший в Москве, задумал (по свидетельству этого же акта) то же самое, без всякого, однако, соотношения к замыслу Дмитрия.

До 1829 года не было видно никаких действий. В этом году Окропир, воспользовавшись разрешением, полученным в Москве, отправился к кавказским водам и по окончании курса лечения неожиданно отправился в Грузию. Здесь он сблизился главным образом с Орбелиани, сыном царевны Феклы (дочери царя Ираклия), с артиллерийским офицером Элизбаром Эристовым и учителем Додаевым. Они составили правила «тайного дружества», цель которого состояла в том, чтобы внушать молодым грузинам любовь к отечеству и Багратионам (о возвращении их рода на грузинский престол), просить священников молиться о последних, напоминать грузинам их прежнее бытие, вольный доступ к царям и скорую каждому расправу, не изменять народным нравам и обычаям, не говорить о намерениях своих никогда втроем, даже при родных братьях, и проч. Для восстановления грузинского царства (по данным того же акта) предполагалось произвести народное возмущение, овладеть в Тифлисе главными местами, заградить путь через Дарьяльское ущелье, образовать регулярное народное войско, подчиненное избранным начальникам, и продолжать действия против русских не массами, но шайкой. Расчет на успех основывался на вспыхнувшем в то время польском восстании и, вследствие того, на разъединении русских военных сил.

Как только пришло об этом известие, заговорщики перезнакомились между собой и соединились в общество в начале июня 1830 года. Князь Эристов, более других пылкий и настроенный и действовавший энергично с князем Орбелиани, соединился с учителем Додаевым и иеромонахом Филадельфом. Орбелиани открыл свой замысел Евсевию Осиповичу Палавандову, «деятельно, однако, не участвовавшему».

Додаев для успеха дела начал было издавать газету, но выпустил лишь 6 листов в 1831 году. Остальные заговорщики вошли в сношение с беглым царевичем Александром, которому Орбелиани приводился родным племянником. Царевича звали прибыть в Кахетию для начальствования над войском в видах изгнания русских из Грузии. Царевич, за старостью лет, отказался. Племянница его, дочь брата Юлона, красавица Тамара Юлоновна, старшая сестра Дмитрия, заместив его в Тифлисе, сделалась центром заговора. Молодежь увлеклась ею до самозабвения.

При совещаниях с нею положили подговорить к соучастию офицеров сборного учебного батальона. При слухах о неприязненных намерениях персиян вторгнуться в Грузию и о продолжительности польского восстания произошло некоторое волнение в умах и беспокойства в Тифлисе. Когда Варшава пала и известие о том дошло до Тифлиса, заговор «если не прекратился, то ослаб; общество приняло некоторый вид литературного». По прибытии некоторых сообщников из Петербурга заговор снова устроился, чему благоприятствовала отправка кавказских военных сил в Дагестан против Казымуллы.

Заговорщики начали распространять неблагоприятные слухи и почасту сходиться у Орбелиани и у Палавандова, жившего в квартире брата (Николая Осиповича), гражданского губернатора, во время отсутствия последнего для ревизии губернии. Рассчитывали сделать нападение на казну, арсенал и магазины, подговорить ссыльных поляков (которых было до 3 тыс.) и разжалованных нижних чинов (каковых числилось в то время будто бы 8 тыс.). Княжна Тамара сначала было струсила, но потом согласилась на бунт и даже на личное в нем участие. Ждали съезда дворян на выборы, и в особенности генерал-майора князя Чавчавадзе, который тотчас по приезде в Тифлис поспешил отклонить намерения молодежи и убедил оставить пустые замыслы.

Произведены были аресты, и барон Розен[37] назначил военный суд. Император Николай I, видя бесплодность и полную несостоятельность заговора, до некоторой степени раздутого следователями, милостиво смягчил приговор суда и меру взысканий, проектированных самим бароном Розеном. Южную кровь более порывистых и пылких надеялись охладить северным климатом. Так, Элизбара Эристова увезли в один из архангельских гарнизонных батальонов, учителя Додаева определили в службу нижним канцелярским служителем в одной из северных губерний до отличия выслугой, не прежде, однако ж, десяти лет. Иных отправили в Пермь, других в Вятку.

Изо всех подсудимых 59 получили наказания, ограниченные ссылками на житье под присмотром в дальние русские гарнизоны, города и крепости. Между прочим, царевичей Окропира и Дмитрия приказано выслать: первого — в Кострому, второго — в Смоленск; княжну Тамару Юлоновну — в Симбирск, Феклу Ираклиевну — в Калугу, а отставленного от службы коллежского регистратора, князя Евсея Палавандова, не подвергая суду и не лишая дворянства, повелено определить унтер-офицером в один из полков, расположенных в Финляндии. Всем воспрещен въезд в Грузию на всю жизнь. Остальные из прикосновенных к делу, в количестве 78 человек, освобождены были от всякого взыскания.

Князь Палавандов в 1834 году предстал перед новыми начальствами с аттестацией барона Розена такого рода: «Прежнее поведение его весьма предосудительное, ибо два раза он бежал в Турцию и горы; нравственность его очень неблагонадежная. Вообще, по своему уму, хитрости, пронырству и безнравию, он человек для здешнего края решительно вредный и опасный».

Ссыльный князь оказался полезным для другого края, где постарался начисто исправить свою репутацию и загладить свои вины и увлечения молодости, заменив мечтательные порывы практическими стремлениями и действиями.

По освобождении от солдатской лямки князь был произведен в благородный чин прапорщика, не только дозволявший, по регламенту, жениться и нюхать табак не из артельной, а из собственной табакерки, но и открывающий дороги во все стороны. Для Палавандова, однако, оказалась одна — не ближе Архангельска, а по прибытии сюда — не дальше Печоры. Не ученый лесничий туда понадобился, а открылось просто свободное место, предназначавшееся в то время обычно офицерам и, вопреки всяким ожиданиям, очень покойное. Туда Палавандова и направили и старались о нем забыть, как забыли и о самой Печоре. Под его наблюдением и попечением очутилось, таким образом, целое государство европейское по количеству квадратных верст, весь Печорский край, находящийся в пределах Архангельской губернии. На севере — моховая пустыня, без меры в ширину и без конца в длину, совершенно безлесная.

— Не смейтесь! — вразумлял меня сам лесничий с обычным ему примирительным взглядом на вещи и пристрастием к стране, гостеприимно его приютившей.— Живет и пустыня. Кажется, все в ней мертво, уныло и убийственно однообразно. Смерть, дескать, повсюдная смерть! Стелется один ерник да мох, а забывают, что их сопровождает вереск, кое-какие злаки, а по болотным местам не оберешься морошки. На самом сухом бесплодном песке вырастают грибы и рядом с ними самое красивейшее формами земное растение — мох и лишаи. Я не прощу за насмешку и резкое обвинение — и укажу прямо на любимицу модных кабинетов, многоствольную кустарную корельскую березу. Ведь и лиственница растет... Корява, правда, малоросла: не выше $1^1/_2$ сажени, не шире

трех вершков в отрубе, а ведь это есть то самое благородное дерево, которое идет на корабли, которое здесь, в окрестностях Усть-Цыльмы, доходит до семи сажен и семи — девяти вершков в отрубе (до нижних сучьев). Мы видим это дерево сплошными рощами, чего в России давно не видать. Этими рощами опушены наши реки и речки. О сосне и елях я уже и говорить не стану: добротность и красота их доказанные.

Добрейший лесничий в самом деле увлекался. Ивняк, покрывающий иловатые берега, вместо того чтобы предохранить их от обнажений летучего песка, свойственного внутренним местностям тундр, настолько бессилен, что вовсе не делает ему предопределенного: Пустозерск засыпан песком чуть не по самые трубы, Усть-Цыльма тоже страдает от него и уже успела пересесть на другое место. По бесплодности и малой глубине почвы, состоящей из сухого белого и красного песка, древесина деревьев вообще плохих качеств. Лиственница дупловата и с другими внутренними пороками и по большей части перестойная. Лесные участки, имеющие мелкую почву, особенно мокроватую, буквально загромождены валежником. Буреломы и ветровалы увлекли за собой и здоровые приспевающие деревья и молодняк. Они не только засорили местность, но и заградили путь вывозки дальнейших лесов, и без того уже в изобилии заваленных колодами. Тут нет ни въезда, ни проезда. О возможности надлежащего надзора и говорить трудно, особенно при той лесной страже, которая называлась конными объездчиками и больше спала на себя, чем работала на казну.

Сверх того, следы лесных пожаров бросаются в глаза даже мимоезжим путникам. В самых глухих чащах торчат обугленные остатки большемерных деревьев и только немного мест, где случайно или по сырости грунта леса уцелели от огня. Большая компания лесного торга (Крузенштерна) бросила здесь безнадежно капиталы. Настоящий ученый лесничий (г. Боровский) пришел в отчаяние при виде этих лесов, где сотни самых отборных бревен, вырубленных для сплава на выбор, как корабельные, валяются без призора и сгнили до самой сердцевины. По самой Печоре эти самые лиственницы, редко стройные, а более уродливые, выросли на песчаных, довольно высоких буграх. Эти бугры окружают какое-нибудь озерко или глубокую рытвину и издали кажутся укреплениями с башнями.

В таких-то лесах и при подобных условиях привелось быть блюстителем и хранителем добрейшему и мягкому человеку Е. О. Палавандову.

Что ему тут делать и как тут быть?

Он надел архалучек и отдался на волю божью и людское произволение.

Идем раз мы с ним вдвоем по улице — навстречу нам парень. Выправивши с груди из-под малицы руку в рукав, он снял с головы пыжицу с длинными ушами и поклонился. Князь пригрозил ему пальцем.

— Хорош мужик — разоритель! Куда мне тебя определить за твою вину?

Тот, остановившись, учащенно кланяется, встряхивая волосами.

— Гулял я по лесу, вижу: лежит дерево лиственницы, великан дерево,— объясняет князь, обратившись ко мне.— За такое дерево в Петербурге морское министерство шестьсот рублей платит, за границей дадут далеко больше тысячи. Стал доискиваться, допрашиваться: кто рубил? Прямо на тебя, друг, и указали. Рассказывай, как было дело?

Встречный парень не замедлил:

— Поехал я с Матюшкой рыбу острогой колоть, изладились пообедать и увидали эту самую лесину: сколь, мол, она хороша! А Матюшка-то и говорит: «А что, паря, матицы для новой избы ладны будут?» Побежали в лодку за топорами и повалили.

— А не стонало дерево-то, не плакалось, не придавило вас? Вам жаль его было? Что же не вывезли-то его, зачем гнить его бросили?

— Силушки нашей не хватило,— трем лошадям в упор. Перли, перли, все плечи изодрали,— не поддается.

Заговорил и князь-лесничий:

— Вот он теперь гнить начнет, мохом обрастет,— кабы ты об него запнулся да нос себе в кровь разбил!.. Вот и толкуйте с ним! Охраняйте леса от таких озорников,— говорил он мне, а потом ему:

— Пойдешь к батюшке, покайся на духу: своровал ведь, да еще и так, что ни себе самому, ни дворовому псу.

«Не изловчишься — не наладишься»,— жаловался он мне как-то раз после обеда, в котором обычно сменялись оленьи свежие языки вкусными оленьими губами с хреном и самой вкусной рыбой в свете — пеледью (Salmo corregonus, толстая, горбатая спина, тупое рыло, коническая голова, весом до 7 фунтов), сиговой породы. С ними чередовались осетрина из Оби, привозимая из-за Камня ижемцами, и чир (из породы лососков, Salmo nasus, сизая спина, горбатый нос; мелкая чешуя, весом 5—10 фунтов) местного нароста.

Князь любил поесть вкусно, хотя и умеренно: ему несли все лучшее и любимое им. Никому не продадут, если он не откажется. Не купит князь — «возьми в подарок, сделай милость, Христа ради, из почтения, за великую твою доброту».

— Вот как трудно исправлять должность,— продолжал объяснять добрейший и кротчайший человек.— По верховьям печорских притоков мешаются с елью кедровые деревья, а по самой Печоре их бывает еще больше. В урожайные годы шишек так много, что начинают не только все грызть орехи, а и на сторону продавать. Сбор — бабье дело. Они вот этакого остолопа возьмут с собой, и он, чтоб угодить бабам и понравиться, возьмет да и срубит благородное дерево. Они, мокрохвостые, сядут да и обирают шишки, как морошку рвут. Соберу их, чтоб избранить и застращать, а иная

воструха на мои слова и на глазах вынет из кармана орешки и щелкает, назвать-то плод не умеют — зовут гнидами,— а щелкают, как настоящие белки, в глазах рябит. И здесь плюнешь и отойдешь прочь.

— Не баловство это,— объяснял ответно князь,— а такой неискоренимый обычай, закон какой-то повсеместный. Никакими наказаниями не наладишь. Надо в котлах новых людей вываривать, а старые и наличные все на один покрой и никуда не годятся. Рыбаку нужно щербу (уху) сварить, охотнику на рябах по путикам обогреться,— разведут костер, и ни один еще из них огня не тушил. Леса горят во всех сторонах, и летним временем только о пожарах и слышишь. Сгорают огромные площади, конечно, безнаказанно, за неимением средств и рук для тушения. Либо сам пожар перестанет от какого-либо случая, либо набежит огонь на реку, домчится до озера, заберется в гнилое и мокрое болото и не совладает с ним — потухнет.

Выбрал я из охотников самого мудрого, степенного человека. Глубоко я его уважал за рассудительность, за солидные и чистые дела,— толковал с ним очень долго. Я ему про то, что эти уголья им же на голову,— он вникал и поддакивал. Я уж и успокоился, что нашел рассудительного человека: сейчас мы с ним правила начнем сочинять и писать и пошлем их в палату, а то в министерство. Стали сводить к концу, он и говорит: «Напрасно, князь, пишешь!» — Как же, мол, так? — «Да тушить огонь,— говорит,— самое пустое дело и труд не в прибыль: Печорский край никогда не может совершенно выгореть». Сказал он это, да еще ногой притопнул; значит, у них скреплено и мирская печать приложена.

Разрешивши для себя эту статью таким положительным и безапелляционным способом, Евсевий Осипович обратил свои заботы и внимание в другую сторону. Кстати, от него и не требовали особенных должностных услуг. У него даже вицмундир с зеленым воротником залежался. Управляющий палатой, навестивший его, почувствовал особенную жалость к тем очевидным страданиям, которые испытывал князь, надевши форму и наглухо затянувшись: мундир оказался до того узким, что начал по швам потрескиваться. Постановлено было тогда же совсем не обращаться к форме никогда и быть за всяко-просто, в архалучке грузинского покроя. Князь отбывал ссылку — надо сострадать ему и не беспокоить на месте, обязавшем его совершенно чужим делом. Он успел просиять личными добродетелями; они все и прикрыли, сделав его личность неприкосновенной, от которой нечего требовать, а следует ожидать, на что она, будучи светлой и безупречной, сама соизволит. Да и печорцы, кажется, порешили так:

— Леса, стало быть, охранять не стоит, не уберечь их тебе и не оглядеть всю их целину. А вот охрани ты нас, немощных и беззащитных темных людей, в забвенной сторонушке. Поучи, дай совет, как жить да избывать всякие беды, которые, как крупа с неба,

не переставая, сыплются. К кому же прилепиться? Кому же поведать печали и у кого искать защиты и доброго совета?

Зато советам князя охотно следуют самые грубые и несговорчивые люди; решением его все спорщики всегда оставались довольными.

— Батюшка ты наш,— выпевала своим певучим печорским голосом, неблагозвучно растягивая слова, молодая бабенка, при мне, без доклада, прямо ввалившаяся в горницу.

— И не проси, не пойду,— сразу и решительно отвечал ей князь, знавший всех в слободе не только в лицо, но и с изнанки.— Слышал, что родила, сказывали.

Она ему в ноги — и поползла по полу. Он даже вспыхнул.

— Я покрещу, а ты перемажешь да наново перекрестишь. Вот тебе (и сунул что-то, конечно, деньги) — и ступай: кумом меня не считай и не зови при наших встречах.

— Церковных всех перекрестил,— объяснял мне хозяин отводной квартиры.

— Родом-то он дальний (сказывали): из какой-то теплой, неверной страны, а веры-то русской сызмальства,— рассказывал хозяин, твердо уверенный в том, что и здесь надо подразумевать привилегию, как некое чудо, доставшуюся в особое исключение перед прочими для их излюбленного человека.

— И всякого парнишку по имени помнит,— добавлял он.— На улице встретит — по голове гладит, даст пряник либо калачик. По большим праздникам оделяет деньгами и малых ребят, и все кумовство. Какие получает деньги, все изводит. У него отказу нет. Скажешь ему просьбу, он так и зашевелится. Хочется ему по-твоему сделать, больно хочется: по всему видать, да видать — у самого на тот час нету. Благодарности не любит, не примает от тебя,— разворчится и не покажется.

Я видел самоеда, который на улице, в глубоком снегу, повалился благодарить за то, что князь отбил от обидчика-зырянина добрым советом двух его важенок (оленей), которых отобрал лиходей за пастьбу на тундре, никому не принадлежащей и до сих пор неудобной к межеванию. Олени этого самоеда просто пристали к стаду зырянина, и молодые охотно и долго держались на одном мху, за одним пастухом, с третьегодним приплодом, и тем провинились, вместе с хозяином-самоедом, перед зырянином.

На благодарный поклон князь рассердился и даже ворчал, говоря мне внушительным тоном:

— Глупый-с, очень-с глупый народ, самый несчастный-с!..

Вежливая придаточная частица речи, конечно, не была у него дурной привычкой гостинодворских приказчиков галантерейного обхождения. Не чувствовалось в ней и признаков условной, отталкивающей вежливости, и тем менее она обличала собой насмешливость приема больших и влиятельных, желающих уязвить, нагнести, наглумиться над маленьким и подчиненным, чтобы он чувствовал весь яд перемены обычного тона на поддельно вежливый. Подозревалась здесь благоприобретенная под батальонными

пинками и палками простая прикраса обыденной речи ненужным и холодным привеском. Вошла она теперь в обычай, с которым и нельзя уже ему расстаться по привычке.

Словно он вымещал своими искренними чувствами сострадания и участия — спроста, по-христиански — за все то, чем обижали его и что перенес он про себя при старой системе казарменного воспитания и батальонной службы. Во всяком случае, он совершенно погрузился в интересы Печорского края на всем протяжении его в пределах Архангельской губернии, пользуясь всеобщей любовью. Впрочем, более близкие к нему и тонкие наблюдатели замечали, что у него лежало сердце больше на сторону устьцылемцев не по ближнему соседству, а вследствие экономических условий их быта (всем было известно, что он бедным слобожанам всегда помогает в покупке дорогого хлеба). Архангельскую Печору, как известно, поделили между собой низовики-пустозеры с верховыми — ижемскими зырянами. Первые — владельцы богатых рыбных ловель и оленьих пастбищ; вторые — владельцы оленей и богачи от замши, мехов и перепродажи соли и хлеба. Устьцылемцы, очутившись между двух огней, понесли печальную бытовую участь с очевидными признаками бездолья и бедности. Последняя вынудила их и на выселки по притокам Печоры и породила давнюю непримиримую и нескрываемую вражду с теми и другими, особенно с пустозерами, и указала князю беспокойную роль миротворца, ходатая и хлопотуна.

Выселками устьцылемцы не выгадали: попали из огня в полымя. Живущие на притоках находятся в самом жалком положении, не многим лучшем самоедов, вконец обездоленных ижемскими зырянами. Из пятилетних урожаев дает бог один подходящий, когда снимут дозревший хлеб сам-5. Иные из-за куля бурлачат на Печоре все лето. Между тем заступничество князя уважалось и ценилось в Архангельске: оно лечило временные язвы и починяло случайные прорехи. Самое большое затруднение представляла размежевка озер, чрезвычайно рыбных, из которых в течение зимы налавливается не одна тысяча пудов. В одном только случае удалось князю помирить соседей тем, чтобы они наловленную рыбу: щук, чиров, сигов и нельму (Coregonus leucichtus, сигов породы, от 3 до 30 фунтов) — сваливали в одну кучу и потом делили по равным частям между всеми участниками. Ловцы послушались и потом каждый год ходили благодарить князя, что приставил голову к плечам. Искреннее участие его все-таки ничего не могло сделать с вековечной укоренившейся враждой устьцылемцев с низовиками.

— Ну, вот-с, покажите господину — он свежий, он лучше нас может рассудить,— говорил князь усть-цылемским старикам, явившимся с какой-то книгой.

То была старинная, скрепленная дьяком выписка из писцовой книги, где в самом деле указаны были собственностью устьцылемцев те острова, шары и виски, которые оттягали у них пустозеры. Оказалось, что князь давно уже возился с этим документом, более

чем двухсотлетней давности, простодушно уверенный в его законности и святости. Возбудит он пререкания, вызовет перекоры — начнет мирить и соглашать. Спорщики как будто и подадутся, и князь для них становится уздой даже в щекотливом экономическом случае поземельного владения. Спорщики и в самом деле помирятся на словах до первой ссоры и драки на межах. Опять они идут к князю судиться, а он снова не скучает с ними толковать про белого бычка. Никак не управятся они все вместе при добром согласии с этой писцовой книгой! И мной остались, конечно, они все недовольны. Остался доволен лишь я сам лично тем, что по этой старинной выписке довелось мне пополнить свой словарек местными названиями живых урочищ. Названия эти из XVII века остались нерушимыми до настоящего времени, но свойственными лишь этому Печорскому краю. Так, например, виска — это пролив из реки в озеро или между озерами (отсюда и название многих печорских деревень), а шар — пролив между реками и между островами в море и рукав той же реки, огибающий остров, летом высыхающий. Курья — заливец из шара, заходящий кутом версты на 2—4 и опять входящий в шар,— это шара шар. У острова бывает хвост и голова. Старуха — не только заветшалая баба, но и покинутое русло, где, однако, воды столько, что можно плавать, а пристав — не только тот чин, который оберегает стан,— становой пристав,— но и тот кол, которым, с охранительными же целями, припирают дверь от блудливой скотины, когда уходят на страду. Вот и холуй — название, сохранившееся за великорусским селом, где пишут иконы (во Владимирской губернии), и утратившее там первоначальное значение. Здесь, на Печоре, оно убереглось, оставшись за тем возвышенным побережным местом, куда река течением своим привыкла наносить бугор из щепы, всякого хвороста, цельных деревов и песку. Вот и россоха — каждое из устий, на какие делятся иные реки при слиянии,— словом, все те урочища, которые принимались за границы (и, к сожалению, далеко не все (печорские) попали в прекрасный и обстоятельно составленный труд г. Подвысоцкого: «Словарь областного архангельского наречия». СПб., 1885 г.).

— Вот-с, расскажите господину, Марья Савельевна, что знаете,— серьезно и допросливо говорил князь (этим он отвечал на вопрос мой о результатах безвыгодного и тяжелого житья усть-цылемцев, обращаясь к приглашенной им гостье, себе на выручку, мне — на помощь).

Чопорная и полагающая себя умной и действительно знающая обычаи и всякие обряды своих слобожан, Марья Савельевна начала рассказывать. Князь уклонился от очного свидетельства по очевидному неумению или нежеланию говорить о людях худо и произносить тем паче огульные им обвинения.

— Наши слобожане,— истово выпевала рассказчица (в конце речи возвышая голос и вообще произнося хуже, чем пустозер),— не очунь отягощают себя пьянством, однако же не дадут своей части испортиться в бочке, но и чужое-то не квасят.

Князь улыбается и поощрительно настаивает:

— Говорите-с дальше: хорошо начали.

— Болезнь, кроме горячки и оспы, бывает порча или отрава, которая единственно происходит от злых людей по ненависти и дотуль доходит, что и смерть получают в скором времени...

— Дальше, государыня моя, дальше! — продолжал настаивать князь и даже ногой притоптывал, словно наслаждался певучестью речи почтенной старушки, и выбивал такт, когда она, по местной привычке, к концу фразы возвышала голос.

— Училище? Заводилось училище, но по новым книгам, а потому и не было принято желающими училища по старым книгам для образованности.

Князь потирает руки и улыбается.

Затем шел рассказ о пище, об одежде, о жилищах. Князь настаивал, как будто хотел, чтобы старуха выложила все разом, и снова в такт покачивал головой, когда мне приходилось выслушивать и записывать на память.

Старуха, между прочим, выпевала:

— Но всегда если не на сарафане, то по рубашке надет пояс, по старообрядскому поверью, и потерять, либо подарить, либо забыть надеть этот пояс — значит накликать на себя несчастие...— Князь погнал рассказ дальше и догнал его до конца. Старушка напевала:

— И все тому подобное, хлебопашество, скотоводство, рыбна ловля и зверина, и жительство, и язык,— все русские и никаких нет особенностей разных. И есть хотя маленькие ошибочки, но выразить невозможно.

— А вырази! Ты ведь умная и ученая,— перебил князь.

Но она уже, видимо, устала и выкладывала последние остаточки.

— Также и памятников, и болванов, и никаких почетных богов и богинь не водится. Хоша и есть какие-нибудь басни старинные,— таперича все оставили. А читают какие-нибудь изданные разные книжки, примерно, Аглицкого Милорда, Францыля Виньцыана, Еруслана, Бубу (Бову?) и другие прочие. А более не взыщите,— скольки знала, стольки вам и сказала.

Вот и эта патриотка своих мест застилает и заметывает, плетет и нижет, а за занавеску держится и не выпускает ее из рук. Где нужно и когда вздумается, возьмет да и задернет, невзирая на то, что тут-то и открываются самые любопытные виды. Тем не менее свадебный обряд дозволила она мне записать полнотой. Песенки на голос спела, избы в подробности описала и проделала все это беззастенчиво, самым обстоятельным образом,— конечно, из уважения и угождения князю, при явном расчете на его камертон и на выбор сюжетов. Разумеется, кое-где схитрила, местами умолчала, в другом переврала, затребовала новой поверки и справок в исполнение печорской же пословицы: «чужая сторона, блудясь, спознавать».

На одно особенно не поскупились печорцы,— именно в жало-

бах на врагов своих ижемцев не пожалели красок, чтобы обрисовать отношения к тундре, т. е. к самоедам и к приращению того бродячего капитала, который в виде оленьих стад гуляет беспредельно на просторе этой самой тундры.

Я еще не добрался до слободы Усть-Цыльмы, как уже успели забежать к князю раньше меня уехавшие с Печорской ярмарки два ижемские богача: Меркул Исакович из Мохчи и Николай Васильевич из Сезябы, с которыми я успел там раньше познакомиться. Они долго выспрашивали у князя, как им поступать со мной и какие держать ответы, как меня понимать и за кого принимать. Прием там сделан был самый радушный, но отличавшийся самой досадной и обидной замкнутостью, дававшей одно лишь подозрение, что ижемские дела в самом деле нечисты и «тундра грехом лежит у них на совести».

По неизменному и испытанно полезному обычаю я и в Усть-Цыльме поспешил познакомиться с местным молодым священником. Он, между прочим, поразил меня знанием священных текстов, которыми охотно пользовался, вставляя в свою речь во все время бесед наших. По его объяснениям, это знание замечено было и его духовным начальством еще в семинарии, и когда он окончил курс и открылось здесь вакантное место, архиерей Антоний избрал его, признав способным к миссионерской деятельности среди жителей отдаленного края и в раскольничьей слободе.

Интересно было его мнение о князе:

— Господь благовоизволил ему. Оттого и блажен, что он избранник по хотению своему, его же и прия.

— В чем тайна? — отвечал мне отец Павел на прямой вопрос мой.— Грядущего не изжинает. Каждый идет к нему, и всякого приемлет. Как сказал Златоуст в слове на утреню святыя Пасхи? Аще приидет и в девятый час, и того милует, и того целует, и овому дарствует, и тому дарует,— говорил отец Павел быстро и остановился.

— Впрочем, я, всеконечно, испутался: один ведь раз в году-то читаем,— говорил он в свое оправдание — и затем продолжал:

— Остерегайтесь называть его деяния слабостью к сплетням и всезнание от скуки и праздненного жития — нет! Не сон его по годам стал реденьким, а по великой любви и благодати он заботлив и любвеобилен. С первыми петухами он всегда на ногах. И привычка сделана. Докажу примерами.

— Живет здешний мужик с достатками такими, что может лежать на печи сколько угодно. У него застоится кровь, начнет стрелять в спину, поясница застрадает. Идет к князю жаловаться. Советует князь в баню сходить. Да он уж и сходил — и отпустило ему, а все-таки лезет. Зачем? — вопрошаю. А вот, чтобы сказать домашним: у князя был,— как принимал, как потчевал. «Вот, братец ты мой, пришел я к нему, вышел это он ко мне: здравствуй, говорит, руку подал, и т. д.». Но о сем довольно беседовать.

Замечательно, что на Печоре подача руки вовсе не считается

особым знаком внимания и почета. Кто из приезжающих новых людей сам не догадается это сделать, тому печорец первым поспешит сунуть свою мозолистую руку. Этого нет в Поморье, кроме богачей, а на Печоре такой обычай заведен князем и стал всеобщим и похвальным. Каждый тотчас же торопится вытащить руку из широкого рукава малицы и просунуть ее в наружный просов под заскорузлой и торчащей вбок рукавицей, пришитой одним боком к рукавам малицы.

— Продолжаю уподобление (говорит отец Павел) и представляю второй пример. У бабы овечку волки зарезали: отчитывать бы ей по своему требнику, а она также идет к князю. Однако не за деньгами его, чтобы купил, а затем, чтобы поскучать перед ним и поплакаться ему: «Бойкенькая была; два раза волну снимала и чердынцам на деньги продала». Он ее слушает, головой качает и языком причмокивает: того ей и нужно, и больше ничего. Слышит и видит она, что он ее жалеет. Тайна сия велика есть. Баба довольна, да ведь и соседки не дадут ей покоя, непременно скажут: «Что скулишь-то? Посоветуйся с князем». Она побывала, поговорила с ним — овца-то у ней словно бы и отыскалась. Велика эта тайна, повторяю, не обинуясь.

Всматривался я в его деяния: идет он весьма порану гулять по слободе, палкой от собак отбивается и на все имеет прозорливость. Увидит неисправность — постучит в окно палкой и вызовет, кого возжелает. Сделает наставление, учит каждого, как поступать, чтобы всем было хорошо и любительно.

Любопытствовал я о церковном различии, так как он грузин,— никаких мне отмен он не указал. Обнаруживал явственно рачение к молитве и рвение ко святому храму. Плащаницу сам любит выносить из алтаря и храма. К разногласию с раскольниками довольно хладнокровен, как бы не взирая. Вот вы отсутствовали на богоявленской вечерне с водоосвящением (я был на пути в Ижму),— жаль, что не посвидетельствовали, какое бесовское игрище, языческое идолослужение уготовляют шумно и дико на час освящения воды заблудшие слобожане. Верхом на лошадях они скачут по дворам в открытые ворота. В руках у них метлы и палки: суют их и бьют ими сплеча во всяком углу на дворе и в хлевах по воздушному пространству. Это они изгоняют бесовскую силу, ибо, по учению их потребников, токмо в один этот час и возможно делание таковое и имеет вероятие восконечного изгнания нечистых духов.

По закоренелому своему обычаю раскола предместнику моему от суеверов этих было весьма худо и небезопасно. Озорничали при встречах словами, оскорбляя духовный сан, и кто знает,— может, усугубляли это и действиями. Князь их смирил и, можно сказать, возложил на них узду равнодушия. Заключительно скажу: следствия сокровенной тайны, видимые лицом к лицу, неисчислимы.

— Не боитесь вы, что они произведут князя при жизни во святые? — спросил я.

— Подобные примеры в житиях святых усматриваются. Указываются таковые праведники. Впрочем, возложим хранение на уста до благовремения.

— Ну, вот и слава богу: теперь вы все сами лично видели! — сердечно приветствовал меня князь по возвращении из «Ижемцы», не пожелавший прежде поделиться своими наблюдениями и выводами над этим живым и самым жгучим вопросом Печорской страны.

— Теперь от себя прибавлю,— говорил князь.— Спаивают: всю тундру со всеми стадами на вино выменяли: за чарку — шкурка. Долгами так опутали, что водворили полное крепостное право. Однако не все... Это только худшие из них так делают. Прочие все как люди — хорошие люди. Сами видели — набожные, хлебосольные, предприимчивые, бережливые и — поверьте мне! — с хорошей нравственностью. Все это есть и у пустозеров. Нет только этой скаредности, стремления к наживе, излишней заботы о своих пользах. Вместо них, видели,— любят пустозеры жить просторно, полакомиться и других угостить. Бабы щеголяют.

Князь пошел на откровенность:

— Устьцылемцы замкнуты в себе, негостеприимны, чуждаются людей, да и ленивы, а бабы только и умеют вязать чулки да перчатки. Зато нет аккуратнее в расчете с долгами. Без чердынцев они погибли бы...

Свидание это было последним на тот третий раз, когда снова приходилось проезжать мимо Усть-Цыльмы, в полное подкрепление той истины, что мимо князя никак не проедешь, куда бы в самом деле ни сунуться: на юг или на север. Не мне первому оказывал он всевозможные услуги и помощь. В одном случае его жизни довелось ему быть даже спасителем от серьезной опасности молодого ученого Кострена, изучавшего здесь родственные языки его финляндской родины. Суеверные устьцылемцы, по какой-то странной огласке, сочли его за колдуна. Другие признали его за поджигателя, третьи уверились в том, что он лекарь, отравляющий колодцы. На беду, сам Кострен имел привычку гулять ночью. Дело обсуждалось в волостном правлении,— именно в том смысле, что им делать с чародеем. Два раза уже останавливали ученого на дороге, но князь не велел этого делать и умел разъяснить, что за дикая птица этот приезжий. В одном доме тряслись половые доски, на которых, между прочим, стоял ушат с водой. По забавному случаю, свалилась с печи малица, рассыпалась вязка дров, заколыхалась вода в ушате. Тут наверное засел черт, и посадил-то его этот самый наезжий чародей! — порешили печорцы. Надо было догадаться проделать опыты над трясучим полом при всех — и видеть, как у суеверных зачесались затылки, но не исчезли с лиц косые взгляды на финляндского колдуна. Поверить — не совсем поверили, но разошлись добром и по согласию.

По-прежнему я нашел здесь на обратном пути со стороны

Евсевия Осиповича предупредительную заботливость. Он прислал ко мне с моржовыми клыками и посками и мамонтовыми рогами продавца по ценам, установленным чердынцами: клыки подешевле, рога подороже, поски даром, курьеза ради, с приобщением о них архангельского анекдота (неудобного для печатного рассказа). Принесли в подарок курьезные каменные ядра с уверением, что они отваливаются от какой-то горы в тундре именно в этой поразительно правильной обточенной форме шаров. Оказалось, что князь заботливо относится ко всевозможным произведениям края, лежащим в неизвестности и еще не имеющим сбыта в значении продажного товара. Он пытливо допытывается у всякого заезжего о возможности применения известного сырого продукта. Он как приехал сюда, так и завел огород: насажал свеклы, редьки, моркови, гороху и, между прочим, картофеля. Дело небывалое и невиданное в слободе: крестьяне посмеивались. На картофель искоса поглядывали, прослышавши, что та овощь недобрая и в старых книгах проклятая. С князем принимались спорить, возражали ему:

— Что нам из картофеля, да и кто добрый человек будет ее есть? Коли уж сеять, так лучше же репу.

Князь высеял картофель в поле — осенила его благодать,— уродился порядочным. Сеятель и насадитель переупрямил: теперь картофель и овощи стали выручать голодную страну и огородничество оказалось важнее хлебопашества. Благодетель выписал свежих семян и раздарил охотникам. На следующий год они пришли и поклонились князю до самой земли. В одном князь не был счастлив: не сладил с бабами, настаивая на том, чтобы они покупали у чердынцев лен и ткали бы холсты.

— Не умеем, матери не учили нас ни ткать, ни прясть,— упрямо отвечали ему с привычным припевом.

Добродетельный человек не уставал: он уже успел дать ход гагачьим шейкам, покупаемым теперь на Пинежской ярмарке для выделки из них очень оригинальных, прочных и красивых, дамских муфт. Сам он из них сшил себе пестрый широчайший плащ, непромокаемый и отличавшийся, сверх того, еще тем, что сизые с отливом, испещренные беленькими бородками в таких же квадратах шкуры эти от дождя и снега становились еще красивее и сизее. Шила плащ самоедка, по обыкновению, оленьими жилами на вековую прочность, принявши за выкройку широчайший капюшон княжеской шинели военного покроя. Мне плащ понравился, и я мимоходом его похвалил. Когда я сел в сани, чтобы ехать по льду Печоры в обратную, князь прислал слугу с мешком, принятым мной как последний и обычный знак гостеприимства. Мне думалось, что добрейший человек позаботился снабдить меня съестной провизией на время четырехдневного переезда по голодной Тайболе с курными и неприступными избушками-кушнями. На реке Мезени в мешке оказался тот самый плащ, который практически служил на Печоре князю, а для меня лично являлся лишь редкостной вещицей на память и для подарков.

На тот раз снова цельно выяснилась маленькая фигурка большого человека в полном величии той изящной простоты, которая так гармонировала и пришлась по мерке с изумительной патриархальной простотой нравов жителей Печоры. В их глазах, в самом деле, князь оказался и образцово набожным человеком, соответственно племенному характеру, как грузин, и святым, безгреховным человеком — по личным свойствам. Он заслужил чрезвычайное почтение еще при жизни, которое, несомненно, должно перейти за пределы его подневольного временного пребывания на далекой реке и перенесется на его могилу. Невольно припомнились мне: и могила Киприана в окрестностях той же Усть-Цыльмы, пострадавшего в XVII веке за приверженность к расколу, и сомнительное место погребения знаменитого Аввакума с четырьмя товарищами, сожженными живьем в Пустозерске[38]. Песком с их могил лечатся от сердитых недугов и ходят сюда для поклонения. Если жива и действительна их память, то, по некоторому сходству участи, не откажет в том же благодарное печорское население неподкупному охранителю их прав, заступнику за их интересы и, несомненно, добрейшему человеку. Выяснился передо мной и тот разительный контраст, который оказался между этим победителем душ и сердец и теми поморскими благодетелями, которые подвели под свою тяжелую руку беззащитную бедность страхом отказа в помощи, денежной кабалой, требованием перемены веры и смены обычаев, перекрещиванием, насилованием совести и другими недобрыми делами.

На этот раз опять предстала передо мной эта высокая в нравственном смысле личность, скромными, неслышными способами получившая широкую известность. Прошлой весной одно из влиятельных лиц, отправлявшееся на Печору с важными поручениями и обратившееся ко мне за сведениями, упомянуло об Евсевии Осиповиче Палавандове и пожалело, что уже не может воспользоваться его услугами и благотворной помощью.

Когда последние для меня [дни] оканчивались досадным сроком поездки и надо было благодарить и прощаться, я решился задать князю тот вопрос, который он искусно сдерживал до сих пор,— вопрос, невольно напросившийся в последние минуты свидания:

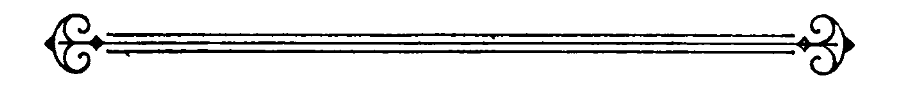
— Когда же вы, князь, соберетесь наконец оставить Печору и решитесь переменить худшее на лучшее?

Известно было, что не один раз ему предлагали на выбор любое место лесничего во внутренней России, даже в теплой Малороссии, только не за Кавказом, но он упорно отказывался.

— Зачем? — отвечал Евсевий Осипович и мне вопросом, как, вероятно, делал и при формальных запросах служебного начальства.— Печора дала мне все, что не дала бы и родина. Здешний прелестный климат на старости лет закалил меня таким здоровьем, что могу даже отбавить другим желающим. Таких людей, как здесь, мне уже нигде не найти. Нет, не могу вам сказать: до свидания,— прощайте навсегда, до возможной встречи там,

на небесах, в будущей жизни. Ведь я верующий!.. Для меня уже давно и бесповоротно сложились все мои желания надвое: либо на родину — в Грузию, в Тифлис, либо здесь — на Печоре, в Усть-Цыльме,— продолжать жить и здесь же умереть.

В Усть-Цыльме, на церковной горушке, действительно насыпана могила князя рядком с теми многими, для которых он посвятил все слишком двадцать последних лет своей безупречной и небесследной жизни. На старом церковище остался небольшой холм: все размыло и унесло напором реки. Новое место настолько уже надежно и прочно, как самая память о незабвенном благодетеле забытого и заброшенного края.



V

УСТЬ-ЦЫЛЬМА

История заселения этого места.— Мой хозяин и раскольники.— Предания.— Рассказы о ловле семги.— Очереди и общины.— Суда каюки.— Поплавня.— Чердынцы.— Быт устьцылемцев.— Свадьбы.— Раскольницы.— Легкие нравы.

Существование Усть-Цыльмы как селения не восходит дальше времен Грозного. По двум сохранившимся грамотам его видно, что основателем слободки Цылемской, при впадении р. Цыльмы в Печору, был новгородец Ивашко Дмитриев Ластка, которому и дан «на оброк на Печоре на Усть-Цыльме лес черный» с правом «на том месте людей *называти*, жити и копити на государя слободу, а оброку ему платити в государеву казну на год по кречету или по соколу, а не будет кречета или сокола, ино за кречета или сокола оброку рубль», на том основании, «что по тем речкам лес-дичь, а пашен, и покосов, и рыбных ловищ исстари нет ничьих, и от людей далече, верст за пятьсот и больше». «А кто у того Ивашка,— говорит грамота дальше,— в слободе приезжих людей учнет жить сильно, а ему не явился, и он с того емлет про мыты на великого князя рубль московский», и проч. Богатство края: рыбные ловища и кречатьи и сокольи садбища (по словам грамоты), и лес-дичь (непочатой), породило Ластке противников: кеврольцев, чакольцев и мезенцев, из которых некоторые знакомы уже были с Печорой и ее богатством прежде — «ловили рыбные ловли наездом», как говорит вторая грамота в другом месте. Эти придумали хитрость, хотя и весьма неловкую: они задержали Ластку, на пути в Москву, у себя на Пинеге, отправив вперед своих приспешников ходатайствовать у царя об новой грамоте для себя исключительно. В марте посланные явились в Москве с челобитьем и сказом «про Ивана про Ластку, что его без вести нет» и что они готовы дать оброк за два года вперед по три рубли на год. В апреле приехал и Ластка и к прежнему оброку надбавил еще рубль против противников своих. Решено было тем, что Печора осталась за Ласткою, «потому что (как сказано в грамоте) нас те кеврольцы, и чакольцы, и мезенцы Вахрамейко Яковлев с товарищи оболгали, что Ивашки Ластки без вести нет, а давати ему оброку царю и великому

князю на год в нашу казну по четыре рубли московских». На обороте подпись Грозного и следует приписка, из которой видно, что пинежане на новый оброк Ластки наложили еще свой рубль, но Ластка и тут не уступил: Печора осталась-таки за ним за шесть рублей оброку в год. Это и засвидетельствовано скрепою такого знаменитого окольничего, каким был друг Грозного царя, Алексей Федорович Адашев[39].

«Ластка затем лес-дичь расчищал, и в слободку людей призывал, и церковь Николы Чудотворца в той слободке поставил, в 1547 году, и попа устроил, как ему у тоя церкви можно прожити!»

Все это происходило в 1555 году. Через девять лет, в 1564 году, в Усть-Цыльме считалось уже 14 дворов и «в них людей 19 человек, по Якимову письму Романова». В 1575 году «по Васильеву письму Агалина да подьячего Степана Соболева внове прибыло (перед прежним) два двора, а людей в них прибыло 4 человека», а при них «церковь с трапезою Никола Чудотворец на погосте и при ней черный поп Андреян». «А се угодья Усть-Цылемския волости жильцов, по реке Печоре рыбные ловли и тони и речки и стороння, которыя устья падут в реку Печору... и всего 14 тонь да 6 речек. А ловят на всех на тех тонях красную рыбу семгу, а в речках ловят белую да бобры бьют* всею Усть-Цылемскою волостью жильцы. А владеют они волостные люди во всяких угодьях двумя долями, а третьею долею во всех угодьях владеют тутошные слободчики Иванко Ластка... Да в той же Цылемской слободке хлебные пашенки позади дворов их в капустных огородишках, их же новые розчисти всей волости пашенки пять четей, и они те пашенки в иной год пашут, а в иной и не пашут, потому что морозом убивает; да их новые розчисти, а на тех розчистях косят они сено. А давали они прежь сего царю и великому князю в казну с тое пашенки и сенных покосов по тому, как было прежь сего, по рублю московскому на год. А разводити им тот оброк промеж себя самим по своей пашне и по сенным покосам, кто сколько пашет». В начале нынешнего столетия домов считалось в Усть-Цыльме уже 120, а жителей 417 душ; церквей 2, обе деревянные, из которых одна, построенная в 1752 году, обветшала, другая, новая, построена в 1853 году.

По преданию, обе церкви и дома жителей были ближе к Печоре, но случился пожар — и первая церковь, просуществовав около 200 лет, сгорела вместе с деревней. Хотели ставить храм на старом месте, но образ Спаса, принесенный сюда Ласткой и товарищем его Власом, сам собой переходил на новое место. После нескольких попыток возвратить на старое место принуждены были остановиться на избранном им самим новом месте. Скоро и все поселение перешло сюда, а старое размыло и унесло напором Печоры,— остался на память небольшой холм. Новая церковь построена точно так же, с соблюдением того архитектурного приема, который затре-

* Бобры теперь там замечательная редкость.

бован самой жизнью и указан прежними обычаями. Окна в церкви и на паперти прорублены только с южной стороны; с северной, откуда налетают злые студеные силы, оставлено небольшое, всего не больше четверти, квадратное оконце. Явленная икона угодника Николы (вершков шести длины) украшена серебряной ризой со стразами: всякий плывущий сверху молится здесь и жертвует.

Вот все, что можно было узнать про прошедшее и отчасти настоящее Усть-Цыльмы по древним памятникам, актам и книгам,— а в настоящем... Так называемая отводная квартира — комната, обитая, к удивлению, шпалерами, хотя и дешевенькими и старенькими, вроде тех, какими обиваются станционные комнаты в дальней России, на больших трактах. Крашеный стол с побелевшей доской, выскобленной хлопотуньей хозяйкой по излишней чистоплотности, кровать двуспальная с ситцевыми занавесками — во всем признаки квартиры, передо мной только опростанной хозяевами. В углу печь огромная и на этот раз до того натопленная, что в комнате было невыносимо душно. Передо мной сам хозяин, успевший уже расспросить меня: кто я, зачем и откуда.

Все дома усть-цылемские плохо срублены, неискусно слажены и потому большей частью холодны и в морозы требуют усиленной топки дешевыми дровами. К тому же избы эти переполнены черными тараканами, прусаками.

— Да теперь на них лекарство придумано,— объясняет хозяин,— растворим окно, остудим печи, двери распахнем, сами к суседам переберемся — вымораживаем дня два-три. В досельные годы, при Грозном царе, когда этот черный таракан на Руси появился, не знали, что с ним делать,— боялись. В одном месте полдеревни — сказывают — сожгли от них. В другом целую деревню спалили, чтобы зверя этого истребить.

Пригласил я хозяина чаю напиться — не отказался, но, взявши чашку и перекрестившись, оговорился:

— У нас эдакие вот есть, что с тобой из одной чашки не станут пить и есть...

— Отчего же?

— Вера, значит, такая. И в кабак идет со своей чашкой. Не люблю я этого!..

— Сам-то ты старовер?

— Старой веры, что таиться, старой веры! Да я только старым крестом крещусь — истинным, значит, да в церковь не хожу, по батюшкину по завету,— а то ничего. У нас почесть все так, все селение.

— Какого же вы толка?

— Да ты нешто по этому делу приехал? Так я к тебе такого человека приведу: он тебе все скажет, а я говорить не умею. Пойдем теперь, я те селение наше покажу, да и от собак обороню. Много же их у нас в селенье: по осеням-то нас волки обижают, забегают с Печоры, так противу них!..

Пошли. Перед глазами ряд домов без порядка и симметрии: один нахально выступил вперед и сузил улицу, другой робко спря-

тался за него, закрывшись каким-то сараем и обернувшись главным фасом своим совсем задом к соседу. Дома эти все двухэтажные: у верхнего приделаны балконы, у окон ставни расписанные, размалеванные по всей прихоти доморощенных вкуса и соображения; у каждого на крыше по шесту с флюгаркой, которую часто заменяет простая крашенинная тряпка, голик, палка. Все дома, при общем взгляде на них, как будто сейчас сползли с соседней горы и наперерыв друг перед другом стараются быть поближе к реке Печоре. Печора привольно раскинулась перед селением версты на полторы в ширину. Шли мы долго, и селению, кажется, конца нет.

— Длинна же ваша Усть-Цыльма? — обратился я к проводнику-хозяину.

— Живет-таки. Семь верст из конца-то в конец считаем. Пустырей уж очень много при болотах, вишь, выстроились, проталинки такие по сю пору видны. Вон, гляди, какой пустырь!

Перед нами площадка, в одном конце которой, на пригорке, новая церковь; справа недурное (сравнительно) здание с надписью: «Сельская расправа», подле — кабак. У кабака куча народу, обратившегося в нашу сторону с изумленными и недоумевающими лицами. Один отошел в нашу сторону; хозяин приотстал.

До слуха моего донеслось следующее:

— Начальник?

— Начальник.

— Какой?

— Большой, из самого из Петенбруха.

— Про нас?

— Кажись...

Еще несколько слов. которых уже нельзя было расслышать.

На обратном пути к дому весь народ, стоявший у кабака, значительно увеличившийся в количестве (сколько мог я это заметить), снял шапки. Хозяин опять отстал, пославши вдогонку за мной парнишку, вероятно с прежней целью — отгонять от меня собак, и пришел в мою комнату, уже час спустя, с поклоном, умоляющим видом и вопросом:

— Не вытолкаешь ты меня в шею?

— Чего ты это, бог с тобой! Милости прошу, садись, потолкуем!

— Я не за тем...

— Что ж тебе угодно?

— Да угодно твою милость, значит, утрудить просьбой...

— Какой же? садись и рассказывай!

Хозяин продолжает ежиться и кланяться:

— Я не за себя, выходит...

— За кого же?

— Мир тебя видеть желает: выборных прислал — не прогонишь ты их? В избе ждут...

— Проси их, что им надо?

Хозяин опрометью бросился за дверь и явился с целой толпой мужиков, из которых только одна половина могла уместиться в комнате; другие установились в избе. Из толпы выходит один,

видимо самый бойкий, кланяется низко в пояс и, встряхнувши седой головой, спрашивает:

— Из Петенбруха ваша милость?

— Да. Что тебе угодно?

— По каким по таким по делам изволишь?

— Посмотреть, как вы рыбку ловите, суденки строите...

— А не по духовным? — послышался вопрос от другого.

— Нет, решительно нет.

— А мы думали — по духовным: у нас, вишь, тут дело есть такое немудрое...— продолжал опять первый.

— Церковь, вишь, благословенную построить хотели,— поддержал его второй голос.

— Так, вишь, ни то, ни се — уж и не знаем, как дело-то это понимать? Яви божескую милость, прими прошеньице!

Весь народ — и передние, и задние — повалился в ноги. История принимала крутой оборот, неожиданный, неприложимый ко всему тому, чего я от них хотел и чего мог ожидать.

— Я, братцы, не за тем послан. Просите тех, от кого это прямо зависит: мое тут дело сторона!

Просители опять поклонились; на лицах их можно было прочитать какое-то недоверие к моему ответу. Первым вывел меня из этого неловкого положения тот, который начал говорить со мной и которого они, по-видимому, выбрали своим адвокатом.

— Ну, прости нашу глупость мужицкую, что беспокойство тебе причинили. Не гневайся!..

Задние уже полезли из дверей, но выборный оставался.

— Мы ведь темный народ, известно. Думали, что ты вправду такой!..

Он наконец поклонился и вышел. В избе уже начался базарный шум, который становился все громче и громче. Немного спустя дверь опять отворилась. Явился седой старик опять с поклоном:

— Говорить с тобой послали...

— Об чем же?

— О том говорить послали, что тебе самому-то надо. Сказывай! Зачем, даве сказывал, послали-то тебя? — я не вслушался...

— Посмотреть, как вы суда строите, как вы рыбку ловите...

— Суда строим? да судов-то мы ведь не строим никаких, нет у нас заводу экого с искони бе. Карбасишки вон шьем маленькие, про домашнюю потребу. Большие-то суда из Мезени приводим. Пониже-то, вон в Городке (Пустозерске), в редкую когда строят же и большие, да мало... Каюки* чердынцы приводят,— так и те там вверху делают, у них же... Пущаем их с рыбкой, кому надо. А рыбку-то мы больше семушку (семгу) да сижков (сигов) про-

---

* *Каюк* — грузовое судно, крытое двускатной крышей, снаружи высмоленное, длиной от 8 до 12, шириной от 3 до 5 сажен; в корме каюта; вершина носа загибается внутрь судна. Суда эти ходят и против течения на парусах и бечевой (редко, впрочем); в море не пускаются. Грузу поднимают они от 6 до 9 тысяч пудов.

мышляем. Велишь, что ли, сказать, как рыбку-то промышляем, али не надо?.. Может, ты так про рыбу-то спрашивал?..

— Сделай милость, будь так добр!

— Осенью ведь это больше, потому семушка рыбка такая прихотливая, забавная — сказать бы тебе надо. Любит она, матушка, ветры, бури, чтоб вода-то, как в котле, кипела. Знает ли она, что человеку-то эта погода не люба и сидит-де всякий крещеный в ту пору дома, алибо другое что; по мне, кажись, вернее то: господь ее бог сотворил уж такой, что ей бы все с волной да с порогами бороться, силой своей действовать... Христос ее ведает в том. Только она все против воды идет, наустречу, а ведь Печорушка-то наша больно же бойка, быстро бежит. Навага, сиг, пеледь опять — эти идут больше в ясную погоду, когда солнышко светит, а семушка — нет! Как, выходит, поднялись бури, так мы за ней и выезжаем — прости, бог, грехам нашим! Пущаем *поплавню* * — сеть такая большая, как есть река шириной. Этой больше ловим всем селением, а то и неводами,— теми, почитай, меньше, одначе. Что выловим, то на мир и разложим и продадим чердынцам, которые на каючках-то приходят к нам. Этим вот и подати оплачиваем государевы. Ты так и записывай, где у тебя там...

Ловим очередями, кому жеребий укажет, а то порешим суточно. Сперва выезжает первая лодка и вывозит поплавию на самую середину реки. То место приметно всем и потому зовется тоней. Здесь конец сети бросят с буйком (бочоночек такой заведен у нас, ино — он же и матафан, зовут и так). Парни торопятся скорей бы выкидать сеть, а конец ее в руках держат. Версты с три плывут по течению, по тоне-то, а там и начинают забирать в лодку и сети, и рыбу с ними. Затем — вторая очередь наступает. Просто же дело-то это, я так думаю, и писать тебе нечего,— где у тя книжка-та?

То же общинное право является в силе и дальше на устьях Печоры, где также все участвуют в ловле, не исключая вдов и сирот. Тони погодно переходят в пользование от одной деревни к другой, и каждая деревня, в свою очередь, имеет хорошую и худую тоню.

---

* *Поплавня* — крестообразно сделанный из палок поплавок, к которому привязывается длинная, до 200 сажен, во всю ширину реки, сеть и который оставляется на одном берегу реки. Сеть эта, у которой наверху поплавки из бересты, а внизу кибаса — каменные якорьки — постепенно выметывается из лодки к другому берегу и принимает вид вогнутой линии, подаваясь вперед по течению. Когда вся сеть будет выброшена, тогда едут с ней с версту по течению и потом медленно заворачиваются, выбирая сеть в лодку. Рыба обыкновенно, проходя, вязнет в ячеях, величина которых несколько меньше середины тела рыбы, бьется и тем дает знать о месте нахождения. Заметивши ее в воде, и обыкновенно для того, чтобы она не выбилась и не ушла, достают ее оттуда железным крючком, вонзая его в бок. С неводом та же история, с той разницей, что неводом ловят в меньшем участке реки, а не во всю ее ширину. При неводе успех ловли зависит от того, чтобы возможно быстрее загребать, перегибая невод к береговой стороне. Береговой конец — без поплавни, его держит на берегу работник. Их требуется до пяти человек, чтобы могли бороться с бурями: они высоко вздымают волны Печоры, а лучший лов все-таки в ненастное, ветреное время, в бурную, темную ночь.

Одни действуют капиталом, другие — трудом. Желающие продают свои паи или участки в паях.

— Что же дальше с рыбой?

— Солим. Правда, лежит же она у нас сутки двое, и пожалуй, и трои в воде,— мокнет, значит...

— Зачем же так? ведь этак вся истощает: она дрябнет телом, делается хуже, вон как и по Белому морю.

— Это правда, что дрябнет, тоже вон и чердынцы сказывают.

— И солите-то, вероятно, скупо.

— Не больно же щедро; и на это указывают все...

— За чем же дело, отчего не делаете лучше?

— Да уж делать, видно, так, как заведено исстари. Вот поди ты, отчего бы и не делать-то лучше, право! Ишь ведь мы народ какой глупый, право? Захотел ты от нас, от дураков: как, знать, рождены, так и заморожены, право!..

— Чем же еще-то живете вы?

— Да как чем — вон скотинку держим, и много скотинки-то этой держим. Бьем ее — мясо продаем самоеди. Любят ведь они мясо-то и сырьем жрут, так,— пар тебе идет от нее, кровь течет с нее, а ему-то тут, нехристю, и скус, и глазенки-то его махонькие все радостью этой наливаются. Это ведь не русское племя. Вон посмотри ты их: живут они по тундре-то и по деревне у нас ходят, кто за милостыней, кто в работниках живет; бабы... те шьют, и таково ловко шьют — поискать тебе на белом свете!

— Олени-то есть у вас?

— Самая малость. Только про свой обиход. Во всем селении не найдешь половины противу того, что вон у ижемца у другого и не больно богатого. Олени-то все у них, вся тундра у них, всех самоедов ограбили эти ижемцы. Зыряне ведь они, не наши!.. Бедное ведь наше селение, больно бедное: босоты да наготы изувешены шесты. Смотри: дома все погнили да рушатся, а поправить нечем. Вон и теперь дело с пустозерами не можем порешить: загребли Печорушку всю почесть; выселки свои понаделали чуть не под самым у нас носом. Тако дело!.. Не похлопочешь ли ты, ваше сиятельство, яви милость божескую! Плательщики бы были до гробовой доски!..

Старик поднялся со скамьи и повалился в ноги.

— Не нравится мне, старик, низкопоклонство ваше,— зачем оно?

— И, батюшка, с поклону голова не сломится! Будь ты-то только милостив, а мы за этим не стоим!..

— Вы, старик, все-таки меня не за того принимаете, за кого надобно, ошибаетесь...

— Ну, прости, прости, разумник! Не буду просить, ни о чем не буду просить, разве... не кури вот, кормилец, при мне: больно уж оченно перхота долит!

— Изволь, для тебя и за твою словоохотливость...

— Ну да ладно, постой, о чем бишь ты даве спрашивал? Еще-то тебя зачем послали?

— Да вот затем еще, чтоб посмотреть, как живете?

— Живем-то? Да больно же нужно живем. Сторона, вишь, самая украйная; чай, тебе и доехать до нас много же времени хватило?

Я сказал.

— Больно бедно живем — это что и толковать! Прежде получше жили, а вот теперь какую тебе чердынцы цену за семгу дадут, то и ладно, ту и берешь с крестом да с молитвой. На все ведь нам надо деньги; все ведь мы покупаем: вон и постели — шкуры оленьи, надо бы сказать тебе — и те покупаем, чего бы хуже! У ижемцев экого добра столь, что хоть волость-то всю укутывай — хватит. Они и оденутся, они и денежки в кованый сундук положат — богаты! Бедней-то нас ты на всей Печоре не сыщешь. Немногим, чем самоеди-то, богаче живем...

— Зачем же народу так много у кабака стоит?

— Пьют у нас — это правда, что пьют, да не больно же шибко. А у кабака стоит кто: не всякий же и за питьем пришел; гляди, наполовину — так постоять собрались да покалякать. Где больше-то делать этак в другом месте? А тут тебе весь мир, весь деревенский толк. Малицы наши теплы, и к морозу мы свычны, озяб который, в кабак зайдет погреться: под руками благо! По праздникам пьют и шибко гуляют — что хитрить? Наши пьяницы хоть и не очень отягощают себя пьянством, однако не дадут своей доле испортиться в подвальной бочке, да и чужое-то, пожалуй, не квасят. Я ведь тебе всю правду... Что же еще-то ты смотреть у нас станешь?

— Песни буду слушать да записывать, не попадется ли хорошая?

— На поседки, стало, пойдешь к девкам? — это ты дело! У нас это все любят, никто не обойдет селения нашего. Затем и слава такая пущена,— чай, ты и на Мезени про то слышал? У нас это одно не ладно: в старину, сказывают, благочестнее было да и на моей памяти смирнее. Теперь измотался народ, иссвободился. А может, так и надо.

Не сказал ли я тебе, ваша милость, обидного чего этим словом самим? — Прости! Я ведь опять,— сглупа. Пошто же эти тебе песни-то?

— Необходимы также, очень пригодятся мне!

— Да пошто же и ехать тебе этакую даль? По мне, кажись, ехал ты напрасно: у вас там, в Расее, лучше, красивее, бают, наших песни эти. Не надо бы...

— Это не главное.

— То-то. Еще что тебе надо?

— Посмотреть, как свадьбы справляют.

— Это можно. Почему же опять и не посмотреть тебе, как свадьбы справляют? — У нас ведь это все по старине, по самой стародавней.

— Вот это-то и хорошо: это для меня еще более любопытно.

— Ну, врешь, ваше благородие! Ты это не по себе... ты это меня, старика, приголубить хочешь: видишь, что стар я, да старым

крестом помолился, да разговоры тебе разговариваю, ты это меня поласкать... Я тебе не верю! Сказывай дальше!..

— Другие у вас обычаи, каких нет в других местах, приехал посмотреть...

— Да ведь этих-то нет у нас, совсем нет, хоть и не ходи и не выпытывай! Мы живем, надо тебе сказать всю правду, так, как нам начальство велит, от себя мы ничего... ни-ни, ничевохонько...

Старик при этом мотал головой, шевелил ногами, руками махал; приподнялся со скамьи и, наклонивши голову к плечу, с умоляющим, льстивым выражением лица, примолвил:

— Батюшка! ваша сиятельная особа, христов человек! позволь, я к тебе давешних-то мужиков приведу, хоть не всех... Сделай милость,— за благодарностью тебе мы не постоим!..

Словам этим скорее можно было, пожалуй, смеяться, чем сердиться на них. Во всяком случае, от старика не было никакой уже возможности добиться чего-нибудь более толкового, идущего к делу. Он начал отвечать как-то урывчиво, невпопад, от большей части вопросов отказывался крайним неведением, несмелостью, тупостью и неразумием. Старик, видимо, хитрил и окончательно не доверял мне, что особенно ясно высказал при прощании со мной:

— Прости,— говорил он,— пошли тебе господи вечер сей без греха сотворити!

— А ты, кормилец, ангельская твоя душа! — прибавил он потом, немного помолчав и подумавши,— меня не тронешь? Не тронешь за то, что тебе наговорил: может, какую глупость, не ведаючи, вывалил. Памятью-то уж больно слаб стал. Многое и не хотел бы сказать — сказывается! Прости ты меня, старика, дурака досельнего. В гроб бы мне уж надо, вот что! Прости, твое благородие!

Суровость климата, а вследствие того скудость почвы, которая способна произращать только один ячмень, всегда не дозревающий, плохого качества и в малом количестве, наконец (и это главнее всего) — близость моря отвлекают устьцылемца от домашних работ и приучают его к странствиям в дальнюю сторону. Большую часть весны и лета они, как и все приморские жители, проводят на море: или около устья Печоры, или даже на Новой Земле. Осень, самое рыбное время для Печорского края, призывает устьцылемцев к дому, или, лучше, к родной реке. Только зима — и это особенное счастье, исключительное право для них, сравнительно с другими приморскими жителями Архангельской губернии,— находит их дома. Но в это время устьцылемцу уже положительно делать нечего, если не накопилось (и лишь у самых богатых из них) излишнего количества рыбы для продажи. Дальние поездки на места сбыта: на Пинежскую и Усть-Важскую ярмарки отнимают, правда, у них бо́льшую часть глухой зимней поры, не принося существенных выгод. Рыба, сравнительно с Пустозерской волостью, добывается в усть-цылемских участках по Печоре в значительно меньшем количестве. Лов и сбыт добытого лесного зверя (лисиц,

выдр, песцов — «псецов» по местному выговору,— горностаев, белок) также сравнительно ничтожен. Оленеводство, по словам старожилов, обогатившее наружно слободу, теперь в решительном упадке, по причине сильного соперничества Ижемской волости («Ижемцы»).

Вот почему — сильно развившаяся в последнее время в этой волости страсть выселяться на другие места, даже за Уральский хребет, на Обь (за Сибирский камень, по их выражению),— причем значительное количество устьцылемцев в наймах у богатых ижемцев и пустозеров. Бо́льшая часть промыслов идет на вымен хлеба и других необходимых для домашнего обихода предметов, привозимых издавна усть-сысольскими торговцами, а в последнее время сильно набившими руку в коммерческих операциях ижемскими крестьянами. Мелкий рогатый скот, по большей части комолый, давнишний предмет внимания устьцылемцев, дает, правда, сравнительно значительное количество сала и масла, но и эти продукты находят более выгодный сбыт только в руках наезжающих купцов и торгашей. Выставляют, правда, устьцылемцы всякому проезжему и захожему гостю нетуземные лакомства: кедровые орехи, пшеничные баранки, известные у них под названием калачиков, вяземские пряники (во имя исконного обычая гостеприимства); пьют даже чай не с медом, а с сахаром; но и за этой щепетильной роскошью можно усмотреть внимательным взглядом самую неприглядную и вопиющую бедность, всю в лохмотьях и заплатах. Дома все до единого расшатало бурными ветрами со стороны моря и огромной Большеземельской тундры, всеми пургами, хивусами, заметелями, куревом, и размыло проливными весенними и осенними дождями. Нет (по словам достоверных свидетелей и умных старожилов не из деревенского сословия) ни одного слобожанина, на которого можно было бы указать как на достаточного, не говоря — богатого. Повсюдная бедность, вопиющая бедность! Между тем нет ни одного селения (исключая толковой Ижмы), в котором была бы сильнее развита грамотность, как в Усть-Цыльме. Здесь, естественно, как и во всех других местах России, надо искать причину в расколе, сильно развитом по всей волости*. Как непреложный факт, за истинность которого можно ручаться, известно, что все архангельские раскольники грамотны. Такова и Усть-Цылемская волость. И вот почему становится понятным известное всем ученым, исследователям отечественной старины, богатство здесь старинных памятников письменности в актах, отдельных монографиях, старопечатных книгах, грамотах и других

* В Усть-Цыльме, между прочим, проявился местно чтимый святой. Зовут они его Иваном Постником и на могилу его, верстах в трех от селения, ходят в июле совершать панихиды. Здесь под лиственницами стоит деревянный гроб отшельника, который выходил из своего уединения в слободу, ходил по домам, когда вздумает и всегда нечаянно, толковал подолгу и помногу. Ни от кого не принимал за то никакого угощения, никаких подарков и не сказывал, где живет. Однажды выследили его, но в то же время видели, как он встал на коленки и остался недвижим. От воззрения грешников скончался, и уже над мертвым соорудили гроб, который существовал в том же виде и в наше время.

бумагах. Они свято хранятся здесь на тяблах, в чуланах и крепких сундуках за замком не как вещи, имеющие ценность, как нечто старое, пережившее много столетий, но как материал для поучения и чтения назидательного, усладительного, душеполезного. Пишущему эти строки удалось видеть свежие, недавние копии, целыми томами большого формата, со старопечатных книг и целые сборники-книги, которые поразительны по той разносторонней пытливости и любознательности, с какими старались записывать печорские грамотеи все, что могло интересовать их и насколько позволяли то делать небогатые относительно средства. Достоверно, однако же, и то, что здесь заводилось училище, но устьцылемцы не приняли его по той причине, что в нем обещали учить по новым, а не по старым книгам, и опять обратились к своим доморощенным грамотницам-бабам — по обыкновению, престарелым сиротам, вдовам или засидевшимся до поздней поры девкам.

Такова вся жизнь устьцылемца, несложная по обыкновению, как и вообще жизнь всякого простого русского человека, по тем сведениям, которые посильно удалось мне собрать в недолгое пребывание в Усть-Цыльме.

Родится он в бане, под присмотром и на глазах досужей приспешницы родильного дела, бабки-повитушки; пять суток выдерживают его в банной духоте и теплоте, часто обмывая. Роженица тоже моется и тоже, до истечения пяти суток, выйти из бани не смеет. В избе, на шестые сутки, новорожденному дается имя ставленной девкой или стариком по старопечатному требнику и при благословении дониконовским крестом. Дальше стараются всеми мерами уберечь дитя от недоброго взгляда и неладного оговора чужим человеком; в противном случае вспрыскивают его через уголь холодной водой до судорожного состояния во всем молодом, нежном теле. Потом целых полгода пеленают его усердно и крепко, чтобы не выросло дитя уродом, и не кажут ему сильного печного света, чтобы не косило оно потом во всю жизнь глазами. Годовалых кладут на закорки подростков, сестренки или братишки, и дают право выходить на улицу дышать свежим воздухом и развивать на неоглядных полянах, обступивших кругом селение, молодое зрение, которое в взрослом состоянии пригодится при стрелянии дичи и лесных зверков прямо в мордочку. На вольном просторе и при не удерживаемой ничем свободе ребенок развивается в куче соседних ребятишек-сверстников дальше во все время до тех пор, когда он делается полным парнем-женихом. Смирен он от рождения — его бьют и делают подневольным мучеником всех детских капризов; боек он — ему первый скок в чехарду, ему переднее место во всех играх. Везде он — из главных зачинщиков, а потому чаще бит и отцом своим, и чужими, и сельским начальством. С раннего возраста, лет с 3 или 4, он уже в лодке, на воде, с веслом в руке на детских шалостях, а вскоре и в серьезных работах, где требуется от него ответ нешуточный. Его посылают по ягоды за Печору и туда же стеречь и считать пасущуюся скотину. Он уже сидит на лошади как большой, уже умеет при

ветре справиться с парусом и не опружиться, за отсутствием отца на промыслы, помогает бабам дрова колоть, печь затоплять и во всех домашних работах *умелый* человек и большое толковое подспорье. Вот он и на рыбных промыслах побывал, и в тундре ходил за оленями, и ими умеет править, и знает весь обиход при этом (хотя бы то было и не слишком трудное дело, по-видимому). Он уже большой подросток и в поседках на святках и в супрядках в Филипповом посту видит не простую ребячью забаву, а что-то побольше и посерьезнее и потому не пропустит приглянувшуюся ему девку без щипков и щекоток. «Вот,— толкуют бабы,— еще *полный жених заводится*». Девки и его в *счет кладут* во всех затеях: будет ли то артельная прогулка за ягодами в дальний лес или посиделка с *хухольниками* (ряжеными), когда любят в избах гасить лучину и выгонять лишний народ вон на улицу. Парень замечен невестами и одной особенно преследуется на всех встречах и перекрестках. И сам не прочь на ответ и привет и сует выбранной суженой горсть медовых пряников, кедровых орехов, перемигивается часто и многозначительно. Раз платок подарил; узнали бабы об этом и решили, что парень скоро засвататься должен,— и не обманулись. Жених дождался только, когда прошли святки и когда минуло ему семнадцать лет — срок, установленный местным обычаем, и послал сваху, накануне перемолвившись с суженой за банями. За согласием не стоит дело: родители невесты знают, что дочь ненадежный товар, залежится — с цены спадет, а парни по деревне все равны, ни один не лучше другого, все на одну колодку деланы. Знают они это и велят жениху нести *запрос* (от 10 до 15 руб. сер. деньгами), по очень старинному обычаю: «деньги на стол, так и невеста за стол». Пьют запой на женихов же счет и с женихом вместе, который знаком с кабаком еще с юных лет (13-ти и много с 14). Таковы усть-цылемские обычаи! На смотринах этих творят и рукобитье, и назначают день свадьбы, но не откладывают его на долгий срок. Промысловый народ, весь без исключения, не любит разводить пиры по обычаю приволжских губерний, особенно устьцылемцы, у которых всякий грош на счету и решительно нет ни одного лишнего. На другой же день, рано утром, выбираются дружки из тех ребят, у которых есть синие кафтаны; у женихова на правом плече нашивают ленты, у невестина дружки — на левом: оба в тот же день ходят сзывать по домам родных и знакомых на завтрашнюю свадьбу.

В день свадьбы, поутру, собираются у жениха все родственники, садятся за стол и ставят свадебный каравай и пирог. Затем выпьют по два стакана пива и по два стакана вина, молятся иконам и едут за невестой, жених рядом с крестным (он же и тысяцкий, обязанный платить половину свадебных издержек), дальше сватья, а там остальные жениховы поезжане. Женихова пара, а подчас тройка, гремит тремя-четырьмя колокольцами. По приезде к невестину дому все идут с крестом и образом на крыльцо в таком порядке: впереди дружки, за ними жених и тысяцкий, дальше сватья и, наконец, поезжане. Дверь заперта. Женихов дружка коло-

тится с молитвой: «Господи Исусе Христе, сыне божий!» — до трех раз. За дверью отдают «аминь». Следуют вопросы из избы, делаемые кем-нибудь из родственников невесты, большей частью братом, и ответы брата жениха, в таком порядке:

«Что вы за люди?»

— Мы люди божьи да государевы.

«Зачем пришли?»

— По ваше сулено, по свое богосужено.

«Какой земли?»

— Российской.

«Какого царя?»

— Белого.

«Как его зовут и прозывают?»

— Александр Александрович Романов.

«Деточки?»

— Николай, Георгий, Ксения, Михаил, Ольга.

«Где столица?»

— В Питинбруги.

«Которой вы веры?»

— Самой истинной, православной.

«Не по новой?»

— По старой.

«Какой вы губернии?»

— Архангельской.

«Какого уезда?»

— Мезенского.

«Волости и селения?»

— Усть-Цылемского.

Дальше следуют вопросы: как зовут жениха, отца его, мать, братьев, сватьев, дружек, поезжан. Разговоры идут добрых полчаса. Наконец их впускают в избу, сажают за стол по порядку и обносят вином и пивом, а за неимением последнего — квасом. Затем невесту, окончательно наряженную к венцу*, с накинутым через голову платком на лицо, выводят к жениху и передают ему из полы в полу конец накинутого ей на голову платка. Жених сажает ее рядом с собой за стол. Немного посидевши, встают: отец невестин спрашивает жениха: «Будешь ли кормить-поить, одевать-обувать и женой почитать?» По ответе «буду» начинается совершение

---

* *Несколько слов о наряде устьцылемок.* Девушки выпускают из-под платка, вышитого золотом, косу с гайтаном по спине; по праздникам вместо гайтана вплетают яркие ленты. Сарафаны праздничные от подбородка до подола спереди обшиты пуговицами; колодки у башмаков на подошве проколочены гвоздями. При повойниках (кокошниках-сороках остроугольных) употребляют золоченые подзатыльники. Вместо гайтана на кресте богатые девушки и женки по праздникам употребляют широкие серебряные цепи, переходящие по наследству из рода в род и тщательно хранимые. Лент в косы наплетают иногда аршин до десяти. Серебряные перстни и меховые шубейки с куньей, лисьей и беличьей опушкой еще в моде. Но всегда и у всех, если не по сарафану, то по рубашке, надет пояс, и потерять, подарить или забыть его, по староверскому поверью и обычаям, значит — накликать на себя всякого рода несчастья.

обряда бракосочетания по старым книгам и старым обычаям; затем пир и угощение. Первыми рюмками обносят молодые и, подслащая, по обычаю, горечь вина поцелуями, получают от гостей деньги: 10, 15, 20, 25, 30 и иногда 50 коп. сер. Мужчины при этом целуют молодую, а женщины молодого. Угостивши гостей, молодых уводят в дальнюю комнату; и пир, в собственном смысле, затевают уже на другой день в доме молодого и продолжают на третий в доме молодой.

Живут ли молодые согласно и честно? Хотя это дело домашнее и потому, как говорится, темное, но ответ на этот вопрос может дать смысл большей части песен, правда неутешительный по отношению к нравственности усть-цылемских слобожан и слобожанок, тем более что в иных местах пишущему эти строки таких песен находить не удавалось. Из 12 песен с подобным содержанием выбираем три с менее резкими выходками против супружества.

В одной из них заключительные слова, обращенные к отцу, такого содержания:

Не давай меня, батюшка, замуж;
Со тем своим мужем гулять нейду.
Про тово сво̀во мужа постелю постелю —
В три ряда каменья накладу,
Во четвертый ряд крапивы настелю;
Со каменьица бока его болят,
Со крапивы бока *спрыщевали*.

Во второй молодец обращается к жене своей с такими словами:

Ты пустила сухоту
По моему по животу,
Рассеяла печаль
По моим ясным очам,
Заставила ходить по ночам —
Приневолила любить
Чужу мужнюю жену.
Что чужа мужна жена —
То разлапушка моя.
Что *своя* мужна жена —
Осока да мурава —
В поле горькая трава,
Бела репьица росла,
Без цветочиков цвела.

И вот, наконец, третья, вся целиком:

Поиграйте вы, девушки,
Повеселитесь, голубушки,
Во свою волю у батюшки,
Что во неге у матушки,
Во прокладе у братьецев!
Неравно замуж выйдется,
Неровен черт навернется,
Неровен накачается:
Либо старое уродливое,
Либо молодо спесивое,
Либо в ровню упрямчивое.
У меня, младой, старый муж
Поперек постели лежит,

Во супор со мной речь говорит,
Раздевать, разувати велит,
Балахон с плеч стягивати
И оборы разматывати.
Что не та в поле ягода цвела,
Не того отца дочерь была,
Не тою была у матушки,
Чтобы мне старика разувать:
У меня руки белыя,—
У него ноги грязныя;
На руках злаченые перстни;
Что мои руки загрязнятся,
Перстенечки поломаются.
Я пойду, млада, во торг торговать,
По обычаю, товару купить:
Я за камушек три денежки дала,
За цепочку целый алтын —
Навяжу стару на ворот,
Я спущу стара на воду,
Я сама войду на гору.
Посмотрю на стара старика,
Каково старый плавает:
Се рука, се нога вверху,
Се буйна голова ко дну.
Да как взмолится старый муж:
— Уж ты душка, женушка моя!
Перейми старика из воды,
Уж я рад на тебя работать:
По три утра сырой ржи молоть,
По три утра не завтракати,
По четыре не обедывати,
Уж я рад годовалые житники есть,
Троеденную кашу хлебать.

В четвертой песне, между прочим, девушка, заявившая молодцу о том, что она его любит, на вопрос его: «Искренно ли?» — отвечает:

Я по̀ совести скажу — одного тебя люблю,
Я по̀ правде-то скажу — семерых с тобой люблю.

Все остальные песни, собранные в Усть-Цыльме и распеваемые обыкновенно девушками на вечеринках, не свидетельствуют о примерной чистоте нравов: шесть из них, более типичных, решительно не годятся для печати.

Когда Марья Савельевна толковала при князе о нравах,— про пояса отказалась рассказывать.

— Да ведь про бабьи-то пояса сам князь лучше меня знает,— круто оборвала свою речь рассказчица и подмигнула.

Евсевий Осипович на это замечание благодушно усмехнулся, расхаживая по комнате и отмахиваясь руками. Весь секрет этого южного человека, не замороженного севером, оказался въяве налицо. Старуха не щадила его, хотя он продолжал шутливо прицыкивать на нее и поднимал палец молчания.

— Да ведь некрасивы, неопрятны, малы ростом, говорят нехорошо ваши девицы,— заметил я, чтобы выручить князя.— Редко попадается порядочное лицо и бойкая разговорщица.

— Красавиц ищут там, в Поморье, ваше благородие, или как

вас звать,— отвечала она.— Наши молоденькие бабенки, да и незамужние девочки некрепко пояса-то завязывают. Надо об этом доподлинно спрашивать у ижемцев: они нашу сестру очень испортили. Ну, а денежки у них водятся,— кому при этом удержаться? Вера нашим не претит и даже одобряет,— в этом надо сознаться по-божески.

От болезней здесь умирают мало. Большей частью пристигает смерть на промыслах: в селении попадается очень много стариков, из которых многие сказывали, что им уже за седьмой, а иные, что и за восьмой десяток лет перевалило. Вообще печорские долголетия замечательны. В деревне Куе в устьях Печоры известны были старики Корепановы (муж и жена), пробывшие в сожительстве 70 лет, а у старухи в то же время жива еще была мать, пешком навещавшая дочь из деревни Никитц. При этом они высоки ростом и 70-летние старики еще продолжают промышлять на Новой Земле*. Заплативши известную, постановленную взаимными договорами, дань кому следует, устьцылемцы хоронят своих покойников ночью. Воют по их душенькам также невыносимо раздражительным напевом и также поминают его кутьей в 3-й, в 20-й, в сороковой день, через год и так дальше, ежегодно в день смерти и в родительскую — Дмитриеву — субботу, чтобы успокоилась его душенька, если только не кривил он ею, при жизни, в торгах с самоедами. Эти, по страсти к вину, пьяными готовы продать за кубок (полштоф) водки целого оленя, пожалуй, черно-бурую лисицу и даже весь свой годовой промысел, если у покупщика не дрожит рука и если кулак его здоровее кулака продавца-самоеда.

В последнее время сильно распространилась между устьцылемцами болезнь сифилитическая, перешедшая от самоедов, где почти все поголовно от колыбели заражены ею. Средств к лечению нет никаких, и потому она в тех местах всегда почти смертельна. О таком грустном факте я попечалился старику, навещавшему меня ежедневно и пившему со мной чай, но из своей чашки.

— Что же делать? — отвечал он.— Божье, знать, на то попущение за грехи *восьмой тысячи***.

— А по мне, ты там как хочешь и что ни толкуй, старик, а тут виной раскол ваш...

— Ты что же это: может, думаешь, что мы *свальному греху* причастны?

— Ну уж это без всякого сомнения: к вам вон из Ижмы, что в свой дом, наезжают тамошние богачи.

— Ты мне об этом не сказывай, про ижемчей ты мне не сказывай! Это наши супостаты, супротивники: мы с ними из старины во вражде, и дирались, крепко-накрепко дирались прежде, до смертного побития дирались. Теперь вот только нешто поула-

---

* Из особенно распространенных болезней — икота у мужчин и у женщин в одинаковой мере. Против оспы и горячки нет никаких средств.

** По мнению старообрядцев, в нынешнюю — восьмую — тысячу лет (от сотворения мира) непременно должно ожидать пришествия антихриста, который-де уже и народился.

живаемся промеж себя-то, миримся кое-как. Да и то нет: ижемцы на зло славу это на наше пускают такую и соблазняют...

— Да ведь против этого, старик, есть пословицы хорошие, чай, сам знаешь?

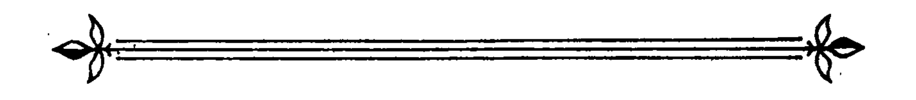
— Ты это дело говоришь! Правда же твоя, как перед богом. Ты постой-ко, постой ты! Я вот тебе...

Старик, сделавши многозначительное и важное выражение на лице, наклонился к самому моему уху и прошептал следующее:

— Поезжай, слышь ты, в Пустозерский-Городок; там лучше. Там по боге... Народ целомудренный. Там нет этого, что вон и в Ижме. И в Ижме этого нет! Одна только волостка-то наша и задалась такой праховой, будь ей пусто!..

Пустозерск давно манил меня в свою глушь и даль близким положением к океану и как городок, сохраняющий в обычаях много старины честной и неиспорченной и населенный добрым народом, сколько мог я судить по общим слухам. Наконец, любопытен он, как самое первое заселение новгородцев в Двинской земле, сколько можно верить в этом народным преданиям и некоторым намекам, разбросанным в исторических документах.

27 декабря 1856 года я был уже там.



VI

ПУСТОЗЕРСК

Первые впечатления пути.— Городок летом.— Пустое озеро.— Предания об исторических ссыльных: Аввакуме, А. С. Матвееве, В. В. Голицыне, князе Щербатове.— Отводная квартира.— Дома пустозеров.— Непогоды.— Рассказы о Новой Земле.— Китоловный промысел.— Котляна.— Правила ее.— Лов омулей.— Занятия жителей.— Самоеды.

К Городку (так Пустозерск до сих пор известен между ближними и дальними соседями, другого ему имени нет) подъезжал я ровно в полдень. Солнце, не выходившее еще в тот месяц (декабрь) на горизонт, давало, впрочем, от дальней зари настолько свету, при обильном подспорье необыкновенно поразительной белизны снегов, что Пустозерск виден был верст за десять. Обстоятельству этому способствовало еще и то главное, что Городок лежит на открытом, ровном месте и лес, казавшийся только издали лесом, на самом деле был приземистый кустарник — *сланка* (ивняк, почти наполовину с можжевельником), не свыше полутора аршина в вышину. Виделись церковь, крыши домов, после двухсуточного созерцания снегу да снегу да того же убогого леса, в котором залегала узенькая, почти тропа, полоса дороги. Мы то и дело цеплялись санями за сучья, то и дело отряхивались, помахивая мордами, хохлатые лошаденки наши от валившегося на них снега. Мы выехали на озеро Пустое, давшее свое имя селению,— *Пустое* потому, что нет на том полуострове, где оно выстроилось, ничего, кроме бугров, да моху, да кое-где несчастного мелкого кустарника; кругом лежит мертвая тундряная степь. Кругом мелкие озера, местами песчаные довольно высокие бугры. Кое-где они окружают какое-нибудь небольшое озерко или глубокую рытвинку и издали кажущиеся укреплениями с башнями странной формы. На них едва держатся корнями малорослые деревья. Северные ветры нанесли сюда песок с берегов Печоры, нарыли глубокие ямы и подкопались под корни чахлых полярных растений. Городок расположился на довольно приметной возвышенности Городецкого озера, шириной около 700 сажен. С северо-запада он засыпан песками, другая половина — болото и целые озера грязи. Через них между домами устроены, еще со времени

воеводства, деревянные мостики. Таков летний вид Пустозерска — по сообщениям, кто видал этот Городок в ту пору года. Уверяют они, что от церкви на озеро вид очень красив, но селение одолели пески, которые до половины занесли кладбищенскую Георгиевскую церковь. Бури разрывают могилы и обнажают гробы. Весной Печора делает Городок островом, чему помогает и его семиверстное озеро, обильное рыбой.

Выехали мы на это озеро, закованное толстым льдом,— и Городок открылся весь целиком: маленький, уединенный, пустынный.

Как теперь вижу его серенькие избы, из-за которых глядела одинокая деревянная церковь с колокольней. Весь он уютно сбился в кучу, и словно только что вчера сломан острог — неправильный четвероугольник с заостренными наверху толстыми и высокими бревнами,— как будто для того, чтобы селение все оставалось теперь на виду и на потеху ветров и вьюг, набегающих сюда с океана, и неоглядных снежных полей, величина которых еще более усиливает пустынность и однообразие видов. Напросилась мысль о том, что это крайний и самый дальний предел моих странствий, что это одно из последних русских селений на севере, и еще сильнее сжала сердце та мысль непрошеная, что недаром здесь такая пустынность и бесприветная даль, когда Городок этот, со времен самой отдаленной старины русской, служил местом ссылки многим боярским фамилиям, подпавшим опале царской. Словно как сейчас выговоренное, вспоминается мне зловещее замечание моего ямщика, указывающего кнутовищем на правый берег озера (называемого Городецким).

— Вот наволок-от этот (мыс) *висельным* зовут!

— За что же так? — выговорилось мной как-то невольно.

— Карачеев, сказывают, вешали в старину: виселицы-де тут такие стояли. Приведут, слышь, карачея-то, которого поймают, да и повесят тут. Нападали, вишь, они!.. А перевешали их гораздо больше тысячи!

Это народное предание имеет смысл исторической истины. Карачейские — жившие у Карского моря (Лукоморья, по Нестору) и реки Кары — самоеды, в начале прошлого столетия, нападали на город большими партиями (в 1719, 1730, 1731 и 1746 годах). Они недовольны были наложенным на них и неведомым до той поры ясаком и за то угоняли оленей, убивали противившихся и только что не производили пожаров. Архангелогородский обер-комендант, генерал-майор Ганзер, послал туда роту команды с поручиком Фрязиным, к которой присоединены были туземные крестьяне и самоеды. Выстроен был острог. Учреждена постоянная команда (она так уж и не выводилась оттуда, и солдаты постепенно вымерли один за другим до последнего). Карачеи мало-помалу успокоились и перестали производить нападения, когда уже, впрочем, перевешано их было свыше тысячи, насколько в этом можно верить народному преданию. Оно уже изрядно затуманено баснями. Так, между прочим, рассказывают, что они до того злы, что даже на пирах с сырым мясом убивают друг друга, что их не берет ни пуля,

ни нож; пуля отскакивает, как от камня, а стрелы вонзаются в них, словно в дерево. Иные стойбища их можно видеть только издали, а подойдешь ближе — они скрываются, уходят в землю. Подобное когда-то, впрочем, сказывали древние новгородцы, приходившие сюда еще в 11-м веке.

— А вон туда, влеве-то! — перебил мои мысли ямщик,— за лесом площадочка есть такая. Крест на ней стоит, народ ходит молиться: Аввакумов-де. А самого его сожгли в Городке, на площади. Сделали сруб такой из дров. Протопопа поставили в сруб и троих еще с ним товарищей*. А протопоп-то предсказал это раньше, что быть-де мне во огни. И распорядок такой сделал: свои книги роздал. Перед смертью к нему прилетал голубь. Из Москвы гонец прибегал и царскую милость привозил. Народ пустозерский и стрельцы, которые приставлены были, советовали бежать,— да Аввакум не согласился, милости не принял, советов не послушал: велел себя жечь. Встал он в сруб. Народ собрался, начал молитвы творить, шапки снял... дрова подожгли — замолчали все: протопоп говорить зачал и крест сложил старинный — истинный, значит: «Вот-де будете этим крестом молиться — вовеки не погибнете, сначала худо будет, а в последних родах обрящете спасение, а оставите крест — Городок ваш погибнет, песком занесет, а погибнет Городок — настанет и свету кончина». Двое тут — как огонь хватил уж их — крикнули, так Аввакум-от наклонился да и сказал им что-то такое, хорошее же надо быть (старики, вишь, наши не помнят). Так и сгорели. Когда сруб рухнул, увидели: на озере лошадь скачет — приехал гонец, прощение привез, да опоздал. Стали пепел собирать, чтоб в реку бросить, так только и нашли от этих двух кости, и, надо быть, тех, которые струсили и крикнули. Старухи видели, что как-де сруб-от рухнул, два голубя, не то лебеди снега белее, взвились оттуда и улетели в небо... душеньки-то это, стало быть, ихние. На том теперь месте по летам песочек такой, знать, как стоял сруб, белый-пребелый

* Это были, как известно, кроме муромского протопопа Аввакума, симбирский Никифор, распопа Лазарь и старец Епифаний. Аввакум до Пустозерска сослан был — как известно — в Мезень с семейством: ему оставили сан протопопа, но запретили служить. Здесь он распространил свои мнения и отсюда писал грамотки к друзьям своим в Москву, Боровск и другие города; наконец, начал писать окружные послания и называть себя рабом и посланником Иисуса Христа, протосингалом российской церкви. В 1655 году его вывезли в Москву и после нового суда и различных мытарств прислали в Пустозерск. Семейство его, состоящее из жены Настасьи Марковой и двух сыновей, сослано было в Мезень и жило лет с тридцать. Старший сын Иван десять лет жил дьячком у Богоявленской церкви в Окладниковой слободе: тем и семью кормил. Когда князь Василий Васильевич Голицын[40] ехал в ссылку в Пустозерский острог и жил в Мезени четыре года (лодья разбилась), он зазнал семью Аввакума и ходатайствовал для нее о свободе в Москве у брата своего Бориса Алексеевича Голицына[41]. Ходатайство было уважено: Аввакумово семейство было освобождено и возвратилось в Москву около 1680 года. В Москве они купили собственный домик, благодаря пособию сочувствовавших заслугам отца их и собственным их страданиям. Здесь сын Аввакума Иван был заподозрен в расколе, судим и осужден. Его приговорили сослать в заточение в Кириллов монастырь на Белоозеро, но Иван, будучи в с.-петербургской (Петропавловской) крепости за караулом, умер 7 декабря 1720 года.

песочек, знать, и все год от году его больше да больше. Запрежь на этом месте крест стоял, в мезенских скитах делан, и решеточкой, сказывают, был огорожен. К этому кресту, у кого зубы болят, прикладывали щеки — проходило; начальство сожгло решетку, а крест велели за город вынести, вон туда, влево-то!..

Он опять указал в противоположную, левую сторону от Пустозерска.

Впоследствии я был на том месте, в 5 верстах от Городка, и видел целую группу крестов, но креста Аввакумова проводник мой выделить и указать не мог: «Знают-де его немногие старики, да указывать им начальство строго воспретило».

— А еще каких преданий не сохранилось ли?

— Да вон у старичка у одного в Городке-то крест деревянный — этак в четверть — хранится: сам-де, сказывают, Аввакум его сделал и богу ему молился... А то другого чего нет да и не слышно. Содержали-то его больно же, сказывают, строго; на то, слышь, народ к ним такой уж приставлен был. Изморили-де совсем.

«А хлеба нам дают по полутору фунту на сутки (писал царю Алексею товарищ Аввакума по заточению, распопа Лазарь) да квасу нужное дают: ей-ей! — и псом больши сего пометают, а соли не дают, а одежишки нет же: ходим срамно и наго».

«Нынешнего 167 году (1659) в великий пост на первой неделе,— пишет Аввакум (этот первый и самый энергический распространитель раскола) в послании своем к царю Алексею Михайловичу из пустозерской темницы,— в понедельник хлеба не ядох, такожде и во вторник и в среду не ядох, еще же в четверг не ядоша пребых; в пяток же — преже часов начал келейное правило, псалмы Давыдовы, пети, и прииде на мя озноба зело люта, и на печи зубы разбило с дрожи, мне же и лежащу на печи умом моим глаголюще псалмы, понеже от бога дана псалтырь из уст глаголати мне. Прости, государь, за невежество мое: от дрожи твоя нападе на меня мыт и толико изнемог, яко отчаявшимуся и жизни сея. Уже всех дней издесят не ядшу ми и больши, и лежащу ми на одре моем и зазирающе себе яковые и великие дни правила не имею, но токмо по четкам молитвы считаю... Тогда нападе на мя печаль и зело отяготихся от кручины и размышлях в себе: что се бысть? Яко древле еретиков так не ругали, яко же меня ныне: волосы и бороду остригли, и прокляли, и в темнице затворили. И в полнощи всенощное чтущу ми наизусть святое Евангелие утренне над ледником, на соломке стоя, в одной рубашке и без пояса в день Вознесения господня, и проч. ...»
«А меня,— пишет он в другом послании к пустозерам,— в Даурскую землю сослали от Москвы, чаю, тысящей будет с двадцать за Сибирь, и волоча впредь и взад двенадцать лет и паки к Москвы вытащили, яко непотребного мертвеца зело употчевали палками по бокам и кнутом по спине шестьдесят два удара, а о прочих муках по тонку неколи писать. Всяко на хребте моем делаша грешницы. Егда же выехал на Русь: на старые цепи и беды попал. Видите, яко аз есмь наг, Аввакум протопоп и в земли посажен. Жена же моя протопопица Анастасия с детьми в земли же сидит...»

От воспоминаний об Аввакуме* прямой переход к другому историческому ссыльному, следовавшему за ним в Пустозерск,— боярину Артемону Сергеевичу Матвееву[42]. Этот «ближний боярин царские печати и государственных посольских дел оберегатель» ехал уже на Верхотурье воеводой по указу царя Федора, как в Казани настиг его дьяк Горохов, описал все его имение, объявив, что он лишен боярской чести за сообщество с злыми духами, за противозаконное обогащение, за посягательство на жизнь царя чрез посред-

---

* Для него, как и для его товарищей по заключению, поставлены были особые 4 острога, с избой внутри и с тыном кругом, в 10 сажен квадратных величиной, как видно из царского указа, присланного в Ижемскую слободку в 166 году (1658). Приставом у заключенных был стрелецкий сотник Федор Акишев.

Свободы Аввакуму с товарищами на все те четырнадцать слишком лет, которые провели они здесь, было дано настолько, что они могли писать к своим друзьям и единомышленникам до рокового дня казни «огнесожжением в 1 день апреля в великий пяток 7189 г. (1681)». Аввакум на досуге в особенности много поработал на этом поприще посланий и сочинений к убеждению постоять за старую веру, пользуясь всякими случаями выставить себя и товарищей за мучеников и даже чудотворцев. Таковым является Федор дьякон, у которого отрезанный в Москве язык здесь снова вырос, и он получил «благодать ясноглаголания». Когда перехвачены были в Москве его самохвальные и бранчивые послания и послан был в Пустозерск подполковник Елагин, снова отрезанный язык и отсеченная правая рука стали «целы и добродейственны».

Аввакум здесь, между прочим, написал свою автобиографию в виде послания к своему духовнику, иноку Епифанию,— в высшей степени любопытное сочинение, как по авторской откровенности, так и по приемам изложения. Это один из выдающихся памятников письменности 17-го века, не имеющий себе равносильных соперников по языку изложения. Все мертвые формы книжного языка здесь заменены формами обиходного, и повесть, веденная простым разговорным способом, драгоценным для изучающих сущность и тонкости родного слова. В этой повести, впрочем, протопоп немного говорит о своем заточении, свидетельствуя лишь о том, что полуголова Иван Елагин, приехавший с Мезени, взял у них сказку, в которой сказано было: «Мы святых отец предание держим неизменно, а палестинского патриарха с товарищи еретическое соборище проклинаем». «И иное там говорено многонько и Никону, заводчику ересем, досталось небольшое место. По сем привели нас к плахе и, прочет, назад меня отвели, не казня в темницу. Чли в законе: «Аввакума посадить в землю в срубе и давать ему воды и хлеба». И я супротив того плюнул и умереть хотел не ядши, и не ял дней с восемь и больше, да братия паки ясть велели». В одном месте сам протопоп сознается, что написал к царю два послания, «первое не велико, а другое больше (о них говорено выше); кое о чем говорил, сказал ему в послании и богознамения некая показанная мне в темнице». Не успел Аввакум упомянуть лишь о третьем, роковом, решившем его участь, послании, посланном уже к царю Федору. Оно отличается обыкновенным протопопу характером: смеси самоунижения и самоуничтожения с заносчивостью и хвастливостью, но превзошло прочие послания неприличной и дерзкой фамильярностью, доведенной до преступных крайностей. Он до конца остался верен себе в борьбе с противниками, не сдерживаясь в обвинениях и открыто доходя до колких насмешек и грубых ругательств. Обращаясь к боярам, Аввакум говорит: «Отступникам до вас дела нет. Говорите Иоакиму патриарху: престал бы от римских законов. Дурно затеяли, право. Простой человек Яким-от. Тайные тешиши, кои приехали из Рима (греки), те его надувают аспидовым ядом. Прости, батюшко Якимушко, спаси бог за квас, егда напоил мя». Обращаясь к царю, пишет: «А что царь государь, как бы мне дал волю, я бы их (врагов), что Илья пророк, всех перепластал в един день; не осквернил бы рук своих, но и освятил, чаю»... Хотелось ему, чтобы новый царь уничтожил новое церковное устройство, и угрожает ему: «Бог судит между мною и царем Алексеем. В муках он сидит,— слышал я от Спаса. То ему за свою правду». Мера московского терпения переполнилась, и законное возмездие по обычаям и приемам того времени закончилось пустозерским трагическим событием.

ство аптекарской палаты и осужден в заточение. Тот же дьяк привез его в Пустозерск. Здесь томился он, как известно, около 7 лет (с 1676 по 1682 г.) и, между прочим, писал следующее: «Жители в Пустозерском гладом тают и умирают, а купят здесь четверик московской меры по 13 алтын по 2 деньги, а их будет пуд; и пустозерских жителей всегдашняя пища борщ, да и того в Пустозерском нет, а привозят с Ижмы; и такая нужда в сей стране повсюду, на Турье, Усть-Цыльме и в Пустозерском остроге. Ей-ей! службу божию отправляют на ржаных просфорах, и та мука мало лучше невеяной муки, и, ей-ей! не постыдился бы я — свидетель мне господь бог! — именем его ходить и просить милостыню, да никто не подаст и не может подать, ради нужды... Избенка дана мне, а другая червю моему сынишку, ей-ей! обе без печи, и во всю зиму рук и ног не отогрели, а иные дни мало что не замерзаем, а от угару беспрестанно умирали; а в подклетнике запасенко мой и рухлядишка, а в другом сироты мои да караульщики стерегут меня, чтобы не убежал (!). А дрова нам дают, пишут, сажень, а дают сажень малую сеченых дров, в аршин отрубки, избу трижды вытопить, а не такую сажень, что в Москве плахами кладут и меряют саженью... Прежде, сказывают, рыбы здесь был достаток и на продажу было, а ныне не токмо на продажу, но с самой весны по июль до сытости сами никто не ел, таем гладом; а хлеб привезли, мука что отруби, и той не продают, оставляют в зиму, в самый голод продать, взять хотят дороже».

С Матвеевым были в ссылке: сын его Андрей (впоследствии граф и двинский воевода) [43], при сыне учитель Поборский — польский шляхтич, добровольно согласившийся на заточение с воспитанником, 30 человек слуг, священник Василий Черпцов. Приставом был человек благородных правил, назначенный пустозерским воеводой, стольник Гаврило Яковлевич Тухачевский. Недавно существовала на краю Городка и в сторону к устью Печоры избенка, на которую указывали старожилы как на жилище Матвеева, а потом Голицына.

Нынешнее состояние Пустозерска значительно лучше, конечно, вследствие сильно развившихся коммерческих предприятий на Печоре; ижемцы и устьцылемцы везут сюда дрова, устьсысольцы хлеб в достаточном количестве настолько, что даже дальние нередко пользуются избытком его. Пустозеры едят даже шанежки — праздничное лакомство только достаточных архангельцев.

«За безмерным удалением того Пустозерского острога и за безвестием земледельчества,— писал впоследствии сын А. С. Матвеева,— коего никакого нет и об нем не знают, и всякого чина люди, числом всего со сто дворов, питаются с Вычегды реки, из Яренска и из Перми, на малых каючках однажды в год, весною, привозным хлебом, и пуд муки меньше рубля не купят, а питаются житами, в мясоеды птицами, а в посты из Печоры рыбой». Положение заключенных доходило иногда до такого плачевного состояния, что у них у всех было только три сухаря; пристав Тухачевский уделял им из своего запаса половину, несмотря на то, что и сам он получал только шесть пудов ржаной муки. В 1682 году Матвеев был переведен в Мезень и, наконец, возвращен в Москву, а в Пустозерск прислан был

его враг — любимец Софьи, князь Василий Васильевич Голицын, с семейством, ровно через девять лет, в 1691 году. На содержание Голицыных отпускалось по 13 алтын и по 2 деньги на день. Двадцать лет пробыл здесь Голицын, имея несчастие видеть старшего сына своего помешавшимся от тоски и крайнего горя; а в 1710 г. он переведен был в Пинегу, где, в 1714 году, умер и похоронен в Красногорском монастыре. Отсюда писал он: «Мучаем живот свой и скитаемся Христовым именем: всякою потребою обнищали и последние рубашки с себя проели. И помереть будет нам томною и голодною смертью».

Воспоминаний о Голицыне в народе не слышно никаких (хотя и осталась об нем память в церкви св. Николая, именно домовый его образ), равно как и о князе Семеоне Щербатове и его жене Пелагии, которые положили в церковь Евангелие печати 1675 года, подписанное рукой князя в 1727 году. Голицын в Красногорском монастыре оставил Пролог с собственноручной надписью, створчатое зеркало, украшенное кругом фольгой и позолоченными орлами, две шитые иконы на плащаницы, сделанные весьма изящно. Все народные предания ограничиваются тем, что князь любил ходить из Пинеги для прогулок по направлению к монастырю, что гулял в соседней роще, что в Пинеге держал своих лошадей и раздавал крестьянам для приплоду и учил девушек петь московские песни. (См. ниже: «Поездка по р. Пинеге».)

Мы въехали между тем в Городок. Перед нами длинное, развалившееся здание с выбитыми стеклами, высокой, старинной, двускатной крышей — видно, очень старинное. Я спросил знатока-ямщика:

— Что это такое?

— Теперь ничего: никто, вишь, не живет, давно уж...

Да сказывают старики, что тут, вишь, солдаты жили, что против карачеев-то были присланы, когда острог-от здесь был построен.

— Внизу-то тут тюрьма, слышь, была! — продолжал толковать мой ямщик, когда мы выехали из ряда домов на площадку, или, лучше, пустырь, редко и бестолково обставленный домами.

— В тюрьме этой,— говорил ямщик,— старики сказывают, цепь была с ошейником железным, так раз, на стариковой памяти, поп с попадьей повздорили, поп-от ее и посадил, слышь, туда. Померла с голоду, о том-де и дело в церкви хранится.

Весело глядела в глаза отведенная мне здесь квартира: комната чистенькая, хотя и уютная, стол накрыт скатертью; образа в стеклянной раме и между ними много в серебряной оправе. Поданный самовар был вычищен, чашки с блюдечками и без отшибенных краев. Хозяин явился в синей, довольно чистенькой сибирке; вообще, действительно и на первый взгляд, все несравненно лучше, чем в недавно оставленной Усть-Цыльме. Самые дома, видные из окна, глядят веселее и красивее, ставни некоторых прихотливо расписаны разноцветными арабесками; балясины у неизбежных балконов поражают вычурностью и все на месте, а не расшатались и не повывалились, как в Усть-Цыльме. Но и здесь, как и везде по Печоре, в домах понаделано много окон, вероятно, для большего света в тусклые и долгие осенние

дни. И здесь на избах, так же как и везде, трубы деревянные, так же испещренные прихотливыми вырезками и коньками. У богатых домов на верхних маленьких балконцах прилеплены модели судов, грубо, топорно, но чрезвычайно верно сделанные. Деревянная церковь подновлена и поправлена; недалеко от нее рубится сруб для новой.

Вот все, что представилось мне при первом взгляде на Городок, приветливее глянувший на меня в настоящем своем виде, как бы в контраст всему прочувствованному при воспоминаниях об его прошлом. Набежавшие было грустные мысли при начале знакомства с Пустозерском подкуплены современным видом его и еще больше радушием и приветливостью хозяина, который принес две тарелки: одну с баранками, называемыми здесь калачиками, а другую с кедровыми орехами, называемыми меледой.

— Отведай, богоданный гость, покушай нашего баловства на доброе на твое на здоровье — не погнушайся! — приговаривал он мне.

Следовали неизбежные вопросы: кто я, зачем, откуда — вопросы, от которых не привелось мне ни разу отделаться ни в одном из нескольких сотен виденных мной селений в течение долгого годичного срока. От хозяина привелось узнать, что Пустозерск, на его памяти, был гораздо больше, чем он есть теперь; что вообще нонче стали времена тугие и потому и от них начали также часто выселяться ближе к океану и, стало быть, к промыслу, образуя там деревушки дворов в 5—6 и больше; что они все православные и что во всей волости нет ни одного раскольника, хотя они по большей части и держатся старого креста, но, исповедавшись, всегда и ежегодно приобщаются святых таин у православного священника. Сказывали, что в Городке не растет ничего из овощей и потому они, жители его, решительно ничего не садят и не сеют; что здесь и по летам иногда, особенно при северных ветрах, бывают такие холода, что приходится по-зимнему кутаться в мех, надевать малицу; что живут больше торгом рыбы на Пинежской ярмарке, а все необходимое для жизни закупают на каюках у чердынцев; что скота они держат гораздо меньше, чем устьцылемцы, но рыбы у них вылавливается несравненно больше и что у них также нет ни одного мастера, ни кузнеца, ни плотника, и все эти работы правят им *верховики* — захожие люди с верху Печоры.

Здесь то же любопытство — от безделья и то же неудержимое желание просить о чем-нибудь заезжего *начальника* — по страсти, что приводилось встречать много раз и прежде везде: и около Колы, и около Кеми и Онеги, и на Мезени, и в Пинеге, и в Холмогорах. Так точно и в Пустозерске: в тот же день я уже был лично знаком с большей половиной его населения; все они перебывали у меня.

Страшно холоден был в Пустозерске первый день нового года; термометр священника — несомненно фальшивил — показывал 34°; ветру, правда, не было, но весь воздух как будто распалился морозом и застыл вселеденящим слоем; с трудом можно было собирать дыха-

ние, и казалось, того и гляди, брызнет кровь из носу и глаз. По крайней мере, все части тела, которым суждено было находиться под влиянием внешнего воздуха не закрытыми теплым мехом, мгновенно зябли до едко щиплющей боли и как будто все внешние покровы готовы были распухнуть и разорваться. На улице не видать ни одной души; видимо, и привычные пустозеры предпочитали запереться в дому после того, как *сбегали* (буквально) в церковь; слышались со двора решительные выстрелы из ружья, урывистые и громкие, хотя, правда, и не частые. Трещали углы в моей комнате и даже в одной оконнице, выходящей на улицу, лопнуло стекло — обстоятельство, заставившее моих собеседников — четырех мужичков-пустозеров — сделать такого рода замечание:

— Крепко теперь накрепко распалился мороз, а отчего? Оттого он, мороз этот, распалился, что Городок наш на яру стоит: нет нам противу мороза этого никакой защиты. У нас и летом ветерок подул, то и надевай малицу, а зимой так хватает и рвет, что дыхнуть не можно. Опять отчего? — Лесу кругом нас нету. Старики-то, вишь, выстроились для моря — потому оно близко, и для Печоры — потому хорошо: рыбная река, а об лесу у них и заботы не было. Видел ведь, твоя милость, проезжаючи-то, какой у нас такой лес растет? — ера, мелкая ера, самая такая мелкая, что выше аршина и дерева не видим. Издали-то, пожалуй, ерник-то наш и большим лесом кажет, а на самом деле он у нас и топливо-то худое. Мы ведь, батюшко, избенки рубим из чужого лесу — из дальнего; лес-от строевой к нам, как диковинку заморскую, словно бы чай али осетрину-рыбу, из чужи, сверху возят. Вот почему, по нашему по глупому разуму, и мороз пуще бывает, чем в другом коем месте, хотя бы взять ту же Усть-Цыльму. У нас и заметели, коли нашлет господь, не как в другом месте. Ты вот видишь наши дома?

— Вижу: все двухэтажные, красивые такие, высокие и теплые, видно, что богато вы живете...

— Нет, ты постой, зачем богато? Не больно же мы богато живем: это опосля я тебе. Ты вот молвил: двуетажные — это, тоись, в два жила. Отчего? — оттого в два жила и оттого у нас ставни, что иму пору крепкие хивуса живут: нагребают они тебе снегу сажени на две и больше, пожалуй, до самых-то вон до балконцев, что кругом дома обходят. Ты, пожалуй, с незнати со своей, и скажешь такое глупое: у них-де балконцы эти для красы настроены — да так, чай, и в книжечку свою запишешь. Ан подожди! Послушай и меня, дурака, что я тебе молвлю: прибежит, видишь, ветер с окияна на снежные наши палестины, начнет дурить, сметать снег охапками, да погонять его все дальше да больше, да поддувать все крепче да круче, ну... и наше селение на пути встренет. В нашем селении запрету ему нет — известно: вали, с какой стороны хочешь, запоров не сделали, да и нельзя. Он и валит до самых балконцев, и оконницы начнет расшатывать, и стекла все, пожалуй, поломает; а мы запремся кругом ставнями, и засовы закрепим, и огонь разведем. Гуляй-де, знай, по улице, а нас-де не трогай: мы, мол, тебя, баловника, давно знаем; ты хоть три дня тут себе благуй, а мы посидим, побеседуем промеж

себя, переждем тебя — изволь, мол, потешаться досыта! Моя, мол, изба с краю, ничего не знаю: вот ведь мы как!..

Рассказчик приподнялся с места, видимо довольный своим повествованием, которое на устах остальных собеседников-слушателей также развело улыбку.

— Ты так хорошо, старик, рассказываешь, что даже хвалиться этим можешь: с тобой все бы сидел и все бы тебя слушал.

— Да это пущай и соседи толкуют: ты-де все со своими толкованьями к начальникам ходишь, словно ты-де у нас на должности на такой состоишь. А ведь мне что? Пущай толкуют! Я разве худо сказываю-то? Недоброе, мол, что ли, я начальникам сказываю, хоть бы и твоей милости?

— Спасибо; я очень тебе благодарен. Ты для меня золотой человек, неоцененный, умный и толковый такой...

— Ну, да пущай и не больно же я умный человек — это ведь ты такой! а я самый неумный человек. Вот я какой дурак есть, и мир это знает, слушай: по пяти лет кряду обряжал я покруты на Матку (Новую Землю) за моржами — за салом, значит; по десяти работников имел, раза три по два судна пускал, а что добыл, что выручил, с чем сижу? — Избенка у меня, почитай, хуже всех; сам я не то чтобы человек путный, а так — неладный какой-то, а все отчего? — Оттого это все, что по все разы, что ни ездил, промысла все в море оставлял.

— Отчего же?

— Да так, стало быть, господу угодно: разбивало, до единого все разбивало: сам-от насилу ноги уносил. Ну, и будет бы, с первым же бы разом будет, а я — на пятый поехал. Опять растрепало, все до последней щепы растрепало. Гордым, стало быть, бог противится. Деньжонки-то, какие от батюшки, от покойничка, оставались,— все уложил в этот промысел. Опосля тоже, по старой вере, ко мне соседи ссужали кое место, а тут и верить перестали: тебе-де все не рука, твой-де покрут что решето, хоть, мол, жизнь свою туда клади — все толку не будет никакого. Ну и сел, и сижу вот...

— Ведь это, старик, пожалуй, и ладно, пожалуй, и так?

— Нет, не надо бы так-то, ох, больно бы не надо так-то!

Он мотнул головой, глубоко вздохнул и опустил голову.

— Как же по-твоему, старик?

— Опять бы надо на Матку ехать.

— Да ведь несчастья тебя преследуют?

— Пущай их преследуют, а на Матку больно хочется: привык уж очень, поправиться можно.

— Ну так что же, поезжай покрутчиком.

— Это мне-то?

Старик приподнялся и продолжал запальчиво:

— Это чтобы работать-то на других, спать на себя. Нет, ты, ваше благородие, человек в этом деле, как я вижу, темный, больно несведущий. Ты это оставь про себя! Знаешь ли, что мне помеха, и крепкая помеха?

— Думаю, денег недостает.

— Есть, да мало, надо еще два года ждать, покуда накопится,— вот оно что! Ты считай: надо ехать туда недель на двенадцать, коли не больше, и сколько ни бери народу, а на каждого человека клади знай: семь пудов муки оржаной и яшной, пуда полтора житной крупы да толокна да столько же трески соленой. Без нее наш брат, пожалуй, и на оленину пойдет — мы не мурманские,— ее клади; да пуда полтора солонины, да по десяти фунтов — опять-таки на рыло — масла коровьего, столько же постного: без него, сам знаешь, какая же каша живет. Опять по праздникам колобок надо съесть, алибо там шаньгу — ведь не каторжные же! Клади — опять-таки, значит,— на человека: один ушат кислого молока али творогу — это все едино, полтора фунту гороху на постные дни; ну! клади уж фунт меду красного: без киселя в постный день не проживешь, как ни мудри. Опять же на всю артель клади беспременно — как бог свят — без того у нас и толк не стоит, и жить нельзя просто-напросто: бочку моченой морошки надо взять, как крест на груди; без морошки цинга одолит насмерть. Смерть на Матке не человечья ведь, без покаянья мрут, потому там нет попа и никакого другого человека не найдешь.

— Это я давно знаю.

— Так знай, пожалуй, и еще, что всякому покрутчику надо оленину дать на постель да овчинное одеяло. Божьи ведь люди, душеньки-то в них тоже Христовы, от ребра Адамова! Пущай одежду — ло́поть по-нашему — они свою приносят: без того, известно, нельзя. Ну, а вот дальше-то тут тебе и пойдет: снасти, ружья, порох, сети — самое-то все дорогое, неподходящее. А на одном-то судне надо посылать, по крайности, человек восемь алибо десять, да еще и судно-то промысли, обряди его по-морскому: путь от нас дальний, хоть, пожалуй, и ближе других; а при непопутных ветрах почесть в неделю только угодишь успеть. Так вот ты размысли да и подумай: дело-то оно и выйдет куда большое, самое купецкое, да и купца-то богатого! Оттого у нас большие дела и ведут все ижемские зыряне — богатый народ, а у наших богачей и остается кроха малая, и ходят все вскладчину, норовят, как бы на одну артель трем хозяевам угодить. Тут уж, по мне, дело не большое, а так... прогулка. Дома-то, мол, надоело с бабами-то: поеду-ко, мол, покатаюсь, посмотрю-де, много ли на Матке зверя какого да что, мол, там ижемцы поделывают. Посмотрю-де и вернусь домой пальцы сосать, в потолок плевать да рассказывать ребятишкам сказку про белого бычка. Да еще и вернуться-то сподобит ли бог? — А то часто головой-то своей да прямо в омут на века вечные. Вот оно что! И... провались это непутное дело совсем!..

Старик расходился так, что на все остальные расспросы отвечал одно:

— Спрашивай вон этих, больше знают; а мне таково неладно: не глядел бы на свет-от божий! Спрашивай вон самых-то умных...

— Да ты что это больно на нас нападаешь? — счел за нужное спросить другой старик-собеседник. Но ответа не дождался.

— Не ты садил, не тебе и обирать: вот как по-нашему. Сказывает

он тебе, твоя милость, что малыми делами заниматься не может, а спроси ты его: с большого ли он и тогда начинал? У него, вишь, морж второе дело: мне бы, говорит, денег да китов ловить, из кита-де я тридцать, а и, на худой-де конец, двадцать пять бочек сала-то выгоню; а морж и большой-от дает-де много пуд десять, а то, гляди, и всего восемь. Вот ведь он у нас блажной какой! Стану, говорит, китов ловить: ведь ловили-де старики и богатство после себя оставляли; он и мастеров указывает. Спроси ты его: каких, мол, ты таких — что китов-то ловили — сказываешь?

— Мало ли было! ловили же Балдин Харитон, Шухобов Иван, онежская лодья была*.

— Да ладно ли, полно, ловили-то? Сам ведь сказывал, что за моржами же после пускались. Нет, ты и охотников-то на это дело не заманишь, никто с тобой не пойдет на экого зверя. Ощутил ты, крещеный человек, китом этим, когда, слышь, никакая снасть его не удержит: все-де, слышь, как ниточку, рвет! Ты его только, почтенный, послушай! (Воззвание относилось ко мне.) Расскажи-ко лучше гостеньку-то нашему, как ты тинки — клыки это моржовые по-нашему — скупать хотел да в Норвегу возить; как ты пухом-то гагачьим хотел торговать, ты вот что расскажи!

Но старик от всех вопросов продолжал отделываться молчанием, давая волю сопернику.

— Он ведь у нас, до поры до времени, и хорош был, рассудительный такой, а теперь все в книжке читает; так оттого ли али от другого — блажить начал. Мы было и на глум его приняли, что полоумного, так ин скажет и такое умное слово, в иную пору, что всем на диво. Дурит, ведь осерчал уж очень с промыслов-то неладных — по мне, это вот отчего! Так ли я говорю?

Но тот продолжал молчать по-прежнему; соперник его не отставал:

— У нас, почтенный, вот как уже исстари заведено: коли ты пошел на *лесную* — так и лови песцов, горностаев, лисиц, зайцев, выдру, бобра — этот тоже заходит из-за Камня (Уральского хребта), хоть и не частый гость. Сомутился на *речную,* так наша Печора и на этот конец река толковая: семги много — говорить про то нечего; сигов

---

* Китоловные промыслы, как уже давно известно, производились преимущественно в западной части Северного океана, в 1786 и следующих годах, около Шпицбергена. Петр Великий, указом 1723 года, повелел устроить кольское китоловство на счет казны; при Екатерине I указ этот приведен был в исполнение: в 1727—1751 три китоловных корабля, под управлением голландцев, ежегодно выходили в море, но поймали только 4-х. Обвиняли иностранцев в подкупе, и, кажется, справедливо. Граф А. Р. Воронцов [44] пробовал деньгами своими оживить этот промысел, но неудачно: 11 китов легко ранено, но ни одного не убито. В 1805 граф Румянцев [45], министр коммерции, отправил корабль для той же цели; но корабль этот был сожжен и взят каким-то крейсером под французским флагом при первом выходе своем в океан из Кольской бухты. Киты эти из породы кашалотов. На Новой Земле также производилось китоловство голландцами (доказательства — салотопенные ямы, видные до сих пор). Неудачи в подобном предприятии обыкновенно приписывают неловкости промышленников, не получивших никакого навыка, и дурно выкованным гарпунам, которые или ломались, или скользили и выскакивали из добычи.

не оберешься; опять же омули*, пеледи по озерам — много же озер-то этих по тундре живет — чиры ростятся, отменная рыба такая, что вкуснее, слаще ее и на свете нету такой. Сказываю на то тебе, что уж принялся ты за один промысел — другим не займуйся: так старики вели, так и мы ведем, что вот ни пришли сюда, на Печору, в лета незапамятные, по стариковым толкам, из Новагорода. Опять же если и на Матку тебе пошла полоса, то и там смекай надвое или натрое. Матка богата, недаром ее Маткой зовут, за всем там не угонишься. Сала хочешь — на то тебе там моржи залежки раскидывают, ошкуй (белый медведь) выстает, заяц морской попадается — это тебе побережный промысел. За горным пойдешь — дикого оленя много прыгает, гуси, да гагары, да утки линять прилетают, что и счесть нельзя,— палками колотим. Пух собирай, пожалуй, побитую птицу соли, из *разбойного зверя* сало топи. Работы там всякой довольно: пущай вот чванливый сосед-то наш, бахвал-от, рыло воротит, ему ведь боярской работы надо. Мы ведь, твоя милость, дураки, скоты — надо бы тебе молвить. Вот что! У нас угодил кто раз пяток на Матку сбегать в покрученниках, на шестой ты так-то к нему не ходи, а поприслушивайся да с голыми-то руками и не подступай к нему; смотри — беспременно в хозяева надумал. Ты около него с поклоном да приговором, а он тебе спину кажет и ногами и руками машет, что бодливый бык алибо пьющая баба; ты ему кол на голове теши, а он тебе два ставит. Да этак-то он всю весну и ломается, что курица ростится — смех нали возьмет, на его дурость глядя.— С тем и уходишь. Николин день подойдет на ту пору — бежать пора на Матку: «И, полно, мол, дуралей ты экой, дура, мол, с печи, какой, мол, то есть человек без денег да без веры: тряпица, мол, ты рваная! Послушай-де ты... умный, милый ты человек, дай-ко, мол, я обойму тебя да поцелую, не сатана, мол, я, не бес какой!» И обоймешь его, пожалуй,— домой уйдешь опять, да уж с толком: либо в кормщики пошел, либо в полууженщики. Так-то толковые делают, а и этому давали денег (за этим мы не стоим про своих: помогаем тоже), и покрученникам за него сказывали, что человек, мол, надежный, поручиться можем: да нет —

* *Омули* (Salmo autumnalis) очень похожи на сига: голова острая, нижняя челюсть длиннее, спина желобоватая; впрочем, вкуснее сига и разнится от последнего только по наружному виду: клеск — чешуя — омулей мельче сиговой, на боках черные точки; продаются солеными, но большей частью известны всем мерзлыми, от 2 до 5 фунтов весом. Сейчас выловленные дают превосходную икру. Омули не речная рыба: они приходят в Печору также из моря, большей частью в первых числах августа. Ловят их сетями и поплавнями, какие употребляются в Усть-Цыльме для семги, с той только разницей, что семожьи поплавни плетутся из конопляных ниток, а омулевые из льняных и потому эти нитки (подвязь) потоньше. В омулевой поплавне ячеи шириной в 3 и 4 пальца, сложенных вместе. Для лова сигов употребляют так называемые *пущальницы* (пуск ставушки) в 30 сажен *провязи* (длины) и 15 *на саду* (глубины); внизу хобота (мешка) приделывают каменницы (камни) на веревочках, называемые «катушница» и «тряпичка», на расстоянии один от другого сажени на $1^1/_2$; наверху к тетиве (веревке) привязывают поплавки — берестяные трубки, называемые «торорушка». Пущальницы употребляют чаще по зимам (опуская их в проруби и привешивая к шестам, положенным поперек) только около Пустозерска. Летом ставят на отмелях на кольях, вбитых в дно реки или озера. В других местах пущальниц я не встретил, да, говорят, и нет их.

знать, несчастье с роду ему. А уж тут, по старой по вере нашей, дома сидеть надо: либо море потопит, либо ошкуй сломает. Седьмой год — нехороший год — обходи его, и на печи тебе пролежать не грех. Это верно!

Каждое судно, отправляющееся за промыслами на Новую Землю, имеет свою артель, называемую *котляной*. Котляна имеет название *плотной*, когда паевщики идут от себя, а не по найму от хозяев. В каждой котляне, снаряженной хозяином, бывает от 8 до 20 человек. Главный из них называется *кормщик*, второй за ним *полукормщик*, третий *полууженщик*, все остальные простые работники — *покрутчики, покрученники*. Каждый из них имеет, при разделе промысла, свою часть, пай, называемый ужною. На хозяина по ужнам идет обыкновенно две трети всего промысла; кормщик из остальной трети добытого получает, против простого покрутчика, в 4, 5, 6 и даже 7 раз больше; полукормщик против всего этого половину; полууженщик половину против последнего; покрученник, по взаимному договору с хозяином, получает, против прежних, меньше иногда наполовину, а иногда и того меньше. Взаимные и полюбовные условия на честное слово здесь занимают первое и главное место, так что высказанное нами не всегда должно принимать за постоянное правило и закон.

Затем известно, что как только попали разные артели на Новую Землю, так и народилось там новое государство со своими законами, которые еще не так давно были целы и действительны. Если артель признали «плотною», то, значит, установили правилом барыши делить поровну между всеми, кто работал: не получит пая остававшийся на судне в это время по своей воле, зато получит его тот, кто оставлен на судне с общего согласия. Больной человек получает пай не со всей котляны, а только с того судна, на котором пришел. Пай умершего отдают наследникам, на том же основании. Потом вернувшиеся с добычи обязаны беречь судно замешкавшихся; если судно разобьется, снасть с него вывозят бесплатно. Когда суда промышляют заодно, да их разнесет в разные стороны без раздела,— делят по возвращении все, что до разлуки один перед другим имел лишнего. Ежели за добычей разъехались в разные стороны, но одни не нашли звериной наледицы и вернулись без добычи,— неудачливые получают долю от тех, которым посчастливилось. При этом делят так, что на карбас или лодку с меньшим количеством людей уделяют с людных карбасов, чтобы уравновесить. В силу такого закона, когда перепадет на чью-нибудь руку случайная вольная работа — плату за нее тот обязан отдать в артель на всех. Один попробовал сделать на стороне и получил совет нанимателя не сказывать и не отдавать артели,— он подумал-подумал, да вечером того же дня и признался кормщику. Этому кормщику все рядовые товарищи обязаны во всем повиноваться и ни в чем воли с него не снимать; в потребном случае вольны подавать совет, только учтиво и вежливо. Кто его избранит, или ударит, или не станет слушаться, прочие рядовые дают кормщику помощь.

Когда несколько судов сошлись в одной бухте да не установили котляны, все равно: один другому мешать не смеет. Никто не обманет

ложными вестями; каждый поступает честно. Честь — первое на языке слово да и первая добродетель в сердце. Впрочем, не известному за честного человека никогда и не составить артели. Когда многие карбасы съедутся к одной наледице, т. е. тому месту, где лежат и спят, ворчат и ревут морские звери, например моржи, тогда одна лодка другой подает знак. Если другая ответила — значит, котляна установилась; не нужно ни маклера, ни судьи. Что ни добудут — все делят вместе. Такая котляна называется «смашною». Нет смашной котляны — когда не подано знака,— тогда одним до других дела не иметь, помехи не чинить, в бочки не барабанить и через это нежелающих не привлекать.

Кто поколет залежку, а его отнесет, когда уже у зверей отсечены головы,— никто трогать того не смеет: «Всяк, кто исколол зверя, всегда на то место прийти желает»,— объясняют промышленники.

Можно брать только «плавик» (убитого или околевшего зверя), и то когда он плавает дальше версты от места звериной бойни. Могут брать и ту добычу, которая не вмещается на судне и ей придется валяться и гнить на берегу,— все по тем же соображениям.

Но и без котляны — в море, прежде договору, котляные правила святы и нерушимы. Если потерпевшие неудачу подали знак мимоидущим судам — они непременно приворачивают, собирают людей, вывозят их без всякой платы и кормят безденежно. Не было примера, чтобы в таких случаях входили в ряду, а тем паче заключали бы письменные договоры. Принятых с разбитого судна людей стараются поместить на то судно, где меньше людей. Принятые, так называемые невольные люди, едят свои запасы, пока им хватит, затем поступают на чужие, за что должны помогать повозчику промышлять, но участка себе не требовать, хотя бы им и последовала сдача на случившиеся суда. Встречные суда обязаны их принимать, если только увидят, что другие успели уже подержать и прокормить их: всякому свои запасы дороги. Промыслы их повозчик волен брать и не брать, как захочет, но снасти обязан вывести безотговорочно. Снасти — покупное дело, а потому драгоценное: если кто найдет плавающим разбитое и брошенное судно, тот берет себе его бесплатно и обязан только возвратить снасти; если же возьмет промысел, а снасти оставит, то из промышленного идет ему лишь $^1/_4$ часть.

— А, ведь, Городок-от наш больно древний! — толковал мне прежний старик-говорун.

— Знаю, старик. Построен он был новгородцами для того, чтобы дань сбирать с самоедов, и обнесен был острогом. А самоеды эти назывались ясашными...

— Это так, твоя милость, и по книгам значится. Читал тоже и я, грешный!

— Был здесь в старину воевода, и ему дана была канцелярия.

— Так и в народе молва идет, так! Бумаги из этой канцелярии хранились у нас в управе, да, вишь, сгорела управа-то, и бумаги эти все погорели. А знаешь ли, твое благородие, какая такая святая вещь у нас есть?

— Может быть, крест Аввакума? — знаю.

— Это — что! А то есть у нас тут... у одного у мужика по соседству, образ чудотворный, небольшой, вершка в два, на доске, и писание хорошо сохранилось. Сказывают, образ тот принесен из Новгорода, при Грозном царе, когда вот селению-то нашему начало сказывают. Это первый-де Христов лик в нашем краю! Мы ему молебны служим*.

Рассказчик, при последних словах, перекрестился.

На улице слышались в это время громкие, но какие-то нескладно-бестолковые песни. По улице пронеслось много оленей с саночками, на которых валялось по два, по три самоеда. Рассказчик разрешил недоумение:

— Самоед гуляет. Им ведь, нехристям, все равно, не разбирают: пост ли, праздник ли, вон и теперь под воскресенье пришло,— налопались.

— А любят они и у вас так же пить, как в Усть-Цыльме?

— Да что им делать-то? известно, пьющий народ с роду. У них и ребятенки вместо молока вино пьют, и яньки (женки) пьют, все пьют...

— Зачем же они в Городок ваш попали?

— Ясак привезли, так уж, кстати, в кабак-от... У нас ихний старшина живет. Теперь они в чумы свои поехали; чумами-то, вишь, они недалеко разложились, сказывают: верст и десятка не будет.

Под нашими окнами остановились двое саней, послышался вскоре громкий, ожесточенный спор на том неприятном гортанно-шипящем языке, который только можно услышать от самоедов. Смотрю, один самоедик наскочил на другого, ударил его в лицо и окровавил, третий разнимал их и тоже получил на свой пай от забияки с десяток плюх.

Это обстоятельство вызвало замечание одного из моих гостей:

— Поделом; не суйся! Гляди, ваше благородье, целоваться теперь станут и опять олешков повернут к кабаку. Гляди!

Действительно, самоеды обнялись все трое вместе и поочередно целовались, крепко стукаясь в то же время лбами.

— А ведь смирный же они народ, как видно.

— Смирный, добрый такой!.. смирный: только вот во хмелю-то бурливы, привязываются, задирают. А и крикнешь на них, пригрозишь кулаком, не испужаются, еще пуще лезут. А трезвые, что и олешки же, смирны.

Шум на улице затих. Самоед с подбитым глазом лежал уже на чунке (санках); двое других куда-то пропали; но не совсем: отворилась дверь в мою комнату и оба они явились на пороге и повалились в ноги раз, другой и третий. Один так и не вставал, как лег. Другой выступил — настоящий самоед: приземистый, коренастый, с реденькой, крайне реденькой бородкой, с необыкновенно смуглыми, хохла-

---

* Впоследствии лично удалось мне проверить сообщенные стариком сведения: образ значительно потускнел от времени и хотя хорошо видны были лики, но надписи разобрать не было никакой возможности. Первое показание его о том, что старинные бумаги все сгорели, также, к несчастью, оказалось справедливым. Впрочем, Озерецковский, еще в 1773 году, не нашел уже их.

тыми волосами. Узенькие глаза его неприятно выглядывали из-под жиденьких ресниц; широкий неправильный нос как-то удивительно не шел к его скуластому, смуглому лицу. К тому же пьяный самоед глядел настоящим разбойником.

— Что тебе, брат, надо?

— Прости! — мог я понять.

— В чем дело?

— Дело.

— Какое же?

— Ясак тяжело!

— Проси не меня об этом!

— Старшину проси! — добавил кто-то из гостей моих.— Ступай-ко, ступай!

— Ну-ну, ладно, ладно! Прости!

— Прощай!

— Ступай-ко, ступай, не студи! — продолжал хозяин.

— Ко всем вот этак лезут, отогнать не можно: к начальнику-де надо. Просьбы подают и завсегда пьяными. Сердятся же начальники-то. А тоже, ведь вот война-то была, спрашивали мы их: пойдете, мол? А пошто-де нас не обрядят: стрельнули бы дородно!..

— Говорят же они и по-русски?

— Стали же нонче и на это простираться; мало который не говорит, разве уж самые дальние... У нас ведь тоже ихний переводчик живет, дьячок. В Городе* обучали его, так мать приехала, выкрала; опять отвезли — она опять выкрала, да померла теперь. Этого ты от нас и не распознаешь: говорит спорко и из себя бел, скуловат разве да глаза узенькие. Только пьет, больно же круто пьет... А в службе церковной — сокровище: все знает и голосистый такой. Пьет тоже зря, ничего не разбирая, что и другие! Самый пустой человек!..

— На ясак-то они жалуются: стало быть, тяжел?

Все мои гости насмешливо улыбнулись. Один вывел меня из недоумения.

— Всего рублик-от серебром наберется ли, гляди. Да и то смекай: в год, из того числа две с половиной копейки на оспу идет, на священника сколько-то копеек, на дьячка на этого опять — с души. Вот их и весь ясак! В старину они его песцами платили, теперь отменено это: на деньги выкладено. Тяжел бы ясак-от был, не стали бы так-то пить.

— Что же они, крещеные?

— Есть тоже церковь походная, шатровая: вон в Тельвисочной деревне деревянную для них, всегдашнюю, значит, строят теперь.

— А любят они богу молиться?

---

* Некоторые города Архангельской губернии имеют туземные старинные названия: сам Архангельск повсюду называется просто *Город*, Пинега — *Волок*, Мезень — *Большая Слобода*, Усть-Цыльма — *Малая Слобода*. Города Холмогоры и Шенкурск до сих пор соседние жители зовут *Посадом* и в то же время этим же именем называют, в виде собственного, многие села и деревни. Точно так же неправильно зовут погостами те селения, которые давно уже стали селами, т. е. к церкви и домам причта присоседились вольные выселенцы, как, например, в селе Благовещенском, Шенкурского уезда, известном большой ярмаркой.

— Мало же. Да и придут когда, всю службу не выстаивают, не могут: либо вон выходят, либо возьмут да и лягут на пол. В чумах-то, что ли, они привыкли все лежать да лежать, алибо что... кто их знает! А то негоразды они стоять, несвычны: в избу к нам заходят, так и сажай скорей, а то ляжет, беспременно ляжет. Тепла опять они не любят, наших изб не любят: так и норовят скорей бы выйти. Вон старшина ихний живет у нас на селе, так в избе не спит, а все в сенях, и все больше по улице ходит, и избу дня по три не топит. Так уж привыкли! Совсем ведь они глупый народ!

— Чем же особенно?

— Спроси ты, сколько ему лет, любого спроси — не знает...

— Вон, гляди, твое благородье, олешков, никак, привели тебе. С богом! — перебил речь рассказчика хозяин мой.

В этот день я решился ехать в одно из самых дальних печорских селений — село Кую. Там предстояла интересная беседа с одним из старых и опытных ходоков на Новую Землю.

— Он тебе все по порядку расскажет,— говорили собеседники, провожая меня к чунке,— бывалый ведь! Разведет он тебе речь, только слушай! С тобой-то ему не с первым толковать уж!

— Попотчуй его водочкой — распояшется. Говорун ведь он у нас, краснобай, что в целой волости нашей другого такого не сыщешь.

— С богом, счастливый тебе путь-дорога!

КОММЕНТАРИИ

ГОД НА СЕВЕРЕ

Первое отдельное издание: Максимов С. В. Год на Севере, т. 1—2. СПб., 1859. Ему предшествовали публикации отдельных очерков в журналах «Морской сборник», «Библиотека для чтения», «Сын отечества», «Народное чтение» за 1857—1859 годы. Затем были напечатаны дополнения к первому изданию в журналах «Иллюстрация» и «Сын отечества» за 1861, 1863 годы, которые вошли во второе и третье отдельные издания «Года на Севере» (СПб., 1864; СПб., 1871). Последовавшие затем публикации в журналах «Досуг и дело», «Задушевное слово» и «Русская мысль» (1876—1887) частично или полностью вошли в последнее прижизненное издание: Максимов С. В. Год на Севере, т. 1—3, 4-е изд. СПб., 1890.

Печатается по изд.: Собрание сочинений С. В. Максимова в 20-ти томах, т. 8—10. СПб., Просвещение, 1908 (с проверкой по прижизненным изданиям). В тексте сохраняются авторские написания некоторых слов, связанные с особенностями северного произношения. Подстрочные примечания принадлежат С. В. Максимову.

Часть первая

(с. 27—211)

[1] *Рейнеке* Михаил Францевич (1801—1859) — вице-адмирал, гидрограф-путешественник, воспитанник Морского корпуса в Петербурге. Произвел съемку берегов и глубинные исследования Белого моря, законченные в 1825 г., затем описал северные берега Лапландии.

[2] Иван IV Васильевич *Грозный* (1530—1584) — великий князь «всея Руси» с 1533 г., первый русский царь с 1547 г.

[3] *Михаил Федорович* (1596—1645) — русский царь с 1613 г., первый из рода Романовых.

[4] *Самоеды* (летописн.: «самоядь», от «самэ-еднэ», на саамском языке — «земля саамов») — старое русское название саамских племен Северной Руси; позднее перешло на ненцев, энцев, нганасан и селькупов. В настоящее время их называют самодийцами или самодийскими народами.

Ясак — натуральный налог в виде пушнины, взимавшийся в царской России с народов Сибири и Севера.

[5] *Малица* — одежда из оленьего меха, надевавшаяся шерстью к телу.

[6] Ходить *на едому* — побираться, собирать милостыню.

[7] Имеется в виду церковный праздник *Николы* вешнего, 9 мая ст. стиля.

[8] Речь идет о событиях Крымской войны 1853—1856 гг. Весной 1854 г. англо-французский флот блокировал Балтийское море и начал локальные военные действия в Белом и Баренцевом морях.

[9] *Начал* — по обряду раскольников начало молитвы и самая молитва. И. И. Лажечников в романе «Последний Новик» так объясняет этот обряд: «Началом называют раскольники те семь поклонов, без которых они ничего не начинают. Ежели кто в сем случае не доложит поклона или переложит его, то молитва не в молитву» (часть 4, гл. первая).

[10] *Веред* — нарыв, болячка, карбункул.

[11] *Совик* — оленья шуба, шитая шерстью наружу, с куколем, или наголовником. Одевалась поверх малицы.

[12] *Покрут* — наряд на службу и на работы.

[13] *Государственные крестьяне* — крестьяне, которые жили на казенных землях и несли повинности в пользу государства. Поскольку над ними не было помещичьей власти, они часто назывались «вольными».

[14] Праздник *Благовещенья* отмечался 25 марта.

[15] Имеется в виду *Сретенье,* отмечавшееся 2 февраля.

[16] *Озерецковский* Николай Яковлевич (1750—1827) — русский ученый-естествоиспытатель, академик. В 1768—1772 гг. принимал участие в экспедиции академика И. И. Лепехина. Автор многочисленных очерков севера России: «Сведения о Кольском уезде» (СПб., 1771), «Описание путешествия по Белому морю» (СПб., 1772), «Обозрение Онежского озера» (1791), «Описание города Колы» (СПб., 1790), «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» (СПб., 1792) и др.

[17] *Лепехин* Иван Иванович (1740—1802) — ученый, путешественник, академик, организатор и руководитель академических экспедиций по исследованию России (1768—1772), которые он описал в «Дневных записках путешествия... по разным провинциям Российского государства» (т. 1—3, СПб., 1771—1780; т. 4, СПб., 1805).

[18] *Гать* — настил из бревен или хвороста для проезда или прохода через болото, топкое место.

[19] *Зосима* и *Савватий* — основатели Соловецкого монастыря (1429).

[20] Ошибка Максимова в дате. *Петр I Великий* (1672—1725) в 1693 г. совершил первую поездку в Архангельск с целью строительства русского флота, в 1694 г.— вторую.

[21] *Антиминс* (греч.: «вместопрестолие» — льняной или шелковый плат, на котором изображается в центре — положение Христа во гроб, а по краям — четыре евангелиста. На верхней стороне его вшиваются частицы мощей.

[22] *Афанасий* (Алексей Любимов; 1641—1702) — первый архиепископ холмогорский и важский. В царствование Петра I принимал участие в государственных делах. Сопровождал Петра во время опасного плавания на Соловки.

[23] Церковный праздник *Прокопия* Христа ради юродивого отмечался 8 июля.

[24] *Ильин день* отмечался 20 июля.

[25] *Бейдевинд* — курс парусного судна при встречно-боковом ветре, обеспечивавшем высокую скорость передвижения.

[26] *Шувалов* Петр Иванович (1710—1762) — генерал-фельдмаршал, при императрице Елизавете сосредоточил почти все управление военными и финансовыми делами в своих руках.

[27] При *Екатерине II* было издано в 1775 г. «Учреждение для управления губерний», вводившее новое административное деление России.

[28] *Эллинг* — крытое сооружение для постройки и ремонта судов.

[29] Челищев П. И. Дневник путешествия по северу России в 1791 году. СПб., 1886. Издан не С. Д. Шереметевым, как указывает Максимов, а Л. Н. Майковым.

[30] *Никон* (Минов Никита; 1605—1681) — русский патриарх с 1652 г. Провел церковные реформы, которые вызвали раскол. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства с тезисом «Священство выше царства» привело к разрыву с царем Алексеем Михайловичем. Собор 1666—1667 гг. снял с него сан патриарха, и он был сослан в Ферапонтов монастырь под строжайший надзор.

[31] *Филипп* (Федор Колычев; 1507—1569) — русский митрополит с 1566 г. 18 лет управлял Соловецким монастырем. Сначала пользовался покровительством Ивана Грозного, который жаловал монастырю грамоты на разные владения и делал богатые вклады. Но став митрополитом, Филипп неоднократно обличал царя в жестокостях. Разгневанный Иван Грозный лишил его сана, подверг страшным пыткам и сослал в Тверской монастырь. 23 декабря 1569 г., по наущению царя, Филипп был задушен Малютой Скуратовым. Впоследствии мощи Филиппа были перевезены в Соловецкий монастырь, а оттуда по настоянию Никона в 1652 г., при торжественном покаянии царя Алексея Михайловича за содеянное его предшественником, перенесены в Москву.

[32] Голиков И. И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России. СПб., 1788—1789. В 1790—1797 гг. им же были изданы «Дополнения» к этому в значительной мере основанному на легендах сочинению, содержащие фактические материалы.

[33] В 1730 г., после скоропостижной смерти Петра II, члены Верховного тайного совета, представители родовитой аристократии, пригласили на русский престол *Анну* Ивановну, племянницу Петра I, при условии сильного ограничения ее самодержавной власти. Суть этого ограничения была изложена в «кондициях». Анна Ивановна, прибыв в Москву, в присутствии «верховников», имея поддержку дворянства и гвардейских офицеров, публично разорвала лист бумаги с подписанными ею кондициями. «Верховники» были сосланы и сурово наказаны. *Василий Лукич Долгоруков* заточен в Соловецкий монастырь и в 1739 г. казнен. *Василий Владимирович Долгоруков* был освобожден из того же монастыря лишь с воцарением Елизаветы.

При Анне Ивановне фактическим правителем страны стал ее фаворит, невежественный курляндский немец Э. *Бирон*. Началось засилие иностранцев и разграбление богатств страны. Среди русского дворянства нарастало недовольство реакционным режимом «бироновщины». Против Бирона выступил *Артемий Петрович Волынский* (1689—1740), кабинет-министр при дворе Анны Ивановны. Стремясь ограничить влияние иностранцев, он организовал кружок из представителей знатных, но обедневших дворянских фамилий.

На вечерах у Волынского обсуждались проекты государственного переустройства с целью усиления политического значения дворянства и более широкого привлечения его к государственному управлению. В 1740 г. Волынский был арестован, обвинен в государственной измене и казнен.

[34] *Кливер* — треугольный парус на передней части судна.

[35] *Бизань* — нижний парус бизань-мачты, задней, самой меньшей мачты парусного судна.

[36] *Шкот* — веревка, с помощью которой натягивают паруса.

[37] *Брас* — снасть для передвижения рей в горизонтальном положении.

[38] *Шняк* — речное судно с шестью веслами.

[39] См. примеч. 8.

[40] *Константин Николаевич* (1827—1892), великий князь — второй сын Николая I, генерал-адмирал. Управлял морским министерством с 1853 г., провел ряд либеральных реформ на флоте. Ему принадлежала идея организации «литературной экспедиции».

[41] Досифей. Географическое, историческое и статистическое описание Соловецкого монастыря. СПб., 1836.

[42] *Денисов Семен* (1682—1741) вместе с братом *Андреем* (1674—1730) разработали богословскую и обрядовую сторону поморской ветви раскольнического движения. В 1695 г. Андрей основал с Данилой Викулиным у озера Тага Выгорецкую раскольническую пустынь. После смерти Андрея в 1730 г. настоятелем этой пустыни стал Семен. Прекрасный организатор, он дал широкое развитие экономическим предприятиям общины и образцово поставил ее школы. Был известен как автор 49 сочинений, среди которых особую популярность имел «Виноград российский», посвященный жизни главных деятелей раскола. Сочинения обоих Денисовых принадлежат к числу выдающихся образцов русской литературы XVIII в.

[43] Царь *Федор Алексеевич* (1661—1682) усилил репрессивные меры против раскола.

[44] *Строгановы* — русские купцы и промышленники, крупные землевладельцы и государственные деятели, выходцы из разбогатевших поморских крестьян. Аникей Федорович Строганов (1497—1570) завел в Соли-Вычегодской в 1515 г. солеваренный промысел. В 1558 г. Иван Грозный пожаловал ему и его наследникам огромные владения по рекам Каме и Чусовой.

[45] *Холстинный саккос.* — Саккос (греч.: «мешок», «вретище») — одеяние митрополитов, патриархов, а с 1705 г. и архиереев. В буквальном смысле саккос обозначает грубую одежду, напоминающую ту, в которую был облачен Христос.

Стефан Пермский (ок. 1345—1396) — деятель русской православной церкви, церковный писатель. В 1379 г. направился для проповеди христианства в земли коми. Создал особый алфавит для языка коми — так называемую пермскую азбуку — и перевел на язык коми ряд богослужебных текстов.

[46] *Строгановская* школа — название одного из стилистических направлений в русской иконописи конца XVI — начала XVII вв. Название обязано частым упоминанием имен Строгановых в метках на обратной стороне икон этого направления. Авторами этих икон были мастера, выполнявшие заказы Строгановых. Для произведений строгановской школы характерен небольшой размер, утонченная миниатюрность письма, графическая четкость

деталей. Наиболее известные мастера — Емельян Москвитин, Стефан Пахиря, Прокопий Чирин, Истома, Назарий и Никифор Савины. (См.: Дмитриев Ю. Н. Строгановская школа живописи.— В кн.: История русского искусства, т. 3. М., 1955.)

[47] *Петр* (? — 1326) 13 лет поступил в монастырь, где занимался иконописанием. С 1305 г. митрополит всея Руси.

[48] *Рублев Андрей* (ок. 1360—1370 — ок. 1430) — русский живописец, крупнейший мастер московской школы живописи.

[49] *Строганов* Сергей Григорьевич (1794—1882) в 1835—1847 гг. был попечителем Московского учебного округа, с 1856 г.— главой Государственного совета, в 1859—1860 гг.— московским генерал-губернатором. Археолог, председатель Московского общества истории и древностей российских, основатель Строгановского училища и Археологической комиссии.

[50] См. примеч. 31.

[51] *Артемий* — один из заволжских старцев, раскольников. В 1552 г. в Москве возникло дело о ереси вольнодумца *Матвея Башкина*, самостоятельно толковавшего значение церковных обрядов и разных мест Священного писания под влиянием протестантских веяний. В связи с этим Артемия и его ученика Порфирия вызвали в Москву, как людей подозрительных, последователей Нила Сорского, скептически относившегося к догматической, обрядовой стороне православия. Артемия обвинили в приверженности к «немецкой вере» и в 1554 г. сослали в Соловецкий монастырь. Отсюда ему удалось бежать в Литву, где он установил связи с князем Чарторыйским, князем Волоцким, Иваном Зарецким. Восторженные отзывы о нем оставил Курбский, близко знавший Артемия.

Матвея Семеновича Башкина церковный собор также обвинил в ереси и приговорил к заключению в Волоколамский монастырь.

[52] *Сильвестр* (? — ок. 1566) — русский политический деятель и писатель. Имел большое влияние на Ивана Грозного и был членом Избранной рады. С 1560 г. был в опале, пострижен в монахи. Автор особой редакции «Домостроя» и многих посланий.

[53] *«Слово и дело»* — формула, означавшая в старину государственное преступление и служившая формой политического доноса: «Слово и Дело государевы за мной!»

[54] *Успеньев день* — отмечался 15 августа.

[55] *Покров* день — 1 октября.

[56] *Спасов день.*— Отмечались три Спаса: «медовый», «яблочный» и «ореховый» — 1, 6, 16 августа.

[57] *Федосеевцы* и *даниловцы* — различные течения в старообрядчестве. Даниловцы — умеренное течение, начало которому положили Данило Викулин и братья Денисовы. Социальную его базу составили зажиточные слои населения, стремившиеся к сближению с официальной светской властью и церковью. В 1738 г. поморцы признали допустимость молитвы за царя, выступали в защиту брака. Федосеевский толк основан в конце XVII в. Феодосием Васильевым. Опорой его были народные низы, беглые крестьяне. Для федосеевцев характерно непримиримое отношение к самодержавию и православной церкви, суровый аскетизм. Этот толк проник в Москву и во второй половине XVIII в. образовал свое общежитие — Преображенское кладбище,— основателем которого был московский купец Илья Алексеевич

Ковылин. В XIX в. федосеевская община распалась на ряд согласий, часть федосеевцев перешла в поморский, даниловский толк.

[58] *Иготь* — ручная ступка, металлическая или каменная.

[59] *Борис Годунов* (ок. 1552—1605) — русский царь с 1598 г.

[60] *Скорбут* — цинга.

[61] *Пушкарев* Иван Ильич (1808—1848) — историк и статистик, автор «Описания России в историческом, географическом и статистическом отношениях» (СПб., 1844—1846).

[62] *...родина гениального рыбака...* — Имеется в виду Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765), выдающийся русский ученый и поэт.

[63] *Лопари* — распространенное в научной литературе название народа саами, живущего на Кольском полуострове.

[64] *Крещенье, водосвятье* — церковный праздник 6 января, сопровождавшийся водоосвящением.

[65] *Чистый понедельник* — первый понедельник великого поста.

[66] *Иван Постный* или Сухой — 29 августа.

[67] *Воздвиженье* — 14 сентября.

[68] *Введеньев день* — 21 ноября.

Часть вторая

(с. 213—431)

[1] *Лазарь* (? — 1391) — строгий подвижник и миссионер среди лопарей и чуди Онежского края. Им основан Успенский монастырь на Мурманском острове Онежского озера.

[2] Имеется в виду И. *Верещагин,* собиратель русских былин и преданий Архангельской и Олонецкой губерний, автор книги «Очерки Архангельской губернии».

[3] *Яков I* (1394—1437) — король Шотландии, провел реформы в земледелии, народном образовании и торговле.

[4] *Романовка* — речное судно, ладья, на которой перевозили лес с лесопильных заводов.

[5] Церковный праздник *Федора Тирона,* 11 ноября. *Благовещенье* — 25 марта.

[6] *Выть* — час еды, завтрак или время от еды до еды у крестьян.

[7] *Борецкая Марфа* (или Марфа Посадница) — вдова посадника Исаака Борецкого. Деятельное участие в политической жизни Новгорода она стала принимать в последние годы его самостоятельного существования, когда ясно обнаружились стремления московских великих князей ограничить новгородскую свободу. Марфа добилась разрыва с Москвой и заключения союза с литовским королем Казимиром. Поход Ивана III на Новгород в 1471 г. привел к полному поражению новгородцев. Марфа тщетно пыталась побудить их к дальнейшему сопротивлению. Вместе с внуком Василием она была схвачена в 1478 г. и отправлена в Москву. По некоторым известиям, она была пострижена в один из нижегородских монастырей, по другим — умерла в Старице.— См.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен в 15-ти книгах, кн. 3. М., 1960, с. 11—32.

[8] *Румянцев* Александр Иванович (1680—1749) — отец генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. Был солдатом Преображенского полка с 1703 г. Замечен Петром I, стал его ординарцем. Был послом в Константинополе и командующим русскими войсками на границе с Персией, принимал участие во взятии Очакова в 1737 г.

[9] *Тутолмин* Тимофей Иванович (1740—1809) — генерал, администратор и первый председатель Государственного совета при Александре I.

[10] *Державин Гаврила Романович* (1743—1816) — русский поэт. В 1784 г. назначен правителем Олонецкого наместничества, но, вследствие начавшихся неурядиц с губернатором Тутолминым, переведен на ту же должность в Тамбовское наместничество.

[11] *Владимир* (? — 1015) — князь киевский. Во время похода на Корсунь-Таврический принял греческую веру и крестился вместе с дружиною в реке Корсуни в 988 г., выбрав христианское имя Василий. По возвращении в Киев стал ревностным распространителем христианства.

[12] Вероятно, имеются в виду следующие стихи К. Н. Батюшкова:

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.

[13] При Николае I в 1831 г. был учрежден секретный совещательный комитет по борьбе с расколом, а в 1838 г. такие же комитеты начали учреждаться по губерниям. Раскольники были лишены многих гражданских прав: им было запрещено занимать выборные должности, закрыт доступ в гимназии и университеты. В 1853 г. министру внутренних дел было предоставлено право уничтожения раскольничьих скитов и кладбищ.

[14] *Из книг царский титул вырывают...* — Деятельность всей царской администрации федосеевцы и некоторые другие старообрядцы считали проявлением власти антихриста. Поэтому они вырывали из книг начальную страницу с именем и титулом царя, при котором книга была опубликована.

[15] В 1836 г. секретный совещательный комитет по борьбе с расколом принял ряд мер против Выговских скитов: были сняты колокола с часовен, запрещено устройство моленных на кладбищах, не дозволялось богослужение в ветхих часовнях, запрещалось вывозить за пределы скита книги, иконы и другие «священные» предметы. В 1838 г. запрещено было проживание в «пашенных» дворах, и все раскольники сосредоточились в двух главных скитах. В 1841 г. у скитов была отнята бо́льшая часть земли, в том числе пашенные дворы и подсеки. Окончательное разорение Выговских скитов, просуществовавших более 150 лет и достигших большого экономического значения, последовало в 1854—1855 гг.

[16] В царствование *Эдуарда VI* (1537—1553) общество английских купцов снарядило три корабля для экспедиции в северо-восточном направлении под руководством Виллоуби. Корабли вышли из Темзы в мае 1553 г. Дорогою их рассеяла буря. Виллоуби замерз со всем своим экипажем у берегов русской Лапландии. Третий корабль, «Бонавенту», с капитаном *Ричардом Ченслером*, английским коммерсантом, в конце августа прибыл в устье Северной Двины, в окрестности монастыря св. Николая, на место будущего Архангельска. По указу государя Ченслер со своими людьми прибыл в Москву, где вручил Ивану Грозному грамоту короля Эдуарда, обращенную

к владетелям северных стран. В феврале 1554 г. Ченслер вернулся в Англию с ответной грамотой, в которой царь изъявлял готовность дать англичанам право свободной торговли. Королева Мария утвердила привилегии английских купцов и назначила послом в Москву того же Ченслера. В 1556 г. царь разрешил этой компании право беспошлинной торговли. Кроме того, он отправил в Англию вместе с Ченслером русского посла, вологодского наместника Осипа Непею. Корабль с Ченслером погиб, но Непея спасся, достиг Лондона и удостоился почетного приема при дворе. Так было положено начало деятельным и особенно выгодным для англичан торговым отношениям с Россией.

[17] *Шафиров* Александр Петрович (1669—1739) — деятель петровского времени, дипломат.

Меншиков Александр Данилович (1673—1739) — сподвижник Петра I, крупный военачальник во время Северной войны 1700—1721 гг. За участие во взятии Ниеншанца и первой морской победе над двумя шведскими кораблями в 1703 г. он был возведен в звание губернатора Ингерманляндии, Карелии и Эстляндии.

[18] *Баженины* Осип и Федор Андреевичи — братья, архангельские купцы. В 1680 г. Осип Баженин перестроил мельницу, находившуюся на левом берегу Северной Двины, в 13 верстах от Холмогор, на иностранный образец. Петр I, узнав об этом, 10 февраля 1693 г. дал на имя Осипа Баженина жалованную грамоту, которою указал «мельницами в Двинском уезде, в старинной его деревне Вавчуге построенными заводами владеть и на тех мельницах хлебные запасы и лес продавать на Холмогорах и у Архангельска города русским людям и иноземцам...». Во время своих посещений Белого моря Петр каждый раз наезжал в Вавчугу, подолгу беседуя о торговых делах с умными Бажениными. Это дало повод Бажениным обратиться к царю с челобитною о дозволении строить «корабли и яхты у своего завода русскими и заморскими мастеровыми» (1696). Вернувшись из заграничного путешествия, в 1700 г. Петр предоставил Бажениным право вывозить беспошлинно из-за моря все нужные для корабельного дела материалы, разрешил свободный наем рабочих, дал свободу от всяких выборных служб и посылок. Так возникла первая торговая корабельная верфь в Вавчуге. Построенные на ней корабли охотно покупались иностранцами — англичанами и голландцами.

[19] *Фомин* Александр Иванович (1735—1802) — собиратель старинных актов и рукописей в Архангельске. В 1759 г. основал здесь общество для сбора актов, летописных рукописей и др. Большую часть собранных обществом сведений академик И. И. Лепехин опубликовал в своих трудах (см. примеч. 17 к первой части «Года на Севере»). С 1770-х годов Фомин регулярно печатался в изданиях Академии наук со статьями по истории и топографии Архангельской губернии. Максимов приводит здесь цитату из работы А. И. Фомина «Опыт исторический о морских зверях и рыбах, промышляемых жителями Архангельской губернии в Белом море и Северном океане, с описанием образа тех промыслов», опубликованной в книге И. И. Лепехина «Дневные записки путешествия... по разным провинциям Российского государства» (т. 1—3, СПб., 1771—1780; т. 4, СПб., 1805).

[20] *Успеньев день* — 15 августа.

[21] *Молчанов* Кузьма (? — 1812) — писатель и исследователь Архангельского края конца XVIII — начала XIX в. Был в Архангельске сначала

священником, затем профессором и префектом семинарии. Автор посмертно изданного труда «Описание Архангельской губернии, с приложением планов и карт» (СПб., 1814).

[22] См. примеч. 32 к первой части «Года на Севере».

[23] *Устрялов* Николай Герасимович (1805—1870) — русский историк, академик с 1837 г., автор «Истории царствования Петра Великого» (т. 1—4. СПб., 1858—1864).

[24] *Ефименко* Александра Яковлевна (1848— ?) — писательница, известная трудами по народному быту и обычаям, собранными в книгу «Исследования народной жизни» (СПб., 1884).

[25] *Либретто* к опере М. И. Глинки «Иван Сусанин» по рекомендации царского двора писал посредственный поэт из числа придворных Николая I Е. Ф. Розен (1800—1860). Работа с этим либреттистом принесла Глинке немало огорчений: «верноподданнический» дух либретто сочетался с комически-бездарными строками, одну из которых цитирует Максимов (из каватины и рондо Антониды «Ах, ты, поле, поле»). В 1939 г. советский поэт С. М. Городецкий подверг коренной переработке малохудожественный текст Розена, освободил его от верноподданнических мотивов.

[26] Картина П. А. Федотова (1812—1852) «Сватовство майора» (1848).

[27] *Бестужев* Александр Александрович (Марлинский; 1797—1837) — декабрист, писатель, создатель альманаха «Полярная звезда». За участие в восстании приговорен к 20 годам каторги, с 1829 г.— рядовой в армии на Кавказе. Автор романтических стихов и повестей («Фрегат «Надежда», «Аммалат-бек» и др.). Рассказ Палавандова о нем носит полулегендарный характер. Брат Бестужева Петр Александрович сошел с ума позднее, после того как оба брата были сосланы из Тифлиса в Дагестан. Легендарно сообщение Палавандова о том, что Марлинский исчез в горах с помощью «мирных черкесов». В действительности он был убит в бою 7 июня 1837 г.

[28] *Воронцов* Михаил Семенович (1782—1856) — русский государственный деятель. В 1844—1854 гг.— наместник на Кавказе с неограниченными полномочиями.

[29] *Вахтанг VI* Законодатель (1675—1737) — царь Картли (Восточная Грузия). По вступлении на престол стал вести политику за отделение Грузии от Персии и союз с Россией.

Георгий XII (1746—1800) — последний царь Картли-Кахетли (Восточная Грузия) с 1798 г., сын Ираклия II. Возобновил Георгиевский трактат 1783 г. о переходе Грузии под покровительство России, заключенный в крепости Георгиевск по просьбе Ираклия II. Русское правительство по этому трактату гарантировало Грузии автономию и защиту в случае войны. Георгий XII просил принять Грузию в подданство России.

[30] *Паскевич* Иван Федорович (1782—1856) — в 1827—1830 гг. наместник на Кавказе, главнокомандующий во время русско-иранской и русско-турецкой войн.

[31] Рассказ Палавандова содержит немало неточностей о пребывании А. С. Пушкина на Кавказе. Известно, что поэт уехал на Кавказ самовольно и за ним был установлен тайный полицейский надзор. И. Ф. Паскевич был назначен наместником на Кавказе в 1827 г., за два года до приезда Пушкина, и поэт никак не мог быть участником обеда, данного грузинской знатью в честь нового наместника. Пушкин относился к Паскевичу неприязненно,

видя в нем человека аракчеевских убеждений; жил у него на квартире вынужденно.

Воспоминания Палавандова, записанные Максимовым, несмотря на свой полулегендарный, полумифический характер, имеют определенный историко-культурный интерес как факт бытования устной мемуарной традиции.

[32] Вероятно, имеется в виду *Раевский* Николай Николаевич (1771—1829), генерал, герой Отечественной войны 1812 г., член Государственного совета с 1826 г.

[33] Данная эпиграмма принадлежит к числу стихов, приписываемых А. С. Пушкину. См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти томах, т. 2. М., 1963, с. 374.

[34] В конце 1821 г. А. С. Грибоедов был послан из Персии в Тифлис для сообщения о войне, вспыхнувшей между Турцией и Персией. По дороге он сломал себе руку. Это послужило поводом к отозванию его из Персии и назначению секретарем при генерале А. П. Ермолове (1777—1861), командире Кавказского корпуса и главнокомандующем в Грузии. 23 января 1826 г. Грибоедов был арестован по делу декабристов и отправлен в Петербург. В Тифлис Грибоедов вернулся лишь в 1828 г., поступив на службу к своему дальнему родственнику И. Ф. Паскевичу, сменившему к тому времени опального генерала Ермолова.

[35] *Аббас-Мирза* (1789—1833) — государственный и военный деятель Ирана, был наместником в Азербайджане. Во время русско-иранской войны 1826—1828 гг. командовал войсками, как и в ирано-турецкой войне 1821—1823 гг.

[36] *Цицианов* Павел Дмитриевич (1754—1806), князь — главнокомандующий Грузии с 1802 г. Проводил миролюбивую политику: прекратил набеги горцев, заключил договоры со многими кавказскими племенами, улучшил и провел дороги, устроил в Тифлисе гимназию. В 1803 г. присоединил к России Джаро-Белоканскую область, а в 1804 — Гянджинское ханство. Путем переговоров добился присоединения Имеретин и Мегрелии. Во время русско-иранской войны 1804—1813 гг. нанес поражение войскам Аббас-Мирзы и присоединил к России Шекинское, Карабахское, Ширванское ханства и Шурагельский султанат. Предательски убит во время переговоров с бакинским ханом в 1806 г.

[37] *Розен* Григорий Владимирович (1781--1841) — генерал-адъютант, с 1832 г. командир Отдельного кавказского корпуса и главнокомандующий гражданской частью на Кавказе. Принимал активное участие в подавлении заговора 1832 г. Этот заговор был направлен против самодержавной политики России, но в то же время имел противоречивый характер. Часть заговорщиков преследовала в этой борьбе демократические цели и мечтала о создании в Грузии республиканского или конституционно-монархического государства. Реакционные феодалы, возглавляемые группой высланных в Петербург грузинских царевичей, думали о восстановлении в Грузии власти Багратионов и своих политических привилегий. Поэтому в лагере заговорщиков произошел раскол и восстание, намеченное на 20 декабря 1832 г., провалилось. Царское правительство арестовало и предало суду 38 заговорщиков, которые были сосланы на разные сроки в отдаленные губернии России. В их числе оказался и Евсевий Осипович Палавандов.

[38] *Аввакум* Петрович (ок. 1620 или 1621—1682) — один из первых расколоучителей, протопоп, автор «Жития», выдающегося памятника древнерусской литературы. В 1667 г. вместе с попом Лазарем, дьяком Федором и др. сослан в Пустозерский острог на Печоре. Во время четырнадцатилетнего, полного суровых лишений заключения Аввакум не переставал проповедовать свое учение, написал резкое письмо царю Федору Алексеевичу, в котором поносил всю русскую церковь и хулил царский дом. Он и его соратники были приговорены к сожжению, которое произошло 14 апреля 1682 г.

[39] *Адашев Алексей Федорович* — сын боярина, играл видную роль в первый период царствования Ивана Грозного. Это был образец филантропа и гуманиста XVI в. В 1560 г. он подвергся опале: имения его были отписаны на государя, а сам он заключен в тюрьму. Начался беспощадный розыск, закончившийся истреблением всех живых Адашевых с их ближайшими родственниками. Сам А. Ф. Адашев избег казни и умер в Дерпте в начале 1561 г.

[40] *Голицын Василий Васильевич* (1643—1714), князь — государственный деятель. Выдвинулся при царе Федоре Алексеевиче как противник местничества, упраздненного при его содействии. Во время правления Софьи был особо доверенным и полномочным сановником, сторонником сближения России с Западом. Добился заключения вечного мира с Польшей, по которому Киев и Малороссия окончательно были признаны русскими владениями. Совершил два неудачных похода на Крым с целью его покорения. С падением Софьи Голицын был сослан на Север, где и умер.

В сообщении о жизни Аввакума Максимов допускает ошибки. В 1653 г. Аввакума ссылают в Тобольск, затем в Даурию, а не в Мезень. Царь Алексей Михайлович вызывает его в Москву в 1663 г., в 1664 г. Аввакума ссылают в Мезень, а затем — в Пустозерск.

[41] *Голицын Борис Алексеевич* (1654—1714), князь — один из деятелей эпохи Петра I, сторонник партии Нарышкиных во время правления Софьи; после ее низвержения — приближенное и доверенное лицо Петра, участвовал во всех его начинаниях. В период пребывания Петра за границей состоял одним из трех членов регентства, позднее был наместником в Астрахани, где своими поборами вызвал всеобщее недовольство и бунт, после которого впал в немилость. Кончил жизнь в монастыре.

[42] Здесь также (см. примеч. 40) допущены неточности в датах.

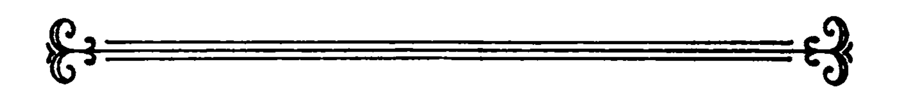
Матвеев Артамон (Артемон) Сергеевич (1625—1682) — «ближний боярин» царя Алексея Михайловича. В 1642 г. причислен ко двору с чином стряпчего, в 1643 г. произведен в стрелецкие головы, в 1653 г.— в головы московских стрельцов. На Украине проводил политику присоединения украинцев к России. Расходился во взглядах с начальником посольского приказа А. Л. Ордын-Нащокиным, который считал Малороссию «великой для государственной казны обузой». Матвеев же видел в воссоединении Украины с Россией «прицепление естественной ветви к ее историческому корню». Борьба закончилась поражением Нащокина. В 1662 г. Матвеев участвовал в подавлении так называемого «медного бунта» в Москве. В 1671 г. он занял должность «оберегателя посольских дел». В том же году царь Алексей вступил во второй брак с воспитанницей Матвеева Н. К. Нарышкиной. С этого времени влияние и власть его значительно возросли. На Украине, в Польше и за границею Матвеева называли канцлером московского царя,

его первым министром. Со смертью Алексея положение Матвеева пошатнулось. Враги, в особенности Милославские, обвинили его в чародействе и разных умыслах против царя Федора. В 1667 г. он был сослан в Пустозерск, откуда в 1680 г. переведен в Мезень. Из ссылки писал много писем, подавал царю челобитные. Однако положение его изменилось к лучшему лишь тогда, когда овдовевший Федор избрал себе в супруги крестницу Матвеева, Марфу Матвеевну Апраксину. Матвеев вернулся в Москву 12 мая 1682 г., уже после смерти Федора, и погиб через три дня во время стрелецкого бунта, подготовленного Милославскими. Является автором трудов: «Всех великих князей московских и всея России самодержцев и титла, и печати», «Избрание и посылка в Кострому... и о походе к Москве по венчании на царство царя Михаила», «Описание всех великих князей и царей российских, славных в ратных победах, в лицах с историями». Ему приписывают также «Летопись о мятежах». (См.: Щепотьев Л. Ближний боярин А. С. Матвеев как культурный политический деятель XVII в. СПб., 1906.)

[43] Матвеев *Андрей* Артамонович (1666—1728), граф — с 1691 г. воевода двинский, с 1699 г.— посол в Голландии, с 1707 г.— посол в Лондоне, с 1712 г.— посол при германском императоре. Пользовался большим доверием Петра I. Высокообразованный человек, переводчик «Анналов» Барония и автор тенденциозного описания стрелецкого бунта 1682 г.

[44] *Воронцов* Александр Романович (1741—1805) — государственный деятель, с 1773 г.— президент коммерц-коллегии, с 1802 по 1804 годы — государственный канцлер.

[45] *Румянцев* Николай Петрович (1754—1826), граф — старший сын П. А. Румянцева-Задунайского, дипломат. С 1802 г. министр коммерции, главный директор водных коммуникаций и комиссии «об устроении в России дорог». При нем были улучшены водные пути, закончено строительство Березинского и Мариинского каналов, открыта беломорская торговая контора. На счет Румянцева организовано кругосветное плаванье корабля «Рюрик» под командой лейтенанта О. Е. Коцебу для открытия северного морского прохода между Азией и Америкой (1815—1818). Румянцев помогал в подобной же экспедиции капитану Л. А. Гагемейстеру (1817), путешественнику по Крайнему Северу Корсаковскому и др. Организовал собрание печатных книг, рукописей, монет и минералов, которое предоставил вместе с домом, где они размещались, в общественное употребление. «Румянцевский музей» с богатейшими книжными собраниями в 1925 г. послужил основой для создания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.



СОДЕРЖАНИЕ

Максимов С. В.

М17 Избранные произведения. В 2-х т. Т. 1. Год на Севере: Ч. 1 и 2 / Вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. Ю. Лебедева.— М.: Худож. лит., 1987.— 447 с., портр.

Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) — русский писатель-демократ, известный этнограф, автор произведений из народной жизни. В том вошли части первая и вторая известной книги Максимова «Год на Севере».

М $\frac{4702010100\text{-}108}{028(01)\text{-}87}$ 11-87 **ББК 84Р1**

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКСИМОВ

Избранные произведения
в двух томах

Том 1

Редакторы *Ч. Залилова* и *К. Нещименко*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *Н. Замятина* и *Т. Сидорова*

ИБ № 3739

Сдано в набор 26.03.86. Подписано к печати 02 09 86. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 28+1 вкл.=28,06. Усл кр-отт 28,63. Уч.-изд. л. 32,97+1 вкл =33,02 Тираж 100 000 экз. Изд. № 11-1949. Заказ 6-118. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Диапозитивы изготовлены в Ленинградской типографии № 2, головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29

Отпечатано на книжной фабрике «Коммунист». 310012, Харьков, 12, ул. Энгельса, 11